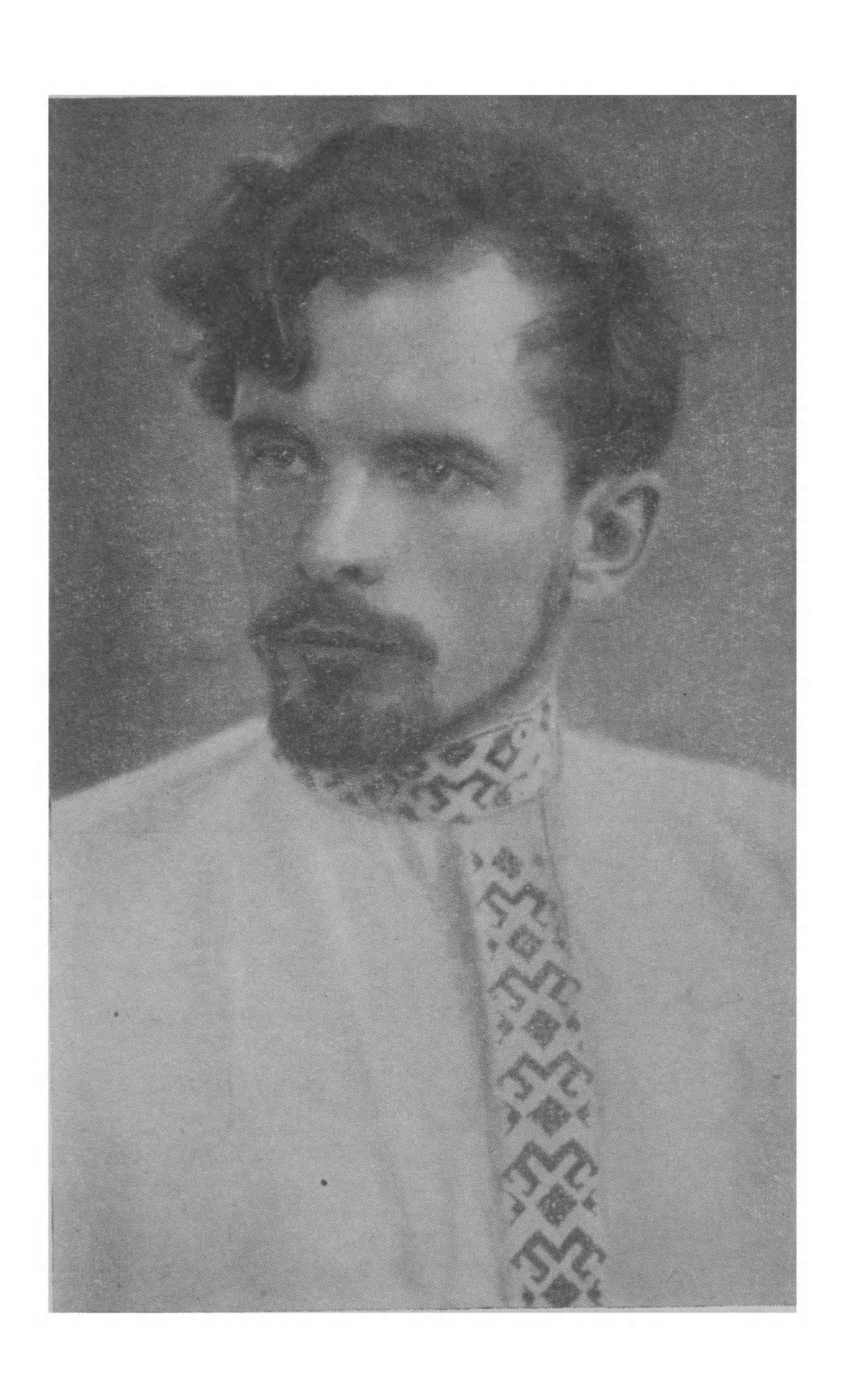
Марфа-посадница

«Советская Россия»

Д. Балашов
Марфа-посадница

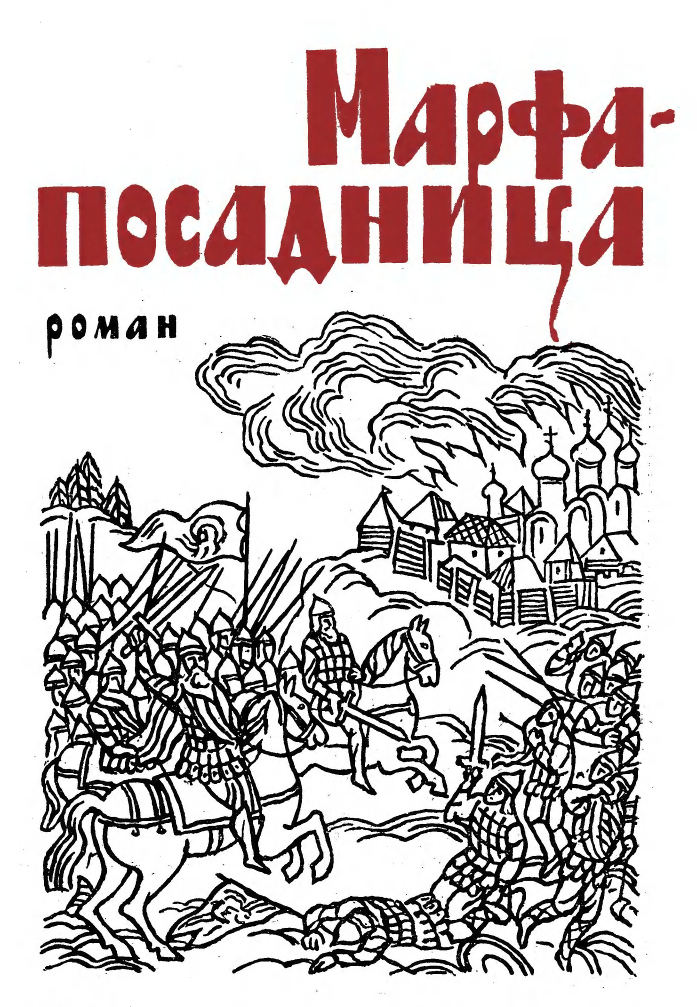
Посвящаю светлой памяти моей матери, Анны Николаевны, другу и соавтору, с которой вместе сидели мы над рукописью этой книги в деревне Чеболакше осенью 1969 года



Д. Балашов

Марфа-посадница

роман



Издательство «Советская Россия»
Москва
1972

Р2
Б20

Дмитрий Михайлович Балашов

МАРФА-ПОСАДНИЦА

Редактор *С. В. Музыченко*. Художник *Н. И. Крылов*. Художественный редактор *Э. А. Розен*. Технический редактор *Л. М. Самсонова*. Корректор *Г. Б. Лысенко*.

Сд. в набор 22/X-71 г. Подп. к печ. 22/VI-72 г. Ф. бум. 60×90[1]/16. Физ. п. л. 27,0. Уч.-изд. л. 27,56. Изд. инд. ЛХ-603. А03131. Тираж 50 000 экз. Цена 95 коп. в переплете. Бум. № 2.

Издательство «Советская Россия». Москва, пр. Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров РСФСР, г. Электросталь Московской области, Школьная, 25. Заказ 2758.

Балашов Д. М.

Б20 Марфа-посадница. Роман. М., «Сов. Россия», 1972.

432 с.

Роман посвящен одному из важнейших событий русской истории — присоединению Новгорода к Московскому великому княжеству. Марфа Борецкая, возглавившая борьбу с Иваном Третьим, оказалась трагической фигурой, личное мужество прославило ее, но защищала она исторически обреченное дело.

$\frac{7-3-2}{109-72}$ Р2

Знакомство читателя с Дмитрием Балашовым состоялось летом 1967 года, когда в журнале «Молодая гвардия» была напечатана первая повесть молодого писателя «Господин Великий Новгород». Взяв читателя за руку, писатель провел его тогда по бревенчатым мостовым новгородских улиц, открыл перед ним ворота усадеб, двери хором и мастерских, наполнил слух шумом торга, кликами и стонами битвы, застольным гомоном братчин, ревом вечевой вольницы, вкрадчивым шепотом заговорщиков, ласковым шепотом влюбленных. И перевернувшего последнюю страницу повести читателя долго потом не оставляла власть только что воскрешенного перед ним мира, чувство сопричастности к событиям, о которых он еще недавно ничего не знал.

Такое чувство дано испытывать от хороших книг и фильмов. И вызывается оно всякий раз пониманием того, что прочитанное или увиденное — достоверно. Разумеется, представление о достоверности у каждого человека зависит от степени его подготовки к восприятию нового. Однако недостоверность всегда фальшива, и, нарушая логику художественного произведения, она никогда не способна возбудить у читателя или зрителя чувство сопричастности героям.

Достоверность повествования Дмитрия Балашова зиждется на сочетании несомненного художественного таланта автора и пытливости ученого. Известный фольклорист, знаток народного быта, Дмитрий Балашов тщательно исследовал все источники по истории Новгорода — письменные и археологические. Он в курсе старых и новых концепций русской истории, анализ которых дает основу его собственного видения прошлого, нигде не вступающего в противоречие с известными сегодня русскими древностями.

Его новой книге свойственны все те достоинства, которые были очевидны в предыдущей повести. Но эта книга отличается масштабом изложения событий. Она может показаться произведением совершенно нового жанра: ее действительными героями оказываются не те вполне конкретные люди, которые действуют, размышляют, страдают, радуются, говорят в романе, а представленные этими людьми исторические категории — Новгород, Москва, боярство, житьи люди, ремесленники, холопы, крестьяне, церковь, искусство. Однако необычность жанра книги сродни обычности древнейшего жанра русской литературы — летописания, в котором главным героем является сам процесс исторического развития.

В романе «Марфа-посадница» движущей пружиной повествования оказывается столкновение Новгорода и Москвы в критический XV век, в эпоху возникновения Русского национального государства. Новгород и Москва.

Республика и монархия. Из сочетания и противоположности этих двух понятий еще со времен Якова Княжнина рождалось сложное двойственное чувство восприятия судьбы Новгорода в становлении Московской державы. Монархия поглотила и уничтожила республику, вдвое увеличив территорию национального государства, укрепив себя перед лицом всего мира. Народоправство было раздавлено колесницей московского князя. Великого Новгорода не стало. И о славе его уже не гудит вечевой колокол, а звенят лишь валдайские колокольчики. С давних пор такое восприятие конфликта XV века сделалось традиционным.

Однако оно неверно. Республика Новгорода не была народоправством. Она была государством бояр, крупнейших землевладельцев, растивших свое генеалогическое древо из корня древней родовой знати. Раскопки в Новгороде обнаружили поразительное явление: оказалось, что в этом городе в эпоху его республиканского расцвета не было усадеб и дворов ремесленников, мелких торговцев, рядовых священнослужителей. Вся земля в городе принадлежала крупным феодалам, на дворах которых ютился черный люд, не располагающий даже такими свободами, которые знала Москва. И именно эти могущественные владельцы крупных усадеб составляли категорию вечников. Вольнолюбие Новгорода, его вечевой строй, было вольнолюбием привилегированной верхушки общества, поглощенной борьбой между собой за власть, доходы и влияние.

В новгородском обществе XV века, как никогда ранее, обозначились социальные конфликты, знаменующие гниение вечевого строя. Черный люд изнемогает от поборов, от отсутствия «праведного суда». Его крик о справедливости донесли до нас берестяные грамоты. Ремесленники и холопы вооружаются на борьбу. «Здесь житницы боярские. Разграбим супостатов наших»,— говорят они во время восстания под стенами Никольского монастыря. Поиски идеалов будущего общества порождают разные формы еретических учений, попытки философски осмыслить настоящее. «Простой чади» Новгорода нечего защищать в государственных порядках республики, когда этим порядкам угрожает полное разрушение от москвичей. И наблюдая апатию новгородцев при вооруженных столкновениях с Москвой, невольно думаешь: как непохожи они на своих собственных предков, побеждавших на Неве, на Чудском озере, под Раковором. Но это все те же новгородцы, только тогда они защищали национальную независимость, а теперь не желают сражаться за сословные интересы своих супостатов-бояр.

Конфликт XV века жесток. Новое поднималось из почвы, пропитанной

кровью ремесленников, земледельцев, холопов, простого люда. Они погибали не потому только, что новгородское боярство оказалось враждебно московскому великому князю, а потому, что новгородское боярство сделалось враждебным самому Новгороду.

Дмитрий Балашов сумел показать в своем романе всю сложность процессов, определивших дальнейшую судьбу России. И сделал это, населив свою книгу живыми людьми, наполнив ее шумом древнего города, напоив ее живыми красками и ароматами волнующего прошлого.

Член-корреспондент АН СССР
В. Л. Янин

Согласимся, что деяния, описанные Геродотом, Фукидидом, Ливием, для всякого нерусского вообще занимательнее, представляя более душевной силы и живейшую игру страстей: ибо Греция и Рим были народными державами и просвещеннее России. Однако ж смело можем сказать, что некоторые случаи, картины, характеры нашей истории любопытны не менее древних. Таковы суть подвиги Святослава, гроза Батыева, восстание россиян при Донском, падение Новагорода...

Н. М. Карамзин

ГЛАВА 1

олоченые верхи великого терема горели багряным огнем. Россыпями камения самоцветного искрились стекольчатые окна вышних горниц. У крыльца хохотала челядь, и плетеные расписные грифоны и змии тоже словно смеялись, разевая богомерзские пасти.

Зосима стоял, наполовину утонув в густой тени, подбиравшейся к середине двора, и все еще медлил, не понимая того, что произошло. Грубый дорожный посох дрожал в руке угодника. Столько ждал он этого часа, столько раз мысленно, благословив великую боярыню, непременно вышедшую ради него на крыльцо, неспешно подымался в богатую столовую палату... И еще прошлой ночью, в жаркой молитве, не знамение ли привиделось ему, не знак ли то был тайный? И не оттого ли, не послушав совета осторожного онтоновского келаря*, ни к кому иному, ни в палаты владычные, ни к тысяцкому, ни к степенному посаднику Ивану Лукиничу направил он стопы свои, а прямо сюда, к ней, к великой неревской боярыне Марфе. Мнилось: грозно ли брови сведет, упрекать ли станет, отречется ли от злонеистовства слуг своих? Но чтобы так, так вот просто не принять, не пустить, не выйти?!

Он еще водил глазами по оконью, и посох дрожал в жилистой сухой руке, а наглый холоп уже двинулся на него грудью расшитой шелками рубахи, вытесняя Зосиму со двора. Как татя, как пса, как последнего нищего!

И тогда, в гневе и ужасе, что вот-вот руки раба рванут на нем посконную рясу, опозорят святое одеяние, Зосима закричал, грозя и проклиная златоверхий терем, тряся головой и стуча посохом. И холуй, сбычась, отступил на шаг, смутясь, не зная, как поступить.

— Недостойны вы мира моего! И прах ваш отрясу от ног

* Комментарии и объяснения редко употребимых слов смотрите в «Примечаниях» автора в конце книги.

своих! Истинно глаголю: отраднее будет в день судный Содому и Гоморре, нежели гордому дому сему!

Кто-то охнул, кто-то закрестился из баб, но молчали горящие закатным огнем вышние окна, и не хлопнула оконница, не отворилось окно в покоях боярыни — да и слыхала ли она?

— Отче! — боязливо позвал оробевший отрок.

К ним, через двор, решительно шел Марфин ключник в дорогом боярском зипуне, двое слуг поспешали следом.

— Отче, поидемо!

Круто поворотясь, так, что подол рясы хлестнул по ногам, и помавая головой, Зосима устремился вон из двора.

Ключник с холопьями, не отступая, молча следовал сзади. Зосима забыл о нем, заставил себя забыть, но другое притекло в сознание, когда за воротами вновь узрелось ему тьмочисленное кипение великого города. С высоты, в конце Великой, над хоромами, над верхами дерев, над шатрами древяных и куполами каменных храмов, увидел он золотоглавое и белокаменное громозжение Детинца, с граненой башней Евфимьевской, в розовеющей пене новых церквей надвратных; и вышки, и гульбища боярских теремов, и лодейное на реке толпление, и необычайную густоту уличную... И на миг — себя, как бы со стороны, малого, бедно одеянного, забавно машущего руками у подножия знатного терема, середи шумящего моря людского, где холопы и те носят платье, не снившееся мужикам на далеком Поморском берегу.

Испытуя, пронзительно глянул на Данилу. Но отрок, коему угодник всегда был примером святости и строгости отчей, сам испуганный невиданным доднесь многолюдьем и шумом градским, ответил ему обычным взглядом почтительного обожания, и это успокоило.

— Гляди! — строго велел Зосима, резко обведя посохом зримое, и мало не задев прохожего горожанина.— Как древлии Содом и Гоморра, роскошью и многолюдством, и бесстыдной алчбой, и завистью переполнено, а паче гордыней! Все тлен, суета сует! Запомни: дни грядут, и близко уже, когда дома сего жители не изследят стопами двора своего, и житницы их оскудеют, и затворятся двери их, и паки не отверзутся, и порастет травою двор их, и будет пуст!

Зосима говорил нарочито, и Данило испуганно озирался, ожидая покоров, но проходящие едва взглядывали на них, редко кто с мимолетным любопытством, угадывая приезжих в старце и отроке, спускавшихся под угор, к пристани.

Дневные труды приканчивались, и лодейные мужики, распрямив натруженные за день спины, сгрудились у вымола, ожидая, пока старшой сочтет уложенные кули. Смолисто пахло от нагретых бревен. Лес был Марфин. Марфины были амбары с

зерном, скорой, рыбой, дорогими мехами и льном. Марфины кули на лодьях. Марфины бочки с салом морского зверя громоздились на берегу. Марфины насады налезали смолеными носами на песок, и люди грудились у вымола, почитай, тоже чуть не все Марфины.

Если бы не ключник, шедший следом... Оглянувшись, Зосима увидел, что следом поспешают два прежние холопа, а ключника уже нет. Видно, только вывел за ворота и тотчас поворотил назад — и это тоже было как заушение.

Сгорбясь, Зосима остоялся у соляного амбара. Соль! Сколько соли! Даже на земле просыпанная: две овцы, пихая друг друга лбами, подбирали белые крупинки с песка. Коза, выворачивая худую жилистую шею, тряся бородой и смертно закатывая глаза, грызла длинными желтыми зубами порожек соляного амбара, лихорадочно вылизывала шершавым языком исщербленную колоду — тоже норовила урвать малую крупицу Марфиной соли. Отрывисто дергался клок задранной козьей бороды, вымя болталось меж раскоряченных ног, как пустой мешок или как торба странствующего монаха, и Зосима, сглотнув невольную слюну, отворотился, уязвленный.

И в Поморьи у нее амбары да варницы, и в Усть-Онеге тож, и на том берегу, в Неноксе. И на Киж-острове соляной амбар. И рыбные ловища, и тони по Выгу, Суме, Сороке-реке, по всему морскому берегу, почитай! И на Кеми-реке тоже. А у святой обители Соловецкой? Сколько раз по-первости они оба — двое с Германом, не чаяли дожить до весны! А лучше ли стало и потом, когда собралась братия? Многим ли одарила обитель боярыня Марфа? Ловища да лешей лес на Терьской стороне, от Умбы на Кашкаранской наволок, дак поди доберись туда прежде! Кабы тоже, как она, не варили соль, да не ловили семгу, чем и жить? Ближнее жительство в ста верстах от обители, и версты те не землею, а морем!

Их ли укорить корыстолюбием?! Монахи не за святою молитвою, а в парной едкой духоте у цренов, с изъеденными солью глазами, вечные споры о тонях, вечные пакости и ругательства слуг боярских, чем дальше, тем пуще: не ваши, мол, острова! Приходит ловить рыбу ота́й.

В тот год с трудами возведенная до полуоконья церква сгорела о-полден, а как? Отчего? Не видал никто! Пришлось созидать сызнова, еле управились до снегов. Два игумена сбежали, не выдержав голода и холода. Последнего, Иону, тоже отступившегося сладкого игуменства Соловецкого, он сам теперь привез в Новгород, отчаясь уговорить. Прочили они с Германом в игумены старца Игнатия, но братия заявила согласно: «Или ты, или никто больше! Аще ли не хощешь хиротонисатися в игумены, то разойдемся отсюду вси, и даси ответ богу за души наши».

Даси ответ богу! И труды, и годы... Тридесяти лет подвига! Назад пути не было.

А мечталось! Еще в Толвуе, в позабытом дому отцовом, добиться трудом духовным того почета и уважения сильных мира, коего не добился родитель в господинстве своем!

Тысячи поприщ покрыл он, и вот перед ним, на горе, столь же недоступен, как и прежде, терем Марфы Борецкой, владетельницы далеких островов.

Зришь ли ты, господи?!

Так страстно хотел чуда, так верил в то, светлое, явившееся ему далекой зарей в восходящих от востока лучах: белый храм, простертый на воздухе, великий и прекрасный, что примыслил к неясному видению своему.

...Пресветлый храм, далекое утро, первое утро на острове, сполохи играющие. А после, год за годом, что было? Мошка и комары, нашествие гадов, глад, стужа, темень и наваждения бесовские. Секли деревья, созидали кельи и варницы, ковыряли мотыгами землю, холодную, неродимую. И месяцами — бушующее неукротимое море, месяцами не зрели человечьего лица!

Знал доднесь, что надо только молиться сильнее, надо захотеть, а тогда — что говорить, делать — бог подскажет. И не помогал ли ему господь?! Послал же ему, полумертвому, двух рыболовцев с кережею муки и масла? Христиане ли то были, без останка сгинувшие в пучине морской, божии ли угодники, как полагает ныне вся братия?

...Не подарят ему острова, и все разойдутся, и снова — он и старик Герман, немым укором невыплаченного долга мертвецу, блаженному Савватию, о котором он было забыл. Срам! Дождался послания из обители Кирилловой! Надо было начать с перенесения мощей блаженного! Быть может, он-то и свят, он-то и оборонил бы обитель? Старец, не ведавший богатств мирских, искатель пустынного жития, на далеком северном острову обитавший, как птица небесная, не ревнуя ни о славе подвижнической, ни о зиждительстве церковном, а об одной лишь возлюбленной тишине.

Но так самому (самому!) хотелось чуда! «Не было смирения во мне, и потому не сподобил меня чудес. Но и карая мя, справедлив ты еси, господи!»

Пусть.

Чудом будет обитель Соловецкая!

В мечте Зосима не заметил, как толпа мужиков придвинулась ближе.

— Цего он?

— Вишь, боярыня не приняла.

— Гневаетце!

— А хто таков?

— Угодник Соловецкой, Изосим.

— Ну!

— Оська, поведай обчеству правду-истину!

Веселый чернокудрый мужик из вольных крепко обнял знакомого ему Марфина холуя. Тот дернулся было:

— Не трожь!

— Ништо, от мене не вырвесси,— играя голосом и щурясь, продолжал скоморошить мужик.— Поцто вы с Якимом-ключарем монаха прогнали?

— Не мы, боярыня!— угрюмо отзывался холоп, пыхтя, но не в силах вырваться из невольных объятий.

— Неужто? Побожись!

— Крест! Сама сказала: отчину нашу отъемлет.

— Каку таку отчину?

— Острова Соловецки... Пусти, однако!

— А ты не балуй, Потанька,— вмешался второй холоп,— Иеву Потапычу скажем ужо! Мы-ить от его посланы!

— Дивно, свово богомольца не пожаловала!

— Как поется: «Стала наша теща зятьев провожать...»

Эх, старцу почет дают,
Два холуя от порога волокут! —

глумливо пропел веселый мужик. Кругом хохотнули.

— Марфе никто не указ!— дивясь и одобряя, громко сказал молодой парень в толпе.

— Все ж старец божий, грех!— раздумчиво отозвался на то пожилой мужик.

Зосима обвел очами оступившие вкруг косматые лица. То был наемный сброд, сироты и пропойцы, разорившиеся ремесленные и купецкие дети, худые мужики-вечники, кого за полгривны наймуют бояра ради вечевых и судных дел своих, вольница новгородская, всегда готовая на гульбу и смуту, хватающая чужое добро на пожарах, а в прежние веки выкидывавшаяся в беспощадных ушкуйных походах на Двину и в Поволжье, грабя Кострому, Ярославль, Казань, Нижний, а то и Сарай, столицу Золотой Орды,— не очень разбираючи, где свои, православные, а где татарские и булгарские купцы,— шильники, ухорезы, городская сволочь и рвань. Марфины люди жались посторонь, выглядывая из-за спин разгульной дружины.

— Бог указует и сильным!— сурово возразил Зосима, сверкнув взором.— Обидящий старца — Христа обидит, и от господа же восприимет кару свою! Обители и храмы устроили святые отцы на спасение роду человеческому. Во иноки из великих животов уходят, и от славы, и от всей прелести мира сего отрекаютце. И не ради корысти, а ради чистоты душевныя, ради молитвенного бдения еженощного! И моления возносят иноки о тиши-

не и об устроении мира сего не ради сильных князей и бояр великих, а ради всех христиан православных спасения. Нет сильных пред господом, ему бо первее станут последние в мире сем, речено бо есть: «Блаженни нищие духом, яко тех есть царствие небесное, и блаженни кротцыи, яко тии наследять землю. Блаженни есте, егда поносят вам и гонют и лгут на вас мене ради — вы есте соль земли!»

— Гладко бает старец!— примолвил кудрявый. В шутке, однако, просквозило уважение.

— Постой-ко! Пусти!— донесся сторонний голос.— Христос не то заповедал! Он сам в миру жил... Пусти-ко! Апостолы в светлых ризах ходили... Раздайтесь, православные!— взывал спорщик, проталкиваясь к Зосиме.— Павел-апостол рек: «Вступайте в брак, а не блудите беззаконно!» Пусти, отдай!

Из толпы вывернулся, наконец, в рваном зипуне, седой, клочкастый суховатый философ («Расстрига!»— неприязненно подумал Зосима) и, оттолкнув чьи-то пытавшиеся его сдержать руки, кочетом налетел на угодника:

— Кто дает в монастыри, тот зло деет, откупаютце! От бога не откуписсе! Не про вас ли то, мнихов, сказано: «Горе вам, книжницы и фарисеи! Затворяете царствие небесное человеком, пожираете вдовиц достояния, лицемерныя моления долгая творите?!» И обряды те тлен, бог внутри нас! Зри в святом благовествовании от Матфея о молящихся в сонмищах и на стогнах...— кричал философ.— «А ты, егда молисся, вниди в клеть свою и, затворив двери, помолись отцу твоему втайне»— то сам Иисус сказал! А днесь уже Христос на земли церквы не имат, зане вы, мнихи и священници, на мзде ставлены!

— Ложь! Ересь стригольническая!— возопил Зосима.— И Исус Христос ходил в многия домы с учениками своими, учил истинному слову и благоразумию, чудеса многая сотворяюща, и принимал от тех же доброхотные даяния и честь многу! И сам, сам паки рече: «Яко с вами есмь, до скончания века!»

— То-то ты скончанием века народ пугаешь! Еще поглядеть, кто еретик! Во исходе седьмой тысящи лет мира конец предрекаете, а Иисус сказал: «О дни же том и часе никто же весть, ни ангелы небеснии», вота как!

— Прелесть змиева! Священницы — апостолы христовы! А кто без поставленья учит... В геенне огненной! Дьявол!

— Дьявол в человецех части не имет! Хочет добра человек,— добро, зла — зло. Душа самовластна, верой утверждаетце!

— Еретик! Ересь богомерзкая! Лжа! Лжа!— вопил Зосима, замахиваясь посохом.

— И то лжа?!— подступал седатый философ, сжимая кулаки.— А подобает инокам волости и селы со христианами за монастыри брати, сбирать мзду и всякая многоценная себе на по-

требу, пить слезы христианские? Аспиды несытые! В боярах такова свирепства и ярости, и то мало будет! Христос вам заповедал не заботиться о дне грядущем, жить от трудов дневных, вота, как эти мужики, сии тружающиеся, в поте лица, а вы?! Вопиет к богу грех священнический и иноческий!

— По апостолу, по апостолу сие! Церковницы церковью питаются. Кто бо, насади виноград, от плода его не яст ли, или кто пасеть стадо, от млека стада не яст ли? — гремел в ответ Зосима.— Нечестивец! Расстрига! Вот ты кто: расстрига, убеглый! Хватай его!

Уже Марфины холопы шевельнулись было, нерешительно взглядывая то на угодника, то на остолпившую его вольницу, но тут второй мужик, вылезший из толпы, видно, приятель философа, вмешался наконец:

— Пусть его, оставь, Козьма! Привяжутце, до духовного суда доведут, насидиссе! Идемо!

Распалившийся философ еще упирался, но товарищ силой, ухватив за плечи, вытащил спорщика из кучи мужиков.

— Пропадешь, Козьма, и мене с тобой пропасти будет!

— Пусть,— кричал тот, уводимый от греха,— пусть и боярыня Марфа послушает!

— Добро бы сама, а то ключнику доложат, она и не узнат, а я работы лишусь из-за тя...

— В прежние веки никакого опасу не было у нас, в Новегороди, власти не страшились, сильным не кланялись...— остывая, бормотал философ.

— Дак чего говорить! В прежни веки!— горько отозвался приятель Козьмы, поправляя шапку на спутанных светлых волосах.— Правды нету в боярах, есть ли еще у великого князя на Москвы!

Сзади шумела толпа, по-прежнему возвышался грозящий голос Зосимы, продолжающего обличать отступников веры.

Мужики поднялись на угор. Та же картина открылась им, что смутила давеча Зосиму, но картина своя, привычная. И когда, подняв душное облако пыли с насохшей за день тесовой мостовой, мимо промчали верхами трое молодых красавцев в шелках и золотом шитье, на дорогих скакунах, что храпели, выгибая лебединые шеи, и с опора завернула в расписные ворота Марфина двора, то философ Козьма лишь покосился недовольно, закашлявшись, так и не разобрав, молодой ли то посадник, Дмитрий Борецкий с приятелями или дурень Федор, младший сын Марфы, гоняет опрометью по людным вечерним улицам, грозя растоптать конем зазевавшегося горожанина? А его спутник даже и не оглянулся, только вжался к тыну, пропуская коней, да, прижмурясь, отер рукавом пыль с усталого, в ранних морщинах, широкого плосковатого лица.

— Я вот цего хочу у тебя, Козьма, спрошать,— начал он, когда чуток улеглось бурое облако, поднятое копытами коней.— Теперича все про конец света говорят, что при последнем времени живем. Гляди: и глад, и морове частые, и трусы, и потопы, и междоусобные брани — всё уже въяве сбываетце. И что жить станет утеснительно — земли много, а жити негде людям,— и то так! А ты даве монаха укорил... Дак цто, будет ли конечь-то? И как тогда, вси погинем али как? Али избранни останутце! Богомольцы?

— Духовно надо понимать, Иване. О сумраке божественного у Дионисия Ареопагита чти, а про звездное исчисление книга есть, глаголемая «Шестокрыл». При конце седьмой тысящи лет праведные восстанут, а злые и неправедные скончают живот свой зле. Мир же отнюдь не погинет, то — басни!

— Худо веритце...

— Дак прочесть можно!

— Ты вот грамотен, а я ить читаю по складам, не умею божественное разбирать.

— Чего ж мало учился?

— Не на цто мне!

— Писание разбирать каждый должон! — сердито возразил Козьма.— Батько-то знал грамоте?

— Батько знал... Дедушко у нас был грамотей, век на святых книгах сидел, да что с того? Все одно, в кабалу идти пришлось.

— Ты ить мне не сказывал того.

— А, старое ворошить! До московськой войны летов за десять еще, когда деньги серебряные обманны лили, дедушко-то наш сильно потерпел на том; да в та поры десять летов голодовали, хлеб был дорог в торгу, и того поокуду, а свой не родилсе, пришлось землю заложить. Долга не воротили по грамоте в срок, а как дедушко-то наш умер, в тот час ябедницы налетели, чисто воро́на. Отец мыслил дело поправить, онтоновскую долю продать за долг, ан ту землю посельской великого боярина Захара Отвина, распахав, заехал, все и ото́брали задаром...

— В суд-то подавали?

— Как же! Дак с сильным судись не судись, один конец... Век, говорит, пахал. Ему, Захарию, и прозвище «Отвине» — ото всякой вины отопретце. В суд-от своих доводчиков не представить, всякой боярина боитце, а тот молодцов наймует, придут с наводкой к суду, мало не вся улица, тут попробуй, судись! Да затянут того доле, и концей не найдешь. До того досудились, и остатнюю землю, что было, полторы обжи, и то потеряли, и остались ни с чем Нет уж, на сем свети правды николи не добитьце!

Разговаривая, мужики спустились по Великой и, не доходя

до церкви Сорока мучеников, свернула направо, огибая Детинец. Иван торопился к себе, в Людин конец, а Козьма, которому надо было через мост, на Славну, увязался провожать приятеля: дома философа не ждал никто. Ближники, вся семья, погибли от мора четыре года назад. Оставшись вдов, он покинул службу (Зосима угадал-таки в супротивнике лицо из духовного звания) и с тех пор жил случайными заработками, проповедуя всем, кому мог, евангельское учение.

Межулками мужики вышли на Яневу улицу, Иван развалисто, но быстро шагая, Козьма петушисто подскакивая на ходу.

— Взглянуть бы только на райское житье, где нашему брату легота, а тогда и помирать не страшно,— говорил Иван.

— Рай тоже духовно понимать нужно, в мечте. Телесными очами его не узрети,— отзывался Козьма.

— Не скажи! — возразил Иван, оживляясь.— Я вот слыхал от людей, где-то на Студеном мори, бают, находили мореходци рай, людем явлен. Мне о том Прохор Скворец сказывал, а ему дедушко, а дедушко еговый в Неревском конци от старых людей слыхал, что и сами на Белом мори бывали, а те от прадедов слышали, и так и идет... А видели тот рай, сказывают, Моислав новогородец и сын его Яков, неревчане тож. Они с полуночными народами торг вели, по всякой год по морю хаживали. И шли одночасьем на трех юмах, а в поветерь, об осённой поры, припоздали, тёмно время уже. А тут погода пала, морок, зги не видать, заверть: то всток, то подсиверик ударит, одну юму опружило у их, кто тамо был — только рука махнулась, и не видали больши. А тех две юмы отбило от всех берегов и долго носило море ветром, не чаяли живы быти. Блудили не по один день, и принесло их к высоким горам. А над горами сияние, сполохи играют, солнца не видать, а паче солнца светло. И гора высóка, а на горы Спасов лик лазорью написан нерукотворенно... Одной лазорью! Так и сияет! И на горах ликование слышится, и поют дивными глáсами. Невидимо ликуют и поют. Они одного друга свово послали на гору ту, поглядеть И он, как взошел на гору, так руками-то всплескал и засмеялся, и побежал туда, на голоса ти. Они дивились да другого послали, наказывали: воротись, скажи, цто тамо? И этот тоже руками всплескал, с великою радостью, и побежал, и не видели больши. Ну, на их страх напал, и поити не смеют, и вера им узнать, что за светлость такая на горы? Дак третьего запосылывали, и привязали ужищем за ногу, чтоб не ушел. А тот тоже всплескал руками-то да побежал по горы, в радости забыл и про ужище на ноге. А они его сдернули за ужище вниз, зрят — а он мертв... Ну, и побежали оттуду на корабли вспять, не дано им было, значит, рая того видеть... А кабы вси пошли, думаю, дак и никоторой не воротилси!

— Эх, Иване, Иване,— помолчав, отозвался Козьма,— чего

ты рассказал, о том преже архиепископ Василий писал к тверскому владыке Федору. «Послание о рае» прозываетце.

— Вот видишь!— живо подхватил рассказчик.— Стало, люди не врут! Владыко Василий, он знал! Каликой за то и прозывался, во святу землю сам хаживал, гробница его во святой Софии!

— Не то говоришь, Иван!— прервал Козьма, морщась.— Люди, когда умирают, душа ить одна идет к богу-то, а тело в земле гниет. Как же можно с этим-то смертным телом нашим рай увидеть?! И рай, и ад — телу нашему они недоступны суть, их духовно понимать надо!

— Это как же так — в мечте? Выходит, и там Захария Овин уцелеет? Нет уж, пусть он въяве помучитце в геенне огненной, черти в котли поварят. К им туда уж он с наводкой не придет!

— Эй, мужики!— донеслось сзади. (И к счастью: начавшийся спор едва не перешел в ссору.)

Приятели оглянулись. Спеша межулком, их догонял давишний чернокудрый веселый мужик.

— Никак, Яневой шли? А я-то огрешилсе, думал от Розважи на Великой мост поворотят, опосле смекнул, что Ванята не инуду как домой — его от Нюркина подола зеленым вином не отманить!.. Ну, кто кому заливает, ты ле, Козьма, али Ванята? Жаль, старца не дослушали, про свой монастырь Соловецкой сказывал, красно бает! Поди, о сю пору розливаетце еще. Марфины-ти все уши розвесили, я уж побег вас догонять. Дак о чем толковали?!

— Я Козьме про рай сказывал, ты знашь...— внезапно зарозовев, как отрок, отвечал Иван.

— Врут, должно!— легко отвечал балагур, прищуриваясь. и, вздохнув, не то усмехнувшись, добавил в шутку ли, взаболь:— Нам того рая видать, как свиньи неба. В греху, что в полове сидим. Монах, тот увидит! Не нашей братьи кость, тоже из бояров, видать по всему. А ентим вон и рая не надоть! — присвистнул кудрявый, подмигивая.

На выходе из межулка, прячась в тени старого, с прозеленью, тына, стояли двое: девица — в алом косоклиннике, кутала розовое смеющееся лицо в шитый травами плат, и молодец щеголь — в зеленых востроносых сапожках, распахнутою епанчею загораживая красавицу от сторонних глаз.

— Эх, девка, малина-ягода! Валяй, не жалей! — прокричал кудрявый и еще оглянулся, ловя девичье смущение и свирепый взгляд щеголя.— Боярчонок, видать по всему! Беда девкам. От одних сапогов голова кругом пойдет!

Козьма тоже поглядел скоса, двинул сухим кадыком, сглатывая набежавшую слюну, и сник, свесил голову. Разом расхотелось спорить. Вспомнил пустую хоромину свою... Прошла молодость, прокатилась, не воротишь!

Пройдя еще немного, он вдруг резко остоялся, махнув рукой:

— Ну, прощевайте, мужики, мне на Славну!

— Дак... Чего ты? Идем! Нюра не зазрит, поснидашь с нами?!— дивясь, оборотился Иван.

— Ни. Дело есть!

И, утупив очи в землю и не оборачиваясь более, Козьма быстро зашагал прочь.

Потанька-балагур аж присвистнул:

— Ай девка, обожгла правдолюбца нашего?! Старый конь...

— Оставь!

— Да я ништо... А лют! Как он мниха-то!

— Кто, Козьма? Он лют! Да и учен, не чета нам!

— А монах свое дело знат, вишь, на морских островах вселилсе. Поди, его и Марфа не выгонит!

— На Студеном мори?

— Ну! От Сороки туда добираютце. Стужа велика! А богато: кто ни был, все с прибытком оттоль.

— Гибнут тамо!— усомнился Иван.

— А как же!— радостно подтвердил балагур.

— Слышь, Марфа в очередную народ набират, ты к Прохору подкатись, хошь я, поставим ему пенного, пущай посылает в Заволоцкую землю?!

— Боязно, да и как Нюра... Дом кидать...

— Мотри! Век за жонкиным подолом не просидишь. А то по осеням, как воротятце неревские мореходцы, сходим к ним, потолкуем, а? Слыхал, немцы нашего убили, у немецкого двора, лодейника с Торговой? Двор зорить уж хотели, дак все бояра за него горой! Торг, вишь, пострадает! А мы для их... Скучливо чегой-то становитце в Новом Городи! Ну, прощевай, покуда, гости!

— И ты тож!

Балагур, насвистывая, свернул на Легощу, а Иван все шел да шел, не глядя ни на людей, ни на пышные боярские терема Прусской улицы, ни на белокаменную красоту Детинца, и думал. И думы его были все невеселые.

«Придет ведь, опеть придет!— бормотал он сокрушенно, представляя веселую сытую рожу Наума Трифоныча, купца, которому задолжал по закладной.— Придет... И с долгом не торопит, паскуда, хочет терем откупить! А тогда куда ж? За город выбиратьце, в Юрьевские слободы, али в Лукинское ополье?

А как отдать прадедний дом! Подумать, и то немыслимо! Анна дак с кажного его приходу — в рев. А не отдать... Оба бьютце, что куропти в сильях: лишь петля на шее тужее день ото дня. Все даром! От зари до вечера только и заработаешь себе на хлеб! Верно, что хошь к Студеному морю подаватьце...»

Вечерело.

Часы на Евфимьевской часозвоне мелодично и громко начали бить, указуя скончание дню. Зачалось перезвоном маленьких колоколов, в которые влился, отделяясь, тяжелый удар, и поплыл над Волховом; за ним, подождав, когда звук уйдет, второй, третий... Мужики, что задержались у пристани, примолкли, слушая.

Монах поднял суровое лицо, с невольным завистливым восхищением вбирая в себя похорошевший, украшенный новыми храмами Новгород, белокаменный и богатый. Берег уже весь оделся тенью, лишь по-прежнему ясно горели золоченые маковицы на кровле высокого терема Марфы Борецкой, куда его давеча не пустили холопы... Один из которых, впрочем, теперь мялся и скреб в затылке, всем видом изображая, что-де он бы и рад, да воля не своя! А другой, с простодушным удивлением глядя на чуднóго монаха, косноязычно бормотал: «Цтой-то тамо, на Белом мори...»— хотя и не решаясь еще о чем-то выспросить.

Но вот, благословясь у Зосимы, разошлись и Марфины люди. Холопья, о чем-то тихо споря вполголоса, тоже убрели в гору.

Небо меркло. Скоро на ясной, выцветающей голубизне смутно замерцают звезды, и вохряная полоса заката похолодеет. Над рекою уже струился туман. От пристани отчалила лодья с последними людьми. Замерли удалявшийся плеск весел и бульканье воды, обегающей смоленые борта ёлы. Наступила тишина. На белом, тронутом желтизной дымящемся зеркале Волхова ясно чернела одна только остроконечная скуфья монаха.

Со страхом и уважением (ему еще не доводилось слышать, чтобы наставник так много и так красно говорил при нем) отрок Данило, кашлянув, напомнил о себе:

— Отче, пора нам!

Сторож уже затворял скрипучие ворота невысокой приречной городской стены, что весь день стояли распахнутые настежь.

Зосима, очнувшись от дум, согласно кивнул. Сдвинули лодку.

Солнце уже скрылось за кровлями и вереницею куполов Зверинца и посылало сквозь них прощальные гаснущие лучи на Торговую сторону, выхватывая то два-три слюдяных оконца на вышке терема, то купол и белую стену храма, меж тем как церкви и монастыри Неревского ополья, от Петра и Павла в Кожевниках и до Зверина монастыря начинали сливаться в вечерней мгле. Четко вырезывался на закатной желтизне стройный очерк маленького Симеона Богоприимца, последнего творения архиепископа Ионы, поставленного им три года назад ради утишения гибельной моровой болезни.

С середины реки город казался еще необъятнее. Амбары и

пристани, ряды бочек и горы леса тянулись по неревскому берегу аж до Хутыня, а на Торговой стороне уходили далеко за Онтонов монастырь. И не чаялось конца теремам, храмам, кровлям, перемежающимся огородами и садами, отходящего ко сну огромного города, яко древлий Вавилон не вмещающегося в пределах своих.

Так пышно цветет раннею осенью раскидистая роща, выметав и раскрыв в полный рост уже все ветви и все листья свои, и кажется она еще более прекрасной и гордой от золота, багреца и черлени,— первых смертных печатей увядания.

— Богáто у них тут!

Данило повернул к наставнику оживленное порозовевшее лицо. С удовольствием, сильно и ловко загребая веслом, он гнал лодку наискосок и вниз по течению, к неярко белеющему на той стороне Онтонову монастырю, где соловецкий угодник со спутниками получили пристанище.

Зосиму больно резануло, что парень отгадал его тайную зависть, а тот простодушно пояснил:

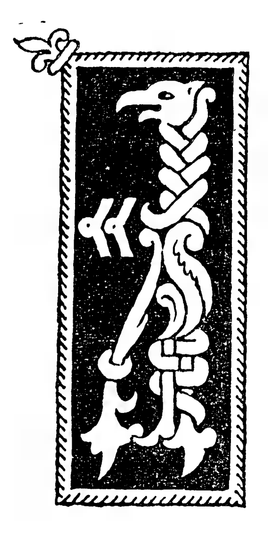
— Глень! Лесу-то сколь!

У Зосимы отлегло было, но тут Данило, того не заметив, тронул его, с тем же искренним простодушием, за самое больное:

— И монастырь богат! Не то, цто мы! Трои черквы камяны, и запасу, поцитай, на три годы. Тута бы жить! Уж толь красиво!

С новою обидой Зосима припомнил гордого ключника в дорогом зипуне, и седатого философа, чуть было не переспорившего его у перевоза, цветные стекла недоступного терема, амбары с солью, рваных мужиков на берегу и, разомкнув уста, прошептал:

— Глубоко вкоренилсе грех во граде сем!



ГЛАВА 2

а не застанет вас солнце на постели!» — писал когда-то, поучая детей, великий князь киевский Владимир Мономах.

Раньше всех подымаются хозяйки. Затемно топят печь, растолкав взрослую дочь: «Только по беседам и шастать, воды наноси!», задают корм скотине, доят коров. Прилежный мужик тоже не проспит зорю. Плеснув холодной воды на засмяглое со сна лицо и крепко утершись посконным рушником, с еще влажной бородой, перекрестясь на икону, берется за топор ли, сапожный нож, косу или тупицу, кузнечное изымало, клещи, пробойник, долото или ножницы — каждый по своему ремеслу. Повозник еще затемно уздает лошадь, заводит, храпящую, в оглобли, оглядывая светлеющее небо, и настороженным ухом ловя скрип соседских колес: не выехать бы последи всех! Купец в сумерках уже у товара. Кто помельче, поспешает к торгу, неся всю свою кладь, пуда два, а то и три, на плечах, покряхтывая от натуги; побогаче — отпирает лавку, стро́жит приказчиков: «Зорю проспишь — и прибыль проспишь!» Такие, как Иван, затемно тянутся к вымолам, разгружать смоленые бокастые лодьи с товаром... И где там, рай земной! Только поглядеть на дико́вины заморские, что привозят и увозят богатые гости.

Не заспят и в терему боярском. Из утра надо нарядить слуг по работам, принять и отправить обозы, проверить коней. Князь Мономах своего скакуна и чистил сам, не доверяя паробкам княжьим. Но всех раньше, быть может, встают монахи. В темноте ночной, еще чуть светлеющей бледно по краю неба, движутся смутною вереницей к церкви, на молитву, и стыд тому из них, кто проспит утреню. Рано встают на Руси!

Зосима уже не спал и был одет, когда на дворе ударили в било. Неодобрительным оком взглянул он на Иону — третьего неудачного игумена своего. Ходил вчера, а что выходил? И сам не хочет игуменствовать, и о хиротонисаньи Зосимы не урядил. Пастух стада святого, руководитель духовный... Никак отоспать-

ся не может! Радости не чает, что сбежал от подвига назад, в Новгород.

Всегда к каждому из трех, сменявших друг друга соловецких игуменов — и к Павлу, и к Феодосию, и к этому, последнему — относился Зосима с почтительным смирением и с сокрушением неложным провожал их из монастыря. Но все яснее и яснее становилось и самому Зосиме, и всем прочим, что лишь ему одному и никому более по плечам сей груз, крест и искус — руковожения братией соловецкой. Паки и паки смиряя себя перед пришлыми настоятелями, Зосима уже давно был вождем духовного стада своего и не мог им не быть. Не потому ли еще не выдерживали в монастыре приезжие игумены? И долг перед святою обителью Соловецкой достоит исполнить ему, Зосиме, и никому больше.

И вот, стоя под вековыми сводами высокого каменного храма, несколько позади и в стороне от местной братии, он молится о смирении гордыни своей: «Недостоин, господи, недостоин! Последний из грешников я, что прибегают к безмерной доброте твоей. Прости и помилуй мя, господи, прости и помилуй!» И, просветленный молитвою, постепенно начинает чувствовать тот покой, в котором рождается упорство труда и подвига духовного.

К трапезе Зосиму нежданно пригласил сам онтоновский настоятель. Не очень разбираясь в сложных отношениях новгородской вятшей госпóды, Зосима, в простоте душевной, ожидал самое большее — сожалительного снисхождения к себе. Меж тем он был встречен так, словно вчерашнее позорище только прибавило ему почета. Знакомый келарь был тут же.

Настоятель радушно усадил Зосиму, сам придвинул ему блюдо рыбы, сдобренной иноземными пряностями, служка налил малиновой воды в тонкую серебряную чару.

В решетчатое окошко, слюдяные створы которого были распахнуты ради утренней прохлады, пахло от монастырского сада созревающими яблоками и вишеньем, терпким ароматом капустных и луковых гряд, укропа. Во всем были основательность и довольство: и в серебряных, с каменьями, дорогих крестах и складнях перегородчатой эмали, и в изысканной простоте трапезы, и в расчесанной, волосок к волоску, бороде настоятеля, его подряснике из лилового шелка, и в почтительности служки, подающего блюда. И Зосиме было неприятно, что все это неспроста, что к нему явно приглядываются и ждут от него чего-то... А что мог обещать он, еще даже не будучи хиротонисан и, значит, не имея прав распоряжаться имуществом своей обители, которая и сама-то просуществует ли еще? На чужой-то земле, гонимая и обижаемая мирянами! Соль? Много ли ее у них, соли той! Семга? Кабы боярские слуги не запрещали ловить! И потому он сурово нахмурился, когда келарь возгласил здравицу «грядущему игумену Соловецкой обители».

— Не сетуй, брат! — с легкой улыбкой изронил настоятель.— Малые монастыри вельми часто обижаемы боярами.

— Скорбим! — подхватил келарь. — Меж тем богатств не стяжают, не держат сел со крестьяны, кои колют глаза некиим, хулящим черноризцев и чин монашеский.

— Достоит тебе, брате, встретиться с Захарией Григорьевичем! — значительно произнес настоятель и взглянул на келаря. Тот опустил голову согласным движением, подтверждая невысказанный приказ настоятеля устроить встречу угодника с этим, как знал Зосима, богатейшим и самым влиятельным, после степенного посадника, боярином Плотницкого конца.

Из дальнейшей беседы Зосима уяснил постепенно, чего от него ждут. Онтонов монастырь жаждал не просто получить какие-то преимущества в грядущих торговых оборотах Соловецкой обители, а и прикрепить юную обитель к себе, на правах младшего брата. Но почему они именно теперь завели этот разговор, после изгнания его со двора Марфы? И почему так уверенно говорят именно с ним?

Зосима еще не стал игуменом, еще не получил (и получит ли еще?) острова, а здесь уже начинаются хлопоты, и обитель святого Онтония торопится стать хозяином в Поморье... Да первая ли? И послание Кириллова монастыря касалось не одних лишь мощей блаженного Савватия, как-никак выходца из этой далекой Белозерской обители.

Ну что ж, бедному Соловецкому монастырю не обойтись без сильного покровителя! И Зосима в тех же окольных выражениях дал понять, что сам он, хоть и не удостоен пока высокой чести, но почел бы за счастье заступничество столь древней и славной обители, как монастырь святого Онтония. Он был искренен, и настоятель с келарем переглянулись удовлетворенно.

По окончании трапезы келарь увел Зосиму к себе, для душеполезной беседы, как выразился он. Впрочем, беседа пошла о вещах совсем мирских, в основном касавшихся того, к кому и в какой очередности должен являться Зосима в своих дальнейших хождениях.

Расставшись, наконец, с келарем, Зосима совсем было собрался уходить, как келарь прибежал снова, радостно-суетливый, и потащил Зосиму за собою, уже по пути объяснив, что им выпала редкая удача: Захария Григорьевич сам прибыл в монастырь, говорил с настоятелем и выразил желание выслушать Зосиму. Скорым шагом оба поспешали опять в палаты игумена.

Приближаясь, Зосима испытал невольный трепет, с некоторым опозданием припомнив, что Захарию Овина очень не любят на Софийской стороне, а в доме Марфы Борецкой — особенно. Однако передумывать было уже поздно.

Захария, расположившийся боком к двери, учуяв входящих,

шевельнулся потревоженным медведем. Дрогнула на темно-зеленом бархате оплечья толстая золотая цепь. Боярин сидел застегнутый, несмотря на жару, в тяжелом дорогом охабне с откинутыми и связанными назади рукавами. Продетые в прорезь верхних пышные рукава нижней рубахи, с парчовыми, затканными серебром наручами, были ослепительной белизны. Он медленно повернул голову, обозрел порыжелую рясу Зосимы, подумал, и, когда уже угоднику стало невмоготу, неспешно поднялся ему навстречу. Зосима с облегчением поспешил благословить великого боярина.

Захарий с натугой склонил толстую шею, принимая благословение, одновременно зорко и тяжело (Зосима восчувствовал как бы груз внезапный) глянул в лицо угоднику, твердо сведя рот, обозрел, просквозив, и, дрогнув в недоброй улыбке двумя потоками старческого серебра по краям темной, лопатою, холеной бороды, изронил глухо, как бы нехотя и как бы не для Зосимы, а для себя предназначая:

— Что, Марфа уже и все Белое море под себя забрала? Торопитце! — Подумал, сощурился, добавил, уже не вопрошая, а утверждая: — Ни бог, ни Новгород не указ! — И в голосе, глухом и тяжелом, колыхнулась угроза, своя, давняя, на миг даже испугавшая Зосиму своей беспощадной глубиной. Впрочем, боярин тут же уселся, прикрыл глаза и иным, более добродушным голосом повелел: — Ну, сказывай! Какая беда на порог привела?

Слушал чуть усмехаясь, переспрашивал с подковыркою:

— Соль варить не дает, говоришь? А много ль варите соли?

Выслушав, кивнул головой, сказал:

— Ну вот, пойдешь к Ивану Лукиничу, спрошай тамо, может, я чего не знаю, может, Марфа уже купила море себе, ай Новгород еще хозяин своей волости? Ну а... других плотничан мы тут, с отцом настоятелем, уговорим!

Когда за Зосимой закрылась дверь, Захарий долго глядел ему вслед, после поднял тяжелые глаза на настоятеля:

— Думашь, твой будет? Смотри, не ошибись! Ну, ну... Ладно, пусть уж, коли не нам, так и не ей, а монастырю святому!

Помощь Захарии Овина была нежданной удачей, но Зосима не обольщал себя. Решал такие дела Совет господ во главе со степенным посадником, к которому он и собрался, не мешкая, в тот же час.

Путаницей межулков и улочек заполья и окраины Плотницкого конца, оглушаемый то металлическим звоном, то визгом пилы, то стуком топора или глухими ударами загоняемого клина, Зосима, сопровождаемый все тем же Данилой, меряя посохом иструшенные поверху, пересохшие бревенчатые мостовые, миновал, наконец, деловую тесноту Конюховой, Щитной, Молотков-

ской и Маницыной ремесленных улиц и выбрался на Никитину.

Дым подымался ввысь сотнями завивающихся струй — из труб боярских теремов, из дымников, из открытых дверей поварен. А людей, людей! У Данилы глаза разбегались и уши закладывало от гуда, непривычного после северной пустынной тишины, сопровождаемой лишь однообразным рокотом моря да глухим ропотом сосен в ветреные дни. И люди-то разные, есть и чудные, видно, не нашей земли, в коротких штанах кругами, будто бабий, подоткнутый со всех сторон подол, в шапках того чуднее: вон у того как мешок завязан на голове и свисает сбоку на ухо, а впереди — перо! И ткань-то дорогая, видно, уж не от беды такую надел! А вон тот — в долгом, до пят, и все изузорено, а голова замотана как полотенцем, верно, из восточной земли, из Индийского царства, про которое еще в книгах пишется. Спрашивать Зосиму, который почти не глядел посторонь, Данило остерегался и только, раскрыв рот из изумления, торопясь, вертел шеей, заглядывая в настежь разверстые ворота усадеб, где кишела дворовая суета и виднелись вырезные, ярко расписанные крыльца теремов, одно другого затейнее, одно другого богаче. А каких коней, в каком дорогом уборе проводили иногда по такому двору! Узда вся в узорном серебре, седло — золотом жжено, попона — в жемчугах, в шитье... А рядом рваные рубахи, разбитые пóршни: такой же народ, какой они видели вчера у вымола.

В одном месте их оступила разноголосо орущая орава ребятишек.

— Угодник, угодник! Юрод! — кричали они, заглядывая Зосиме в лицо.

— Ты откуда? — спросил один паренек Данилу без робости детской, так, что Данило подивился: в крестьянскую избу войдешь, дети жмутся за материн подол, а и на улице в деревне на незнакомого издали поглядят.

— Цто тако тута? — не выдержав, спросил Данило Зосиму.

Тот взглянул мельком:

— Училище! — И, видя недоумение Данилы, пояснил: — Дьякона письму да чтению, да пению церковному обучают малых, а как урок кончаетце, они и резвятся, дети! Несмысленны еще.

— Дак тута всех и учат? — удивился Данило.

— Доброму: смирению да послушанию, кроме родителя и наставника духовного, не обучит никто. А без страха божия, да родительска и грамота не в добро! — строго отвечал Зосима, и Данило замолк, побоясь вопрошать еще, а Зосима подумал про себя, что и там, на Белом море, нехудо бы собирать юных для обучения чтению церковному и письму. К монастырю от того и уважение возрастет в мирянах, и прибыток в хозяйстве появится...

Никитину украшали недавно посаженные, но уже пышно распустившиеся тополя. Тут и дышалось легче. Вдали, под угором, открылся им опять Волхов, наполненный судами, и бело-розовый Детинец, блещущий золотою главой Софии, на той стороне.

Зосима остоялся, припоминая путь, наконец, тронулся дальше, решительно свернув в ближайший межулок. Миновали еще два порядка хором, перебрались по мостику через ручей, наконец вышли на богатую улицу, где еще гуще росли тополя, еще выше подымались терема с гульбищами и вышками, крытыми цветной дубовой дранью. Зосима не сразу признал, что это Славкова, боярская улица Плотницкого конца, столько здесь всего настроили. Новая церковь белела, как сыр, а ближе нее подымалась новорубленая хоромина — вечевая гридница уличанская. Сюда уже доносился глухой гул, и топот копытный, и выкрики — шум великого торга новогородского. Но к торгу они не пошли, а, поднявшись выше, по Пробойной-Плотенской вышли на Рогатицу, где находилась вечевая палата для обыденных дел, и где сейчас чаял Зосима встретить степенного посадника, Ивана Лукинича.

В палатах пришлось дожидаться. Зосима успел поговорить с русобородым крестьянским старостой из Подвинья, приехавшим в Новгород по поручению своего мира, улаживать земельную тяжбу с боярыней Настасьей Степановной, и даже пригласил того к себе, в Соловецкий монастырь, поклониться мощам блаженного Савватия, попутно намекнув, что монастырская соль станет тому дешевле боярской, которую они возят из Неноксы. Староста слыхивал о монастыре, а соблазненный солью, обещал непременно посетить обитель.

Наконец вечевой позовник с поклоном пригласил Зосиму наверх. Прошли под тяжелыми сводами, мимо железных, клепаных дверей хранилища грамот и казны, поднялись по каменной, исхоженной лестнице в горние, рубленые из дубовых бревен покои. Впустив Зосиму, позовник тотчас вышел, прикрыв за собой дверь.

Иван Лукинич Щёка, маленький ростом, суховатый, нарочито просто одетый старик, в первое мгновение показался угоднику простецом. Негустая желтоватая бородка и редкие серебряные волосы, стянутые на затылке в узенький хвостик, обрамляли старчески темное лицо с прямым, чуть покляпым носом и унылыми складками, сбегающими от глаз к опущенным углам рта. Руки, сухие и морщинистые, в коричневых пятнах, были еще темнее лица, и лишь одинокий старинный золотой перстень с печатью на левой, говорил о том, что это рука не плотника, а знатного мужа. Но как только Зосима, благословляя степенного, глянул ему прямо в глаза, усталые, мудрые и властные, обманное впечатление простоты разом исчезло и уже не появлялось более.

Пред ним был муж, и Зосима ощутил это, невольно вострепетав, не просто привыкший властвовать за долгие годы посадничества, но как бы и родившийся с этим правом, впитавший власть с материнским молоком. Человек, шесть или семь поколений предков которого вот уже двести лет, то взлетая, то падая в вечевых бурях своенравной республики, но никогда не теряя посадничьих званий, правили Новгородом. Внук Василья Есифовича, правнук Есифа Захарьинича, праправнук великого плотницкого посадника Захарии... Муж, который уряживал дела с тремя великими князьями московскими, ездил к польскому королю Казимиру, правил посольства, руководил ратями, заключал миры и объявлял войны, старческими сухими руками и поднесь отводивший от Новгорода крепнущую длань Москвы. И его внешняя простота не хранила ли отсвет древнего величия, уже не нуждающегося в блеске украшенных одежд?

Пока Зосима, излишне волнуясь, излагал беды Соловецкой обители и ее скромные просьбы (в скромности которых он почему-то, под властным взглядом внимательных глаз степенного посадника, начал уже и сомневаться), вошел молодой русый красавец, с решительным, как бы огневым лицом. По обращению к нему Ивана Лукинича, назвавшего юношу Назарием, Зосима понял, что это именно тот вечевой подвойский, коего упомянул в разговоре онтоновский келарь, как: «Юного, но украшенного талантами и мудростию, како же отеческой, тако же и немецкия земли, понеже ездих и учахуся за морем, у немец». Человека, который, ежели захочет, как пояснил келарь, очень может помочь Зосиме.

Зосима осторожно попытался вовлечь его в разговор, но не встретил сочувствия. Назарий огнесся к нему без всякого интереса, сказал несколько слов Ивану Лукиничу про какого-то немца и вскоре вышел.

Сидел в палате, невольно смущая Зосиму, еще какой-то боярин, неизвестный ему и никем не названный, небрежно протянув вперед ноги в обшитых жемчугом мягких тимовых сапогах, большеносый, с выпирающим вперед бодливым лбом, и хоть и молчал, но явно взирал неодобрительно. На свою беду Зосима не знал, что это был известный славенский боярин Иван Офонасович, по прозванию Немир, сват Марфы и ярый сторонник Борецких.

Иван Лукинич слушал речь Зосимы, обильно уснащенную высокой книжною украсотой, не прерывая и где-то внутри себя ощущая подступающую последние годы все чаще и чаще усталость, с невольным уважением дивился настойчивости этого, изгнанного Марфой Ивановной человека, упорно добивавшегося владения тем, что ему не принадлежит.

Монах не вызывал в нем сочувствия. Иван Лукинич был и

сам крут, а порою и очень крут с расположенным частично на его землях Вишерским Николо-Островским монастырем. Не раз «сильно наступал» на земли монахов и уже вовсе бесцеремонно сгонял их со своих пожен и рыболовных угодий. Так что гнев Марфы Борецкой в этом случае он понимал вполне. Да и другие дела одолевали, поважнее.

Третьеводни эта ссора с немцами, ночная беготня и пересылки перепуганных ганзейских купцов, когда казалось, что черные люди разнесут немецкий двор в щепы... Кто там виноват в драке — темный лес, а допусти он самосуд, и налаженный с таким трудом мир, а с ним и торговля опять рухнут, и это перед лицом московской грозы! Конечно, жаль этого лодейника, убитого немцем. Передают, и мастер был добрый. А на того рыжего детину из Любека, красноглазого, с воловьими ручищами, он не мог смотреть без отвращения. И уже приходили старосты двух улиц, и от братства лодейников... Немцы откупились, конечно, дали виру, но по закону следовало бы судить преступника и посадить в железа, а то и казнить... Как это нелепо, что ради интересов градских приходится действовать противу своего народа!

А теперь с монахом будет замятня. Вмешается архимандрит. Не ко времени Борецкая затеяла все это! Трудно ли было обласкать старца, наобещать с три короба и услать назад, не солоно хлебавши. А сейчас, когда все силы уходят на то, чтобы собрать воедино перессорившихся бояр... Всегда Борецкие так, срыву, смаху! Сколько сил потратил покойный Исак Андреич, чтобы выставить свой Неревский конец в Великие концы, увеличил посадничество, а чего добился? Оттолкнул славлян от общего дела, да и с Захарией ноне Борецкие урядятце ли?

— Мало нам возни с Клопским монастырем! — проронил сидевший у стены боярин.— То плесковичи отымали хлеб у святой Софеи, теперича етот... Растащат весь Новгород!

Иван Лукинич взглянул на боярина с живо загоревшимися глазами, мгновенно улыбнувшись, и Зосима понял, что вот-вот погибнет все его дело. Он уже не глядел в глаза степенному, а возразил (так было легче) охулившему его боярину, что-де обитель святой Троицы на Клопске основана московитами, шестниками, их же обитель, Соловецкая, корень свой ведет из природных новгородских земель. Тут Зосима смиренно добавил, что и сам он, в миру, родом из Толвуя, тамошних бояр недостойный отпрыск. Что же касается нужд обители, то дар, который она просит, сторицей возместится укреплением веры святой у народов полуночных: дикой лопи, чуди и северной корелы к вящей славе Господина Великого Новгорода.

— Ну, Иван Офонасович, како решим? — спросил степенной сердитого боярина.

(Зосима тут только, с опозданием, понял, кто перед ним, и

торопливо начал припоминать, не изрек ли он напрасной хулы на Борецкую?)

— С Марфой поговорить надо, без нее как же! — отвечал Немир.

Зосиму снова, хоть и учливо, возвращали к порогу терема, из которого он давеча был изгнан с таким соромом.

— Обитель Соловецкая известна нам, процветает она уже многие годы. («Процветает!») Острова пустые, дикие. Город, конечно, отдаст их монастырю, ежели будет на то согласие землевладельцев,— заключил Иван Лукинич.

Это значило, что, кроме Марфы Борецкой, Зосиме нужно было добиваться согласия славенских бояр, потомков Дмитрия Васильича Глухова. Порог гордого терема отдалился от него еще на одну ступень.

У Глуховых Зосима побывал в тот же вечер. Лампадки, образа, домашняя тишина и благолепие — все располагало к душеспасительной беседе, и Зосима превзошел самого себя. В середине беседы слуга внес серебряный поднос с чарками. Зосима отпил глоток, мед был легкий, не хмельной. Отметил, как знак уважения к монашескому сану. Лука и Федор переглядывались, вздыхали. В какой-то миг Зосима почувствовал, что Марфа и им стала поперек — недаром после смерти Дмитрия Васильича на островах хозяйничали одни лишь ватаги Борецкой. Терять Глуховым, по чести сказать, было нечего. Братья еще подумали, повздыхали, наконец Федор, опершись руками о колени, откашлявшись, сказал:

— Как Марфа, так и мы!

И Зосима вновь оказался у прежнего недоступного порога.

Город, многошумный и великий, в венце каменных башен; соборы, один прекраснее другого; крылатые стада лодей, малых и больших учанов, насадов, паужин, челноков; подобный муравейнику торг Великого Новгорода... (Господи, как толикое множество людское вмещается в деснице твоей?!) И над всем этим тьмочисленным сонмищем непонятная власть вдовы посадника Исака Андреича Борецкого, власть, которую ощущал Зосима с каждою встречей паки и паки.

«Неужели и сам архимандрит Феодосий возложит судьбу обители на волю ее?» — уже с сомнением думал он, пока утлый челн, едва вместивший троих путников (Зосима вез-таки с собою в Юрьев соловецкого игумена Иону), ведомый все тем же Данилой, ныне взмокшим от усердия, проходил вверх по течению, вдоль густо застроенных берегов.

Но вот миновали, наконец, Детинец, и город начал неторопливо отодвигаться назад. Еще теснились рыбацкие избушки

на ежегодно заливаемом лугу под стеною Людина конца, но уже отступали терема, и в прогалинах меж домами чаще и чаще мелькали копны сена. За кущами дерев проблеснули главы Аркажа монастыря, и вот, сияющий, величавый, надвинулся на них Юрьев.

У монастырской пристани лодку встретил служка и, осведомившись, кто и зачем, указал дорогу.

Собор, еще величественнее древней Софии, поднялся над ними всею своею громадой, как только они проникли за ограду монастыря, и путники, согласно осенив себя крестным знамением, зашли внутрь, чтобы помолиться под его безмерными сводами, круглящимися где-то в вышине, от коей начиналось головное кружение, стоило лишь поднять очи горѐ. Как мал человек пред величием божьим, если одна лишь мысль о нем подвигнула руки древних мастеров на создание столь величавой храмины, одной из тысяч посвященных ему — безмерному и объемлющему мир! Ныне уже не созидают такого, при конце времен живем, истинно при конце! Умалилась вера у нынешних людей, умалились и обители господни!

Из храма, поклонившись именитым гробам здесь опочивших, Зосима с Ионой отправились к архимандриту Феодосию.

Величавость не окончилась за стенами собора. Она продолжилась в ожидании у порога, недолгом, но полном внутреннего значения, в сдержанных голосах послушников, в драгоценности утвари и одежд, в полуприкрытых глазах рослого, хорошо кормленого, усталого от забот человека, который глядел и слушал внимательно, без обидного снисхождения, не замечая ни пропыленной, грубой и порыжелой рясы Зосимы, ни голодного блеска в глазах Ионы, окончательно умалившегося перед всем этим велелепием.

Не прерывая беседы, Феодосий принял какой-то свиток из рук вошедшего прислужника, проглядел, то опуская глаза к строкам, то подымая их на Зосиму, начертал неспешно на пергамене и знаком холеной руки с большим темным камнем в золотом перстне отпустил посланника. Так же, почти одним мановением длани, принял и отпустил он еще двух монахов и одного мирянина, видимо, из житьих, пришедшего сообщить что-то, касающееся монастырского конского стада.

— Заботы о стаде коневом вместо забот о стаде духовном! — сдержанно улыбнувшись, пошутил Феодосий, отпустив конюшего. — Наши дни проходят в суетах мирских. Завидую вам, которые процветают в тишине, вдали от соблазнов мира и ближе, вельми ближе к господу! — Он с легкой усмешкой оглядел Иону, и беглец из «тищины» весь покраснел пятнами, даже пот выступил росинками на висках.

— Завидую и печалуюсь, что не мне выпал жребий сей! —

с нажимом повторил Феодосий, пристально глядя в лицо смутившемуся Ионе.— Но у каждого свой крест, и должно нести его со смирением и твердостью. А кто окажется мал, и кто велик перед ним в день Судный — судить не нам! Итак,— продолжал он, оборотя теперь на Зосиму повелительный взгляд своих полуприкрытых, с намечающимися под ними отечными мешками глаз,— обитель Соловецкая вновь без игумена? В мыслях наших, что труд сей достоит принять основателю святой обители.

Он помолчал, разглядывая Зосиму, который изо всех сил старался не показать обуявших его чувств: так нежданно просто разрешалось то, к чему он, невольно для самого себя даже, шел все эти долгие годы и чего теперь уже стала требовать вся соловецкая братия.

— Готов ли ты, брат Изосим, к хиротонисанию в игумены?

Зосима молча склонил голову.

— А об островах, чтобы вручить их обители, потребно решить владыке. Полагаю, мольбы верховного молитвенника Господина Новгорода смягчат и сердце болярыни Марфы.

— Преосвященный Иона вельми болен! — решился подать голос отставной соловецкий игумен, с некоторой запинкою называя соименного ему великого архиепископа.

— Да,— подтвердил Феодосий.— Молим о здравии владыки Ионы, но всё в деснице превышнего, он един ведает меру дней наших. Питаем надежду, однако, что телесные немощи не воспрепятствуют святителю принять брата Изосима, о чем и мы тоже похлопочем.

Склонением головы Феодосий показал, что беседа окончена.

Путников проводили в монастырскую трапезную.

Архимандрит Феодосий, в отличие от Ивана Лукинича, целиком был на стороне Зосимы, ибо рассматривал появление каждого нового монастыря как укрепление новгородской церкви. Но тут была против сама Марфа Борецкая, и следовало быть чрезвычайно осторожным. Только через архиепископа Иону, и скорее даже не через него,— Иона был тяжко болен, и его кончины ждали с часу на час, — а через всесильного ключника архиепископского, Пимена, друга Марфы Борецкой, надеялся Феодосий добиться согласия своенравной великой боярыни. Но для этого надобно было, чтобы, во-первых, Пимен, целиком поглощенный заботами о нависшей над городом московской грозе, согласился помочь Зосиме, а во-вторых, чтобы больной Иона захотел принять этого просителя с далеких северных островов. Позвонив в колокольчик, Феодосий велел служителю подать дорожное платье и приготовить лодью.

ГЛАВА 3

й! И-и-ех! Эге-ге-ге-гей! Кони в опор внеслись в расписные ворота. Задохнувшись, с хохотом, седоки соскакивали с узорных седел. Подбегавшие слуги на лету хватали повода. Опередивший всех молодой Берденев поддразнивал разгоряченного Федора Борецкого, дурачился:

— Дайте кваску, горло пересохло. ...Я ему — куда, черт, гонишь? Мало, человека не задавил!

— Ништо! Одним бедолагой меньше станет! — небрежно отвечал Федор.

— Слыхал, давеча, что у немецкого двора содеялось? Черный люд и по сю пору грозитце!

— То немец, а то мы! На нас весь город держитце!

— Хвастай боле...

— Все одно, у нас не Москва, народ давить по улицам не след! — строго бросил им подскакавший Дмитрий и спешился, сильно и ловко спружинив на мускулистых ногах.

Федор передернул плечами, смолчал, закусив губу. Перед холопами, что ль, брат выставиться хочет опять?

Отставшие всадники, подъезжая, спрыгивали с коней. Слуги веничками сбивали пыль с одежды, обмахивали пучками перьев воротники и рукава. Нарядных кровных лошадей водили по двору. Кони, свивая кольцами шеи, храпели, еще не остыв после скачки, пробовали взвиваться на дыбы.

Вся молодая новгородская госпо́да — родовитые юноши из семей великих бояр, посадники и дети посадничьи, а с ними избранная молодежь из житьих, прочих землевладельцев Великого Новгорода — собиралась нынче у Борецких.

На сенях молодых мужиков встретила, будто нечаянно выскочив навстречу, Олена Борецкая. Младшая Марфина дочь не красавица была: девушку портили слишком широкие плечи и слишком густые, не по лицу «мужские» родовые брови. Впрочем, румянец во всю щеку и молодость исправляли дело. Влюбленно глядя на подымающегося Дмитрия, Олена протянулась к

нему, огладила взлохмаченные волосы старшего брата и — скороговоркой, вполголоса:

— Гришу привезли?

Борецкий улыбнулся сестре, полуобняв за плечи, подтолкнул к двери, пожурил негромко:

— На женатых, на красивых не заглядывайся!

Она вывернулась гибким своенравным движением и, вся заалев, исподлобья стала следить среди входящих стройного темноволосого молодого боярина с продолговатым лицом и умными глазами. Григорий Тучин подымался не спеша, пропустив вперед себя нетерпеливого во всем Федора Борецкого с Берденевым. Олене он поклонился учтиво и строго. Девушка, вскинув подбородок и раздув ноздри, ответила небрежным кивком и, вильнув косою, исчезла.

Из верхней горницы вышел Василий Губа-Селезнев. Он и Дмитрий Борецкий разом улыбнулись друг другу и стали по обе стороны двери, пропуская входящих. Василий, здороваясь, черными быстрыми глазами внимательно оглядывал гостей, проверяя про себя, все ли званые прибыли. Он особо улыбнулся Ивану Своеземцеву; с Олферием, сыном Немира, понимающе переглянулся; Никите Есифову дружески сжал руку; Григория Тучина приветствовал легким, но почтительным наклоном головы... Пропустив всех, подошел к Дмитрию. Снизу вверх внимательно поглядел в лицо другу, сощурился:

— Ну, мальчишник в сборе! Тридцать молодцев, да без единого! Савелков уже здесь, с Юрием в шахматы режутся, Тучина ты привез, Телятевы приехали, Михайловы ждут. Наши все, словом. Из плотничан Иван Кузьмин не будет, батька плох, но с ним все уже обговорено, коли надо, и в Литву поедет. Да еще Овиновых пока звать не стал... Славлян мало!

— Своеземцев? — тревожно спросил Борецкий.

— Прибыл,— успокоил Губа-Селезнев.

Дмитрий расправил красивые брови, примолвил, полушутя:

— Что ж, дружинушка хоробрая! К каждому бы да по тысяче молодцев прибавить еще!

— И того мало будет. Впятеро пожелай! — щурясь, отрывисто отвечал Василий.

— Впятеро, пожалуй, коли всех мужиков в городе собрать, и того не достанет... Ну, пойдем!

В горнице, пока не подъехали Борецкие, разговоры велись о том о сем: о конях, урожае, соколиной охоте. У шахматного стольца барсом протянулся в резном кресле удалец в рудо-желтой огненной рубахе, друг Борецкого и Селезнева, Иван Савелков. Напротив него сидел юноша писаной красоты. Стройная,

почти девичья шея открывалась широким брошенным на плеча воротом, умащенные благовониями темные волнистые кудри мягкой волною ниспадали почти до выреза тончайшей, в сборах, отороченной кружевом нижней рубахи. От длинных ресниц падала тень на матовой белизны щеки, чуть тронутые летним загаром. Изящной рукой с длинными ухоженными ногтями он лениво переставлял точенные из рыбьего зуба фигуры. То был Юрий Иванов, сын славной вдовы Настасьи, прусской великой боярыни, соперницы Борецкой, обосновавшейся на Городце. Оба были хорошие игроки, но играли вполглаза, баловались ожидая запоздавших.

Миновала пора героических походов на «низ» и внешней, нарочитой, грубизны. Юноши в Новгороде, подобно знатной молодежи далекой Флоренции, стали завивать волосы, кудри свободно опускались до плеч, на широкие, откинутые на спину цветные воротники. Лишь у стариков волосы по-прежнему лежали на спине, свитые в плотный жгут. Иные из щеголей, напротив, подстригались коротко, подвивая концы локонов, чтобы кудрявились венцом под околышами круглых русских шапок, знаменитых по всем берегам Варяжского моря и до Дании. Только на Москве, перенятое от татар, начинало входить в моду бритье головы (в походах да в поле обовшивеешь с долгими-то волосами!) и твердые стоячие воротники-козыри. Но и там пока еще больше ценилось новгородское платье и прически.

Как только во дворе раздался топот и голоса, оба бросили игру. Иван Савелков потянулся, расправил плечи, повел руками — ух! Засиделись, ожидаючи! Вскочил прыжком, пошел навстречу входящим. Юрий тоже встал с ленивым изяществом. Шумные приветствия, удары по плечам, хохот наполнили широкую горницу.

Григорий Берденев, дорвавшись, пил теперь малиновый квас, кося глазом на Федора, которого в перерывах продолжал поддразнивать. Федор уже начинал фыркать — легко закипал от пустяка. Был он ниже брата Дмитрия, хотя тоже широк в плечах, и при семейном сходстве,— оба бровями, взглядом походили на мать — был темновиден, смотрел как-то исподлобья, бегал зраком, часто раздувал крылья носа, и тогда что-то дикое гляделось в нем. Ему и впрямь мало стоило стоптать кого конем или рубануть сплеча, а в гневе он становился неистов, за что и получил прозвище «дурень». Не хватало Федору и ума братня, больше сердцем чуял, чем разумом. Что ляжет ему на сердце — добро, а не ляжет — долой, и знать не хочу.

Гомон гомонился, пока распоясывались, скидывали летние епанчи и ферязи, а слуги подносили закуски и легкий мед. Хмельного хозяин не велел давать, к серьезному разговору нужны ясные головы. Все были знакомы по родству-кумовству,

но так, чтобы враз всем собраться, редко случалось, и потому речи, шутки и смех не утихали. Борецкий с Селезневым-Губой и сами не торопились начинать. Василий взялся тягаться с Савелковым на пальцах, и то огненная рубаха перетягивала, и тогда остолпившие борцов друзья подбадривали Василия Губу, то клонилась вперед, и тотчас зрители начинали поощрять Савелкова. Селезнев все же перетянул, изловчась, нежданным рывком, свалил противника на себя:

— Силен ты, Иван, а башки не хватает!

Григорий Тучин в шутках почти не принимал участия. Летнюю бумажную ферязь свою он лишь расстегнул. Голубая рубаха с негустым серебряным шитьем очень шла к его продолговатому сдержанному лицу с темной бородкой. Одетый проще и строже других, он выглядел, как всегда, изящнее.

— Что, Григорий, все в стороне?— окликал его Павел Телятев.— Вижу, ты скоро в монахи пойдешь со своими-то попами, уговорят! Что жена молодая делать будет!

Григорий не ответил, только досадливо повел бровью.

К нему подошел, улыбаясь своей медленной смущенной улыбкой, Иван Своеземцев.

— Слушай, Григорий, я давно хотел тебя спросить про этих братьев духовных. Ты к ним почасту ходишь. Что это, в самом деле серьезно?

— Это очень серьезно, Иван! Порою мне кажется, что это серьезнее всего, что мы тут говорим и делаем.

— Даже судьбы Новгорода?

— Даже.

— Но... Горсточка людей, бедняки, без власти, без денег... Даже и черный народ у нас на Славне о них почти не знает... Что могут они?

— Возможно, они лишь и могут, а не мы. Отними у нас нашу власть и этот блеск и роскошь, что останется? А у них нечего отнять, разве книги!

— Но ты можешь объяснить их учение?

— Признаться, я сам еще многого не понимаю. Но они во всяком случае считают, что жизнь духа главное, а плотское — тлен, и на деле следуют своей вере.

— Но разве церковь созиждется не тем же Христовым учением?

— В букве, но не в духе. Буква омертвляется, а дух живет, и для утверждения духа приходится ломать букву. Они утверждают, что такова вся жизнь, «не умрет зерно,— не произрастет». Новое разрушает старую оболочину свою.

— Но отвергать Христа для Христа? Этого мне не понять! Во всем нынешнем сраме он один, мне кажется, в кого еще можно верить!

— И потому-то его именем и торгуют на всех наших торжищах духовных. Каждогодно празднуем распятие и воскресение Христово, будто и впрямь он выкупил вперед и до конца времен все грехи наши... Потому же они и поклонение сотворенным вещам — иконам — отвергают.

— Отвергнуть легко! А ежели черный народ станет рубить иконы и новое насилие воцарит?

— Там и много другого: счислению лет, противлению лунному, звездотечению учат... — отвечал Тучин с легкою, чуть приметной неохотой, поглядывая по сторонам. Он тут же перебил сам себя: — Ну, вот, кажется, до дела дошли. Что там Селезнев? А, опять про соколиную охоту! Переходили бы сразу к делу... Слушай, Иван, говорят, старики хотят тебя в Совет старых посадников от Славны поставить? — В свою очередь спросил он Своеземцева.

— Не хочу! Почему Иван Офонасович не может?

— Немир? Его ваши посадники больно не любят. Задирист! А за тебя и Марфа Ивановна стоит, и ваши бояре согласны, бают: «В отца место»!

— Борецкая!

— Да. Она отца твоего уважала.

— Знаю. Но какой я «старый посадник»! Давеча пришлось судить. Люди втрое старше меня и не из бедных, Домажиров да Филиппов отец. За каждым сотни людей, а сошлись на полуторах обжах спорной земли. Старики! Сами не могут по-люби решить, от меня суда просят... Чуть не отослал на Городец, право! В отца место... Отец или я?

— Ты хоть начитан, законы знаешь.

— В этом мне тоже с родителем не тягатьце. Нет, ты вникни! Есть вечевая палата, дьяк вечевой есть, приставы, позовницы, подвойские, хранилище грамот — все есть! Так нет, там решить не могут, идут к посаднику. Вторая власть нужна. А я не решу! В Москву писать? Великому князю Московскому? Он решит! Про полторы обжи спорной земли... Мало у него дела. Решать будет какой-нибудь Василий Федорович или Степан Брадатый; да опять же не сам,— крысу приказную, что ни есть мелочь, посадит, холопа своего, тот решит! А печать будет Великого князя. Или к нам же на Городец отошлют, к наместнику. А там и пойдет, как на Москвы уже началось: великие бояра приказным холопам кланяютце да посулы сулят. Любо им то? Верно, любо! Тысяцким был — проще. Купцы хоть своего не упустят, уложение помнят наизусть. Следи только, чтобы тебя самого не облапошили. А сейчас эта заваруха будет с Москвой да с Литвой. Не верю я католикам! Они и хороши — для себя, а мы для них что татары, язычники. Да и навряд Славну сейчас на войну сговоришь.

— Ваши житьи приехали!

— Кто побогаче, да у кого земли по Кокшеньге. Решают великие бояра! А из восьми славенских посадников один Немир...

— Постой, Селезнев говорить хочет!

Шутки, наконец, кончились.

— Вот что, друзья-товарищи! — начал Селезнев.— Собрались мы сюда не мед пить, не танцы водить, а по нужному делу, по сватовству! — Он чуть усмехнулся, примолк, обвел собрание пристальным взглядом своих сощуренных черных глаз.— Великий князь снова требует княжчин, где ни есть: Двинских земель, и всего, что заняли москвичи под Вологдой, Бежецким Верхом, Торжком, Ламским Волоком... Уступать не хотят ничего.

— По-прежнему, значит!

— Да, по-прежнему.

— С Казанью разделались, за нас принялись!

— Я то же хотел сказать...

— Двину терять жалко!

Молчавший до того Дмитрий вмешался. Негромко, но ясно и твердо, так, что услышали все, сказал:

— Двиной не кончитце! И суд, и право, и власть, и вотчины отдадим.

Сказал и примолк, и вдруг стало ясно, что да, Двиной не кончится. Да и что такое Новгород без Заволочья!

— Новая война с Москвой? — с усмешкой возразил Павел Телятев. — Под Русой дали нам!

— Кому дали,— вмешался Савелков.— Не знаешь, как дело было! Чарторыйский рать у Липны остановил, одна боярская дружина за озеро ушла. Князь Шуйский был, да Иван Лукинич, да вот Григория Тучина батька, его тогда и взяли в полон, да Казимер, этот раненый ушел, бился крепце всех... В пяти стах человек шли, в тысяче ли, не боле того. А московской рати пять тысящь! Дак в первом соступе разбили москвичей, пошли по двбрам, да платье, да доспехи почали лупить с мертвых шестников, да с татаров битых, строй розрушили, а тут иная рать с поля подошла, да Басенок не растерялся, своих спешил, разоставил за плетнем, за сугробами, к им не пробитьце, снегу коню по грудь, а они, знай, бьют из луков по лошадям... Вот и побили!

— Басенка не зря шильники в шестьдесят осьмом ладили убить.

— Было?

— Было такое дело! За Славной, в поле, под Городцом. Да утек.

— Ловок!

— Не больно ловок, как свои же бояра ослепили его на Москвы.

— А луки татарские хороши, мы вчерась пробовали с Ермолой. Бьют на триста шагов — насквозь!

— Михайло Олелькович едет? — спросил кто-то из житьих.

— Едет. В ноябре ладитце быть.

— Киевский князь?

— Брат киевского князя. Он из Ольгердовичей, крещеный, греческой веры. Ольгердовичи — они все православные.

— Все одно, не выстоять одним противу Москвы, хоть и с Олельковичем!

— А Шуйского куда пихнули?

— Шуйский на Двину уехал, неспокойно там.

— М-да, стало, дело без нас уже движетце!

— С Москвой ежели... Такое вместе со стариками надо решать...

— И еще узнать, что Захария Овин думает!

— Что вы к Захарию привязались! — вступился Берденев.— Захарий Григорьевич думает что и все. Кому под Москву охота!

— Старики у матери соберутся на днях, — вновь подал голос Дмитрий Борецкий. — Мы уже не дети, у самих дети растут! Половина из вас — посадники. Ваши суд и власть. И то вспомните, когда Онцифор Лукич дал городу новый устав, он и сам отступился посадничества, и другие старики отступились. Молодежь стала у кормила власти.

— Тому уж боле ста лет! А нынь, кто умен, давно свои вотчины под Торжком да Бежичами московским боярам попродали...

— Он дело говорит! Старики иные уж в домовину глядят, а нам жить!

— Старики, однако, поводья из рук не выпустили, нам не передали,— возразил, пожав плечами, красавец Юрий.

— Старики не выдадут! — вспыхнул Савелков, распаляясь.— Казимер — герой, Богдана не свернешь! Офонас Груз — старчище кремень и Тимофей не хуже! Лошинский? Пенков? Берденев? Самсоновы? Федоров? Все с нами! — выкрикивал он знакомые каждому имена. — Захарья Овин, этот, не во гнев сказать... Но и тот за свое встанет! Да в плотниках один Иван Лукинич чего стоит! Славлян испугались? И славляне тоже здесь! Своеземцев, покажись! И на Славне-то один Исак Семеныч к Москве тянет!

— Жаль вот Яков Игнатьич умер, был мужик, каких мало! — вздохнули в толпе.

— Дмитрий Василич Глухов, вот кого жаль!

— Василий Степаныч, Своеземцева батька, до схимы, самый был светлый ум в Новом Городе. При нем бы и Славна не шаталась!

— Самсона Иваныча не забудьте еще, господа!

— С Москвы пишут про нас: люди молодые, остались без родителей, наставить некому,— насмешливо подал голос Губа-Селезнев.

— Не ведают, мол, как и кланятьце Москве! — поддержал Федор Борецкий.

— А и верно, други, почитай, у половины у нас отцов нету! Ты, Савелков, да Дмитрий с Федором, да Гриша Тучин, да Михайловы, да Селезневы...

— Седем-ко мы, братцы, подумаем, подумаем да пригорюнимся, научить-то нас, бедных, некому!

— Московского князя Ивана приложи, тоже двадцати летов без отца осталсе!

Шутка не получилась. Двое-трое расхмылились при имени Ивана, но по лицам прочих пробежала тень: «Выдержим ле?»

Подошла решительная минута. Василий Селезнев оборотился к Дмитрию Борецкому, и все посмотрели на Дмитрия. Так в старинах, что поют гусляры на пирах, в бою богатырском, герой посылает слугу своего расправиться со слабыми супротивниками, но в поединок на главного ворога выезжает сам.

Борецкий обвел очами молодые задорные лица новгородской госпóды: великих бояр, иных еще безбородых, посадников, детей посадничьих, тысяцких, избранных житьих, молвил негромко и значительно:

— Други! Я собрал вас вот зачем. Кто знает — знает, а прочие послушайте. Князь нам нужен, без него не обойтись. Но какой? Исстари Новгород был волен во князьях, приглашал, кого любо, а нелюбым говорил: «Ступай, княже, мы сами по себе, а ты сам по себе». Так было?

— Так!

— Так-то так...

— Постой. Что мы видели от великих князей московских? Дмитрий Иваныч Донской, когда Тохтамышу Москву подарил, явился с ратью за серебром. Гневен был, что наши молодые люди на Волгу ходили, татар побили-пограбили. Не так? Василий Дмитрич вознамерился Заволочье отъять. Кабы не разбили его наши деды-прадеды на Двине, конец был бы Новугороду.

— Били-то вятичей да устюжан!

— И москвичей били в те поры, Олфим.

— Стойте, господа, пусть Борецкий скажет!

Дмитрий перемолчал говорку, вновь повел речь:

— Теперь глаза колют нам литовским митрополитом да в союзе с латинами винят! Вера, говорят, одна у нас и Москвы. А когда Витовт, католик, взметную грамоту Новугороду послал, Василий Дмитрич с ним был заодно, противу своих, православных! Добро, татары Витовта укоротили на Ворскле. Васи-

лий Василич Темный дважды на Новгород войною ходил, черного бора требовать да окупы брать. Тоже татар братьями считал, за что и ослепили! Двести тысяц выплатил Орде за себя, всю русскую землю запустошил! А с нас требовал княжчин? Худо ему пришлось от юрьевичей, так все обещал отдать, что московские князья заяли волостей новгородских. А когда наши на развод земель поехали, так не прислал своих бояр, и сам ничего не отдал! А в порубежных делах новугородских чему помог? Со Свеей сами уряжались, с немцами тоже без него. А наместники княжьи куда смотрят? Только бы суд у нас отнять! Давно уже служилых князей берем из Литвы или ежели кто ушел от великого князя, как Чарторыйский, да как наш Василий Василич Шуйский, те лишь и служат Новугороду! Иван сесть не успел, за то ж принялся! Владыка Иона ездил к ему, хлопотал, ничего не выхлопотал. В Литву в ту пору посылывали, так только и приутих...

Все это было уже известно, и в зубах навязло, и уже загудели нетерпеливые, но тут Борецкий возвысил голос:

— Так зачем нам московские наместники на Городце?! Казимир, король литовский, давно предлагает взять своих и оборонить нас от московского князя!

Многие знали, другие догадывались, да и собраны были те, кому можно сказать, и все-таки сказанное, наконец, впрямь, в открытую, ошеломило.

— Стой, не понял, так что, вовсе порвать с Москвой?

— Совсем?! Постой, в голове не умещаетце...

— Так вольны ли мы во князьях?!

Начался шум. Дмитрий замолк. Вместо него скоро вновь заговорил Василий:

— В пятьдесят втором году, в пятьдесят ли третьем король Казимир сам предлагал принять его наместников на Городище. Отцы наши на то не пошли.

— Страшно и Литве поддатьце!

— А не страшнее Москвы. Там всё нестроения — нам на руку!

— Не знаешь ты ляхов!

— Опять, в семидесятом, восемь лет назад, сами же ездили в Литву, к королю, и Ивана Можайского звали!

— Так на чем не сошлись?

— Дак умирились в ту пору с московским князем!

— А не стоило! Иван только еще сел, сила-то не в руках была.

— Ну и нажили бы мы войну с Москвой восемь лет назад! Небось Басенок, да Стрига, да Федор Давыдович не дети и тогда были! Сам он, что ль, рати водит?

— Решайте, господа. Без вас не решится, а с вами совершится. Что постановим, то и будет!

— Католическим попам надо запретить к нам соватьце! — подал голос славенский посадник Никита Федоров.

— Обговорено уже! — отозвался Еремей Сухощек, чей голос в делах веры, как приближенного самого архиепископа, был важнее прочих.

— И церкви свои чтоб не строили!

— И это тож.

— Совсем с Русью рвать...

— Смоленщина, да Брянщина, да Киевская Украина, да Волынь, да Полоцкая земля — тоже Русь! — значительно возразил Еремей.

— Русь-то Русь, да под ляхами. Там, слышно, стали православных больно уж утеснять ноне. Как бы не ошибитьце!

— Ошибемся, сошлем литовских наместников с Городца. Воля наша. Договор по старому — на всей воле новгородской!

— Ну, кто присягнет? Неревляне все ли согласны? Григорий, как ты?

Тучин хмуро пожал плечами:

— Уже ведь говорили! Одним нам с Москвой не сладить. Но вот только: должны ли мы с нею слаживать?

— Опеть!

— Дак что, и лапки вверх? У тебя самого земли на Двины!

— Вот именно. По землям — надо решиться, а по разуму — не знаю... Словом, я — «за».

— Ты, Пенков?

— И я тоже.

— А ты, Григорий Михайлович?

— Я — как мир, как все.

— Иван?

— Мы с братом заедино.

— Житьи согласны? Кто скажет?

— Ефим Ревшин!

— Говори, Ефим!

Ефим круто свел брови.

— Нас в Новом Городи до двух тысяч, в одном Неревском конци боле четырех сотен семей! За всех не скажем. То — вечу решать. Иным и страшно покажет. Однако в ляшской земли тамошние дворяна в сейме больше власти имеют, чем мы тут!

— Об этом уже толковали, Ефим!

— Толковали досыти, дотолковатьце не пришлось! Добро бы хоть сотские из наших выбирались!

— И об этом говорка была.

— Была-то была! — упрямо возразил Ефим, и прочие житьи теснее подошли к нему, подбадривая товарища. — Да толку? Фефилат Захарьин против, Овин против, Яков Короб против! Ищо не всех и назвал...

— Судная грамота изменена в вашу пользу!

— Дак ее Московской князь менял! — раздались сразу несколько голосов.

— А земли отберут?

Ефим исподлобья глядел на Селезнева.

— По землям решать, как Тучин сказал, дак и мы согласны! А только чтоб в суде наших не утесняли!

— И в Совете надоть нашим быть! — подхватил Роман Толстой.

— Про Совет погоди! — остановил его Ефим. — Может, нам и свой Совет нужен, от житьих, об этом сейчас все одно, не сговорим!

— Ладно, пущай плотничана про себя скажут!

Григорий Берденев, сын плотницкого тысяцкого, пожал плечами:

— Уже говорено! Присягать надоть!

— Житьи пусть говорят!

— Мы — тож!

— Мы — как Арзубьев!

— Киприян кого хошь уговорит.

— Только и про то, что Ефим молвил, помнить надоть!

— Григорий Киприяныч, ты в одно с отцом?

— Я и с Ефимом Ревшиным в одно! Ну, однако, батя с Марфой Ивановной вместях думали. А наши земли тоже на Двины.

— Что Славна скажет?

Олферий Иваныч решительно выступил вперед. У зятя Борецкой был такой же, как у родителя, Немира, задиристый норов и тот же крутой лоб, толкачом, и нос отцов, большой и горбатый.

— О чем спорим? Сто лет воюем с Москвой! Пора уразуметь, кто нам главный ворог!

Но взгляды оборотились на Своеземцева. От него, а не от Олферия, зависело сейчас, что решит Славна.

Он стоял бледный, и в голове проносилось: «Да минет меня чаша сия!» Почему нет отца? Такого важного, уже не от мира сего, в последние годы, когда он постригся и стал иноком Варлаамом у себя, в Важском монастыре... И все-таки близкого, родного, кого можно было спросить в трудный час! Со дня смерти отца скоро год, а все непривычно без него, и теперь, теперь! Так он нужен в этот час, в этот миг! «Отче, просвети меня!»

— Я вместе с вами... — сказал Иван тихо, одними губами.

Стали опрашивать пруссов — бояр с Прусской улицы и с Чудинцевой: от Загородья и Людина конца. Мнения опять разошлись, кто-то предложил жеребьи.

— Нет, други! — возразил Селезнев. — Дело такое всем надо решать и уж вместе быть до конца! За каждой вашей головой, господа посадники, сто голов житьих да тысяча черного народа!

— Ты, Юрий, за мать ответишь?

Красавец прищурился:

— Она сама за себя ответит! Уговора не было, за стариков решать. Я — как все.

Опять стали обсуждать ряд с Казимиром. Заметно было, что владельцы двинских земель соглашались охотнее тех, чьи владения лежали близь и южнее Новгорода: в Деревской волости, в Бежецкой, Ржевской и Яжелбицкой сотнях, в Заборовье или под Торжком. Еще и по родителям разделились. Младшие Грузы, сыновья Офонаса и Кузьмы, вовсе не спорили. Семен, племянник Александра Самсонова, колебался больше всех. Долго перекорялись Телятевы, выясняя, как и что постановлено с королем Казимиром.

Борецкий с Селезневым знали, что делали, когда собирали одну боярскую молодежь. Здесь решать приходилось самим — уже не спрячешься за широкую спину родителя, не увильнешь под мнение старших.

И когда наконец решили, то по древнему, полузабытому обычаю вынесли меч и на обнаженном клинке принесли клятву — стоять заедино.

И словно повзрослели все после принятого решения. Пусть оно было не окончательным: что еще скажут старики, как решит вече, которое в этом случае легко может выйти из повиновения и поворотить все наоборот... Да и не сегодня это началось, еще Витовт полвека назад набивался в Великие князья Господину Новгороду. И с Иваном не сегодня завязалась борьба, восьмой год тянется: и за Псков, и против Пскова, и посылали, и пересылывали, и мирились, каждый стоя на своем. А вот и подошло. И час пробил. Как удержат изнеженные руки мечи, как пойдут атласные кони под ливнем стрел? Какова-то еще и она будет — воля литовская?

— Эх, мужики, скучливо живем, песню! — вывел всех из задумчивости Иван Савелков.

Олена Борецкая тут как тут — внесла домру и гусли. Старательно не замечая Григория Тучина, подала гусли Савелкову. Тот перебрал струны, кивнул Олфиму:

— Ну-ко, подыграй!

Олфим наладил домру. Складным строем зарокотали струны.

— Павел, веди передо́м! — крикнул Савелков Телятеву.

Ой ты, поле, ты полюшко чистое,
Молодецкая воля моя!

В лад, строго подняли песню голоса.

— Хорошо поют! — уронил Еремей, подходя.

— Эту сложили, еще когда на Волгу ходили наши, сто лет песне! — пояснил Иван.

Хор звучал, почти как церковный, торжественно.

— Плавашь голосом-то! — вполголоса снедовольничал Никита, слушая Ефима Ревшина.

— Ну, тут и надо так, не строго в лад! — защитил певца Савелков. Это был новый пошиб, к нему еще не привыкли.

— А красиво получаетце! — сдался критик, присоединяясь к хору.

От песни эти разодетые щеголи стали проще, понятнее. Весь отдаваясь напеву, Павел вел хор за собой. Дмитрий вторил задумчиво, утупя очи. Федор пел старательно, глядючи вперед себя, порою хмурился, словно угрожая кому-то...

Все эти богачи, молодые посадники, которым власть и волости достались без борьбы, без трудов, от отцов, дедов, прадедов устроивших так, что каждый боярин великий становился посадником в Новом Городе или тысяцким, а уж сотскими — чуть ли не от рождения, сейчас забыли на час про свою спесь, ссоры да свары, и с песней пришла к ним тенью удаль древняя — тех времен, когда власть и почесть еще брались с бою, доставались лучшим, достойнейшим, удаль молодецких походов на «низ», на Волгу, «без слова новгородского», в стремительных долгоносых ушкуях.

Ах, давно отлетела та слава! И Александр Обакунович, герой Волги, сто лет как пал костью в первом же сустуше, в бою с тверичами под Торжком, и бежали с полей новгородские рати... Что содеялось с силою новгородскою? Да уж и так ли мудры были прадеды, что забрали и власть, и суд, и право в одни свои руки и холеные руки внучат? Кто побеждал в древних битвах, разил суздальцев под Новым Городом, шел босой и побеждал на Липице, кто выстоял на Чудском и у стен Раковора?

— А, поди, знай! Давно было! Не вспомнить. Мы же и побеждали, кому ж еще! На том стоим!

Ой, ты, Волга, ты мать широкая,
Молодецкая воля моя-а-а!

Молод Великий князь на Москвы, молоды посадники новгородские. А молодые головы горячие, упьянсливые да непокорливые. Молодое дело — неуступчивое!

Еще пели, пили, закусывали. Свечерело, когда стали разъезжаться и расходиться. Уже и слуги зашли и стали прибирать. И Олена из верхнего покоя, сквозь мелко плетеные, забранные иноземным стеклом окошки, сдерживая слезы, следила за голу-

бой рубашкой своего ненаглядного. И деньги есть, и власть у матери! А жива мужа с женой не развести, и чужому сердцу любить не закажешь, хоть убейся!

Василий Губа-Селезнев, незаметно задержавшись, мигнул Борецкому. Вышли в укромную боковушу.

— Слушай, Дмитрий! О всех этих беседах наших на Москве известно все: кто доносит — не знаю. Мать твоя этих побирушек больно принимает, а они ведь все из Клопского монастыря тянутся. Я знаю, о чем говорю! Моя голова давно оценена, да и твоя тоже. И потом, деньги нужны.

— Для веча?

— Да.

— Сколь?

— Много.

— Сот пять?

— Мало.

— Тысячу?

— И того маловато.

— Тысячу рублей из калиты не вынешь! Надо у матери прошать. Она достанет, хоть из владычной казны.

— Из владычной навряд!

— А больше и неоткуда. Мать все может, ты ее еще плохо знаешь. Давеча, вон, Зосиму угодника прогнала.

— Не обессудь, а это она плохо сделала! По городу ненужные слухи пошли.

— Ну, тут я ей не указ. Острова захотел получить. Там ловли богаты, мать говорит. Ее дело. А деньги будут!

ГЛАВА 4

Григорий Тучин с Иваном Своеземцевым от Борецких поехали вместе в Славенский конец. Иван домой, на Нутную, а Григорий — на Михайлову улицу, к попу Денису, на вечернюю беседу сходившихся у него философов, или, как они сами себя называли, «духовных братьев». Ехали молча. Уже у въезда на Великий мост Иван спросил:

— Пойдешь к ним?

— Да, обещал. Да и самому интересно. Хочешь, идем вместе?

— Нет. Ты знаешь, как мой родитель смотрел на эти вещи! Его у нас, на Ваге, святым почитают мужики. Я, когда туда приезжаю, словно сам чище становлюсь... Память отца переступить не могу.

— Вольному воля...— уронил Тучин.

Оба опять смолкли. Своеземцев ехал, утупив очи к луке седла.

— Вот и решились мы с тобой на кровь! — примолвил он погодя, негромко и печально.

— Да! — ответил Григорий, обрубая дальнейший разговор об этом.

Копыта гулко щелкали по настилу. От воды тянуло сыростью, пахло прибрежной тиной — Волхов мелел. И говорить было не о чем. Только крепко сжали руки, когда Тучин, переехав мост, удержал коня.

— Прощай! Дальше я пешком.

Григорий кивком подозвал молчаливого слугу, что ехал сзади и посторонь, чтоб не мешать разговору, легко соскочил с седла, отдал повод:

— Отведешь домой!

Кивнув еще раз Ивану, нырнул в путаницу торга: лавок, прилавков, навесов, где сейчас закрывали, вешали пудовые замки, подметали, уносили товар — до утра, до нового дня.

Морщась от запахов гнилого капустного листа, навоза и

тухлятины, что выгребали из всех углов торговые подметалы, Григорий, стараясь не ступить в грязь, миновал, наконец, торг, прошел мимо соборов, немецкого двора и вечевой площади и углубился в Михайлову, очень тихую и опрятную после громады торга.

Подходя к знакомому дому, узкому и высокому, зажатому между соседними теремами, Тучин с сожалением подумал, что уже опоздал к началу беседы, к той, почти апостольской, бедной трапезе, которой начинались собрания духовных братьев. Ему нравилась эта простота: чисто выскобленный стол без скатерти, деревянные миски, вареная чечевица с постным маслом, хлеб и вода или простой кислый квас,— эта не замечаемая ими самими скудость. На вечерних трапезах у Дениса Григорий ел даже меньше других, и не от брезгливости, а от того, что был сыт всегда, сыт с детства, и легко мог пренебрегать едой ради беседы, даже не замечая этого. Нравились Тучину их глубокая вера, независтливые рассуждения о власти этих людей, властью не наделенных, их неподдельная тревога о спасении ближнего своего. Григорий умел не подчеркивать своего богатства, хотя его выдержанно-строгий наряд тут и бросался в глаза, умел слушать, почти не прерывая беседы. Умел не замечать, что его все же принимают и ценят, как боярина, и, скорее бессознательно, чем явно, надеются через него укрепить свои сходбища поддержкою свыше.

Поднявшись по узкой скрипучей лестнице, Тучин потыкался в темных сенях, нашаривая дверь. Изнутри доносились голоса. Он, и верно, запоздал. Горница, скудно освещенная, скорее келья, чем жило, без икон, с одиноким распятием на стене, была полна. Шел спор. Спорил молодой человек в дорогом платье, непривычном тут. В юноше Григорий с удивлением признал подвойского Назара, впервые, видимо, попавшего на беседу. С ним говорил дьякон Гридя Клоч, философ и златоуст духовного братства, отвечая на сомнения, обычные для непосвященных: не ересь ли стригольническая то, о чем здесь толкуют?

Григорий поймал взгляд хозяина, попа Дениса, поклонился ему и прочим, знаком руки показывая, что не хочет прерывать беседы, и уселся сбоку, на лавке под полицею, уставленной большими и малыми книгами в темных кожаных переплетах,— единственным богатством дома сего.

Замешательство от прихода Григория быстро улеглось, и Клоч продолжал густым гласом, рокочущим от сдержанной силы Тень от свечи металась по косматым власам, грубо-крупным чертам лица и вдохновенному челу оратора, как бы самою природой приуготовленного к стезе пророческой.

— Сказано: «Не сотвори себе кумира!» Потому мы отвер-

гаем поклонение иконам, ибо кумиры суть! В духе, а не в букве господь. А что же получаетце: идолов низвергли — Перуна, Хорса, Даждь-бога, Сварог — имя другое ему, а Илье-пророку поклоняемся как идолу и просим его о дожде и погодьи! Велеса, скотьего бога, отринули, а Власию, Козьме и Дамиану молимся о сохранении стад. Мокошь языческая у нас Параскевою стала. Идолы древяны были, позлащены, посеребрены и вапой покровенны,— сии же иконы древяны сутью, поваплены тож и сребром или златом и камением украшаются. Разве то — вера? То тьма, суеверие! Господу молятся об укреплении духа божья в себе, а не о приобретении вещей земных. А давать кому что на потребу и волхвы умели! Вон, в летописании киевском говоритце, како волхвы взрежут утробу ли, груди у жен нарочитых, и вынимаху жито, и рыбу, и мед, и скору. И по всей Волге и по Шексне, от Ростова и Ярославля до Белоозера тако творили! Мы же иконам молимся, как идолам, каждому об особом, вещному о вещном, и мзду даем в храмы, яко жертвы волхвам и перунам их! И бог един ли любо троичен? Един он, и всеобъемлющ, земля — он, и небо — он. Сии же учат, троичен: бог — отец, бог — сын, бог —дух святой. И изображают то трех ангелов, то особо: бога-отца с большой бородой вширь, бога-сына с малой узенькой бородкою, а дух святой в виде юноши или девы с крыльями вовсе без брады. И всем троим поклоняются, словно князю с наместниками его. Где же вера, спрошу я паки и паки? Где же вера? Идолослужение сущее! Тако же и об обрядах сказать достоит...

Назарий нетерпеливо дернулся, желая возразить или спросить, но тут мягко вмешался Денис:

— Постой! Дай, я скажу.

До того он молча, не двигаясь, слушал спорщиков, порою лишь чуть приметно улыбаясь и переводя свои большие, блестящие в трепещущем свете свечи прозрачно-глубокие глаза, в покрасневших от усиленного чтения и бдения ночного веках, с одного на другого. Теперь же плавно разъяв сплетенные персты худых красивых рук, он одним мановением утишил дьякона и спокойно, словно даже извиняясь за него перед Назарием, заговорил:

— Это все разум, рассудка хитросплетения... Ты прав, брат Назарий! Можно так, можно и иначе от разума решать... Потому спросим себя, что говорит нам сердце наше? Приклоним слух к глаголу внутреннему, откровению божественной любви!

Голос у него был негромкий, но ясный, льющийся и невольно заставляющий внимать.

— Почему же сердце наше бежит, яко от лжеучения, от принятого всеми и законом утвержденного? Потому, что ищем главного, основы жизни! А в чем она? Что крепчайшее и слад-

чайшее и труднейшее в жизни сей? Земное? То богатство, что червь точит и вор крадет? Что важнейшее в нас, тело или дух? Телесным существом своим человек всякому зверю сходствует. Может ли быти в нас главным то, что с животными равняет? Был бы скотом человек, питался от диких плодов земных, жил наг и бессловесен, как и всякий скот. Ни жилищ, ни храмов не созидал, ни одеяния себе не сотворял никакого, не имел бы орудия, чем лес подсечь и землю взорать. Но зрим: и земное в нас не скотски явлено, но от всякой твари отлично. Не своею шкурою прикрываемся, но одеждами сотворенными, не в норах, но в созданных домах обитаем, не мычанием, но речью разумною глаголем. И когда возлюбит муж жену, не похотьствует с нею скотски, но поят в жено себе, и бережет ю, и в болезни и в старости неразлучен. И родив дитя, не токмо вздоить его надлежит материнским млеком своим, но и воспитать человеческим научением: божественному глаголу, уважению к старшим, прилежанию, труду, грамоте и рукомеслу, коеждо по жизни своей. Так что важнейшее: воздоить ли млеком дитя или воспитать его духовно? Млеком воздоит и скот. Волчица римская, и та кормила млеком двух отроков малых! Человеческому же научению скот не научит, на то потребно быть человеку. Зрим и в земном власть духа, в каждом из нас первенствующую. И Платон, древний философ еллинский, о любви, восходящей от плотского к божественному, учил!.. Дак ежели во всем земном, нас окружающем, видим суть духовную, кольми паче должно в том, что духовным быть надлежит, стеречься соблазна плоти! Духовное, вечная жизнь — вот к чему должно готовиться непрестанно! А церковь нынешняя стала на пути духа. До того, что рабы работают, на иноков, и то божьим делом считается! Неслыханно! Подумать о том — и власы встанут! Именем того, кто сказал: «Последнее отдай!» Кощунство и ругательство имени его! И от того миряне удаляются от бога, пиянство, мздоимство, богатств скопление. Кто ныне стремится в поте лица добывать хлеб свой? Из сел бегут во грады, во градах же тщатся стати начальницы малым сим. Лепше, полагают, быти слуги боярские, нежели божьи! Истинно, последние времена... Но не гибель мира грядет! — звучно возвысил голос Денис, и лицо его засветилось и вострепетало,— а наше торжество, и воцарение правды господней! И не потому мы против икон, что нелюбы нам суть, а потому, что поклонение иконам затворяет познание духовного. Не потому против троичности, что разуму противно, а потому, что бога подменяют идолами. И не потому против пышных обрядов, что богатство противно нам, а потому, что исполнение оных любезно лукавству грешного. Ибо во всем требуем не буквы, а духа! Веди земную жизнь, но для духовной. Не греши, не любодействуй, а появ жену — роди детей, и их воспи-

тай в духе божьем. Не ленись, в поте лица добывай хлеб, но не хлебом живи, а духом божьим. Не считай хлеб главным в жизни. Помоги бедному, но не делай его своим ходатаем пред богом. Нет там первых и последних, и чужим трудом в рай не внити! И не должно мечтать в раю свое телесное узреть житие. Тело бренно, оно в землю идет, к нему един дух подымается, чист от земных страстей. И там уже нет мужей и жен, старых и малых, прекрасных и убогих, но все равны, и все — в боге. И не говорим мы: иди в монастырь. Не юродствуй, не кичись, втайне блудя не телом, так духом. Живи достойно в жизни сей, како достоит человеку. Могущий вместить да вместит. И безбрачие не укор, когда от души, вольно, а не когда рясой ограждаемы. Ибо сказал Иисус: не тот согрешил, иже согрешаяй, а кто лишь подумал в сердце своем, разженен похотию — уже согрешил.

— Но что же тогда, убрать и суд церковный? — Подвойский тряхнул красивой головой, как бы пытаясь стряхнуть наваждение речей Денисовых.

— А узда человеку?

— Нужна ли узда внешняя? — мягко возразил Денис.— Душа самовластна, укрепляется знанием, а заградою злому в нас служит вера, не кнут, не узилище. Учить надо людей!

Тут заговорило, перебивая друг друга, сразу несколько голосов. Иных, как и Назара, Тучин не встречал тут ранее. Среди последних Григорий приметил взъерошенного седого клокастого сухонького философа, видимо, из бродячих проповедников (то был Козьма, давишний противник Зосимы), кричавшего громче и яростнее других:

— Церковь погрязла в грехе, мздоимстве! Отошла от христовых заповедей! Спроси, как ставилось Христово учение? Бедностью и правдой! Имели апостолы села со крестьянами? Или оружие, мечи и брони? Токмо слово божие! И шли по желанию на муки и гонения, кто во Христа крестился. А ныне? Все ра́вно крещены от рождения, все христиане, все равны. Кто же идет в монахи, в учители церковные, почто отделен от прочих, и чем вознесен? Над прочими?! В вере — ничем! А вознесен в том, что не тружаяся — ест, что безбедно в монастыре процветает, ни рать не тронет, ни глад не коснется. И не духовною властью, а властью судебною вознесен! Суд мирской не решит, идут к суду архиепископлю. Спроси их, возмогут ли ныне отместись власти, богатства, что саном дадены? Стать, как все, и меньше всех, по Христову учению? Не возмогут! Очи завязаны и уши затворены! Даже накануне Судного дня о чем сами поведают, хлопочут о новых селах да вкладах, да землях...,

— Но как же без узды церковной все же? Без икон, без обрядов, постов, без исповеди и покаяния?

— Пост блюди! Земле и богу исповедуйся! В духе, а не в букве, в духе!

— Я вот что спрошу! — подал голос из угла доныне молчавший человек в сером одеянии, видно, тоже из духовных, с одутловатым темным лицом.— Духовную суть воспринять простецы могут ли? Стригольников еретицами назвали не одни церковнослужители! Карпа проповедника сами же простецы в воду сбросили. Вот Козьма рассказывал давеча,— отнесся он в сторону клочкастого философа,— он другу своему пытался объяснить, что рай и ад духовно понимать надо, а тот: нет, пусть у ворога моего тело пожарится в геенне огненной! Он вещно представляет себе жизнь вечную. И церковь ему явленно живописует, в вещном образе, и страшный суд, и геенну, и райскую рать. Очами зримо и уму вразумительно. Сильна церковь, материальное, вещественное, неизменное дает человеку! А духовное, невещественное, что земными очами невидимо и перстами неосязаемо,— кто поймет? Лишь избранные, а они редки.

— Много было званых, да мало избранных!

— Я не о том! А прочие как? Как простецы, им же имя легион, как они узрят славу божию? А самому спасаться, когда брат твой гибнет, тоже грех, и грех непростимый! Апостолы денно и нощно ходили, уча, а не сами себе спасения искали.

Опять завязался спор, вызвавший у Григория Тучина смутное беспокойство чем-то, очень схожим с давнишними речами у Борецких. Ну да! Там решали судьбу Новгорода без народа, а здесь доказывают, что народ не может понять главной сути жизни, пути спасения. «А как я сам думаю?» — И признался в душе, что не думал никак: привык, что его волю исполняют. И это тоже была совсем новая и тревожная мысль.

Григорий покинул собрание духовных братьев, так и не вмешавшись в разговор, когда споры утихли и началось чтение «Звездозакония», книги, которую он уже знал из прежних бесед.

Назарий вышел вместе с ним. Некоторое время шли молча, стараясь не оступиться в темноте. Потом Назарий взорвался:

— Непонятно мне все это! Я когда был за рубежом, в Риге, увидал одно: что ни говорят, что ни делают, а думают преже о себе, о своем народе. У немцев у всех так! Меж собой грызутце, а уж перед чужими немец немца не выдаст. А у нас все врозь! Князь одно, бояра новгородские другое, да и меж собой не сговорят! Черный люд посторонь, церковницы — особно ото всех. Единство нужно! Еще Нестор писал о словенском языке, един суть, и все мы — одного рода. А у этих так выходит, что вроде и ни к чему родина, народ... Не понимаю!

— В летописании сказано,— возразил Тучин,— что новгородцы суть племени варяжска, от Рюрика...

— А язык словенск! И вера своя, у нас однояко, у латин другояко. А у них, у этих философов, нет разницы никакой, и то и это отрицают!

— Но в том, что ты говоришь, тоже нет разницы между Новгородом и Москвой! — спокойно возразил Тучин, и Назарий осекся и вроде даже вздрогнул — не видать было в ночной темноте.

Григорий не без удивления слушал подвойского. Человеку знатному проще быть равным с простолюдином, чем с тем, кто ниже тебя должностью. Встречая Назария по делам посадничьим, он не мог бы, да и не думал заговорить с ним о чем-то, кроме приказных дел. Но тут их уравняло общее участие в беседе духовных братьев, и Тучин вдруг с удивлением увидал, что этот исполнитель воли посадничьего Совета и сам мыслит, по-своему, горячо и сильно.

— Ну прощай, боярин! — вдруг оборвал Назарий свою речь и круто поворотил в межулок.

— Прощай! — отозвался Тучин без обиды на подвойского.

Очутившись, наконец, один, он поглядел в вышину. Месяц был на ущербе, и небо, все вышитое большими мерцающими звездами, медленно поворачивалось над головою, далекое и безмерное, раздвинутое до пределов вечности. Григорий улыбнулся невесть чему и пошел домой. Сторóжа окликала его, даже задержала у въезда на Великий мост, но, узнавая великого боярина, каждый раз почтительно пропускала, и Григорий почти не обращал на нее внимания, так привычно и естественно было ему знать свое превосходство над теми, кого могли и остановить, и обругать, и даже бросить до утра под замок, в холодную, чтоб не шлялся бесперечь.

Он шел, вдыхая свежий ночной воздух, под высокими мерцающими звездами и вспоминал весь этот большой день, которому, быть может, суждено будет перевернуть всю судьбу Новгорода, решения; споры духовных братьев; зовущие глаза Олены Борецкой под слишком густыми бровями, родившие в нем сейчас мимолетную смутную тоску... Шел и уже не думал ни о чем, целиком отдавшись торжественному спокойствию ночи.

ГЛАВА 5

о всех его хлопотах Зосиму все неотвязнее искушала мысль, которую он сперва отгонял, как назойливого овода, но она все возвращалась, росла, перерастала в желание, жажду, и уже он тщился отнюдь не отогнать соблазн, а найти время и возможность последовать ему. Мысль эта была — посетить обитель святой Троицы, что на Клопске.

Трудно сказать, тогда ли еще зародилось у Зосимы это желание, когда словоохотливый онтоновский келарь смолкал, чуть только речь ненароком касалась рекомой обители, позже ли, при виде того странного глухого раздражения или настороженности, кои возникали у любого, только лишь слышавшего пресловутое имя.

Монастырь был основан московитами и жил главным образом на пожертвования великих князей. Каменный храм выстроил опальный дядя покойного Василия Васильевича в бытность свою в Новгороде. Не скудела десница московских государей и в последующие годы. Полвека назад игумена Клопского монастыря, избранного по жребию архиепископом Великого Новгорода, силой заставили оставить архиепископию и удалили назад, в свой монастырь. Обитель святой Троицы была бедна и вечно терпела притеснения великих бояр новгородских, владельцев окрестной земли. Но всего этого все-таки не хватало для объяснения толикой злобы на монастырь. А вместе с тем Зосима чуял, что там, в Клопской обители, он, возможно, найдет ответ на все недомолвки и умолчания, от коих ближайшим образом могла зависеть судьба основанного им монастыря. И когда архимандрит Феодосий передал Зосиме, что приема у владыки необходимо обождать два или даже три дня, будущий настоятель Соловецкой обители решился.

Он отправился, никому ничего не сказав. Даниле, который перевез учителя через Волхов, Зосима велел возвращаться одному. Данило понял, что наставник ищет молитвенного уединения, что часто бывало и на Соловецких островах, где угодник

удалялся в лес или даже на соседний пустынный остров, оставаясь там без пищи и пития, даже и до несколько дней. Данило так и сообщил в монастыре, на что, как раз, рассчитывал Зосима, не хотевший брать греха на душу лживыми объяснениями своей отлучки.

Не привлекая ничьего внимания — мало ли ходит по дорогам рясоносных странников,— размеренным дорожным шагом миновал он Детинец и, выйдя из Людиных ворот, поспешал по Юрьевской дороге. Не доходя Аркажа монастыря, Зосима свернул направо и, уже в сумерках, подходил к Ракоме, древнему княжому сельцу, а ныне селу Ивана Лошинского, брата Марфы Ивановны Борецкой. Не останавливаясь, Зосима миновал гостеприимные, но опасные для него сейчас ворота боярского терема и, озревшись, направил стопы свои к югу, вдоль Веряжи, стараясь, елико возможно, не спрашивать дорогу. Уже светало, когда он, истомленный, с разбитыми в кровь ногами, подходил к невысокой бревенчатой ограде Клопского монастырька.

Как ни уставши был Зосима, но и он невольно подивился необычайному для небогатой обители толплению народа у монастырских ворот в столь ранний час. Народ все был простой: какие-то монахи и монашки, что сновали взад и вперед, нищие, калики, мужики и бабы, странники и странницы, с холщовыми дорожными торбами за плечами, в разбитой обуви, иные в лаптях или босиком. И хоть все они набожно крестились на главы двух церквей, каменной и древяной, выглядывавших из-за ограды монастыря, чуялось здесь не простое толпление верующих, а кем-то направленное и для чего-то сошедшееся сюда сонмище единомысленных.

Проникнув под пытливыми взглядами монаха-привратника за ворота обители, Зосима, отказавшийся сообщить, кто он и откуда, очень долго прождал игумена, так что уже стал сомневаться, примут ли его, и досадовал на свою чрезмерную осторожность. Каменный Троицкий храм обители был невелик и тесен. Украшали его лишь несколько икон искусного письма, среди которых выделялся образ Троицы, писаный, как сообщил Зосиме монах, навязавшийся ему в провожатые, самим Андреем Рублевым, опочившим в бозе старцем Андрониева монастыря. Имя великого мастера Зосима только слышал раньше — все здесь было чужое, московское — и невольно засмотрелся на непривычную бегучую, легкую прорись иконы, нарочитую, будто и впрямь небесную простоту, усугубленную голубизною одеяния, на задумчиво-скорбные лики ангелов, столь непохожих на суровые, плотного, яркого письма изображения новгородских икон. Было в этой иконе нечто, что обезоруживало, лишало сил, был соблазн некий. А монах назойливо зудел над ухом, поясняя, что

такожде, мол, как бог нерасторжим, един и троичен, достоит быти едину государству московскому под рукою великого князя... Спасаясь от речистого брата, Зосима вышел во двор к кельям, что стояли кружком, почти упираясь в ограду, осененные немногими соснами. Провожатый и тут не оставил угодника, вызвавшись показать келью блаженного Михаила. Наконец подошел второй брат, пригласивший Зосиму в настоятельский покой.

Ему еще пришлось пождать, теперь уже в приемной, бедно обставленной горнице с одним малым окошком на озерную сторону. Наконец взошел настоятель, явно приготовившийся к долгой увертливой беседе. Хитрыми глазами оглядел-ощупал гостя, узнав, кто перед ним, весь расплылся в улыбке: как он рад видеть угодника, пребывающего в чести у самой великой боярыни Марфы Исаковой...

Сдвинув брови, Зосима прервал поток льстивых похвал и кратко пояснил, что не только не в чести, но был с соромом отогнан от порога боярыни. Игумен перестал улыбаться, впервые серьезно и пронзительно глянув в глаза Зосиме, и, вдруг засуетясь, начал сетовать, что принужден оставить его одного на час малый, но просит обождать в настоятельском покое для душевной беседы, пока же не соблаговолит ли брат Изосим, коего тотчас проведут туда, обратить очи свои на житие блаженного Михаила, «покровительством коего монастырь наш процвел и ныне славится». Воротился он (видимо, проверив сказанное Зосимой) уже другим — деловым и серьезным, с легкой хитрецой, и разговор пошел откровеннее.

В его отсутствие Зосима, расположившись в настоятельском креслице за резным столиком прямь косящатых, красных окон, тоже обращенных на озеро, видневшееся отсюда в отдалении, прочел житие блаженного Михаила, опочившего пятьнадесят лет назад, еще при великом архиепископе Евфимии.

Блаженный Михаил был юродом. Зосима слыхивал о нем изустно, отнюдь, впрочем, не подозревая, что покойный достигнет толикой славы. Прочел Зосима,— впервые узнав о том из жития и подивившись,— о чудесном появлении Михайлы в монастыре; о чуде с источником; о сварах с владыкой Евфимием первым; о том, как Михайло дважды напускал немоту и разбитие членов на великих бояр новгородских; предсказывал окончание бури, задержавшей подвоз камня на постройку церкви; водил за собою ручного оленя (Зосима пожал плечами: к нему во время его лесных молитвенных уединений дикие звери подходили запросто, и он не дерзал видеть в этом чудесное); как Михайло бегал из Новгорода в Клопский монастырь и обратно. («Словно я теперь!» — усмехнулся Зосима.) Как Михайло предсказал архиепископу Евфимию второму поставление в Смоленске.

Зосима поморщился: кто только не присуседивался к славе великого предшественника Ионы, премудрого мужа, ревнителя веры и зиждителя церковного, палатным и храмовым строением дивно украсившего Новгород! Будто без помощи блаженного Михаила Евфимий не был способен сообразить, где находится русский митрополит! Как грубо подчас пишут москвичи! И даже невольный ужас и некое отвращение душевное испытал Зосима, читая, как Михайло предсказал Дмитрию Юрьевичу Шемяке скорую гибель. Ведь все знают, что Шемяка был отравлен! Повар тот, что подложил отраву, с раскаянья постригся в монахи, а следы преступления явно ведут в Москву. Неужели блаженный Михаил тоже был замешан в убийстве или знал, что оно готовится?! Зосима даже головой помотал, отгоняя грешное подозрение свое. Так не вязалось это со святостью блаженного мужа, так не вязалось с благостным кружением дивного образа Троицы Андреева письма, что и сейчас стоял у Зосимы перед глазами!

Смутное чувство оставило в нем чтение этого жития, да и сам малоприятный облик блаженного. Смутным был и разговор с воротившимся в келью игуменом. Тот начал как бы издалека, полюбопытствовал, был ли Зосима на приеме у владыки Ионы, вздохнул о близком, как полагают, конце новгородского архиепископа, осторожно перешел к мысленным гаданиям о восприемнике. Кто может ныне стать главою новгородской церкви? Зосима слушал, подавленный тою свободой, с которой хитроглазый собрат-игумен решал и взвешивал судьбы великой архиепископии Господина Новгорода. Зосима сам и в мыслях не дерзнул бы обсуждать такое!

Вошедшему игумену он уступил креслице, и сам теперь сидел на лавке, опершись усталой спиной о тесаную бревенчатую стену и взглядывая то в деловитое, слишком уж мирское лицо клопского игумена («На купца походит!»), то на стену над его головой, сплошь увешанную блестящими крестами, иконами в дорогих окладах, металлическими складнями из позолоченной меди и серебра — явно, без чувства меры и лепоты, с одною лишь целью подавить гостей богатством и многочисленностью реликвий,— смотрел, и вновь, и вновь удивлялся напористой бесцеремонности пришлых москвичей-шестников.

До Пимена, ключника и наместника Ионы, наиболее вероятного будущего архиепископа, клопский игумен, видимо, с намерением, добрался не сразу. Заговорив о нем, игумен поднял очи горé, вздохнул, почти непритворно, воздал должное уму и талантам Пимена, пожалясь о том, что столь доблий муж воздиже нелюбие в сердце своем на богом избранного великого князя и государя Московского. Клопский игумен подчернул, усугубив, слово «государь» с нарочитым умыслом. Великий князь москов-

ский именовался в Новгороде господином, государем же был лишь в своей, московской волости, где ему, согласно с государским званием, принадлежала и вся полнота земной власти. Впрочем, Зосима, далекий от мирских дел, не касающихся прямо его обители, не уразумел намеренной обмолвки клопского игумена и насторожился лишь тогда, когда тот, уже не обинуясь, высказал опасение, что-де ежели произойдет прискорбное размирье Новгорода с Московским государем, тщеславие подвигнет Пимена на грех велий: принять посвящение у богомерзкого литовского митрополита Григория, что получил ныне у патриарха, также отпавшего православия, самозванный титул митрополита русского.

О том, что после осьмого Вселенского собора, бывшего в римской земле, во граде Флоренции, на коем едва не была провозглашена уния — соединение церквей, православной, греческой, с богоотметной католической папской церковью,— литовские великие князья все время стараются поставить униатского митрополита не только на подвластные им Киевскую, Волынскую и прочие земли, но и на Московскую митрополию, Зосима, разумеется, знал. Но только сейчас вдруг, как во тьме при блеске стрелы громовой узрит путник разверстую бездну у ног своих, уразумел Зосима, что может произойти (и произойдет!), ежели новый архиепископ примет поставление у литовского проклятого униатского митрополита. Понял и ужаснулся. Неужели Новгород, его великая церковь, его святыни, гробы чудотворцев, соборы и храмы подпадут под католическую ересь, будут обруганы латинами и, паче того, перейдут на латынское богомерзкое служение?! Ибо именно на такой исход прозрачно намекал игумен Клопского монастыря.

И что же тогда? Новая война с Москвой? Тяжба из-за окраинных земель, что заняли и держат великие князья московские, требуя в то же время, чтобы Новгород уступил Москве спорные земли по Двине, а также Колопермь и весь путь в Закамье,— тяжба эта тянется вот уже сто лет, вызывая войну за войной: при Донском, при его сыне, Василии Дмитриевиче, при Василии Васильевиче, дважды ходившем войной на Новгород. Новой войны ждали, как слышал Зосима, и шесть лет назад, уже при нынешнем московском князе, Иване Васильевиче. Сам Иона ездил в Москву, утишать молодого великого князя и не успел ничтоже. И кормленых литовских князей Новгород давно уже приглашает на службу. Но никогда доднесь и мысли помыслить не было церкви новгородской отдаться латинам! Неужели все они — и архимандрит Феодосий, и игумен Онтоновского монастыря, и келарь, и все прочие знают или догадываются об этом, знают и молчат?! Или же клопский настоятель обманывает его?

Речистый москвич между тем заговорил о другом, и смятенный Зосима опять не сразу понял его, уразумев лишь то и тогда, когда игумен прямо заявил, что будет рад, ежели свет истинной веры утвердится на Соловецких островах, в глубине владений рода Борецких, злоненавистников великого князя и явных споспешников злокозненного Пимена.

Тут Зосима понял и то, почему далекая Кирилловская обитель так ревновала о памяти блаженного Савватия. Кириллов Белозерский монастырь верно служит великим князьям московским. Его настоятель в свое время разрешил ослепленного Василия Васильевича от клятвы, данной им Ивану Можайскому и Юрьевичам, и тем помог отцу нынешнего Московского князя вновь овладеть великокняжеским столом.

Огромность открывшегося подавила и почти раздавила Зосиму. Он уже не знал, принять ли дар из рук Борецкой и Пимена и оказаться врагом Великого князя? Не принять и... отступиться всего, что добывалось целою жизнью трудов и лишений?

Ответ в конце концов подсказал Зосиме сам клопский настоятель, красноречивый пастырь с лицом и повадками купца. Уже после, когда соловецкий угодник спешил опять по ночной дороге назад, в Новгород, и обдумывал все услышанное, вспоминая житие блаженного Михаила, который одновременно советовал Евфимию ехать на поставление в Смоленск и предрекал гибель принятому Новгородом на стол Дмитрию Шемяке, Зосима понял, что отказываться от дара (буде он состоится) нелепо, но, вослед Михаилу Клопскому необходимо чем-то и сразу дать понять Москве, что он и его обитель будут всегда верны Московской митрополии и покорны воле великого московского князя. Но чем?

С такими мыслями, с глазами, обведенными голубой тенью, поминутно одолевая почти отказывающую ему плоть, Зосима, проведший в пешем странствии две бессонные ночи, на заре следующего дня входил в просыпающийся, словно медовый улей, Новгород.

Одеревеневшие, уже потерявшие ощущение боли от постоянных ударов о корни дерев, камни и колдобины, ноги несли его полегчавшее, словно колеблемое ветром тело по тесовой мостовой. Посох, доселе тонувший в дорожной пыли, тяжело и ровно ударял в твердое. И Зосиме порою начинало казаться, что все бывшее — лишь видение от бессонницы и трудной дороги. Не может быть, чтобы Великий город перешел в латынскую ересь, не может быть!

На торговую сторону Зосиму перевезла попутная лодья. С угодника, уважая сан, не спросили и платы за перевоз. После короткого отдыха в лодке встать на избитые стопы и вновь идти было особенно мучительно. Добравшись, наконец, до монастыря,

Зосима узнал, что его искали и наутро зовут к архиепископу. Свершилось! Много за полночь, одолевая себя, Зосима простоял на молитве и лишь под утро забылся коротким сном.

Ворота тонут в грузном нутре башни. Башня вознесена над кручею, и твердая каменистая дорога уводит ввысь натруженные стопы. Усталость дарит человеку, страстному и самолюбивому, смирявшему себя в пустынной тиши лесов и вод, а ныне обегавшему огромный город, с тьмою тем скопления людского, человеку растерянному и взмятенному, жаждущему и завистливому,— этому человеку усталость дарит спокойствие, и спокойствие ему сейчас дороже всего.

Башня вздымается над обрывом, уходя в голубое, во влажных комьях белых облаков небо, и, кажется, летит навстречу вместе с облаками, выплывающими из-за нее прерывистой чередой. А на башне и выше ее летит по небу церковь надвратная. Не с ее ли серебряных куполов срываются влажные облачные шапки?

Под гулкими сводами они прошли в Детинец, и гордый собор Бориса и Глеба первым принял их робеющие взоры и, приняв, передал стенам и куполам древней Софии, сердцу Великого города. Горстью песка и маленькой кучкой камней стали здесь далекие северные острова!

Зазвонили часы на часозвоне, выстроенной великим Евфимием. Путники задрали головы, разглядывая хитрую диковину: круг, на коем узорные кованые спицы указывали время, часы и минуты. Исход времени отмечался звоном колоколов, и вся башня гудела от их согласного движения.

По владычному двору, среди больших и малых каменных палат, соединенных крытыми переходами, украшенных где каменными, а где резными древяными крыльцами, с крутыми кровлями в чешуе и черепице, с хороводом труб и дымников, тоже затейливо изузоренных, по всему обширному двору, мощеному где тесовыми плахами, а где и плитами камня или старинной плинфы, сновали взад-вперед монахи и послушники, служки, слуги, миряне, что служили во дворе владыки, а также и пришлые по делам граждане от простых до вятших, в боярском дорогом одеянии. У дверей чашницы стояли, охраняя ее, воины владычной сторожи. Здоровые краснорожие ратники выглядывали из дверей молодечной, и от их присутствия двор владыки духовного являл подобие княжого двора.

Каменные палаты архиепископа тянулись бесконечною чередой. Тридцать дверей насчитывали в воздвигнутой Евфимием владычной хоромине! Им пришлось изрядно подождать, пока прислужники архиепископа передавали их один другому. У спутников угодника глаза разбегались от великолепия архиепископ-

ского дома. Наконец Зосиму особо пригласили пройти и провели еще через целый ряд покоев, но не к архиепископу, как надеялся он, а, как шепнул Зосиме по дороге сопровождавший служка, к самому всесильному ключнику владычному — Пимену. При этом известии Зосима испытал одновременно сожаление, что не узрит архиепископа Иону, коему, много лет назад, он представлялся сам, ревнуя об устроении обители, и вместе с тем страх, ибо после посещения Клопского монастыря боялся не только разговора, но и встречи с Пименом. Он призвал мысленно имя божие и напряг всю свою волю, прежде чем переступить порог властительного покоя.

Служка скрылся. Зосима поднял глаза и невольно вздрогнул, ощутив жгучий взор Пимена. Они благословили друг друга. В краткой речи, объясняя великую несправедливость того, что монастырь лишен права владеть землею, на которой он расположен, Зосима, наученный опытом, старался, елико возможно, ни единым словом не оскорбить заглазно боярыню Марфу Борецкую. Пимен пристально глядел в лицо соловецкому угоднику, почти не слушая. О существе дела он уже знал от архимандрита Феодосия и других. В нем росло сдавленное глухое раздражение: просители, просители, просители! Порою кажется, что все они, как и он, не будучи уверены до конца, утвердится ли Пимен на владычном столе, торопятся урвать свое в эти краткие месяцы затяжной предсмертной болезни Иониной. Вот и сей такожде! А дела не ждут, и надо вести их твердой рукою, так, словно бы посох владыки уже в деснице твоей!

Зосима меж тем, изредка подымая глаза, видел резкие черты Пимена, темным огнем горящие глаза, и все более утверждался в мысли, что тот не остановится принять поставление у литовского митрополита. Он осторожно упомянул, что в Новгороде, по слухам, свила гнездо латынская ересь и он сам свидетель тому, что хулящие на монастыри открыто проповедуют по стогнам, града. Пимен поморщился, сухо возразив. Странно, оба они плохо помнили существо разговора, так как каждый, говоря одно, единовременно думал о другом.

«Может ли он помочь?— гадал Пимен, разглядывая Зосиму.— Навредить — сможет. Довольно московских юродивых на нашу голову! Ежели все эти бедные монастыри станут просить земель у великого князя... Проще всего, конечно, отослать старца назад, на его остров, пусть ждет лучших времен. Но за него хлопочет архимандрит Феодосий, а от Феодосия зависит отношение не только малых, но и больших монастырей. Пропустить к Ионе? В конце концов такой ли это ущерб для Борецкой, тем паче, что острова как-никак принадлежат не ей, а городу...»

— Владыка тяжко болен,— отрывисто произнес Пимен,

вставая.— Пожди, брат, а я узнаю, возможет ли он ныне принять тебя!

Пимен вышел, все еще не решив окончательно, что ему делать с Зосимой.

Иона умирал в строгой пышности архиепископского дворца, Евфимиевых бесконечных палат, по которым сейчас, в тревоге, скорби, корысти и вожделении сновали келари, ключари, младшие стольники и чашники, монахи и иеромонахи, иереи и протоиереи, владычные посельские, хлебники, слуги и служки всех мастей и чинов, то перекоряясь, то завидуя, и молча лелея возможные перемещения, когда новый (на Пимена уже многие посматривали с почтительным подобострастием: сами Борецкие, Есиповы, Онаньин за него — шутка ли!), когда новый ариепископ возьмет бразды великого дома святой Софии Новгородской и властно переместит по-своему вековой распорядок архиепископского двора. Страсть, ненависть, шепоты надежд и страхов ползли, как горький дым пожара, накаляя воздух под низкими сводами палат до того, что становилось трудно дышать.

Смутное это брожение, как глухая мышиная возня по ночам, едва долетало до того, заветного, покоя, перед которым смолкали, куда входили на цыпочках, и то лишь избранные, званые им самим, и почти не мешало Ионе, вздремывая порою от телесной набегающей слабости и вновь переходя в бдение, думать, перебирая прожитые годы, весить их пред господом и совестью своею и проверять, так ли прожил, то ли и все ли, что мог, сделал, с чистою ли душою может встретить он свой последний, уже недалекий час, переступить порог пресветлого того мира, куда ушли, в свой черед, прежние архиепископы Великого Новгорода.

А заботы, земные, отошедшие и отходящие, были немалые. Даже и теперь ему не давали покоя. Стольник Родион и Еремей Сухощек, владычень чашник, настойчиво требовал назначить восприемника. О том же толковали чуть не все приезжающие к нему бояра. Даже допущенный в покои старец Варсонофий обмолвился как-то о восприемнике. Восприемник! Всеми делами дома Софии вершит сейчас Пимен. Ну да, его хочет и Марфа Борецкая. Восторжествуют неревляне. Будет роптать старая Славна, разъярится Захария Овин. Начнутся обиды. Иона не был уверен в Пимене. Сухой горячечный взор ключника пугал. Пимен давал деньги Марфе, не спросясь у него, архиепископа. Об этом больному Ионе заботливо донесли. Он почувствовал омерзение на доносящих. Гнева на Пимена не было. Была тревога. Пимен затеет войну с Москвой. Великого князя не одолеть. Кто будет рад усобице православных? Славенские бояра против войны. Утвердит ли Пимена Москва? По слухам, и об этом тоже донесли Ионе, он был готов принять посвящение от мит-

рополита литовского, Григория, униата, о чем судачили уже по всему городу. И это усиливало неуверенность. Гордыня! Грех! Наставь его, господи! Сам он все эти годы старательно избегал крайностей, оберегал, щадил, укреплял...

И сейчас, проваливаясь в дрему, теряя нить уплывающих воспоминаний, Иона судил себя, проверял всю свою жизнь с той поры, как принял великий сан архиепископа Великого Города, вступил господином в эти палаты, строенные блаженным Евфимием, взвалил на плечи бремя власти и забот.

Бунтующий Псков, жаждущий отложиться в особую епископию. Сколько трудов было не дать совершиться злу! Недавно еще к самому великому князю посылывали! Про молодого московского князя Ивана молвят разное. Василия Васильевича Темного Иона знал и умел с ним ладить. Об этом его умении утишать покойного великого князя в Новом городе слагают легенды. Молодого же великого князя Ивана Иона не понимал и боялся в душе. Тогда так и не сумел утишить, отвести войну от города. Помогло посольство к Казимиру, угроза литовской войны. Иван казался не по годам сдержан и умен. С маху, как родитель, вряд ли станет действовать. Но что таится за его показным спокойствием?

Где-то в душе Ионы и поднесь жил тот сирота, тот робкий мальчик, который в училище пугливо сторонился сверстников, лишь издали глядючи на их резвые игры, тот мальчик, коему, подъяв его за власы, блаженный предсказал, что он будет архиепископом в Новгороде. Тогда над ним долго смеялись, не верил и сам Иона, и вот — все в руце божьей!

Однако князь Иван воспретил же псковичам особую епископию!

Понимает ли Пимен, как опасно рушить толиким трудом построенное? Но ежели не он, то кто же? Кто из игуменов или иереев Новгорода возможет сие! Из ближних? Называли Варсонофия: благ, но излишне смиренен, не по нему груз. Феофил? Конечно, нет! Ничтожен, несмел, криводушен...

— Вси отошли мира сего великие держатели дома святой Софии, вси в земли!

И он, как с живым, спорил с Евфимием. Чего добился тот, что оставил в наследие по себе? Стригольническая ересь тлела, смущая умы. Не Евфимий, а он, Иона, предложил совокупно рассудить, собрав съезд, о троице, о единстве отца и сына, и о духе святом. Без совета, без пастырского доброго изъяснения, трудно малым сим уразуметь личное в безличном, трехчастное и конечное в едином бесконечном и нерасторжимость противоположных начал! Когда-то и ему было неясно сие. Но ведь безмерное и в каждой части своей безмерно и равно целому, как любовь матери, пестующей чада свои, меньше ли, когда не все,

но единый из них приникнет к сосцам млечным, и горе ее меньше ли станет, когда не все, но единый из чад лишится жизни своей?

Его, Иону, обвиняли в мздоимстве. Да, он брал деньги с вдовых попов и дьяконов. И не грех это, грех оставить без хлеба служителя церковного на исходе лет. А ежели и грех, не он, Иона, а Евфимий платил за неудачную войну с Москвой, платил Евфимий, а ему, Ионе, досталось пополнять оскудевшую казну. Не себе, а дому святой Софии брал он эти деньги. Дому Софии требовал со Пскова, дому Софии собирал с монастырей. Ради дома святой Софии, рискуя навлечь гнев покойного великого князя Василия, поехал не на Москву, куда был зван, а на Вагу и Двину, укреплять верою новгородские вотчины в Заволочье.

И все, чего достиг тяжкими трудами, кому? Кто удержит?

Да, он собирал серебро. Укреплял земную власть церкви и о том, вот уже скоро, сам отдаст отчет господу.

— ...В силе и славе твоей, господи, в силе и славе твоей!

Вручить пастырский жезл Пимену, не значит ли расколоть город? Вместе, всем вместе! Понимают ли? Зачем он мирил Псков, утишал Москву, ладил с митрополитом, установил в Новгороде память московского угодника Сергия Радонежского, блаженного старца, о гроб коего бился в рыданьях, моля о пощаде, сам Василий, когда его вороги нежданно прискакали в Сергиеву обитель слепить великого князя?

Зато он и своего, новгородского святого, Варлаамия Хутынского сумел утвердить на Москве. Давеча велел принести книги и перечитывал, как сказано об этом во владычном летописании. И о чудесном исцелении у гроба Варлаамия постельничьего великого князя Василия, Кумгана, и о том,— не скрыл того! — как игумен Хутынский и он сам прежде беседовали с исцеленным, испытуя и расспрашивая отрока. На Москве бы того не написали, свели все к чуду да промыслу божию. Он, Иона, написал так, как и пристало летописанию Новгорода Великого. Правду. Всегда правду! И впадая в грех, сами ся обличали, а и величаясь, гнушались ложных изукрашенных словес. За правду паче всего возлюбил господь Великий Новгород, за правду! И казнит за умаление правды той. Увы, умалилась правда великого города! Перед последним временем живем: и знаменья небесные о том знаменуют, и стеснение человеком, морове частые, и глады, и войны...

Прежде, когда испытывали его о конце мира, Иона молчал. Неисповедимы пути господа, и не нам, грешным, знать о часе конца своего! Теперь же впервые подумал о возможном конце света со смирением и тихой грустью. До скончания седьмой тысячи было еще два на двадесяти лет, еще многие умрут и

многие народятся на свет. И все же не двою ста, а всего лишь два десятка лет с малым... Или правы утверждающие, что скончанию света несть времени?

Он прикрывает глаза и видит вновь тот сияющий день, тот час пресветлый, когда, для утишения мора, собрались они, граждане новгородские, здати обетный храм Симеону богоприимцу. Вкупе все, мало не от всего града. И лучшие люди, и простецы, и сам он в светлых ризах, во всю ночь не сомкнувший глаз, во главе своего стада, стада Христова...

Как сладко было зреть тогда согласие их и согласное стечение людское! Согласное пение, и ночное бдение молитвенное в лесу, и первые лучи пятнистым ковром на золотом шитье, на стволах, и птичье щебетание, и роса... И вот, проспавшие каждый под тем деревом, что достояло ему срубить,— а многие и не спали, молились лежа,— с первым лучом зари поднимаются граждане Великого Новгорода: «Ныне отпущаеши раба своего, владыко, по глаголу твоему с миром!» Плотники и купчины, кузнецы и бояре именитые, и каждый усердно рубит свое дерево, и лес трещит, и качаются, падают с гулом оранжевые стволы, и вот уже,— кипит работа! — очищены от ветвей и вздеты на плеча плывут дерева и с ними стройное пение, и ладанный дым мешается с сладким настоем лесных трав, богульника, сосновым духом пораненных деревьев, муравьиным и грибным запахом леса. И несут все вместе, и Василий Василич, служилый князь новгородский, и Иван Григорьевич, и дети Марфы, и Яков Короб, и Казимер, и Захар Овинов... И к полудню уже, в дружном мелькании топоров, яснеющие смолистой белизной бревна ошкурены и обрублены до пазов. А хор все поет, и он, Иона, вздымает трепещущие руки над многолюдьем,— согласным многолюдьем(!) — потной, распаренной толпы, над ладным посверком секир и звучным чмоканьем свежего дерева. Все вместе, всем городом! Согласно, вместе! Храм был готов к вечеру, и одетое в багрец снизившееся солнце уже удивленно бежало по тесу кровель, по чешуе главы и замирало на кресте, воздетом над чудесно возведенным и освященным до угасания солнечного храмом. Ныне, содеянный в камне и пристойно подписанный, храм этот высится на кругом берегу Волхова.

Поняли ли они? Вняли ли? Всем вместе! И мор утишился после того. Всем вместе, тогда и Москва не возьмет. А днесь опять розно, и шепоты ползут по покоям владычным, и пересуды по улицам, и вражда по концам... Господи, не отврати очес от города своего!

Нет, пусть выбор восприемника совершится божьим судом, не человеческим. Господь не ошибается в путях своих, только господь! Как выбирали по жребию владыку Алексея, и паки владыку Иоанна, и владыку Симеона за ним, и Омельяна, на-

реченного Евфимием первым, и Евфимия великого, как избирали и самого Иону. И не отвращал лица своего господь от владык новогородских!

Вот они стоят, как в дыму колеблемом, под сводами храма, в ризах и в белых клобуках, сподобившиеся святости. Светлые слезы сочатся из-под опущенных ресниц Ионы, он слышит неземное пение иерархов, коему вторят своды храма. Пение ширится, и разгорается свет. И вот они проходят, плывут ли мимо него, и каждый тихо благословляет Иону. И мнится, он узнает их всех,— и Илию, и Онтония, и Василия Калику, что склоняет к нему доброе сияющее лицо. У него доброе лицо! Иона знает, узнает и вопрошает их, не размыкая уст, они же ответствуют ему не людскою, но ангельскою речью...

Свет меркнет. В покое отворяются двери. Умирающий с трудом подымает веки. Снова Пимен, снова заботы бренного мира сего!

Пимен вопрошает, и сразу трудно уразуметь, о чем, ибо в ушах еще звучит нездешний хор опочивших владык.

— Принять?..

Слабеющая память вдруг вызвала ярко образ молодого,— тогда молодого! — монаха, светловолосого, с ясными серыми глазами, и его запомнившийся рассказ о новой пустыни на далеком Студеном море. Медленно раздвигая сухие морщины щек, он улыбнулся:

— Впусти!— и, не расслышавшему Пимену в ухо, яснее и четче, с тенью нетерпения, тотчас угаданной и смирившей того: — Впусти же! Помоги, поправь!

Поднятый на подушках, Иона вдруг как бы ожил, пугающей Пимена силой духа победив и на этот раз телесную немощь.

Пимен ввел старца. Да, те же серые светлые глаза, но какое истончившееся жаждущее лицо! Или он уже и тогда не был столь молод, как казалось?

Старец начал жаловаться на беды, оступившие обитель, что-то говорил Ионе о настоятелях, не выдержавших пустынножительства. В хороводе лиц, отлетающем вместе с жизнью, эти неудачные игумены проходили смутною вереницей.

— Что Савватий? — спросил он, словно про живого, испугав Зосиму. И спокойно выслушал о том, как почитают могилу святого, кивая согласно. Хотелось связать зримый им лик с тем, далеким, запомнившимся в мечте, и скорбный рассказ о бедах с тем, прежним, полным красоты и духовного восторга повествованием о чудесах Севера.

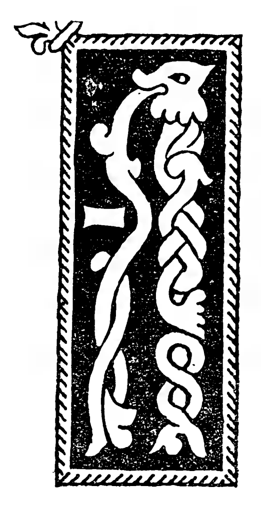
— Зори полуночные играют? — вопросил он без связи с тем, что говорил старец. (Ночные зори многоцветные, полыхающие, божья красота несказанная, колико важнее она всех сует мирских!) Его уже утомила беседа.

Требовалось, как понял он, подарить северной обители острова, вернее — похлопотать об этом в Совете господ. Он поманил пальцем Пимена:

— Сделай!

Пимен послушно склонил голову. Владыка задремал. Все уже было сказано, и, угадав слабое отпускающее движение руки, Пимен, вытесняя Зосиму, на цыпочках, пятясь, удалился, осторожно прикрыв за собою тяжелую дверь покоя, где последний великий владыка новгородский еще боролся со смертью, вверяя себя богу, и, как с живыми, говорил с отошедшими к праотцам владыками прежних времен.

глава 6



своей жизнью довольна. С мужем прожила век в согласии. Муж был в городе не из последних — из первых! Детьми, слава богу, не обижена: что Федя, что Митрий, нрава не робкого и собой хороши. И дочери под стать. От людей мне завсегда почет. А что колгота у нас опеть в Новом Городи, дак без того и жить скучливо станет!

Подруги стояли у стекольчатого окна вышней горницы, обведенного по краю свинцового переплета цветной мозаикой сине-голубых мелких узорчатых стекол. Широкая, осанистая Борецкая и все еще стройная, несмотря на годы, Онфимья Горошкова — выцвели брови, покраснели и как спеклись, покрылись морщинками щеки, но в строгом овале лица с прямым, греческого письма носом еще угадывались следы былой иконописной красоты.

Онфимья зашла по делу: общий обоз отправляли в Обонежье. У той и другой вдовы села были смежные по Водле, дак уряжались. И уж от дел, согласно выбранив Настасью за гордость и вечные недовольства, и до жизни дошли.

— В байну нонь походишь? — спросила, погодя, Онфимья.

Борецкая кивнула головой:

— Людей отпущу только!

Внизу, на дворе, грудились мужики и жонки, иные с детями.

— На Двину посылашь?

— На Двину.

— Многие нонь выжидают, опеть от Москвы угроза ратная!

— Волков боятьце, в лес не хаживать! С осени привезти, зимой замогут лес возить, кол колить, хоромы рубить. В весну уж и пахать и сеять зачнут. А держать тута до снегов да кормы зря давать — с какого прибытку! Опеть зимой везти: детные детей познобят дорогой. А Двины постеречь князь Василь Василич послан с ратными!

— Заезжал?

— Как же, простились! Не первой год домами знаемся с ним.

— Мой-то Иван был давеча у твоего. Хватит ли сил-то?

— Должно хватить. А не хватит — Литвой заслонимсе.

Онфимья вздохнула. Перемолчали.

— Ну, прощай, Марфа. Хоробрая ты!

Подруги церемонно поклонились одна другой, потом расцеловались сердечно.

Проводив Горошкову, Борецкая вышла к мужикам, что переселяла за Волок. Осмотрела придирчиво каждого.

— Тебе поправитьце ле, Степанко?!

— Бог даст, государыня Марфа, отойду, выстану!

— Мотри! А то во двор нанимайсе, цего ни-то...

— Как будет милость твоя, а только уж... Мне ить одна дорога! Другояк — в холопы, да и то — кто возьмет?

— Земли хоцешь? Сиверко тамо! Детей не помори. Ключнику накажу, корову дает. Только подымессе ле? Как ты, такой, косить будешь?

— Баба пособит.

— Баба-то тяжела у тя!

— Бог даст, скоро опростаетце, мы ведь привыцны, всего навидалисе! — он мелко засмеялся, обнажая съеденные желтые зубы, затрясся, кашляя.

Баба, до того молчавшая, с бессмысленным выражением лица, полураскрыв рот, глядевшая на боярыню, тут вдруг ожила, засуетилась, шмыгнула носом и неловко, из-за вздернутого под саяном живота, повалилась на колени:

— Смилуйсе, государыня!

— Будет! Встань! Сказала уже. Слова не переменю. Куды хоцешь, молви?

— На Вагу... Любо на соль...— неуверенно, сам пугаясь своей просьбы, пробормотал Степанко.

— На соли не выдюжишь! — решительно отвергла Марфа.— Рыбу не заможешь ли ловить?

— Как будет твоей милости...

— На рыбу пошлю! На море. Кто у тя ищо? Дедушко? И он тамо сгодитце. А малец твой?

— Мой, мой, наш! — опять замельтешился Степанко, хватая малого за плечи и подталкивая вперед. Мальчонка — лобастый, курносый, тонкошеий («Эк, он всю семью приморил!» — поморщилась Борецкая) дернул головой, исподлобья недобро глядя на боярыню («Волчонок!»).

— Шапку, шапку сыми! — пугаясь, прикрикнул отец, сам стаскивая с того истрепанный малахай. Малец вырвался и вновь нахлобучил рванину себе на голову.

Марфа глядела, прихмурясь.

— К работе приуцаешь ле?

— Холопом не стану! — угрюмо, ломающимся звенящим голосом, ответил паренек.— На Волгу ушкуйничать уйду!

— В ушкуйники нынце не ходят. Московский князь пути не дает. Поздно ты родилсе, на век припоздал! — ответила Марфа с неожиданной для самой себя просквозившей добротой.

Малец сторожко, неуверенно улыбнулся, ямка сделалась на щеке. Чем-то напомнил маленького Дмитрия.

— Не-е-е... А дядя Федя бает!

— Кто ж луцше знат, дядя Федя твой али я?! — чуть возвысив голос, ответила Марфа. Повела бровью.— То-то! Рости. Отечь, смотри, из силов выходит, а ты — на Волгу... Оглупыш!

Марфа переглядела остальных, задержавшись глазами на одной молодой паре. Таких вот любила боле всего: мужик и ладный и умный, видать по лицу. Оглядела прищурясь, любуясь. Молодец! И жонка под стать.

— Плотничаешь ле?

— Я и кузнечное дело знаю!

(«Мастер!»)

— Детей нету?

— Ужо! Наше от нас не уйдет!

(«Такого хоть тут оставляй!»)

Мужиков увели. Марфа еще помедлила у крыльца, потом прошла калиткою в сад. Отсюда, с косогора, из-за вершин яблонь, был хорошо виден вымол, где кипела муравьиная работа поденщиков. Пересчитала корабли. Ключник подошел, стал сбоку, чуть назади. Полуобернувшись, Марфа увидела его хищное, с крючковатым носом, жесткое лицо. Укорила:

— Медленно грузят!

— Наймовать об эту пору некого...— ответил тот хмуро. Сам знал, что медленно.

— К Покрову нать управитьце со всем!

— К Покрову навряд...

— По сколь выходит у тебя за лодью?

Ключник назвал цену.

— Дружиной работают? Старшой есть ле?

— Как не быть!

— Дак ты и сговори с ним! Плати ети деньги артели за всю лодью, сдельно, пущай хоть в полдня нагрузят! Им выгода и мне тож!

Ключник склонил голову, злясь на себя (такого простого и не додумал!).

— Нынце ж и объяви! — приказала Марфа.—Цто еще?

— Демид приехал, ждет...— угрюмо вымолвил ключник.

С Демидом, холопом Марфы, что ведал в Кострице полот-

няным промыслом, у них были давние нелады. Иев Потапыч, ключник, никак не мог понять этого на диво сметливого и легкого что видом, что норовом мужика. В особенности его усердия: чего надо дурню? Добро бы вольный, а то холоп, и получает-то никакие там великие доходы! К тому примешивалась и ревность. Борецкая, хоть и держала в строгости, а любила Демида. Вот и сейчас тотчас пошла к нему. Иев тяжело посмотрел вслед боярыне и направился к пристани. Приказов своих Борецкая не забывала никогда.

Марфа прошла в гостебную избу, где ее ждал Демид со своим товаром. Слуги носили полотно, штуку за штукой (Демид только что прибыл). Марфа уселась на лавку, спросила:

— Поисть-то успел?

Демидкино полотно было особое, тонкое, не хуже голландского привозного. Такое еще только в Липне делали. Штуку, размотав, можно было сквозь перстень протянуть. И шло это полотно целиком для себя, для дома. Марфа глядела, мяла и разглаживала ткань. Работа была хороша, цены нет Демиду! Даром что холоп, и получает втрое меньше того, липенского мастера, что из вольных. А работа, почитай, лучше еще! Демид, юркий, остроглазый, в легкой солнечно-рыжей бороде, подскакивал воробьиным скоком, бойко пояснял, походя. Называл мастериц, сам любуясь товаром. Марфа хвалила от души.

Осмелев от похвалы, Демид решился высказать заветное, что его давно мучило.

— Государыня, Марфа Ивановна, дозволь слово молвить!

— Ну!

— Вот ты хоть, будь не во гнев, хоть другие великие бояра. Мелким доходом не займуетесь, только что для своего двора идет, и ладно. А с немцами вся торговля заморским товаром да сырьем: скора, да воск, да лен, да зуб рыбий или иное что. С волосток опеть хлеб да деньги, али белка заместо прочего...

— Дак чем плохо, что я господарский доход на деньги перевожу? Это московськи князья копят лен да сало, да мед, у иного из княжат на сто рублей добра портитце в анбарах, холсты гниют, рыба тухнет, скору моль потратила, а сам у холопья своего три рубля денег займует: в поход пошел, а не на что сбрую купить. А и мелкому купцу в моих волостях доход. Вон сколь их по осеновьям наедет!

— А хорошо бы и нам во своих-то рядках лавки заиметь, не с одними немцами дело вести!

— Что мне прикажешь, селедками вразнос торговать? — спросила Марфа сочным молодым голосом, трепещущим от внутреннего смеха. («Надумает же Демид!») Видя, однако, что боярыня не гневается, Демид заговорил бойчее:

— Мелкий купец почасту вразнос от немца торгует. При-

возим из-за рубежа и сельди, и соль, и сукна. Купец перепродаст, а часть денег идет за границу. С кого то серебро? С черных людей! Бояра будут богатеть, народ беднеть. Потом с кого взять будет? Своего товару надо делать больше! Сукно ввозим, шерсть вывозим, а могли бы добрые сукна ткать! Иной дорогой товар у них лучше, а почему? Наше вот полотно не хуже голландского, дак только во своем хозяйстви дёржим. А кабы дело-то поднять, да рынок свой, куда крепче бы стало! И серебро не уйдет, и за рубеж прибыльнее не лен возить, а готовое полотно, и черный народ к нам тогда больше привязан будет!

— Тебе дай волю...— протянула Марфа неопределенно, не то осуждая, не то одобряя, и остановилась. Увидела глаза Демидовы. Не жадные, нет, а голодные. А ведь он и не для себя старается! Мастер!

Марфа гордилась своим хозяйством, гордилась и тем, что вела его по-мужски, не мельчилась, смелее переводила на деньги оброчные доходы. А тут — что же выходит? Свой холоп винит в том, что свою же пользу не углядела? В чем-то Демид и прав, верно! Это... Богдан ежели, к примеру... За железо нынь в Коваше, в волостке своей, он деньгами берет, дак чтобы сам кузни ставил и торг вел железным товаром! Полотно-то полотно... А как заставишь делать по-годному? Ну, Демид мой сам старается, а вольных? Им платить надоть, где деньги? Так-то сразу получил, уж продавать заботы нет. А холопы как еще сработают товар! Демид один такой, а иные норовят поменьше да похуже сделать, да побольше взять. «Чужой корысти ради хорошо не сработают! Да и доход когда? А как остапесси с непроданным товаром...»

— Ладно, ступай, Демид! Трудное дело предлагашь. Придумал хорошо, а делать некому. Лодью тебе сегодня же и нагрузят, в ночь отправь. А сам задержись, на кони уедешь!

К себе Марфа поднималась боковым ходом. Редко хаживала тут. Рассохшиеся за лето ступени поскрипывали под ногами. Поморщилась: надо наказать Проньке, пущай поправит. А то словно разваливается терем! Не по нраву было, когда скрипели ступени Любила все прочное, крепкое, тяжелое, яркое, сработанное так, чтобы в вещи виден был мастер и гордость мастера — талан; в делах — разворотливость, в хозяйстве — размах и умное береженье, в узорочье — хитрость, в письме иконном — властный красный цвет. Тож и в хоромном строеньи — недаром двор ее славился лепотою среди всех прочих в Новгороде Великом.

Подымаясь, Марфа опять вспомнила мальчонку, что хотел в ушкуйники. Усмехнулась: «Волчонок! Поди, моря-то не видал и не знает, како оно. Тоже будут дивитьце весной, что солнце над морем не закатаетце!» Вспомнилось, как молодой боярыней, де-

вочкой большеглазой, впервые приехала на Север, как муж подавал руку, усаживая в лодью, а на берег несли ее на руках... Белое море, полюбившееся с той поры навек! Камни словно висят в прозрачном, до белизны, воздухе, и не поймешь, где начинается небо: по всему окоему серебряные пряди, как на старой, промытой до синя парче, и тишина!

А как жаловали их свои насельники и холопы, принимали с поклонами, угощали от души. В тесовой, выскобленной горнице — чистые полотенца, пироги кругом стола, в братинах репница — репный квас, уха из красной рыбы...

А еще прежде, когда плыли в Неноксу, и кормчий, стройный, просторный в плечах молодой мужик, слегка подшучивал над закуражившимся, вполпьяна, мужичонкой, как потом поднял Марфу на руки, ступая в воду в высоких, под пах, бродних из шкуры морского зверя, и так легко поднял ее, что почуяла — ничего ему эта ноша! И так удобно, неопасно оказалось на этих руках, что на миг закружилась голова — море Белое! Снес, поставил, так же легко, бережно, будто птицу или дитя держал у груди. И глазом не повел: что великая боярыня новгородская, что своя поморская жонка — так же выносят из лодей на руках... Море Белое, серебряной парчой затканное, ясень несказанная! В Неноксе, над морем, поставила Марфа церковь святому Николе, шатром чешуйчатым таявшую в чистом небе. А потом, уже после смерти мужа, посылывала городских мастеров иконного письма подписать иконостас для той церкви. Отдарила красоту красотой.

Где-то теперь тот мужик?

Олимпиада, Олимпиша, Пиша по-домашнему, старая служанка Марфина, кинулась, захлопотала: ожидала боярыню с красного крыльца.

— Не мельтешись, старая! — остановила ее Марфа.— Байна готова?

— Готова, государыня моя!

— Девку пошли со мной какую, Опросю хоть. Да накажи Проньше, любо Нестерке Грачу, пущай ступени покрепит по тому ходу. Пимен когда будет?

— Ввечеру.

— Добро.

Ну, кажись, все. Можно походить и в байну!

Баня была высокая, светлая. Полок, с приступками и подголовьем, кленовый скобленый, изжелта-белый. Сажу с подволоки только что обшаркали девки, и пар стоял вольный, без горечи, густой, пропитанный настоем пахучих трав: богородской травы, шалфея и мяты.

Марфа раздевалась не торопясь, предвкушая удовольствие.

Сенная девка, Опросинья, помогала снимать тяжелый саян, кинулась, бестолково, разувать. «Цего суетитце?» — недовольно покосилась боярыня. Кабы раньше улыбалась, то теперь принахмурилась, но и преж и теперь лицо Марфы было строго-спокойно, только чуть дрогнула бровь,— может, просто от усилия развязать завязки повойника,— чуть дрогнула бровь, но девка тотчас испуганно утупила глаза долу.

Оставшись в сорочке, Марфа расплела косы, повела полной шеей, рассыпала волосы по плечам — густые еще! Опустила сорочку. Нежась, отдыхая, постояла нагая. Огрузнела, конечно, а не стыд еще и посмотреть! Некому теперь. Год назад и Василий Степаныч умер... Что-то нынче опять стала почасту его вспоминать. Прижмурилась, представила молодого Ивана Своеземцева, его медленно расцветающую улыбку. Мог бы быть сыном! Робковат... Ну, за другими тянется. Отец был не такой! Марфа разомкнула яхонтовое ожерелье, поморщилась уже открыто на девку, что замоталась, запуталась в рубахе, опоздав разоболочиться — эка нерасторопная! Зачем и взяла с собой! Уже не ожидая, отворила дверь и через высокий порожек, пригнувшись, вступила первой в жар бани, словно в горячее молоко.

Париться Борецкая любила. Иной раз и двух девок брала парить, в два веника. Отдыхала телом и мыслям давала отдых. Потому не сразу и поняла, что содеялось, когда девка стала валиться, оползать, ткнулась лицом в распаренный бок боярыни.

— Ты цего? Аль больна цем?

(«Вот дура, баню порушила!»)

Девка жалко глядела снизу, силясь сдержать тошноту. И девка-то с виду здоровая, в теле, живот-то не тощой... Постой-ко! Соскочив с полка, Марфа властно развела девичьи руки, прикрикнув, ощупала, как щупала огулявшихся овец во своей важской боярщине. Людей по первости было мало, все приходилось делать самой. Девка и глядела точно овца, жалобно-покорно... Так и есть! Пото она и разоболокалась мешкотно. Вот бы на кого не подумать!

— Кто? — спросила-приказала. («Оженить нать, пока не поздно!»)

— Ди-ми-и-трий...— в рыданиях выдавила девка.

— Кто? Какой?!

— Митрий Исаковиць,— повторила та совсем тихо и затряслась мелко.

Марфа отвалилась к полку. Справившись с сердцем, черпнула холодной воды, обтерла лицо. Вот беда, так беда! Дмитрий... Короб (вспомнила свата). Капа знает ли? Срам!.. Выдохнула, наконец:

— На Двину пошлю, нынце ж!

Девка завыла протяжно, подползла, охватив, стала целовать ноги:

— Смилуйся, Марфа Ивановна, родненькая, золотая, государыня светлая!

— Пусти! («Так же, поди, Дмитрию ноги целовала!») Ладно, не скули, в Березовец пошлю, любо в Кострицу — будешь тамо белье ткать, пòртна!

Девка замолкла. Всю ее колотила дрожь. Немое трепещущее горе — ледышкой, а в уме: все ж таки не на Двину, все ж таки Дмитрий Исакович может приехать...

— На, ополоснись холодянкой, да бери веник! — строго приказала Марфа.

Домывалась не спеша, но уже не было безмысленного покоя и банной неги. Про себя последними словами ругала то девку, то Дмитрия, то Капитолину — тоже жена! Не столь намылась, сколь расстроилась вконец.

Пиша, увидя непривычно злое после бани красное лицо госпожи, не сразу и в толк взяла, услышав приказ про Опросинью. Чем не угодила? Да чтоб за малый грех какой высылать — того за Марфой Ивановной не водилось! Али что другое? Приглядевшись к девке, когда увела к себе, начала догадываться. Выспросила.

— Непраздна я! — повинилась Опросинья.— От Митрия Исаковиця...— И съежилась, увидя, как построжело лицо у Олимпиады Тимофеевны.

— Ты, глупая, молци о том! — сорвавшимся голосом прикрикнула та на девку.— Не смей никому сказать! И я о том не слыхала, помни! И помолись Богородице, что в Кострицу посылают, не куды дальше! Сиди пока тут, у меня, замкну я тебя для верности. Хошь, повались, отдохни пока...

И Пиша неожиданно всхлипнула.

Марфа все не могла прийти в себя. Утирала лицо тонким домашним полотном. По полотну вспоминала Демида. Пущай и примет девку! Накажу, чтоб языки-то не чесали больше. Нать было на Двину послать! Ну уж, слова не переменю...

Сердце сильно билось, и лицо все вновь и вновь становилось влажным.

Обед прошел молча. Дмитрий отсутствовал. Федор осекся, взглянув на мать. Олена, та попробовала было рассмеяться,— не знала после, как и усидеть за столом. Оба видели, что мать закипает, и терялись в догадках. Гроза, отравившая и дичь, и пироги с севрюгой, и хрусткие иноземные сладости, так и не разразилась. Обед окончился в тяжелом молчании. Только уходя, Марфа жестко бросила:

— Дмитрия,— приедет,— ко мне!

Брат с сестрой удивленно переглянулись, Федор вопросительно, Олена сделала круглые глаза: не знаю, мол, ничего! Оба вместе поглядели на золовку. Но Капа только надменно повела плечами да вздернула нос — ваши дела, сами и разбирайте! Федор лишь по уходе матери вспомнил, что он взрослый мужик, женат, ожидает первенца, и насупился. Пошел строжить слуг, сердце срывать.

Дмитрий приехал от плотничан взбудораженный, горячий — эдакое дело начинало поворачиваться в руках! Весь Новгород — шутка! В плечах словно силы прибыло. Прошел к матери с одной мыслью давишней, о деньгах.

Марфа сидела, откинувшись в резном кресле, с лицом как осенняя ночь, так что Дмитрий осекся было.

— Сказывай преже, с чем пришел! — приказала она сыну. Помедлив, указала на лавку: — Садись! — Все же мужик, не парень, на ногах держать не след.

Выслушала молча, не прерывая. Долго молчала потом, все так же мрачно глядя на старшего сына. Сказала, наконец, тяжело, глухо:

— Опросинью я в Кострицу отправляю. До ночи увезут. Хорош!

Дмитрий вскочил бешено:

— Где она?!

И — уперся взглядом в мрачные глаза матери. Тишина повисла, как топор. Сын первый отвел глаза, отступил, передернул плечами:

— Быль молодцу не укор!

— Не укор?! Седь-ко! — почти крикнула Марфа.

— Мамо...

— Цто, мамо? Да, я мать! А ты кто? Борецкий али из этих, что кудрями трясут? Жона не полюби? Куда преже смотрел? Не неволила! Сын ростет! Не укор... А Яков узнает? Кто старейший посадник в Неревском конци, тесть твой али ты?! Знашь, что она тяжела от тя? Капитолине подаришь? Али на дворе держать, чтобы кажный кивал? Сидел бы тогда с бабами, подчищал им... Уж коли с Москвой затеял, дак о своем личном полно думать! За власть люди головы кладут. Я, баба, и то ни разу постель свою не закастила. Тьпфу! — Марфа задохнулась и долго не могла отдышаться. Дмитрий сидел, глядя в пол.— Капа-то знат? Догадалась, поди?! — спросила она спокойнее. Дмитрий пожал плечами, поднял глаза и вновь утупил долу.— Дак что тебе дорого, власть али похоть женская, то и выбирай! Ведал бы отец покойник... Дура я, что замуж тогды не вышла за пана Ондрюшка! Только вас ради...— голос у нее зазвенел и пресекся.

— Мамо!

Оба замолкли и так и сидели, мать и сын, друг против друга, не глядя один на другого.

Погодя Дмитрий все ж таки спросил угрюмо:

— Где она?

— Сидит у Пиши, замкнута,— устало отозвалась Борецкая.— Хоцешь, сходи, простись. А мой тебе совет: и не прощайсе, не нать.

— Хорошо, мамо.

— А про деньги знаю. Киприян Арзубьев давеча то же самое говорил. Без денег не знают, кто им люб — Москва, Литва ли. Тысячу, говоришь? Много! Ладно, поговорю с Пименом. Окроме владычной казны, такие деньги взять негде.

— Да, мать,— вспомнил было, уходя, Дмитрий,— твой-то Зосима у Ивана Лукинича был и у Глуховых тоже. Давеча запамятовал тебе передать!

— Ладно, моя печаль. Спасибо, что сказал.

Отпустив сына, Борецкая на минуту утомленно прикрыла глаза. Ей еще предстоял трудный разговор с Пименом. Нахвастала детями, накликала беду... А и в делах не лад: славляне ждут да выжидают, в плотниках неспокойно. Опять новое чудо: в Евфимьевом монастыре от иконы Богородицы слезы текли. Не Захарья там чудеса творит? Али игумен Онтоновской?

Ежели станет архиепископом Пимен, поедет ставиться у Литовского митрополита, хорошо ли то? Как бы нужен Василий Степаныч! Про себя все не могла называть покойного Варлаамом. Иногда поблазнит — стоит, как живой, или голос слышится — хоть кричи. Не за пана Ондрюшка, седоусого красавца, что сватался к ней тогда, десять годов назад, вышла бы она замуж, кабы иная судьба... Нет, не за пана!

Борецкого Марфа уважала, гордилась Исаком Андреичем. Муж был на двадцать лет старше ее. Когда муж, когда учитель, наставник. А с Васильем Степанычем они были, почитай, в равных годах. Он весь был светлый, яркий, ярый. В двадцать лет — степенной посадник, в Совете вершил со стариками, и слушали его первого. Посольские дела ведал лучше всех. Ездил в Москву к Шемяке, Дмитрию Юрьевичу, спорил с тверским князем, рубился под Русой. И вдруг круто поворотил своею судьбой. С той же страстью, с какою брался за всякое дело, отдался духовному подвигу. У себя, на Ваге.

Там, на Ваге, и познакомились. И все в нем нравилось ей. И как он, молодой, обличал неправедный суд, говорил о том, что государство крушится, когда его законы менее справедливы, чем обычаи и нравы простого народа: «У нас мужик уедет, избу не запрет, взаймы один у другого емлют без грамоты и отдают всегда по совести, а тиуны да приставы новгородские и по грамотам чужое добро емлют. В суде кто силен, тот и прав!» Они

спорили тогда с Исаком Андреичем, и Исак Андреич, старший, относился к Василью как к равному. Нравился Марфе его голос и взгляд, нравилось и его презрение к богатству, которое Своеземцев имел и, более того, умел создавать. Нищих проповедников, что развелось в Новгороде, презирающих «блага земные», Марфа не понимала, брезговала даже, да и не верила им: неумехи и притворы! Нехитро презирать то, чего тебе не дадено! А Василий, тот был как-то выше весь, не уходил, пятясь, а за собой оставлял.

И читать навыкла от него. То была все в хозяйстве, к которому имела вкус с ранних лет, а вот летописи читать или Амартола, да рассуждать, да сравнивать минувшее с нынешним — этому научил Своеземцев.

Уже когда познакомились, Василий Степаныч был женат, и ни слова, да и ни взгляда не было меж ними, такого — ничего. Он был выше этого, и она бы себе не позволила: мужняя жена!

Однажды только... Они стояли вдвоем над обрывом, над Вагой, он впереди, она назади, всего в полшаге за ним. Внизу рубилась новая церква, шатром, белая, и вокруг нее было бело от щепы. За рекою раскинулись орамые пашни, а за полями густели и синели до самого края леса. И облака, как белые корабли, наплывали из дали-далекой бесконечною вереницей по безмерному окоему неба. И он говорил, не оборачиваясь, не глядя на нее, говорил прямо в отверстое небо, с гневом и болью изливал душу свою.

— ...Добились! Каждый боярин стал посадником! А по волостям наезды и поборы и грабежи от своих же ябедниц и позовниц. От голода дети мрут на торгу, гражане иноземным гостям, жидам да бесерменам из хлеба себя продают! В селах вопль и стенания от нашей неправды! Верно писано: стали мы притчей и посмешищем соседям, сущим окрест! И кто не проклянет старейшин нашего града, зане нет в нас ни милости, ни правого суда? Исак Андреич думает, что-то можно изменить, взяв власть. Ну, он добьется своего, уже добился. Кому достанется его власть после смерти? Как тот распорядится властью? Даже не знает, сыну ли, невесть кому передаст! Знает лишь, что великому боярину, только это! Колесо!

— Что? — переспросила она, не поняв.

— Колесо, говорю! Обернется колесо, и те спицы, что внизу, станут вверху. Когда во главе страны горсть господ, имущих власть безраздельную, но причем никто из них в отдельности не ответственен за неудачу власти, то такая госпо̀да скоро погубит страну и погибнет сама. Так же, как пал Царьград от неверных, когда вельможи его усобицами истощили землю свою...

Василий Степаныч как-то первый узнал в ту пору о взятии Царьграда безбожным Магметом. Достал повесть, что привезли

на Русь греческие попы, и читал у Борецких. И дивно и горестно было слушать про тысячи убиенных, про тщетное богатырство стратига Зустунея и самого царя греческого и конечное жалостное падение преславного града.

И в тот памятный день, стоя над рекой на круче, под небом в чередах бесконечно наплывающих облачных парусов, говорил Василий о том, что Русь одна осталась оплотом православной веры, и еще многое, и о судьбе, и о том, как надо понимать конец мира... Иное было непонятно, но жарко кружилась голова, и — сделать шаг, стать рядом, и так идти вместе до края неба, до конца дней!

Она не сделала этого шага ни тогда, ни после. Когда овдовел Василий Степаныч, был жив Борецкий. Когда умер Исак Андреич, Василия Степаныча уже не было, был инок Варлаам, удалившийся от мира...

Молодые нынце понимают ле, что оно: долг? «Быль — не укор»! А долг? А крест, от рождения данный? А правда? А бог? А Новгород?

Тогда, в пятьдесят третьем, когда король Казимир с лестью присылывал, они не согласились, и Василий Степаныч тоже. А сейчас?

— Нет другого пути у нас, Василий, нет!

Но тогда и поставление Пимен должен принять от Литовского митрополита, а, значит, все толки о том, что они отступают от православия... Как ей решить, как вести себя в тягостном разговоре с Пименом? Он, Василий, один мог посоветовать, остеречь, направить. Он — в земле.

Пимена Марфа приняла в том же своем особом покое, тесном от дорогой утвари, где разговаривала с сыном, подале от лишних глаз.

Окна были уже занавешаны тафтяным покрывалом, зажжены свечи ярого воску в кованых высоких ставниках. В их легко колеблемом свете мерцали кованые чаши новгородской работы, серебряные узкогорлые кавказские кувшины и поливная персидская глазурь на полице, мерцал тяжелый полог из той же пестроцветной тафты над резной кроватью, скрывавший пышную постель боярыни с грудою подушек и соболиным одеялом. Пламя свечей отражалось и в жженых золотом узорах на кружевной железной оковке дубовых и кипарисовых сундуков, золотило изразчатую муравленую печь и украшенную самоцветами скань древних окладов небольшой палатной божницы. По стенам стояли, кроме того, расписные закрытые поставцы с книгами, а близь постели — точеный налой для чтения и письма. Читала Борецкая обычно вечерами, отходя ко сну, и потому книги держала у себя, в спальном покое.

Марфа сидела в своем резном выгнутом кресле, кутаясь в невесомый широкий плат, привезенный из Индийской земли. Другое резное кресло ожидало Пимена. На стольце перед нею стоял, уже приготовленный, столовый прибор на двоих из тонкого черненого серебра, серебряные двоезубые вилки, лжицы и ножи с костяными рукоятками в виде рыб, мед и малиновый квас в кувшинах, засахаренные фрукты, тонко нарезанная копченая севрюга на тарели, масло, хлеб, сыр, свежая морошка и яблоки. Подавала, тоже чтоб избежать лишних глаз, одна Пиша.

Пимен вошел стремительный, невесомый. Благословив боярыню, уселся в предложенное кресло. Ополоснув руки под серебряным рукомоем, приступили к трапезе. Закусывая, всесильный ключник зорко приглядывался к Борецкой — чем-то озабочена!

Сперва перемолвили об Ионе. Владыка не вставал, но все не хотел умирать и, о сю пору, уже на одре смертном, не мог решиться назначить Пимена восприемником. («А ежели и не назначит? Нет, быть того не должно, не может Иона пойти на такое! Ведь не по-раз уже и оставлял за себя! Все дела сейчас ведет Пимен. Захоти, и то — некого боле!»)

— С королем литовским как порешили бояре? — спросил Пимен, остро взглянув на Борецкую.

(«Да, некого больше! А Пимена не нужно и уговаривать. Сам рвется к власти. Сам враг Москвы. Пимен — друг»). Марфа ответила просто:

— Молодым сказано. Приняли. Старейших сама соберу. Надо, чтобы вече решило, и черные люди...

— Деньги? — понял Пимен.

— Да.

— Много?

— Селезнев с Арзубьевым говорят: тысячу рублев.

— Владыку не уговорить... Придется брать своей волей, мне самому, из софийской казны!

— Будущему архиепископу простится!

— А ежели нет?

(«Боишься!» — подумала Марфа, чуть приметно усмехаясь.)

— Все мы один жеребий мечем: паки ли московськой меч, а наши головы! Митрополита Филиппа послание чла,— возвысила голос Марфа, выпрямляясь в кресле.— Обвиняет нас в отпадении от истинной веры! Ты-то что скажешь?

Глаза Пимена загорелись темным огнем:

— Истинная вера! Московская митрополия в руке великого князя, что тот скажет, то и будет! И о флорентинском соборе не митрополит, а Василий Василич решал. Доколь был Григорий митрополитом Волынским и Киевским, пото был Литве

митрополит, а ныне митрополитом русским наречен от самого патриарха цареградского! А и сама церковь новгородская издревле истинного православия свет поведает! Еще апостол Андрей, пребывая в пределах северных и дивяхуся баням новгородским, предрек величие духовное не московской, но нашей земле! София новгородская первой после Софии киевской созиждена. В ней же имамы гробы князей великих, Владимира Ярославича и инех, одержавших и боронивших землю Русскую, а также чудотворящие гробы иерархов преславных! Чем была Москва, и чем был Новгород при Великом Владимире, иже крести землю русскую, при великих князьях — Ярославе и Мономахе? Достоит и то спросить, законно ли, что митрополит русский не во Владимире, а на Москве вселилсе? Архиепископ Василий ризы крещатые и белый клобук получил от самого патриарха цареградского, и владыка Моисей тож!

— Послание митрополита Филиппа читают по церквам? — вопросила Марфа.

Пимен насупился. Невзирая на его прещения многократные, послание Филиппа все же чли, и ропот в простецах, неискушенных в тайностях богословия, возбуждался.

— Еще с тем приидох, дабы пособила обуздать мирскою властью тех попов, что власти духовной не приемлют и к нашему увещеванию глухи! — отвечал Пимен.

Он назвал особо дерзостных, и Борецкая обещала добиться, чтобы им перестали давать ругу — жалованье от города.

— За прилежание к Москве пущай Москва и платит, а не Господин Великий Новгород!

— Еще хотел сказать о Зосиме, старце соловецком.

Марфа усмехнулась недобро:

— И у тебя был?

— Был и у самого владыки, был и у иных многих! Архимандрит Феодосий молит за него.

— Он-то почто?

— Монастыри опора дома Святой Софии. Многие из тех, кто утеснитель был монашеству, под старость приют находили в утесняемых ими обителях! Не одною властью, но и верой утверждается Новгород!

Марфа молчала.

— Не одни духовные лица, но и бояре многие сим озабочены! — прибавил Пимен.

— Захария, поди?

— И Захарий Григорьевич тоже.

— Захарий любит дарить, коли не свое! Поди, и весь Новгород Ивану подарит, свои бы вотчины оборонить!

— Во дни, когда нужно единение граду, отпихивать от себя обители божьи неразумно! Архимандрит Феодосий стоит за

4 Заказ 2758

хиротонисанье Зосимы. Когда же сей станет игуменом Соловецкой обители, достойно ли его отгонять от порога?!

— Иван-то Лукинич что сказал ему?

— Как владельцы земель решат.

— Ин добро, что без меня мое покуда дарить не хотят!

— Мой кроткий совет — примириться! Всякий дар церкви — угоден господу! А деньги будут. Возьму своею волей из софийской казны.

— Ладно, подумаю. Может, и созову на пир. («Выходил свое, «угодник»! Захару, и тому угодил!»)

— При великом деле и малый камень на пути помеха. Лучше с дороги убрать, чем споткнуться о него! — прибавил Пимен, подымаясь.

Перед сном Марфа прошла в иконный покой, помолилась: «...Дух добр созижди во мне и очисти разум мой от всякия скверны, и гнева, и нелюбия к ближнему своему...»

Уже укладываясь в постель, она придержала Пишу, помогавшую разоболокаться.

— Что, государыня моя?

— Опросинья еще у тебя?

— Отослали.

— Митя не был у нее?

— Нет, Митрий Исакович уехал до того и не возвращалсе. («Хоть тут-то послушался матери!»)

— Ты, старая, тоже за старца? Говори правду!

— А как сказать! Старец божий, грех ить прогнать от порога, нищего не гоним!

Марфа тяжело вздохнула, поворотилась в постели, подумала: «В самом деле, грех! Жалко, а придется подарить острова...»

ГЛАВА 7

твезти Опросинью в Кострицу приказано было Тимофею, или Тимохе Язю, одинокому мужику из дворовых, которого и до того почасту посылали то туда, то сюда с разными поручениями.

Тимоху вызвал ключник, Иев Потапыч, и угрюмо приказал:

— Собирайся! Лодья идет в Кострицу, едешь. Девку свезти нать, Опросинью, со сеней. Мотри, сторожко вези! Тамо Демиду сдашь. И вот ето, куль тут. Да ищо возьми у Сидорки сбрую и седло, да зендяни постав, да два куля с товаром, то все в Березовец. Грамотку самому Онкифу отдай, ключнику, в его руки!

Тимоха рад был поручению. Развлечение да к тому же отголь было рукой подать до его родной деревни, и, хоть ему и велели никак не задерживаться, он решил, что уж дома-то, у родной тетки, материной сестры, побывает беспременно.

Девку, зареванную, замотанную по-дорожному в плат, вывела к Язю сама Олимпиада Тимофеевна. Еще раз наказала беречь дорогой и передала увесистый сундучок с рухлядью, а также четыре гривны серебра, на первое обзаведение Опросинье. Еще гривну Олимпиада Тимофеевна вручила самому Язю:

— Поберегай девку, Тимоша. Бог тебя наградит за все!

И вот они уже плывут, подняв желтоватый холстинный парус. Пахнет смолой и речной сырью, северный ветер холодит спину, и мимо и назад уходят башни и терема Новгорода, хоромы и церкви Городца, величавый Юрьев, сады и леса, золотящиеся березки, красные осины, Перынь, в окружении извитых, заклятых еще богом Перуном сосен, и все шире, все неоглядиее открывается впереди, обнимая лодью, простор Ильменя.

Тимофей пробовал заговаривать с девкой, но она отмалчивалась, неотрывно провожая взглядом далекий, уже не видный златоверхий терем на круче, заслоненный башнями Детинца, снова было выплывший малой сияющей точкой и вовсе погас-

ший в тумане. Мимо, то отставая, то обгоняя их, плыли малые и большие паузки и учаны. Корабельные переговаривались друг с другом, и Язь, скоро оставя девку в покое, стал глядеть по сторонам, а там завел речь с лодейником о погоде, о том, что стало ждать дождей, что сено уж все убрано, и теперь дожди как раз нужны, смочить озимые. Пожилой лодейник, однако, тоже не мастер был баять; мужики-гребцы, их было четверо, кто занимался своим делом, кто улегся спать, благо ветер работал за них, и Тимоха, исчерпав все темы разговора, тоже улегся на мешках, мерно покачиваясь в лад судну. Он еще раз сделал попытку привлечь внимание девки, предлагая повалиться рядом с ним, но, не добившись ответа, окончательно оставил ее в покое и задремал.

Опрося сидела недвижимо. Солнце низилось. Вот оно пролилось красными лучами по сизым облакам, погорело и закатилось. Только по-прежнему булькала и шипела вода, огибая борта, и струи бежали и бежали, свиваясь за кормой, так что от их бесконечного вращения кружилась голова.

Пустота. Огромное спокойствие и тишина. Будто прежде всю ее били, били, и все грохотало кругом, а тут стихло. Даже проститься не пришел! А она ждала, так ждала! Уже ничего боле и не надо было. То — отошло, отпало. Она же не дура, понимает все! И Марфу Ивановну не винит. Только не думалось прежде, ой, не думалось! Как в угаре была. Руки его ласковые, очи его соколиные, уста горячие, жадные. Митя, Митенька! Так и назвать не смела ни которого разу, все «Митрием Исаковицем». Робела перед ним, ноги ему целовала! Не пришел, не проводил. Думала, хоть на пристани, хоть издали взглянет, хоть на кони проскачет на Великий мост! Ничего! И не надо уже ничего. Вот так и покончить, и не страшно. И не холодно будет даже. Она уже было приподнялась, чтобы сунуться в воду, за борт лодьи, как ее, испугав до боли в сердце, тронул за плечо старик лодейник.

— Али не слышишь, девка? Вон там повались! Вались, вались, не скоро еще станем! Дай-ко, укрою, а то на воде издрогнешь.

Грубыми руками, но ласково, по-отечески, он повалил ее в ямку между мешков, натянул поверх твердую, густо пахнущую дегтем толстину, кинул сверху еще что-то тяжелое и мягкое. Стало темно и тихо. Опрося почувствовала вдруг, как озябла, сидючи. Дрожь пошла по всему телу, и вместе с тем она начала согреваться под укровом, и снова ощутила в сердце прежнюю надсадную боль, боль жизни, и снова заплакала. Так и заснула, тихо плача во сне.

Проснулась она в темноте. Услышала окрики. Лодья уже не колыхалась, а ровно качалась с боку на бок. Опрося отогнула

толстину. Прямо над нею покачивались звезды. Сырой туман ударил в лицо. Она вытянулась побольше. В тумане мерцал костер. Окликали с лодьи. С берега, наконец, долетел ответный зов. Тогда мужики в темноте разобрали весла. Кто-то, проходя неловко, наступил ей на ноги. Лодейник стал на носу, и тихо, все время перекликаясь, лодью повели к берегу, означенному одною неясною размытою по краям чернотой. Вот лодья ткнулась во что-то твердое, и кто-то пробежал мимо Опроси по борту, с веревкой в руках.

— Заводи, заводи! Отдай! Ослабь маленько! — перекликались в темноте.

Наконец лодью привязали.

— Девку потерял? Тута она!

Сказали у нее над самым ухом, и кто-то, не Тимофей, взял ее за руку и повел. Со сна у нее онемели ноги. Оступаясь, по склизкому от росы бревенчатому причалу вышли на берег. Она сразу же замерзла и, брошенная мужиком, который воротился в лодью, стояла, озираясь по сторонам.

В тумане выступали лохматые деревья. От разгоравшегося костра по их ветвям бежали тени, и казалось, деревья, разбуженные, недовольно шевелят лапами. В расширившемся круге огня выросла приземистая избушка с плоской кровлей-накатом из нетолстых бревешек, обложенных сверху дерниной. От избушки к костру ковылял дед, не то хромой, не то вовсе без ноги, на деревяшке, не понять было. Поеживаясь, Опрося отошла от мужиков за кусты. У самого берега, опять до смерти испугав ее, громко плеснула рыба. Она умылась, воротилась к костру.

— Бредешком прошел, будто знал, что гостей бог даст! — говорил дед, улыбаясь.

В котле булькала уха. Ватажники уже все сидели у костра.

— Мы те хлеба привезли, дед!

— Вот спаси бог, мужики!

Бегучее пламя освещало спокойные морщинистые лица лодейника, трех старших мужиков и гладкое простогубое лицо четвертого гребца, молодого парня.

Тимоха, когда их позвали хлебать уху, вынул круглый хлеб, передал дружине. Мужики приняли каравай бережко — хлеб! Старшой тут же нарезал его ломтями, роздал всем, не минуя никого. Опрося неловко опустилась рядом с Тимофеем. Тот сунул ей, обтерев, ложку. Горячая уха обжигала, и Опросинья, наконец, стала согреваться. На огонь летели с тонким писком комары. Какие-то ночные бабочки кружились и падали, вспыхивая, в костер. Мужики неспешно переговаривались:

— Комар отощал!

— Да, силу потерял комар!

— Бывалоча, летом здесь его — не продохнуть!

— О середка лета, говорят,— подтвердил дед, шлепая себя по щеке,— комара убьешь, дак решетом прибывает, а нынче уж убьешь комара — решетом убывает ихнего племени.

— Тёмно.

— Осённа пора, дак!

— С какого ето, с Успенья ли, считают, уже белого коня за огородой не видать?

— Ну, мужики, спать! — возгласил старшой, когда покончили с ухой и дочиста съели хлеб, подобрав все крошки.

Ватажники один по одному забрались в низкие двери, скорее лаз, занавешенный вместо дощатого створа рядниной. Тимоха Язь, который прежде тщетно лез в разговор мужиков, тут, в темноте кромешной, стал было, растопырив руки, звать Опросю к себе. Старшой, как бы нехотя, остановил его:

— Не замай девку. Видишь, ей не до тебя! Ложись тута,— потянул он Опросю за рукав,— вот сюда, тут тебе и тепло и спокой будет.

Дед снаружи притоптал остатки костра, залил угли. Слышно было, как шипел умирающий огонь. Приподняв рядно, отчего на миг снова показались голубые холодные звезды, он залез в избушку. Пошарив в темноте, нащупал сухой шершавой рукою Опросины ноги и, не удивляясь и ничего не спрашивая, натянул на нее край старого тулупа. Сам дед улегся рядом, спиною к ней. От деда пахло дымом, старостью и не то сухими водорослями, не то сушеной рыбой, а от тулупа — душновато овчиной. Все запахи были знакомые, от детства, от родного полузабытого деревенского дома, покинутого много лет назад, когда большой мор унес всех ее родных, и Опросю, оставшуюся сиротой, взяли на боярский двор. И даже дед чем-то напомнил отца, за широкой спиной которого они, бывало, спали у себя на полатях. От воспоминаний Опросе стало хорошо, несмотря на то, что колючие еловые лапы лезли к ней из-под сухой травы, и какие-то мошки бегали по лицу, щекоча кожу.

— Ты, дед, давно живешь тута, дак с водяной нечистью, верно, знаиссе! — раздалось из темноты.— Не знашь, водяник есь ли, нет ли? Царь водяной?

— А вот я сам не видал,— откашлявшись, начал дед,— врать не буду, а слыхом слыхал. Был у нас, на устье, старичок, Никанор Ермолаев, ему было лет пятнадцать в те поры, и теперь лет бы сто было, если бы был жив. Значит, тому лет осемьдесят пять времени. Тут у нас, знашь, от Липны верст пятнадцать в тую сторону, там завсегда по льду ловят, рыба ходит. Ну, и осенью дело было, уже и озеро покрылось ледом. Мне-ка сам покойный Никанор ето все сказывал. Ну, невод собрали у них отцы, старики, пролубы сделали и потянули скрозь озеро, то есть под ледом пропихивать стали норйлом.

Ну, ты знашь, сам рыбак, как зимой ловят! Ну и вот, невод етот протянули, а когда стали матицу выбирать, чуют: тяжело, ну, думают, рыба будет! И вот когда они вытащили всю матицу, а в матице не рыба, а паренек лет восьми оказалсе, жив.

— Живой?!

— Ну. В малицы в такой из оленных шкурок и в оленных тобаках, в лосиных ли... Вытянули, он из невода вышел и стоит, и старики смотрят: что за чудо? И парень жив. И стоит, плацет: «Вот, мама мне говорила, ты по улицам не ходи, не бегай, вот теперь меня вытянули старики на лед! Что я буду теперя делать!» Старики отскочили, сами между собой в уми россуждают: что мы будем с етим мальциком делать? Один старик взял тогда нори́ло, и етим нори́лом направил, и ткнул мальцика в грудь, паренька. И паренек упал, откуда выволокли, в тот Йордан, и пошел камушком на дно, и нынце там ходит... Вот ето старик сказывал нам, Никанор Ермолаич, тако было событие. А место то мы знаем, такое тёмное, грубо́е. Шест сажени три сунешь, и куды-то там идет, недоставает.

— Врут, может? — неуверенно протянул кто-то из ватажных.

— Может, и врут! —охотно откликнулся дед.— А Никанор, тот верный был старичок!

Мужики примолкли. Парень так даже вздохнул во всю грудь.

— Вот как! Стало, у их там и жило, и все как у нас!

— А вот еще какой случай. Парня одного женили,— начал дед другорядную бывальщину.— А дело было по осени...

Опрося засыпала, проваливалась в дрему. Говорок деда долетал до нее глухо, словно издалека:

— И кажну ночь из реки голос раздаетце...

Наконец Опрося тоже как в воду ушла — заснула.

— Спите, мужики? — спросил, перебив сам себя, дед.

Из углов ему отвечал заливистый храп.

Проснулась Опрося от ударов по камню. Дед снаружи кресалом высекал огонь. Она поднялась, вышла. Над озером лежал плотный белый туман. Руку протянешь — руки не видать. Ни лодьи, ни деревьев, ничего.

— В воду не оступись, девка! — окликнул ее дед.

Опрося умылась и принялась помогать деду разводить костер. Скоро поднялись и мужики.

Позавтракав, ощупью — все еще было ничего не видать — начали заводить лодью в устье Мсты. Старшой, стоя на носу, следил выплывающие из поредевшего тумана вехи.

— Легче, легче, мужики! — то и дело окликал он.— Здесь на мель сести, нашу лодью и не спихнуть будет!

Началось долгое речное плаванье. Где гребли, где пихались, где волоком вели, где, ловя ветер, подымали парус.

Лес то подходит к берегу, наклоняясь над самой водой, справа и слева, как бесконечно раскрывающиеся ворота, то отступает, открывая поля, деревню, окруженную скирдами сжатого хлеба, и опять кусты сбегают к самой воде.

Опрося уже освоилась, стряпала ватажникам, и хотелось ей только одного, чтобы так и шло: река, неторопливые речи мужиков, встречные деревни, то маленькие, в два-три двора, то большие, на красе, на возвышенном месте, с храмами, боярскими дворами, где у пристаней толпились купеческие лодьи с товаром, а на берегу, под навесами, шла бойкая торговля. Миновали Ям и Бронницы. Дожди, наконец, пошли. За долгий день ватажники вымокали насквозь. Сушились в дымных избах, спали на полу, на соломе. Опрося часто просыпалась и слушала шорохи соломы, хлопотливое шнырянье мышей, вздохи телка в закуте и однообразный шорох дождя. Горе не таяло в ней, но как-то успокаивалось, становилось привычнее.

Тимоха Язь, еще два-три раза подбивавшийся было к Опросинье, теперь уже мало обращал на нее внимания. Да и недосуг было, сам работал наравне с другими и уставал до одурения. Тимофей был мужик простой, хоть иногда любил и прихвастнуть, что у самой Марфы Ивановны Борецкой во дворе служит, но не злой и не настырный. Попробовал, бывает, что и отломится с боярского стола кусок, тут уж не зевай! Но зря не лез, и видя, что не клюет, оставил девку в покое. Постепенно с него слезала городская развязность и охота прихвастнуть. Здесь это ни на кого не действовало, раза два его даже вышучивали, впрочем, незлобиво. Чем ближе подвигались к Кострице, тем все больше Язь думал о доме, о тетке, мечтал о бане своей, деревенской. С работы до поту, да с ночевок в одежде, на соломе, все тело зудело у мужиков.

Но всему на свете наступает конец. Уже остались позади Боровичи и волость Березовец, родовое владение Борецкой. На рассвете дождливого субботнего дня лодья подошла к Дмитровскому — главному селу второй Марфиной волости, Кострицы. Накануне чуть не всю ночь пихались, старшой знал тут реку наизусть и торопился доправить лодью до места.

За излуком реки открывался обширный пойменный луг и за ним, на пологом холме, белая каменная церковь с зеленою черепичной маковицей и кровлями, окруженная боярским двором, избами, ригами, сараями, амбарами и банями, сбегающими к самой воде. С неба сеялось и сеялось на расстеленные под осенним дождем льны.

По раскисшей дороге они поднялись в гору. Опрося тоскливо озирала место своей будущей жизни. Подбежала мокрая собака, обнюхала всех и завиляла хвостом. Потом показалась баба, в коротком кожухе, с подоткнутым подолом и босая. Остановилась, любопытно разглядывая Опросинью. На вопрос старшого быстро закивала головой:

— Тута Демид Иваныч, туточки! Сейцас скличу!

Баба убежала, шлепая по лужам и раскидывая врозь пятки.

Демид встретил их на крыльце господского дома. Он не улыбался уже, как в Новгороде, был важен и деловит. Тотчас распорядился накормить прибывших и скликать народ, чтобы разгружали лодью. Чувствовалось, что здесь — он хозяин. Тимоха низко поклонился, подходя. Демид перевел глаза с него на Опросю, приказал:

— Девку Маланья примет, а ты отдохнешь,— скачи в Новгород.

— Демид Иваныч! — взмолился Тимоха.— Допусти своих проведать! Хошь до завтрева дня!

— Ну...— поколебался Демид,— беру грех на душу. Только запоздашь, сам пеняй!

Радостный, Тимофей живо сбегал за Опросиной укладкой, торопливо поел и, сердечно распростясь с нею и с лодейными мужиками, зашагал по знакомой дороге на Перевожу, откуда до родного Коняева было всего четыре версты.

Дождик перестал, и среди волглых серо-синих, низко бегущих облаков стало кое-где проглядывать небо. Тимофей, все набавляя и набавляя шаг, прошел лесом, миновал подросшую за время его отсутствия березовую рощицу, всю в пожухлом осеннем золоте, мимоходом подосадовав, что не успеет сходить по грибы, поднялся на угор, спустился в низинку и уже почти бежал, когда показалась поскотина и начались коняевские сенокосные пожни. Втягивая ноздрями близкий запах дыма, он предвкушал баню. Суббота, тетка уж, поди, затопила! И вот — последний угор, за угором речка, за речкой, на берегу, знакомые крыши родной деревни. Лодка-перевозка была на месте. Тимоха, натужась, спихнул ее в воду и с наслаждением влег в весла. Дóма!

Баня, однако, была нетоплена. Тетка лежала, у нее болела голова, и даже не очень обрадовалась Тимофею. Не унывая, он нарубил дров, наносил воды. Тетка тогда уже поднялась, повязав голову, и затопила. Пока дотапливалась баня, она, охая, отыскала для него чистые исподники и рубаху покойного мужа, слазала на подволоку за веником.

Наконец-то истомившийся Тимофей смог скинуть залубеневшие от грязи порты и выпариться. С острым удовольствием он хлестался веником, все поддавая и поддавая на каменку, так

что пар начал обжигать ему пятки. Немного ошалев, Язь вывалился из бани, со стоном окунулся в речку и, взбодренный, снова полез париться. Устал и, лежа на полке, почувствовал вдруг сирость, ровно Опраксея. Бахвалиться-то он бахвалится, а ни дома у него, ни семьи. Что он кому? Одна тетка, да и та хворая, не ровен час умрет! Тогда хоть на Двину подавайся... Тимофей принялся вновь, уже яростно, хлестать себя по бокам. Вышел, скинув усталость, снова бодрым, бывалым, городским. Тетке, что все жаловалась на боли в голове, подарил сбереженную гривну, кусок бухарской крашенины, что привез для нее из города, и лакомства: горсть изюму и кулек сорочинского пшена. Тетка смягчилась. Уже не жалуясь, живее захлопотала по хозяйству. Пока Язь уплетал щи с кашею, выполоскала в бане его лопотину, выжала и повесила прямь печи, просушить. Она еще возилась, а наевшийся Тимофей отдыхал на лавке, как забежала соседка:

— Архиповна! Лодья с товаром пришла!

Увидав Тимофея, всплеснула руками:

— Гость у тя! А я и не кумекаю!

Поздоровались. Тетка тут же похвасталась подарком. Потом обе засобирались:

— Нать поглядеть, что привез купечь!

У лодьи, у причала, где приезжий купец раскладывал товар, толпилась уже вся деревня: трое мужиков-хозяев — деревня считалась в три двора,— старики, бабы, детвора: с лишком два десятка душ. Были тут и две бабы из Кикина, соседней, в версте, однодворной деревни. Тимофей кивнул бабам, степенно поздоровался с мужиками.

Купец, типичный новгородец — тонкий нос с горбинкой, внимательные глаза, светлая бородка, сам среднего роста, подбористый, обходительный. Наметанным глазом окидывая негустую толпу, он легко, но без лишней развязности, перешучивался с бабами, уважительно расспрашивал мужиков. Помнил всех, походя тут же вызнавал, кто умер, женился. Язя он заметил сразу:

— Кто-то новый у вас? Овдотьи сестрич? А, Тимофей, Кузьмы покойного сын! У Марфы Ивановны? Давно из Новгорода? Не слыхал, с Москвой чего?

Кажется, все на свете знал купец! Руки его за разговором почти не задерживались. Он давал, принимал, взвешивал, цепляя безменом. Принимал шкурки, овчину, кожи, коноплю, масло, холсты, яйца и сыр. Торговля шла больше меновая. Тут же купец развернул штуку глазастой хлопчатой ткани и отрез городского сукна. По рукам пошли цветные праздничные выступки.

— Кого уж, старуха! Молóдым наряжатьце! — сожалитель-

но толковали бабы, передавая алые изузоренные выступки одна другой.

В лодье было всего понемногу. Высокая тощая старуха, известная деревенская охальница и переводница, взяла кусок мыла и, развеселясь, выкрикнула:

— Ж... да голову вымыть!

— Ну, ты не лезь, Марья! — одергивали ее бабы.

Для мужиков купец привез рыболовные крючки, наконечники для охотничьих стрел и копий, медвежью рогатину, насадки к лопатам, гвозди, наральники и прочий железный товар. Мужики натащили ему шкурок хорьков, горносталей, зайцев, один приволок лису, другой — бобра. Купец за шкурки расплачивался солью, за бобра, без спора, выложил серебро. Серебром платил чаще он сам — Марфа брала часть оброка деньгами, и крестьяне старались поболе продать, чтобы выручить хоть малую толику оброчных денег. Купец, однако, серебром платил далеко не за все. Лису и ту долго вертел так и эдак, встряхивая пушистую шкуру.

— Зимняя! — успокаивал его охотник.

Бабы брали краску, иголки, ленты, цапахи — бить шерсть. В обмен нанесли своего вязанья: цветных носков, рукавиц, поясов. Купец, прищуриваясь, мгновенно оценивал, ладен ли узор, а рукою тут же выщупывал, плотна ли вязка, и или брал, или возвращал назад. Со стороны казалось, что он играет, балуется, перебрасываясь товаром.

— Льну не продаете, мужики? Серебром заплачу! — негромко спрашивал купец.

Те мялись, нерешительно поглядывая на Тимофея. Язь, чтобы не мешать торговле, отошел в сторону. Выделанный лен, по закону, должен был весь идти в оброк боярыне, и потому продавали его хоронясь, из-под полы.

— Чегой-то мало нынце у вас товару! — притворно журил купец, приканчивая торговлю.

— Редко ездишь! — кричали ему.

— Бывай чаще, мы все тебе нанесем, никому больше!

— Река обсохла, эко забрались, не всякой год и заедешь! — возражал купец.

Отоварившись, селяне дружно помогли ему спихнуть лодью с мелководья и еще кричали вслед, прощались и благодарили. И только уж когда купец скрылся за излуком берега, пошли сожалительные замечания:

— А поди, знай, сколь оно стоит!

— Уж себя не омманет!

Баба, купившая алые выступки, теперь вязалась к Тимофею:

— Тимофей, ты знашь новгородские цены-ти, почем таки выступки в Новом Городи?

— Ладно, Таньша, не журись! — остановила ее подруга.— Ему ить провоз стоит, да без выгоды кто к нам сюда заберетце!

— Гостй! — хлопнул Язя по плечу один из мужиков.— Поведай-ко, каки новости в Новом Городи!

Тимофей не стал отказываться. Он и тетка, и другие два хозяина, и бабы — почитай всей деревней — пошли к соседу. Заполонили всю избу. Хозяйка поставила на стол деревянное блюдо с калитками, огурцы, масло. Нацедила пива из глиняного горшка с носиком и затычкой. Дед Ондрей, до прихода мужиков вязавший сети, поздоровался, но за стол не сел, продолжал вязать, объясняя вполголоса внучонку:

— Вот едак клешицей продернешь и добро, а когда низом пустишь, не свяжетце!

Так же вот и Язь учился когда-то у этого самого деда. Он хотел было напомнить, но не успел.

— Тимоха, забыл, поди, как сети вязать? — сам напомнился дед.

Выпили. Закусили огурцом. Тимофей разломил горячую вкусную калитку с просяной кашей.

— Ну, чего, Тимоха, привез, сказывай! — подторопили его мужики.

— Как там Москва?

— Бают, воевать собралисе?

— С войной погодить надоть! — подала голос хозяйка от печи.— Репу еще не собрали. Репу соберем, тогда можно воевать!

— Врут ли, правду молвят, что литовскому королю хотят задаватьце?

— А нас в ляцкую веру крестить?

— Не, ето нет!

— Ну, нам все едино...

— Война-то пойдет, церез наши места покатитце! Не разорили бы вдосталь!

— За болотами отсидимсе...

Спорили, пересуживали, а все казалось даже и самому Тимофею, будто понарошку это, так здесь далеко ото всех,— и от Москвы, и от Литвы. И разговоры скоро перешли на свое, домашнее. Каков урожай, резать ли быка, кто из баб больше собрал брусницы...

— Я шесть баранов забил, хватит ле на зиму? Сигов уловил, да...

— Окунь осенной пошел, в сакй имáть хорошо!

— Мы на озере окуней да плотиц да щук ловим.

Поясняли Тимофею, как постороннему. Хозяйка в очередной раз наливала пива. Дед запел несильным голосом с хрипотцей старину, продолжая плести сеть:

Как во стольном городи, во Киеви,
Чтой, у ласкова князя, у Владимера,
Заводилось пированьице — поцестен пир.
Чтой про всех князей-бояр толстобрюхиих,
Чтой про всех гостей-купцей богатыих,
Чтой про всех крестиян да православныих,
Чтой про сильныих, могучиих богáтырей...

Тимофей за всеми этими хозяйственными разговорами почувствовал вновь, что он отрезанный ломоть, и, посидев еще немного и вспомнив, что завтра ему в дорогу: «Не проспишь зори вечерней, проспишь зорю утренну»,— собрался домой. Тетка ушла еще раньше и уже приготовила ему место на хозяйской деревянной кровати, застелив взбитый сенник чистым рядном и накрыв его сверху духовитой овчиной.

Тимофей спал и чувствовал себя мальцом. Так же в трубе жаловался ветер, так же стонал домовой, ворочалась корова в хлеву. Только он был ростом до стола и дальше Дмитровского с его каменной церковью, что казалась ему громадной, не ведал он мира, и некому было завидовать, не перед кем унижаться тогда.

Было темно и рано, но тетка уже затопила и осторожно побуживала Язя:

— Тимоша, пора! Демид прогневаетце!

Она и сама побаивалась Демида, так как по болезни мало напряла, и потому не хотела лишних покоров из-за племянника.

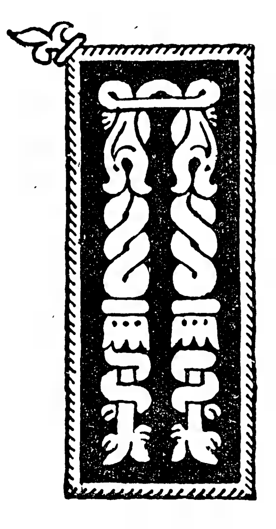
Чуть светлело небо и звезды начинали бледнеть, когда тетка перекрестила Тимофея и дала ему в руки кулек с теплыми подорожниками. В полдень он уже выехал из Дмитровского, спрятав за пазуху грамотки и затвердив поручения Демида, а утром третьего дня подъезжал к Новгороду.

— Приехал? — встретил его на пороге молодечной Коста Вяхирь.— Тут у нас такие дела! Весь Новгород в брани, одни за короля хотят, другие за Москву! Жри скорей! — примолвил он, отбирая Демидовы грамоты.— Нужен будешь. А то все в разгоне сейчас. Коня не расседлывай!

Тимоха, чаявший получить отгул, мысленно подосадовал на Вяхиря, но делать было нечего. Он еще понадеялся, что Вяхирь забудет, но не успел выхлебнуть щей, как его уже вызвали:

— Скачи в Плотники с берестом, грамотку передашь. Панфилу Селифонтовичу. Знашь его? Только самому, никому больше!

Тимоха вздохнул и полез в седло. Опять начиналась служба.



ГЛАВА 8

Панфил изругался. Артельным мужикам волю дай — готовы шкуру содрать. «На диво осень стояла, да и то проволоклись! А нынче засиверило, дожди льют, а обозы не поспели, лес не вывезен, анбар хлебный опеть не сведен. Закрывать-ить нать до дождей! И енти: ни стыда, ни совести! То литки справить, то разгонную, управы нет!

И на кой она, торговля! Земли накуплено, люди уважают, кажной год уличанским старостой кладут бессменно. Да и возраст почтенный, пора пожить для себя, для спокою. Сам давно в житьи записан, а сын, Марко, все в купечестве. В Иваньские старосты ладитце, мало ему! Когда-то за отцом тянулся, а теперича — я за ним!»

Панфил отер рукавом мокрое лицо — дождило бесперечь. Мимо волочили, разбрызгивая грязь, матичное бревно. Панфил посторонился и тотчас поглядел на небо, по которому бежали унѐрные, тянутой чередою, серые волглые облака.

«Эх, Марко, Марко! Не ведал ты доброй поры, за Камень не хаживал! По Волге нонь торговлю Нижний держит, да Кострома, на Кафинский путь, на Сурож и не сунешьсе, москвичи-сурожане забивают. Устюг, и тот ладитце закамский ход перенять...

...Корабли нать свои! Опеть от Ганзы ходу нет. Может, и впрямь легче будет с Литвой дело иметь! Смоленским путем, по Днепру... Там опеть все налажать наново! Дворы заводить, анбары ставить, приказчиков сажать... Охо-хо-хо-хо!

...Давеча Киприян Арзубьев баял, что затеяли совсем от Москвы отлагатьце. То дело круто за́брали! На говорке Панфил согласился сразу, а теперь было неспокойно на сердце. Опеть Русу пограбят, как в ту войну, а у меня там товару... А податьце — земли отберут. Для спокою прикупал, для спокою в житьи писался. Вон он, спокой! Земли боле ста обеж. Ее обиходить нать, а теперь еще и оборонить! Целиком на землю бы

осесть... И земля держит, и торговое дело держит. Ну, тут Марко поведет, а землю — надежна ли? Большие бояра тоже на землю зарятце!»

— Куда, куда! Дёржи! — заорал Панфил, усмотрев угрожающий крен готовой сорваться матицы.— Раззявы, тупари вислоухие, плёхи, мать вашу!

Охрипнув, он метался внизу, грозил. Чуток не сронили склизкого бревна! Было бы им, да и ему... Полорукие!

Плотники, взъерошенные, мокрые до нитки и злые, скупо отругивались.

Сзади подошел приказчик:

— Панфил Селифонтыч, тебя сынок зачем-то просит, послал в поиски!

— А, Марко прибыл! — обрадовался Панфил.— Пригляди тута, Антипыч, построжи их! Таки мастеры — без хозяйского глазу ничто толком не сделают!

Панфил потрусил домой, отряхиваясь, словно мокрый пес, и еще оглянулся с поворота — идет ли работа?

Марк встретил отца довольный, щурил глаза, потирая руки, следил, как Панфил высвобождается из мокрого, с полосами грязи охабня.

— Замаялся, батя?

— Обозы где?! — надсадно простонал Панфил, сваливаясь на лавку.

— Идут, под городом уже! Меха нам Марфа Исакова дает. Смотрел давеча, меха — загляденье!

— Стало-то сколь?

— С полчетверти семнадцать рублев.

— Недешево.

— Дешево, товар погляди! Белка — одна к одной, бобры, соболи... И привоз у нее свой.

— С привозом, конечно...

— Да, батя, посыльный к тебе тута, от самой от Борецкой, сожидает.

— Погоди, передохну!

Панфил пил квас. Руки дрожали, словно сам бревно волочил. Обтер усы и бороду поданным рушником, вытер лоб. Под рукой ощутилась дряблая кожа лица. «Сын-то крепок! — подумал Панфил не без зависти,— все ему сполагоря! А я уж изработался».

Марко, широкий, дебелый, любовно усмехаясь, глядел на родителя, поглаживал себя по коленям.

— Зови посыльного! — ворчливо приказал Панфил.

Марко, не вставая, мигнул слуге. Тот, стремглав, скрылся за дверью.

Тимоха Язь вошел, стреляя глазами по сторонам: крепко

живут! Поклонился с достоинством — от Борецких послан! Подал грамотку.

— Тамо пожди! — махнул рукой Панфил и сделал знак слуге. Тот сам знал обычай и тотчас увел Язя на поварню, отведывать хозяйского пива.

— Слыхал про Москву-то? — оборотился Панфил к сыну.

— Как не слыхать!

— Киприян и тебе говорил, что литовскому королю порешили задаватьце?

— Дак что! Не хитро еговых наместников на Городище взеть! Боронил бы от московськой грозы!

— Я тут уже со всема перемолвил. В братстви как?

— А что! Большие купцы все против Москвы. Поддадимсе, сурожане враз разорят. Да и двор немецкий закрыть могут али перевести куда.

— Я о том же думал...

— Ну, а мелочь, та за нами потенетце, куда мы, туда и они.

— Просто у тебя!

— Без опасу, конечно, никакого дела делать не след,— прищурился Марко.— Из Русы товар повывезти не мешает!

— Не веришь нашим воеводам? — вздохнул Панфил.

— Наши-то воеводы сами боле на рубль новгородской полагаютце, чем на мечи.

— То-то и оно!

— Трусишь, батько?

— Не трушу, а... Дело такое... Миром надо решать!

— Киприян и то собирает житьих.

— Слыхал я! Уже толки пошли. Кто бает: мне-ста полторы обжи оборонять, а Захару Овину полторы тысячи, дак цего я вперед полезу? Великие бояра затеяли, пущай они напереди, а то, коли что, с нас же деньги собирать на окуп князю московскому! Ну, а земли терять тоже не хотят, волнуютце, словом. И суд-от на Городце пересуживают! Кто туда даетце. Гагины, те воюют, их Бердeневы с Овином утеснили с землей. Иван Лукинич в пользу Берденевых решил. Не знать, сумеет ли Киприян-то их в одну куцьку свести!

— Еще что вече скажет.

— Ну, до веча...

— Н-да, заварили Борецкие кашу! Теперь по всему городу, как круги по воде.

— Наш Плотницкий конец уже весь ходуном ходит!

— А Захария что? Овин?

— У Захара, чать, земель поболе Марфиного. Коли Москва одолеет, и его не помилуют. Еще, спроси, что черные люди скажут!

— Ну, их не спросят! — решительно возразил Марко.

Панфил оглядел сына, покачал головой, пожевал губами. Понурился, продолжая сжимать грамотку в руке.

— Что пишет боярыня? — полюбопытничал Марко.

— Зовет к себе беседовать! — со вздохом отозвался отец.— Видать, о московской войне! Покличь посыльника-то, не то до дому не доедет...

— Скажи, буду! — молвил он Тимофею строго. И, отпустив посла, добавил: — Порешили мы с тобой, сын, дак нать не оглядыватьце!

Из Плотников воротился Тимофей, тотчас послали в Людин конец с иной грамотой.

— Я ить с пути! — взбунтовался было Язь.

— Ладно, свезешь, там ответа не нать! — утешил его Вяхирь.

Уразумев дело, Тимоха не торопился назад: не ровен час еще куда пошлют! А завернул к земляку, Конону Киприянову, мастеру-костерезу, не за делом, а так, чтоб только проволочь время.

Конон работал в окружении всего семейства: младших сыновей, двух дочек и четверых внуков, каждый из которых тоже не сидел без дела. Тут же Язь увидал знакомого грузчика Ивана, из тех, что наймовала Марфа. Иван сидел на лавке, отдыхал, свесив руки между колен, видно, тоже недавно пришел. Язь вспомнил тут, что Иван, кажись, зять Конона.

— Привет, мужики! Бог в помочь! — бодро поздоровался Тимофей и тоже присел на лавку.— В деревне был. Твои привет передают!

— Они бы с приветом маслица переслали! — отмолвил хозяин.

Конон резал костяную коробочку. Коробочка была уже готова, и Конон теперь малюсеньким коловоротом наносил кружковый узор на крышку. Тонкая, как нитки, белая стружка шла, закручиваясь, из-под резца. Ребята мастерили кто что. Один подтачивал снаряд, бережно откладывая точеные стамески на расстеленную мягкую тряпочку, чтобы не побить лезвий, двое полировали, дочка вертела мягкий круг, пропитанный толченым мелом, парни вручную доводили полировку до блеска. Один из внучат, востроглазый и вихрастый, сопя и высовывая язык от усердия, резал заплетенного крылатого и зубатого змея на костяной пряжке-запоне. Старший из сыновей, подымая белую едкую пыль, пилил на заготовки цевку — скотинную кость, груда которой была свалена в углу. Другой, подстелив тряпицу, очень мелкой пилкой осторожно разделывал на пластинки кусок драгоценного рыбьего зуба — моржового клыка. Конон сверлил, морщась от сдержанного усилия, и одновременно успевал следить за всею своей костерезной дружиной. Был он взлыс,

угрюм, взглядывал без улыбки, но не ругался, как иные, без толку, а только кивал или крутил головой, а иногда коротко давал дельное замечание. Семейные слушались мастера беспрекословно.

Иван сильно уставал эти дни. Платили сдельно, и грузила дружина от темна до темна. Но зато чаяли заработать погодней. Сегодня как раз довершили последнюю из тех ладей, что Марфа посылала на Север, кончили пораньше, получили плату, и Иван пришел рассчитаться с тестем, у которого займовал с полгода назад и до сей поры не мог отдать.

Теперь сидели за разговором. Вернее, сидел-то Иван, а Конон, не прерывая работы, бросал слово-два, а то и разражался короткой речью, всё так же равномерно нажимая на коловорот и неотрывно следя за сбегающей костяной стружкой. Толковали о том же, о чем и все в городе,— о Москве.

— Там так не работают! — приговаривал Конон, придирчиво разглядывая законченную крышку.

— Грубая работа у их! — он передал изузоренную пластинку дочери, для полировки.— Нашу работу куда хошь вези. Во, гляди!

Конон протянулся, открыл поставец, вынул оттуда берестяную плетеную коробку, прижав к груди, осторожно снял крышку и высыпал на стол сияющую груду костяных, ярко отполированных гребней и пряжек, которые тотчас с легким стуком веером раскатились по столешнице, наполнив рабочую, скудно обставленную горницу Конона изысканным богатством боярского терема.

Иван, робея, осторожно притронулся грубым пальцем к пряжке с хвостатою девой, что держала в руке крохотный костяной кубок. Его каждый раз изумляла Кононова работа и то, как тесть своими узловатыми большими твердыми руками создает такие крохотули, вытачивает тонкие писала с звериными головами, резные уховертки, костяные накладки и застежки к кожаным переплетам книг, покрывает затейливой плетенкой костяные навершия тростей и рукояти дорогого оружия. Тимофей тоже протянулся поглядеть. В кои-то веки один гребешок укупишь в торгу, а здесь их не одна дюжина, и не только простые, вседневные, со сверленым кружковым узором, каких всюду полно, но и дорогие, нарочитые, с завитыми, ручной работы, краями, с выпуклыми узорами в срединной части: грифонами, девами-птицами, крылатыми змеями в переплетении сказочных трав.

Насладившись откровенным восхищением гостей, Конон неторопливо собрал все опять в берестяную коробью, задерживая взыскательный взгляд на том или ином изделии. Выбрал из грудки пряжку и протянул сыну, молча указав ногтем на недо-

статочно заполированный край, и тот, также молча, принял, посмотрел и, кивнув, принялся кусочком лосиной замши наводить глянец.

— И кузнь наша лучше московськой! — прибавил Конон, убирая коробью.— Возьми хоть что, хоть уклад, хоть брони, хоть серебряную, хоть золотую кузнь. У нас, вишь, на каждом дели свой мастер сидит. Сапоги, и те не по одину шьют. Есть мастера подошвенники, те какую хошь подошву, какой хошь каблук тебе стачают, тимовники, по красным кожам опеть свои мастера, узорят — другие. И каждый с младых ногтей к своему делу приучен. А на Москвы один мастер и кует, и лудит, и узорит, уж как может, так и ломит. На Москвы о сю пору чеботы на одну колодку шьют, что для правой, то и для левой ноги, чисто валенцы! Такой сапог обуть — преже надо вдвои подвертки из толстины навернуть. Пото московськи бояра все и ходят в новгородских сапогах! А уж каки там костерезы... Да вот, погляди, московська стросточка ко мне случаем попала. Из той же цевки!

Иван с Тимофеем по очереди подержали в руках набалдашник, исполненный с грубоватой лихостью не очень задумывавшегося о качестве своего товара московского мастера.

— Талан есь, а прорезыват как? Как бог на душу положит! А уж полировка совсем никуда... Ну, не чиста работа! — заключил Конон, убирая навершие в коробью.

— Есь и там мастеров! — примолвил он погодя, принимаясь за новую пластинку.— Колокола тамо хорошо льют... Бо̀га́ты, наймуют! Вот Кюпро, сосед, иконник, его уж звали на Москву! Не хочет: тамо кланяйсе кажному боярину до зени, был Трифоном, станешь Тришкой, не по̀радуют те и деньги,— говорит. А Ферапонт, иконник, уехал, и Коста тоже, серебряник. Бают, в чести на Москвы! Тут как сказать? На Москву переехал — тамо ты Тришка, а здесь Трифон Иваныч, дак чего дороже... С какого бока посмотреть! Одно: коли ты Тришка, дак и деньги у тебя отобрать — не в труд, кому пожалуешься? Тришка ты и есть! Другое: коли жра̀ть нецего станет, дак долго ли тебя Иванычем замогут звать? Немного в Трифонах-то находишь, не ровен час, и тута, в Новом Городи, Тришкой назовут! Так Тришка, и другояк Тришка, дак хоть пожить ладо̀м! Нашу хоть работу возьми, и на Москвы, и на Литвы ей почет, а как мастеры живут? Хоть меня возьми! Всею семьей бьемсе, и всё одно, кажное пуло на счету. Мне ученика взеть, и то не на что! Кажной год новы налоги налагают, и в торгу дороговь! Счё тако?

Жонка Конона, до того молча хозяйничавшая в печном углу, тут тоже вмешалась:

— Поросенка выкормили одного, дак что на таку семью! Нать баранов хоть трех... А как слухи о войне начались, и все подорожало, и барана не укупишь, и осенних поросят не укупишь, дороги нынче поросята-ти, и масла не укупишь!

Причитая, Кониха взмахивала руками и шлепала себя по бокам, как утка крыльями. Пожалившись, разом замолчала и полезла ухватом в печь. Конон поглядел на жену вполглаза и продолжал ворчливо:

— Теперь рассудить, как поддатьце за короля? С Москвой, понимаешь, у нас все одинакое, а Литва — там иная вера, язык другой. Москве поддатьце — тоже не метно! А, боярская печаль! Мы как ни решим, нас не послушают! Наши старосты только на вече слово скажут, а и там уже у них все без нас готово-оговорено... Было преже! При прадедах. Слушали и нас! Дак в те поры и налогами не давили так нашего брата, как ныне... А теперешны бояра, кто за Москву, кто за Литву, а уж нам, черным людям, все заедино — вороги!

Язь почел нужным выступить в защиту своей боярыни, но Конон слушал его рассеянно, вполуха, перебил вопросом:

— Ты, Тимоха, ездил куда ле?

— Девку одну отвозил, обрюхатела, верно, от кого из боярчонков. Не наше дело.

— Сам-то не попользовалсе?

— Молчи, старой! — прикрикнула Кононова жонка.— Волосы вылезли, а туда ж!

Походя, она торнула мужа в спину, слегка, для порядку.

— Ето ницего, не дерись, однако! — примирительно отозвался Конон.

— Ни, у нас с ентим строго! — отвечал Тимофей.— Сама узнат, будет лиха!

— Ты вот ездил,— подзудил опять Конон,— хоть чего бы привез! Хоть поросенка осённого! Там оны дешевше. Туды девку, назад свинью!

— С Москвой не заладитце, опять дороговь пойдет на снедный припас! — подал голос старший из сыновей Конона, до сих пор только молча слушавший речи отца и Тимофея.

Не желая ввязываться в невыгодный для себя спор, Тимоха поднялся:

— Прощевайте, мужики!

Когда он вышел, Конон качнул головой и, прицеливаясь к новой пластине, поданной ему старшим сыном, заключил:

— Неплохой мужик, а — набалован! На боярском дворе, горюшка нет, посидел бы тута... Охо-хо-хо-хо!

— Литва ли, Русь ли, что гудок, что гусли! — вновь подал голос старший сын.

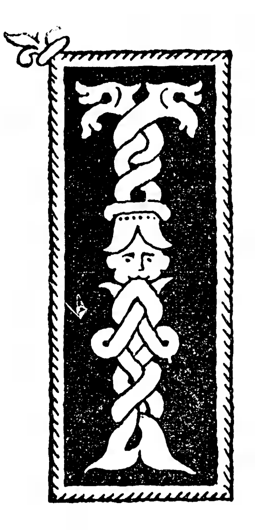
Иван, не желая ни бранить, ни защищать Борецких, промолчал.

— Цего у тя с домом?— напустился на него, погодя, Конон.

— Наум Трифоныч ладитце отобрать за долг.

— Говорил тогды дураку, не займуй! Перебились как ни то, приходил бы уж ко мне, цевку пилить, приработал чего... А теперича завязал петлю, и я не помогу, нечем! Дом отберут, куды с Нюркой денессе? Дочка растет, а ума не нажил... Нам с тобою только с Москвой и воевать!

ГЛАВА 9



о, чего так пламенно добивался Зосима, свершилось. Все преграды,— в том числе и сопротивление младшего Глухова, Никиты, воспротивившегося было скорому согласию на подаренье отца и дяди,— позади, и вот в его руках долгожданная грамота. Грамота на пергамене, с восемью круглыми свинцовыми печатями: архиепископа Великого Новгорода и Пскова, владыки Ионы, степенного посадника Ивана Лукинича, степенного тысяцкого и пяти концов Господина Новгорода,— большинство которых знаменовались печатями кончанских монастырей (только Людин сохранил древнюю фигуру воина в латах). Дорогая грамота, передающая в дом святого Спаса и святого Николы «с Соловчев» и его настоятелю Ионе остров Соловецкий с прилегающими к нему «островом Анзери, островом Нуксами, островом Заячьим и малыми островки». Зосима сам, из скромности и гордости, а также дальнего расчета (не рискуя связывать свое имя слишком тесно с судьбою Борецких) настоял, чтобы дар был сделан на имя уходящего игумена. Грамота наделяла монастырь землею и ловищами, тонями и пожнями, правом невозбранно валить лес и возделывать землю, а также взимать десятину со всех ловецких ватаг, боярских и корельских, приезжающих промышлять на острова. Сразу же вслед за утверждением грамоты Зосима был торжественно хиротонисан, с возведением в сан игумена Соловецкой обители, и, венцом всего, последовало приглашение на пир к самой Марфе Ивановне Борецкой.

Рискуя навлечь новый гнев великой боярыни, Зосима отказался от первого приглашения и согласился прийти, лишь когда был позван вторично. (Он не знал, что, посылая слуг за угодником, Марфа наказала звать его один и другой раз, и третий, думая, что тот будет уставно отказываться до трех раз.)

И вот вновь Зосима вступает, в той же грубой, еще более

пострадавшей от осенних непогод рясе на двор гордого терема под золоченой кровлей, двор, сейчас густо заставленный расписными возками и колымагами, у иных из которых даже ободья колес были сделаны из серебра, двор, где кровные кони под шелковыми попонами и толпы принаряженных холопов — всё говорило о большом приеме именитых гостей. Но все происходит как в мечте, той, давишней, и даже еще пресладчайше. К нему спешит, расталкивая слуг, управитель дома, его проводят сквозь сонмы гостей, и грузный старец, вылезающий из алого, обитого бархатом и соболями нутра своей колымаги, склоняет голову, приветствуя угодника. То, ради чего можно годы трудиться на далеком северном острову. Годы подвига за час почета и славы! И почет длится, и Зосиму проводят по крытым ковром ступеням, а грузный старец в дорогом одеянии шествует где-то сзади, и сейчас боярыня Марфа с поклоном примет благословение Зосимы... Да, он достиг всего, чего хотел! Теперь осталось — удержать достигнутое.

На пир к Борецким съехалось за восемьдесят человек гостей, с которыми явилось сотни полторы слуг, и всех надо было принять, разместить, устроить; да еще развести по стойлам и накормить коней. Вся прислуга Борецких с утра была на ногах, и хлопотня не утихала ни на мгновение. Терем Марфы видал и бо̀льшие съезды, и по триста, и по четыреста гостебников, но гость гостю не ровня, Борецкие принимали сегодня цвет города, старейших великих бояр, старейших посадников и тысяцких, маститых держателей и вершителей судеб Господина Новгорода. Из плотничан не был только Захария Овин, но зато приехали и зять его, Иван Кузьмин с женою и сыном, и Кузьма Григорьевич, брат Захарии, с женой и старшим сыном, Василием, и посадник Яков Федоров, и плотницкий тысяцкий Михаил Берденев, оба с семьями. Пожаловал степенной посадник Иван Лукинич и самые нарочитые из плотницких житьих, во главе с Киприяном Арзубьевым и Панфилом Селифонтовым. Из славлян прибыл Иван Офонасович Немир со всем семейством, с сыном Олферием и невесткой Февронией, старшей дочерью Марфы, приехал новоизбранный старейшим посадником из Славенского конца Иван Васильевич Своеземцев с молодой женой, Никита Федорович Глухов, тысяцкий Василий Есипович, Шенкурские, Домажировы, Деревяшкины. Бояре же Софийской стороны — Загородья, Людина и Неревского концов — собрались, почитай, все.

Гостей встречали на сенях Дмитрий Исакович с Федором, а потом сама Марфа Ивановна, находившая для каждого особое слово, особые взор и улыбку, как умела она, никого не обходя и не пропуская, но и не суетясь, с царственным плавным достоинством. Немира лишь взглядом спросила, не обидело ли его

то, что в старейшие посадники от Славны избран не он, а молодой Своеземцев, и Иван Офонасович понял взгляд, вскинул задорными седыми бровями, чуть улыбнулся: не подеремся, мол! Дочь, Фовру, Марфа расцеловала и тотчас отослала — не мешай! Сердечно поздравила Ивана Своеземцева.

— Дуня рада? — спросила, мягко, по-матерински, глянув на юную супругу Своеземцева. И тут же участливо оборотилась к другой молодой паре, прусскому посаднику Никите Есифову с женой Оксиньей:

— Как мать?

И опять глазами договорила то, о чем словами было нехорошо вымолвить. Есифова, вдова Григорьева, умирала, и ее кончины ждали с часу на час.

В большой столовой палате, куда вступил Зосима, было уже людно, и рябило в глазах от блеска узорчья и одежд. Изразчатая, писанная травами печь струила тепло, приятно охватившее Зосиму после холода улицы. Снявшие верхнее платье, принятое и унесенное слугами, гости расхаживали по палате, стояли или сидели, разговаривая. Молодые женщины пока, до столов, павами проплывали в особную.

В толпе именитых гостей попадались уже знакомые Зосиме лица. Его приветствовал Иван Лукинич, заметно осунувшийся лицом (Ивана Лукинича давно уже мучила скрытая болезнь). Узнал Зосима и рыхлого, румянолицего, хитро-улыбчивого старика в просторной, с золотыми пуговицами летней ферязи, то был Феофилат Захарьин, по прозвищу «Филат скупой, порочка» (кубышка), один из крупнейший бояр Софийской стороны. Рядом с ним стоял, беседуя, молодой боярин в умопомрачительно роскошном платье, с бледным, красиво-правильным лицом и негустою русою бородкой, лицом, которому как-то очень не хватало решительности выражения. То был второй из двух прусских «старых посадников», представитель Людина конца, сын знаменитого Федора Яковлича, Лука Федоров. Представительство вместе со сказочным богатством свалилось на него нежданно для Луки, четыре года назад, после смерти во время мора отца и дяди Есифа. Свалилось и раздавило, ибо вместе с высоким званием на Луку налегли и все запутанные политические дела покойного родителя, а также тяжбы многочисленных житьих, прикрепившихся к их роду, и заботы купцов, прибегавших к покровительству Луки по старой памяти, хоть он и сдал, получив посадничество, все заботы по торговым делам, вместе с должностью, новому тысяцкому. Теперь же на его плечи, изнемогавшие под тяжестью прежнего бремени, обрушилась необходимость решать судьбу Новгорода в споре с Москвой, и Лука в чаяньи хоть какой-то опоры в прямом и переносном смысле не отходил от Феофилата Захарьина, беззастенчиво пользовавше-

гося в своих интересах и интересах своих ближних бесхарактерностью Луки.

Оба великих боярина благословились у старца, Феофилат поздравил его с игуменством, а Лука, у которого были дворы и земли в Шуньге, даже вспомнил тот род толвуйских бояр, из коего происходил Зосима.

Отойдя от них, угодник приблизился к тому углу, где, восседая под святыми, возвышался старик с лицом, как каменная гора, одетая лесом,— сплошь в редкой серой щетине, сгущавшейся к подбородку и сбегавшей на грудь густыми потоками серой, цвета волчьей шерсти бороды. Кустистые брови совсем скрывали глубоко посаженные глаза старца. По бокам от него расположились два краснолицых мордатых молодца. То был великий неревский боярин, самый богатый человек в Новгороде, богаче Марфы, богаче Захара Овина — Богдан Есипов, с внуками. Богдан поворотил голову к Зосиме, показав глаза, маленькие и зоркие, улыбнулся, сморщив тонкий прямой нос, и тоже милостиво поздравил старца.

Зосима уселся неподалеку, внимательно озирая всю эту толпу вятших бояр и боярынь: строгую Онфимью Горошкову, что церемонно беседовала со славною вдовой Настасьей; высокого красавца боярина, густовласого, в благородной, умеренно посеребрившей виски седине, статного, невзирая на годы (то был герой Русы, Василий Александрович Казимер), которого окружала посадничья молодежь. Судя по мановению рук, речь шла о битвах, и старый воин показывал молодым какие-то приемы рубки мечом. Впрочем, всевидящая Марфа уже заметила одиночество Зосимы и послала к нему своего духовника, который и увел новопоставленного соловецкого игумена в моленную, где оба в ожидании пира предались душеспасительной беседе, тщательно избегая злободневных тем: московско-литовских отношений, судьбы архиепископии, послания митрополита Филиппа, а главным образом говорили о чудесах и видениях, посещавших угодника в годы его подвижничества на островах окиян-моря.

Меж тем Борецкая встречала давишнего старика, который во дворе поклонился Зосиме. То был сам Офонас Остафьевич Груз, на котором теперь, после смерти Федора Яковлевича, держалась реальная политика Прусского боярства. Не то, что Лука Федоров или уклончивый Феофилат, но даже Александр Самсонов не имели той власти и, главное, того влияния, как этот заматерелый старик с бугристым толстым носом на багровом лице, в сивой, косматой, отовсюду лезущей серо-желтой бороде, с толстыми, тоже багровыми в белых волосках и коричневых пятнах старости пальцами больших рук, глуховатый и оттого в разговоре поворачивающий к собеседнику большие сизые уши с пучками белых волос.

— Угодника твоего видал! — прохрипел Офонас, отдуваясь после подъема по лестнице.— А? — переспросил он, не дослышав, в ответ на приветствие Борецкой и покивал головой:— Встретила. Ну...— Он пожевал губами, задирая подбородок — зубов не хватало во рту. Губы у Офонаса были плотные, в складках, упрямые.— Угодника, говорю! — повторил он и подмигнул слезящимся глазом: — Подарила острова-ти?! — Шевельнул посохом, вопросил громче: — Слыхал, Онаньин ворочается с Москвы? Будет ли?

Спросил и, подняв голову, выставив бороду вперед — был дальнозорок,— поглядел на Марфу. Улыбнулся, прищуря глаз, кивнул удовлетворенно.

За ним стеной шли Грузы. Собственно, прозвище получил старший, Офонас, но когда они были вместе, всех трех братьев называли Грузами. За Офонасом следовал Тимофей, такой же большой, багроволицый, но еще могутный, с прямыми широкими плечами, густою квадратною бородой, костистый, длиннорукий, с упрямою складкой твердого рта, за ним Кузьма, младший брат, хитровато-улыбчивый богатырь, жены Грузов, старшие сыновья Офонаса и Кузьмы, оба посадники, их жены, младшие сыновья, дочери. Со всеми Марфа раскланивалась, с боярынями целовалась, боярышень привечала ласковым словом.

Офонас Остафьевич приблизился к Богдану. Один из внуков Есипова вскочил, предлагая место. Офонас опустился на лавку. Слуга, шедший сзади, подложил ему кожаную, с тисненым узором подушечку. Расставив ноги, уперев в пол трость с вделанными в рукоять драгими каменьями, на трость уложив большие бугристые руки в дорогих перстнях, он вполоборота поворотился к Богдану, приветствуя того. Офонас говорил громко, хрипло. Богдан, зная приглухость Офонаса, громко отвечал ему, тоже поворачивая голову. В общем шуме громкий разговор стариков терялся. Богдан тоже первым делом спросил про Онаньина, которого с часу на час ждали из Москвы. Давеча уже верховой примчал. Затем перешли на хозяйственные заботы. Не одна Борецкая и не один Панфил Селифонтов торопились принять и отправить до распуты и ледостава последние осенние обозы и корабли.

— Железо привезли! — громко похвастал Богдан.— Железо, говорю!

— Железа много нать нынце!— обрывисто отвечал Офонас, с удовольствием водя глазами по роям молодежи.

К ним подошел своей мягкою походкой Яков Короб, сват Марфин, тесть Дмитрия Борецкого, в мягких тимовых сапогах, в переливчатой лиловой шитой серебряными цветами ферязи, неподобранные рукава которой свисали за плечами Короба почти до полу и плавно колыхались в лад движению, как распущен-

ные лебединые крылья. Короб поклонился, и оба старика одинаковым движением склонили головы, приветствуя старейшего неревского посадника. Яков Александрович был пониже брата, Казимера, и не имел во внешности ничего воинственного: в мягкой темнорусой бороде, с мягко-внимательными серо-голубыми глазами и мягкими белыми руками.

— Онаньинича все нет! — ответил он на вопросительные взгляды стариков.

— Нать, без его начнем! — отозвался Офонас, вскидывая бороду.

Марфа проплыла по горнице царственной походкой. Шелк струился и мерцал разноцветными искрами. Проплыла, улыбаясь направо и налево или легким наклоном головы отвечая на восхищенные взоры мужиков, и в потемневших глазах ее горело торжество. Сама чувствовала, что лицо полыхает румянцем, это был ее пир! («Что же не едет Онаньин?»)

Иван Горошков положил руку на плечо другу Сергею, неотрывно следившему за плывущей по горнице Борецкой:

— На Марфу Ивановну засмотрелся? Хороша! Годы не берут!

Сергей сглотнул пересохшим ртом («Стыд, уже все замечать стали! В матери годится!»)

Марфа двинулась к соседнему покою, где собралась молодежь и уже задорно звучали дуда, струнчатые гудки и балалайки скоморохов. Туда, охорашиваясь, утицами проплывали девицы-боярышни, и старики начинали поглядывать, раззадоренные ладным призывным наигрышем. Марфа задержалась около Горошкова с приятелем, ласково, чуть насмешливо, тронула Сергея за волосы, пропела подошедшей Онфимье:

— Вишь, лыцарь мой! Оженить не могу никак!

И, не глядя на отчаянно покрасневшего молодца, поплыла дальше.

«Так легко, играючи, все ей легко!» — думал Сергей, почти с отчаяньем глядя на уходящее чудо. А ему-то, ему! Худо становилось, когда ночами бессонными представлял ее себе — тяжелую, в золоте, и эти глаза, и брови, и губы, и руки крепкие, не молодые, в легких морщинках, властные, и голос сочный, густой, с неожиданными переливами. Не мыслил и в мечте раздеть ее, святотатственно казалось. Тоненькая, с распахнутыми ресницами Ангелина, дочь Александра Самсонова, нареченная, но нежеланная невеста, казалась ему тогда как скукоженная осинка или дождик осенний, серенький, перед солнцем, горячим на закате, огненным, в парчовой одежде расписанных золотом облаков.

Борецкая остановилась в широком проеме, соединяющем столовую горницу с соседней, расположенной чуть ниже. Не спус-

каясь по ступеням, оглядела, любуясь, толпу молодых гостей, оступивших скоморохов, один из которых ходил сейчас на руках, ногами в мягких тимовых постолах подкидывая и ловя кожаный желто-красный мячик. Марфа отыскала глазами Дмитрия, что стоял в обнимку с Селезневым среди своих приверженцев. Все рослые, как на подбор, красавцы — неужели такие молодцы не одолеют Москвы? Сочным своим голосом, не возвышая, но так, чтобы услышали все, пригласила:

— Господа, гости дорогие! Заботы до пира, а пир досыта — прошу ко столам!

Оборотилась, плавно подняв руку в браслете, сверкнувшем из-под пышного сборчатого рукава, и тотчас в столовую палату стремглав внеслись слуги, и раскатилась из конца в конец по длинным столам, как живая, браная скатерть, а другие, пробежав вереницею, вмиг уставили ее золотом и серебром, поливной иноземной и деревянной новгородскою расписной и точеной посудою, а следующие уже заводили, поддерживая под локти, на заранее назначенные места пожилых и с поклонами приглашали к трапезе молодых гостей.

В начале стола сели старики: Офонас Остафьевич с братом Тимофеем, Богдан Есипов и особенно маленький среди них Иван Лукинич. За ними, по ряду, Кузьма Григорьевич, брат Овина, и рыхлый хитрец Феофилат Захарьинич. По старшинству рода, званию и богатству с ним рядом поместился Лука Федоров, за ним Александр Самсонов, Василий Казимер с братом Яковом Коробом, Иван Офонасович Немир, молодой Своеземцев, которому почетное место также досталось не по возрасту, а по старшинству звания и рода. Вслед за великими боярами Борецкая усадила, почета ради, и двоих нарочитых житьих — Киприяна Арзубьева, старого соратника своего, и Панфила Селифонтова. Почетное место было оставлено для Зосимы. Напротив стариков поместились славные вдовы: Настасья, Онфимья Горошкова и жены Грузов и иных великих бояр. На нижних столах царила молодежь, предводимая Борецким и Савелковым. Сама Марфа сидела во главе, со стариками. Взгляд ее пробежал по рядам гостей, проверяя, не обижен ли кто, все ли рассажены, как надо, задержался на нижних столах, где расселись боярышни, которых сейчас смешил, рассказывая что-то веселое, черноглазый Губа-Селезнев, отметила, с мгновенным неудовольствием, Олену, севшую прямо против Григория Тучина. «Что брат, то и сестра!» — подумала Марфа и, оглядев столы, подала новый знак.

Тотчас будто по воздуху проплыла гигантская белорыбица и пузатые кувшины, бочонки и братины с разными напитками, наполнились чары, смолкла музыка. Зосиму попросили благословить трапезу. А затем чарки пошли по рукам, за рыбными

переменами последовали мясные, уху в серебряных котлах сменяла мясная похлебка, приправленная укропом и восточными пряностями — бухарской мелкотертой острою травой, черным перцем и листьями лавра. Румянились пироги, лоснилась кулебяка. Клубящийся пар подымался над дичью, являвшейся вновь и вновь в проворных руках прислужников. По осени особенно жирные рябцы, куропти, кулики-березовики, тетерева, приправленные моченой брусникой, зайцы под кислым соусом сменяли друг друга и среди всего украшением пира — лебеди, искусно покрытые перьями, гордо выгибающие расправленные на серебряных проволоках шеи. Слуги разносили серебряные соусницы с приправами разного рода, душистыми травами, уксусом и горчицей.

Марфа, пытливо озирая собрание, следила не за тем, чтобы пирующие ели: не оставить гостя без блюда, вовремя подать или убрать опорожнившуюся тарель — дело слуг, а за тем, чтобы беседа, на время лишь утихшая, не смолкала, чтобы не был кручинен гость на пиру, не был оброшен или позабыт. Но, кажется, все были довольны, все веселы. С чувством — знала, что он любитель хорошей рыбы, и слуги получили соответственный указ,— ест Офонас Груз, крепко жуя беззубыми челюстями, улыбаясь от удовольствия — ублаготворен! Марфа обратилась к Богдану, а краем глаза заметила старца, что лишь притрагивался к еде — себя блюдет! Она улыбнулась Настасье, которая церемонно отведывала лебедятину, терпеливо выслушивая таратористую речь Тимофеевой жены. На нижних столах шумно веселились, здесь — чинно беседовали, и беседа вращалась вокруг того, что было у всех на уме.

— В августе Москва опеть выгорела вся! — сказал Казимер.— Иван, бают, сам тушил.

— Любит пожары тушить! — поддакнул Немир с неопределенным, как показалось Зосиме, выражением не то одобрения, не то насмешки.

— Псковский пожар потушил! — громко возразил Богдан, оторвавшись от тарели и вновь невозмутимо принимаясь разделывать жареного рябца.

— Иван Офонасьич,— вопросил Тимофей Груз не без лукавства,— ты ездил к великому князю тогда, о псковских делах?

— Еще и требовал войну начать со Псковом! — насмешливо поддакнул Феофилат, вытирая пухлые жирные пальцы разложенным вдоль стола рушником.

— Почто Иван-то им не разрешил отделитьце? — подал голос Панфил Селифонтович.

— Шутишь! — отвечал Александр Самсонов.— Сам-то тоже думал, поди: псковичам только разреши, а потом и самой Москвы с нима сладу бы не стало.

— Митрополит подсказал!

— Такое дело с митрополитом решали! — поддакнули голоса.

Яков Короб, заметив недоумение Зосимы, пояснил ему, как равному, подчеркивая этим, что старое нелюбие забыто и новопоставленный настоятель принят как свой в среду великих бояр:

— Псковичи себя отделить хотели от дома святой Софии, добивались во Пскове свою епископию учинить, уже было и война возгорелась. В ту пору нам великий князь Иван помог умиритьце, а псковичам их умысел воспретил.

— Князь Иван...— начал, косясь на Зосиму смеющимся глазом, Офонас Груз и примолк, смачно прожевывая кус белорыбицы. За едой он неизменно приходил в хорошее настроение.— Князь Иван! — повторил он громко, с передыхом, откидываясь к спинке перекидной скамьи и обращая теперь смеющиеся глаза к Феофилату Захарьину.— Князь Иван им сказал: «Владыке во Пскове не мочно быти, занеже искони никогда не было».— Груз выдержал паузу, вновь хитро поглядел на Зосиму и прибавил, в свою очередь вытирая пальцы нарочито разложенным по столу рушником.— И одарил посла велблюдом!

Это была старая шутка, не старевшая вот уже шестой год. Гости заулыбались, а Феофилат затрясся, щуря глаза, зашелся в смехе, удерживая руками колыхавшееся чрево, запрокидывая голову, взбулькивая, захлебываясь. Хохотал, приговаривая:

— Иван-то, велблюда, велблюда послал! Охо-хо-хо-хо! Наместо епископа, а?! Велблюда! — закашлялся, мотая головой, аж слезы пошли из глаз, отдышался, озирая дружно расхмылившихся сотрапезников, и снова, сгибаясь от веселых колик, залился булькающим смехом.

— А они бы, плесковичи-то, не сробели, поставили его, велблюда, на епископию, хо-хо-хо-хо-хо! Велблюда! Ах-ха-ха, хо-хо-хо!. Владыкою-то, велблюда, а?! Ах-ха-ха-ха-ха-ха, хо-хо-хо-хо-хо-хо!

Гремел, оглушая Зосиму, дружный хохот великих бояр.

Меж тем уже вторично, приклоняясь в его сторону, Марфа озабоченно спрашивала свата Якова, что сидел одесную угодника. Тихий вопрос утонул в общем веселом шуме.

— Ладилсе быть, с коня и сюда! — негромко отвечал Яков.

Без Онаньина, которого ждали все, и тех вестей, которые он должен был привезти из Москвы, серьезного разговора начинать было нельзя, и потому, чем далее продолжался пир, тем тревожнее становилось на сердце у Борецкой.

Вдруг что-то невидимо совершилось, какой-то знак, переданный десятками слуг, облетел горницу. Марфа встала, ветром прошла вдоль столов.

— Василий Онаньин!

Он вошел, и скорее даже возник, воссозданный страстной жаждою Борецкой, большой, веселый, краснолицый, кирпично-румяный с холоду. Он шел, походя здороваясь со всеми, и его приветствовали, подымая чары. Казимер встал и картинно облобызал Василия. Онаньина усадили, он потирал ладони, раскланиваясь со стариками, принял золотую чару из рук самой Марфы, подхватил кусок севрюжины. Помавая головой, отмахивался от рвущихся к нему немых вопросов, уронил одно:

— Гневен! — уписывая угря, в улыбке обнажая ровный ряд белоснежных зубов,— двигалась черная борода, двигались красные влажные губы,— примолвил:— Сердит!— принял мису горячей тройной ухи, опрокидывая в рот, одну за другой, чары красного фряжского, добавил скороговоркой: — Охолодало! — Наконец прижмурился от блаженно разлившегося по телу сытого тепла, потянулся, встряхнулся соколом:— Все свои?

Короб повел глазом в сторону Зосимы.

— Кто?

— Зосима, соловецкий угодник, а ныне вождь стада духовного.

— Игуменом?

Поднял чару, отнесся к старцу, который то подымал, то опускал глаза и побледнел даже, чувствуя, что вот оно то, о чем говорили в Клопске, но не хотелось верить, вошло с этим чернобородым красногубым боярином — война с Москвой.

Взглядывая из-под низко опущенных ресниц, Зосима видел одни тела председящих: руки с перстнями брали с подносов золотые и серебряные чары, двигались расшитые, цветные и белоснежные рукава, покачивались тела без голов, в шелках, парче и бархате. Он опускал очи долу и вновь подымал, намеренно избегая видеть лица сотрапезующих, и вновь перед ним качались безголовые тела. Упорная мысль зрела в нем, еще не перелившись в законченный образ, и, лишь выйдя на улицу, под осеннее ненастное небо, он додумал ее до конца...

— Княжчин требует! — громко сказал Онаньин.— И тех земель, что при Олександре Невском были за великими князьями.

— Эко вспомнил!

Ропот прошел по палате. Многие обернулись в сторону Ивана Лошинского, брата Марфы, владельца княжеского (когда-то!) села Ракомы под Новгородом. И Иван, набычившись, свел брови и сжал кулаки. К власти не лез, в делах государственных прятался за спину сестры, но за свое добро, за землю драться мог насмерть. Припоминали, да и не припомнить вдруг! Что считалось княжьими землями двести лет назад, и давно отошло Великому Новгороду, а затем было разобрано боярами, переходило

из рода в род, продавалось и перепродавалось по сорок раз из рук в руки. Киприян Арзубьев, доселе хранивший молчание, предостерегающе поглядел на Марфу и Онаньина — не стоило так соборно, при всех гостях и гостьях, подымать древнего, пахнущего кровью спора с великими князьями московскими. Положение спас Богдан Есипов, невпопад, а вышло как раз впопад, начавший повествовать всем известную длинную историю о потерянной и вновь обретенной гробнице родоначальника московских князей, Даниила, младшего сына Невского.

— Нам про Олександра толкует, а сам пращура своего, Данилы Олександровича могилу забыл! — трубно возгласил Богдан, сдвигая мохнатые брови, отчего его маленькие, по-медвежьи зоркие глазки совсем утонули в тени глазниц.— Покойный сам встал, явился ему на Москве-реце с жалобой, бают! И не ему даже, а одному из отроков княжьих. Конь подопнулся, и отрок зрит: перед ним князь, ему неведомый, по корзну признал, корзно на плечах княжое.— Богдан руками показал, как застегнут был княжой червленый старинный плащ-корзно на левом плече князя Данилы, будто сам видал.— Явился и молвит: «Я господин месту сему, князь Данило Московский, здесь положенный. Скажи великому князю Ивану: ты сам себя утешаешь, а меня забыл!» С тех пор только стали и панихиды по нему править, с тех только пор! — Богдан строго оглядел собрание и вновь занялся содержимым своей тарели.

Марфа махнула рукой, заиграла музыка. Киприян удовлетворенно кивнул Борецкой. Онаньин, подмигнув Киприяну, со вновь разыгравшимся вожделением нацелился на кусок кабаньей спины.

При первых же веселых звуках гудошников Зосима строго поднял глаза — не подобает духовному лицу слушать игрища бесовские. Борецкая поняла и тотчас с поклоном стала благодарить старца. Тут же она вручила ему дарственную на деревню на Суме-реке. Потянулись руки, серебряное блюдо пошло по кругу, на блюдо золотым дождем пролилась щедрая боярская милостыня новой обители: деньги, перстни, дарственные грамоты. Панфил Селифонтович, крякнув, пригласил Зосиму перед отъездом побывать еще и у него, в купеческом задоре решил не ударить лицом в грязь.

Обласканный, провоженный до порога самою хозяйкой, сопровожденный слугою, что нес сверток с дарами и снедью со стола, Зосима спустился по широкой лестнице и еще раз, со двора, оглянулся на терем, что весь сиял и гремел. Марфа не любила, как у иных, чтоб голодные слуги ляскали зубами, когда пируют господа — гулял весь дом; из молодечной, холопьей, людских неслись песни. Отрок Данило вывалился к старцу, чуть устояв на ногах, разрумянившийся от обильной еды, веселый,

хмельной и с сожалением, что приходится уходить, начал было рассказывать, какую занятную диковину отмочили скоморохи.

— Сатанинско то действо! — оборвал его Зосима.

На темном дворе под холодным, упорно моросящим дождем он представил себе всю временность промелькнувшего праздника и постоянство тяжкого духовного труда, и особенно тяжкий в эту осеннюю пору путь по бурной Ладоге, по Онегушку страховитому, все эти мели, плесы, луды и корги, где при осённом погодьи, когда дует восток, и не пристанешь, лодью тотчас повалит и разобьет! А дальше — утомительный путь по рекам, и холодные волны Белого моря... Конечно, теперь хватит с избытком и на припас снедный, и на лопотину, и на орудья, потребные обители (новый црен надо купить!) и на церковные сосуды, свечи, миро и ладан, и даже на книги. Но довезти, не потопить! Они-то пируют!

Под холодным дождем Зосима с Данилою сошли к пристани, сели в лодку.

Так отбыл из Новгорода и ушел со страниц нашего повествования Зосима, знаменитый, позднее канонизированный угодник, основатель Соловецкой обители, чтобы более уже не появиться здесь. Но перед отъездом, перед отбытием из Новгорода, он совершил то, что смутно обдумывалось им еще в ночь пешего возвращения из Клопска. Под большой тайною сообщил он Панфилу Селифонтову (а перед тем — отроку Даниле, от коего о том уведал онтоновский келарь и иные многие) о посетившем его на пиру ужасном и предивном видении: трижды, подымая очи, видел он семерых старейших великих бояр новгородских сидящих за столом без голов. Много позднее тех, кто первыми проведал об этом чуде, изумляла прозорливость старца. Видение Зосимы сослужило впоследствии добрую службу Соловецкой обители, помогло ей уцелеть, и не только уцелеть, но и возвыситься под властью московских государей. Но то уже иная повесть, иных времен, когда ни Зосимы и никого из тогда сущих уже давно не оставалось в живых. Так было совершено первое предательство новгородского дела, первое из сотен иных, больших и малых, тайных и явных, вкупе отметивших закат великого вольного города.

Пир продолжался после ухода старца и сделался еще шумнее, а речи еще откровеннее. Слуги разносили пироги и закуски, мелкие пряники, сласти восточные, засахаренные фрукты и орехи. Уже иные двинулись в соседнюю палату, где вновь начались представления скоморохов. И уже незаметно посвященные пробирались к началу столов и под смех, говор и шумную суету молодежи, заграждавшую их паче занавеса, один по одному проходили узким боковым переходом, подымаясь в особный Марфин покой, тот самый, где она принимала Пимена, сегодня освобож-

денный от лишней утвари, и рассаживались на заранее принесенные стульцы, кресла и скамьи.

Подошли и Василий Селезнев с Дмитрием. Лица построжели. Иван явно не шел ни на какие уступки. Война, почти решенная сторонниками Борецких, теперь становилась явью для всех.

Марфа была единственная из жонок в этом собрании матерых мужиков, по сути — Совете господ, ибо налицо были все старейшие посадники от пяти концов: Иван Лукинич, он же и степенной, от Плотницкого, Яков Короб от Неревского, Феофилат Захарьин от Загородья, Лука Федоров от Людина конца и Иван Своеземцев от Славны. Были тут и почти все крупные бояре, от которых зависела новгородская политика (кроме Захарии Овина, но и за него предстательствовал брат, Кузьма). То, что решат они, будет уже решением боярского совета, совета сорока, или Совета господ, который, впрочем, должен был собраться позже, в Грановитой палате архиепископского дворца и под председательством самого архиепископа.

«Как Иона?» —молчаливо повисло в воздухе. Не живой и не мертвый, владыка связывал руки, все еще не назначив восприемника, хоть никто и не сомневался, что восприемником будет Пимен.

— Силы много у князя! Надеяться нать только, ежели после Казани с Ордой у их возможет грызня произойти!

— Что бают на Москвы?

Онаньин поиграл бровями, ответил раздумчиво:

— Слух есть, король Казимир подсылал татарина Кирея послом к царю Ахмату, подымать Орду на Ивана. Тот Кирей беглый холоп Иванов. Еще дед Ивана, Василий Дмитрич, Киреева деда, Мисюря купил. От того Мисюря — Амурат, от Амурата — Кирей, все при дворе великих князей московских выросли. Так что, надо полагать, знал немало! Посла перехватили. Сарай тем часом вятичи пограбили изгоном, отай подошли. Ахмат кочевал с Ордой, не поспел воротитьце... Дак вот и полагайте тут!

— Как дела в Литве, поможет ли Казимир? — озабоченно вопросил Яков Короб, беспокойно обегая мягкими серыми глазами суровые лица вятших.

Супясь, из своего угла подал голос Иван Кузьмин:

— Договорная не подписана! Спорим... Вече должно решить.

— Как житьи, как купечество?

Киприян Арзубьев положил на стол жилистые кулаки, ответил твердо:

— Житьи не подведут. Думаю, и вече перетянем!

Панфил огладил бороду, вздохнул:

— Марко мой за Иваньское купечество ручаетце!

Прочие молчали, но похоже было, что мнение Борецких перевешивало. И все же какой-то окончательной искры, чтобы тотчас и совсем порвать с Москвой, не хватало. Феофилат вздохнул из глубины своего мягкого чрева, сощурил глаза, как сытый кот, показал рукой извилисто:

— Лучше бы эдак! Как издревле было: против суздальцев — Чернигов, против Твери — Москва, против Москвы — Литва, а Новгород со всема в мире и спокое...

Тут взорвался старый Богдан.

— Хорош мир! У меня сын убит под Русой! — глядя прямо перед собой, как с вечевой ступени, он громко заговорил: — Князи руссгии суть рода варяжска, приглашены мужами новгородскими в первые времена, князь Рурик, и Синеус, и Трувор. От Рурика и род княжеский. А посадник первый — Гостомысл, от кореня нашего, изначального, и все мы, великие мужи новогородские, старейшие князей великих! И волость нашу одержим вольно и самовластно по грамотам Ярославлим, како заповедал нам Ярослав мудрый киевский, в прадедни веки. А что поминают Владимира Мономаха да Олександра Невского, яко сии суть вмешивались в суд и волости господина Новгорода, дак пусть не величаются! Московские князи от того корня младших ветвей, а старейшие суть ростовские да суздальские князи. По роду наш служилый князь, Василий Васильич Горбатый-Суздальский родовитее князей московских! По праву лествичного наследия, что заповедал Владимир Мономах, не Василий Васильич Темный, а Юрий Дмитрич должен был княжить на Московском столе! А за ним Дмитрий Юрьевич Шемяка, иже опочил и похоронен у нас, в Юрьеве, и принимали мы его как великого князя, та была честь! И мы, братия, в посадничестве и во князьях вольны суть! — он пристукнул посохом, загородив глаза мохнатыми серыми бровями. Руки на посохе не дрожат, крепкие руки, власть держат и хозяйство ведут. Внуков еще не выделяет Богдан, каждую мелочь в хозяйстве помнит, как родословную.

Офонас Остафьевич пережевал сказанное, утвердился, свел плотные упрямые губы, сжал беззубый рот, отчего борода задралась вперед, кивнул согласно. Кузьма Григорьевич медленно склонил лобастую голову тем же братним, стойно Захарии Овина, движением толстой шеи. Молодые — необычайно серьезный Тучин и насупленный, исподлобья сторожко следящий за стариками Василий Селезнев — только молча переглянулись, для них уже все было решено. У Луки Федорова жалко вспотело лицо. Казимер, старый герой Русы, забегал глазами. В Совете одних стариков он бы и выказал сомнения, но тот подлый меленький страх, который он тщательно скрывал все эти долгие годы, страх, появившийся впервые в тот миг, когда он, раненый, пересев на

чужого коня, бежал с поля боя, бросив на произвол судьбы Михаила Тучу, лучшего друга своего, страх перед Москвой и постоянная боязнь того, что о его страхе кто-нибудь узнает, не позволили ему возразить, особенно в присутствии молодежи, и он вослед Офонасу утвердительно кивнул головой. Александр Самсонов строго спросил:

— Что мы придаем королю Казимиру?

— Десять соляных варниц в Русе и суд через год,— ответил Дмитрий Борецкий.

— Чтобы наместник был греческой веры!

— То сказано уже,— вмешался Селезнев.— И чтобы ропаты не строили католические в Новгородской земле, записали!

Марфа, побледнев лицом, только слушала, переводя глаза с одного на другого. Иван Лукинич сидел задумавшись. Усталость, телесная и душевная, не покидавшая его последнее время, угнетала его паче болести.

Он ездил в Литву, и не раз, он начинал эту борьбу, когда еще о Марфе мало кто и слышал... В могиле Федор Яковлич, в могиле Есиф Андреянович Горошков, в могиле Григорий Данилыч, в могиле Василий Степаныч Своеземцев, в могиле Григорий Кириллыч Посахно, в могиле великий владыка Евфимий и при смерти Иона, который умел утишать гнев Василия Темного. Он лично помнил две последние войны с Москвой, и оба раза — унылость и разброд после разгромов. Он сам был с ратью под Русой и бежал, раненный в лицо. Шрам от глаза до скулы и доднесь напоминает об этом. И каждый раз повторялось все тож. Москва росла, как опара, вылезающая из квашни. Молодой великий князь Иван упорен. Трижды посылал рати под Казань, а сломил-таки царя Казанского, постановил на своей воле. Выступит ли король Казимир? Как Мейстер? Надо урядить с немцами — как на грех, новая ссора! Как Псков? В шестьдесят четвертом псковичи прислали подмогу против Москвы, а теперь? С тех пор со Псковом опять рассорились, чуть не до войны доходило, и все Иван Немир! Теперь наладилось, но насколько? Надо сослаться с Максимом Ларионовичем, узнать во Пскове, что мыслят тамошние бояра о-себе... Не из-за одной лишь нелюбы к Борецким Захария Овин увертывается от общего дела!

Но за плечами Ивана Лукинича были годы борьбы, борьбы, борьбы... Вот Богдан, уступивший когда-то место старейшего покойному Михаилу Туче, стоит, как камень! Может статься, в грозный час опять останемся одни, и достанет ли тогда твоего мужества, Богдан Есипов!

Василий Онаньин усмехнулся:

— Отобьемсе! А нет — откупимсе. Московские князи на золото, что сороки, падки. Василий, покойник, из-за пояса с двоюродниками насмерть резался. За те каменья в золоте, что

бабка, Софья Витовтовна, на его свадьбе с Василья Косого, Юрьевича, с соромом сволокла, сколь они потом голов положили! Очи один другому повынимывали, Москву брали не по разу... Смех и срам! А не угадали отцы наши, кому нать помочь было. Прохватились, да поздно. Когда Василий с ратью под Новым Городом стал!

— Дозвольте мне сказать, господа,— подал голос Губа-Селезнев.— Хоть я и молодший среди старейших! — Он встал.— Кажный день богомольцы из Клопска-монастыря по городу слухи несут, будто мы в латынскую веру откачнулись. Туда бы съездить! Выяснить да и постращать. Потом, надо убедить владыку... Марфа Ивановна, может, тебя самое примет?

Марфа склонила голову.

— Чти, Василий!— сказал Дмитрий Борецкий.

Грамота, над которой сидели не по раз, и вместе и в особину, обсуждая и споря, грамота предварительного договора с литовским королем, наконец, легла на налой.

— «По благословению преосвященного архиепископа Великого Новагорода и Пскова, владыки Ионы...» — начал Селезнев, и примолк, сузив черные глаза.

— Или нареченного на владычество...

— Пимена!— подсказал Онаньин.

— Иона еще не утвердил восприемника?! — Вопрос Александра Самсонова прозвучал разом и как возражение Онаньину.

— Тут мы оставляем место!— остановил Борецкий чуть было не возгоревшийся спор.

Селезнев вновь склонился над грамотой:

— «От степенного посадника Ивана Лукинича, степенного тысяцкого...»

Иван Лукинич приподнял руку, останавливая чтеца:

— В феврале обновляется степень. Предлагаю сейчас не называть господ великих бояр поименно, ни господ послов к королю литовскому.

Селезнев оглядел собрание, все согласно закивали головами.

— Пропускаю! — сказал Селезнев.— «А держати ти, честный король, Великий Новгород на сей на крестной грамоте...» Отселе, господа?

— Чти отсель!

— «А держати тебе, честному королю, своего наместника на Городище от нашей веры, от греческой, от православного хрестьянства. А наместнику твоему без посадника новогородского суда не судити...»— Читал Селезнев, чувствуя, как в горнице нарастает тишина.— «А судити твоему наместнику по новогородской старине. А дворецкому твоему жити на Городище, на дворце, по новогородской пошлине... А наместнику твоему судити с посадником во владычном дворе на обычном месте, как боярина,

так и житьего, так и молодшего, так и селянина. А судити ему в правду, по крестному целованью, всех равно. А пересуд ему имати по новогородской грамоте, по крестной... А во владычень суд, и в суд тысяцкого, а в то тебе не вступати, ни в монастырские суды, по старине. А пойдет князь великий московский на Великий Новгород, или его сын, или его брат, или которую землю подымет на Великий Новгород, ино тебе, нашему господину честному королю всести на конь за Великий Новгород и со всею со своею радою литовскою против великого князя и оборонити Великий Новгород...»

— Рубеж по старине?— вновь прервал его Александр Самсонов.

— По старине. Ржева и Великие Луки — то земли новгородские!

Дальше Селезневу уже почти не давали читать. После каждой новой строки: о данях, подводах, черных кунах, проезжем суде, переварах и смесных судах литвина с новгородцем кто-нибудь требовал перечесть, уточнить, напомнить старые уложения с тверскими и суздальскими князьями и с московскими великими князьями до Дмитрия Иваныча Донского. И много времени прошло, прежде чем Василий добрался, наконец, до перечня исконных неотторгаемых новгородских земель — Торжка, Бежичей, Вологды, Заволочья, Терьского берега, Перми, Печоры, Югры и прочих (иные из которых, как Торжок или Вологда, уже давно были новгородскими, увы, в одних только перечнях договорных грамот).

— «А на новогородской земле тебе, честный король, сёл не ставити, не закупати, ни даром не принимати, ни твоей королеве, ни твоим детям, ни твоим князьям, ни твоим панам, ни твоим слугам...— читал Селезнев.— А у нас тебе, честный король, веры греческой православной нашей не отымати, а римских церквей тебе, честный король, в Великом Новогороде не ставити, ни по пригородам новогородским, ни по всей земле Новогородской...»·Любо ли то?— спросил он, отрываясь от грамоты.

— Любо! Любо!

— «А что во Пскове суд и печать и земли Великого Новагорода, а то к Великому Новугороду по старине. А немецкого двора тебе не затворяти. А послам и гостям на обе половины путь им чист, по Литовской земле и по Новогородской. А держати тебе, честный король, Великий Новгород в воле мужей вольных, по нашей старине и по сей крестной грамоте!— Василий торжественно возвысил голос: — А на том на всем, честный король, крест целуй ко всему Великому Новугороду за все свое княжество и за всю раду литовскую, в правду, без всякого извета!»

Селезнев кончил и еще постоял, слушая тишину.

— На том стоять всем заедино,— прибавил он негромко и сел.

— Ряд с королем довершат послы, а грамоту надобно подписать всем! — примолвил Дмитрий Борецкий.

Какое-то мгновение казалось, что никто и не тронется с места. Но вот зашевелились старики, и первым встал Офонас Остафьевич. Ему тотчас пододвинули медную граненую чернильницу, подали лебединое перо. Офонас обмакнул перо, отряхнул лишние капли над чернильницей и медленно начал выводить свою подпись, отклоняя голову назад и вбок, чтобы разглядеть написанное, щурясь от напряжения,— в углу глаза копилась старческая слеза. Писал он уставом, почти выдавливая твердые неровные буквы, перечтя, подправлял, доводя кое-где палочки. Кончив, подал перо Феофилату, у которого вдруг задрожали руки, поглядел твердо, чуть насмешливо: вот, мол! И дождавшись, когда Феофилат выведет первые буквы, грузно опустился на скамью. За Феофилатом стали подписывать все по ряду.

Свершилось.

Темная ночь обняла Новгород. Закрывались ставни, задвигались запоры ворот. Только сияющий огнями терем Борецких, откуда по-прежнему неслись музыка, песни и крики, один нарушал тишину. Наверху — гуляли, а внизу, во дворе, спешивались заляпанные грязью всадники. Брякали стремена. Выбежавшему в темноту растерянному слуге старший из приезжих бросил:

— От великого князя и государя Московского к Дмитрию Исаковичу Борецкому!

В столовой палате, куда вступили трое московских дворян, не вдруг водворилась тишина. Но вот стихла музыка, и Дмитрий,— он только что вновь присоединился к гостям,— хмурясь, вышел наперед. Произнеся уставные слова приветствия, старший из дворян с низким поклоном подал Дмитрию свернутую грамоту и, прямо глядя в глаза Борецкому, громко, чтобы слышали все, объявил:

— Великий государь Московский, князь и господин Новгорода Великого, сею грамотой жалует тебя своим княжьим боярином! Прими и служи честно и грозно, како достоит слуге великого князя Московского!

Все трое поклонились враз.

Еще не понимая до конца, что произошло, Дмитрий Борецкий принял свиток. Дворяне глядели на него.

— Благодарю великого князя за честь!— наконец вымолвил он.

Честь действительно была великая и нежданная. Сам московский воевода, князь Даниил Холмский не имел этого титула, и лишь несколько самых ближних и самых родовитых бояринов московских носили звание не просто бояр, а бояр великого кня-

зя, звание, открывавшее доступ к высшим государственным должностям и участию в думе государевой.

Послам поднесли чары. К Борецкому подошел Василий Онаньин, и дворяне разом покосились на него, а старшой поперхнулся даже. Весь день они загоняли лошадей, велено было во что бы то ни стало обогнать новгородского посла, и — напрасно!

Поднялся ропот. Кто-то присвистнул:

— Борецкого своим боярином!

Держа грамоту в руке, Дмитрий прошел сквозь внезапно расступившуюся толпу к себе. Его провожали перешептыванье, подозрительные взгляды Настасьи Григорьевой, озабоченный — Ивана Лукинича.

То был первый, запоздавший на три часа, удар великого князя.

Савелков с Селезневым, переглянувшись, двинулись было вслед Дмитрию, но Селезнев остоялся вдруг и решительно воротился к кучке молодых бояр, а вслед за ним повернул и Савелков. Борецкая срывала перстни с пальцев: скорей выпроводить гостей! Вбежавшему ключнику бросила сквозь зубы:

— Догони!

Иев, сломя голову, полетел следом за москвичами, выменивать, по тройной цене, хозяйкины кольца на золото.

Офонас жестко сложил рот,— понял первый,— недобро сощурился, кивнул Марфе: «Пойди к молодцу!»

Марфа переглянулась с Онфимьей, та степенно наклонила голову: «Не бойся, пригляжу!» Борецкая вышла вслед за сыном.

Лука Федоров недоуменно вертел головой: кто бы объяснил, что происходит? Онаньин, долго смотревший вслед москвичам, вдруг хлопнул себя по лбу:

— То-то мне в Яжелбицах коня подковать не могли никак! Следом, скакали!

С внезапным уважением вспомнил он замкнутое лицо молодого Ивана, его сросшиеся брови, пристальный взгляд — а с ним не просто будет!

— Победим Москву, кажному боярство дадут!— громко сказал Селезнев.

Прозрение Онаньина взрывом вспороло тишину. Кто-то перекрестился даже:

— Чур меня, чур!

Если не у всех, то у многих мысль об измене общему делу их вожака на миг породила смутный ужас.

Кое-как восстанавливалось порушенное веселье. Еще не все понимали, а многие так и не поняли или не поверили до конца, что пожалование Борецкому было рассчитанным и коварным

ходом великого князя в борьбе с Новгородом, а не наградою за тайно оказанные услуги.

Марфа поднялась одна по крутой темной лесенке, ведущей в светелку. Чутьем знала, где найти сына.

Он стоял у окна, спиной к свету единственной зажженной свечи, глядя в ночную темноту уснувшего города. Марфа отыскала навощенную лучинку, зажгла свечи в свечниках. Скрестила руки на груди, постояла. Спросила:

— Что думаешь?

— Холопом быть не хочу и у самого московского князя!

Этих слов и ждала. С удовлетворением она оглядела широкие плечи сына. Дмитрий вдруг резко повернулся, изронил с мукой в голосе:

— Зачем принял! Молва по городу теперь... Надо было растоптать, швырнуть в лицо!

Борецкая слушала, улыбаясь («Мой норов!»).

— Все было правильно, сын! Война не объявлена, с Казимиром ряд не утвержден. Мы пока слуги великого князя Московского, а раз так, волен нас и жаловать! А почто жалует, спроси? За силу новгородскую! Вот она, в твоем кулаке, не упусти! Деньги? — Марфа помолчала, усмехнулась: — Власть! За власть все и борютце. Головы кладут за власть. Дуром наши бояре мыслят спасение в золоте! Власть отдадим и все потеряем следом. Уже нам в вотчинах не сидеть. А власти подножие — сила. Сила же в людях. Людей собирай! Эго Василий Онаньин думает, что на золото все можно купить! С Казимиром ряд сам подпишешь. Надо — поедешь в Литву. Селезнев пущай оповестит всем, не сомневались чтобы. Офонас понял, других вразумлю. К купцам сама съезжу. А теперь — выдь! Гости скоро разъезжатьце начнут. Перемолви. Будь весел. Устроим!

Дмитрий молча поцеловал руку матери. Вышел. Марфа, задув свечи, кроме одной, вышла следом за ним.

Во время разъезда гостей Борецкая задержалась с Иваном Лукиничем. Участливо спросила о здоровье. Иван Лукинич посупился, не умел говорить о своих бедах, отмолчался, только в глазах мелькнуло что-то затравленно-жалкое.

— Хотел сказать я...— он сбился с речи, чего за ним ранее никогда не водилось, и досадливо скривился изувеченной щекой.— Во Псков гонца я уже послал, мне доложат!

Марфа кивнула ему с молчаливой благодарностью. Оба не ведали еще, что через два дня смертельно усталый гонец привезет Ивану Лукиничу известие, что в тот же час, когда Борецкому жаловалось боярство, иные московские послы прибыли во Псков с приказом готовиться к войне с Новгородом, чтобы «всесть на конь» по первому требованию великого князя.

Глава 10

ы туры́, туры́, вы малы детоцки,
Да уж вы два тура, братцы, златорогия,
Мати у вас турица златошерстная!
Уж вы где вы, туры, были, где вы по́были,
Да уж вы где были, да кого видели?
Уж мы были, туры, да на синём мори,
Приплывали ко бережку прикрутому.
Во синем-то мори воды да напивалися,
В зеленых-то лужочках травы наедалися.
Уж мы были во Шахове, во Ляхове,
Белорусскую землю о-полночь прошли,
Ко бело́й заре пришли в стольный Киев-град.
Уж мы видели, туры, да диво дивное,
Да уж мы видели, туры, чудо чудное:
Уж мы видели стену городо́вую,
Да уж мы видели башню да науго́льную,
Как из той стены из городо́выя,
Да из той башни да науго́льныя,
Выходила там девица душа-красная,
У ней русая коса да до пояса,
У ней ясные очи, как у сокола,
Черны брови у ней, как два соболя,
Лицо бело, щеки как две маковицы,
Выносила она книгу Евангелие,
Хоронила она книгу во сыру землю.
Сама плакала над книгой, уливалася:
Не бывать тебе, книга, на святой Руси,
Не видать тебе, книга, свету белого,
Свету белого да солнца красного,
Зори утренной, поздно-вечерние.
Воспроговорит турам родна матушка,
Мати-турица да златошерстная:
— Вы туры, туры, да малы детоцки,
Да уж вы глупые туры, неразумные!
Там не башня стояла науго́льная,
Не стена ли там стояла городовая —

А стояла там церковь соборная,
Кругом церкви ограда белокаменна.
Не девица выходила, душа-красная,
Да не книгу выносила, Евангелие —
Выходила запрестольна богородица,
Выносила она веру христианскую,
Хоронила она веру во сыру землю,
Сама плакала над верой, уливалася:
Не бывать тебе, вера, на святой Руси,
Не видать тебе, вера, свету белого,
Света белого да солнца красного,
Что ни утренной зори, да ни вечерние!
Она чует невзгодушку немалую.
Подымает Идолищо четырнадцать голов,
Хочет сбить-спалить стольный Киев-град,
Пресвятую богородицу на огонь спустить!
Ах вы дети мои, дети милые,
Заступите вы за стольный Киев-град
И за мать пресвятую богородицу.

Слепой певец смолк, перебирая струны.

— Туры вы, туры, малы деточки, охо-хо!— раздумчиво повторил Яков Царевищев, забирая в горсти лицо (он сидел, уставя локти в стол и опустив чело на руки) и сильно проводя ладонями по задубелым щекам и колючей проволочной бороде.— Охо-хо-хо!— повторил он, крепко обжимая бороду.— Како помыслим, купцы?

Певец, приняв предложенную чару и ощутив в руке тяжесть дорогого металла, поклонился невидимому для него собранию и заковылял к выходу из гридни. Один из молодцов, провожавших гусляра, подал слепцу его торбу, до отказа набитую снедью — Иваньское братство не мельчилось.

— Задал ты нам загадку, Марко, со своим гусляром,— пасмурно пошутил Павел Баженов.— Туры-ти уж не Борецкие ли? Поди, Митрий Исакович с Федором? Тот-то прямой тур!

— Вот и гляди в оба, как бы веру не продали православную в Шахов-то да в Ляхов!— с провизгом выкрикнул Есиф Костка, по прозвищу Козел, ярый сутяжник, сухопарый и злющий, вечный поперечник во всяком деле — такие есть в каждом братстве купеческом, никуда от них не денешься.

Марко молча посмеивался в бороду.

— Марфа Ивановна будет, а, Марк Панфилыч?

— Будет, обещала.

— Должна быть!

— Борецкому Дмитрию Иван, слышь, боярство пожаловал? Верно ли?

— Верно.

— Смотри-ко!

— Опять бы нам в накладе не остатьце!

Здесь собралась купеческая старшина, тиуны и старосты двух братств: Иваньского братства вощинников, главного купеческого братства Великого Новгорода и братства заморских купцов — новгородского купечества, ведущего торговлю в Новгороде заморским товаром,— толстосумы, что ворочали сотнями рублей, торговали с Югрой и с Заморьем, со Псковом, Тверью, Москвой, Костромой и десятками других городов. Это их лодейные караваны, выходя на Волгу, спускались до Сарая и Астрахани, их товары верблюдами везли в Бухару, свечи из их воска горели во всех знатных домах Европы, в их меха одевались датские и английские вельможи, из их горностаев шились мантии французским королям. Были тут и некоторые из житьих, уличанские старосты, еще не порвавшие с купечеством и торговлей, как Панфил Селифонтов. Окладистые бороды, опашни и ферязи темного дорогого сукна, истовые суровые и хитрые лица, внимательные глаза. И пир у них велся по-старому, степенно, с певцом-гусляром, что мерно и неспешно пропевал знакомые старины минувших времен, как было при прадедах, а не так, как повелось нынче в теремах боярских, с игрецами да скоморохами-гудошниками.

Многие из братчинников, как Панфил с сыном, прикупали земли, чуя застой в делах, и все они или большинство, как люди, достигшие своей вершины, боялись любых перемен, справедливо полагая, что после вершины всякий путь пойдет только под горку. А потому не весел был пир, и тяжко задумывались братчинники, и тревога сочилась из речей.

— Ежели Иван Заволочье отберет, куда сунессе? Пушной торг подорвут начисто, а за ним и суконники московские, сурожане, совсем одолеют. Им ить с Сурожа да с Кафы дешевле фряжский товар возить, чем нам через Ганзу, будь она неладна!

— Страшно и за короля задаватьце!

— Мы-ить не бояре, не землею кормимсе...

— А и землю Иван роздаст дворянам своим, мелкому купцу туда-сюда, а нам уж того не будет, что от великих бояр: тысячами белка, сотнями пудов воск, сало, лен — анбарами!

— А после пожалованья Борецкие как ся поведут?

— Госпожу Марфу спросим!

Марфа собиралась долго. Пособлявших — Пишу с двумя девками замучила. Оделась со тщанием, но просто, во вдовье платье, как одевалась, бывало, когда ездила к черным людям. Ос-

мотрела себя в зеркало, осталась довольна Пошла и от порога воротилась вспять:

— Праздничное давай! Лучшее, то — знашь!

Полетели в сторону вдовьи наряды. Золотая византийская парча, красный фландрский бархат, жемчужное очелье, самоцветы, кольца, серьги, ожерелье из лалов... И когда ничего уже нельзя было прибавить или надеть, не испортив, и ничего уже нельзя было измыслить богаче, сказала:

— Будет! Так еду к купцам.

В гридню Иваньского братства Марфа вошла, как золотое видение. Казалось, гридня засветилась. Привычные к богатству иваньские воротилы и те ахнули. Низким грудным голосом поздоровалась, повела большим глазом, склоняя голову, отчего подбородок сложился в тугие складки. «Волоокая», как говорили люди прежних времен, люди неторопливой пастушеской жизни, умеющие ценить красоту больших, влажно блестящих коровьих глаз, мудрые люди древности, представляющие себе праматерь богов, создательницу всего живущего в облике небесной коровы. Борецкая царственно огляделась, показав весь округлотяжелый очерк лица; прошла — парча саяна волнами заколебалась, меча искры. И заговорила, как одна умела говорить: о славе Великого Новгорода, о землях далеких, о чести, о верности. Как сор отмела пожалованье великого князя:

— ...И дети мои сложат головы за вас, за Новгород! Теснят вас сурожане? Урядим с королем, старый путь великий откроетце! Через Смоленск по Днепру, до Киева! Как прадеды и прапрадеды торговали, как ходили при великих князьях киевских! Из устья Днепра до Царьграда, до Веницейской земли ближе, чем от Кафы греческой! Да и крымскому хану даров не дарить! На Волынь откроетце путь! К королю венгерскому по Дунаю, и в иные земли, и страны — куда Москве!

Не чинясь, приняла почетную чару, пригубила. Жаркие речи начались, повеяло и тут удалью древних времен. Манил древний путь торговый из варяг в греки. Твердо обещала Марфа, что не порушит Новгород православия, не допустит ляшских попов, ни церквей латынских на своей земле, твердо обещала беспошлинный путь по Днепру. Убедила. С поклонами проводили Марфу толстосумы. Качали головами:

— Турица златошерстная! И верно, мудра. Знает, чует, только поддайся — погубит нас князь московский!

И долго спорили еще братчинники, рядили так и эдак, но побеждала боязнь Москвы, и все сходились к тому, что надо рискнуть, и побеждала, и победила,— золотым видением над вязью слов предстоящая,— боярыня Марфа Борецкая. Великое Иваньское братство решило даться за короля.

Киприян Арзубьев, друг Марфы, удерживавший и направлявший колеблющуюся громаду житьих, поругался с сыном Григорием. Этот сухой жилистый человек, основательный в делах и суждениях, бодрый, прямоплечий, с небольшой темной, в полсеребра, подстриженною бородкой, умевший красно говорить, муж Совета, всеми почитаемый староста великой Никитиной улицы Плотницкого конца (точнее — один из старост, но при Киприяне второго старосту даже не упоминали), побывавший и в посольствах, и выборным в суде — при всяком деле, в коем требовалось по закону представительство от житьих, Киприяна избирали в первую очередь,— рачительный хозяин, умноживший и укрепивший отцовское наследство приобретением земель по Двине, человек, умевший доводить до конца всякое дело, за какое брался (что, впрочем, в его пору было не редким качеством в русских людях), Киприян Арзубьев отнюдь не пользовался непрекаемым авторитетом в своей семье. Во всяком случае Григорий, старший сын Киприяна, давно уже старался выйти из-под строгой воли родителя, и теперь, то ли обиженный заносчивым Федором Борецким (Марфа Ивановна построжила бы младшего своего, все дело портит!), то ли на Славне, у Исака Семеныча наслушавшийся умных речей, забунтовал. Киприяну мешало спорить с сыном то, что Григорий отлично знал и помнил все мысли отца, и умел выворачивать их наизнанку, подчас побивая родителя его же доводами.

Григорий при этом непристойно бегал по горнице, и Киприян уже многажды порывался прекратить говорку силою власти родительской, попросту прикрикнув на сына, но ему не хотелось проявлять слабость, да к тому же Григорий высказывал такое, о чем спорили слишком многие из житьих, и уже поэтому просто отмахнуться от его слов нельзя было.

— Войну зачинать, дак мы наперед! Коня купи, бронь купи, людей оборужи с собою, а чего ради? Московськи дворяна от великого.князя землю емлют за службу-то!

— А не станут служить, дак и потеряют земли ти, тоже не велика благостыня!— возражал отец.

— А чего им не служить?— бушевал Григорий.— Как поход, так прибыток! А наши ти воеводы после кажной войны московськой деньгами откупаютце! На своей земле воевать — зипунов не добудешь! В суде, говоришь, наши сидят? Дак тоже то только и приговаривают, о чем великие бояра порешили! Преже еще с наводкой приходили к суду! Иной всю улицу с собой приведет, тот же Захария Овин, скажи поперек слово!

— Наводку запретили!— нетерпеливо прервал Киприян.

— Наводку запретили, да! Дак кто запретил? Опеть же великий князь! На вече, скажешь, наши голоса? А часто вече нынь созывают? Все один Совет вятших вершит! Мы не бояре! —

кричал Григорий, непристойно бегая по горнице перед отцом.— У тебя вот земля и все, а могу я стать тысяцким хотя? Уже не мыслю посадником! Сотским могу ли стать?! Гришка Берденев передо мной нос задирает, чем меня лучше? Суд! Покуда судиссе друг с другом, туда-сюда, еще по правде решат, а с боярином? Кого оправят? А пойди на Городец, ко княжому суду, как Олфер Гагин, тебе же мало не будет, и вовсе в порошок истолкут! Даве у Борецких съезжалися, нас созвали мало не для смеху! Ефим Ревшин стал дело баять, урезали его тот же час: потом, мол! Потом! Когда нас спрашивают?! А к королю перекинемся? Судить кто будет? Королевский наместник? Рада литовская?!

Киприян медленно закипал. Мальчишка, сопляк, пулетвенник, молоко на губах не обсохло! (Сопляк был, впрочем, давно уже чернобородым рослым мужиком, и настегать вицей, задрав рубашонку, его никак нельзя было).

— А на «низ» тебя пошлют?! — стукнул по столу кулаком Киприян.— На «низ» посылать станут со своим коштом! Там привезешь ли, нет, а в пути себя истеряешь, а то и голову сложишь! Это московским дворянам доходно, дак им боле и жить нечем, а у нас земля! И в Заволочье у нас земля! На «низ» уйди с холопами, ни жато, ни сеяно, воротиссе — милостыню на торгу прошать! Я староста в улице, помру — тебя выберут! А тамо кто ты будешь? На вече ты свое слово сказал, а послушает Иван тебя тогда, как же! Думашь, там выбитьце легче? Да таких, как ты, у Ивана, сопливых, несосчитано! А великие бояра на Москвы еще простых-то ратных дворян и за люди не считают, знаю, слыхал! Не родился Вельяминовым, любо Оболенским, любо Ряполовским там, аль бо Кобылиным, и сиди! У нас с тобою есть, что защищать! Это вон у Лядининых да у какого-нибудь Мишуки Линька по две да по три обжи, а и им хорошего от московских позвов ждать нечего, отберут и три обжи! Я с Борецкими не первой год. Бывал и в доме и на пирах...

— А многие еще бывали-то?! — не смирялся Григорий. — Так ли, другояк, а будет все одно по ихней, а не по нашей воле!

Так в тот час отец с сыном и не договорились ни до чего.

К Киприяну Арзубьеву Борецкая приехала просто, не манила речами, не кружила головы — два пожилых человека, два друга встретились.

— Тяжко? Знаю. Можно и устать! Сама устаю.

Мягко напомнила прошлое... Поднялась, когда убедилась, что не может уже отступить, отказаться, что не выдаст ее, ни дела новгородского не предаст.

Киприян после ухода Марфы пристрожил сына, как мальчишку, и Григорий от их совокупного натиска сдался, потишел.

Труднее всего было говорить с Овином. Усмехаясь и как-то лебезя даже, принимал он Борецкую, сворачивал на шутку, на

пустой разговор. И только когда прямо сказала, что слухи о землях не ложны, что отбирать будут наверняка, поглядел впервые без улыбки, остановившимся взглядом своих тяжелых, широко расставленных глаз, взвешивая. Угрюмо отозвался:

— Наши плотничана с вашими заодно. Славлян уговори! Нового бы сраму не вышло. Батя наш долго бился... (Покойного Григория Данилыча Овин не часто поминал, и поминал обычно, когда соглашался на что-то.)— Брата не унимаю...— пробурчал он, провожая Борецкую, а глаза говорили свое: «Враг я тебе был, есть и буду, могила не помирит!»

Но и он после посещения Марфы словно примолк, не помогал, но и не мешал явно, а зайдя к зятю, Ивану Кузьмину, ворчал:

— Околдовала она вас, что ли? Всем городом вертит! А не так, не так надо! Феофилат Захарьинич, тот умней вас! Лбом лезть — лоб расшибить недолго! Лоб-то один, да и свой...

Дмитрий Борецкий, Василий Селезнев, Савелков мотались из конца в конец, льстили, грозили, уговаривали. Богдановы молодцы кричали по всем улицам, шумели на папертях церквей и в торгу. Офонас Груз делал дело степенно, но крепко, за ним шли, подчиняясь внутренней силе этого глухого матерого старика, бесстрашно-спокойного и насмешливого там, где у иных молодых белели лица.

Город кипел. Страсти и возмущение выплескивались волнами на Городец, куда являлись с бранью толпы народа. Наместник великого князя, его дьяки и подручные были как в осаде. Уже не слухи, а явь: со дня на день ожидали приезда Михайлы Олельковича, литовского православного князя, вызванного на новгородское княжение всесильною партией Борецких.

Споры раздирали и Славну. Немир-таки испортил дело своим бешеным нравом. Оттолкнул Глуховых, разругался с половиною прочих бояр.

Неспокойно было в Торгу, где под шум усобной сумятицы и нестроения участились грабежи и свары.

В кончанском совете Немир сцеплялся с Норовом, оба пожилые, оба буйные, и, как часто бывает, оба ни в чем не могли уступить друг другу.

Сторонники московского князя собирались у Исака Семеновича, свойственника Своеземцевых. Переплетенные родством, ссоры и споры велись еще яростнее, за обвинениями в предательстве городу следовали обвинения в измене родовым связям и семейной чести. Иван Офонасович Немир нападал на троюродного брата, Фому Курятника, поминал тому их великого деда, бессменного славенского посадника Федора Тимофеевича, при котором новгородцы отняли было суд у московского митрополита и совершили победоносный поход на Двину против войск

деда нынешнего Московского великого князя, Василия Дмитрича.

— Походу тому поболе семидесяти лет, с тех-то пор нас уже дважды били, понимать надоть! — кричал Фома в ответ и, в общем, был прав.

Исак Семенович зазывал к себе. Молодого Своеземцева рвали на части. Только что утром, беседовавши с Немиром, о-полден, угрюмый, сидел он у свойственника, не в силах отказать тому в основательности суждений. Исак Семенович, спокойный во всей этой буре, говорил о законе, о единовластии, судебных злоупотреблениях новгородских чинов, всех этих тиунов, подвойских, приставов, позовников, ябедников, о чем и сам Иван Васильич знал слишком хорошо.

— Что они выиграют? Уже ведь было такожде! Добьютце войны, нахождения ратных, христианом истомы, по селам грабления... Новый окуп? А потом? От Литвы взятия?!

«Почему его не выбрали посадником? — думал Иван Своеземцев, глядя на это умное, со следами усталости, убежденное лицо.— И братья Полинарьины с ним, ну эти законники!..» Да они правы! Почему же так постна, так тускла эта правда и так ярко заблуждение Борецкой? Разглядывая сбоку круглый лоб, мягкий, когда-то слегка курносый, теперь же раздобревший нос, устремленные прямо перед собою глаза и тянутую, висящую прямо вниз бороду Исака Семеновича, Своеземцев вдруг с удивлением догадался: «А ведь он не умен! Не то, что не умен вообще, нет, и знает, и понимает многое, а в чем-то самом главном не умен, в том, что было у отца, и есть, несмотря ни на что, у Марфы Ивановны Борецкой».

Ну, он и Полинарьины хоть честные, а Василий Максимыч, тысяцкий, рыжий, с хитрым темным взглядом, весь скользкий, как налим, тот что? А ведь вроде и против Москвы, с Федором Борецким кумится — ничего не понять!

Ему было стыдно перед Исаком Семенычем, стыдно и перед Борецкой. Ежечасно с грустью убеждаясь, как ему далеко до отца, молодой Своеземцев не мог ни собрать славлян воедино, ни сам внутренне решиться до конца на что-то одно.

Земли, впрочем, терять не хотелось никому. В конце концов Славна в лице своих бояр высказалась так: они присоединятся к тому решению, которое примет общеновгородское вече.

Все это кипение страстей разбивалось у порога изложницы умирающего архиепископа, и не потому, что при дверях его покоя стояли стражи бдительные или сторонники московской митрополии, нет! За годы своего архиепископства владыка, сам неревлянин по происхождению, вольно и невольно окружил себя неревлянами и плотничанами — противниками Москвы. Владычные чашник и стольник, Еремей Сухощек и Родион, были нерев-

ляне, неревлянами были и многие другие ближники архиепископа. Пимен, наместник и ключник Ионин, происходил из Плотницкого конца, возглавляя наивраждебнейшее Москве крыло тамошней господы... Просто все земное уже отошло, невесомо отпало от Ионы, как отпадают сухою и тихою осенью омертвелые листья. Марфа поняла это, чуть только увидела прозрачные, нечеловеческой, уже неземной ясности глаза умирающего.

Говорить с ним было трудно. Иона путал имена, даты, живых и мертвых. Она бережко растолковывала ему, что происходит в городе, упорно, все еще надеясь, наводила на мысль о восприемнике. Но когда наконец и вдруг поняла, что нет, дело не в слабости и не в забывчивости предсмертной, что Иона помнит о Пимене и все давно уже решил, у нее опустились руки.

— Божьим судом, по жребию, да изберут владыку себе!— тихо сказал умирающий.

Он хотел одного: единства всех их, светлого единения во взаимной любви. Избрание восприемника по указу прежнего владыки грозило расколоть город и, значит, было неугодно господу. Иона уже плохо представлял, что творилось за стенами владычного дворца, что город все равно уже расколот и кипит в борьбе.

Мягко, чтобы не раздражить и не огорчить умирающего, сдерживая внутреннюю страсть, Марфа пыталась втолковать ему, как обстоят дела и почему необходимо самому Ионе назначить Пимена.

— Дщерь моя, неужели господь в мудрости своей не больше нас? Дай ему решить! Дай. И положись на волю создавшего тебя.

Это была стена. С отчаянием вспоминала Марфа, как легко она прежде говорила с архиепископом, как легко и душепонятно. И теперь — словно путник, опоздавший к перевозу, смотрит она недвижимо на удаляющуюся по водной глади лодью, и не пробежать по воде, не наступить в реку смерти живыми ногами! Человек земных дел, зримых страстей, и человек, наконец полностью отдавший себя богу, уже не могли понять один другого.

Все, чего добилась Марфа, это того лишь, что Иона снял перстень с прозрачной руки, владычный свой перстень с печатью, прошептав:

— Вот, передай Пимену!— и устало закрыл глаза.

Борецкая бросилась к Грузу. Офонас подумал, пожевал твердыми губами, задирая бороду, решил:

— Соберем вятших! Старейших всех, посадников, тысяцких, игуменов и архимандрита Феодосия, весь город, изо всех концов. Да узрит согласие! Мыслю, всема явимсе — умолим!

Это было четвертого ноября. А на другой день собравшаяся боярская господа вкупе с иерархами церкви была остановлена

в воротах Детинца владычными слугами в траурных уборах, известившими посольство, что владыка умер в исходе ночи. Выборные тут же были допущены лицезреть покойного. Горели свечи Согласный хор пел заупокойную молитву.

Тело архиепископа, исхудавшее настолько, что уже почти превратилось в мощи, было вскоре торжественно погребено, в согласии с завещанием Ионы, в Отни пустыни, личном монастыре покойного. Душа, взыскующая горней любви, пошла к богу.

В разгар похорон, на третий день по успении архиепископа, в Новгород прибыл со свитою, дружиной, купцами, писцами, монахами князь Михайло Олелькович, с почетом встреченный избранными боярами, во главе с Богданом Есиповым, Дмитрием Борецким и Феофилатом Захарьиным, и поместился в княжеском тереме на Городце, откуда выехал московский наместник, и вслед за ним были силой удалены все оставшиеся чины московской великокняжеской власти. Певучая южная речь зазвучала на улицах и в торгу.

Борецкие и их соратники не пожалели государственной казны Великого Новгорода. Князь Михайло должен был понять, что новгородское княжение не бедная вотчина, не ржаной куе, и что Новгород Великий не чета постоянно разоряемому татарами и давно оскудевшему Киеву. Деньги и добро лились рекою, что вызвало даже ропот горожан, да и многих бояр, особенно на Славне Софийский летописец впоследствии записывал, что недолгое княжение Михайлы Олельковича тяжко и «истомно» обошлось Новгороду «кормами, вологою и великими дары».

Кроме того, и это смутило уже многих сторонников Борецких, с князем прибыла не столько военная дружина (кормить ратных, защитников, куда ни шло!), сколько многочисленные слуги и двор — сотни жадных до корма и даров, но бесполезных Новгороду людей: волынские и киевские жиды, торговые и иные советчики, польские и литовские нищие шляхтичи, чаявшие урвать кусок от новгородского пирога. И всех кормили, и кормили щедро, возами везли хлеб, жито, овес лошадям, мясо — целыми тушами, связками — битую птицу, бочками — мед и пиво, корзинами — сыры, кадушками — масло, коробами — всякую приправу к столу, бочки сельдей, репуксы, сигов, лососей, связки сушеных лещей и иной копченой и вяленой рыбы. Дарили платьем, оружием, конями.

Сама Марфа тотчас после торжественных похорон архиепископа Ионы явилась на Городец, ко князю Михайле, узнать, всем ли доволен, не терпит ли нужды какой он или слуги его?

Марфа была в темно-синем атласном саяне со сквозными, сканной работы крупными золотыми пуговицами от верха до подола. Белоснежные пышные рукава, отороченные у запястий золотым кружевом, придавали лебединую легкость движениям ее

слегка потемневших, крепких рук с дорогими перстнями на пальцах. Не сморгнув, она плавно подала руку склонившемуся перед ней князю для поцелуя — иноземного приветствия, принятого, как она знала, у знатных жонок в ляшской земле. Между прочим разговором осведомилась, любит ли князь охоту, обещала прислать ловчих соколов и своих доезжачих в помочь княжим загонщикам. Вопросила затем, давно ли князь виделся с королем? Михайло Олелькович глядел в ее белое от искусно наложенных белил широкое темнобровое лицо, вспоминал все, что слышал о ней в Литве, и его постепенно начинала захватывать тяжелая властная красота Борецкой. Он передал привет от пана Ондрюшки Исаковича, в ответ на что Марфа ласково-насмешливо повела бровью.

— Помнит меня пан? — спросила с переливами в голосе, так что у киевского князя что-то сдвинулось в душе.— Ондрюшка Исакович! — усмехнулась Марфа, и глаза ее оделись поволокой.— Десять летов прошло... Сваталсе! Тогда еще шутили: я по мужу, он по отцу, а скажут — брат с сестрой!

Поворотилась, поглядев вдаль, за окно, на виднеющийся сквозь слюдяные ячеи оконницы Юрьев, легко повела головой (закачались со звоном серебряные кольца в уборе), смахнув и пана Ондрюшку, и прочие воспоминания, строго заговорила о грамоте, о короле, о послах...

Деловой разговор этот оставил в киевском князе неделовое волненье и смутный стыд за то, что он предает Новгород. Старший брат, Семен, что сидел на столе Киевском и давно кумился с Москвой, предупреждал Михаила, чтобы тот не ввязывался в новгородские дела, а уж коли ввязался, то не спорил с московским князем. «В Литве сейчас силу взяли католики да польские паны, и им, православным князьям литовским, не пришлось бы скоро самим проситься на Москву!» — говорил Семен. Да и поможет ли король Казимир Новгороду, не увяз бы в делах угорских!

Про все то Михайло Олелькович не сказал Борецкой и уж тем паче не поведал о том, что и тут, в Новом Городе, с ним, с Михаилом, велись совсем иные речи...

Далек был Киев нынешний от Золотого Киева древних времен, и нынешние князья киевские от черниговских да киевских князей золотой поры Владимира Всеволодовича Мономаха!

И еще в одном ошиблась Борецкая. Приезд Олельковича не только укрепил ее сторонников, но и вызвал новые разногласия. Усилившаяся власть Борецких испугала многих, и когда начались толки вокруг назначения нового архиепископа, дошло чуть не до усобных боев. Что ни делали сторонники Борецкой, перевесил обычай, постановили избирать архиепископа жребием. Все,

чего добилась Марфа и в этот раз, это что Пимен был включен в число трех соискателей, из коих одного, по жребию, сам бог должен был избрать молельником и заступником Господина Великого Новгорода. Двое других — смиренный инок Варсонофий, духовник покойного Ионы, и вяжицкий протодьякон Феофил, ризничий архиепископа,— были выдвинуты если не прямыми врагами и завистниками Борецких, то во всяком случае противниками непомерного усиления власти неревлян. Варсонофия предлагало черное духовенство и часть прусских бояр, за Феофила хлопотали Захария Овин и Славна.

Ночью соратники собрались у Борецких. Пимена не было. Рассказывал Еремей Сухощек. Колеблющийся свет тресвечника не достигал углов, большая горница тонула в полутьме. Яркого огня не зажигали намеренно. Резкие тени вздрагивали на лицах. Свет свечей отражался в глазах, да вспыхивала порою полоса золотого шитья или перстень на чьей-нибудь поднятой руке. Марфа, выпрямившись, неподвижно застыла в кресле. Дмитрий с Василием Губой, оба положив сжатые кулаки на столешницу, слушали Еремея. Дела творились невеселые. На владычном дворе не прекращалась грызня. Решение избирать владыку по жребию разом поколебало власть Пимена. «Ждать можно всего!» — закончил Еремей, устало отклонившись к стене большим телом. Массивное лицо его разом утонуло в тени. Родион, владычный стольник, подал голос сзади:

— Варсонофий весь в руке архимандрита Феодосия!

— А Феофил ваш какими добродетелями украшен, кроме Овиновой помочи?!— спросила Борецкая угрюмо.

— Бог изберет...— отозвался нерешительный голос из темноты.

— Богу, однако, дозволено из троих одного избрать!— откликнулся Губа-Селезнев.— Уж не от митрополита ли московского наказ?

— Навряд! — сказал Еремей глухо.— От Москвы ищо гонцу и не доскакать бы было!

— Сами ся топим!— присовокупила Марфа.

— А заслуги его какие ж...— вновь сказал Родион с невеселой усмешкой.

— Ризничий... Протодьякон. Был тише воды, ниже травы! Пустое место! Видать, никому не страшен...

— Свято место не бывает пусто!— возразил пословицей Селезнев.— Такой может, коли дорвется до власти, столького натворить!

— Ну, власть ему еще не дадена. Подождем божьего суда!— заключила Марфа, вставая. В душе она верила, несмотря на все, что победит Пимен.

Выборы владыки были назначены на пятнадцатое ноября. На замерзшую землю падал легкий снег. Но ни снег, ни довольно сильный, порывами, северо-восточный ветер не могли разогнать тысячи народа, оступившие Детинец, заполнившие берег и близлежащие улицы Людина конца и Загородья, и амбарные кровли, и высокие паперти церквей, и возвышенный крутояр на скрещении Кузьмодемьянской и Великой улиц в Неревском конце, и Великий мост, не говоря уже о самом Детинце, внутри которого люди стояли плечо к плечу, и тоже взбирались на все возвышенные места — на стены, звонницу, даже на кровли архиепископского дома. Переговаривались, поталкивая друг друга, замерзшие топали ногами, дули на руки, охлопывали себя рукавицами. Ожидалась торжественная литургия, после чего собственноручно подписанные степенным посадником Иваном Лукиничем и запечатанные его именною печатью жеребьи, положенные в алтаре, на престоле, будут по очереди вынесены наружу и всенародно распечатаны. Бог и святая София, премудрость божья, оставят у себя на престоле один жеребей, своего избранника, будущего новгородского владыки.

Марфа проснулась в это утро поздно, со слабостью в теле, то ли к перемене погоды, то ли оттого, что на левом боку спала. За окошками падал снег, и она долго лежала, закрыв глаза, справляясь с головокружением, и вспоминала приснившийся сон. Сон был непонятный. В проснях виделось,— и сама не могла уразуметь, к добру ли, к худу ли?— будто как колокольный звон, и большие сияющие бело-розовые каменные соборы плывут по воздуху, ближе, ближе, и мимо нее, и звон все звончее, радостнее, и видит, что это чудно преображенные новгородские церквы плывут, словно лодьи, и голова кружится, и звонят, звонят колокола... Проснулась — звонили в Софии. Марфа еще полежала, чувствуя, как постепенно замирает кружение в голове и тают белые плывущие соборы, а звон софийских колоколов мешается с тем, в мечте приснившимся чудным звоном, и лежа, не понимала — к чему такой сон? Умом прикинуть — не к добру, а на сердце словно как радостно от чего-то.

В Детинец съезжалась вся именитая госпо́да. В соборе вятших мужей и жонок пускали в первый ряд, и они стояли там, остолпленные и стиснутые иными, тоже нарочитыми горожанами, купцами, житьими, старостами улиц и ремесленных братств, среди которых нынче, как равные среди равных, мешались куколи, рясы и мантии духовенства. Борецкая в собор не пошла. Решила дожидаться избрания владыки дома. Слуги, расставленные по пути, на вышке терема и стенах Детинца, должны были тотчас извещать ее обо всем, происходящем внутри собора.

— Началось, Марфа Ивановна!— возгласил слуга.

— Началось,— повторила Пиша и мелко перекрестилась.

Марфа была в иконном покое. Стоя, скрестив руки на груди, она, чуть шевеля губами, повторяла про себя знакомые слова литургии. Издали, слышное уже с крыльца, доносилось согласное пение.

Сейчас в соборе — единое дыхание граждан, торжественное золото облачений духовенства, мерцание свечей в паникадилах, хоросах и стоянцах перед иконами, ангельские голоса маленьких певчих и густой, сотрясающий своды голос хора, которому подпевает вся площадь перед собором, черные люди и знать, подпевают крыши и улицы, и, шевеля губами, беззвучно вторит литургии, стоя в иконном покое своем, великая неревская боярыня Марфа Борецкая. Устремляя глаза к иконам, она видит отверстые царские врата Софийского собора и за ними — престол, осиянный трепетным пламенем свечей и бледным струящимся из высоких окон светом зимнего дня, и на престоле — три запечатанные жеребья, три кусочка пергамена, от которых зависит грядущая судьба Новгорода.

Хор смолк. По толпе пробежала дрожь. Хор снова запел и снова смолк. И вот замерла площадь, замерли люди вокруг Детинца, и слышно стало, как идет по проходу собора, по каменным плитам, меж плотных толп людских, к алтарю, к престолу господню софийский протопоп, как с трепетом снимает жеребей с престола и на вытянутых руках выносит его, чтобы передать посаднику с избранными из старейшин градских, что сейчас сломают печать и всенародно, на паперти собора, прочтут имя первого из отвергнутых господом.

— Варсонофий!

Единый вздох пронесся под высокими сводами Софии, достиг купола, где грозный вседержитель сжатою десницей вот уже пятое столетие благословлял свой город, отразился от стен и шелестом обежал соборную площадь, перелетел за стены Детинца, прошел по рядам застывших на морозе людей, долетел до высокого терема под золоченою кровлей и проник в иконный покой, где Пиша, приняв весть от подбежавшего махальщика, внятным шепотом повторила:

— Варсонофий!

Марфа, недвижно стоявшая перед иконами, вдруг затряслась и упала на колени:

— Господи! Ты видишь! Не отступи!

Беспорядочная бредовая молитва летела с ее уст, и расширенные глаза молили пустоту, а меж тем там, вдали, в Софийском соборе, выносили второй жеребей, второго изгнанника божия, и Иван Лукинич, у которого тоже непроизвольно подрагивали руки, распечатывал роковую грамоту.

Марфа, стоя на коленях, заслышала шевеление за дверью и резко обернулась к Пише:

— Кто? Кто же!

Она рывком поднялась с колен, шагнула к дверям и, уже понимая, но еще не веря, повторила:

— Кто?! Кого вынесли? Феофила?!

— Пимена.

На престоле в соборе святой Софии премудрой остался один жеребей, смиренного и мало кому известного священноинока Вяжицкой обители, Феофила, бывшего ризничего Ионы, бывшего протодиакона, а ныне, по божью изволению, взлетевшего на головокружительную высоту главы сильнейшей на Руси архиепископии, главы дома Святой Софии Господина Великого Новгорода.

Марфа прислонилась к косяку, махнула Пише рукой:

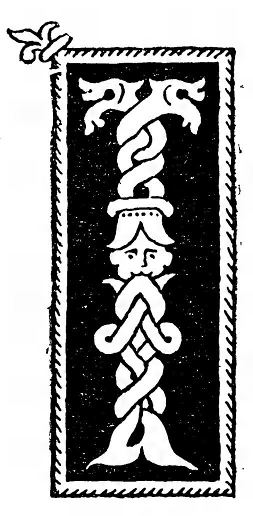
— Уйди!

Со строгим лицом повернулась к иконостасу, к громадным, прекрасной работы, драгоценнейшего новгородского письма образам в дорогих окладах и медленно опустилась на колени:

— Верую в тебя, господь! Верую, что не отринешь раб своих и оборонишь от напасти и труса. Верую, что не предал еси и не отвратил лица своего! Верую, ибо пути твои неисповедимы! Верую, что и наказуя, милуешь нас. Верую в тебя и молю, укрепи разум мой и дух тверд сохрани во мне! Верую!

Строгая, поднялась с колен. Для новой борьбы. Только прямая морщина меж бровей стала заметнее на широком суровом лице.

ГЛАВА 11



оржественный поезд, долженствующий отвезти жениха к чертогу брачному, обручить церковь и пастыря, соединив нового избранника божия с Софией, премудростью, отправился за Феофилом немедленно после оглашения результатов жеребьевки. Вяжицкий монастырь, где, вожделея и не веря, ожидал своей участи Феофил, находился всего в двенадцати верстах от города, и к вечеру, вернее к началу ночи, новый владыка, у которого в голове все еще кружилось и шумело от приветствий, молебнов, криков, колокольного звона, конского ржания и тряски владычного возка по замерзшей, но еще не укрытой вдосталь снегом колеистой дороге, от всего неожиданного угара свалившейся на него чести, потрясенный до глубины души, очутился в палатах архиепископских, в том заветном покое, к которому он, будучи ризничим, приближался не иначе, как с трепетом и смирением сердечным.

Новое его положение казалось Феофилу таким несоответственным всему прежнему строю жизни, что перед изложницей Ионы вчерашнего ризничего охватил настоящий ужас. Гулкая пустота, пугающая торжественность тяжелых каменных сводов, зёмли, сокровища, власть — все было чужое и еще не понято, не восчувствовано, что свое. Его очень смутили почтительные лица придверников, Родиона, стольника, прежде мало обращавшего и внимания на Феофила, келейников, келаря, служек. Его ввели в покой и почтительно, склоняясь и пятясь задом, удалились. Он остался один. Попробовал рукою выпуклую резьбу владычного ложа. Когда-то, когда он впервые попал сюда, ему очень захотелось сделать это, но не смел. Сейчас сама рука безотчетно выполнила давишнее неутоленное желание. Осторожно двинулся по покою. Взглянул сквозь решетку окна. Трогал лиловый и палевый бархат облачений, золотые сосуды и косился на двери: не вошел бы кто? Словно увидят — прогонят. Вдруг вспомнил все намеки и ясные разговоры не скрывавшихся сторонников Моск-

вы и ее врагов и струхнул до боли внизу живота, так что присесть пришлось. Помоги, господи! Как я буду, как?! Ослабнув, он опустился на широкую кровать Ионы и так сидел недвижимо до прихода постельничего, который помог ему разоболочиться на ночь.

Ночью Феофил проснулся в трепете. Иона, прозрачный, стоял перед ним. Ризничий сполз с чужой постели, повалился на колени... В окно светила луна, в ее призрачном неверном луче перед ним сияло его собственное нижнее белое облачение, повешенное на спицу прямь кровати. Он не сразу пришел в себя, не сразу решился лечь и задернуть полог.

Назавтра новый владыка начал осматривать хозяйство Софийского дома и принимать дела. К нему потянулись начальники мастерских, пекарен, медовуш, конинных и скотинных стад, владычные наместники, посельские, воевода, казначей, ключники. Разворачивались бесконечные ленты списков, столбцы и вощаные доски, берестяные и харатейные грамоты, которым не было конца. Отложив грамоты, он двинулся в обход своих владений.

В ризнице осмотрел ряды стихарей, расправленных и вздетых на спицы, по нескольку штук один сверху другого, драгоценные облачения из персидской и цареградской парчи, оксамита, обояри, шелков восточных и западных, атласа и бархата, с подбоями из тафты и зендяни синих, лазоревых, вишневых, червчатых, зеленых и алых цветов. Как бывший ризничий, он знал их наперечет: все эти рясы и ряски, саккосы, украшенные дробницами и литыми чеканными пуговицами, густо унизанные жемчугом и золотой канителью; орари и епитрахили, покровы и пелены, наручи, составленные рядами, шитые шелком и низанные лалами, жемчугом, золотой и серебряной нитью, со священными изображениями на иных, архиепископские митры, посохи с рукоятями в самоцветных каменьях или резные из рыбьего зуба, афонского кипариса, из рога Индрик-зверя, что привозят из Индийской земли и достают у народов северных, нагрудные панагии на драгоценных цепочках, усыпанные алмазами, яхонтами, изумрудами, розовым жемчугом и кораллом, иные с заключенными в них чудотворящими останками; сионы: большой золотой, малый золотой, серебряный архиепископа Василия, сион Евфимия великого... И те, сугубою святостью отличные реликвии, кои хранились особо: крещатые ризы архиепископа Моисея, цареградский белый клобук и саккос с символами евангелистов, шитым изображением богоматери и святых; а также омофорий, современный, как уверяло предание, третьему вселенскому собору, и святые мощи в ковчежцах, из греческой земли привезенные. Он чуть не сделал замечания служке, увидев небрежно брошенную фелонь, замялся — он же не ризничий! И после уж понял, что

как владыка может и должен замечать всякому чину и о всяком нестроении, будь то в большом или в малом, как со злосчастною фелонью. Понял и озлобился на себя и на них на всех — пугающего его Иону, на стольника Родиона, на Пимена, с которым он не знал, как говорить, и избегал встречаться глазами... Все они тут были неревляне, все друзья Борецких, и все, если не в лицо, то позаличью смеялись над ним! Он решительно стал обходить огромное хозяйство владычного двора — поварни, кладовые, набитые добром, в иные из коих еще позавчера его бы и не пустили, зашел в молодечную, где сытые, раскормленные ратники лениво полеживали, перекидываясь в кости и шахматы, спускался в винные погреба и медовуши.

В чашнице Феофил допустил вторую оплошность. Как ризничий, он понимал толк в драгоценностях и потому задержался, въедливо рассматривая собранные здесь блюда, украшенные финифтью мисы, алавастры — узкогорлые сосуды для мира, золотые и хрустальные ладанницы, серебряные с чернью кунганы, чеканные чары, братины с надписями и ликами святых мучеников в золоченых кругах, серебряный панагиар Евфимия, с подставкою в виде четырех ангелов, ендовы, кубки, достаканы, ковши и тарели, кратиры — дары великих бояр и приобретения прежних владык, а также драгоценные цепи и пояса, за право хранить которые бывший ризничий бесполезно ссорился когда-то с чашником Еремеем. Он был один, прислуга осталась у дверей, и мог разглядывать без помех. Залюбовавшись, он взял в руки яшмовый потир, чтобы ощутить приятную тяжесть камня и драгого металла, и весь вздрогнул, чуть не уронив потира, почуяв за спиной человеческое дыхание. Оглянулся — за ним и над ним, возвышаясь на голову, стоял чашник Еремей Сухощек (Еремея бог не обидел ни ростом, ни статью). Феофил с излишней быстротой поставил потир на место, ибо первое, что ему пришло на ум, что чашницкая — это не его вотчина, и, уже поставив, вспомнил опять, что он — владыка. Еремей, пряча улыбку в усы, почтительно пояснил ему, что потир сей цареградской работы, он назвал имя патриарха, при коем потир был сотворен, и другого, при котором он был привезен в Новгород, но Феофил почти не слушал, ощущая мучительный стыд от того, что тотчас поставил потир на место и не мог уже заставить себя вновь взять его в руки, а Еремей, поясняя, взял с бережным спокойствием хозяина. И ничего тут не было особенного, если бы не мгновенная улыбка Еремея, не тайная насмешка над ним, и Феофил опять люто озлобился, с ненавистью глядя в спину удалявшемуся чашнику, который с этого мига становился первым, после Пимена, врагом Феофила, врагом, от коего надлежало избавиться как можно скорее.

Феофил прошел затем в Софию по внутренним переходам,

по которым ходил лишь архиепископ, и где он был лишь два или три раза, сопровождая Иону. Заглянул в Грановитую палату, в которой должен будет возглавлять Совет господ (сама мысль об этом ужаснула его). А потом начался прием иерархов церкви и вятшей новгородской господы, и снова речи, прямые и уклончивые, советы и поучения, облеченные в форму почтительных подсказок его преосвященству. А затем предстояло рассмотреть договор с литовским королем, о коем он прежде слыхал только.

У Феофила голова пошла кругом. Он ел, не ощущая вкуса пищи. Одно лишь ясно помнил и знал новый владыка, и из намеков и прямого разговора с архимандритом Феодосием, и собственной потрясенной душой — что ставиться он будет только на Москве, у московского митрополита, ни в какую Литву поганую, в латынскую униатскую ересь, к отступнику и еретику Григорию, будь тот трижды митрополитом русским, он не поедет...

Лишь на второй день, и то по подсказке, Феофил уразумел, что имеет власть смещать и назначать на должности. Он тотчас отстранил Пимена от заведования софийской казной и избрал себе духовника, старца Корнилия, сотоварища по Вяжицкой обители. В тот же день срывающимся голосом, визгливо, впервые он накричал на младшего кравчего (мстил через него Еремею) и, с неожиданной легкостью, удивившей его самого (он не знал, что легкость эта происходила от могущественной поддержки многих и властных лиц, которые ждали только, чтобы Феофил взял на себя почин этого дела), настоял на посольстве в Москву, к великому князю, за опасной грамотой, на проезд в Москву его, Феофила, к московскому митрополиту Филиппу. Разорванные после высылки великокняжеского наместника отношения с Москвой привели к тому, что положение на границе содеялось, яко ратное, и новому владыке для того, чтобы без задержки добраться до Москвы и быть рукоположенным митрополитом Филиппом в сан архиепископа новгородского, необходим был опас, подписанный великим князем Иваном. В Москву за опасом поехал Никита Ларионов, житий со Славны, и это был второй из назначенных Феофилом, в пику своему неревскому окружению, людей.

Сам для себя Феофил не хотел ни знать о московском розмирье, ни считаться с ним. Но тут, мало не через неделю, двадцать седьмого ноября, на двенадцатый день после его избрания подходило торжественное, установленное Евфимием великим богослужение в память случившегося триста лет назад, при архиепископе Илие, разгрома суздальских войск Андрея Боголюбского под Новгородом, в честь чего при том же Евфимии была написана праздничная икона, самовидно и наглядно пове-

ствующая, как происходил этот разгром. И он — он! — только что отославший в Москву Никиту Ларионова, должен будет служить в торжественном архиепископском облачении, в алтабасном саккосе и цареградском омофории, в парчовых ризах и золотой митре владыки новгородского, умоляя господа об одолении над Москвой! (Ибо именно таков был смысл названного празднества! А тут, и еще прежде того, собирался Совет господ бояр, дабы утвердить договор с королем Казимиром.

— Какой договор, какой король! — Феофил даже замахал руками.— После, после!

Он еще не рукоположен, не поставлен... После! Пусть ответят из Москвы, пусть митрополит утвердит его на архиепископии. После можно будет и рассмотреть. Не торопясь. За февралем, в грядущем году...

Мягко, но настойчиво его убедили, что уже ничего нельзя отлагать, не только на тот год, но и на тот месяц, и даже на ту неделю. Ему прочли текст грамоты, он сам прочел ее четырежды. Из каждой строки глядела необъявленная война с Москвой.

Послание митрополита Филиппа было затвержено им наизусть, послание, каждым словом грозящее им, подобно граду Константина, карой небесной и гибелью за отпадение от Москвы, от православия и совращение в латынство. «Бога бойтеся, а князя чтите!» — писал митрополит.

А тут, мало этого, из Москвы привезли новую грамоту, пространнейшую и ужаснейшую прежней: «Словеса, избранные от святых отец, о гордости величавых мужей новгородских», в коей уже прямо и неприкровенно, со многою хулою, говорилось о Марфе Борецкой и ее детях.

А тут, в церкви святой Евфимии, от иконы «Богородицы» потекли слезы, и на Микитине улице, в том же Плотницком конце, слезы текли от образа святого Николы, и те знаменья были к худу, и пророчили беду Новугороду. Еще же передавали, незадолго до того, по осенине, на Федорове улице из тополья, от верха и из сучья вода капала, и то знаменье тоже было не на добро...

Нет, он знал, что ему делать! Твердо, хоть и с сожалением в сердце (был пятый день по избрании), он объявил, что никаких праздничных богослужений, никаких боярских Советов, никаких договоров и вообще ничего не состоится, ибо он слагает сан и уходит в монастырь.

Феофила бросились уговаривать со всех сторон: и тайные возлюбленники великого князя,— что еще будет в грозящей подняться кутерьме, того и гляди, без всяких новых выборов поставят Пимена! И осторожные сторонники середины, коих было большинство, и даже сторонники войны, ибо в новой замятне, с выборами нового владыки, они рисковали упустить время и ра-

стерять добытое с таким трудом и архинетвердое единство боярской господы.

Перед Феофилом за один день прошли настоятели Юрьева, Хутыня, Аркажа, Онтоновского, Никольского-Неревского и Никольского в Загородьи, Пантелеймоновского, Благовещенского и иных, крупных и малых монастырей, архимандрит Феодосий, хутынский игумен Нафанаил, вяжицкий игумен Варлаам, назвавший его, увещевая, «сын мой» и недвусмысленно давший понять, что обитель не встретит его с любовью, ежели он отринет крест, данный ему богом.

Явился Захария Овин, раздавивший Феофила прозрачно высказанным презрением и снисходительно-брезгливой жалостью:

— Поможем, поддержим!

Захария Григорьевич явно не мог понять причин растерянности Феофила и подозревал, что избранник Новгорода попросту хочет выторговать себе какие-то еще сверхпреимущества, хотя и без того архиепископ Новгородский, владелец трети всех церковных земель Новгорода, ни казной, ни значением не был обделен, поскольку, кроме непререкаемой власти в делах церковных, являлся и главою верховного светского органа республики — Совета господ.

Побывали у Феофила Офонас Груз, Александр Самсонов, Феофилат, Яков Короб...

Новый владыка напоминал хорька, загнанного собаками в угол курятника и не чающего, как вырваться на волю. Он должен был остаться на архиепископии, он должен был возглавить Совет господ, назначенный утвердить договор с королем Казимиром, и при этом не позже чем через день.

Феофил сдался. Он настоял, однако, чтобы заседание Совета открылось чтением «Словес избранных». Тогда грамоту упросили у него на один вечер для предварительного прочтения. И так это творение московских книжников позднее, в измененном и доработанном виде попавшее во все летописные своды, оказалось в тереме Марфы.

По зову и без зова к ней съезжались взволнованные друзья и соратники, растерянные союзники и тайные недруги Борецких, которым не терпелось посмотреть, как воспримет Марфа редкостное московское послание, о коем уже все слышали, хотя мало кто, да и то бегло, успел в него заглянуть.

Сама Марфа еще не чла грамоты. Ее только что привез Офонас Груз. Но на осторожный намек Якова Короба, что лучше бы обсудить послание прежде в узком кругу неревлян, Борецкая только гневно раздула ноздри. Было послано за Богданом. Запаздывали Онаньич и Феофилат. Мало не весь Совет господ собрала у себя Марфа Борецкая, прежде чем, усадив всех и усев-

шись сама во главе стола на почетном месте и обведя глазами собрание, кивнула головой своему духовнику, совмещавшему в доме Борецких обязанности исповедника с должностью чтеца:

— Читай! Послушаю, каки таки «Словеса!»

Духовник, незаметный человечек (готовясь к чтению, он уже пробежал грамоту глазами), вострепетал, забегал глазками, набираясь духу, глянул на важных господ, глянул на Марфу, что сидела прямая, принахмурясь, со скрещенными на груди руками, прокашлялся, глотнул воздуху и, еще раз пугливо оглядев собрание, начал:

— «Словеса избранна от святых писаний о правде и смиренномудрии благоверного великого князя Ивана Васильевича всея Руси, ему же и похвала о благочестии веры, и о гордости величавых мужей новгородских...»

Он приостановился, но величавые мужи слушали молча, не выказывая пока ни одобрения, ни досады, и духовник ободрился, еще раз прочистив горло, зачитал бойчее:

— «Царь царям и господь господам, бог вышний и державный, и крепкий, владыка и творец всех сущих, господь наш Иисус Христос, содержащий царство небесное, начала же и конца не имый, тот единый, сотворивший небо и землю, вся елика хощет, творящий по воле своей, власть бо и славу кому же хощет — дает, и скипетры царств царям поручает, и своим благоутробием все добре устрояет, и на боящихся его великую свою милость изливает, по реченному в книгах бытия, якоже пишется: «Аще какая земля управится пред богом, то и пóставляет ей князя благочестива и правдива, добре смотрящего свое царство и управляющего землю, и любящего суд и правду добре, ибо речено: строящим земная, даются и небесная». Воистину, неизреченным своим милосердием господь бог наш от своея живоносныя десницы поставил своей боговозлюбленной земле Русской главу, правдива содержателя и благочестива, исполнив всея премудрости пречестную его главу, и устрои его, яко пресветла светильника благочестию, истине приспешника и божественному закону хранителя, и крепка поборника по православии, благородного и благоверного великого князя Ивана Васильевича всея Руси».

— Паче Христа превознес! — громко сказал Богдан, не глядя на чтеца.

Согласный вздох прошел по палате. Это был московский украшенный стиль, «плетение словес», и долго еще приходилось слушать витиеватое славословие Ивану, со многими выдержками из святых отцов, Библии, Приточника и Евангелия.

Новый вздох прошел по рядам, когда чтец, наконец, добрался до «жестоковыйных мужей новгородских», прилепившихся к латинам, яко древлии израильтяне телячьей голове поклонившиеся.

Духовник читал, утупляя очи. Он неудержимо приближался

к той части грамоты, читать которую вслух ему совсем не хотелось.

— «Отчина князей великих Великий Новгород и все мужи новгородские, и отцы, и деды, и прадеды их, и пращуры, никогда же неотступны были от своих господ, а имя их, великих государей князей, держали на себе честно и грозно».

Московские писцы явно не обременяли себя доказательствами, прямо утверждая то, что им было нужно.

— Лжа! — снова не выдержал Богдан.

Марфа только глазом на него повела. Чтец продолжал:

— «А нынеча новгородские мужи, ради последнего сего времени ту старину всю по грехам забыли, а того дела господарского по земле ничего не исправили, а пошлин не отдают, а которых земель и вод с суда по старине отступились князю великому, да те земли опять за себя поимали, и людей к целованью приводили на новгородское имя, а на двор великого князя на Городище с большого веча присылали многих людей, а наместника его да и посла великого князя лаяли и бесчествовали, да и Городище заяли, и людей перебили и переимали, и в город сводили и мучили, а с рубежов с новгородских отчине великого князя и его братьи молодшей отчинам и их людям многу пакость чинили новгородцы, грубячи тем великому князю...»

Слушатели зашевелились, кое-кто мрачно усмехнулся. Берденев сказал жестко:

— Не диво так деять, коли оны наше своим считают!

Марфа снова только молча кивнула замолчавшему было чтецу.

— «Они же, люди новгородские, гордостию и грубостию рассвирепевше, взыскаша себе латынского держателя государем, и князя себе у него же взяша в Великий Новгород, киевского князя Михаила Олександровича, чиняше тем грубость великому князю, да такою же прелестью латынскою увязнувше в сетех диавола, многоглавого зверя, ловца человеком и гордого убийцу душам неправедных...»

Марфа, доселе слушавшая молча, наконец не выдержала:

— Чать Михайло князь православной! — сказала и тут же подторопила замнувшегося духовника: — Ну что ты, читай!

Тот жалко поглядел на Марфу и, втянув голову в плечи, затрудненно продолжил:

— «Той бо прелестник дьявол вниде у них в злохитреву жену, в Марфу Исакову Борецкого, и та, окаянная, сплетеся лукавыми речьми с королем литовским, да по его слову хотя пойти замуж за литовского же пана, за королева, а мыслячи привести его к себе, в Великий Новгород, да с ним хотячи владети от короля всею новгородскою землею...»

Лицо Марфы окаменело. Так! Значит, на Москвы и сплет-

ками, что не всякой голь кабацкой на торгу со похмелья повторит, и тем не брезгуют!

Бояре прятали глаза. Кому стыдно, а кто, поди, и рад — пусть прячут! Она сумеет им всем и каждому в особину взглянуть в лицо! На чтеца жалко было смотреть, он все ниже и ниже опускал голову. Офонас завозился было — не прекратить ли? Глянул, смолчал.

— «Да тою своею окаянною мыслью начала прельщати весь народ православный, Великий Новгород, хотячи их отвести от великого князя, а к королю приступити. И того ради оскалилась на благочестие, якоже оная львица древняя, Езавель».

— Иезавель?! — резко переспросила Борецкая.

— Иезавель...— пробормотал чтец и начал было дрожащими руками свертывать грамоту.

— Читай! — грозно потребовала она.

— «Такоже и другая подобная ей бесовная Иродья, жена Филиппа царя, о беззаконьи обличена бывши Крестителем господним, и того ради, окаянная, обольстила своего царя...»

Марфе вдруг стало смешно, гнев почти прошел:

— Колькой год по муже живу, благодаря бога, блудницей еще никто не называвал! — громко возразила она прежним свои переливчатым, вкусным голосом, и лица стариков тоже тронули облегченные улыбки.

— «К сим же и Евдоксия, царица,— продолжал чтец, немного ободрившись,— свое зло наказуя, великого всемирного светильника, Иоанна Златоустого, патриарха царствующего града с престола согна».

Чтец сам приодержался, вопросительно посмотрев на госпожу. Борецкая презрительно улыбалась:

— Ну! Всех в одно место склал. Далилы нехватат!

Духовник опустил очи в грамоту:

— «Также и Далила окаянная...»

Тут и многие фыркнули — как угадала! Офонас, любуясь, глядел на Марфу, довольно поглаживал толстыми старческими руками в коричневых пятнах золотое навершие трости. Передолила-таки!

И верно — передолила. Дальнейшее чтение о том, что «окаянная Марфа», своею прелестью «хотячи весь город прельстити и к латынству приложити», обличения Пимена, которого тоже, несколько запоздало, сравнивали с древлесущими отступниками веры, походя браня митрополита Исидора и его ученика Григория, шло под веселый гул и перешептыванья. Вслед за Борецкой и все стали находить многоглаголивое московское послание забавным, и уже дружно смеялись, когда, вновь возвратившись к Марфе, сочинитель назвал ее «злой аспидой».

Долго еще длилось чтение, с новыми хулами, угрозами и увещеваниями. Наконец, чтец смолк, утирая пот с чела.

Наступило неловкое молчание. Борецкая пошевелила плечами, словно муху отогнала:

— Пишут, что воду льют. Тьфу! И писать не умеют на Москвы. Того боле впусте словеса тратят! Поди, не сам и писал, кто составлял-то? Гусев?

— Скорее, Брадатый! — отозвался Богдан.

— Ну. Вода и вода. Черква-то завалилась у его? Успенска? Бают, намешали жидко, не клеевит раствор! Теперича какого немца выищет, а то фрязина. Те ужо слепят ему! Ничего толком делать не умеют на Москвы, все-то у их жидко: и рубль московский жиже нашего, и словеса ихние... Только власть густа! А что, мужики,— повысила голос Марфа,— будто я, баба, храбрее вас?! На Москвы в чести, у царя самого! Царем-то себя еще не называт Иван? Называет уж? Ну! Чти теперь нашу грамоту, новгородску! Слышали, мужики, знаете, а снова чти! Да не скажет завтра никто, что в латынскую веру волоку!

Грамоту выслушали молча.

— Вот! На всей воле новгородской,— заключила Борецкая.— Как с Мстиславом, как с Михайлой Тверским, как с прежнима князьямы заключали!

Не все, однако, так гладко прошло на Совете господ, как хотела того Марфа Борецкая... «Словеса», читанные накануне, уже не произвели впечатления. Но зато Феофил уперся-таки на своем, с провизгом, во что бы то ни стало требуя мира с Москвой. Он сидел, вцепившись в ручки кресла, поджавшись, брызжа слюной и прикрывая глаза от страха — маленький разозленный хорек,— и не уступал. В конце концов договорную грамоту пришлось изменить, введя, в угоду Феофилу, слова об умирении королем Казимиром Новгорода с великим Московским князем и плате за таковое «умирение», а также сочинить особый наказ послам — просили бы Казимира стать посредником в заключении мира между Новгородской республикой и великим князем Иваном.

Новые разногласия начались, когда дошло дело до утверждения грамоты. Для договоров такого значения требовались подписи всех кончанских представителей, бояр и житьих. То есть сейчас нужны были семь боярских подписей. Но если уже и прежде было сомнительно, подпишут ли все старейшие договор с королем, то теперь, когда члены Совета нагляделись на Феофила, собрать их подписи стало и совсем невозможно. Началось с того, что Иван Лукинич отказался подписываться наотрез, мотивируя тем же, чем и раньше,— скорым окончанием срока своего степенного посадничества. Своеземцев сказал, что он и мог бы подписать, но Славна стоит на своем, требует ждать веча, и его

личная подпись в этих условиях силы не имеет. Феофилат завилял, а за ним и Лука Федоров. Яков Короб, глядючи на них, уклонился тоже. Совет зашел в тупик, и дело спас лишь Офонас Остафьич Груз, предложив, чтобы подписывали не старейшие, а члены посольства от концов. Он первым поставил свою подпись, и она, с грехом пополам, могла сойти за подписи от обеих прусских концов, Людина и Загородья, тем паче что степенным на следующее полугодие уже почти наметили брата Офонаса, Тимофея Остафьича. За Неревский конец грамоту подписал Дмитрий Борецкий, за Плотницкий — зять Овина, Иван Кузьмин, даже не посадник, а сын посаднич (впрочем, место ему должно было открыться вот-вот: у Ивана умирал отец). Славляне держались своего прежнего решения, но поскольку степенным тысяцким должен был стать славенский боярин, рыжий Василий Максимов, то он и подписал грамоту, разом и за степенного тысяцкого и за свой Славенский конец.

Так создался этот договор, слепленный из упорства Борецких, твердости Офонаса Груза, осторожной приверженности к традициям всех остальных и трусости владыки Феофила.

В таком виде грамота еще через два дня была представлена на утверждение вечевому собранию.

Заседание это имело и еще одно последствие, впрочем, затянувшееся разрешением почти на год. Получив в «Словесах избранных» опору для своей ненависти к Пимену, Феофил, не решаясь, правда, сразу же отдать под суд друга всесильных Борецких, начал потихоньку собирать сведения: когда и сколько передавал Пимен Марфе денег из владычной казны?

После заседания Совета, прощаясь с Офонасом Грузом на владычном дворе, где Офонаса ждал его обитый кожей возок, а Богдана Есипова — верховой конь, Богдан хмуро сказал, глядя в сторону своими утонувшими под лесом бровей маленькими глазами:

— Помнишь, Остафьич, покойный Иона, царство ему небесное, когда молил Василья Темного отложить гнев на Новгород, заплакал вдруг и сказал: «Кто обидит людей моих толикое множество и кто смирит таковое величество града моего, ежели усобицы не смятут их и раздоры не низложат их и лукавство зависти не развеет?»

Богдан махнул рукой и, не оборачивая лица, зашагал к коню.

Прошли те времена, когда щитники, замочники и кузнецы смещали епископов и вмешивались в дела государственного управления, когда на вече предстательствовали старшины цехов, истинные представители черного народа, и на них опирались бояре в борьбе за власть. Теперь новгородское общество отстоя-

лось, как отстаивается в низинах взбаламученная вода весеннего потока. Отстоялось в три слоя: великих бояр, захвативших всю полноту государственной, политической и судебной власти, купечества, имевшего своих представителей во всех делах торговых, своих старост, «тиунов новгородских», свой торговый суд, хоть и под началом боярина — тысяцкого, своих выборных при заключении торговых соглашений и договоров Господина Новгорода с зарубежными странами, и, наконец, житьих, третьего слоя, представителей черного народа в суде и на вечерних сходах.

Но хотя житий и происходил зачастую из крестьян или ремесленников, и происхождение это помнилось и даже почиталось уличанами: наш, мол, свой, нашего брата кость! Но ремесленник, для коего истинное богатство в руках, в мастерстве, и вчерашний ремесленник, позабывший, как держать кузнечное изымало, или крестьянин и крестьянин по происхождению,— это большая разница! Одно, когда человек делает что-то сам, своими руками, другое, когда получает труды других рук, а сам лишь руководит работами, направляет и поучает, объезжая деревни (часто одна деревня принадлежала нескольким житьим, и в осеннюю пору хозяева-управители приезжали один за другим). Пусть ты десяток яиц, постав холста небеленого да оков жита получишь, однако не сработал сам, не вспахал, не вскормил, не вырастил — так какой же ты «наш»? Землю, земельную власть, а не власть людей представляли житьи, эти вчерашние ремесленники и мужики. Земля, а не народ, говорила на вече и в суде. Количество крестьян и орамых пашен решало всякое дело. И так получилось, что черные люди — четвертый слой новгородских граждан,— не имели своего голоса в делах, ни своих представителей в органах власти Новгородской республики.

И все же сила у них была. Пусть замкнутая, перегороженная тысячью плотин, она вечно грозила прорваться и затопить Новгород. И об этом помнили все, и бояре, и житьи. Помнили и боялись. Не побоялась лишь Марфа Борецкая. Через головы боярского совета, житьих, самого Киприяна Арзубьева, на неверные весы народного мятежа дерзко бросила она посулы и лесть, свое и владычное золото, чтобы силою этой перетянуть колеблющееся вече.

В последующие два дня в городе творилось невообразимое. Толпы народа по улицам, крики, брань, заушения, вскипающие там и тут драки. Селезнев велел бить и гнать клопских богомольцев, призывающих поддаться великому князю Московскому, и стон стоял до небес.

Слухи, что Московский князь берет назад свои требования,

переполошили весь Новгород. Почасту бил вечевой колокол. То те, то другие, прорываясь на Ярославово дворище, собирали летучие сходки своих приверженцев. На вытоптанном дочерна настиле оставались рукавицы, шапки, вырванные с мясом пуговицы, клочья воротников, а то и алая кровь.

Иван, что грузил лодьи у Борецких, с началом зимы остался опять без работы. Скоморох Потанька встретил его как-то на улице и потащил с собой, к Селезневу:

— Деньги дают, дура голова!

Работа была заполошная: шататься по городу да кричать: «За короля хотим!», а при нужде и ввязываться в драки. Домой приходил Иван затемно, очумелый и охрипший, служба была не по нему. Потанька, тот чувствовал себя как рыба в воде, тряс кудрями, бахвалился, отирая кровь с разбитой скулы:

— Эх, и врезали ж мы им!

В эти последние дни оба аж почернели от устали. Накануне даже и домой не пошли. Иван только передал Анне через сябра, что, мол, не ночую, Потанька и тем не озаботился. Спали в молодечной у Есиповых, на полу, вповалку, вместе с Богдановыми молодцами. Вечером пили, утром опохмелялись, вполпьяна разошлись по улицам. Первая драка случилась у въезда на мост. Одолели было, но тут подвалила толпа плотничан, дуром кинулись на своих и едва разобрались, уже после того, как двоих уложили, едва тепленькими, под стеной Детинца и над ними захлопотала чья-то зареванная жонка. С боем прорывались потом через Великий мост. Толпа орала, сшибая перила, живые тела с хряпом падали на лед. Над головами махались кулаки, ослопы, жерди. Потанька за шиворот оттащил Ивана, спас, а то бы колом проломили голову. На торгу трещали лавки, опрокидывались скамьи. Какой-то высокий тощий мужик, мастеровой, взобравшись на кровлю амбара, пронзительным, режущим уши голосом кричал, перекрикивая всех:

— Исак Андреич Борецкой Витовту Порхов продал! Ну, не продал, а шестнадцать тысящь рублев окупа ему дал! Это какие ж деньги! Двои раз весь Новый Город каменной стеной обнести можно, вот какие! Тут за полгривны неделю спину гнешь, с десяти мужицких дворов в год рубль собирают! У них, у Борецких, размах! Не мельчитце ни которой! Теперь Марфа весь Новый Город Литве продать затеяла!

Потанька полез на кровлю, мужика вчетвером скинули в толпу, на кулаки, и долго трудились над ним. Ноги месили раскисший снег. Новый чей-то крик: «Хотим за великого князя!» — спас мужика. Толпа кинулась туда, а избитый, растерзанный мастеровой, дико косясь на Ивана и волоча ногу, заползал в закут меж лавками, его рвало. Иван, опустошенный, побрел вслед остальным. Понял вдруг, что хочет одного: домой, к Нюре,

бросить бы все это! Денег нет, топить нечем, а скоро рождество... Что ему король!

К началу вечевого схода наступило совсем уже неподобное. Выборные веча едва могли пробиться к Никольскому собору. Толпа напирала от рынка и со всех сторон, забиты были все окружные улицы. Крики: «За короля хотим!», «За князя!», «За короля!» — не смолкали. На вечевой башне заполошно, как при пожаре, бил и бил колокол. Пробивающихся к вечу верхами бояр мотало, как лодьи в непогодь. Кони, храпя, оскаливали зубы, начинали кусаться. Двух-трех за ноги стащили с седел.

Ивана Своеземцева у самого веча толпа притиснула к тыну. Слуги потерялись в давке. Вертя головой, он узрел совсем рядом, прижатого как и он, Григория Тучина. Двое холопов тщетно старались оградить своего господина от литого натиска толпы. Неслышный в шуме, Григорий махнул ему рукой. Один из его холопов выдрал Своеземцева из гущи тел, поставил рядом с Тучиным, загородив их спиною. Продолговатое лицо Тучина подергивалось. На подбородке свежела царапина. Он изо всех сил старался и здесь сохранить свое всегдашнее спокойствие и благородную осанку. Прямо перед ними, за толпою, над морем голов, вздымалась вечевая ступень и крыльцо приказной избы, из которой вот сейчас начнут появляться ораторы.

— Давно ты здесь? — спросил, прокричав на ухо, Своеземцев Тучина.

— Я смотрю! — выкрикнул Тучин в ответ.— Скоморохи!

Голос его был перекрыт грозным ревом: «Долой! Москва! За короля!» В небе надрывался вечевой колокол. Вскоре вокруг них началась новая круговерть. Позовники, бирючи, приставы, вкупе с молодцами владычного полка, работая кулаками и плечами, расчищали вечевую площадь. Старосты вечевого Совета и подвойские собрали, чтобы только сдержать толпу, всех, кого могли. Дюжий ратник чуть не сгреб за шиворот и Своеземцева, хорошо, по платью признал, бросил на ходу:

— Извиняй, боярин!

Тучин высокомерно усмехнулся. На едва расчищенную вечевую площадь начали прорываться по одному выборные, каждого из которых толпа провожала криками, свистом, напутствиями, улюлюканьем или поощрительными возгласами. Колокол, наконец, смолк, и стало можно слышать друг друга.

— Почему скоморохи? — переспросил Иван.

— Почто твои отказались подписать? — ответил вопросом на вопрос Тучин.

— Курятник! — прокричал Своеземцев в ответ.

— А, Фома! Хорош Немир, своего уговорить не сумел! —

Тучин с отвращением смахнул ошметок грязи, брызнувший на его дорогую шубу из-под ног толпы.

— Скоморохи и есть! Что мы можем им обещать? — указал глазами на площадь Григорий, обтирая руку белым шелковым платом.

— Черному народу? — не понял Своеземцев.

— Народу никто ничего не даст! — зло отвечал Тучин, подергивая щекой.— Разве закрутят его в бараний рог! Станет Москва, уж не покричат на вече! Да и налоги не те будут брать, что мы, а втрое. Мой ключник никогда так не обдерет мужиков, побоитце, как дворяна московские!.. Что народ! А вот этим, житьим, дворянам нашим, что мы им можем обещать?! Наши земли? Их Иван уже своим дворянам обещал, опоздали! Да и не отдали бы мы все равно... Доспехи получить с москвичей в случае победы! Взяли мы все. И все потеряли!

— Думаешь, не примут?

— Примут! Не слышишь разве?

Его слова утонули в невообразимом крике. Только что кончил говорить Иван Лукинич, почти неслышный в гомоне, и на крыльце показалась Борецкая.

Марфа стала на вечевую ступень. Она была без платка, в одном повойнике и темной, блестящей бобровой шубе, одетой в-опашь — руки в сборчатом бархате выпростала в прорези, и тяжелые рукава шубы свободно свисали за плечами. Большие глаза Борецкой отсюда казались двумя грозными провалами на бледном лице.

— Граждане! Братья! Мужи новогородские! Люди вольные! В ваши руки — честь, свободу, гордость города нашего ныне даем! Да не погубит Москва святыни отни! Не дайте себя в холопы дьякам московським! Вы — соль земли! Отринем угрозы! За вольный союз! За короля!

Голос Марфы поднялся, взмыл, лебединым кликом заплескал над толпой. Этого часа счастья у нее бы не отнял никто. Со всех сторон подымались к ней ликующие руки, лица, неслись выкрики...

Вослед Борецкой на вечевую ступень восходили Селезнев, Арзубьев, Еремей Сухощек, Родион, Василий Александрович Казимер, Марко Панфильев, уличанские старосты. Шум нарастал.

— Начинай! Чего там!

Орала площадь. Трещали заборы.

Иван Лукинич сидел в вечевой избе, тяжело навалившись на стол. К сердцу подкатывала слабость. Изредка подымая голову, он прислушивался к гомону толпы за стеной. Подвойские, Назарий и Василий Онфимов, оба бледные, ждали его приказаний.

— Начинай, пора! Не то все рознесут! — сказал, наконец, Иван Лукинич и прибавил, покачав головою: — Эх, Марфа, Марфа!

Испуганные бирючи дрожащими руками уже раздавали избирательные листы выборным. Пробившиеся на помост ремесленники рвали их из рук житьих. Порядка не было вовсе. Марфины люди напирали со всех сторон.

— За короля! — дружно орала площадь и улицы.

— За короля хотим! — гремело в торгу.

Дворский пробился к Тучину. Принес ему берестяной избирательный лист. Своеземцев сам протолкался к вечевой ступени. Григорий достал костяное писало, выдавил на бересте: «За короля», усмехнувшись, отдал листок дворскому и помахал рукою над толпой, удостоверяя Назария, что отослал избирательный лист.

Шум и крики не смолкали все время, пока шел подсчет. Наконец, Иван Лукинич показался на помосте, поднял руку. С трудом установилась тишина. Большинством голосов вече высказалось за заключение договора с королем Казимиром.

Тут же договорная грамота была скреплена государственной печатью Господина Новгорода и подписями пяти житьих, во главе с Панфилом Селифонтовым, от пяти городских концов, о чем тайные гонцы, загоняя коней, тотчас понесли весть в Москву.

В тереме Борецких собирались потрепанные победители. Посольство к Казимиру готовилось отбыть уже на днях. Новгородский противень — список грамоты — был положен в присутствии пяти членов совета и должностных лиц, в кованый ларь с государственными актами вечевой палаты республики. Копия с противня хранилась у Борецких, на случай внезапной надобности в ней.

Марфа, еще не остыв, расхаживала по столовой палате, кутая плечи в шелковую епанечку. Взглядывала, раздувая ноздри, на мужиков (тут были чуть не все молодые соратники Борецких), что гомонили и закусывали, как после боя, не чинясь и позабыв на время о степенности, чинах и приличиях. Взрывами звучал смех. Савелков вдруг, оторвавшись от стола, прошелся плясом. Девки шныряли с закусками и вином, увертываясь от щипков и непрошеных объятий. Мужики-слуги эти дни все были в разгоне, а сейчас угощались внизу, в молодечной. Там, на дворе, толпились и те мужики, что наняты были бегать по городу. На поварне Борецких кормили и поили всех подряд.

За столом шли разговоры о прошедшем вече, о том, как гнали москвичей с Городца, о нелепых чудесах в Плотницком конце, о том, что плох Иван Лукинич. Молодые посадники обнимались

с житьими. Дмитрия Борецкого поздравляли вновь и вновь. Не по раз поднимали чары и в честь Марфы Ивановны...

Назавтра у Борецких собрались на пир старейшие, отметить и обсудить насущные политические дела. Ежегодную службу (праздник чудотворной иконы «Знаменья Богородицы») в память одоления суздальцев, что подходила уже через день, решено было справить особенно пышно.

С утра двадцать седьмого ноября площадь перед Софией уже была полна народу. Не попавшие внутрь собора толпились на паперти, заглядывая поверх голов в мерцающую лампадами и искрящуюся золотом тьму, расступаясь, пропускали разодетых в лучшие свои платья и шубы великих бояр и боярынь, что пешком подымались в ворота Детинца и медленно проходили, давая обозреть себя со всех сторон, в Софийский собор.

Там, внутри, пар от дыхания и облака ладанного дыма колыхались над толпой в трепетном свете хоросов и лампад. Новый архиепископ, которого многие еще и не видели, в драгих облачениях, с синклитом закутанных в золото иереев, правил заупокойную службу по убиенным под градом. Затем должен был начаться крестный ход через весь город, по Великому мосту, мимо торга, на Ильину улицу, в Знаменскую церковь, откуда икона «Знамение Богородицы», заступничеством которой были отвращены от города суздальские рати, последует во главе процессии в Детинец. После чего состоится самая торжественная часть празднества — вынос второй иконы, «Битва новгородцев с суздальцами», и встреча обеих икон в Софийском соборе.

Весь этот путь, туда и назад, Борецкая, как и прочие великие бояре, проделала пешком, в первых рядах процессии. Шел Богдан, шел, грузно опираясь на посох, Офонас Груз, шли мужи и жены, молодые и старые, посадники, тысяцкие, житьи, купцы, старосты улиц и черные люди, миряне и иереи. Впереди колыхались золотые ризы духовенства. Празднично звонили колокола, и ликующими криками провожали шествие радостные толпы народа, забившие все улицы от Знаменской церкви до Софии. И уже не верилось, что всего третий день, как на этих же улицах, эти же люди сшибались в кулачном бою, и заполошно бил вечевой колокол, и трещали заборы под натиском озверелых толп.

Святый боже,
Святый крепкий,
Святый бессмертный,
Помилуй нас!

Бесконечно повторялось и повторялось в лад шагам, в лад колеблющимся над головами хоругвям, в лад праздничному ше-

ствию примиренных (надолго ли?) во взаимной любви горожан.

Феофил справился с этою первой своей большой службой как надо. Внятно и торжественно, на весь собор, читал он слова, ужасавшие его своим скрытым смыслом:

— «Мнящеся непокоривии от основания разорити град твой, пречистая, неразумевше помощь твою, владычице! Но силою твоею низложени быша, на бежание устремляхуся, и, якоже узами железными, слепотою связани бывше, и мраком, якоже древле Египет, объяти, неразумевше, дондеже конечно побежени быша!»

И снова хор, и начинается вынос иконы, и согласными волнами склоняются выи, и вот она проплыла над головами, сияющая, узорная, лучащаяся светлою белизной левкаса, по которому вверху — торжественная процессия иерархов и молящегося народа по стенам осажденного города, под ними — башни, и плотная толпа конных суздальцев, из глубины которой дождем струятся ввысь стрелы, окружая лик богоматери, а внизу — вот она, расплата! Растворились ворота, и из них на круто загибающих шеи тонконогих конях выезжает новгородская рать, устремив вперед разящие копья, а толпа суздальцев распадается, как разъятый сноп, и уже вот-вот побежит, роняя щиты и копья, низринутая и униженная богом в велицей гордости своей. В мерцающем пламени и дыму согласно наклонялись головы, взмывали руки в едином знамении крестном, грозно ревел хор, и начинало казаться, что подступи москвичи к стенам, сами святители новгородские восстанут из гробов и отвратят беду от своего Великого города.

ГЛАВА 12

рождественский пост, после зимнего Николы, умерла Есифова, вдова прусского посадника Есифа Григорьевича, мать Никиты Есифовича, молодого посадника, друга Дмитрия Борецкого. Умирала она давно, с осени лежала пластом, и потому смерть ее ни для кого не явилась нежданною, ни для сына, ни для снохи, Оксиньи, ни для ближников, которые даже порадовались:

— Отмучилась, наконец!

Болела долго, а умерла хорошо. Пожелала собороваться. Потом позвала Борецкую и Горошкову в свидетели, прочла завещание. Сыну и снохе отходили родовые земли, раскиданные по всей Новгородской волости, села и волоки, рыбные тони, соляные варницы, ловища и перевесища, лавка в торгу, амбар в Бежичах... В одном Обонежье, в Андомском, Шольском, Пудожском и Водлозерском погостах двести шестьдесят обжей пахотной земли. В завещании перечислялись также заклады, с кого сколько взять, амбары с добром и сундуки с лопотиной, шубы и кони, «а что в анбарах, и в сундуках, и в коробьях, опричь дареного, то все сыну моему Никите и снохе моей». Отдельно снохе Оксинье передавалось: «ожерелья два, яхонтовое и жемчужное, жемчугу бурмицкого, серьги и колтки золотые со смарагдами», золотые и серебряные браслеты Перечислялись подарки слугам, кому что — порты, корову, сапоги или отрез сукна, или деньгами, или хлебом. Три семьи старых слуг Есифова отпускала на волю, бога ради, дарила и их добром.

Долгая болезнь высушила ее, запал рот, нос заострился, резче обозначились скулы, выдалась вперед властная тяжелая челюсть. Когда Есифова от слабости закрывала глаза, лицо казалось уже совсем мертвым. Но вновь шевелились морщины, размыкался рот. «Читай... читай!» — говорила она приказному. После завещания умирающая велела перечесть вкладную. Николо-Островскому монастырю отходило сельцо по Вишере, серебряное блюдо, лошак бурый и две тысячи белки на церковную кров-

лю. «А хто будеть от дому святого Николы, игумены и чернориз-цы,— читал дьяк,— держати им в дому святого Николы на Острове вседневная служба, а ставити им в год три обедни, а служити им собором...»

— Четыре напиши! — хрипло потребовала умирающая. — Немало и дарю! На память святого апостола Авилы, месяца июня, в четырнадцатый день... прибавь! И милостыни пусть дают... по силе... А не почнут игумены и священники, и черноризцы... святого Николы... тех обедов ставити и памяти творити — и судятся со мною... перед богом, в день страшного суда!.. Ну, вот так... ладно... — удовлетворенно прибавила она, прослушав перебеленную грамоту.

После того Есифова причастилась и соборовалась. Испила малинового квасу. Подозвала сына, благословила. Прибавила погодя: «Теперь усну»,— и смежила глаза. Дышала все тише, тише... Не заметили, как и отошла. Хорошо умерла. Об этом говорили и на поминальном обеде в доме покойной — всем бы такую смерть!

Никита Есифов стал полновластным наследником огромных вотчин Есифа Григорьевича, а его молодая жена приняла заботы по дому, став одною из великих жонок новгородских, наряду с Борецкой, Горошковой и Настасьей Григорьевой.

И, будто сменяя ушедшую жизнь другою, новою, жена Федора Борецкого, Онтонина, Тонья, по-домашнему, тем же постом, обрадовав отца и бабу, родила первенца, сына. Мальчика назвали Василием, по настоянию Марфы. Ребенок был хороший, толстенький, веской — как на руки взять. Ему тотчас наняли кормилицу со стороны и приставили няньку из дворовых.

Марфа сама сильными бережными руками ловко запеленывала младенца. В лице у Борецкой появилась примиренная тихость. Баба, бабушка! Второй внучок уже, и оба пареньки. Между семейными заботами она, как всегда, успевала вести огромное хозяйство, принимала начавшие прибывать по первопутку санные обозы, следила за девками, что рукодельничали в девичьей, считала, меряла, сама принимала купцов и торговалась с ними, строила, заказывала образа для новой церкви в Березовце. Дмитрий был далеко, в трудах посадничьих и посольских, и мать не озабочивала его и в мужские дела сына пока не вмешивалась. Федора и того на время оставила в покое.

Ясно стало, что этой зимой войны не будет. Москве угрожала Орда, да и не простое это дело, собрать войска со всех земель, чтобы двинуть на Новгород. Посольство от короля Казимира еще не возвращалось, и ждали его не раньше крещения В трудах и заботах вседневных неприметно подкатило рождество.

Светлое рождество Христово — самый веселый праздник в

году. Дети прыгают, не в силах дождаться, когда можно начинать славить, когда пойдут со звездой, а там игры, гаданья, ряженые — кудеса (или хухляки, или шилигины, кто уж как назовет).

— Баба, я славить пойду! — радовался Ванятка, снимая красные сапожки и разоболакиваясь на ночь. (В отсутствие Дмитрия Борецкая, к неудовольствию Капы, хозяйничала и на половине старшего сына.)

— Пойдешь, пойдешь! Спати надоть! — усмехаясь, укладывала Марфа внука. («Весь в Митю! И тот такой же был настырный да нетерпеливый!»)

— Баба, а ты меня побуди! — бормотал Ванятка, укутанный шелковым одеялом, уже сонный, со смыкающимися глазками.

И так же, как этот наследник сотен деревень с крестьянами, рыбных ловищ, угодий, варниц, торговых пристаней, радовался, что завтра пойдет славить и получать в подарок аржаные пряники, так же и дочка Ивана, худенькая светлая девчушка в залатанном платьице, засыпая под вытертой овчинной шубой, сладко грезила о завтрашнем дне и уже украдкой связала плат в узелки — было бы куда складывать славленые пироги.

— Батя, а мы к боярыне Марфе пойдем! — выдавала она отцу ребячьи тайны.

— Куды! На том конци живет! К Захарьиным походьте, любо ищо к кому!

— Не! Мы хотим к Марфе! — капризно протянула девочка, уверенная, что отец не откажет ей.

— Спи! К Марфе ей... «Госпожа Марфа» надоть говорить...

В сочельник, под рождество, девки гадали, лили воск и олово на воду, бегали в баню глядеть суженого, выкликали, пололи снег. У ворот окликали прохожих — какое имя скажет, так будут звать жениха. Олена Борецкая сама бегала на Волхово за свежей водой — сидели в нижней горнице с девками, смотрели в кольцо. Сыпали перстни в шапку, под песню вынимали — кому что придет.

Будем перстни тресть.
Будем песни петь,
    Лим-лёли!
Мы кому поем,
Мы добра даем,
    Лим-лёли!
Ай, чей перстенек,
Того песенка,
    Лим-лёли!
Кому выдастся,
Тому справдиться,
    Лим-лёли!

Залетел воробей
На чужу сторону,
Лим-лёли!
А с чужой стороны
Он не вернетце,
Лим-лёли!

Девушка, доставшая перстень, расстроилась — к разлуке. Оленке досталось еще хуже:

На гумно иду,
Во трубу трублю,
Лим-лёли!
А с гумна иду
Я потрубливаю,
Лим-лёли!

Это значит, горе горевать. Следующей зато достается близкое замужество:

Ходит кошечка
Да по лавочке,
Лим-лёли!
Водит котика
Да за лапочки,
Лим-лёли!

С утра только что окончилась христова заутреня, как на дворе Борецких уже раздался хор согласных мужских голосов:

Христос рождается, славите,
Христос с небес, срящите,
Христос на земли, возноситеся.
Пойте господеви, вся земля,
И веселием воспойте людие,
яко прославися!

Это собрались свои мужики-холопы и парни-уличане. Окончив ирмос, тотчас начинают кондак:

Дева днесь пресущественного раждает,
И земля вертеп-неприступному приносит,
Ангели с пастырьми славословят,
Волсви же со звездою путешествуют:
Нас бо ради родися отроча младо,
превечный бог!

За первыми славщиками последовали другие, там третьи, четвертые...

Из поварни Борецких славщикам решетами выносили пироги, подносили пиво. Сама боярыня спускалась на крыльцо, раздавала мелкие деньги. Приходили старики и калики, парни и

девки, артельные грузчики, свои холопы. Скоро обширную горницу наполнили дети:

— Баба Марфа, мы славить пришли! — ликуя, кричал Ванятка из толпы ребят, одетых кто как: кто во свое, по росту, ладное и дорогое, кто попроще, кто и совсем в тряпье и опорках. Бедные озирались по сторонам, разглядывали, раскрывая рты, великолепие боярской избы.

— Славьте, славьте!

Скрестив руки на груди и улыбаясь, Марфа слушала, как детские голоса старательно, хоть и не совсем складно, выводят ирмосы, а затем, переглянувшись и потолкав друг друга с юным восторгом,— древнюю поздравительную:

А и шел Дристун
Вдоль по улице,
    Лёли-Лель!
А кому поем,
А тому добро.
    Лёли-Лель!..

Она сама раздала малышам козюли, печеные из крутого теста: олешек, всадников, коней и баранов с загнутыми рогами, птиц и те, свернутые, заплетенные кольцами витушки, в которых нетрудно было угадать проклятых не один раз языческих змеев. Оленка, Пиша и несколько баб из дворни помогали детям завязывать в платочки сладкие пряники, шаньги и медовые коврижки. Один, маленький, впервые в боярском тереме, струсил, разревелся. Марфа подняла на руки, огладила по голове.

— Сопли-то распустил! — приняла платок, протянутый Пишей, утерла нос и зареванные глазки.— Как зовут-то тебя, добрый молодец, величают по изотчеству?

Мальчонка робко улыбнулся, потупился. Марфа сама уложила ему гостинцы в плат, перевязала получше:

— На, бежи! Да не робей вдругорядь!

С вечера второго дня уже заходили кудесы. Захлопали двери домов. Косматые фигуры в вывороченных шубах, в бабьих сарафанах, кто козелью — с козьей головой на плечах, кто лесовиком, кто медведем. Тряпки машутся, хрюкающие голоса, пляшут. Ну началось!

У Борецких ворота настежь. Одни, другие, третьи! Топот шагов по лестнице, стук в двери, слышно, как отряхают снег в сенях, облако морозного пара — и вваливаются новые. Одни других чуднее, толстые и тонкие, с рогами, хвостами и той еще украсотой, от которой девки закрываются и прыскают в рукава.

Оленка только забежит, схватит кусок пирога, на ходу опружит, обжигаясь, ковшик горячего сбитню — и опять вон из терема.

— Куды?! — окликнет Марфа.
— Мы кудесами!
— С кем-то?
— С Маней Есиповой да с Иришей Пенковой!
— Глядите там, парни изволочат!
— Ничо, Никита с нами!

А то явится со всею свитой домой. Смех, перешутки в задней горнице, и вот выходят: кто козой, кто толстой бабой — титки ниже пояса, кто бухарским купцом либо фрязином.

Федор от молодой жены и новорожденного тоже ушел кудесом. «Кого-то волочили, охальники; други ходят, как ходят, ну, снегом покидаютце, а Федор все не может по-людски. То задеретце с парнями, то девок задевать учнет — боярин!»

Маленькие кудеса забежали. Ну, то Ванятка, внук! Так и есть, по голосу признала, еще не умеет говорить-то по-годному.

— Ты в себя дыши-то, кудес!

Потом пришли хухляки с живым петухом. Девки сбежались. Петух, выскочив из коробьи, ошалело тряс гребнем, топотался по полу. Девки сыпали ему зерно — чье раньше будет клевать, та первее прочих замуж выйдет. Не выбрал-таки Оленкиной кучки! Ну, да и приметы не помогут, коли Тучин на уме!

На дворе тем часом — целое представление. Потешные медведи, великаны — по двое сидят друг на друге, иные на ходулях — целое действо разыгрывают — скоморохи, видать! Визг, смехи, шум. Тем кудесам выносили пива, одаряли и деньгами.

Не сошли со двора — новая ватага, прямо в горницу.

— Можно?

Пересмешки за дверью. Слышно, сбивают снег с валенок. Распахивается дверь и — наполнилась горница. Прыжки, блеянье, ржанье. Таких-то и не видали раньше! Марфа вышла, качала головой — ну и хухляки! Хрюкающие рожи тотчас окружили ее, пошли хороводом, вприпрыжку. Один толстый — сало лезет отовсюду, висит с боков, на ляжках по пуду, а брюхо-то, брюхо! Целая гора, в три пояса перепоясан, и то едва несет. И конец меж ног большой, бурый, наперед торчит, сраму-то! И тоже машется. Ну и ну! Марфа замахала руками, а толстый кудес кинулся на нее и поволок к задним дверям.

— Пусти! Да кто-таки?!

Марфа отбивалась, рассердясь уже не на шутку. Кудес пихнул ее за порог, приподнял плат с лица.

— Онфимья! — расхохотались обе.

Куда делась чинная боярыня, куда и шестой десяток лет!

— Дай посижу. Прикрой двери, а то увидят!

Онфимья свалилась на лавку, поправила сползающий живот.

— Квасу налей! Устала, годы уже не те... К Коробу ходили,

да к Фефилату Захарьину. У Фефилата гость-от, по говору московськой. Зашла тебе сказать. Ну, прощай!

Горошкова опустила плат и выбежала. Борецкая не успела расстроиться еще, как раздался ликующий крик Ванятки:

— Баба Марфа, иди змея смотреть!

— Змей, змей!

Все разом заспешили наружу. По улице, громыхая и пыхая пламенем из пасти, шел длинный, загибающийся вдоль заборов змей. Мальчишки восторженно орали, бежали по сторонам и сзади, стараясь наступить на волочащийся хвост. Змей весь светился изнутри. Хухляки в расписных, красно-желтых кожаных масках плясали вокруг него.

Змея сделало братство кузнецов, и потому железа на него не пожалели. Он весь был покрыт трепещущей жестяной чешуей, издававшей металлический звон и скрежет. На косматых, завернутых в овчины ногах змея виднелись длинные железные когти, клацавшие по наледенелым мостовинам. Сзади волочился извивающийся хвост. Голова со светящимися глазами и пастью поворачивалась из стороны в сторону, пасть щелкала зубами, раскрывая и закрывая железные челюсти. По временам из нее вылетал, раздуваемый ручными мехами, сноп огня, и тогда мальчишки, с визгом, кидались врассыпную. Встречные монахи и монахини плевались, крестились и шарахались от нечистого гада.

Олена Борецкая с подружками уже не раз наведывались к Тучиным то козой, то толстым купцом. У Григория все кто-нибудь гостебничал. Тут зашли — целая шайка столовая сидит да все знакомые: оба Михайловы, Ревшин, Савелков, Роман Толстой.

Иван Савелков — вот уж глазастый какой, и видел-то не один ли раз только. «Та-то к тебе не по один раз заходит,— говорит,— Оленка, должно!»

Олена выскочила, как маков цвет под платом. Савелков за ней. Скатились с крыльца. Визг, снежки, хохот. Подружки кинулись на Ивана гурьбой. Савелков валял девок в сугроб, с него сбили шапку, набили рот снегом. Отдуваясь, довольный, он катался в снегу сам, ловил то Иринку Пенкову, то Оленку, покатом возил по сугробу. Потом, отпустив девок, ворвался в горницу:

— Братва! Пошли и мы! Живо! Тащи шубы! Гришка, дай жонке от тебя отдохнуть! Ефим, с нами! Тряпки давай, каки есть! Кликни тамо — пущай принесут чего ни-то! Лапти есть ле?

Вскоре преобразившиеся молодые посадники гуськом спустились с крыльца. Впереди водяник, обернутый рыболовной сетью, за ним ведьма-кикимора и черт с рогами, с хвостом и кузнечными клещами в руках. Михайловы оделись один персидским купцом, другой — восточной бабой, в долгой красной рубахе и портках.

— Куда пойдем?

— А ко всем поряду! Вон в етот дом, тута бочар живет, Захар Ляпа, айда к нему! — предложил Савелков, выряженный чертом. Он высоко подпрыгнул и заблеял козой.

— Можно?

Посадники озирались из-под платков. Бедная утварь, брюхатая баба с маленьким на руках, сохнущие тряпки.

— Каки-то кудеса не простые? — признала по дорогому платью хозяйка.— Ай, бояра? Квасу нашего, репного, пожалуйте!

Улыбаясь, она поставила на стол глиняную корчагу и ковш. Сплясав и отведав репного квасу, друзья тронулись дальше, теперь к Есиповым...

И по всему Новгороду, морозному и уютному, в синей фате снеговой, с вырезными мохнатыми опушками кровель, над которыми шапками, как на лапах елей, нависает снег, искрящемуся инеем, сказочному, с желтыми, светящимися, как змиевы глаза, окошками,— смех и гам, хлопают двери и скрипят калитки, по улицам движутся удивительные фигуры, машутся рога и хвосты, и маленькие кудесы чертенятками прыгают через наметенные в межулках сугробы.

Марфа долго крепилась, но не выдержала тоже. После того как зашли с медведем и оказались знакомые купцы-плотничана, оделась сама. Ах! Морозный воздух, как купанье, холод, и так легко дышится, звезды над головой яркие, свежие. Вспомнить молодость! До свадьбы еще... Да и после хаживала! Не по Оленкиному бегала, кем ни рядились только!

А по улицам — олени, яги-бабы, шилигины с солнечно разрисованными лицами... Словно не скачут гонцы из конца в конец, подымая снежную пыль, словно не копится сила ратная, не куют оружие, не чинят брони, словно не собираются русские рати двинуться на русский же город, словно посольство Великого Новгорода не спешит из Литвы с подтверждением воли короля Казимира...

И во всех селах и городах Руси Великой в эти же дни ходят ряжеными, кудесами черный люд и купцы, бояре и смерды, и в Русе, и в Торжке, и в Твери, Костроме, Суздале. И на Москве в тот же час, когда Иван Савелков ведет свою ряженую дружину по льду Волхова на ту сторону, в Плотницкий конец, пляшущие хари врываются в терем великого князя, и Мария, вдовствующая великая княгиня, мать самого Ивана Васильевича, одаривает печатными пряниками, серебром и медом святочных гостей. И братья самого великого князя ходят ряжеными по знакомым боярским домам, и даже Иван не по-раз милостиво встречает веселых заходников.

Церковь запрещала бесовское каждение и личины, и хари,

но государь должен разделять народное веселье, и потому Иван не только не препятствовал святочным игрищам на Москве, но даже и сам отдал им дань, сходив к Ряполовским под личиною, в наряде крымского купца, неузнан. В прочие же дни святок он был занят с дьяком Степаном Брадатым, нарочно выпрошенным для этого дела у матери,— подбирал договорные грамоты и выписки из ветхих летописей и государева летописца, обличающие неправду «величавых мужей новгородских».

Никогда, кажется, так не гулял, не веселился святочный Новгород. Не сыпал так щедро серебро и веселье, словно предчувствуя, что это его последняя гульба, что больше не будет мирных лет, не будет беспечной бешеной удали и размаха разливанного, без конца и без краю, что найдутся скоро ему и край, и конец...

Не гуляли лишь лица духовного звания (не считая клирошан, веселившихся вместе со всеми), да еще такие убежденные противники язычества, как философы кружка попа Дениса.

Зайдя на святках к духовным братьям, Григорий был поражен тишиной. Здесь не молчали, а толковали и спорили, порою до страсти, и все равно впечатление было такое, словно святочный Новгород отсюда за тридевять земель, за синими морями, за высокими лесами. Разгульное пьяное веселье затихало у порога этого дома, не смея его переступить. И то, что отвращение духовных братьев от языческого лицедейства было не ложное, что этим людям не скучно, что их не тянет отай самих на улицу, внушало уважение. Глядя на похожего на Христа Дениса, вдохновенного Гридю, апостольские лица остальных, Григорий и сам немного застыдился своих недавних похождений с Савелковым.

Тут решались все те же вопросы бытия, веры, сущности бога и долга человечества перед вселенной. Поп Денис нашел какого-то ученого жидовина из свиты Михаила Олельковича, и теперь, приведя его к себе в дом, дотошно расспрашивал о книгах, числах, именах, а также о делах на далекой Волыни.

Схария, в шапочке на завивающихся седых волосах, в длинном своем одеянии, сидел прямо, пронзительно озирался, изредка поглаживая длинную волнистую бороду, видно, чувствуя себя здесь чужим и не совсем понимая, чего хотят от него эти убежденные христиане, осторожно рассказывал на волынском наречии, с неожиданными для русского уха ударениями в словах, о том, как живет у них, на Волыни, народ Израиля, в какой чести у литовского князя, коему от их купцов великая прибыль притекает, и как даже и в «Правде Волынской» законом русским оберегает их князь: «Аще убьет кто жидовина, то большую виру платит, чем за русина убитого».

— Будь вторым, но не первым, как Иосиф Прекрасный у

фараона, как Даниил у Навуходоносора, и тогда прославишь себя и род свой!

По уходе Схарии загорелся спор. Схария был уже не впервые у Дениса. По просьбе последнего, он даже приводил ученого раввина, Мосея Хануша, с которым Денис долго сидел над текстами Ветхого завета,— два философа двух враждующих религий, основывающих свои учения на одних и тех же ветхозаветных книгах,— проверял переводы священных текстов, а заодно свое знание древнееврейского, в котором был нетверд.

Гридя Клоч по уходе Схарии начал тут же, встряхивая косматою гривой, громогласно предостерегать Дениса от такой дружбы.

— Уже и так болтают, что ты в ихнюю веру перешел!

— К чистому нечистое не пристанет! — мягко возразил ему Денис.— Христос входил в домы грешных и беседовал с фарисеями!

Как раз взошла попадья. Под стать мужу: сухощавая, с бледным строгим лицом и опущенными уголками губ. Поставила квас, положила лук и ржаной хлеб на стол.

— Слышишь,— улыбаясь, спросил ее наставник,— тебя теперь уже не Овдотьей величают?

— Слышала уже! Невегласи и глаголют непотребное!— сердито отозвалась попадья.

Григорий знал, что Денис тайно перекрещивает своих приверженцев в «истинную веру», что уже пахло ересью, ибо то же самое делали когда-то стригольники, последователи Карпа-проповедника, и подумал, что зря, пожалуй, так беспечно относится Денис к нелепому обвинению, из коего при желании можно сделать невесть что, вплоть до снятия сана, церковной епитимьи и заточения в монастырь.

— А мне эта мудрость, быть вторым при князе, стойно Иосифу прекрасному, нравится! — возразил человек с темным одутловатым лицом, имени которого Григорий не знал до сих пор, поскольку все называли его просто «отцом дьяконом» или «братом».— Быть вторым при князе, его мыслью и рукою, и через него, именем князя воздействуя, просветить народ!

— То, брат, идея нам не гожа! — отмолвил рокочущим гласом Гридя Клоч, вздымая грубо-вдохновенное чело.— Там они, на Волыни, особый народ среди русинов, да ляхов, да литвы. Им христиане — чернь! И князь их за мзду от черни защитить должен, а мы кто среди народа своего? Помысли!

— Но с кем тебе ближе говорить,— возразил темноликий,— с мудрецом иной земли или с этими плотниками безмысленными, кои сейчас в личинах и харях пьяные по городу шатаются?

— Все одно! Мы — русские, и плотник тот — брат мой во Христе! Его же я и просветить должен светом истины, светом

любви! А какая ж то любовь, когда возвеличат тебя над прочими, и какое ж братство, когда сам ты унизишь главу перед князем?

— Кого ты сделаешь избранным, вот что скажи? — вмешался Назарий.— Гордость Иосифа в том, что он второй под фараоном. Но в своем-то народе он первый! И братьям что сказал? Все мы — един род, бог меня послал спасти вас! Ну, а станешь на место Иосифа ты, русский над русскими? Это уже совсем другое! И для тебя: ты уже нигде не будешь первым, только вторым! И для народа...

— А кого ты приблизишь к себе, того отторгнешь от народа своего! — поддержал Назария Гридя Клоч.

— Для всего народа должен быть один закон, для вятших и меньших! — продолжал Назарий с пылом и блеском в очах.— И ежели даже достойнейших возвысить нарочито, то не они, дак дети их на недостойное обратятце, но прав своих паки не отдадут!

Вопреки своим прежним словам, юноша подвойский начал посещать беседы братьев, ввязываясь в спор каждый раз, когда вставал вопрос о том, что же делать, дабы распространить истинное учение. Ибо, хоть Денис и полагал, что только личное подвижничество и пример праведного жития да домашняя беседа со взыскующими истины могут споспешествовать распространению учения (о сроках он не заботился, полагая, что и тьма лет лишь краткий миг перед господом), многие его приверженцы горели жаждою немедленных действий и всячески изыскивали пути стремительного продвижения в народ истинной веры.

Григорий, чтобы чем-то помочь духовным братьям, предложил оплатить покупку библейских книг у волынцев и, добившись, что Денис принял от него эти, довольно большие деньги, почувствовал себя немного в образе тех богомольцев, что дают вклады на помин души. Он от чего-то временно откупился, чего-то настоятельного, отнюдь не покупаемого за деньги, что требовали от него эти бедные мыслители, ничтожные числом и значением, затерянные в Великом Городе, сейчас полном святочною гульбой, но духом дерзающие решать судьбы народа, колебать престол церкви и доискиваться истинного смысла человеческого бытия.

Новгородское посольство воротилось из Литвы в конце святок, когда пешали Йордан, святили реку для будущего купанья в ледяной проруби, и жонки по всему городу выливали старую воду из кадей и ушатов, с приговоркою детям, хнычущим, что кончилось святочное веселье и боле нельзя рядиться кудесом:

— В той воде все хухляки потонули! Теперича до нового года жди!

Дмитрий приехал хмурый. Пока слуги внизу суетились, убирая коней, поднялся в верхний Марфин покой. Матери, заботливо и тревожно оглядывавшей обветренное, построжавшее лицо старшего сына, рассказал, оставшись с глазу на глаз, что Казимир был очень недоволен статьей, вставленной по настоянию Феофила:

— Мирить нас с князем Иваном ему вовсе ни к чему! Тож и от вельмож литовских слыхали. А еще бают, в Литве неурядицы, Рада враждует с королем, войско соберут ли еще, нет ли, не знать! А тогда мы ли за их спиной отсидимсе али они за нашей? Иван Кузьмин вызнавал: Казимир сына на угорский стол посадил, теперича угров замирить не может...

— Как ни то у них деетце, а в Новгороде пока Михайло Олелькович сидит! — ответила Марфа, успокаивая его и себя.— И договор заключен тобою, сын! — Она любовно огладила склоненную голову Дмитрия. У самой сердце сладко колыхнулось: так соскучилась по нему. Оба посмотрели разом в глаза друг другу, Дмитрий устало, но твердо, Марфа уверенно и светло.— В эту зиму Иван всяко уж войны не начнет! — присовокупила Борецкая.

После крещения Марфа отправилась объезжать свои вотчины. То же сделали и другие великие бояра, а также житьи, и с их дружинами весть об отложении от Москвы, еще не дошедшая до иных глухих углов, распространилась по всей обширной новгородской волости.

Февраль был вьюжный. Дороги перемело снегами. Кони бились в упряжи, проваливаясь по брюхо. Возок часто останавливался, и Марфа, неподвижная, закутанная в меха, сердито ждала, когда слуги дощатыми лопатами раскидают очередной занос и протопчут путь.

В Березовец приехали в потемнях. Старуха ключница, вглядевшись из-под ладони, всплеснула руками:

— Государыня ты наша светлая!

— Узнала, старая! — молвила Борецкая.

Старуха запричитала, бросилась к возку. Марфа ласково отвела ее рукой.

Нахолодавшийся господский дом еще не прогрелся, хоть его топили с утра. Было угарно, и Марфа велела подольше не закрывать вьюшек. Торопливо прибежал посельский.

— После, после!— отмахнулась Марфа.— С дороги каки дела!

Дом был родной, помнился с детства. Девочкой засыпала тут, в этой же горнице. Ссорилась с братом Иваном. Каталась на салазках с горок. Водила хороводы на троицу. Ловила раков

с мальчишками, скакала верхом... Много летов минуло с той поры!

С раннего утра осматривали хозяйство. Боярыня сама заходила в избы, расспрашивала мужиков, считала кули, холсты, кожи. На выбор открывала бочки с грибами и рыбой, пробовала мед. По локоть запускала руки в зерно — не влажное ли? Осмотрев все, за одно похвалив, на другое выбранив, спросила:

— Хлеб когда повезешь?

— Думаю, весной! Как обычно, по реке сплавим...— переминаясь, отвечал посельский, не зная, к чему такой и вопрос.

— Зимой вези! — жестко приказала Борецкая.— Не жди! И скору, и холсты. Ко мне, в Новгород. Оброк тоже нынце соберешь! Тута ницего не оставляй! — Она оглядела строгими глазами посад — стояли на высоком крыльце хлебного амбара,— показала кивком: — Гляди, городня похудилась! Отправишь обозы, порозные пойдут — пусть везут камень и бревна. Снег обтает, начинай городить, поспеши!

— Отсеемся...

— До сева! Старостам накажи.

Посельский смятенно взглянул на боярыню, наконец-то уразумел — неужто? (Слыхал уже, да о сю пору все не верилось!) Неужто... И удержал вопрос. Марфа строго свела брови:

— Умедлишь, на себя пеняй!

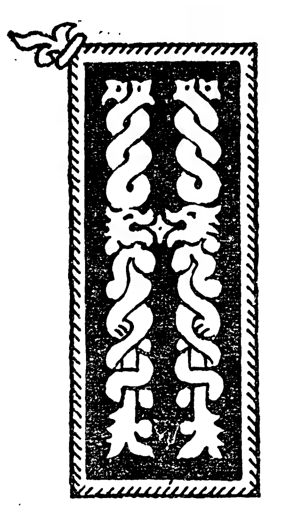
— Исполню, государыня!

Поклонился посельский, а сам аж взмок: жена, дочь... Пропадут ведь! Неужто, неужто война с Москвой!

Назавтра санный поезд Борецкой тронулся дальше.

Как прежде, несмотря на розмирье, шли санные обозы на Москву, Тверь, Устюжну и Вологду. Как прежде торопились в Новгород, к весеннему торгу, «низовские» и восточные купцы и, как прежде, как было уже не раз, новгородцы крепили Молвотицы, Стерж, Демон, Мореву. Но уже не распоряжались их наместники в Торжке, который лишь значился теперь за Великим Новгородом, и уже многие села и погосты под Торжком и Божецким Верхом, уступленные и проданные новгородцами, заводили на себя московские бояра. Но все еще это был Великий Новгород, охвативший своею волостью весь север страны, до Югорского Камня; одержащий десятки тысяч деревень, сел, рядков, крепостей и посадов, с сотнями тысячей черного народа — крестьян, купцов и ремесленников, с лесами, реками, озерами и морями; простерший на многие дни пути во все стороны, властительный и богатый. Город, который хоть и не мог уже, как древле, ставить киевских князей на престол и сокрушать суздальские рати, но от решения которого — к Москве или к Литве присоединиться — и сейчас еще зависели, на столетия вперед, судьбы Руси Великой.

ГЛАВА 13



а святках загорелось за Фроловскими воротами, под Кремлем, в ремесленной слободе. Пожар начался в исходе ночи. Огню не дали ходу, кинулись, не мешкая. У всех был памятен августовский пожар, слизнувший пол-Москвы. Сам великий князь явился с дворянами и тушил огонь своими руками. Быстро раскидали два обывательских дома, что уже начинали угрожающе дымиться, не глядя на плачущих баб с зареванными детьми, бестолково суетившихся под ногами, спасая тощие пожитки. Крючьями растаскивали пылающие бревна, цепью с ведрами выстроились от Москвы-реки, подавая воду, и пламя, поплясав и пометавшись, сникло, окуталось чадом, высылая там и сям разрозненные длинные языки. Их заливали, затаптывали сапогами, стараясь перед лицом великого князя выказать особое усердие.

Иван любил тушить пожары. Любил неопасную опасность жара, веселого пламени, горького дыма, искр, прожигающих платье, завораживающий блеск огня. Любил следить, как сникает пламя, как взметываются и опадают непокорные языки-лизуны и пчелиные рои светящихся искр — любил укрощать стихию. Сильными руками он ловко орудовал крюком, морщась от жара, бил мокрой метлой, не глядя на дворян, кидавшихся аж в огонь перед ним, чтобы защитить государя. Приятно было бить по огню. Искры летели врозь испуганным роем, змеиные головы пламени корчились, как от боли, и шипение черного дерева, окутанного паром, было словно шипение укрощаемого гада.

В этот раз Ивану даже показалось мало огня. Он не ощутил той приятной усталости, которой требовало его молодое, сухощаво-подбористое сильное тело с буграми мышц, вынужденное к долгой неподвижности великокняжеских приемов, званых трапез и многочасовых молебствий, усталости, от которой чувствуется тяжесть рук и просторность широких плеч и от коей прямее сидишь на коне.

Впрочем, для его деревянной Москвы безопаснее, чтобы вообще не было пожаров.

Пока возились с огнем, рассветало. Шафранно-желтою полосою по окоему неба означился близкий восход. Громче кричали галки, тучами реявшие над Кремлем, и воробьи, крылатые обитатели торга. Поднявшийся с зарею ветер нес от заречья тонкий запах хвои и сена, и казалось, что пахнет весной. Ивану подали коня. Он безразлично миновал глазами радостно-угодливую рожу стремянного, с пятном сажи на щеке, неторопливо уселся в седло и еще раз оглянулся на дымящуюся черноту, которую смерды продолжали закидывать снегом, на море крыш Китай-города, с острыми верхушками шатровых бревенчатых храмов, возвышенными кровлями боярских хором и голыми прутьями садов над заборами, на заречные далекие красные боры, с резкой ясностью подумав о том, важнейшем, что предстояло решить сегодня («Новгород!») — и шагом тронул коня вверх по косогору, мимо просыпающегося, как потревоженный муравейник, московского торга, что широко раскинулся под стенами Кремля и по берегу Неглинной (и откуда уже бежали опоздавшие зеваки, торопясь поглядеть на государя) к белокаменным башням крепости.

Башни эти уже давно не блистали белизной. В мягкий, кое-где покрошившийся камень въелась несмываемая копоть пожарищ и сажи из труб ремесленной слободы. Полустертые черные смоляные потоки напоминали об осадах крепости Литвой и татарами, победах и поражениях, когда город сдавали и сплошной пожар бушевал не только вокруг, но и внутри кремлевских стен, черня и прожигая их белый известняк. Приречные каменные городни начинали заваливаться, и по башне около ворот тоже прошла большая трещина, лишь недавно замазанная по его приказу. Внутри этого каменного, построенного Дмитрием Донским, прадедом Ивана, скорее грязно-серого, чем белого Кремля, лепились, буро-черные под снегом, нагромождения деревянных бревенчатых хором и палат великокняжеских, митрополичьих, боярских, приказных, а также клетей, изб, караулен, амбаров, житниц, тюрем, поварен, погребов, медоварен, конюшен, соколен, псарен и прочих деловых и жилых сооружений, среди коих был и золотоордынский посольский двор. Иван все еще не выселил нежеланных гостей из Кремля, хотя распоряжаться, как встарь, они уже давно не смели. Массы народу, мирного и оружного, кишели и сновали среди этих построек с гульбищами, резными крыльцами и островерхими кровлями, либо приземистых с пудовыми замками на массивных тесаных дверях.

Среди бревенчатого моря кремлевского виднелись всего два-три скромных белокаменных храма. Небольшой одноглавый Успенский собор, выстроенный полтораста лет назад Иваном

Калитой по просьбе митрополита Петра, и грозящий рухнуть, со сводами, подпертыми «древами толстыми», о перестройке которого велись неотступные разговоры с митрополитом. Княжеская Благовещенская церковь, в которую проходили прямо из палат великокняжеских, отстроенная дедом Ивана, но тоже уже обветшавшая. Храм Михаила архангела, выстроенный также еще Иваном Калитой, с гробницами князей великих, и тоже зело ветхий. Вот почти вся каменная украсота тогдашнего Кремля. На месте позднейшей величественной колокольни Ивана Великого стояла маленькая каменная церквушка Иоанна Лествичника, возведенная все тем же Калитой. Каменные палаты были только на митрополичьем дворе — строительство покойного митрополита Ионы, двадцатилетней давности, уже пострадавшие от пожара, с церковью Ризположения при них.

Не было ни шатровых наверший, взлетающих над башнями, ни гордо плывущих золотых глав позднейших величавых соборов. Все это пышное строительство было еще впереди и в голове Ивана, который сейчас, озирая серые стены, привычно думал о том, что пора бы заменить обветшавшую крепость новой. Да и каменные палаты для себя пора соорудить! Город полнился добром. Амбары ломились овсом, рожью, пшеницей, мукой разного помола, крупами — гречей, пшеном, ячменем, толокном, солодом. Два житных двора, городовой и княжеский, вмещали кремлевские стены. Тысячами пудов исчислялись запасы соли, масла, кислых и сметанных сыров, сырого и вареного меда. Тысячами бочек — белужина, сиговина, щучина, стерлядь, мокрые осетры пупки, осетры шехонские и косячные, семужина, сельди, снетки, зернистая и паюсная икра. Десятками тысяч исчислялись меха: шкурки белок, горностаев, куниц, рысей, бобров, соболей, лис, волков и медведей. А сколько казны, сукон, дорогого товару, седел, сбруи, оружия! Все чаще являлись в Москву послы из земель западных, где, передают, каменных палат в городах множество. Не слабнет и угроза ратная... Да и без того чуть не ежегодно выгорающая Москва требовала более прочных, не так легко обращающихся дымом строений. Митрополит Филипп молил воздвигнуть новый, приличествующий стольному граду храм Успения Богоматери. На храм нужны были деньги немалые... Так же ли митрополит Петр в свое время молил Ивана Калиту заложить вот этот, подпертый древием храм? Митрополит уже видит в мечте новую церковь, схожую со знаменитым Владимирским собором, строительством Андрея Боголюбского, Юрьевича, Мономашьего внука. Сам же Иван еще не знал, каким будет его Кремль. Не знал даже, белокаменным или иным, и видел привычно белокаменным. А Кремль, когда пришел срок отстраивать новые стены, стал краснокирпичным, и только в песнях упрямо продолжал зваться белокаменным, бе-

локаменною Москвой. И уже в новом обличьи продолжала затем Москва расти в небеса и украшаться шатровыми завершениями башен, из крепости превращаясь в сказку, невиданную и неслыханную прежде. Но гусляры не замечали цвета кремлевских стен и башен. Песня своевольна. Она забудет гордую славу полководца и запомнит безымянного добра молодца, погинувшего в степи. Новый Кремль стал окаменевшею волей самодержавия. В песнях остался прежний, что был выстроен на взлете народной мечты, воплощенной в ликах Андрея Рублева, при Донском, и простоял в бурях осад и нашествий до дней окончательной победы над Ордою, объединения страны и утверждения единовластия Ивана Третьего.

Воротясь, Иван умылся и переменил платье. К новгородским делам, как он собирался с утра, сразу приступить не удалось. Надо было принять и расспросить казанского посла. Царь Обреим, кажется, вновь грозил выйти из повиновения. Затем его просила быть у себя мать, Мария. И он, оставя все дела, тотчас отправился к ней.

К матери Иван относился с подчеркнутым, почтительным уважением. Советовался о всем, хоть и решал дела своею волею. Никогда ни словом, ни жестом, ни хмуростью бровей не выказывал ей неудовольствия или ревности, когда она привечала и дарила, в ущерб ему, любимца своего, Андрея-меньшого, младшего из пяти сыновей покойного Василия Темного.

Скупой на земельные пожалования, не столько даривший, сколько прибиравший к рукам вотчины удельных князей, Иван матери своей делал крупные подарки землями. Впрочем, то были дары в одной семье, которые должны были воротиться когда-нибудь к нему же. С родными братьями уже был заключен ряд о престолонаследии и нераздельном праве старшего на великокняжеские земли. Не следовало допускать того, что произошло при деде: не добился крестоцелования от брата Юрия, и пошла резня. На всю жизнь запомнил Иван тогдашнее ночное бегство к Ряполовским из Троицкого монастыря, где Иван Можайский у гроба Сергия чудотворца схватил их отца, тогда же и ослепленного злодеями. Бегство ночное, непонятное, суматошное. Ивану шел всего шестой год, и они с братом не понимали, ни почему, ни от чего бегут, ни где их отец, великий князь. Бежали под Юрьев, в вотчину Семена Ряполовского, сельцо Боярово. И запомнились тревожные дни потом, и странные лица холопов — с тех пор он никогда уже не видел таких лиц, лиц, рождающих смутный ужас. И когда впервые узрел слепого отца, сильного, большого, а тут исхудавшего, безглазого, жалко подымающего голову, прислушивающегося к шагам. Его быстрый гнев от бессилия сделать самому потребное. Как он руками ощупывал их и Иван сдерживал себя — хотелось убежать, спрятать-

ся — отец убеждался, что это они, его дети. Потом привыкли понемногу. И Василий научился держаться слепым. Не спотыкался о пороги, спокойно шагал, когда вели под руки, величественно слушал в думе, не волновался так от стыдных мелочей. Еще и за то Иван уважал мать, что она все делала, чтобы смягчить отцу тягостное его состояние.

Незадолго перед смертью (Иван ненароком подслушал этот разговор) отец спрашивал мать домашним своим голосом, не тем, которым говорил с боярами, а другим, тихим и беззащитным: «Как выгляжу? Остарел? Страшной, поди?» И мать отвечала: «Для меня ты всегда хорош!» — и добавила, с ласкою, любовно: «Старый мой!» И не пожалела ведь, не обманула, а нашла, как отмолвить лучше всего. Иван поскорей отошел от двери покоя... И за ту ласку душевную, подслушанную ненароком, уважал он ее больше всего.

У матери Иван пробыл долго. Решил, не откладывая, семейные дела, из которых мать и позвала его к себе (опять, как и думал, долги Андрея-меньшого!), трапезовал у матери, в ее личном покое, чем-то напоминающем келью. От матери и пахло нынче по-келейному, кипарисом и ладаном. Небольшая, чуть огрузневшая, с внимательным взглядом светлых, окруженных сеткою мелких морщинок глаз, Мария, вся в черном,— так ходила после смерти Василия,— неспешно распоряжалась за столом тихо сновавшею прислугой, сама плавными сухими руками наливала, подвигала старшему сыну блюда. Иван оглядывал изредка тесный материн покой, пристойно уставленный дорогой утварью — мать, его заботами, не должна была нуждаться ни в чем (даже свой полк со своим воеводою имела вдовствующая великая княгиня). Поблагодарил мать за Брадатого. Ученый дьяк находился после смерти отца при дворе вдовствующей великой княгини и был лишь недавно уступлен ему матерью, нарочито ради новгородских дел.

— Степану верь! Он родителю твоему помогал противу Шемячичей! — отмолвила Марья.— И Ряполовским верь! — прибавила она, погодя.

Иван промолчал. Ряполовские начали слишком возвеличивать себя в последние годы.

— Данило Холмской хочет в воеводы на Новгород! — сказал он, помедлив.

Холмский был принятой, из тверян. Впрочем, мать тоже из Твери родом! Отталкивать принятых нельзя было, но и привечать в ущерб своим опасно. Мария поняла с полуслова:

— А ты и его и Стригу пошли! Чать не зазрят!

Совет был разумным. Тем паче, что Стрига-Оболенский уже ходил на Новгород, при отце, пятнадцать лет назад.

Иван спрашивал, отвечал неспешно, но сам, как и в прежние

посещения материнского терема, испытывал двойственное чувство. Тут он был сыном, хоть и старшим, тут, и только тут, с него слагалось на время бремя великое — бремя быть первым после бога лицом в государстве русском. И вместе с тем именно тут он не мог, не вправе был забыть о своем великокняжеском достоинстве. Не мог из-за братьев, связанных договором, отдающим в его руки всю полноту власти, но равноправных с ним здесь, за сим столом, перед лицом этой старой, опрятной, строго-внимательной женщины, их общей матери. И потому, принимая блюда, стесненно склоняя голову, взглядывая изредка в заботливые глаза Марии, Иван все не мог полностью распуститься, ослабиться, не мог даже здесь позволить себе побыть просто сыном, а не великим князем и государем Московским.

Едва Иван воротился к себе, его отвлек юный княжич, Иван Иваныч, прискакавший с двухдневной охоты со свитою осочников, стрельцов, трубников и выжлятников.

— Батя! А мы трех волков затравили! Матерых! А ты опять пожар тушил?! — воскликнул княжич, подбегая к Ивану и с восхищением заглядывая ему в лицо.

Ясные серые материнские глаза покойной, тверянки Марии, разгоревшееся на холоде лицо. В его возрасте, двенадцати лет, Иван ходил походом в новгородские пределы, на Кокшенгу, с татарским царевичем Ягупом против войск Дмитрия Шемяки. Рослый сын, в отца. Стройный, красавец!

Еще и потому нравилось тушить пожары, что этим Иван, не любивший ратных трудов и никогда сам не кидавшийся в бой, как то делали отец и прадеды, все же казался храбрецом в глазах сына.

Пришлось выйти, посмотреть добычу. Волки были добрые, особенно один хорош: с седым загривком, толстыми лапами и оскаленной в смертном усилии пастью, способной враз перекусить руку. Пришлось и одарить, ради сына, охотников, разом поснимавших шапки перед государем.

Все это время Степан Брадатый ждал с подготовленным докладом. Ради такого дня он особенно гладко зачесал и умастил маслом свои серебристые волосы и был в новом, застегнутом на все пуговицы терлике, над коим потрудилась вчера вкупе с прислугою сама Степаниха, Агафья Петровна, дебелая супруга Брадатого, гордая не менее его самого тем, что муж будет делать доклад государю. На досуге, чтобы не сидеть без дела, он продолжал сверять владимирский летописец с летописцем Великого Новгорода — работа, начатая им уже два месяца назад, — и подторапливал младших дьяков, переписывающих набело нужные для государя грамоты. Они уже дважды прерывались для трапезы, но и тогда были готовы ежеминутно схватиться за дела. Горница, где разместился Брадатый с подопечными, нахо-

дилась в палатах самого великого князя, и Ивану достаточно было, не одеваясь, пройти висячими переходами, чтобы нежданно оказаться перед ними. Поэтому и трапезовали с береженьем. Степаниха, предвидя долгую отлучку мужа, послала с ним холодной севрюжины, туесок с медовым взваром, нарезала хлебцы, заранее намазав маслом, чтобы все легко было, разложив на полотенце, тут же, свернув, и спрятать назад, буде послышатся шаги государя. Младшие дьяки ели особо, разрывая зубами и запивая квасом сушеного леща, но также готовы были тотчас скрыть следы трапезы и, обтерев персты о волосы, принять вид достойный.

Тридцатилетний великий князь и государь Московский, Иван Васильевич, Иван Третий, правнук Дмитрия Донского, никогда не был в Новгороде. Не видал его изображений, которых в ту пору еще не существовало. Более всего он представлял себе Новгород по рассказам братьев и еще из грамот, летописей, посольских дел. Но такое знание зыбко, бесплотно, непредставимо и легче всего подвергается мысленным искажениям. Самым точным сведениям грамот всегда не хватает образной зримости. Новгород для Ивана был не столько живым городом, сколько целью, идеей, замыслом, ждущим своего разрешения.

Он прошел по крытым переходам. Дьяки, заслышав его шаги, встали и, стоя, низкими поклонами приветствовали государя. Он ответил им легким наклонением головы и сел в прямое четвероугольное резное кресло, с удовольствием сдавив сильными пальцами гладкие навершия подлокотников, потребовал грамоты. Решенную войну с Новгородом мыслилось оправдать в глазах всех, кто имел власть и право участвовать в решении судеб государства. Также хотелось выяснить, наконец, почему во время похода на Новгород лета шесть тысяч шестьсот семьдесят седьмого были разбиты войска Андрея Юрьевича Боголюбского?

Степан Брадатый начал подавать ему списки, властно принимая их из рук младших дьяков, которые в присутствии великого князя совсем уничтожились, и с почтительным подобострастием передавая Ивану. Во-первых, Яжелбицкий договор Василия Васильевича, заключенный после победы над новгородцами в последней войне, где были красною чертою выделены великокняжеские требования, принятые новгородцами. Затем двинские грамоты за двести лет: соглашения о землях и промысловых угодьях Андрея Александровича, Ивана Калиты и Дмитрия Донского; уставная грамота Двинской земле Василия Дмитрича, деда. Эта была особенно важною. В ту пору двиняне передались великому князю, сами передались, и если бы не решительный и, к несчастью, победоносный поход новгородцев... Он потребовал список великокняжеских владений на Двине, уже известный ему почти наизусть, и судные списки

двинских дел поземельных. Ясно было, что, например, Кевролу, а также Чаколу с прилежащими землями можно считать своей.

— Все ли «Сказки» подали, кто из москвичей противу новгородцев по суду на землях и на водах искал?

Брадатый молча протянул следующую грамоту.

— Выписки из судной грамоты, что показуют неправду суда их...— Брадатый протянул столбец, даже не дослушивая великого князя.

Тут — старина. Суд княжой был воистину утесняем противу прежних времен, когда княжеский наместник стоял выше посадника, и печать была при грамотах князей великих, а не одна новгородская, Великого Новгорода, как повелось у них нынче. В суде он волен требовать того, что принадлежит ему по старине, по праву. В конце концов можно даже и всех двинян рассматривать, как подданных... Вернее, как изменников великому князю! Он задумался, и Брадатый с подопечными замерли на своих местах, не шевелясь. Потом попросил договорную грамоту Дмитрия Донского с Новгородом и еще раз внимательно перечел место, где говорилось о союзе и совместной борьбе с общими врагами, Литвой и Тверью. В первую очередь с Литвой... Иван нахмурился: возможно ли считать новгородцев отступниками? Брадатый, как будто читая в мыслях, подал ему грамоту, оплаченную кровью серпуховских детей боярских (их били кнутьем, резали руки, ноги и носы, иным отсекали головы). Грамота та была соглашением Ивана Андреевича Можайского и Ивана Васильевича Серпуховского — заклятых ворогов Ивана, бежавших в Литву. Восемь лет назад, при отце, был раскрыт заговор, изменники мыслили освободить из затвора князя Василья Ярославича. К счастью, Володю Давыдова, что вез грамоту, успели перехватить. Степан Брадатый, конечно, считает, что этой грамоты достаточно, чтобы обвинить в измене заодно и новгородцев. Если бы только и все так считали! Князь Василий Ярославич, троюродный дядя Ивана, что сидит пятнадцатый год в затворе, спасал отца после ослепления. Лучше не ворошить этого дела! Василий Ярославович жив и все еще не собирается умирать, и даже помочь ему в этом, как помогли Шемяке, опасно.

Он начал спрашивать, Брадатый отвечал. Иван внимательно смотрел на дьяка своим пристальным, пронзающим взглядом, взглядом, которого трепетали многие, а иные даже не могли вынести. Но тот, преданно взирая на государя, говорил ясно, спокойно, гладко и явно ничего не скрывал. Обратились к прошлому. Брадатый не мог понять, почему Иван так подробно расспрашивает, вновь и вновь к тому возвращаясь, про чудо с иконой «Знамение Богородицы», коему новгородские летописцы приписывали разгром суздальских войск.

Некоторых действий великого князя Брадатый вообще не понимал. Так, он был уверен, что боярское звание не заставит Дмитрия Борецкого отказаться от своих планов, и так оно и произошло. Но Иван не казался рассерженным или обманутым. Обычное спокойствие в делах не покидало государя.

Кое-кого из старых советников гневливого и скорого на решения покойного Василия Васильевича приводило в недоумение рытье молодого князя в архивах. Покойный отец Ивана не стал бы собирать грамоты, считывать тексты старых договоров, искать по летописям, правы или нет новгородцы, а просто еще этою зимой двинул войска на Новгород, вернул княжьих наместников на Городище и взял окуп с непокорного города.

Подобных недоумений у Брадатого, впрочем, не было. Законник и знаток летописей, он от своей нынешней работы испытывал подлинное наслаждение. Ему хотелось бы только, чтобы государь больше полагался на его, Брадатого, таланты и усердие. Но Иван упорно собирал и перебирал грамоты, сам считывал летописи, не доверяя вполне и Брадатому, советовался с воеводами, никого не слушая полностью, а всех в какой-то мере, применяя их мнения к своим, никому не высказываемым мыслям.

Иван обладал свойством, которое на позднейшем усложненном русском языке стали называть целеустремленностью, и драгоценное это свойство, подкрепленное всем развитием Московского государства, счастливо миновавшего полосу междоусобных войн, начинало давать свои плоды.

Он был скуп, вернее бережлив, от рождения. Наследственная черта, от Ивана Калиты идущая, передалась ему в полной мере. Так же, как учитывался родителями тот золотой пояс, из-за которого возгорелась война с Шемячичами, учитывались им самим наследственные и приобретенные дорогие одежды, пояса, кубки, ларцы, кресты. Но по мере того, как беднели, залезая в долги, удельные князья, богател великий князь московский. И уже выстраивались в кладовых ряды золотых и серебряных ковшей, кубков, чаш, блюд, овначей и стаканов, множились ларцы костяные и кованые с золотом, кружевом, лалами, яхонтами, мелким гурмыжским и крупным новгородским жемчугом... Уже он сам не вдруг мог припомнить все шубы, терлики, опашни, кожухи, вотолы, саженые жемчугом, крытые атласом и лунским, ипским или скарлатным сукном, на соболях, бобрах, куницах, горностаях, кочи с узорами «из великих кругов по бархату», цепи граненые на три грани, сквозные, сканные и черненые... Все шелковые женские летники с вошвами из синего, черного и багряного аксамита, из зеленой камки с золотом, и отделанные парчой меховые и крытые сукном кортели, все белые, рудо-желтые, зеленые и черевчатые шубки, камчатные, алые, белые и малиновые сорочки, взголовья и подушки из мисюрской камки, все

атласные одеяла, ожерелья, цепочки, рясы, серьги, чарки и золотые кресты покойной жены.

И уже вещи от множественности своей начинали приобретать иное значение. Среди них выделялась своя знать — наследственное, неотторжимое имущество великого князя. «Золотой крест Парамшина дела с цепью» и крест чудотворца Петра, наследственно передаваемая «золотая икона на изумруде», древний цареградский кубок. И уже «сардоничная коробка»— переходивший из поколения в поколение сердоликовый ларец,— стал ларцом самого римского кесаря Августа. Золотые оплечные бармы — бармами византийских императоров. А золотая шапка арабской работы, подаренная ханом Узбеком Ивану Даниловичу Калите, превратилась в шапку Владимира Мономаха, будто бы привезенную ему вместе с бармами в дар от кесаря цареградского.

Читая в летописи жития Владимира Святого, крестителя Руси и Владимира Мономаха, Иван ревниво сравнивал себя с ними. Золотой киевский стол имел величие, которого до сих пор недоставало Москве — величие древности, величие, в котором даже мятежный Новгород обгонял столицу Ивана. Киевские князья свободно роднились с кесарями Византии, и мысль о греческой царевне из дома византийских императоров подспудно зрела в уме целомудренно вдовствующего четвертый год государя (мысль эта, впрочем, начала уже и воплощаться, пока — в виде переписки о невесте с римским папским престолом).

Скупость переставала быть скупостью и уже почти становилась величием.

Скупость в раздаче земель, которые Иван давал только в службу и под условием службы, никогда не даря в вотчинное владение, превращалась в правило государственной мудрости. И толпы боярских детей, получивших землю в условное держание, составляли все более грозную силу одетой в броню дворянской конницы.

Ссужая деньги взаймы братьям, выплачивая татарскую дань за нищающих удельных князей, Иван постепенно прибирал к рукам их земли, готовясь к тому, чтобы и вовсе уничтожить уделы. И точно так же кропотливая возня с новгородскими грамотами нужна была ему как основание замыслов не только нынешних, но и грядущих, загаданных на годы вперед.

Наступил черед приготовленного Брадатым доклада. Старший дьяк пригладил свои и без того гладкие волосы, не без торжественности разложил рукописание и начал читать ровным бесстрастным голосом книгочия, зарывшегося в харатьи пожилого мирного человека, голосом, нарочито приноровленным им к обычной и, как он уже понял, зачастую обманчивой сдержанности молодого государя, имевшего обычай переспрашивать, казалось бы, досконально ясное.

— «Новгород издревле был за великими князьями и детьми их! Владимир святый, иже крести всю землю Русскую, держал Новый Город сынми своя, Вышеславом, а после Ярославом. Сей же Ярослав Великий мудрый, иже книжному научению спопешествова, и прослави Русь по всем землям, держал Новгород честно и грозно, и двор его Ярославов до сего дне прозывается, где сии высокоумные мужи новгородския злонеистовое вече свое держат!»

Брадатый посмотрел исподлобья, остро, на князя — не морщится ли? Нет. Иван слушал внимательно.

— «Кивают на Ярослава, а он и сам там не жил, како по богоотступному их закону надлежит, а наместники своя держал. И Констянтина Добрынича казнил за измены по воле своей: вывел, заточив в Муроме. И суд правил у себя, а не в Новгороде, не по их закону лукавому. По смерти же Великого Ярослава на киевском столе сел Изяслав, старейший, и Новгород в его руце был неотступно. И паки, и паки тако же: кого Русская земля, того и Новгород!»

Мерным голосом Брадатый перечислил князей, сменявших друг друга на столе великокняжеском, вплоть до Владимира Всеволодича Мономаха.

— «Сей же созва к себе в Киев на суд боляры новгородския и кого роте приведе, а кого оковаше в оковы и поточи в Киеве. А они, мужи новгородския, на грамоты Ярославли указуют, дак то опосле Ярослава было! И затем посади Мономах в Нове Городе на столе сына своего, Мстислава, а сей, выйде Киеву, остави на столе своего сына, Всеволода Мстиславича».

— Его и выгнали?

Брадатый твердо выдержал взгляд государя. Ответил, опуская очи к грамоте:

— С того отступления пошли беды вся Новугороду! Но и паки же, суздальстии князи держали Новгород своими сынми, и великий князь Юрий Владимирович Долгорукий, и сын его, Андрей Юрьевич, иже по селу своему излюбленному Боголюбским прозывается.

— Но его полк и разбит под Новым Городом заступничеством иконы «Знамения Богородицы». «...И продаваху суждалец полоненых по две ногате»,— отчетливо перебил Иван, повторив летописную строку.

Брадатый осклабился, покачал головой, осторожно возражая. Руки его протянулись к толстой книге. Он, не глядя, разогнул листы на заложенном месте, близоруко щурясь, отыскал нужное, приговаривая:

— В летописце харатейном инако сказано...— нашел и прочел внушительно, даже перстом указуя: — Сказано! «Не глаголем же, прави суть новгородцы, но злое неверствие в них вко-

ренилося крест ко князем преступати, и княжи внуки и правнуки обесществовати и соромляти, а крест честный к ним целовавше, преступати. То доколе господеви терпети над ними! За грехи навел и наказа по достоянию рукою благоверного князя Андрея».

И паки о том же!

Посуетившись, Брадатый нашарил шитую шелковую заложку, поднял и разогнул другую книгу, в тяжелых, черною кожей обтянутых досках, с медными чеканными наугольниками.

— Писано, яко за три лета до того было знамение в Нове Городе, в трех церквах плакала икона «Святая Богородица», моля сына отвратить пагубу от Новгорода, дабы Христос, царь наш небесный, не искоренил бы их, как Содом и Гоморру, до конца, наказал, но помиловал, зане христьяне суть. Глаголет Давид: «Наказая, накажи мя, господи, а смерти не предай мене!» Тако и сия люди новгородские наказал бог, смиряя до зела за преступленье крестное и за гордость их. Навел рать, но и милостью своею избавил град их от погубленья конечного.

Брадатый заложил опять книгу и выпрямился, довольный собою. Но Иван хмуро глядел на дьяка, не возражая более, но и не соглашаясь с ним. Сказал коротко:

— Чти!

Степан Брадатый, объяснив Липицкий разгром суздальских войск братними раздорами князей, добрался, наконец, до «Святого благоверного доблестного князя Александра Ярославича Невского».

— «И земли тогда были его, княжеские, что нынче отошли овые к владыке, иные монастырям ли бояром высокоумным и дерзким. Александр Ярославич брал села и пожни под себя (при этих словах Иван согласно склонил голову), посуживал грамоты, суд вершил по своему князеву слову, в Торжке и Волоке закладников принимал, взял себе Терьскую сторону, посылал туда даньщиков княжих, а Новгород давал им подводы на путь. Непригоже тебе, государь, того отступатися, что пращур твой, Александр, держал! «Беша бо новгородцы человеци суровы, непокоривы, упрямчивы, непоставны. Кого от князь не прогневаша, или кто от князь угоди им? Аще и Великий Александр Ярославич не унировил им! И аще хочеши распытывати, разогни книгу: «Летописец Великий Русский» и прочти от Великого Ярослава и до сего дни!» И такоже он, пресвятой великий князь Александр Невский, медоточивых речей папы Иннокентия не прия и веру православную сблюде. Немцы разбиша под Копорием, а изменников, переветников, извеша!»

Брадатый взял летописец и перечел с видимым удовольствием. Слово «извеша» (перевешал) подчеркнул голосом и взглядом, но Иван оставался бесстрастен. (Не в отца! Вешать, ве-

шать их надоть, а он молчит!») Брадатый вздохнул и вновь принял тон бесстрастного повествователя.

Прослушав доклад до конца и сделав несколько поправок, которые Брадатый тотчас записал, чтобы переработать текст в точности по указаниям государя, Иван вновь возвратился к злосчастному разгрому суздальских войск трехсотлетней давности.

«Неужели он боится?» — вдруг подумалось Брадатому, и мысль эта, тотчас упрятанная им куда-то на самое дно сознания, была приятна. Она чем-то сближала, уравнивала, делала государя более понятным, давала ему, Брадатому, некую тайную власть над молодым великим князем, власть, проистекающую из возможности почтительного, с глазу на глаз, ободрения. Все-таки он, Брадатый, старый советник отца великого князя! Его заботою прекращена тридцатилетняя усобица с Юрьевичами, погашен этот факел раздоров, и прах беспокойного Дмитрия Шемяки с той поры мирно покоится в Юрьеве монастыре под Новгородом... Понятия греха, так же, как и личной ответственности в делах подобного рода, у Степана Брадатого не было, ибо ответственность и грех, буде они есть, целиком ложились на плечи московских князей великих. Его же, Брадатого, назначение — исполнить, а иногда — подсказать, оставив решение опять же на волю и совесть великого князя. И этою своей малозаметной, хоть и важною деятельностью при государях Брадатый гордился более всего. Она чем-то возвышала его над тщеславной храбростью воевод и самолюбивой мудростью думных бояр великого князя, многих из которых Брадатый весьма не любил. Он был рад, когда этот выскочка, Федор Басенок, в борьбе, начавшейся после смерти Василия Васильевича, потерял очи. С тех пор молодой государь крепко забрал власть в свои руки и забирал ее все крепче. Это успокаивало, давало прочность, основательность всему и возвышало его, Брадатого, деятельность, перед делами заносчивых вельмож. Они везли, он же, незаметный и необходимый, держал в руках нити, соединяющие великое здание государственности.

Отпустив Брадатого, Иван задумался. Собранных данных как-то не хватало для оправдания новгородского похода. Если бы не было пресловутых грамот Ярослава! «Вольны во князьях...» Сама мысль о чьей-то чужой воле, противоречащей его собственной, вызывала в Иване глухое раздражение. Тем паче, что это была не воля одного лица: короля литовского, или хана Золотой орды, или иного государя, с которым понятно было, как вести переговоры. Нет, это была воля неизвестно кого! Борецких? Уж не вдовы ли Исака Борецкого?! Иван усмехнулся. Феофилата Захарьина? Самсоновых? Офонаса Остафьевича? Захарии Григорьевича? Воля веча! Всех вместе...

Волей думного Совета московских бояр был он, ему принад-

лежало последнее решение. Здесь же приходилось рассматривать город, как лицо. В этом была некая известная с детства, и все же неправильность, неясность. Доносят, что Борецкие в ссоре с Захарием Овином, что бояре Славенского конца против бояр Неревского... Но во всяком случае бояр можно пересчитать, узнать, договориться. Дмитрий Борецкий пренебрег его милостью — хорошо, он этого не забудет. Но чернь! Это вече: во Пскове, в Вятке, в Новгороде! Архиепископа, духовного владыку, божьего посланца выбирают по жребию! В свое время он не разрешил псковичам устроить свою епископию. Тоже бы выбирали на вече невесть кого! Теперь по молитвам и стараниям митрополита и по изволению божию на новгородский владычный стол избран не тот, кого прочили Борецкие...

Посольство Василия Онаньина вызвало в нем особенный гнев опять этими отсылками на безликое вече. «Не наказывали!» Кто не наказывал?! Иван знал поименно всех посадников Великого Новгорода, и никто из них в отдельности не посмел бы противоречить его воле. Не только из бояр Славенского конца — один Иван Офонасович, да и тот... Просил тогда войск для похода на Псков, воин! Не только из бояр Плотницкого, но и из бояр Софийской стороны вряд ли кто один на один взял бы на себя смелость противустать великому князю. Даже Дмитрий Борецкий, даже Онаньин, даже сам Богдан Есипов, даже Офонас Остафьев, даже они! Молодые? Савелков? Тучин? Василий Селезнев? Марфа Борецкая! У нее самой и права того нет! Жонок посадниками не выбирают... Хоть и то, больно много власти у баб в Новгороде Великом! Да и все равно одна она ничего бы не сделала! Вече? Купцы с их старостами? Подлый народ, ремесленники и мужики?!

Надо опереться на церковь. Этот Феофил, слышно, боится Москвы. И к лучшему... Сколько, однако, земель у дома святой Софии Новгородской?

Да, он имеет право судить непокорный Новгород! И об этом должны знать все! Пусть Степан Брадатый рассылает свои рукописанья! Пусть богомолец, митрополит Филипп, тем озаботится! Прежнее его послание не возымело успеха. Теперь доносят, что тех попов, что чли послание митрополита с амвона, новгородцы лишили руги — голодом решили заморить! Митрополиту уже послано сказать об этом...

Но как же все-таки было с войсками Андрея Юрьевича?

Боголюбский послал на Новгород значительные силы. Владимирскую рать, и смоленские войска, и рязанские, и муромские — мало не всю землю русскую. Почему они были разбиты? Ни в летописях, ни в объяснениях дьяка Степана Брадатого он не находил иных причин тому, кроме чудесного заступничества богородицы. Город был окружен. Войска два дня бились, заго-

няя внутрь выходивших на вылазки новгородцев. Ежели бы их остановили на пути, где-то на Ловати, в болотах, даже под Русой — это легко понять! Но почему победоносное войско побежало именно тогда, когда был совершен крестный ход по стенам и оскорблена святыня?! Непонятно! И влияние покойного архиепископа Ионы на отца тоже было непонятно ему. Новгородские святые, этот их Варлаамий Хутынский, вызывали враждебное чувство и смутную боязнь.

Что ж! Чудотворная «Божья Матерь Владимирская» не один раз отвращала от Москвы вражьи нашествия! В конце концов только чудом можно было объяснить поражение суздальских полков.

Иван вживе представил себе разгром московских ратей, бегство, прорывы конницы, брошенные обозы, панику... В душе он не любил войны. И не любил за эти постоянные неожиданности военного счастья. Рассчитать до конца войну, чтобы знать наперед, за каким действием какое должно обязательно последовать, так, как рассчитывал он ходы во время игры в шахматы, не представлялось возможным. Иван был великий шахматист, только пешками для него были люди, а тавлеей — шашечницей — расчерченная струями рек, разноцветьем лесов и пашен русская земля.

Он медленно закрыл толстую кожаную книгу и аккуратно застегнул медные застежки переплета. Поднялся. Оглядел покой. «Гонимы гневом божьим!» О чуде обязательно следовало поговорить с духовным отцом — митрополитом Филиппом. Государь должен предвидеть все.

В начале марта в Москву пришла весть о смерти киевского князя Семена, передававшего наследование брату Михаилу. По слухам, король Казимир хотел забрать киевское княжение под себя, поставив там воеводу. Очень можно было полагать, что при этих известиях Михайло не усидит на новгородском столе. В Новгород тотчас отправился Иван Федорович Товарков с новым великокняжеским увещанием. Расчет, как скоро выяснилось, оказался верен. Михайло Олелькович, достаточно напуганный перспективою войны с московским князем, немедля предпочел верное неверному: бедный, но зато свой и законный киевский стол, где он будет полновластным господином, опасному, хоть и богатому, новгородскому условному княжению. За ним потянулись волынские, киевские и смоленские купцы, литовские торговцы и шляхта, вся огромная прожорливая свита князя, четыре с лишком месяца лишь даром проевшая новгородский хлеб и потратившая новгородское обилие, от чего Новгороду было «истомно сильно». Уезжая, Михайло к тому же пограбил город Русу, соляную сокровищницу Новгорода, а от Русы до

рубежа забирал себе хлеб, скот и даже полоняников. Ропот по поводу разорительного содержания киевского князя и его прощальной «шкоты» сильно пошатнул авторитет Борецких. Это была первая нежданная катастрофа для Новгорода и первый, хоть и не намеченный заранее, серьезный успех великого князя Ивана.

На крестопоклоненной неделе Иван посетил митрополита Филиппа и имел с ним долгую беседу о новгородских делах.

Они сидели в прямых деревянных креслах друг против друга, молодой государь и престарелый глава русской церкви. Ивану не нужно было убеждать митрополита — отпадение новгородской церкви, переход богатейшей русской архиепископии в ведение хотя бы и одной лишь мирской власти литовской короны (от церковного отпадения ублюл господь, страшно подумать, что створилось бы, ежели на владычное место избрали Пимена!) повергало Филиппа в смятение и ужас. Он уже чувствовал, как начинает шататься стол московских митрополитов. Церковные нестроения после богоотметного собора во граде Флоренции; паки и паки вмешательства литовских униатских митрополитов в дела московского православия; еретики, умножающиеся по градам; псковские споры церковные, а ныне неслыханная смута новгородская — всего этого с избытком хватило бы и для более могучей души. Филипп ежечасно убеждался, что в нем недостает нужной по нынешним смутным временам твердости, коей столь много в молодом государе, и даже подчас разумения. Но он верил! Верил тем пламеннее, чем труднее казался возложенный на него крест, верил в конечное торжество православия и согласие всех православных, верил в доброту людскую и доброту и мудрость государя, верил, что увещеванием можно добиться согласия даже и в сем прискорбном споре с Великим Новгородом. Не дал же господь избрать Пимена на архиепископию новгородскую! Он изнурял себя долгими молитвами и постом, тайно возложил вериги на свою ветхую плоть. Сейчас Филипп был готов на все, что предложит или потребует от него Иван и до чего он, по мягкосердечию своему, не мог бы сам додуматься. У них уже был разговор о Феофиле, и Филипп, затягивая ответ новоизбранному владыке, теперь уже мог сообщить Ивану, что нареченный на владычество Феофил смиренно мудр и в руце митрополита московского, а также и великого князя, государя всея Руси, пребывает.

— И многая чудеса во граде согласно указуют гнев господень на дерзнувших уклонитися десницы государевой! Буря сломила крест на Святой Софии. На гробах двух архиепископов в Софии видели кровь. У Спаса, что на Хутыни, сами зазвонили колокола, а в церкви Евфимии на иконе «Богородицы» из очей предивно полились слезы, аки струя. Иные узрели слезы на ико-

не святого Николая-чудотворца, что в Никитиной улице. А осенью на Федорове улице слезы лились с ветвей и верхушек топольцов. Всем богобоязненным гражанам открылись знамения сии и согласно предвещают наказание граду за гордыню и отпадение к латинам!

Иван молча глядел в доброе морщинистое лицо своего духовного отца и тихо досадовал на митрополита. Он напомнил о неудаче первого послания в Новгород:

— Надеемся, что молитвенник наш приложит... не возьмет во труд паки просветить заблудших лепотою слова своего!

Филипп с готовностью обещал тотчас направить в Новгород новое увещевательное послание.

С некоторым затруднением для себя, Иван изложил митрополиту свои сомнения относительно иконы «Знамение Богородицы» и чуда одоления суздальцев, от нее произошедшего. Филипп задумался. Потом лицо его просветлело:

— Сыне мой! Милость божия почасту оделяет равно грешных и праведных, ибо терпению его и любви нет предела. Но не забыл ли ты о том, где в ту пору обреталась митрополия русская? Не во Владимире, и паки скажу, не в нем! Ныне же, по молитвам святого Петра митрополита, стол митрополич во граде Москве, где же и чудотворные мощи оного святителя в храме Успения под спудом пребывают! Отложи заботы о том, о чем святая церковь денно и нощно молит господа, да не попустит он умаления власти государя, богом данной! — Тут Филипп опустил глаза и вновь напомнил Ивану о строительстве нового Успенского храма: — Соромно зрети такое! Соборная церковь града Москвы грозит рухнуть, своды безлепо подперты древием, от чего уже встали хулы и насмешки по иным градам, и от богомольцев нарекания, зане таковое нестроение ведет к умалению славы и даже чудотворной мощи московских святителей!

Иван отвечал, твердо глядя в лицо митрополита, что денно и нощно, с неослабною заботой мыслит о зиждительстве нового храма и лишь дела новгородские мешают ему немедленно приступить к строительству.

В марте, на вербной неделе, собрался военный совет. Возвращения посольства Товаркова, на которое было мало надежды, ждать не стали.

Совет, или Государева Дума, собрался в большой дубовой палате великокняжеского дворца (в то время, и еще много спустя, сплошь деревянного), где государь сидел на резном деревянном кресле — «столе», с подлокотниками, подножкою и прямою высокою спинкой, а бояре по стенам, на лавках.

Иван Третий, как и ряд его предков, надевал шапку Моно-

маха, которая формою своей была схожа с шапками древних русских князей, круглых, с меховым околышем. Княжеская эта шапка на Совете, таким образом, была остатком древнейших, в позабытой мгле утонувших времен, когда славян, живших на Днепре, еще звали антами, а княжеские соймы собирались на ковре, под открытым небом. Шапки были знаком достоинства князей-братьев, участвующих в Совете. Позднее шапок в домах не снимали татары, и в постоянных сношениях с ними русские вельможи усвоили тот же обычай: не снимать же шапки, ежели поганый посол татарский ее не снимает!

Так слагались обычаи московской Думы. В шубах, в собольих шапках заседали думные бояра в одной палате с государем. Еще не появилась византийская пышность приемов и торжественное отстояние государя от своих думцев. Еще не сложился сложный церемониал, еще шапки бояр не стали тянуться вверх, не превратились в позднейшие горлатные. Еще проще и деловитее был устав великокняжеских заседаний. Иван спрашивал, бояре отвечали. Бояре были по большей части старше государя, советники и воеводы его отца: князья Ряполовские, коим Иван был обязан жизнью, Иван Юрьевич Патрикеев, Иван Васильич Оболенский-Стрига, тоже не отступивший от покойного родителя, когда Иван Можайский с Василием Косым полонили и ослепили его, один из лучших воевод отца, не раз бивший татар, громивший новгородскую рать под Русой, другие Оболенские, князь Даниил Дмитриевич Холмский, перешедший на службу московским государям из обедневшей Твери, бояре: Федор Давыдович, Василий Федорович Образец, Борис Слепец, Михаил Яковлевич Русалка, Иван Ощера, Федор Михайлович Челядня, Беклемишев, Беззубцев, Плещеев, молодой удачливый воевода Иван Руно, князья — братья великого князя: Юрий, Андрей, Борис и Андрей-меньшой, любимец матери, князь Михаил Андреевич Верейский.

Поход на Новгород обещал в случае удачи нешуточную добычу. Поговаривали и о землях. Ждали, что скажет Иван. Решение требовалось одно: идти ли летом? Погибшая в болотах за Ловатью рать тверского князя Михаила смущала многих.

— На зиму надежнее!

— После урожаю, да как подстынет, не торопясь...

— А пока комонных в зажитье пустить, по новгородской-то волости! Глядишь, дворяна зипунов добудут. Русалку вон с Руном, да с охочею ратью послать!

— Подоле пождешь да поболе возьмешь!

— В болотах завязнем, с обозами-то, куды! Новгородчина — сквозь болота! — толковали осторожные.

— Той зимы ждать, дождемся Казимира с ханом Ахматом! — резко сказал не в очередь Федор Челядня.

Иван спокойно посмотрел в насупленное лицо боярина, взвешивая его слова, чуть приметно склонил голову. Спросил, поворотясь к Холмскому:

— А что молвят нам тверские воеводы?

Едва ли не намеренно Иван избегал именовать Холмского князем. Древнее московское недоверие к Твери, укрощенной, но еще не одоленной, он переносил невольно и на тверских выходцев, поступивших к нему в службу. Холмский, прямоплечий, статный, весь в тверскую породу (и не зная, скажешь, что князь!), особенно настораживал Ивана. Не было в нем привычного покорства старых московских думцев, однако талан ратный велик зело, это признавали все. А за ратный талан прощалось многое. До поры.

Породистое лицо Данилы Холмского, продолженное квадратною, холеной, чуть вьющейся бородой, дрогнуло. Он вскинул голову, слегка обиженный тем, что не с него начали опрос, и отмолвил звучно, пожалуй, излишне звучно для Думы Государевой:

— Умедлим, дадим Борецким собрать рати. Ныне, слышно, в Новом Городе нестроения великие! Другое худо: немцы помочь пошлют, Псков откачнется! Казимир после угорских дел на Москву поворотит — о том Федор Михалыч досыти рек. А что касаемо болот новгородских, то лето от лета рознится. Старики толкуют, ноне сухой год настает по Новгородчине. По всем приметам так!

Он умолк. Кто-то из москвичей буркнул в тишине:

— Приметы! Мужичья мудрость! Сорока на хвосте принесла!

Но Иван как бы не услышал изреченной хулы. Он медленно вел глазами по ряду лиц своих приверженцев и остановил задумчивый взгляд на Стриге-Оболенском. Этот был свой, отцов, верный. «На Оболенских можно положиться, не выдадут!» — подумал он. Молвил:

— Твое слово, Иван Василич!

Старый воевода поворотил спокойное, обветренное до коричневизны, не сошедшей и за зиму, морщинистое лицо, глянул зоркими глазами из-под припухлых, тяжело нависающих век на Холмского. Помедлил, подумал: «Торопится князь! Выставить себя хочет! Одначе — прав. Да и Федор прав, бить надо враз, умедлим — самим хуже не стало бы!» Ответил, подняв глаза на государя:

— Сулят сухмень!

И что-то разом переломилось в Думе. Многие поглядели на Холмского уважительно — не ему ли поручит теперь государь передовую рать?

Все же, частью из осторожности — семь раз примерь, один — отрежь! — частью, чтобы не дать Холмскому слишком выставить

себя перед иными, Иван еще раз отложил Думу. Порешили собраться для окончательного решения после пасхи.

Иван еще колебался, когда Товарков привез ответ Новгорода. Не возымело успеха и второе послание митрополита Филиппа. Феофил, ожидая для себя московского поставленья, не умел — или не хотел? — что-то сделать.

Пасха в этом году пришлась на тридцатое марта. Отошла страстная неделя, с ее пышными службами, с великим четвергом, когда все разносят из церкви по домам зажженные свечи, от коих потом зажигают лампады. Наступила заутреня, заутреня воскресения господня.

Христос воскресе из мертвых,
Смертию смерть поправ,
И сущим во гробех живот даровав!

Движутся крестные ходы вокруг московских церквей, колеблются огоньки свечей, и ежели бы можно было взглянуть сверху, узрелось бы, что у тысяч храмов, по всей стране, тоже движутся шествия, колеблются свечные огоньки, звучат гимны.

Сей день, его же сотвори господь,
Возрадуемся и возвеселимся в онь!
Пасха красная, пасха господня,
Пасха всечестная нам возсия,
Пасха радостию друг друга обнимем...

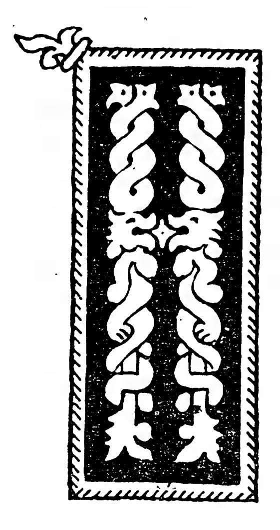
Всю святую неделю, первую неделю после пасхи, попы ходят из дома в дом, собирают пироги, яйца.

Уже на солнце рыхло оседает снег под южными стенами изб. Воробьи дерутся над кучами конского навоза. Пахнет дымом и свежим, горьковатым запахом тальника, пахнет тающим снегом, согретою хвоей, и в ледяные весенние ветра вплетается будоражащий запах весны, от которого кони, задирая хвосты, вздрагивают всей кожей и начинают протяжно ржать, с храпом раздувая ноздри. Мужики налаживают сохи, и в разрывах облаков глядится промытое синее просторное небо, и тени голубеют на снегу.

На святой неделе освящают семенной хлеб. Жито — рожь, овес, ячмень, яровую и зимовую пшеницу — насыпают в пудовые меры. Батюшко с дьяконом втыкают крест в зерно и поют молебен. Освятив хлеб, угощаются. Святой хлеб этот потом размешивают с семенным. Оставляют на сев и кусок пасхи. С пасхою, раскрошив ее, старики сделают первый засев.

На святой неделе в думе великого князя московского был окончательно решен поход на Новгород. Войска должны были двинуться в конце мая, как только окончат сеять и освободятся люди и лошади.

Глава 14



ад Зарядьем стоял звон. Ковали шеломы и сабли, починяли седла, кольчуги и колонтари. Визг и уханье, шарк железа по железу, едкий запах окалины, шипение остужаемого металла. Бронник Федька Шестак суетился. Мастера почернели от недосыпу, а с заказчиком надоть лаской, лаской!

— Долгу, по грамотке, с вашей милости четырнадцать рубликов шесть алтын!— низился, плыл в улыбках. («Боярчонка можно купить со всем, с потрохами, и долга-то с него добром не воротишь!»)

Тот еще и чванился:

— Новгород богат!

— Хи-хи! Богат-то Новгород, ето конешно, дак еще как оно поворотится, как наколдуют! Они-ить колдуны, новгородцы-ти!

— Ну ты, смердья кровь! Говори, да толком!

— Хи-хи-хи-хи-хи-хи! Знамо дело, дурость наша мужицкая! А только закладец бы с вашей милости! А бронь — что бронь! Мои брони большие бояра берут!

Брони вздорожали. Вздорожали кони и упряжь. Маломочные дворяна набирали под заклады, под будущую новгородскую добычу, щедро раздавали долговые грамоты. Новгород богат! По всему московскому великому княжеству и в удельных владениях братьев Ивана собирались войска. Опытные воеводы обсуждали пути, станы, переправы, прикидывали, сколько пройдут кони и где боязно, что застрянут возы.

Вновь и вновь отправлялись послы во Псков со все более строгими наказами. Псковичи заверяли в ответ, что не умедлят выступить, лишь только заслышат великого князя в новгородских пределах, а сами отай пересылались с новгородцами, все еще не торопились отослать Новгороду взметную грамоту, объявить войну.

Но уже поднялась Вятка, мятежный выселок Великого Новгорода, приют всех новгородских беглецов, вечный враг старею-

щей республики. Устюг, неоднократно грабленный новгородцами, был наготове, чтобы выступить по слову Москвы. Союзная Тверь тоже готовила рати.

Иван, предусмотревший, кажется, все, велел разослать по церквам и читать послания о вине Новгорода перед великим государем Московским и отпадении мужей новгородских в латынство.

Замиренная Казань позволяла все силы обратить на север. До полутораста тысяч ратников готовились, оборужались, выходили в поход. Бесчисленные вереницы конных ратей уже ползли по подсыхающим весенним дорогам страны.

Двадцать третьего мая, на праздник вознесения господня, во Псков поехал дьяк Якушка Шабальцов с приказом псковичам выступать на Новгород.

Тридцать первого мая, в пятницу, Иван послал Бориса Слепца к Вятке, веля идти на Двину, а к Василью Федоровичу в Устюг, чтобы выступали тоже и шли вкупе с вятчанами. По расчету их рати должны были прийти на Двину в тот же срок, что основные силы к Новгороду.

Шестого июня, в четверг, на троицкой неделе, выступал князь Данило Дмитрич Холмский с отборной дворянской конницей. Иван сам провожал передовую рать. Холмский стоял на гульбище рядом с великим князем, облитый броней. Его стальные налокотники сверкали. Стремянный замер с шеломом князя в руках. Конь редкой голубой масти храпел внизу, рыл землю копытом. Ветер лениво отдувал полотно стяга со Спасовым ликом на нем, и бахрома почти касалась чеканного лица Холмского. Мимо проходили на рысях дети боярские — десять тысяч человек, закованных в брони, испытанных в боях с татарами, жадных до земли и добра. Вторым воеводою рати был боярин Федор Давыдович, талантами не уступающий Холмскому, испытанный старый воевода московский. С ними же по направлению к Русе, окружая Новгород с запада, должны были выступить с полками братья Ивана Третьего, князья Юрий и Борис.

Тринадцатого июня, в четверг, великий князь отпустил вторую рать, под началом Оболенского-Стриги с татарскою помочью. Им велено было идти по Мсте и подступить к Новгороду с восточной стороны, от Бронниц.

Братья великого князя, Юрий, Андрей и Борис и князь Михайло Андреевич Верейский выступали в поход прямо из своих отчин.

Охранять Москву были оставлены юный княжич Иван и Андрей-меньшой с несколькими опытными боярами.

Сам Иван при стечении народа, знати и духовенства в праздничных светлых ризах прошел в церковь Успения, где молился у образа чудотворной «Богородицы Владимирской» и

пред чудотворным образом, самим митрополитом Петром написанным, поклонился гробам опочивших в бозе митрополитов Петра, Феогнаста, Киприана, Фотия и Ионы, после чего пересек площадь и вступил в собор архангела Михаила и его чуда, где молился воеводе архистратигу Михаилу о даровании победы. Из церкви государь вышел в придел Благовещения поклониться цельбоносному гробу с мощами Алексея, митрополита русского. Воротясь в церковь, прикладывался к гробам прародителей своих, великих князей владимирских и новгородских и всея Руси, от великого князя Ивана Даниловича и до отца своего, Василия Темного. Громко, чтобы слышали все, Иван воззвал, стоя перед святынями:

— Господи владыко, пресвятый, превечный царю! Ты веси тайная сердец человеческих, яко не своим хотением, ниже своею волею на сие дерзаю аз, еже бы пролиатися мнозей крови христианской на земли, но дерзаю о истинном твоем законе божественном!

После чего Иван благословился у митрополита Филиппа и двадцатого июня в четверг под колокольный звон выступил из Москвы с главными силами, с полками московскими, коломенскими и прочими, с татарскою конницей служилого царевича Даньяра. Толпы народа, выстроившиеся вдоль улиц, ликовали, провожая полки. Воины торопились дорваться до грабежа. Послание, читанное с амвонов, сделало свое дело. Многие из простых ратников, поняв грамоту из пятого в десятое, думали, в простоте душевной, что все новгородцы уже обратились в католическую веру и смотрели на них, как на христопродавцев и изменников.

В Новгороде не ожидали, что москвичи выступят в начале лета. Боярская верхушка знала о готовящемся походе, но на большинство весть о войне свалилась как с неба.

Зять Конона, Иван (по весне он нанялся к богатому купцу плотничать), шел из Лукинского заполья и как раз спускался под горку, пройдя уже Петра и Павла на Синичьей горе и приближаясь к городским воротам, когда его догнал грохот колес.

По Псковской дороге с громом мчались телеги, могучие кони мотали гривами, грязь и пыль летели по сторонам. Иван едва отпрянул к обочине, как уже головные понеслись мимо него — одна, другая, третья... На телегах, подпрыгивая, валясь в середку, густо грудились мужики в железе, шеломах и бронях. Ездовые, стоя, внахлест полосовали конские спины. Кони ржали, оскаливая зубы, роняя клочья пены с удил. Сверкали железные обода колес, сверкали шеломы, брони, лезвия топоров, из задков телег щетинисто торчали пучки подпрыгивающих копий.

Мужики орали неразличимо. В лязге, громе, сплошной пыли неслись и неслись телеги. Иван сбился со счета и одно понял, когда крик и гам, и конский топ, и ржание ушли в городские ворота, оставя медленно оседающую пыль,— война!

Сев в Новгородской волости запаздывал по сравнению с московской, и потому запаздывали боярские дружины, запаздывали ратники сотенных и волостных полков. Все же пограничные крепости — Молвотицы, Стерж, Демон — новгородцы успели укрепить и подготовить к обороне.

За отсутствием воевод, князя Шуйского и Василья Никифоровича Пенкова, отбывших еще осенью на Двину, во главе новгородского ополчения был поставлен Василий Александрович Казимер, герой Русы, доблестнее всех, как уверяла молва, храборствовавший в злосчастной битве пятнадцать лет назад. Василий Губа-Селезнев и Дмитрий Борецкий составили военный совет при воеводе.

«Сорок тысячей конного войска и бесчисленную пехоту» выставлял в ратях Господин Великий Новгород. Сорок тысяч новгородских воев повел за собою когда-то Ярослав Мудрый на Святополка. С ними, с новгородскими плотниками, он выиграл войну и добыл золотой киевский стол.

Сорок тысячей! Но это только говорилось так, на деле же собиралось три-пять тысяч человек, редко более. В трех тысячах новгородцы разбили семьдесят лет назад великокняжеские рати на Двине. В пяти тысячах ратных выходили в самые большие из ушкуйных походов на Волгу. А сорок тысяч — это чтобы явились все боярские дружины, вооружился конный городской полк, все житьи сели на коней, приведя с собою по полтора десятка конных ратников. Стало выясняться, что недостает боевых коней, что многие, не воевав всю жизнь, не имеют и доспеха, а купить кольчугу дело нешуточное — дешевле терем выстроить! В городе уже подымался шум. Ремесленников гнали силой. И все же сорока тысяч конной рати никак не набиралось.

От Пскова еще зимою потребовали всесть на конь вместе с Новгородом против великого князя согласно с договором. Псков, в коем сидели ставленные московские служилые князья, отвечал уклончиво, что-де они поглядят, когда будет прислана взметная грамота, а пока предлагали посредничать о мире. Посредничество было отвергнуто: «Великому князю челом бить не хотим, а вы бы есте с нами против великого князя на конь сели, по-нашему с вами миродокончанью»,— и псковские послы не были пропущены в Москву.

Заключенных по суду новгородскими бирючами псковичей, за которых неотступно просило каждое псковское посольство, наконец выпустили, но условно, на поруки, задержав товар.

Требовалось вмешательство архиепископа, но тут нежда-

но заупрямился новоиспеченный владыка. Феофила всего трясло от разговоров тайных и явных, от посланий и грозных намеков. Набравшись духу, он объявил, что, как владыка, не может благословить войны с Москвой. Однако тут на него ополчились все софьяне, во главе с чашником Еремеем Сухощеком и стольником Родионом. Окружение владыки, увы, было еще прежнее: все сплошь сподвижники Ионы, неревляне, враги Москвы. И Феофил опять не выдержал согласного натиска, сдался, заюлил. Послал Луку Клементьева уже в разгар начавшегося похода об опасе (он упрямо, невзирая на ратную пору, хотел ехать на поставление) и тут же разрешил пересылку со Псковом и даже военные вразумления, буде они потребуются. По всем этим причинам новгородский посол, стольник владычень Родион прибыл во Псков после того, как очередное посольство Ивана вынудило псковское вече согласиться на выступление против «старшего брата».

Родион узнал об этом от встречных, когда они подъезжали ко Пскову и уже завидели грозные стены псковских твердынь — вознесенного над скалою, над рекой Великой, Крома и опоясывающего его большого Окольного города, из-за которых подымались многочисленные купола, вышки теремов, белокаменные верхи соборов и стаи звонниц, увешанных малыми и большими колоколами, четким сквозным узором рисующихся на прозрачном весеннем небе.

Псков, который сто лет спустя польский летописец, любуясь, сравнил с Парижем, в то время уже отстроил в полный размах свои неприступные стены, о которые век за веком разбивались волны немецких и литовских нашествий, уже вознес десятки своих стройных церквей и звонниц, уже сооружал каменные палаты, с каменным низом, отведенным под склады и лавки, и с деревянными верхними жилыми покоями — жить в каменных, с тяжелым сырым воздухом комнатах долго не любили на Руси Псков полнился народом, шумел и славился торговлей, радушием и хлебосольством граждан, честностью купцов. Он уже давно перенял у Новгорода бремя обороны границ Руси от набегов немецкого Ливонского ордена. Под стенами его пригородов — Красного, Опочки, Воронача — бесславно сникали войска литовских князей. Бояре во Пскове не брезговали торговать, как купцы, а купцы и ремесленный люд не забыли, как держат оружие. Каждый год, а то и не по раз в год, приходилось браться за мечи. Во Пскове вечем решали даже вопросы веры, и грамота, положенная по вечевому приговору в ларь Святой Троицы, значила больше, чем воля архиепископа и решения посадничьего Совета.

Не все было так просто и ясно в делах псковских, как хотелось в Москве и как представляется оку позднейшего историка.

За конечными решениями Пскова крылась немалая борьба, исход которой далеко не был предрешен волею великого князя Московского. И не случайно Иван так тревожился уклончивостью псковских послов, а Новгород и после обмена разметными грамотами не так уж напрасно надеялся на псковскую подмогу. Пятнадцать лет назад, в минувшей московской войне, псковская рать подошла-таки на помочь Новгороду.

У городских ворот стража заступила путь Родиону. Узнав, что едет посол от владыки, его нехотя пропустили. Псков шумел. Горожане, узнавая новгородцев, с любопытством, тревогою или насмешкой провожали глазами небольшой конный отряд. Да, они опоздали! Это было ясно уже здесь, на улицах.

Родион все же пожелал испить чашу до конца и выступить на вече. В конце концов это надо было сделать хотя бы для того, чтобы черный народ ведал о посольстве Господина Новгорода. Псковские посадники долго совещались, но отказать Родиону в законном праве посла не рискнули. Правда, с ним и тут поступили не по чести. На вече были собраны все обиженные Новгородом, кто сидел в железах, лишился товара, был казним владычным или торговым судом и выпущен на волю «только одной душою». Были, конечно, и другие, и этим, другим, говорил Родион с вечевой ступени древнего Плескова, древнего новгородского пригорода. Им, другим, бросал жаркие слова о братстве и дружестве, об Олександре Невском и Довмонте, о славе прадедней... Увы! Говорил о братстве, забыв поход под Псков новгородской рати, забыв про угрозы вкупе с немцами напасть на младшего брата, забыв долгую распрю о доходах церковных, судах, исторах, обидах.

Но Псков, отчаянно, один на один, отбивавшийся от ордена, Псков, окруженный врагами, тяжелеющей рукой вздымающий меч на рубежах страны, когда от старшего брата не то что помочи нет, а угроза за угрозою, шесть летов назад тому не у князя ли великого рати просили на них — Псков того не забыл! Сегодня помогай Господину Новгороду, а завтра тот же Новгород заведет немцев на Изборск или отвернется и даст Литве громить Опочку и Красный? Несладок был и тяжелый союз с Москвой, но Москва помогала и от Литвы, и от немец, да и от самого старшего брата Господина Великого Новгорода могла оборонить!

Обиженные пробивались вперед, Родиону кричали:

— На суд в Москву не едут новогородчи, а наших попов к себе Иона вызывал, это как? А в железах наши сидели, истерялись в Новом Городи, это как?! Помогай противу Москвы, а сами хуже Москвы насильничают! Уж коли так — всем воля равная надобе!

Ничем кончились переговоры. С Родиона взяли за историы

да за задержанный товар тех, что сидели в железах в Новом Городе, пятьдесят рублей, которые ему пришлось уплатить тут же из софийских денег, причитающихся со Пскова в казну владычную...

Шестнадцатого июня псковичи отослали в Новгород разметные грамоты, но выступать все же не торопились.

Двадцать девятого, на Петров день, во Псков приехал боярин великого князя Василий Зиновьев с сотней ратников торопить псковичей. С собою они пригнали триста полоненых крестьянских кляч новгородских и распродавали в торгу. Зиновьев требовал выступления «в те же часы», но сила псковская во главе с князем и тринадцатью посадниками вышла в поход только десятого июля, когда воротился псковский посол Богдан, наехавший Ивана Третьего в Торжке и когда уже медлить стало решительно невозможно.

В ответ новгородцы совершили набег на псковские земли из Вышегорода, пожгли хоромы в Навережной губе и церковь святого Николы «о полтретью-десяти углах, вельми преудивленну и чудну», краше которой, скорбно писал псковский летописец, не было во всей псковской волости.

Рать псковская подошла к Вышегороду и приступила к осаде — «стали бить пушками, и стрелами стрелять, и примет приметывать». Новгородцы отбивались изо всех сил, одного псковского посадника, Ивана Гахоновича, и много ратных уложили под стенами, на вылазке подожгли примет, огонь остановил наступающих, но и осажденным пришлось несладко: «и было притужно в городке от зною и дыму».

Срочный посол Господина Новгорода к королю Казимиру, отправленный еще в начале июня, на этот раз не с уклончивым предложением «мирить с Москвой», а с воплем о немедленной помощи вынужден был из-за розмирья со Псковом, ехать кружным путем, через Нарову и земли немецкого ордена.

Феофил, разрешив владычному полку вооружиться и выступить против Пскова, запретил ему вместе с тем участвовать в схватках с московскими войсками.

Сам воевода, Василий Казимер, тоже настаивал на том, чтобы всячески уклоняться от прямого боя с великокняжескими полками, а, заградившись гарнизонами крепостей и пешею ратью, с прочими силами ждать подхода войск короля Казимира, на что, при общем соотношении сил, была вся надежда. Псковичей, буде они выступят, предполагалось разбить отдельно (в Новгороде надеялись все же, что разбитые псковичи или тотчас сложат оружие, или перейдут на сторону Новгорода).

План был разумным, но для его успеха точно так же требовалась решительность и быстрота действий. Селезнев с Борецким предлагали не ждать, а сразу вести рать на Псков, но Ка-

зимер медлил, ожидал взметной грамоты, ожидал ответа послу, ожидал, когда подойдут запоздавшие...

Василий Казимер никому не признавался, что его действиями руководит не столько расчет, сколько страх, страх нового поражения, страх давнего, того, бегства под Русой. Больше всего ему хотелось укрыться за стенами города и ждать спасения, ждать чуда — от короля Казимира, от богородицы, от кого угодно. Не такой воевода нужен был городу в тяжкий час! Еще раз стареющая республика сама, своими руками рыла себе могилу.

Меж тем проходил июнь. Войско томилось и проедалось. Собранные рати изнывали в ожидании. Охочие рвались в бой, ругались на расходы. В войске и в городе начинался ропот. Слухи о движении москвичей становились все тревожнее. На лодьях к Ловати ушла пешая рать, готовилась другая. В Петров день Казимер решился, наконец, вывести полки из города к устью Шелони. Войско нестройно потянулось из ворот, раздраженное и угнетенное месячным топтаньем на месте, рыхлое, разномастно вооруженное — кто роскошно, в тяжелых, частью иноземных доспехах, кто средне, а кто и плохо, кое-как (в основном беднейшие из житьих и ремесленный люд), в одном кожаном кояре, в кожаном стеганом подшлемнике, с деревянным щитом, одним копьем и старой саблей или мечом прапрадеда, а то и без меча, с топором да ножом. Луки со стрелами были у двоих из десятка. Многие горожане едва держались верхом, и идти бы им, как обыкли новгородцы, в челнах по Шелони, но Казимер настоял, чтобы посадили на коней всех ратников, думая этим добиться большей подвижности войска.

Было ли их хотя сорок тысяч? Москвичи говорят, было, ссылаясь на слова самих же новгородских ратников. Псковская летопись пишет, что их было тысяч тридцать, не настаивая на точности. Несомненно, что северные окраины не сумели за те дни, что оставались после сева, прислать своих ратных в город. Крупные силы ушли на Двину. Многочисленные отряды новгородцев находились в крепостях. Так что в конном войске, скорее всего, сорока тысяч, несмотря на все усилия Борецких и Есипова, не набиралось.

Неревская боярская дружина выступала со двора Борецких. В тереме прощались. Суетились слуги. Вооруженные холопы верхами ждали своих господ. Оседланные кони под кольчужной броней ржали во дворе, где уже было полно верховых и спешившихся дружинников. Уже были выпиты чары и сказаны торжественные слова. Порою вспыхивал смех, но лица оставались суровы. Предыдущее долгое ожидание заронило неуверенность во многие сердца. Да и без того нешуточное дело — война с Москвой!

Топоча копытами по мостовой, вздымая жаркую пыль —

дождей не было с мая,— во двор въезжали и въезжали ратные. Григорий Тучин явился в венецианском зеркальном панцире поверх кольчуги, с надменным выражением красивого продолговатого лица — он от похода уже не ждал ничего хорошего.

Дмитрий Борецкий, весь в кольчатой, струящейся, отделанной серебром броне, и Федор, в литом нагруднике, спустились с крыльца, одинаковым движением сильных тел взлетели в седла. Селезнев, на приплясывающем чалом жеребце, выводил кончанский стяг. Горячий южный ветер отвеивал расшитое полотно, и одноглавый неревский орел, казалось, тяжело хлопал крыльями над головой Селезнева.

Борецкая с крыльца провожала ратных. Сергея, рыцаря своего, на виду, на ступенях, поцеловала в лоб, и вышло хорошо — одного за всех. И не подумала, и никто не подумал тогда, а после, как узнала, вспомнила примету — в лоб-то целуют покойника!

— Ну, сын!— Дмитрий подъехал к крыльцу, и его голова была вровень с лицом Марфы.— Ну, сын, сожидать буду с победой. Судовую рать отправлю сама. Не робейте тамо!— и нахмурилась, голос пресекся.

Дмитрий широко улыбнулся, кивнул, тряхнул головой, рассыпая русые кудри, тронул коня.

Уже когда последние, звеня и бряцая оружьем, со смехом и прощальными возгласами выехали за ворота, Марфа поворотилась к невесткам. Капа и Тонья стояли рядом. Капа — упрямо сжав губы, Тонья — с мокрыми глазами, всхлипывая.

— Не реви!— устало сказала ей Марфа и первой пошла в дом.

Из самой верхней светелки, приоткрыв мелкоплетеную, забранную цветными стеклами ставеньку, Оленка неотрывно следила за удаляющейся в извилинах улиц сверкающей точкой — светлым панцирем Григория Тучина.

Судовую рать устраивали два купеческих братства розничных купцов-лодейников, и никак не могли сговориться друг с другом. Никому не хотелось больше соседа раскошеливаться на лодьи, снаряд и запас, на оборужение той голи перекатной, что набрали купцы в лодейную дружину, куда шли все те, кто и помыслить не мог купить на свои коня или доспех. Иван с Потанькой тоже были здесь и попали в один струг. Они, как и все, бестолково тратили время в нелепой кутерьме, затеянной двумя братствами вместо согласного общего дела. Не вмешайся Борецкая, рать долго бы еще крутилась на берегу, а то и вовсе не вышла из города.

Марфа прежде всего явилась в оба братства и обоих, пригрозив и усовестив, заставила выложить серебро и припас. Иева,

своего ключника, с подручными послала отобрать лодейных мастеров и приставить к делу. Других слуг послала к кузнецам, поспешили бы с отковкою копий и боевых топоров. Купцы-лодейники шли в богатом боевом наряде, в бронях, в шеломах аж под серебром, но для прочих требовалась хоть какая справа. Сабель и тех не было. Марфа наняла четыре сотни рушанок, прибежавших от рати из Русы в Новгород и перебивавшихся с хлеба на квас, посадила всю свою челядь и жонок покрученных мужиков за работу и в две ночи изготовила для всех безоружных плотные стеганые бумажные или шерстяные, обтянутые кожею с нашитыми поверх железными пластинами по груди, плечам и нарукавьям терлики, или «тегилеи», кожаные шапки-шеломы, тоже обшитые железом, и кожаные перстатые рукавицы, вооружила рогатинами, копьями и топорами, иным выдала, что осталось: шеломы, щиты и мечи из своих запасов; тут же наказала поделить дружину на десятки, нарядить сторожу, выбрать старших, смотрильщиков, кормчих и загребных на каждый струг, добилась, наконец, чтобы над ратью поставили одного и толкового мужика из загородничан, знакомого с ратным делом, Матвея Потафьева, и к концу четвертого дня нескладная толпа шлявшихся по Новгороду оборванцев и перетрусивших, перессорившихся купцов уже начала превращаться в подобие воинской силы.

Марфа властно вмешивалась во все. Стояла у швального и у кузнечного дела, пробовала на вес топоры и проверяла острия сабель, стыдила, ободряла, поддразнивала даже: мужик должен гордость иметь, на то он и мужик, чтобы стыдно было перед бабой не сделать по-годному!

С вечера пятого дня грузили припас, утром грузились сами ратные. Бочки с пивом Марфа поставила прямо на берегу. Опять было задержались: обсохли лодьи в Людином конце, было никак не спихнуть, кони вязли в обнажившемся речном иле. Марфа тут как тут:

— Жонок созвать вам на помочь?! — кивнула дворскому: — Созывай! Мне тоже бродни прихватишь!

Проняло. Гомон поднялся в толпе. Сами собой появились ваги, бревна, ратники дружно полезли в грязь. Коней выпрягли.

— А ну, не спихнем, что ль? Столько рыл! — сурово выкрикнул один, густобровый, черный, с коричневым, в складках, лицом, расстегнувший на груди выгоревшую, волглую от пота синюю рубаху распояской и обнажив белую, ниже полосы загара, грудь, с потемневшим медным крестом на кожаном гайтане и старым рубцом наискось, от ключицы вниз. Такой мужик всегда находится в деле, когда толпу берет задор. Прикрикнув на бестолковых, он разоставил по-своему людей, Марфе бросил через плечо:

— Отойди, боярыня!

Мужики дружно натужились, заорали:

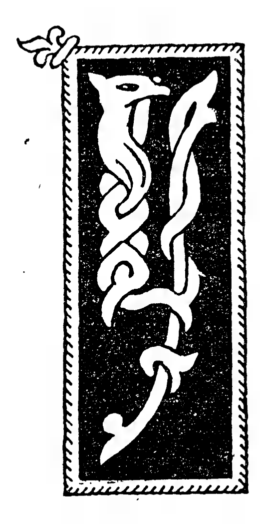
— Подваживай! Давай, давай, дава-а-ай!

Лодья грузно качнулась с боку на бок, с чмоканьем освобождаясь из ила, пошла. Спихнув одну, разом принялись за другую, и Марфа стояла на взгорье, не мешаясь больше, и радовало это: «Отойди, боярыня»; и деловая спешка, и радовали сползающие в воду боевые лодьи.

Скоро разнообразно вооруженная рать, распустив паруса и выкинув разом сотни весел, провожаемая толпами жонок, кричавших и махавших с берега, отчалила.

Борецкая взошла на вышку терема. Тут и дышалось легче. Поднявшийся к па́бедью северо-восточный ветерок, полуночник, холодил шею. За главами Детинца, за купами дерев виднелся Юрьев, а дальше, в дымке, в дрожащем мареве жаркого дня едва-едва проглядывала Перынь и Волхов, расширяясь к истоку, сливался с серо-голубой неоглядною ширью Ильменя. И туда, распустив желтоватые паруса, как ее мысли, как сгустки воли, уходили вереницею смоленые новгородские лодьи.

Она стояла, скрестив на груди руки, забыв про холод и время, древнею Ярославной на стене Путивля, и все смотрела, смотрела. Лодьи уходили в вечность, и ветер, покорный ее воле, послушно раздувал паруса.



ГЛАВА 15

Засуха благоприятствовала Ивану Третьему. За все лето, с мая по сентябрь, на Новгородской волости не выпало ни капли дождя. Овес едва вылез, озимые были редки. К июлю уже начали гореть яровые. На пыльных полях служили тщетные молебны. Влага держалась в низинах, под защитою леса, да по поймам рек. Жаркие накаленные луга пахли медом. Никли травы, бессильно опуская метелки соцветий, мелели реки, пересыхали болота. Войска двигались по быстро подсыхающим дорогам без задержки. На взгорьях, на песчаных местах, из-под копыт коней подымались столбы пыли.

Двадцать девятого июня, в Петров день, Иван был в Торжке и соединился с Тверской ратью. Отовсюду подходила помочь, и полки продвигались вперед, не отступая от намеченных сроков. Из Торжка Иван послал строгий наказ псковичам выступать немедленно, а сам с основными силами пошел вослед за полком Холмского, чтобы, в случае нужды, отрезать новгородцев от литовского рубежа и держать псковичей под угрозою.

Меж тем Василий Казимер, выведя войско за городские стены, продолжал тянуть, без конца пересылался с владыкой, ждал вестей из Литвы. От посла не было ни слуху ни духу.

В Новгород с началом войны нахлынуло несколько тысяч рушан-беженцев. Годовые запасы, об эту пору и без того невеликие, угрожающе подходили к концу. В торгу уже поднялись цены на хлеб и снедный припас. Набранные силой ратники потихоньку пробирались обратно в город. Житьи, потратившиеся на коней и оружие, роптали: стоянье на своей земле без боя не сулило выгод. Приказы Феофила воевать только со Псковом, приводили в недоумение — москвичи уже осадили Молвотицы, подступали к Демону. Добровольная полуторатысячная псковская рать с воеводою Манухиным-Сюйгиным начала грабить окраину Новгородской волости. Савелков, изругавшись в дым, собрал охочую дружину и ушел отбивать псковичей.

В это время воротился посол, задержанный немцами. Ма-

гистр ордена, плохо понимая, что происходит, и переоценивая новгородскую силу (пускай-де Москва и Новгород ослабят друг друга!), побоялся усиления Литвы и потому, продержав посла у себя, воротил его назад, в Новгород, так и не пропустив к королю Казимиру. Это было крушение. Оставалось прорываться ратью сквозь земли Пскова, захватив договорную грамоту с собой. Впрочем, новые тайные гонцы были посланы и в Литву и в орден, к магистру, с разъяснениями и настоятельной просьбой о помощи. Новгородским послам наказали объяснить, что в случае победы Москвы немецкий двор в Новгороде неизбежно закроют.

Меж тем Данило Холмский во главе передового полка взял изгоном Русу, лишенную крепостных стен, и, не позволяя останавливаться даже для грабежа города, пошел далее. Седьмого июля в Коростыни, близь устья Шелони, он сделал привал. К Холмскому привели монаха из Клопской обители, сообщившего, что новгородское войско без дела стоит в окрестностях города, а выдвинутый к Шелони владычень полк согласно приказу архиепископа не пойдет биться с Москвой. Холмский с Федором Давыдовичем, посовещавшись, решили дать отдых ратникам, которые по три дня не снимали броней и почти не слезали с седел.

В это время малая судовая рать, снаряженная Марфой Борецкой, плыла вдоль берега. Новгородцы первые заметили москвичей.

— Никак ратные тамо? Коней вона сколь и стяги видать!— доложил дозорный Матвею Потафьеву.

— Какие ратные? Наших быть не должно!— живо отозвался воевода.

— И стяги не наши!— подтвердил кормчий, на диво зоркий мужик.

— Москвичи!

— Никак уже Холмский у Коростыня?— присвистнул Матвей, вглядевшись: — Видать, Руса взята, дождались воеводы! Повидь, кони оседланы у их?

— Не, отдыхают!

— Ударим, други? Ежели наша конная рать пособит, грянет с тыла — не видать им Москвы!

Матвей тут же послал двоих мужиков в легком челноке к берегу, предупредить конный владычный полк. Случай был дорогой! Лодьи, меж тем повернув, шли под парусами и на веслах к берегу.

Гонцами вызвались Потанька с Иваном.

— Гоните во весь дух, мужики!— напутствовал их Матвей.— Ждать не будем!

Остроносый челнок полетел к берегу. Оба, и Иван и Потаня, гресть были мастера, а тут дело шло о жизни с лишком двух

тысяч мужиков, и у приятелей аж весла гнулись в руках. Ходом выскочили на песок, подхватив, вынесли челнок и, не переводя дух, понеслись в гору, где, спрятавшись в негустой тени сосен, дремали, сидя в седлах, дозорные владычного полка.

— Воеводу, живо! Спите тут! — заорал Потанька. — Живо, живо!

— От рати посланы! — подтвердил Иван.

Один из дозорных рысью потрусил куда-то назад, Потанька с Иваном, возбужденные, перебивая друг друга, рассказывали ратникам, с чем посланы, указывали на озеро, на лодьи, не замечая каменных лиц сторожи.

Не скоро воротился дозорный, с ним кто-то в богатом панцире. Не доезжая, взглянул из-под руки в коростынскую сторону, и шагом подъехал к гонцам.

— Чего медлите тут! — напустился Потанька на конного.

— Потише кричи, — ответил тот, — я не воевода, а от его послан!

— Москвичи в Коростыни! — запальчиво возразил Потанька.

Тут и Иван вмешался:

— Наши с берега нападут, а вам Матвей Потафьев, воевода наш, велел с тыла зайтить, ударить, да не медля, пока не прочнулись!

— Какой он воевода, ваш Матвей, владычному полку приказывать! — ответил конный спесиво. — Не согласимши творит, пущай сам и ответ держит!

— Мужики, вы что? Христос с вами! — ахнул Потанька, посерев лицом. — Простите, коли молвил не так, скорей же надо!

— Владыка приказал на московского князя руки не вздынуть! — сурово, отворачивая глаза, ответил ратник в дорогой кольчуге и круто поворотил коня. Потанька, освирепев, схватил его за стремя:

— Пес! Иуда!

Тот, не оборачиваясь, хлестнул коня, лошадь прянула, свалив и протащив скомороха за собою. Обеспамятев, Потанька грозил кулаками, плевался, плакал, кричал проклятия.

Вдалеке, темные на сверкающей чешуе озера, новгородские лодьи уже подчаливали к берегу. Владычные дозорные вдруг разом поворотили коней и ускакали. Потанька умолк, задохнувшись, понуро поворотился к молчаливо стоявшему Ивану.

— Что делать будем?

— Нать к нашим! — угрюмо сказал Иван.

Скоморох, тут, на безлюдьи, порастерявший свою всегдашнюю хвастливую удаль, сиротливо и зябко повел плечами:

— Ну, а я... прости, Ванюха, на смерть не иду. Да и ты оставайсе, гиблое наше дело. Знали бы!

Иван мотнул головой, сказал сурово:

— Помоги спихнуть лодью!

Потанька с готовностью бросился за ним к берегу. Руки у него тряслись.

Лодка уже качалась на волне. Потанька поднял жалкие глаза. Черные его кудри развились от пота, прилипли к щекам.

— Вань! Оставь!— выдохнул он безнадежно.

— Там мужики погинут, сказать хоть!— отмолвил Иван, устраивая весла в уключинах. Сильным гребком он вывел челнок.

— Прости!— крикнул Потанька с берега

— Бог простит!— отозвался Иван.

Скоморох стоял, пока челнок не стал черною мухой на слепящем блеске воды, потом, махнув в отчаянье рукой, не глядя ни на далекую Коростынь, ни на маячивших у ближних сосен конных владычных ратников, быстро, ярея от шага, пошел в сторону Новгорода.

Матвеевы пешцы, выскакивая из лодей, кинулись к московскому стану так дружно, что сперва и не почуялось, что их мало. Москвичи, которых было раз в пять больше, переполошились. Кто имал и седлал коня, кто искал шелом, возился с броньюо, кто уже было дернул в кусты. Малочисленная сторожа валилась под новгородскими топорами. Но Холмский, успев вздеть кольчужный панцирь и вскочить на коня, сам кинулся в гущу сечи, грозным зыком останавливая бегущих. Бывалые ратники скоро приходили в себя, оборужались, вскакивали в седла, ровняли строй. Федор Давыдович уже повел часть боярской дружины в тыл новгородцам. Необученные пешцы стеснились в кучу, попятились. И в эту-то пору, подчалив к берегу, Иван передал горькую весть, которая, подобно пожару, обежала разом все войско. Кто был неохочь воевать, тотчас кинулся в бег, попав под копыта коней засадной рати Федора Давыдовича. Холмский, сплотив ряды, ударил в лоб, началась рубка. Матвей Потафьев, в драке потеряв шелом, пал с рассеченным черепом. Купцы сдавались без бою. Маленькая кучка упорных, отбитая от лодей, наконец сложила оружие.

Тут же, от полоненных, Холмский узнал про вторую судовую рать, ушедшую по Ловати. Следовало немедля разбить ее, не пропуская к Демону. Но тогда что делать с полоном?

Наклонясь с седла, Холмский подозвал сотенного и отдал приказание. Дворянин смятенно взглянул на князя, не решаясь переспросить, увидел гневно сведенные брови, захлопотал, понял.

Полоняников начали разводить в две череды, тех, кто сдался сам,— в одну сторону, схваченных на брани — в другую. Добровольно сдавшимся дали в руки по ножу. Московские ратники,

отворачивая лица, начали копьями подталкивать медливших новгородских мужиков друг к другу. Первый вопль, первая кровь... и пошло волной. Ругань, вой, проклятия. Какой-то дюжий мужик от ножевого удара по лицу рванулся так, что лопнул кожаный ремень на локтях, кинулся на изувечившего, вцепился тому в горло, поливая кровью, грыз зубами за лицо. Москвич, бледнея, бил его копьем в спину, кровь брызгала вверх от каждого удара, а тот все мял, увечил озверело обидчика, пока не умер, так и вцепившись в чужое горло.

Иван смотрел, еще не понимая, на подступающего к нему с растерянным лицом и трясущимися руками мужика, и вдруг весь вытянулся, рванулся в веревках: Наум Трифоныч! Купец, знакомец, тот, которому должон еще по грамоте! Не сразу узнал. И тот не сразу понял, что перед ним Иван, должник его старый. Побелел, попятился, тотчас весь изогнувшись от вошедшего в спину копейного острия, дернулся вперед и вдруг с ожесточившимся лицом вздел нож и, закусив губу, кинулся к Ивану. Нож со зловещим хрустом перерезал носовой хрящ. Уже обеспамятев, купец кромсал по губам, ударяя в зубы. Кровавый плевок висел у него на бороде. Уронив нож, теряя сознание, он попятился, теперь уже не встречая копейного острия, не в силах оторвать расширенных глаз от обезображенного им лица земляка.

Яркая кровь хлестала на истоптанный хрусткий песок, валилась круглыми шлепками, как красные оладьи, и, дымясь, свертывалась, темнея на жаре. Светлые на диком, почерневшем, обезображенном лице глаза мужиков, над кровавою путаницей слившихся воедино рта, усов и бороды, матерная брань, заполошный визг, вопль, стоны... Холмский глядел, окаменев лицом. Нечленораздельные крики мужиков летели, казалось, мимо его ушей, не задевая воеводу.

Внезапно он узрел зеркальный блеск новгородского панциря в руках одного из дворян, приметив разом восхищение боярского сына и усмешку окровавленного мужика. Вскипев, Холмский шагнул, рванувшись рукой к рукояти меча, повел оча́ми по этому кругу обезображенных красным безносых лиц.

— В воду! — завидя страх боярчонка, пояснил: — Брони — в воду! Не нужны!

Недоумение и сожаление отразились во многих глазах. Князь дрогнул бровью:

— Ай у боярских детей московских своих нет?!

Железо, булькая, уходило на дно, и, отмечая всплески, как удары, Холмский ждал, недвижно сжимая рукоять меча.

Вот он, Новгород! Мужики, чернь — в боярских доспехах!

Рожки проиграли выступление. Москвичи ряд за рядом выезжали из Коростыня догонять вторую новгородскую пешую

рать, что ушла к Демону. А владычная конница все маячила на том берегу, не ведая или не желая ведать, что тут происходит.

...Они шли, падая, пробираясь кустами, хоронясь друг друга, и те и другие,— и те, что резали, и те, кого резали,— одинаково пряча пустые, опозоренные глаза, а перед ними летела в Новгород страшная весть, и уже собирались толпы народа на дорогах, и подымался у городских ворот надрывный бабий крик.

Анна тоже ждала за воротами. Истомилась, бросалась к каждому: тот? другой? Мужики шли все страшные, и все — похожие один на одного. До вечера искала, раз пять обманывалась, с падающим сердцем подбегала — нет, опять не Иван! Неужто убит?

Под конец она уже только стояла, смотрела жалостливо, опустив руки. Рядом жонки причитали, охали, иным делалось дурно, иные плакали навзрыд. Вдруг безносый мужик схватил ее за рукав. Анна дернулась от него, вгляделась, узнала и — завопила в голос.

Ивана шатало от слабости. Последние версты он только и держался тем, что увидит своих. Анна поняла тотчас, охватила, закинула Иванову руку себе на плечо и, продолжая поливать слезами пропитанную потом, грязью и кровью вонючую рубаху мужа, поволокла его домой. В дороге, сбивчиво, захлебываясь слезами, рассказывала, что дочь Ониська здорова и ждет отца, что она пустила в дом семью рушан, деда, жонку, сноху дедову и троих маленьких, что рушане не помешают, нынче тесно у всех, и надо как-то помогать людям.

Кое-как добрели до дому. Анна с помощью рушанки Фени стянула с мужа задубелую рубаху, обмыла, напоила горячим молоком. Пришел тесть, Конон Киприянов, костерез Иван кое-как рассказал, как все содеялось. Конон развернул принесенную тряпицу, достал ножички и иглу, осмотрел раны, буркнул:

— Терпи! — ловко и быстро обрезал загнившие лохмотья кожи губ. — Теперь всю жисть смеятьце будешь! — сказал сурово и добавил: — Головы хоть не лишили! Кто резал, Наум, говоришь? Трифонов? Ну, мы ему... Вечером, попозже, встрену. Памяти дадим. Ты молци! Нюрка, глянь-ко!

Конон все так же мрачно приготовил лекарство. Сам смазал Ивана, показывая дочери, что ей делать потом.

— Мочить особо не нать, а так, промывай изредка.

Скоты... Своих же сами. Да, не тот уже Новый Город!

Он потер взлысый лоб, собрал в тряпку свой лекарский прибор, посидел еще немного, молча глядя на задремывающего зятя, и тяжело поднялся. Анна вышла проводить отца. В сенях он остановился, тронул дочь за плечо:

— Ты вот чего... Рушане-то объедят тя, поди... Ну, дак... Когда и присылывай Ониську-то! Кусок лишний съест, все жива

будет... Жаль мужика! Добрый он у тебя, талана вот только нет. Даве Потанька-скоморох сказывал, как у их дело створилось. Бежать бы ему тоже, дак и то сказать! Стыд своих бросить было! Хаять его тоже неча...

И только когда ропот, и вопль, и стенание наполнили Новгород, а воевод большого полка начали громко поносить на улицах, Василий Казимер решился, наконец, на ответные военные меры, послал вперед разъезды и объявил о выступлении.

Еремей Сухощек, узнав о причинах коростынского разгрома, кинулся во владычный полк, в ярости своею волей снял воеводу, тех, что отказали Матвеевым гонцам, отняв брони, посадил в железа, жестоко изругал всех остальных христопродавцами, велел забыть приказы Феофила и сам стал во главе рати.

Гонцы сообщили Казимеру с Борецким, что Холмский ушел назад, к Русе, но тут, наконец, выступили псковичи (было уже десятое июля), и на военном совете решено было попытаться исполнить прежде намеченное: идти встречу псковичам, разбить их до подхода московских ратей и прорываться затем в литовские пределы на соединение с королем Казимиром, чтобы уже общими силами обрушиться на Москву. Огромное и неповоротливое новгородское войско тяжело поднялось и растянулось по Псковской дороге.

Иван Савелков не любил задумываться. Сказано — сделано. Перессорившись с приятелями, Дмитрием Борецким и Василием Селезневым: «Ликуйтесь со своим Казимером!» — бросил он им, уходя, Савелков, почти на свой страх и риск собрал вольную дружину из своих и Богдановых молодцов и охочих горожан, что умели сидеть на коне, и повел ее лужским путем, встречу псковичам, что делали набеги на порубежные села.

Иван был и не глуп к тому же. Вперед выслал дозоры, шел быстро, по дороге балагурил, веселил людей. На ночь стали уже под Лугою, в поле, у леска. Живо наделали шалашей вдоль реки, развели дымокуры. В котлах, что везли притороченными к седлам запасных коней — колесного обоза Савелков не взял, незачем,— булькало варево. Похлебав, Иван обошел костры, нарядил сторожу. Пересмеиваясь то с одним, то с другим, проверил, все ли в порядке. Дружный хохот, живой разговор — то и надо!

Дошел до крайнего шатра, до последнего огня и остоялся, глядя в летний прозрачный сумрак. Прислушался, как в тишине ноют комары и хрупают травой, глухо переминаясь, стреноженные кони. Вдруг понял, что шутил уже насильно — шутковать-то было нечего. Псков, и тот против. Не сегодня-завтра главная псковская сила выступит — одни осталися! Вспомнив о Казимере, опять ощутил глухое раздражение: и чего Васька с Мить-

кой дурака слушают! Ждут у моря погоды. Василь Василича услали за Волок — тот хоть рати обык водить, понимает, что к чему.

Подошел гонец:

— Впереди чисто, Иван Кузьмич!

— Ладно, утро вечера мудренее!

Распорядившись накормить мужика, Иван полез в шатер. Чем-чем, а бессонницей он не страдал никогда.

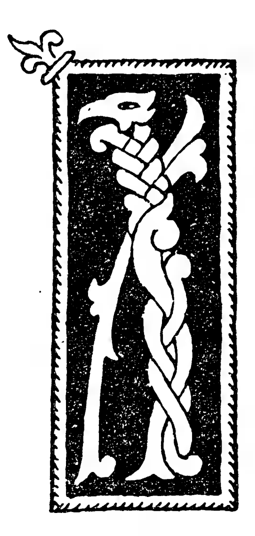
Псковичей — охочую рать воевод Манухина-Сюйгина и дьяка Ивана — обнаружили на восьмой день, за Лютою. Оплошкой они не выставили сторожи, и Савелков, не мешкая, воспользовался этим.

Подошли почти к кострам. С гиканьем вылетели кони из леса. Новгородцы рубили, опрокидывая котлы с варевом, топча костры. Раненые заползали в кусты. Псковичи бежали, побросав все. Победа была стремительной. Несколько убитых и весь разгромленный стан достались в добычу — с пищалями, стягами, ратной справой.

Теперь гнать бы и гнать, добить до конца, набрать полону, но не оторвать своих от грабежа. Попробуй запрети зорить псковский стан — самого разнесут! А тут догнал гонец: наконец выступили главные силы, подошли москвичи, верно, бой будет, и Савелков, ругаясь, повернул назад. Мертвых и то не схоронили. Псковичи тоже лопухи — могли ударить с тыла. Иван с трудом построил рать. Один из молодцов все-таки смылся. Воротился добирать добро, конечно попал в полон, дурак,

Он не знал еще ни о коростынском побоище седьмого июля, ни о Шелонском сражении четырнадцатого, когда подходил с дружиной вечером этого дня к Сольцам.

ГЛАВА 16



олмский, нежданно напав на вторую судовую рать, отбил ее, оттеснив от Демона, и уже хотел осадить город, когда пришел приказ великого князя: идти не мешкая назад, к Шелони, стеречь новгородскую рать, а осаду Демона передать князю Михаилу Андреичу Верейскому, которого Иван таким образом вознаграждал за службу. (За новгородский счет и за счет Холмского, ибо богатая добыча с Демона уплывала у него из рук.)

Холмский, не мешкая и не споря, повернул к Шелони. В пути от клопских монахов, посланных отай настоятелем разыскать великокняжеские войска, Холмский узнал о выступлении главной новгородской рати встречу псковичам. Опытный воевода, он тотчас понял и без подсказки Федора Давыдовича (который как доверенный боярин Ивана хорошо знал о колебаниях псковичей), что встречи один на один новгородской и псковской рати, чем бы она ни кончилась, допускать не стоило. Холмский разослал гонцов во все стороны собирать разъехавшиеся для грабежа отряды, а сам устремился к устью Шелони. Тринадцатого вечером у Коростыня его догнал гонец Стриги-Оболенского, который сообщил приятную весть: Стрига посылал Холмскому татарский отряд со стягами и бунчуками, который должен был прибыть к нему под утро, через несколько часов.

Новгородская рать как раз миновала устье Шелони, когда на другом берегу показались москвичи. Было утро недели — воскресного дня.

Оба войска шли в сторону Сольцы по противоположным берегам Шелони, почти на виду друг у друга. Кое-где дорога сближалась настолько, что хватило бы одного перестрела из лука. Отдельные задиры подъезжали к самой воде.

— Шухло московское! Суконники! Бояра в лаптях! Воеводы калачные! — кричали с этого берега.

Москвичи изредка отругивались. Их было гораздо меньше, чем новгородцев, на глаз — вчетверо, а то и впятеро, и это при-

бавляло храбрости смельчакам. Холмский к тому же вел рать, обходя открытые места, чтобы она казалась еще меньшей, чем на самом деле. Его сильно беспокоила задержка разосланных в зажитье отрядов.

Выше Мшаги, переправа через которую задержала новгородцев, Холмскому удалось обогнать вражеский полк. Река впереди сворачивала к югу, а дорога на Псков, по которой шла новгородская рать, отходила к северу. Лучшего места для переправы не выдумаешь. Новгородцы даже не послали дозорных вперед, так как в этих местах никогда не бывало бродов. Но Шелонь сильно обмелела из-за сухости, и броды открылись в самых неожиданных местах.

Запыхавшийся ратник подскакал к Холмскому:

— Нашел брод! Коню по грудь!

— Все промерил?

— На той стороне был!

— Смотри, головой ответишь!

— Не, дно твердо, зыбунов нету!

— Веди!

Конница с ходу, не останавливаясь, скатывалась по пологому песчаному спуску берега, кони фыркали, окунаясь в воду. Передовые уже выбирались на ту сторону. К подходу новгородского полка Холмский с Федором Давыдовичем успели переправить всю свою рать через Шелонь, завести в лес засадный татарский отряд, час назад как прискакавший на взмыленных конях от Русы, и выстроить полки поперек дороги, вдоль речушки Дрянь, песчаные берега которой не могли помешать легкой московской коннице.

Еще не все отосланные отряды были собраны, и Холмский послал гонца для переговоров к новгородцам, не без умысла громко предлагая отложить битву до понедельника.

И малое на глаз количество москвичей, и это предложение, искрой пробежавшее по рядам и показавшееся признаком неуверенности, привело в раж истомившихся новгородских житьих. К воеводам, собравшимся под стягом, подскакивали, ломая строй, комонные:

— Веди, цего там! Издержались, стоючи! Училькой раз отлагать?! Ударимсе ныне! Месяц стояли! Хотя зипунов добыть! — орали десятки глоток.

Какой-то молодой житий врезался в самый круг боярской воеводской господы, осатанело крича:

— Вятшим хорошо тянуть, а я человек молодой, истерялся конем и доспехом!

Казимеровым молодцам с трудом удавалось оттеснять вышедшую из повиновения толпу. Сам Василий Казимер только озирался затравленным волком по сторонам. Выручил Дмитрий

Борецкий. Он властно, так, что толпа притихла, зыкнул на нее:

— Кого вести? Сброд?! Али воев ратных?! Назад, в полки! Назад, говорю! Боя ждете? Будет бой! Не умедлим!

Житьи отхлынули, следя издали за своими воеводами.

Москвича гонца тотчас отослали назад, отвергнув перемирие. Борецкий оглядел соратников. Лица у иных побледнели. Сказал угрюмо:

— Сомнем!

— Продавим их, всею силою ударить ежели! — поддержал Дмитрия Иван Кузьмин.

Казимер молча вертел шеей. Лицо его под низко надвинутым шеломом было мокро от пота.

— Распорядись, Василий Лексаныч! — сощуриваясь, кинул ему высоким голосом Губа-Селезнев. Конь под Селезневым плясал, беспокойно переступая тонкими ногами, и, заворачивая шею, грыз удила.— Клином станем?!

Вопрос прозвучал утверждением. Давно уже новгородцы не водили больших ратей, и давно уже повелось меж тем, да как-то и разумелось само собою, что становиться надо, ежели большой рати, непременно по-рыцарски, «свиньей», хоть никто и не мог бы сказать, чем такой строй предпочтительнее. Впрочем, орущая, лишь на время укрощенная толпа не давала времени обсудить толком грядущее сражение и толком разоставить полки.

— Вали! Друг за другом! Всею громадой! — подзуживали молодые.

Гонцы с приказами понеслись в разные стороны. Кузьмин, спесиво выпячивая бороду, поскакал к плотничанам, на правое крыло рати, торопить Арзубьева. Еремей Сухощек — на левое, во владычный полк, который тянулся позади и посторонь прочих, явно не ревнуя о сече. Григорий Тучин с Федором Борецким ускакали к своей Неревской рати подторопить отстающих.

Полки под кончанскими стягами: славенского Зверя, плотницкого Вседержителя, неревского Орла, прусских — от Загородья и Людина — Всадника и Воина, зашевелились и стали стягиваться в боевые порядки. Неревский стяг выдвинулся в чело рати. Бояре в тяжелых блистающих доспехах на окольчуженных конях выезжали вперед, строились на немецкий лад, броневым клином, чтобы ударить в середину московского войска.

Когда-то новгородские рати громили немецкую «свинью» боковыми охватами пешцев и стремительными прорывами в тыл конных княжеских дружин. С какой поры и почему решили они сами избирать некогда битый ими же боевой строй? Не с того ли времени, как исчезла у бояр уверенность в дружной поддержке ремесленников, а у ремесленников — вера в то, что бояре защищают и их интересы?

Ни Казимер, ни Селезнев, ни Борецкий не подумали почему-то о том, что москвичи, невзирая на неравенство сил, могут напасть первыми.

Селезнев, Борецкий, Григорий Берденев и один из Михайловых стали рядом, опустив тяжелые копья. Вострубили трубы. Был полдень. Новгородская рать двигнулась всею громадой и устремилась в бой.

Нападающих сразу же постигла неудача. Окольчуженные кони с седоками в тяжелом вооружении увязли в песке. Борецкий почувствовал это по сбившемуся, ставшему судорожным скоку коня и роковому, подкатывающему с затылка ощущению тесноты (от слитного дыхания конского и как бы сгустившемуся разом гомону и звону железа). Он рванул коня, тот, взоржав, грузно встал на дыбы, еще глубже уйдя в песок задними копытами. Чье-то копье скользом проскрежетало по крупу его скакуна, к счастью, не прорвав брони, и конь судорожно скакнул, вновь увязнув всеми четырьмя ногами.

«Клин» замедлил движение. Задние налетали на передних. Ряды смешались. В тучах пыли погасли знамена. Борецкий с запозданием подумал, что москвичей надо было, наоборот, взять в кольцо. Но он уже ничего не мог сделать, не мог даже обернуться, чтобы отдать приказ, и только продолжал неровным коротким скоком сближаться с плохо различимым сквозь пыль московским строем, сжимая в руке длинное рыцарское копье. И тут-то Холмский и Федор Давыдович одновременно, с двух сторон, подали знак к наступлению. До слуха Дмитрия долетел режущий звук дудок. Тотчас легкие кони москвичей стремительно перенеслись через ручей, разбив его копытами в тысячи сверкающих искр, и, все убыстряя и убыстряя бег, в вихрях песка поскакали навстречу новгородской рати.

— Москва-а-а!

Донесся нарастающий клич. Иные из москвичей, как обыкли в походах, кричали монгольское, перенятое от татар:

— Хурра-а! Урра-а!

Ратники стреляли на скаку, и сплоченный конный таран боярского ополчения попал сразу под ливень стрел, на мгновение затмивших свет, в уши ворвался их зловещий посвист. Новгородцы от неожиданности попятились, стеснясь еще больше, и выставили копья. Но пригнувшиеся к седлам москвичи замелькали перед самыми мордами коней, обтекая боярскую дружину с боков и проскакивая мимо рассыпным строем.

— Отсекают! — срывая голос, крикнул Борецкому Селезнев в самое ухо.

— Теперь вперед! Только вперед! — крикнул в ответ Дмитрий, ринувшись встречу врагу. Где-то сзади отстали Берденев с Михайловым. Совсем рядом показались московские ратники.

Дмитрий шпорами сквозь кольчугу изо всех сил ударил по бокам взмыленного коня и рванулся на них. Конь споткнулся, но выровнялся. Копье, вонзившись во что-то, затрещало, и Дмитрий выпустил древко, тут же с облегченной яростной радостью вырвав из ножен клинок дорогого меча.

— Аа-а-а! — летело в уши.

Он рубанул и еще, и еще... Ряды сшиблись. Дело, наконец, дошло до мечей, и мертвые стали валиться с обеих сторон.

Василий Казимер, хоть и был в панике, в ратном деле кое-что понимал. Та же мысль, что возникла у Дмитрия, почти одновременно пришла и к нему в голову, когда он узрел, что продавить с ходу московский строй не удастся. Схватив за плечо своего дворского, он прокричал ему:

— Скачи в Славенский полк, пусть заходят сбоку, сбоку и в тыл! — он показал рукой круговращательно.— И Еремея поторопи, пущай тож обойдет! — Остатки гордости не позволили ему тут же, спасая жизнь, рвануться следом за дворским.

Рыхлая громада новгородской конницы меж тем топталась в облаке пыли, почти не двигаясь. Огибавшие ее по берегу москвичи осыпали новгородский полк стрелами, целясь в коней. Раненые кони лягались и вставали на дыбы, увеличивая сумятицу. Никто не видел, что впереди. Воеводы только сдерживали ратных, не наступая, ибо не знали, куда наступать — стремительные москвичи были со всех сторон.

Казимеров дворский, выбравшись из гущи, поскакал вдоль нестройных рядов Неревского полка. Казалось, гомон и рев догоняют его сзади. Стрелы изредка посвистывали над головой. Рать славлян топталась, не двигаясь с места.

— Почто стоите?! — крикнул дворский на подскоке. Голос его почти пропал в многоголосом гуле и ржании коней.

— Почто, почто! — озлясь, заорал ему в ответ боярин в граненом высоком шеломе, без нужды дергая повода, так что конь всплясывал, задирая морду и обнажая багряные десны.— Куды наступать-то? Своих давить? Плотничана-ить вспятились!

Боярин хитрил. Полк явно стоял без движения, просто так. Дворский с ходу врезался в ряды:

— Чего медлите тут?!

Ратники переминались, отводили глаза.

— Кто его знат! Мы не знам! — ответил, морщась, пожилой, мирного вида ремесленник в не по росту широком кожаном кояре и старом клепаном шеломе. Давишний боярин подскакал сзади:

— Почто владычные стоят?!

— Передовой полк бьется! — возразил запальчиво дворский.— Казимер велел вашим сбоку и в тыл зайтить!

— Ищи воеводу! — засопев, отмолвил боярин.

Шум, стихший было, опять разросся, приблизившись.

— Москвичи!

Что-то створилось. Боярин, махнув рукой, ускакал.

— А-а-а! Москва-а-а! — неслось издали.

— Боярина какого спроси, цто мы? Нам не приказано! — загомонили мужики.— Каки мы ратные, силой набраны!

Дворский, уже с отчаяньем, вновь поскакал вдоль неровного строя славлян, разыскивая невидимое в пыли знамя и воевод. Лишь бы успеть!

В это время владычный полк тронулся, наконец, с места, видимо, Еремей добился своего, и, все убыстряя ход, поскакал, вздымая облака иссохшей, перетолоченной в пыль земли.

Впереди тоже стояли без движения ратные, и владычному полку, чтобы не врезаться в своих, пришлось взять правее, в прорыв между славенской и прусскою загородскою ратью. Ратники нестройно растягивались, огибая своих. Передовые, небольшая кучка, плотно скакали с Еремеем, прочие начинали отставать. То тут, то там, словно нечаянно, запинался конь, кто-то осаживал, дергая повода. Нестройный гул от топота копыт заглушал выкрики. Далеко впереди то взмывал, то глох рев и лязг сечи, и непонятно было, свои ли, москвичи ли то, лишь порою прорывалось дружное: «Москва-а-а!», — и тогда становилось ясно, где какие рати.

Владычный полк, растянувшись, загородил дорогу плотничанам, и Кузьмин с Арзубьевым принуждены были остановить своих, пропуская ражих владычных конников. Все как на подбор: в бронях, зеркальных шеломах, на хороших конях, они проходили ленивой рысью, недовольно поглядывая по сторонам и все больше и больше растягиваясь.

Вот голова полка, ведомая Еремеем,— он не стал ждать отстающих,— вступила в дело и начала теснить москвичей. Военное счастье заколебалось. Но Даниил Холмский, вовремя усмотрев замятню, обрушился на нестойких архиепископских воев с отборной ратью, смял и погнал бегущих на боярский клин. Еремей, кинувшийся за подмогой, попал в гущу московской рати. Задние владычного полка вместо того, чтобы устремиться на Холмского, тотчас стали поворачивать коней, налетая на своих же.

Неразбериха стояла полная, и тут одно слово легко могло решить все, и это слово пронеслось. Сполошный крик: «Татары!» — разом порушил рать. Желтые татарские стяги стояли над лесом.

Пока передовые врубались в московский строй, тут кинулись назад, смешав своих же. Владычень полк целиком повернул на бег, оставив Еремея с несколькими верными ему ратниками. Те, что только утром кричали, требуя наступления, теперь круто осаживали коней, поворачивая к Новгороду. Роковое месячное

стояние без дела, насильственный набор ремесленников, рознь славлян с неревлянами, бояр с житьими, а житьих с черным народом, приказы Феофила — все тут сказалось разом.

Дмитрий Борецкий врубился во вражеские ряды и уже пробивался к Даниле Холмскому, когда страшный удар в плечо сбоку и сзади, прорубив кольчугу, чуть не сбросил его с седла. Правая рука, выронившая клинок, повисла плетью. Борецкий оглянулся, ища подмоги, но кругом были москвичи. Конь под Селезневым на его глазах повалился, Василий вскочил, чудом не запутавшись в стремени, но татарский аркан упал ему на плечи, и Василия, сбив с ног, поволокли по земле. Борецкий вырвался и, одолевая боль, поскакал воротить полки. Великие бояре на глазах бросали сабли, сдавались в плен.

«Часу не стояли!» — подумал он зло. Горсть боярской дружины, еще ощетиненной копьями, теряла строй. Под стрелами пятились кони. С горы к ним прорывался, натужно крича, Киприан Арзубьев с негустою толпой плотницких житьих. Борецкий левою рукой неумело махал шестопером, расшвыривая москвичей. Грянулся конь, и от удара о землю у Дмитрия затмилось в глазах. Он уже не видал, как взяли Арзубьева, как слагали оружие последние ратники окруженной боярской дружины.

Неревляне, двинувшиеся вслед передовому боярскому полку, были остановлены встречным натиском москвичей. Слишком тесные порядки и неумение ремесленников толком держаться в седлах не давали возможности развернуть полк к бою. Большая часть рати недвижно стояла под стрелами, с трудом удерживая бесившихся коней, которые уже от посвиста стрел прижимали уши и храпели, а, будучи ранеными, взвивались или падали, увлекая седоков за собою. Кольчужные брони на конях были только у немногих бояр. Полк погибал, редко и неумело отстреливаясь.

Григорий Тучин, как только полк остановился, понял прежде прочих, что происходит. Но, пока он выпутывался из тесноты и выводил свою дружину, время было упущено. Московские ратники уже обошли полк и с той и с другой стороны.

Растерявшись (где-то внутри мгновенно похолодело) и разом озлясь на себя за эту растерянность, так что кровь прилила в голову, Григорий крикнул: «Вперед!» — и рванулся в гущу москвичей. Длинные просверки сабель зазмеились вокруг, посыпались удары по щиту, прямь и скользом. Он опять растерялся, на миг прикрыв глаза и шатнувшись назад. Скоп москвичей, рассыпаясь, пролетел мимо. Григорий снова ринулся, но жеребец резко остоялся, дернувшись и взоржав от удара шпор. Тучин в горячке не сразу понял, что стремянный держит за повод его коня.

— Отдай! На помочь! — в гневе он оглянулся на бледные лица дружины. — За мной!

Пришпорив коня, с опущенным копьем Григорий поскакал туда, где, окруженная со всех сторон, гибла передовая рать. Ему наперерез летели легкоконные московские лучники. Дружина за спиной топотала вразброд, отставая. Он обернулся на скаку:

— За мной!

Ратники заспешили, неохотно подтягиваясь. Стрела ударила Григория в шелом, мало не в лицо. Зазвенело в голове. Москвич увернулся от удара копья. Тучин, не сумев повернуть, пронесся мимо. За спиной во вскриках рассыпался новгородский строй. На Тучина набросились сразу двое, один ловко отбил копье, обрубив наконечник. Григорий, бросив древко и обороняясь щитом от удара кривой татарской сабли, вырвал меч и рубанул вкось, клинок столкнулся с клинком, раз и два, и три. Кони плясали. Перегнувшись, Тучин, остервенясь, хватил второго — и тотчас у самого потемнело в глазах от удара по шелому. Вздев за повод коня, он отбил второй удар (чуя, что дружина его уже повернула и он один среди москвичей), бросил коня вперед, яростно рубанул, и на этот раз в мягкое. Вывернув коня, Тучин бросился было на второго, но туча стрел затмила ему свет — только панцирь спас. Раненый конь взвился на дыбы и пошел судорожным скоком. Бледное лицо слуги, вновь схватившего повод, оказалось рядом.

— Беда! — прокричал он в ухо Тучину.— Окружили!

Над головой просвистел аркан. Стремянный вовремя отдернул Григория. Еще один ратник спешил им на переймы. В стыде за то, что приходится скакать назад (расквитаться хоть с одним!), он кинулся на москвича, но тот прянул в сторону, и, опять едва уйдя от аркана, Григорий понял, что те просто умеют драться, а они — и он тоже — нет.

Кругом бежали. Оглянувшись, он увидел только четверых из своей дружины, и у тех в глазах был ужас смертный. Следовало остановить бегущих, и Тучин попытался было это сделать, но его отбросили и чуть не сбили с коня. Морщась, кусая губы от бессилия, он глядел на этот позорный разгром и, оборотясь, обнаружил рядом только одного стремянного. Криво усмехнувшись, Тучин приказал ему:

— В Новгород!

Во втором часу дня уже никто не сопротивлялся. Бежали и сдавались, бросая оружие. Бояра обрезали брони — полосовали лезвиями кожаные завязки лат, скидывая тяжелое железо, чтобы облегчить коней. Ремесленный люд, доскакав до лесу, валился с седел, разбегаясь по кустам. Москвичи безжалостно рубили бегущих. Уже вели полоняников. Кое-где начинали обдирать доспехи с мертвецов.

Захваченные стяги торжественно проводили вдоль войска. Ратники, подъезжая, прикладывались к полотнищам, целовали святые лики новгородских знамен.

— Сам бог за Москву!

Победа была полной. Вместе с обозом Холмскому достался и противень договорной грамоты Новгорода Великого с королем Казимиром, что для Ивана Третьего было самой ценной добычей.

Савелков поспел к третьему часу. Нападать было бессмысленно. Хоронясь за лесом, повел своих к городу, по пути собирая бегущих. Подобрали пешего окровавленного боярина, оказался Никита Есифов. От него узнали о том, что Кузьма Грузов и многие плотничане взяты в плен. Называли и убитых. Никита поведал, что Сергея прикончили на его глазах. Тот с криком кинулся на копья москвичей и был сражен наповал. Позже, на устье, не доезжая Голина, наткнулись на трех москвичей, осадивших одинокого новгородского ратника. Увидев отряд Савелкова, москвичи пустились наутек. Ратник был весь черен от грязи и пыли и шатался вместе с конем. Только по панцирю Савелков признал Григория Тучина.

К вечеру москвичи прекратили погоню. По тропкам и по лесу, обочь дороги, шли, ковыляли, ползли, сторожко выбираясь из кустов, новгородские ратники. Многие в поисках спасения уходили из города, забивались в леса, пробирались к далеким глухим деревушкам — уже и в прочность новгородских стен не верилось.

Вечером Холмский послал великому князю донесение о победе с одним из особо отличившихся в бою боярских детей, Иваном Замятней. Гонца ждала почетная награда.

Стали станом. Напасть на Новгород малыми силами, с наворопа, Холмский не рисковал. К тому же дружинникам надо было дать, наконец, ополониться. Коней, оружие, пленников, платье с убитых дорвавшиеся дворяне рвали друг у друга из рук. Впрочем, добра хватало. Мало кто остался без второго коня, одежды и дорогого оружия.

Даниил Холмский мог торжествовать. По сути он один выиграл всю войну.

Иван получил донесение Данилы Холмского на четвертый день, в Яжелбицах, и тотчас двинулся к Русе, куда приказал привести захваченных Холмским полоненных новгородских бояр.

...Гонец промчался в облаке пыли на запаленно-храпящем коне. Промчался, клонясь к седельной луке, будто уходя от удара копья. Так никогда не скачут победители. У ворот всадник бросил несколько слов стороже и, не останавливаясь, полетел дальше, в Неревский конец, к терему Марфы Борецкой.

В город вошла беда. Еще никто ничего не ведал, еще воротная сторожа не успела оповестить и ближайших, а уже кучки народа начали собираться на улицах. Беда висела в воздухе струею неосевшей пыли, пронесшимся по мостовой тревожным одиноким топотом.

Борецкая заслышала шум во дворе и, еще не разобрав толком, по расширенным глазам ворвавшейся Пиши поняла: беда! Накинув плат, она стремительно сбежала по ступеням и, глянув на вестника, уже поняла все.

— Разбиты! («Господи, убиты, наверное!»)

Все сдвинулось и потекло в сторону, медленно опрокидываясь. Немеющими пальцами цепляясь за перила крыльца, она крепко зажмурила глаза и застонала негромко, не вынеся боли, схватившей сердце, будто переставшее биться, отчего стало зябко сразу и потом сразу горячо, и от слабости задрожали ноги.

— Баба Марфа! — крикнул уцепившийся за подол, неведомо как очутившийся на крыльце внучек, Ванятка, глядя со страхом на побелевшее лицо с закрытыми глазами.

Вот сейчас, сейчас, и... Марфа превозмогла обморок и вновь широко открыла глаза. Увидала: вот свой двор, бледные лица мужиков, запаленный конь у крыльца, тяжело, с храпом, поводящий боками, полосы грязи и кровь на лице и кольчуге гонца, и растерянные молодшие, для которых сейчас единое ее слово решает судьбу города. И, проглотив комок, шедший к горлу, сурово и негромко, но властно, как допрежь, Борецкая приказала:

— Посады и монастыри жечь!

Она еще не знала, ни что с Дмитрием, ни что с Федором, но все словно замерло в ней, одеревенело, и только воля была, как огонь в каменной печи. Скакали по ее приказам десятские, спешно укреплялись башенные костры, ополченцы перетаскивали пушки из Детинца на городские стены, усиленная сторожа занимала ворота. Нашлись новые воеводы по концам: кузнец, плотник и трое житьих. Иваньское купечество, вооружив всех молодших приказчиков, выставило новую рать. Передавали, что братия Николы на Мостище воспротивилась сожжению монастыря. Марфа послала дворского с наскоро собранной дружиной и двумя пищалями, приказав в случае сопротивления разнести монастырь в куски вместе с монахами, и смотрела со стены, пока столб дыма не возвестил ей, что приказ исполнен. Этого урока оказалось достаточно. Горожане разом вспомнили, что сто лет назад, при Донском, также жгли пригородные монастыри. Появились дружины добровольцев. В разных местах загорались пожары. Хоромы, кельи, подгородные слободы предавались огню. Жители пригородов потянулись с пожитками и скотом во все ворота, у коих уже стояла сторожа, проверявшая и направ-

лявшая погорельцев по разным концам. Воротившихся невредимыми с поля ратников тут же посылали на стены.

Пока растерянные Яков Короб с Феофилатом осаждали архиепископа, моля «сделать что-нибудь», город к вечеру уже был готов к бою. Прискакавший в сумерках Савелков принял воеводство на Софийской стороне.

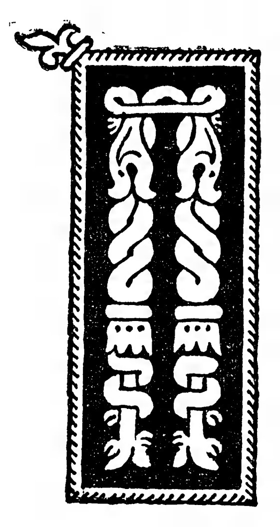
Продолжали прибывать беглецы. Савелков, разоставив дозоры, зашел с Никитой Есифовым к Марфе Ивановне. Перечислили убитых. Уже дошла весть, что Василий Казимер сам сдался московским дворянам, что схвачены оба Селезневы и Еремей Сухощек. Не знали достоверно, что с Иваном Кузьминым, жив ли Арзубьев. Тут только Марфа узнала, что Дмитрий взят в плен. Федора, черного лицом от устали (он прискакал ночью, без панциря, на чужом коне) Марфа встретила тяжелым взглядом:

— Что ж Митю... — не кончила, устыдилась собачьей виноватости в глазах сына.— Ступай! Онтонина весь день плачет, думает, убитый.

И только сдав управу мужикам, сделав все, что могла, и более, чем могла, убедясь, что город приготовлен к осаде и не падет от нежданного удара москвичей, Марфа поднялась к себе, бессильно останавливаясь на каждой ступени, передыхала, что-то как разбилось в сердце. Прошла в иконный покой и тяжело опустилась на колени, почти рухнула, внезапно ощутив наступившую с годами и неприметную до сих пор самой грузность тела. Молилась о Мите, чтобы не погиб в плену, потом о всех убиенных по ряду. Про Сергея ей тоже сказали. Вспомнила глаза его замученные, темными тенями обведенные, и как поцеловала в лоб. Не за то ли погиб? Нахмурила брови, строже вздохнула, негодуя на себя, стала бить земные поклоны, пока не успокоилось сердце.

Ночью багровые сполохи пламени опоясали Новгород. Как встарь, жители жгли монастыри и околья — чтобы негде было остановиться врагу. Город глухо, тревожно гудел. Корились и судачили об изменах. Под утро поймали Упадыша, зелейного мастера, переветника, что с несколькими приятелями заколачивал пушки на кострах. Виновных с трудом довели до веча. Казнили всех без милости, не терпелось на ком-то сорвать сердце за разгром, за позор, за стыд. Обвиняли архиепископа, обвиняли Дмитрия Борецкого, Казимера... Сторонники извилистых мер, во главе с Феофилатом Захарьиным, сговаривались отай, как им лучше замириться с Москвой и откупиться от великого князя. И еще никто не знал, не ведал о Двинских событиях.

ГЛАВА 17



лотницкий посадник Иван Кузьмин, которого тщетно искали все, и соратники, спасшиеся от погрома, и Иван Третий, жаждавший изловить всех сторонников Дмитрия Борецкого, бежал с поля боя, обрезав на себе бронь. Чудом успев выхватить сына Юрия из гущи побоища и кое-как собрав несколько человек из своей рассыпавшейся дружины, ключника да четырех ратных, он поскакал не в Новгород, а, взяв севернее, устремился за Видогощу, в Сутоцкий погост. Скакали всю ночь. Утром сделали короткий привал. Иван подумывал было, не остановиться ли в Троицком монастыре на Видогоще, но ключник отсоветовал — догонят. Снова ехали через леса и болота, за Тосну, где у Кузьмина было большое родовое село и боярский двор в нем. Но не успели расположиться, как на второй же день, в полдни, прискали дозорные сказать, что в соседней деревне видели московские разъезды, и боярин в ужасе, что ищут его, заметая следы, поскакал далее. По совету ключника они направились в далекую деревушку за Сясью, настолько загороженную мхами, топями и густолесьем, что не только пришлые москвичи, но и сам боярин никогда не бывал там, а ключник добирался лишь раз в год, зимою, по санному пути.

Переправились через Волхов. Ехали, сторонясь больших деревень. Под конец уже кони спотыкались от устали. Юрко, зеленый, едва держался в седле. Спасительные болота чуть не погубили путников. От последнего погоста, где остереглись брать провожатого, проехали уже двадцать верст, когда надо было сворачивать на зимник, сейчас, летом, совсем неразличимый в густых елях и зарослях ольхи. Ключник часа два путался, не мог найти дороги. Поехали было по одной из троп, но путь привел на маленькую сенокосную полянку, вокруг которой и за нею была сплошная топь. Едва выбрались назад. Шарили опять по кустам. Наконец, ключник нашел поваленный сгнивший крест, и вспомнил, что дорога в деревню, кажется, и начиналась от этого креста. Семеро всадников углубились в чащобу. Троп-

ка, еле видная, иногда пропадала совсем, и только по какой-нибудь растоптанной луже или обломку жердины можно было признать, что здесь ездили люди. Миновали моховое болото. Кони вязли, с трудом вытягивая ноги из коричневой каши. Проехали взлобком в густых елях и вновь чуть не заблудились. Десятки тропинок, усеянных мурашами, разбегались в стороны, одинаково бесследно теряясь в окаймившем угор болоте. Смеркалось. В темноте стало плохо видать дорогу, нещадно жалил гнус, комары и слепни, накинувшиеся на лошадей.

Тропка превратилась в подобие болотного ручья, перекрытого старыми жердинами, что легко крошились под копытами коней. Породистый белоснежный жеребец боярина храпел, мелко дрожа атласной, искусанной до кровавых волдырей кожей, шел боком, неуверенно пробуя копытом гнилую гать. Ноги жеребца поочередно с чмоканьем уходили куда-то вглубь, меж скользких раскатывающихся бревешек. Вдруг он взоржал, провалившись сразу двумя задними ногами по брюхо, и продолжал погружаться, взбрызгивая бурую грязь. Боярин соскочил с седла, сразу и сам утопнув выше тимовых зеленых сапог, тотчас наполнившихся болотной жижей. Коня кое-как вытащили. Весь дрожа, жалко и дико кося глазом, он отказывался идти дальше. В лесу окончательно потемнело. Холопы саблями рубили ветви, мостили гать. Все так устали, что уже и устали не чуялось. Осатанело звенели комары. Ядовитые туманы, как руки лесовиков, тянулись по прогалинам. Ухала выпь, что-то трещало в чащобе. Наконец стало немного суше. Кони шли болотистой тропкой, сами находя дорогу. Встретилась сенная копна, огороженная, чтобы не потравили лоси. Ключник перекрестился — думал уже, что сбились с пути. В сумерках (короткая северная ночь уже переломилась к рассвету) показалась крохотная часовенка с покривившейся маковкой и посторонь очертания трех изб, с разбросанными вокруг них амбарами и банями. За деревней, в проеме леса, блестело озеро. Крохотные пашни, казалось, жались к воде и избам, теснимые густыми елями. Пока возились у поскотины, отодвигая заворы, залаяла собака, ей ответила другая. Мужик распояской показался на крыльце. Хрипло спросонь окликнул:

— Кто такие?

— Не боись, свои! Православные! Из Нова Города! — отвечал ключник.

Заскрипели двери сарая, развели коней. Боярин, наклонясь, пролез в дымную избу, где шевелились во тьме, вздыхали и храпели спящие. Хозяйка, в серой холщовой рубахе, раскосмаченная, вздувала лучину. Неровное пламя пятнами заметалось по стенам, выхватывая то грубый стол, то лавку, то печь.

Взрослая девка дико спросонья глядела из-под овчинной шубы, уставясь на приезжих бессмысленными глазами, в которых отражалось пламя лучины. Лохмы сажи свисали с потолка и с развешенных под матицею сетей.

Хозяева узнали ключника, а поняв, что перед ними сам боярин, засуетились:

— Еда-то наша!

Во всем доме был только горшок вчерашних щей. Мужик стянул мокрые сапоги с ног боярина, обтер ветошью, прищелкнул, оглядев ладную работу, точеный каблук — не попортить бы! Набил сеном, устроил сушить в вольном тепле.

Скоро уселись за стол. Хлебали чуть теплые щи. Меж тем, как лучина дымила, догорая, хозяйка вставляла новую. Огарки с шипом падали в лохань с водой. Тараканы метались по столу, нежданно потревоженные в этот их тараканий час. Но от устали не было даже брезгливости. Кое-как поужинав, повалились кто где. Боярину хозяин отдал единственную в избе деревянную кровать, куда Иван Кузьмин лег вместе с сыном Юрием. Ключник и холопы устроились на полу на сене. Наконец, убрав со стола и погасив последнюю лучину, поворочавшись, улеглась и хозяйка, тоже на полу, у порога, рядом с хозяином.

В избе было душно, стойкий дух сажи, овчины, печеного хлеба, мужских и женских тел, запах конского пота от попон, еще какие-то запахи. Стало опять слышно, как в лесу что-то ухает и кричит протяжно.

— Вишь, он беспокоитце,— прошептал хозяин.— Гостей зачуял, не было бы худа!

Хозяйка что-то отвечала ему, боярин слышал неясно, проваливаясь в сон.

Утром Иван Кузьмин пробудился от запаха дыма. С дороги все тело ломило. Не вставая, он следил с кровати, как возится хозяйка у печи, низко пригибаясь, ворочая ухватом горшки. Дым сизой колеблющейся пеленой висел под потолком, наполняя горницу до крохотных волоковых окошек, трудно уходил в дымник. Ивану Кузьмину не доводилось о сю пору жить в курной избе, и он с завистью вспомнил изразчатую печь в новгородском тереме своем, удобные лежанки, чистые горницы... Дым опустился до кровати. Закашлявшись, боярин встал. Хозяйка, не переставая возиться, ласково пропела:

— Здорово ночевали, батюшко? А наши мужики ужотко косить ушли, скоро воротятце... Липа, слей на руки!

Девка, вынырнувшая откуда-то из дыма с берестяным ковшом, остановилась на пороге, сожидая боярина.

— Как вы живете так! — в сердцах попенял Кузьмин.

— А мы ничего, привыкши!

— Зимой-то?

— Зимой лучше тянет! — возразила хозяйка.— Сейчас дымно, вашим-то, городским не в привычку!

Кузьмин вышел на крыльцо. Девка поплескала на руки. Скоро выполз Юрко, тоже глаза слезились от дыма. Лошади стояли во дворе, помотывая головами. Ключник вышел откуда-то из-за угла с беремем свежей травы.

— Я ребят, Климца с Жирохом, косить послал, что даром хлеб-от ясть! А Дмитро неводить пошел с дедом, а Грикша ускакал в сторожу, да и вести какие...

— Добро! — кивнул боярин.

— Староста к вечеру приедет, сами послали за ним. Он тут на десять дворов. Тамо, на той стороны, еще две деревни, да за лесом четверта, он в той живет. Однако хозяин-от наш! Пишется в два двора, а ишь — третью избу зятю срубил! По-заглазью, дак и ладят, как обмануть!

— Пашни-то сколь?

— Пашни полторы обжи, дак и то домекаюсь, не все сказывают! Съездить надоть, за лесом у их, кажись, еще с обжу, да по-залесью...

— Ты погодь, чего еще в Новом Городи, узнать надоть! — остановил Кузьмин ретивого ключника. Сам уселся было на ступеньку, на вольный дух, да кровососы не дали посидеть спокойно. Хлопнув себя по шее в двадцатый раз, Кузьмин выругался в сердцах:

— У них тута и днем комарья!

— Мхи кругом! — отозвался ключник, обихоживавший коней.

— Надоть в избу пойти опять! — вздохнул боярин.

Печь дотапливалась. Хозяйка выгребла уголья в зольник, обмела под помелом из можжевеловых веток, стала класть хлебы. День был субботний, пекли на всю неделю. Девка, прибранная, как только можно,— причесалась, даже синенькие бусы надела на шею — помогала матери, взглядывая то и дело на Юрко, потрепанный наряд которого здесь казался верхом роскоши.

Возились щенки в углу, какие-то тряпки висели у печи, сохли детские пеленки, за ткацким станом были свалены грудой заготовленные копылья. На полице одиноко светился медный скобкарь, выглядевший князем среди деревянных, домашней выделки мисок и братин, глиняных закопченых латок и горшков. Пахло как в бане, пока еще не начали мыться,— сухим жаром. Уже начинал подыматься хлеб. Хозяйка задвинула устье печи дощатой подгоревшей заслонкой. Под столом заворочался и тоненько заблеял ягненок. Хояйка пояснила:

— Бодат! Овца-то, бодат его! Объягнилась не в пору, да и не дават сосить, не признает, глупа, первый раз еще носит-то!

Я уж прибрала в избу, а то забодат совсем. Да и дома сосить некак! С пальца уж! Да даю вот из своих рук овце! Ну, мой миленькой! Бросила тебя матка, да? Глень, и на ножки плохо встает уж!

Она унесла ягненка в хлев, кормила, потом занесла обратно в закут. Он тыкался мордочкой ей в передник.

Скоро сытный дух ржаного хлеба потек по избе. Хозяйка с дочерью пошли за водой. Юрко куда-то исчез. Маленькая качала зыбку, приговаривая:

Аю, а́юшки, аши́,
По три денежки ерши,
Ерши ма-аленькии,
Костова-а-тенькии!

Боярин усмехнулся, попробовал пошутить:

— До̀роги больно ерши-то у тебя!

Девка потупилась, замолкла, не сказав ничего. Потом косо, пугливо взглянула на боярина, поправила пеленку, снова тоненько стала петь:

Аю, аюшки, аши-и,
По три денежки ерши-и,
Ерши ма-а-ленькии!
Костова-а-тенькии!

— Дороги ерши-то у тебя! — вновь повторил боярин.

Девка мотнула головой, как отгоняя муху, заговорила с маленьким:

— Спи, спи, скоро матка придет, молочка дает! А у нашего тяти есть еще и не таки сапоги... Вот! — протараторила она себе под нос и снова запела:

Аю, аюшки, аши,
По три денежки ерши...

Не зная, что еще сказать, боярин умолк. Девка пела свою нелепую песенку, уже не обращая на него никакого внимания, словно он не просто чужой, а какой-то совсем из другого мира.

К первой выти воротились мужики: хозяин с двумя сыновьями, да свои холопы, да ключник — обсели весь стол. Перед боярином хозяйка поставила, обтерев полотенцем, медную братину. (Дома он ел из серебряной...) Подала кашу, вяленых на солнце окуней, молока да пареную репу, что была накладена горкой прямо на стол. Хлеба отрезала понемногу, и соль хозяева брали с бережением.

— Мяса-то нынце нет, не обессудь, батюшко! Старо концилось, а новой никакой скотины не забивали.

— Не журись,— возразил хозяин.— Знают наше житье! —

разломив окуня, он начал крепко жевать, сосредоточенно глядя в стол.

Кашу брали ложками по очереди. Насытив первый голод, хозяин откачнулся слегка, помотал головой, видя, что жонка взялась за крынку.

— Мне квасу налей! — выпил, отер бороду, сказал: — Медведи одолели, беда!

— Медведи?

— Овес травят. Даве в той деревенки корову задрал. Петро, пастух, сгонил его, а весь бок у коровы выеден. Хорошая корова была.

Не успели убрать со стола, как верхом, охлюпкой, прискакал десятидворский староста. С ним в избу зашли еще несколько мужиков, покрестились на икону, поздоровались, расселись по лавкам. Старосту и еще одного мужика хозяйка пригласила к столу, другие отказались. Староста жевал, приглядываясь к боярину, медля начать трудный разговор. Запил квасом, произнес наконец с расстановкой:

— Слыхали мы, разбили наших на Шелони!

Иван Кузьмин молча склонил голову. Мужики тотчас задвигались, поталкивая друг друга.

— Теперича как же? Великий князь Новгород зайдет, коли...

Вопросительные лица уставились на боярина.

— От нас тоже угнали двоих мужиков, а не слышно назад-то! — поддакнул хозяин.

— Как же быть? — спросил староста.— Князю черный бор беспременно платить, и свои налоги не сбавят, а лето ишь како! Где под лесом еще уродило, а на угорьях сгорело поцитай все.

Тут все мужики заговорили разом:

— Как же так, оборонить не замогли?

— Не нать тогда и воевать было!

Иван Кузьмин сопел, чувствуя в настырности мужиков сторожкую недоброту и не зная, как ответить.

— Что баяли, будто литовский король оборонит? Не замог? — спросил дед.

— Болтали еще, в латынскую веру загонять нас будут!

— Лжа! — возмутился Кузьмин.— Сам договор знаю! Не было того! И в договоре сказано, чтоб вера была своя, и князь православной на Городце! Кто и баял непотребное?

— А захожий монашек тут один толковал...— нехотя ответил мужик.

— Дак что ж тогды с королем али не сговорили цего? — настырничал дед.

— Ему до нас дела нет! — подал голос другой мужик.

И опять все, вопрошая, уставились на боярина, всерьез, без улыбок.

Опустив глаза, Иван Кузьмин увидел, что все миски хозяйка уже прибрала, осталась одна его, медная, и от того, что он один сидит над блестящей, дорогой для этой избы посудой, ему стало совсем неудобно. Что отвечать, он не знал. «Не возьмут Новгород — а зачем сам я тогда сюда прискакал? Поможет король — а что ж не помог вовремя?» Да и поможет ли! И куда уйти от этих вопрошающих взглядов мужиков, которые сейчас смотрели хоть и без злобы, но так, как прежде не посмотрели бы: мол, нужен ли ты нам? — почти читалось в сосредоточенных, сожженных солнцем лицах.

Вековой порядок — мужик внизу, боярин наверху — был подорван давишним разгромом.

— Москва одолеет, Двина да и ваши земли московским боярам отойдут! — трудно сказал Кузьмин.

— Мы-то не на Двины живем! — зашумели мужики.

— Дак и им тогды зорить без толку будет какая выгода? — возразил староста.

— А уж с нас, будь не во гнев, и ты возьмешь, не помилуешь. Год-от нынце тяжелый!

После, выйдя во двор, Иван Кузьмин подозвал ключника:

— Как думаешь: не выдадут?

— А пес их знает! Не должно бы, слыхал, сами боятце приезду москвичей. А выдать нас им на свою же голову.

(«А ты не выдашь ли? — вдруг подумалось Кузьмину.— Нет, и тебе без выгоды, пожалуй!»)

Юрко охаживал девку. Та вся светилась на Юрия. Никогда не видала таких: шелковая рубаха, сапоги, речь господская... Застав их вечером вдвоем у крыльца и поймав злой взгляд соседского парня, Кузьмин решил пристрожить сына:

— Подь сюды, кому говорю!

Юрко шало глянул на отца, лениво подошел.

— Намнут шею!

— Чего, эти-то? — удивился сын.— Да не посмеют, ни в жисть!

Глазом повел — девка послушно стрельнула за баню. Юрко развалисто двинулся туда же.. Что поделаешь с дураком!

Жизнь шла вокруг своя, не задевая их ничем и не нуждаясь в них нисколько. И он был не нужен тут, со своими тимовыми сапогами, породистым, негодным для полевой работы жеребцом, шалопаем-сыном, что, уже забыв о шелонском погроме, скуки ради крутит голову деревенской девке, которую забудет через день, воротясь в Новгород. И правы мужики: по крайности оборонить их, и того не сумели!

Вечером пришел еще мужик, в рванине, с кнутом на плече и

берестяной дудою в руках — пастух. Хозяйка, извинясь, пояснила:

— Он нынце у нас постоем!

(Пастух, один на три деревни, жил по очереди в каждой избе.)

В то же время вполголоса она зло бранила девку, даже курвой назвала — верно, из-за Юрия, подумал Иван Кузьмин.

Опять отдельно кормила его с Юрием, и вместе — всех остальных. Пастух был в подпитии, угостился на крестинах. Шумел, ликовал, потея от еды. Он ложкой хлебал простоквашу, накрошив в нее хлеба, нахваливал:

— Знает, хозяюшка, знает, что люблю! Кислого молока мне еще, еще добавь! Эх, любая ты до меня, хозяюшка! Я ведь, а я же... Эх! Кабы не медведи... Он ить быка драть почал, бык ревит, землю роет, я к нему с кнутом! Один побег, а другой о ту пору уже на Машке сидит, уж бок ей рвет, а Машка-то молцит, дура! Поверишь, Онисимыч, сам плакал, слезами плакал! Нет, веришь? — пастух поворачивал потное лицо, с измазанною простоквашей бородой, то к одному, то к другому, и вправду заплакал вдруг, приговаривая: — Я на его с кнутом, кнутом его меж глаз, Михайлу-то, Иваныча! А он ревит, кровь-то чует, не уходит! Насилу, насилу уж...— пастух положил голову на стол, всхлипнул, примолк. Успокоившись, вновь принялся за простоквашу.— Я ли не пасу?! — воскликнул он, погодя.— Хозяйка, ты вот до меня добра! А Онуфриха ругатца, все ругатца она на меня! На Сенькины горки, грит, не гоняшь! А куда нынце гонять тамо? Посохло все! Я по кустам, по чащобе — больше насбирают. Когды мои коровы без молока приходили?! Ты, говорит, лодырь, даром хлеб ешь! Онисимыч, Митревна! — выкрикнул он со слезой.— Рассудите! Вот при боярине! Обижат она меня! Ведь ни за что обижат!

— Она така и есть! — подтвердила хозяйка.— В черкву придет — первая, после попа!

«И тут своя Марфа!» — с внезапной, удивившей его самого неприязнью подумал Иван Кузьмин.

Ночью беспокоились кони, ключник не по раз вставал, выходил успокаивать расшумевшегося жеребца. Хозяин бормотал спросонья:

— Хорь, должно! Нынце хори одолели, лезут и лезут, кур душат. Собака уж двух порвала...

Утром снова мужики ушли на покос, и снова боярин сидел без дела, не зная, куда себя ткнуть. Обидные речи сельского старосты все не шли у него из головы. И хозяин тоже смотрел, чуялось, как и староста: господа вы, а до часу — чья сила, тот и господин!

На третий или четвертый день он услышал ненароком, как

мальчишки скачут по солнцепеку, дурашливо закликая отсутствующий дождь:

Бояро бежало,
Г... растоптало!
Дождик, дождик, перестань,
Я поеду в Йордань...

— Это у их присловья такая! — пояснил невесть откуда взявшийся дед.

— Малые, цего с их взеть!

Круто поворотясь, Кузьмин поскорее убрался в избу.

Бояро бежало,
Г... растоптало! —

летел за ним ликующий голос мальчонки.

Мужик из Залесья, из пятидворной деревни, привез весть, что московское войско стоит под Новым Городом, и тоже смотрел на боярина сторожким, оценивающим взглядом, от которого Иван Кузьмин начинал где-то внутри себя тихонько ежиться.

«Холопы, хамы!» — стараясь разозлиться, бормотал он себе под нос, но злость не приходила, был страх, и страх больше еще, чем испытанный там, на ратном поле, когда он бежал, обрезав бронь. Отсюда уже некуда было бежать. Дальше? Да и куда! На Двине и то сейчас, поди, московские рати.

Он вспомнил, с нахлынувшей завистью, пышный двор ляшского короля Казимира, каменные палаты виленского замка, где принимали и чествовали новгородских послов. Полгода не прошло, и что теперь? Борецкий или убит или полонен, а он здесь — ежится под взглядами своих же мужиков, уже прикидывающих про себя, дальше ли придет им служить Новгороду, или одолеет московский великий князь со своими московскими боярами.

Иван Кузьмин часами сидел на крылечке или на бревнах у сарая, где обдувало ветерком с озера и не так донимало комарье. Попробовал было съездить покататься верхом, но кругом, куда ни ткнись, были одни болота. Оставалось сидеть и ждать неизвестно чего.

Вокруг ворошилась эта своя, душная, по летней поре, избяная жизнь — с детьми, собаками, тараканами, кислым духом овчин и вечно мокрого младенца в зыбке. Девки, что искали в головах друг у друга, усталые от тяжелой работы, изъеденные комарьем мужики. Домовые, лесовики, банная нечисть, водяники, что на равных с живыми людьми бродили, стонали, путали сети или тревожили, на переменки с хорем, коней, какая-то чудь, что жила за озером и «пугала» рыбаков, особенно по осеням. Поп и тот добирался сюда с погоста только по бóльшим годовым праздникам.

Нет, сидеть в Новгороде, когда эти мужики с низкими по-

клонами привозят во двор хлеб, масло, коноплю, яйца. Да и там их чаще ключник примет! Выйти разве иногда на крыльцо в красных сапогах. А тут: «Бояро бежало, г... растоптало». «Тьфу!» — выругался он про себя.

К августу стало ясно, что Новгорода не возьмут Уже дошли слухи о переговорах. Рыскавшие повсюду московские отряды, по счастью, так и не добрались до них. Ключник, вызнав уже, докладывал, что нашел незаписанных полторы обжи пахотной земли, и теперь можно было вдвое увеличить налог:

— Да и нынце у их тут у одних хорошо родилося! Летами вымокает, а се-год в самый раз! У иных-то не возьмешь, сгорело.

Наконец прискакал Дмитро, посланный на разведки.

— Мир!

Не мешкая, засобирались. Девка ходила зареванная: Юрко, кажись, добился своего.

Иван Кузьмин, воротивший утраченную было важность, по-хозяйски, с коня, оглядел деревню. Стараясь все же не встречаться глазами с хозяином, сказал:

— Хлеб повезешь с трех обеж!— И на униженные просьбы мужика сохранить прежний оброк отмолвил строго: — Ничо! Сдюжишь! Другим куды хуже: после московского-то войска хоть шаром покати!

— Дак хоть бы чуток сбавить!

— Сказано, с трех! Нови распашешь, опеть твое будет, до нового приезду. Трогай!

И семеро всадников, уже не оглядываясь на приютившую их и ограбленную ими деревню, тронулись по лесной дороге назад, в Новгород.

О казни новгородских бояр, ужаснувшей весь город, Иван Кузьмин узнал, только воротясь домой.

Захария Овин сожидал его в тереме и встретил насмешливо:

— Прибежал, зятек? Набегалси? Ай нет? Слыхал, что с твоими дружками совершилось?— Свирепея, по-бычьи склоняя толстую шею, он заорал:— Бежал! В деревню забилсе! А брата, Кузьму, бросили, воины?! Добро, пока жив, а полонен — цего хотят, то и вершат!... с королем своим!— Он замолк, переводя дух. Добавил спокойнее: — Теперя платить, не росплатитьце, опеть, умны головы!

Пересохшими губами Иван спросил:

— Кого казнили?

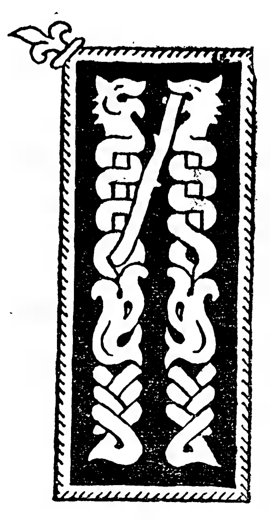
— Борецкого твоего с Васькой Селезневым, да нашего Киприяна, да Еремея Сухощека — четверых.

Овин пожевал губами.

— Могли и тебя! Тоже в Литву ездил. Зять... Феклы жалко, без мужика останетце, а то бы стоило. Поди утешай жону!

Захария тяжко поднялся, не прощаясь, пошел из горницы.

Глава 18



звестие о Шелонской победе Иван Третий получил на четвертый день, будучи в Яжелбицах. Полагая, что все уже кончено, он принял Луку Клементьева, которого вел с собой, дал ему «опас» — разрешение Феофилу ехать на поставление в Москву — и отпустил в Новгород.

Отовсюду шли вести о победах. Пали Молвотицы. Воеводы Демона сдались верейскому князю Михаилу Андреевичу, заплатив тому окуп в сто рублей. Псковская рать тоже недолго стояла под Вышегородом. Через день после начала осады, отбив первый приступ, новгородский воевода Есиф Киприянов запросил мира, и предложил окуп с города. Псковичи дали мир, собрали свои стрелы по заборолам и пошли к Порхову.

Иван меж тем продолжал двигаться вперед и двадцать четвертого июля был в Русе. Тут к нему привели захваченных на Шелони новгородских бояр. Одновременно великий князь узнал о том, что новгородцы казнили изменников, замышлявших отай впустить рать великого князя в город, и жгут окрестные монастыри. Приходилось думать о долгой осаде. Он приказал псковичам, устремившимся на Порхов, изменить направление и идти с пушками прямо к Новгороду. Сам Иван меж тем занялся пленными, которых развели по затворам и допрашивали поодиночке.

Раз за разом ярея все более, перечитывал он попавшую к нему наконец-то договорную грамоту Великого Новгорода с королем Казимиром. Все эти уложения о судах смесных литовского ставленого князя с посадником на Городце — у него на Городце! В его княжом тереме! Все эти перечисления Торжка, Волока, Бежичей в составе земель Новгорода и, значит, короля литовского! Все эти варницы в Русе, черный бор, платы с Ладоги, Ржевы, Порхова, Моревы, Копорья. Подъездное и судебное, что передавались Казимиру, все это нарочитое выставление старин и вольностей новгородских, в чем-то справедливое и потому особенно нестерпимое и обидное для него, государя всея Руси.

— Воли захотели!

«А поидет князь великий Московский на Великий Новгород, или его сын, или его брат, или которую землю подымет на Великий Новгород, ино тебе, нашему(!) господину(!) честному королю всести на конь за Великий Новгород...»

— Всести на конь! Нашему! Переметнулись!

Холодный по природе ума, осторожный по поступкам своим и постоянно сдержанный с виду, в думе и делах посольских казавшийся много старше своих лет, Иван внутри себя хранил ярость безудержную, жестокую и необузданно древнюю, передавшуюся целиком его сумасшедшему внуку, Ивану четвертому. Но эту ярость Иван Третий, в отличие от внука, хранил внутри, за семью замками рассудка, и выплескивал чрезвычайно редко, и то только тогда, когда разум подсказывал ему, что — да, теперь, в эту минуту, можно позволить себе взорваться.

Упрямый Новгород бесил его, и сейчас, после Шелонского разгрома, бесил особенно. Заградившись пожарами, город грозил снова уйти, увернуться, опять и вновь отодвинуть в неведомое «далеко» окончательное разрешение трехсотлетнего спора, спора о власти великих князей московских и независимости Господина Великого Новгорода. Город, приготовленный к бою, заставлял вспомнить и печальную осаду Новгорода войсками Андрея Боголюбского.

Его не смягчило, что пойманный Василий Казимер валялся в ногах, умоляя о милости. Какова цена подобных раскаяний, Иван знал слишком хорошо. Он охотно казнил бы всех захваченных, но это могло отпугнуть от него бояр тверских, ростовских, суздальских, рязанских, да и московских тоже. Задумались бы и те, кто готов переметнуться к великому князю из уделов беднеющих князей... Нет, всех казнить нельзя. Он должен проявить умеренность. Он должен карать, но как судия, а не мститель.

Василия Казимера можно не трогать, он даже пригодится — слизняк. Грузы слишком уважаемы прусским боярством, и с ними надобно поладить, хоть Офонас Остафьев и подписал соглашение с королем Казимиром. Кроме того, молодой государь, окруженный старыми воеводами, должен, елико возможно, уважать боярские седины. Казнить стариков должно в крайности и с сугубым рассмотрением. Да и вообще лучше, учитывая рознь новгородскую, казнить бояр только одного Неревского конца и тем остеречь, но и отвратить от мятежа милостью, других, более приятных и радеющих великому князю. Так размыслив, он выбрал четверых: Борецкого с Губой-Селезневым и Киприяна Арзубьева, которые были известны, первые — как зачинщики, третий — как их деятельный помощник; и Еремея Сухощека, по косвенному доносу Феофила, как самого рьяного привер-

женца литовского короля из окружения новгородского владыки.

Полтора десятка наиболее верных слуг названных бояр, тоже схваченных на борони, были не в счет. Этих можно было приказать казнить без шума, благо судьбою смердов не будет озабочен ни один из детей боярских великого князя, и даже имен этих казненных не отметит и не удержит ни одна городская или княжеская летопись.

Что касается бояр, то, соблюдая и являя другим законность казни, Иван сам вызвал к себе на допрос Дмитрия Борецкого. Пленника вывели из погреба во дворе временного княжого обиталища и под десятками любопытных глаз дворян-ратников, княжат, дьяков, конюхов и прочей государевой прислуги и свиты провели в терем. В сенях его передали другим, придверникам великого князя, и те втолкнули Борецкого в покой государя.

Иван сидел в кресле. Он был в простом дорожном платье, без кольчуги, в полотняной безрукавной ферязи сверх узкого, на московский лад, застегнутого на серебряные круглые пуговицы терлика. Кроме дорогого перстня с гранатом на нем не было никаких украшений. В углу за столом, склонясь над чистою грамотою, с гусиным пером в руке и открытою дорожной чернильницей перед собою замер дьяк-писец. Три члена судебного совета сидели в ряд на лавке у стены и одинаково, разом, подняли глаза на Борецкого и разом же опустили их долу.

Дмитрий, бледный от раны, кое-как перевязанной и уже гноящейся, превозмогая боль, постарался расправить плечи (стянутых за спиною рук ему так и не развязали) и стал, смело глядя в лицо Ивану Третьему. Великий князь мановением руки удалил дворян и, вдруг встав, сделал несколько шагов навстречу Борецкому.

Иван был выше ростом, Дмитрий — шире в плечах. Так они стояли друг перед другом, и Иван, супя свои почти сросшиеся над переносьем брови, подрагивая длинным носом и медленно свирепея, протянул к лицу Борецкого захваченную договорную грамоту.

— Узнаешь? Изменник! Казнью казню тебя! — с яростной дрожью в голосе выговорил он.

Три члена совета согласно склонили головы.

— Я не изменник тебе! — ответил Борецкий твердо.— Мы, мужи новгородские, искони вольны во князьях, и взят я на борони, яко пленник, а не тать и не переветник княжой! Казнить меня — сила твоя, а права такого тебе не дано, и изменником звать меня ты не можешь!

Члены совета мгновенно переглянулись.

— Ан нет! — сдерживая голос, свистящим шепотом, и все

выше и выше подымая, почти до крика, заговорил Иван.— Ан нет! Ты боярин мой! Ты грамоту принял, благодарил! Ты пожалован, пожалован мною! А значит — слуга мой! И не как мужа вольного, а как боярина своего волен я казнить тебя, изменника! — И уже перейдя в крик, Иван возопил вбежавшим дворянам: — Взять! Кнутьем бить!

Только тут Борецкий понял вполне весь грозный смысл московского пожалованья.

Швырнув грамоту, Иван топтал ее ногами и, тыча перстом в Дмитрия, обеспамятев, ужасен лицом, все повторял:

— Взять! Взять! Взять! Мучить! Пороть его!

Борецкого схватили в две руки за шиворот, поворотили, пихнув прямо в рассеченное плечо — от боли аж потемнело в глазах — и поволокли вон. На расправе он, принимая удары по кровоточащей разрубленной спине, дважды терял сознание. Борецкого отливали водой и снова били.

К вечеру по приказу Ивана их, всех четверых, вывели на казнь.

Притихшая, обезлюженная Руса, половина жителей которой перебралась в Новгород, а другая половина сидела, забившись, по домам, пережидая военную грозу, была битком набита московитами. И на улице, по которой их вели, и на площади перед собором, где уже поднялся помост с плахою и ожидали палачи, кругом были только чужие, московские лица, чужие, любопытные или злорадные глаза. И никто или почти никто из собравшихся поглазеть на казнь государевых дворян, детей боярских и простых ратников, не задумывался над тем, что всенародная казнь великих бояр новгородских когда-нибудь отзовется и на них, что, допустив сейчас эту расправу, сто лет спустя они уже не смогут не допустить того же применительно к себе самим и не сумеют спасти свои собственные, боярские головы от государева топора, а спины — от кнутобойного поругания.

— Слыхал,— вымолвил Селезнев дорогою,— ратные ихние бают, Новгород горит?

— Посады жгут! — ответил Дмитрий.

— Не возьмут, думашь?

Борецкий помолчал, ответил убежденно:

— Мать города не отдаст!

Селезнев прищурился, стрельнул черными глазами, улыбнулся — улыбка не получилась, у друга была рассечена щека — вздохнул, вымолвил негромко:

— Эх, мало погуляли мы с тобой!

Первым к плахе подвели Арзубьева. Киприян, державшийся достойно до сих пор, пока били кнутом, у плахи вдруг вздрогнул, начал упираться, у него жалко свернулись плечи и отчаянно перекосилось лицо. Дмитрий закрыл глаза, чтобы не видеть

унижения Киприяна. Раздался сдавленный стон, потом глухой удар и стук скатившейся головы.

Еремей Сухощек — тот усмехнулся серыми губами, подошел сам, пихнув плечом московского ката. Оборотился, когда уже схватили валить.

— Постой! Дмитрий Исакович, прости, в которой вины виноваты! Не сдюжили мы! Прости, Василий!

И эта голова скатилась.

Подошел черед Селезнева. Дмитрий Борецкий до самого этого мгновения — пока, превозмогая боль, стоял перед Иваном Третьим, пока, закусив побелевшие губы, терпел удары бича — все не верил, думал, помилуют. Ну, яма, ну — в железы засадят. Но чтобы казнить топором его, великого боярина! И тут вдруг понял: жизни осталось — глазами кинуть. Василий оборотился к нему:

— Поцелуемся, Митя!

Их грубо разорвали. Селезнев только успел коснуться губами щеки Дмитрия. С ужасом Борецкий смотрел, как эта дорогая голова друга враз покатилась прочь, а странно короткое тело отвалилось назад и поволоклось в сторону, меж тем как в ушах еще звучал его голос: «Поцелуемся, Митя!»

Дмитрий сжал зубы, стиснул глаза, в которых закипели слезы, превозмог себя и деревянно шагнул к плахе, обарывая подступающую тошноту. И когда горла коснулась склизкая от крови колода, а в нос ударил тяжкий запах мяса, спазма сдавила горло, и, задержись палач на миг,— вытошнило бы. Но палач не умедлил. Резко как вспыхнуло от затылка, и это было последнее, что восчувствовал он, когда его тело, свитое судорогой, слабело и опускалось в руках катов, а голова, обернувшись дважды, ткнулась виском в мертвые губы Василия. Они-таки поцеловались еще раз.

Казнив новгородских бояр, Иван двинулся дальше, к Коростыню, и там, на месте первого, учиненного Холмским побоища, на третий день после казни, двадцать седьмого июля, к нему наконец прибыло на судах новгородское посольство с просьбою о мире, во главе с архиепископом Феофилом, степенным посадником Тимофеем Остафьевичем и старейшими посадниками: Иваном Лукиничем от Плотницкого конца, Яковом Александровичем Коробом от Неревского, Феофилатом Захарьиным и Лукой Федоровым от Людина и Загорья и Иваном Васильевичем Своеземцевым от Славны. С ними прибыли тысяцкие, купеческие старосты и пять житьих от пяти концов города. Это было полномочное посольство от всего Господина Великого Новгорода, склонившегося наконец перед волей великого князя Московского.

«Сколько еще может продержаться город?» — хмуро гадал Иван. С неба, пока еще знойно-безоблачного, вот-вот могут полить дожди, и тогда пыль дорог станет непроходной грязью, и застрянут обозы, и вздуются реки, а там к Москве подойдет Ахмат с Ордой, или Казимир с Литвой, или оба враз совокупною ратью.

Он вызвал Степана Брадатого для спора с новгородскими боярами о правах великого князя Московского. Степан Брадатый сиял. Это был его день. Он вздел, невзирая на жару, дорогое суконное платье. Заранее приготовил речь, предвкушая, как он будет разить врага неопровержимыми доводами, словами святого писания и текстами древних хартий, как будут путаться перед ним новгородские книжники, как он им докажет, что они не более, чем слуги великого князя Московского, как будут низиться перед ним эти гордые мужи, укрощенные десницей государя и его, Брадатого, высокомудрою, красно-украшенною речью. Но новгородские послы, сломленные разгромом и устрашенные казнью, отказались от диспута. Все они понимали, что там, где уже решил меч, слово не перевесит, и спорить о правах — лишь дразнить великого князя. И Брадатому, к его великому сожалению, так и не пришлось выказать свои ораторские таланты.

Послы предстали перед Иваном, расположившимся в самой просторной коростынской избе. Маленький настороженный хорек — Феофил; массивный, не утративший упрямого достоинства Тимофей Остафьевич; грустный, с усталым стоическим лицом Иван Лукинич; угодливо рассыпающийся в улыбках, жидкий и мягкий Феофилат; откровенно потерянное лицо молодого Луки Федорова и строгое бледное самого юного из послов, Ивана Своеземцева. Иван Третий разглядывал их всех по очереди и вместе — граждан непокорного города, едва не переметнувшегося в руки Литвы, сломленных, покорных и все еще не покоренных.

Начались переговоры. Послы расположились в шатрах, недалеко от берега, где еще валялись там и сям обгорелые остатки уничтоженных после поражения малой судовой рати новгородских лодей. Коростынь была переполнена, все избы занимали приближенные великого князя. На много верст вокруг, в шатрах, шалашах и по деревушкам стояла московская рать, скакали в облаках пыли конные разъезды, кони дочерна выедали траву под соснами. Весь хлеб был потравлен, огороды вытоптаны, огорожи разломаны, скот прирезан, и крестьянские погреба вконец опустошены прожорливыми великокняжескими ратниками.

Новгородских послов приводили каждый раз в сопровождении вооруженных московских дворян, которых, при желании, можно было принять и за почетную свиту, и за охрану при пленниках. На переговорах Иван уже не встречался с посланца-

ми Новгорода, высылая к ним своих бояр, передававших слова и предложения великого князя и приносивших ему ответы новгородцев.

Позднейшие историки не раз отмечали, и даже с похвалой, а иногда с удивлением, мудрую умеренность требований, предъявленных в этот раз Иваном Третьим Новгороду, умеренность, тем более непонятную, что тяжесть поражения, понесенного Новгородом Великим, не шла ни в какое сравнение с его предыдущими военными поражениями. Москвичи заняли всю Новгородскую волость, дошли до Наровы и даже перешли рубеж, пограбив земли немецкого ордена. Их рати уже нигде не встречали никакого сопротивления, а засуха открыла московской коннице доступ в самые непроходные дебри.

Но умеренность Ивана имела свои, и очень веские, причины, отнюдь не объясняемые отходчивостью, мягкостью или гуманной снисходительностью государя Московского. Да и о какой умеренности можно было говорить, ежели московские летописцы впоследствии хвастались тем, что волость Новгородская подверглась самому жестокому разорению за всю свою историю: «Николи же такова не бывало, ни от немец, ни от иных язык»!

По всем дорогам подымалась пыль; дымы пожаров, которые никто не тушил, застилали небо. Кони топтали неубранный, жидко колосившийся хлеб. Гнали через пересохшие болота захваченный крестьянский скот, который жители тщетно пытались укрыть в чащобах. В селах, которые отходили к великокняжеской волости, как передавали Ивану, не осталось ни одного человека, все были забраны в полон. Татары-союзники не жалели вообще никого. Войско, как саранча, уничтожавшее все на своем пути, становилось нечем кормить, и по мере возраставших продовольственных трудностей падал порядок. Каждый тащил, что мог. Воеводы открыто брали окупы с городов. Удельные князья толпами уводили мужиков в свои уделы. Нежданно легкая победа грозила оборотиться нежданным же поражением. Иван был зол на себя: все-таки он всего не учел!

Предъявлять в этих условиях крайние требования было рискованно, тем паче что Новгород, окруживший себя кольцом пожаров, явно не думал о сдаче.

В конце концов Иван получил если и не все, чего хотел, то очень многое. Новгород обязывался заплатить, причем не по частям, а немедленно, огромный окуп в шестнадцать тысяч рублей; отказывался от своего права «вольности во князьях» и признавал нерасторжимым союз с великими князьями московскими, как и церкви новгородской — с московской митрополией: «а инде нам владыки, опроче московского митрополита, нигде не ставити» — было записано в договоре. Новгород обязывался

не принимать врагов великого князя: Ивана Можайского и Ивана Шемякина, сына покойного Дмитрия Юрьевича Шемяки, ни их детей, ни зятьев, а также никого из родичей князя Василья Ярославича; обязывался не вступать в особные договоры с литовским королем. На судебных решениях республики теперь вновь, как в старину, полагалось быть печати великих князей московских, а спорные решения смесных судов подлежали обжалованию перед самим великим князем Иваном или его сыном, или братьями, во время их приездов в Новгород. Так был нанесен первый удар по Новгородскому вечевому строю.

Отдельно была составлена грамота о двинских землях. Великому князю отходили захваченные новгородцами и когда-то числившиеся за великими князьями земли по Двине, Пинеге, Мезени, Немьюге, Ваге, Онеге, Суре Поганой и Кокшенге. Еще не дошли вести о двинских делах, но если даже московские воеводы и не добились там решающего успеха, то Новгород все равно обязывался отдать великому князю причитающиеся ему волости. По всем прочим статьям договор оставлял Новгороду его старинные права, утвержденные в прежних соглашениях земли, и даже Торжок, Вологда, Бежичи продолжали числиться за Господином Великим Новгородом.

Переговоры продолжались одиннадцать дней. К концу переговоров, в начале августа месяца, гонец привез известие, что и на Двине в тот день, когда прибыло в Коростынь новгородское посольство, была одержана полная победа над новгородской ратью.

Десятого августа Иван приказал прекратить грабежи и отпустить захваченный полон. Земля без мужиков — плохой дар для государства, зарастет лесом, и поди ее потом подыми вновь, запустошенную — кем и как? Надлежало думать о дальнейшем, а новгородские пашни Иван, даже и не добившись окончательного подчинения города, уже начинал числить своими.

Тринадцатого августа тяжко ополнившееся войско тронулось в обратный путь. Первого сентября Москва торжественно встречала победителей. Звонили все колокола московских церквей. Сын и Андрей-меньшой встречали Ивана еще за день пути от столицы. На семи верстах от города выстроились вдоль дороги радостные толпы москвичей, и митрополит Филипп, с клиром, в облачении и с крестом в руке, встретил великого князя на сходе с большого каменного моста, на площади, и благословил всенародно. Дома мать с новым уважением оглядывала сына-победителя, заметно возмужавшего и прибавившего уверенности за неполных три месяца похода.

А второго сентября пошли из новгородской осады жители разоренной Русы, чтобы строиться, опять начинать варить соль и жить дальше.

Все долгие недели осадного сидения и переговоров — с середины июля и почти до сентября — Новгород голодал, терпя и пережидая. Скудные запасы пшеничного хлеба из боярских закромов «и того пооскуду», как писал летописец, не могли удовлетворить более чем двухсоттысячное (вместе со сбежавшимися жителями пригородов) население великого города. Начинался ропот. Голодные слонялись по улицам, громко требуя к ответу великих бояр и житьих — виновников военного поражения. Кто еще имел запасы, предпочитал не высовываться из домов. За стенами города шла ленивая перестрелка разъезжих охочих дружин. Изредка бухали новгородские пушки, отгоняя зарвавшихся московских конных ратников. Томительное стояние продолжалось. И сверху солнце, ласково-беспощадное, жгло кровли теремов и храмов, накаляло мостовые и городские стены так, что, казалось, в дрожащем стеклянном воздухе курились пересохшие бревна городень. Просушенный до звона камень башен-костров выбелился так, что делалось больно глазам. Лишенный посадов, сожженных горожанами, и от того как бы сузившийся и выросший ввысь, ставший изобильнее камнем соборов и строгою башенною красотою, город стоял все еще неодоленный, все еще гордый и неприступный.

Купец Наум Трифонов уже два раза приходил к Ивану мириться, и его, как пса, отгоняли от порога.

— Глаза бы мои не видели! — говорила Анна сурово.

Наум каждый раз подолгу стоял за воротами.

В этот раз Анна, воротясь с улицы, снова сердито, грозя расколотить, швыряла горшки.

— Ты цего? — спросил Иван.

— Опеть пришел! — ответила Анна, не оборачиваясь, и вдруг добавила погодя: — Может, примешь?

— Не приму я его.

— Грамоту принес,— сообщила она, несколько смущенно.— Долговую. Говорит, отдать хоцет.

— Откупитьце! — бледно усмехнулся Иван.

Дверь заскрипела.

— Прости, Христа ради! — вползая на коленях в горницу, заскулил Наум.— Вот!— Стоя на коленях, он двумя руками протянул грамоту, моргая по-собачьи глазами.— Прими! Отдаю долг-от! Ради Христа! — Руки у него тряслись.

— Купить меня хоцешь по частям? — стараясь яснее выговаривать безгубым ртом, отвечал Иван с лавки.— Почем еще? Руки, ноги отрезать можно, все жив буду! Может, так и разбогатею церез тебя... Не нать мне твоей грамоты, ни бирывал чужого вовек!

Анна долго молчала потом, сопела, всплакнула даже, сказала наконец:

— Ну и хорошо, что не взял, нецего ему... Проживем!

Рушане прижились. Феня напеременки с Анной мыла, стирала, обихаживала корову. За травой выбирались за городские стены, приносили на себе, в саках, каждый раз при этом рискуя головой. Добро, москвичи стояли не близко от города. Светлоголовые ребятишки играли с Ониськой. Старик сполнял мужеву работу за лежавшего пластом Ивана, за едой строго останавливал своих ребят, когда детская, не знающая удержу рука тянулась ко второму куску. Голодали дружно, все вместе. Несколько раз мокрый по пояс, пройдя с броднем о Волхово, дед приносил мелкой рыбы, тогда варили уху. Мужа Анна поила отваром, вливая ему в рот. Сам еще не умел толком есть, все текло из безгубого рта на бороду и рубаху.

Раны на лице подживали, затягивались коркой, корка то и дело лопалась, текла сукровица. Анна, меняя тряпки, начинала привыкать к душному запаху — то ли уж понемногу проходить начинало. Мужик был не краса, а нынче казался прежний-то — из писаных писаный!

Маленькая Ониська со страхом сторонилась отца. Иван однажды — вставал уже — хотел приласкать Ониську, но та забилась в угол, отпихнув его ручонками, в глазах стоял ужас. Иван долго потом плакал молча, лежа на лавке. Анна ходила по дому сама не своя. Первый раз в жизни побила дочерь. Ночью подлегла к Ивану, коснулась пальцами лица — мокро от слез. У самой щекотно стало в горле. Иван пробормотал, стыдясь:

— Куда тебе такого...

Она целовала руки, большие, изработавшиеся, прижималась, гася в себе страх от этого чужого лица. Решась, потянула к себе Ивана.

— Цто ты...

— Ляжь, говорю!

Опрокинулась, плотно зажмурив глаза. Иван и сам положил ей руку на лицо. Рука родная, тело родное, все, только дух от лица... Молчала, жадно чувствуя мужа. Ослаб, ну, ничего, оживет! Сама дивясь, что смогла, долго потом ласкала Ивана, пока он впервые, кажется, крепко уснул с тех пор, как воротился от Коростыни.

А как стала ложиться с мужем, так и Ониська, на третью ли ночь, пробралась к ним. Хоронясь за материной спиной, ручонкой потрогала отца — еще боялась немного. Иван сторожко, тоже через мать, долго гладил дочерь по головенке. А еще дня через два Ониська спросила:

— А правда, у нашего бати нос вырастет?

И долго не могла понять, почему мать смеется и плачет одновременно, целуя ее в щечки и судорожно прижимая к себе.

В конце августа город стал оживать, по мере того как с

прекращением осады начинали подходить обозы с хлебом. Казалось, беда миновала. Засобирались и рушане. Теперь, когда открылись пути, вовсю заработали ремесленные мастерские, наверстывая упущенное. Ватаги и дружины новгородских плотников, чеботарей, шерстобитов, шорников, кузнецов расходились по ближним и дальним деревням, погостам, рядкам. Лодейные купцы спешили с самонужнейшими товарами. День и ночь разоренная деревня слала в город жалкие поскребыши снедных припасов, которыми пренебрегли или которых не заметили москвичи, а город спешил восстановить порушенные амбары и избы, отковать лемехи, косы, гвозди, ножи, топоры, подковы; шил, тачал, мастерил, ладил лодьи и плел сети.

Рушане зарабатывали себе на отъезд. Так просто не тронешься. Дома, почитай, все разорено. Купцы из Русы уже заключали договоры и набирали товару под будущую соль. Тут же рубились хоромы, чтобы плавом, по озеру, подвезти до своего города, у кого пожгли ратные. Богатые ссужали бедняков деньгами, лопотиной, хлебом под будущую работу. Руки человечьи все замогут, а без работников соляное дело не своротить, да и общая беда единила. Собирались по концам: кто с Песьего, кто с Рогова, по улицам. Отыскивались старосты. Второго сентября караван в сто восемьдесят судов, больших и малых учанов, с людьми, скотом, пожитками, лопотиной, семенным хлебом, ведя за собой плоты из начерно обделанных под будущие хоромы бревен, тронулся в путь.

Анна с Иваном провожали Феню, детишкам надавали гостинцев, даже тесть Конон пришел, сунул деду резную рукоять к ножу. Обещали гостить, писать друг другу...

Страшная весть обрушилась вдругорядь на исстрадавшийся город. Рассказывали потом, кто видел, кто пережил, так: корабли стали в устье Ловати. Ловать пересохла, мели не давали войти в реку. С вечера еще было тихо, только тяжелые тучи, копясь, облегли небосвод. Ветер ударил ночью, с вихорем. Помчал разом взбесившуюся воду. Весь в пене, Ильмень обрушился на корабли. Якорные веревки лопались одна за другой. Учаны било друг о друга. С треском проламывались борта. Сплоченный лес раскидало, и бревна, прыгая из воды, как живые, давили захлебывающихся людей. Челноки, на которых пытались спастись, накрывало волной с одного разу. Что творилось на судах, где женщины, дети среди обезумевшей скотины и рушащихся груд добра во тьме кромешной метались, захлебывались и гибли, не находя спасения, даже и описать невозможно.

Потом, собирая трупье по берегу, лишь в одном месте мужики насчитали полторы сотни изувеченных, выкинутых морем мертвых тел. Точного числа погибших не считал никто. Добежав до Москвы, известие обросло баснями и небылицами. Говорили

уже о девяти тысячах утопших жителей Русы, и московские философы, вроде Степана Брадатого, с удовлетворением заносили их трагическую гибель на тот же счет господней кары за отпадение жестоковыйных мужей новгородских в латынскую ересь...

И та была не последняя беда. В октябре, будто мало было горя, загорелось от Белого Костра, пожар охватил речной немецкий двор и потек в улицы. Мало не оба конца градских выгорело дотла, до серого пепела.

Война притушила блеск гордо вознесшегося над Волховом двора. Пусто стало в пышном тереме Борецких. Исчезла молодежь, отхлынула живая кровь, рождавшая удаль и надежды. Утихли пиры, прекратились бешеные скачки коней, замерли смех и песни в просторных богатых покоях. Вскоре после известия о казни мужа, Капа собралась и, взяв Ванятку, перешла жить к отцу, Якову Коробу. Марфа не удерживала ее. Короб сам приходил, объяснял, что так-то и безопаснее. Гнев великого князя скорее падет на сына казненного Дмитрия, чем на его, Короба, родного внука. Она кивала головой, соглашаясь. Коробу стало не по себе.

После казни сына Марфа поседела и уже никогда не снимала темного вдовьего плата с головы, но внешне держалась спокойно. Все так же обходила клети, наряжала, еще строже, чем обычно, холопов,— мужиков и жонок,— по работам. В деревни, разграбленные московской ратью, были разосланы люди с наказом узнать о размерах урона и помочь, чем можно. Следовало во что бы то ни стало собрать урожай с полей, и посыльные, тревожно поглядев в глаза Марфе Ивановне, убеждались, что воля ее по-прежнему тверда, и быть может, еще тверже, чем обычно.

Только Пиша, зная, что Марфа Ивановна почти не спит по ночам, со страхом взирала на госпожу, боясь, не надорвется ли вдруг это ее суровое наружное спокойствие.

Меж тем в городе, отягощенном разореньем и московской данью, не утихали споры. Казнь Упадыша была лишь малым возмещением скопившихся обид. Все и каждый искали виноватого. Бояре спирались на житьих, сперва требовавших сечи и первыми ринувшихся с поля боя. Житьи ругали бояр за бездарное руководство. Житий Ефим Медведев прямо заявил на сходке — и слова его передавали по всему городу:

— Нам бы такую власть, как боярам, мы бы ее удержали! Их сколько и нас сколько?

В низах тоже росло глухое брожение. Ремесленный люд опять никто не спрашивал, им только приходилось платить за

побитые горшки на чужом пиру. Слово «предательство» перекатывалось по городу, рождая злобу и взаимное недоверие во вчерашних союзниках.

Сторонники дружбы с великим князем подняли головы. Архиепископ Феофил деятельно готовился к поставлению. Это был уже не тот растерянный человек, что трусил некогда в покоях Иониных и жаждал уйти в монастырь. Он все более входил в дела архиепископии. Печальный для всех прочих итог войны и казнь Еремея вдохновили нового владыку, начавшего думать про себя, что он наделен свыше даром провидения событий.

В сентябре Феофил, уже начавший чувствовать вкус власти и ободренный заключением мира, которое, как ему казалось, тоже совершено было успешно лишь с его содействием, и озабоченный вместе с тем, откуда взять денег на уплату той части огромного выкупа, что падала на архиепископию, решился, наконец, назначить ревизию денежных дел опального, но все еще не отстраненного ключника Пимена и, обнаружив недостачу сумм, самовольно потраченных Пименом на подготовку войны, злорадно приказал казнить Пимена торговой казнью: самого мучить, а имущества на тысячу рублей отобрать на покрытие расходов архиепископской казны. Голова Пимена — это был его личный дар митрополиту и великому князю Московскому.

Разгромленная партия Борецких теперь уже не в силах была защитить своего старого соратника.

И в низах церкви, в черном духовенстве малых монастырей, наущаемых иноками святой Троицы на Клопске, зрела мысль о спасительности власти великого князя. Малым монастырям очень несладко приходилось в эту осень. С каких доходов отстраивать сожженные во время осады обители?

Пришли наконец вести из Литвы. Король Казимир, как узналось, был занят войной с уграми и потому не мог выступить в поход в защиту Новгорода. Теперь это было уже все равно. Дорого, говорят, яичко ко Христову дню.

Тягостное известие о поражении на Двине привез Иван Пенков. Собрались у Тучиных. Савелков въедливо расспрашивал, как копили рать, как Шуйский собирал всех, кого мог, даже печерян привел и мезенских мужиков тоже. Как трижды убивали двинского знаменосца, секлись весь день до захода солнца, хватаясь за руки; как первыми побежали двинские полки, и Шуйский остался с одной новгородскою дружиной, как, наконец, была разбита и она, а раненого князя в лодье умчали из-под самого носа москвичей.

— Отец-то как?

— Отец цел. Василь Василич тоже едет, раненый, дак медленно везут... Ничего мы, братцы, не могли! Что и сталось!

Москвичи озверели совсем. Вятка, Устюг чуть не всех мужиков выставили. А с нашими как содеялось что! Рать велика, а без толку...

Иван рассказывал невесело, но без стыдного прятанья очей. Видно и prazда, дрались на совесть. Он повзрослел, обожженный огнем сражения. Сам вопросил, ища глазами по хмурым лицам товарищей:

— Вы-то как? Как же выдали-то своих? Мы вон Василь Василича из самой сечи выхватили, а не дали москвичам! Что ж вы Митю-то с Васей... Эх! Теперь без них как нам подняться? Что Марфа Исакова, как она?

— Молчит,— ответил за всех Иван Савелков.— Только в глаза ей смотреть трудно. Да увидишь сам, коли... коли заможешь!

— Страшно и идти! — признался Пенков.

— И нам страшно! — угрюмо отвечал Иван.

Раненого Василия Васильевича Шуйского встречали с почетом. Из рассказов прибывших ранее уже вызнали, что князь сделал все, что мог, и не его вина, что и там, на Двине, и люди и военное счастье отвернулись от Великого Новгорода.

Он первый поехал к Борецкой выразить соболезнование по поводу гибели сына. Ужаснулся, как постарела Марфа за тот год, что не виделись. Знал бы, что постарела за месяц — ужаснулся еще более. Он рассказывал, она слушала. Спросила про Василия Никифоровича, отца Пенкова:

— Что не зайдет? — она все время словно прислушивалась к чему-то.

После ухода московской рати тела казненных были вырыты и привезены в Новгород. Шуйский знал, что Марфа заказала торжественную панихиду, устроила богатые поминки и, говорили, ни слезинки не пролила, только лицом белела у гроба, в церкви, думали — упадет. И теперь, беседуя, отвечая, хорошо ли заживает рана, он все представлял ее в церкви, побелевшую лицом, без слез, у гроба сына, у гроба надежд на величие родного города.

Марфа угощала Шуйского, и по-прежнему была богатой посуда на столе, неслышно появлялись и исчезали слуги, даже еще неслышнее, чем когда-то, по-прежнему изысканны блюда, которыми угощала она старого служилого новгородского князя, потомка великих суздальских Рюриковичей, вытесненных в капризном ходе истории со своих уделов, со своих столов, сперва подымающимся Владимиром, потом возвысившейся Москвой.

Так они сидели, старые люди с великим прошлым — без будущего, о чем смутно думалось, но не говорилось, ни в этот раз, ни потом, до самого конца.

Посещение Шуйского что-то надломило в ней. Марфа еще работала, распоряжалась, еще проверяла и строжила слуг,

твердо ходила по дому, твердо держала власть над своим огромным хозяйством. Но как-то, разбирая с Пишей сундуки с добром, лежалые платья, шубы, белье, шелка и сукна,— требовалось перетряхнуть и пересушить все на зиму,— вдруг наткнулась на крохотную распашонку, завалившуюся на дно коробьи. Подняла в руках маленький истершийся комочек, расправила и узнала — Митина. Не поворачивая лица, охрипшим голосом, приказала Пише:

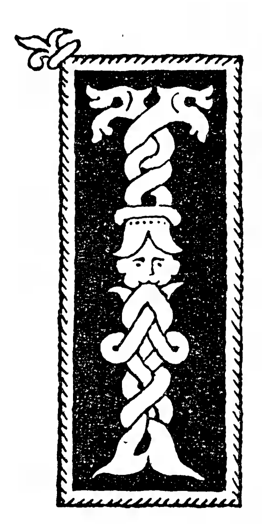
— Выдь!

И когда плотно закрылась дверь за спиною, упала на колени, втиснув голову в груду развороченного белья, обеими руками прижимая к глазам маленький кусочек ткани — все, что осталось ей от старшего сына.

И кто бы тогда, увидав ее, узнал гордую боярыню в этой навзрыд, по-детски плачущей старой женщине, всхлипывая, качая головой, шепча сквозь слезы, сдавленно причитая в груду тряпок:

— Я его погубила, я! Я! Я! Сама, сама-а-а! Митя, Митенька, родной ты мой, кровиночка моя! О-ой, о-ой, о-оо-ой...

Глава 19



етка Тимофея, того самого, что отвозил Евфросинью в Кострицу, померла весною, не дожив до Троицы одного дня. Уже начиналась ратная пора, и съездить, побывать хоть на могиле, Тимоха тогда так и не сумел. Лишь по осени, пережив и разгром и бегство на Шелони,— по счастью, его не задело в бою,— и тревожные дни на заборолах окруженного города, повзрослев и посерьезнев от пережитого, Тимофей сумел навестить родные места. Марфа Борецкая рассылала слуг по деревням для догляда, и он выпросился у ключника, Иева Потапыча, объяснив свои обстоятельства, чтобы заодно с господскими делами посетить могилу, да и какое ни на есть наследство получить. Все же дом, корова была... Там хоть на новую шапку, а все не бросать же!

Ему дали коня, хлеба в дорогу, добрый нож на случай всякой дорожной несуразицы — много разоренного, озлобившегося народа шаталось по дорогам,— и Тимофей поскакал.

В пути Язь насмотрелся всякого. Неприбранные трупы, расклеванные вороньем, голодающие бабы и дети в тряпье, что кричали, клянча, вослед, хоть затыкай уши, и недобрые лики встречных мужиков: раза два чуть не дошло до ножа. Сожженные деревни не могли приютить путника. Ночевал он в поле, подале от людей, сторожко привязав конский повод к ноге. Москвичи побывали на этой дороге всюду, понял Тимофей, и уже с тяжелым чувством подъезжал к родной деревне, боясь и там увидеть то же, что везде. Чтобы не переправляться через реку, он выбрал другой путь, в объезд, и потому не видал сожженного Дмитровского, не повстречался с Демидом и не знал, что его ожидает впереди.

Осень наконец-то вступила в свои права. Позолотила березки, смочила запоздалою влагой желтые поля. С неба, заволоченного облаками, то и дело начинало моросить. Когда Тимофей проезжал ближними перелесками, вновь дохнуло холодом, ветер пробежал по кустам, и листья дружно залопотали, выворачивая

светлые изнанки свои, будто светлея от ветра. Стал крапать реденький дождик. Вот знакомый косогор, вот обогнуть ту горку, тут еще будет озерко, почти пересыхавшее летом. Осенью бабы в нем мочили холсты...

Подымаясь на стременах, Тимофей издали выглядывал над кустами: уцелело ли что? Боясь увидеть головешки, какие уже встречал не раз по дороге вместо знакомых деревень, и вздохнул с облегчением, когда показались коняевские крыши, облепившие дальний склон озерца, которое сейчас, с началом осенних дождей, снова наполнилось и проблескивало сквозь заткавшую его высокую болотную траву. С облегчением и тайной надеждой, что тут обошлось и москвичи как ни то миновали, прошли стороною, он, высмотрев луковку часовенки, сползшей к самой воде, меж бань, широко и истово перекрестился.

Но тревожно смотрелась деревня, и пока Язь подъезжал ближе, тревога его разрасталась. Какая тишина! Только мягко шуршали капли редкого дождика по тускло позолоченной листве молодых березок и ольшинничка, окружившего дорогу. Не слышно было крика петухов, ни собачьего лая, не мычала скотина, а с ближнего взгорья Тимофей увидел, что и меж изб не снует народ, не бродит живность, не курится дымок ни в котором месте. Деревня была мертва. И только мелкий дождичек, постепенно усиливаясь, долгожданный и уже ненужный теперь, все сеялся да сеялся с белесого, размытого, во влажных серых шапках низко плывущих облаков осеннего неба.

Близ околицы (жердястые ворота были сбиты и вбиты, втоптаны в землю) лежал наполовину объеденный конский труп, в лицо повеяло тяжелым смрадом. Две-три вороны сорвались с обнажившихся костей, с карканьем отлетели в сторону, ненавистно следя приближавшегося человека. По буланой разметанной гриве и хвосту Язь, кажется, даже признал, чья то была лошадь, и тут же, зябко поведя плечами, огляделся, чая увидеть невдали труп хозяина. Трофим Олексич не таков был старик, чтобы задаром глядеть, как уводят его кобылу, кормилицу и вечную надёжу крестьянина, ибо что мужик без лошади! Ни пашни взорать, ни дров сволочить из лесу — ничего...

Он слез с коня и, ведя его в поводу, шагом прошел по улице, оглядываясь по сторонам. Дома стояли раскрытые настежь. Кое-где сорванные двери висели на одной петле. Язь спотыкался о рассыпанные копылья, наступал на вымокшую, искривившуюся клепку и какие-то тряпки, неразличимые под слоем грязи. Вымытый дождем, просветил красным отрывок браного праздничного узорчатого полотенца. Кому-то понадобилось корыто, поили лошадей, что ли, так и стояло поперек, загораживая путь. В грязной воде уже расплодилась ряска. Видать было, что грабили суетясь, вырывая из рук друг у друга, волоча и бросая тут же

ненужное — берестяные туеса, корчаги, деревянные ваганы и миски, турики, прялицы. Из канавы поднял брошенную вниз лицом и мокнущую в грязи икону, отер рукавом проясневший лик матери божьей. По тому, что надругались над иконой, подумалось было, что тут прошли, верно, татары, Даньярова рать... А, и свои не лучше...

И, войдя по изгаженным, замаранным чьей-то, не то скотинной, не то людской кровью ступеням, сквозь расхристанные, сорванные двери в горницу, где какие-то тряпки волоклись под ногами, от свороченного набок стола и опрокинутой одноногой перекидной скамьи, хрустнув слюдою выбитой оконницы, он поставил бережно икону на полку, в святой угол, сел на лавку, уронив руки на столешницу и обведя глазами все порушенное, разгромленное жилье, сник, сгорбился, не зная, что делать? И долго сидел недвижимо, под равномерный шорох дождя по крыше. Только конь изредка переминался, стоя у крыльца. Лучше бы уж пожгли, не так страшно бы было...

Вдруг,— Тимофей прислушался — где-то протяжно замычала корова и ей отозвался тоненький плач. Попритчилось? Он привстал, но на дворе уже снова стало тихо. Нет, ничего! Муха ли жужжала, верно. И снова Язь услышал за окном тоненький жалобный вой. Вроде собака, ан нет? Хоть какая жива душа! Тимофей спустился с крыльца и побрел на звук. Конь нетерпеливо дернулся следом, прядая ушами, стараясь сорваться с привязи — тоже, видать, боялся, чуял, что нежилое место.

У третьего дома, за сараем, Тимофей увидел девку лет девяти-десяти. Девка сидела на земле, под избой, грязная, простоволосая, в каких-то ошметьях рванины, не прикрывавших колен, бесстыдно расставив тонкие дрожащие ноги. Увидев Тимофея, девка закричала.

— Уйди! Уйди! Уйди! У-у-у! — завыла она по-собачьи, и по остекленевшим диким глазам Язь понял, что девка решилась умом. Видимо, от многодневного голода она уже не могла вскочить и убежать, а потому только тоненько выла. Нетрудно было понять, от чего рехнулась девка: «Звери! Дитя ить еще! Да, верно, не один и был-то...»

Тимофей осторожно попытался поднять девку. Она отчаянно упиралась, царапалась, норовя ухватить глаза.

— Ну, ну! — приговаривал Язь без обиды, отводя лицо и отрывая тонкие (эк, оголодала!), неожиданно цепкие ручонки от бороды. Кое-как поднял, занес в избу. От девки остро пахло нехорошим. «Обмыть надоть будет!» — подумал Тимофей. Дверь припер колом, чтоб не убежала невзначай, и пошел за коровой на жалобный, услышанный прежде мык.

Одичавшую животину пришлось долго приманивать хлебом, пока, наконец, она далась в руки. Корова жалобно мычала, мо-

тая головой. Он догадался, взглянув на вымя — недоена! Нашел корчагу, ополоснул в лужице, подвел корову к огороже, подставил корчагу и, присев, неумело, по-мужицки стал доить, оттягивая соски. Корова, вздрагивая телом, переступала от боли, верно, и, стараясь дотянуться до него, несколько раз лизнула шершавым языком в плечо. Соски разбухли, их приходилось разминать в ладонях. После первых неудачных попыток дело пошло резвее. Струйки молока брызгали сильней и сильней из переполненного вымени, и белая пенистая шапка над парным молоком все росла и росла.

Выдоив, как мог, корову, он завел ее за огорожу и привязал, пока, до времени, куском подобранного тут же лыкового ужища к воротной верее, чтобы вдругорядь не ушла в лес,— поди, отвыкла от дому! Корчагу, захватив в охабку, занес на крыльцо, откинул кол, которым припер дверь, чтобы блаженненькая не выскочила невзначай, занес корчагу в горницу и поставил на стол. Девка, все так же дико сжавшись, глядела на него из угла. Найдя щербатый ковшик, Тимофей почерпнул молока и поднес девке. Та дернулась, оскалясь и захрапев, потом, почуяв запах парного и исподлобья ловя движенья Язя, потянулась неуверенно к ковшу. Схватив ручонками (тут только увидел, что левая не слушается, верно, валили когда, отдавили сапогом или вывернули) и, хватая зубами край ковша, стала пить молоко, чавкая и захлебываясь, и все бегала, бегала глазами, озирясь, как запуганный бельчонок, попавшийся в руки огольцов.

Теперь по крайней мере Тимофей знал, что ему надо делать в первую очередь. Опять заперев девку, он разыскал коромысло и деревянные ведра, одно целое, другое с отломанной ручкой, ручку сделал из куска веревки, продев ее в ушки ведра, после чего наносил воды в кадь. Разыскал две косы-горбуши и выточил, установив прежде и наладив опрокинутое точило. Уже в сумерках Тимофей успел накосить травы и навесить двери в хлеву, куда он поместил коня и найденную корову. Больше ни на что не хватило времени, так как совсем стемнело. Впрочем, он отыскал и светец, и уже при свете лучины устроил ночлег для себя и малышки. Себе постелил старые мешки и обрывок овчинного тулупа, найденного на повети, а тронутую не без труда устроил на другой лавке, укутав своим зипуном.

Ночью, уже задремав, он вдруг услышал заполошный крик. Кричала девка впросонях. Долго трясущимися пальцами Язь чиркал по кремню, вздувал трут, наконец, засветил лучину. Пламя отблескивало в широко раскрытых бессмысленных глазах изнасилованной. Она сидела на лавке в прежней своей позе, притиснувшись к стене, и, оскалясь, вся мелко дрожала, руками вцепившись в зипун, которым ее укрыл Тимофей, и выла. Он попробовал подойти — девка взвизгнула. Подумав, он черпнул воды,

не подходя, плеснул девке в лицо. Она вся вздернулась от холодного, замолкла, и Тимофей тотчас подхватил ее, обтер слюнявое лицо рукавом, стал гладить по голове. Девка мелко тряслась, обмякая. Вспомнив, что осталось молоко, он почерпнул и еще раз напоил блаженную, потом, совсем обмягшую, уложил, окутав теплее, и сам сел рядом, боясь, что та вскочит опять. Девка несколько раз взбивалась, вся натягиваясь, как тетива, потом смежила глаза, задышала спокойнее, захрапывая.

Сменная лучина, догорев, давно уже погасла. Тимофей засыпал, сидя, и боялся отойти, оставить девку одну. Мгновениями просыпаясь, он шептал слова молитвы в темноту угла, где стояла давишняя, поднятая из грязи «Богородица».

С утра Тимофей не знал, за что приняться. Подоив опять корову и накормив ее и своего коня, напоив девку и сам пожевав хлеба с молоком, он тяжело присел на пороге. Дождь перестал. По небу все так же волоклись рыхлые дождевые тучи.

— Руки есть, работать нать! — подогнал Язь сам себя.

Сжав зубы, пошел по избам. Подобрал, натужившись, соху, заволок в сарай. Нашел борону. Прибрал сани под кровлю. Разыскал три дровокольных топора-тупицы, шесть горбуш, четыре серпа, несколько шильев, ножей. Собрал рассыпанные ржавые гвозди, разыскал кочедыг, которым плетут берестяные коробьи, и брошенный плотницкий снаряд. Очистил от ржи долота и струг, опробовал его — сгодится! Нашел сбрую и два хомута. Долго ладил разломанную телегу. Подумав, начал собирать и тряпки, сквозь которые кое-где стала прорастать сорная трава — эк, быстра! Нашел и выправил хорошую лопату. Наколол дров и затопил печь. Пока печь топилась, облазил подволоку. Под застрехою обнаружил хороший плотницкий топор. «Вот что надо!» С плотницким топором как-то все стало способнее.

Девка связывала руки, боязно было оставить одну, а тут — и печь топи, и все делай. Хлеб убирать же надо! Пока Тимофей начал копать огород. Так он возился, починяя и прибирая то там, то здесь, три дня. Почти не спал, разыскал разоренный по подволоке одной избы семенной хлеб, смел в мешок вместе с сором — и так посеется! Наладил соху и уже подумывал сам — один пахать под озимые. Начал привыкать и к тишине, и даже вздрогнул, когда, идучи от озерка с полным саком свежей травы для коровы, у часовни, на берегу, увидел старуху с клюкой, худую, почернелую, с пронзительным, почти безумным взглядом гноящихся глаз. Старуха была своя, деревенская, но так изменилась, что Язь не уразумел, Трофимиха ли то али Марья, Прохорова матка? Язь продолжал гадать, а старуха, вся тряпичная, рваная, стояла перед ним, как привидение, мелко тряся головой, и молчала. Он тоже не знал, что сказать. Вдруг она, пристукнув клюкой и пронзительно глядя на него, прокаркала:

— Москвиць ле новогородечь?

— Новгородец я, свой, Тимоха Язь! А ты Трофимиха, никак?— Он не успел увернуться. Старухина клюка пришлась ему по носу, больно ушибив переносье.— Ты что, старая?! («Ополоумела! Вторая мне на голову!»— решил Язь в смятении.)

Но старуха, вложившая в удар, видимо, все имевшиеся у нее силы, задохнувшись, опять замерла, тяжко опираясь на клюку, и только следила все тем же пронзительным блестящим взглядом за Тимофеем. Он уже начал потихоньку отступать, собираясь обойти старуху стороною, как та, вновь угрожающе подняв клюку, начала пронзительно кричать, помавая головой и дергаясь при каждом слове:

— Бросили нас на поруганье да на росхыстанье! Не было цего, не было цего заводитьце! Отсиделися тамо! Цего копашь, цего зоришь, уходи! Тотчас уходи, говорю, у! — Старуха приступала к нему, трясясь от гнева.

Кое-как утихомирил ее Тимофей. От сердца отлегло, что хоть не безумная. Старуха, однако, была с норовом. Вся шатаясь от слабости, она попробовала отобрать у Тимофея сак, а когда это не удалось, продолжала семенить следом, не переставая ругаться.

— И в избу не ходи! Неча тебе там делать! — кричала она ему вслед, зацарапываясь на крыльцо.

Тимофей, наконец, признал ее. Это точно была старуха Тимофея Олексича. Попробовал успокоить:

— Да Тимоха я, покойника Козьмы сын, Овдотьи Архиповны племяш, али не признала, старая?

— Какой такой Тимоха? — возразила старуха.— Наших мужиков всех забрали, никакого не знаю Тимохи! Умерла твоя тетка, и хоронить не сдумал! Цего теперь приволоксе? Цего тебе у нас? Уходи, уйди!

Она так и не помирилась с Тимофеем. Девку с руганью забрала себе в избу, корову тоже увела, и Тимофей остался один, не зная даже, продолжать ли свои труды или махнуть рукой и скакать назад, в Новгород? Он отнес старухе мешок накопанной репы, поставил на крыльце, не заходя в дом. Подумав, все же запряг жеребца, хлеба оставалось в обрез, он, вздохнув, перепоясался потуже и поехал пахать паровое поле. Впрочем, воротясь ввечеру, усталый с отвычки от тяжелой крестьянской работы, обнаружил, что у него истоплена печь, подметено, а на столе крынка молока и грудка печеной репы. Старуха, видимо, помягчела. «Сходить к ней?»— заколебался Язь. Но раздумал и, перекусив и накормив коня, завалился спать.

Так они и жили, не разговаривая. Тимоха колол дрова, складывал на крыльце у старухи, копал огороды и относил ей тоже на крыльцо репу, брюкву, лук и морковь, пахал, торопясь посеять озимые, несколько раз принимался жать хлеб, понимая, что все

равно как ни бейся, всего ему не переделать, и все же не мог уехать, не мог даже, бросив старуху с девкой, поскакать в Дмитровское за подмогой. Да и навряд там могли чем ему помочь, у самих шаром покати!

Язь посерел за эти дни. Забыл, какого вкуса хлеб и мясо. Но в работе все прибавлял и прибавлял скорости, то ли с отчаянья, то ли вспоминалась давишняя, еще отроческая сноровка. И уже почти отвык разговаривать, когда наконец, возвращаясь с поля, услышал человеческие голоса.

Тимофей остановился у порога, вглядываясь туда, где дорога, делая поворот, выбегала из лесу к деревенской околице. Старуха тоже вышла и стала посторонь от него, взглядывая из-под руки в ту же сторону. На пригорке сперва взлаяли собаки, зашевелились кусты, послышалось чавканье ног по грязи, и вот они чередою стали выходить из-за бугра, и, наконец, на склоне холма показалось все шествие.

По холодной грязи брели разутые, раздетые люди, жонки, дети, старухи, трое мужиков с потерянными, будто размазанными лицами. Они гнали двух тощих коров и несколько разномастных овец, верно, собранных по кустам, по дороге. Один мужик вел лошадь, хромающую, с забитой ногой, брошенную кем-то из ополонившихся ратников. Сбоку бежали, высунув языки, тощие собаки, заглядывая в лица хозяев. Это был новгородский полон, щедро, без выкупа, отпущенный по приказу великого князя «домовь». Отпуская, москвичи уже по собственному почину обобрали новгородских полоняников до нитки, и люди шли, разутые и раздетые, и шли уже четвертую неделю, жевали подобранные в полях колосья или кусочки коры, шли под осенним, упорным дождем, по слякоти, в пустую, ограбленную деревню, где, неизвестно как, нужно было собрать остатний урожай, и взорать пашню под озимые, и чем-то засеять, и после пережить зиму и не умереть, а весною, тоже неизвестно как, взорать ниву и опять отсеяться яровыми, и тоже неизвестно чем, и после ждать урожая, и опять изо всех сил стараться не умереть.

Дети, высохшими ручонками цеплявшиеся за шеи матерей, уже даже не плакали от голода, только смотрели большими глазами, и родители отводили взгляд, не в силах глядеть в эти огромные, непонимающие, голодные глаза детей.

Молодая баба бросилась в объятия старухи. Поднялся вой, причитания, как понял Язь, по покойникам, оставленным полоняниками в дороге. Мужики стояли кучкой на улице, как-то еще не решаясь заходить в избы. Тимофея узнавали, но здоровались с ним с какой-то опаской. Один Петро спросил его напрямки:

— От боярыни Марфы послан? — и прибавил без выражения, прямо глядя в лицо Тимофея: — За хлебом, поди!

Тимоха, ощутив дрожь в спине, отведя глаза, отмолвил:

— Помочь тамо, поглядеть велено.

— Нагляделси? А то ищо погляди!

(«Как сговорились, я-то чем виноват!» — думал Тимоха, кожей ощущая, что мужики правы: сюда и казать глаза сейчас было соромно). Он уже отступал тихонько к дому, когда кто-то из мужиков спросил старуху:

— Тимофей пахал?

Старуха кивнула утвердительно. Лица мужиков помягчели. Петро сказал:

— Ты-то бы сам хоть и не помогал. Все одно кормить нечем, а жеребца вот оставил бы, а? Хоть до снегов! Опосле возьмешь? — спросил он, с проблеском отчаянной надежды в голосе. И, видя, что Тимофей колеблется, горячо воскликнул: — Друг! Боярыне скажешь, сработаем! Лишь бы коня-то! Коня-то ни одного нет! На бабах пахать! Аль бо на коровах?

— Мы шли через Дмитровское,— подхватил второй,— там лодья стоит купеческа, должно, еще не ушла!

Мужики кружком оступили Тимофея, глядя на него просительно, и заговорили наперебой. Будь, что будет! Ощущая холод под сердцем от грядущих расспросов, как он посмел воротиться без коня, Тимофей сдался на уговоры. Мужики совсем подобрели, стали хлопать его по плечам, один вызвался сгонять в Дмитровское, сказать, чтобы подождала лодья.

Ввечеру ему показали могилу тетки.

Ужинать сели все вместе, в одной избе. Ели репу. Петро с сыном, уже прошедшие с бреднем, принесли несколько рыбинок. Жидкая уха была разлита в несколько больших деревянных братин, и все по очереди истово, не спеша, словно соблюдая обряд, опускали туда ложки, довольные уже тем, что дошли, добрели, добрались, что есть и крыша над головой — сколько сгоревших деревень перевидели дорогою! Довольные, что сидят вместе, деревней, и вместе, даст бог, огорюют и эту беду...

Девка, что подобрал Тимофей, жалась к старухе Трофимихе. Уже осмысленно, хоть и пугливо, озиралась по сторонам. Видать, старуха сумела ее выходить.

— Племянница! — рассказывал Петро.— Отца-то убили у ей. А тут такое было! Силы нагнано, что черна ворона, и татары, и свои... Нас-то не по раз брали, отбивали друг от друга. Опосле отпускать не хотели враз. А теперича, как этот сеногной зарядит, так и снопов не обмолотим, на печи сушить придетце.

— Добро повоевали, добрей некуда!

Злость была усталая, горькая и сочилась исподволь, как горький запах старого, давно загашенного пожара.

А впереди у Тимофея еще было нелегкое возвращение пешком, без хлеба в Новгород и нелегкая расплата за оставленного в деревне коня.

ГЛАВА 20

декабре новгородский владыка Феофил в сопровождении прусских посадников, Александра Самсонова и Луки Федорова, прибыл на поставление в Москву.

Целый месяц перед отъездом Феофил въедливо проверял убытки и исторы владычной казны, сам перещупывал меха и драгоценности (последние — с особым сожалением), что собирали на подарки митрополиту и князю. То и дело возвышая голос до визга, требовал описи земель владычных и недополученных, по причине войны, доходов. После казни Еремея и расточения Пимена уже никто не дерзал подсмеиваться над новым владыкою, а его мелочная зудящая придирчивость и постоянная внимательность к мелочам не раз вгоняли в пот и даже доводили до отчаянья ключников и посельских. Упершись в чемнибудь, Феофил уже не отступал, а злобно требовал и добивался исполнения своей воли. В Москву уезжал хозяин — пусть недальновидный, но зато упрямый и цепкий, как репей. А победа Ивана Третьего над Новгородом была и его победой над всеми явными и тайными своими хулителями.

В Москве Феофил был торжественно рукоположен митрополитом Филиппом в архиепископы и обласкан государем. Новопоставленный архиепископ бил челом о пленных. Укрощенных, обязавшихся рукописаньем не отступать от великого князя Московского, новгородских бояр, во главе с Василием Казимером, Иван Третий по просьбе архиепископа отпустил домой.

В рождество на небе появилась звезда, хвостатая, великая, а луч от нее долог, вельми толст и светел, светлее самой звезды. Восходила она в шестом часу ночи с летнего восхода солнечного и шла к западу, а луч от нее «вперед протяжеся, а конец луча того аки хвост великия птицы распростерт». Вскоре за нею, в январе, появилась и вторая «звезда хвостата», а хвост у нее был тонок и не столь долог, и лучи потемнее. Проходила она через три часа вослед за первой по тому же пути, к западу.

Московские мудрецы толковали появление звезд к вящей

славе великого государя и «одолению на враги». (О том, что по словам иных, звезда предвещала близкий конец света, Ивану не рисковали говорить.)

Марфа Борецкая в этом году отправилась в свой ежегодный объезд вотчин ранее, чем обычно, по первому снегу. Уже кое-как налаженная, залатанная жизнь не являла собою той картины страшного разорения, что открывалась путнику осенью. Милосердный снег прикрыл головешки пожаров. Обозы, по случаю разорения подвозившие и такие товары, что прежде производились на месте: снедные припасы, сено, доски и дрань, шли, почитай, даже чаще, чем обычно, и лица людей, понемногу приходивших в себя, не гляделись уже такой потерянной безнадежностью, как еще два месяца назад, хотя по-прежнему по всем дорогам брели вереницы отчаявшихся, потерявших родной кров сирот и погорельцев.

Встречных нищих, разоренных новгородских крестьян Марфа оделяла негустой, но неукоснительной милостыней, не пропуская никого. Все с тем же суровым — со смерти Дмитрия совсем перестала улыбаться — лицом подавала кому ломоть хлеба, кому сушеную рыбину, кому ношеную лопотинку, кусок холста, иногда и латаные катанки дитяти или бабе с грудным младенцем, что хлюпала по снегу, почитай, босиком, с синими, едва обернутыми грязною тряпицей ногами. Припас ей передавали из нарочито укладенного воза, где все только и было на подорожную милостыню. Подавая, Борецкая не слушала благодарностей, не слышала проклятий. Деньги, медные пула, давала редко и долго присматривалась: стоит ли? Ежели который пропьет с горя, дак почто и давать! У иных хлеба нет, а без хмельного питья-то прожить всяко можно! Двух-трех мужиков из вольных, бредущих из разоренных дотла деревень, побеседовав, созвала к себе на двор и тоже не уговаривала — захотят, сами придут.

В своих деревнях Марфа, не чураясь, заходила в разоренные, пахнущие смертью дома, въедливо осматривала хлева, амбары, оставшийся скот, больных детей. Тут щедрее давала деньги, но больше приказывала старостам сделать то-то и то-то, помочь тому, другому ли, и следила, чтобы приказ был исполнен. Иногда для надзора оставляла слугу из верных, и тот после догонял боярыню с докладом, как и что сделано. Ей не врали. Марфа не забывала ничего, а случись такое — и не простила бы. Это знал всякий. В разоренном Березовце стояли две недели. Как раз ударила оттепель, дорогу развезло, но без дела не сидели. Тут же на своих лошадях Марфа приказала возить лес к выжженным деревням, работали от темна и дотемна все, и свои холопы, и даже ключник. Сама проверяла, как отесывают, как рубят пазы. Клети клали на сырой, добытый из-под снега мох, а все

же перезимовать можно стало не в шалашах, с детями по крайности. Большой двор сгорел. Марфа ночевала в уцелевших хоромах посельского. Тот оробел настолько, что самолично выдал нескольким, помиравшим с голоду семьям зерно из своих запасов. Марфа приняла как должное. Примолвила строго:

— Смотри! За каждую душу, что теперь помрет, ты в ответе! Народу не станет, и тебя не станет! Что хошь делай, хошь у жонки серьги из ушей вынимай, а чтоб ни один не помер у тебя! И бежать не мысли. От меня под сер камешек не уйдешь, на Москвы найду! Понял?

Посельский после того роздал еще мешков двадцать жита, наказывая мужикам есть помалу.

Поправив Березовецкие дела, Борецкая направилась в Кострицу. Хозяйственный Демид успел навести кое-какой порядок, даже частично отстроиться. В волостке торганул припрятанным полотном, выручив за него у тверских купцов недорогой хлеб, и хоть и тут картина была невеселая, но все же дело как-то шло, и люди были немножко сытее. Кое-что, немного овса и сена, удалось забрать и для новгородских надобностей. За полотно, прознав о Демидовой торговле, Марфа не спросила ничего. Сказала хмуро:

— Ладно, людей уберег! Наработают...

Объехала несколько деревень, поглядела народ, проверила все, не забыв и того коня, что осенью оставил Тимоха. Конь был цел и теперь стоял у Демида. Про себя подумала, что хоть Тимофею и досталось от ключника, а весною надобно всех лошадей, что ни есть, послать в деревни, на сев, иначе мужики не замогут поднять всей пашни.

Демид, легкий, все так же подскакивающий воробьем, забегал вперед, показывал, порою и хвастал, гордясь каким-нибудь жалким на вид ухищрением. И, представляя, что три четверти Дмитровского осенью вообще были дымом, Борецкая согласно склоняла голову.

Про Опросинью Марфа спросила не сразу, а только уж после, когда все было осмотрено, все проверено и уже дошел черед до записей сохраненного Демидом добра. Спросила невзначай, как бы нехотя, отводя глаза, и мало не вздрогнула, узнав, что спрашивает о покойной. Остроглазый Демид, впрочем, заметил, что боярыня сменилась лицом. Сам смешался, почуяв, что допустил оплошность, недосмотрел чего-то, и потому рассказывать начал сбивчиво, без нужды теребя легкую бороду свою и стреляя глазами по сторонам.

— Да тут, в московсько разоренье, она середи баб-то видная, ходит чисто, в боярском терему жила, дак... Словом, грех случился, изобидели ее, снасильничали, словом. Известное дело, люди ратные, грубые. Она с того еще немного-то умом трону-

лась, а после, как весть пришла, что Дмитрий Исакович того...

Демид вдруг запнулся и замолк.

— Ну?! — почти выкрикнула Борецкая.

— Удавилась она, словом. На сушилах, где холсты сушатся, дак за холстами, как раз. Не вдруг и заметили.

— Не уберегли,— тяжело сказала Марфа.

— Дак тут такое творилось! И приказа-ить не было, особо беречь-то! Догадывались, конечно, непраздна была уж приехавши-то. Дак грехом не от Дмитрия ли батюшка, покойничка?

— Болтаете все, чего не нать!

— Прости, Марфа Ивановна, коли не так слово молвил...

— Дитя где? — спросила Борецкая, помолчав.

— Дак...— вновь замялся Демид.

— Сын ли был-то?! — нетерпеливо вопросила Марфа.

— Сын, дак она сама его... Обеих и похоронили, зарыли, петь-то нельзя было.

— Ладно, иди! — махнула Марфа рукою, полузакрыв глаза.— Грамоту представь, сколь чего осталось... И людей сколько.

— Хлеба нет...— нерешительно протянул Демид, медля на пороге.

— Знаю! Людей соберешь, поговорю сама... Иди! — повторила Марфа хрипло, почти просительно.

Демид исчез. Борецкая сидела неподвижно. Вот и тут ничего от Мити не осталось! Запоздало посетовала на себя и на Опросинью тоже: «Эх, оглупыш! Что ж ты сына-то! Али бы уж я внучонка поднять не замогла?»

Вспомнила, как та целовала ноги ей тогда, в байны. Долго сидела с закрытыми глазами. «Сын был! Хоть и сторонний, а все ж... Сама повесилась, и дитятю... Дитятю-то зачем! За что... И уж так со всякою бедою ведется, поодинке не ходит. Сперва Митя, потом и она тоже, одно к одному!»

Домой Марфа воротилась после рождества, к унылым в этом году святкам, почти без ряженых, без игр, без пиров, веселого шума. Славщики смахивали на нищих, да и были ими. На детей иных жалко было смотреть.

В дорогах то в мороз, то в слякоть, в избяных неудобных ночлегах Марфа простыла. Пришлось отдыхать. К делам вседневным приставила Федора. Зябко, раньше никогда и не зябла даже, кутаясь в пуховый просторный плат, сидела вечерами одна. То принималась вязать, то неподвижно смотрела в огонь жарко топящейся печи, слушая, как духовник мерным, навевающим сон голосом читает повесть об Акире премудром или жития святых.

Заходила Онфимья. Молча посидели, поговорили о звезде, о делах московских, о Феофиле, о деревенском — у обеих — нестроении.

Заезжал Офонас Груз. Тоже баял о звезде, о делах московских, об Иване Лукиниче, что накануне рождественского поста постригся в Николо-Островской пустыне, приняв имя Василия.

— Жаль было глядеть на мужика! Чел я и грамоту его отказную. Кается, что наступал сильно на землю монастырскую. А я их дела знаю, Ивана-то Лукинича та земля искони была! — он покачал головой, пожевал губами, от чего упрямый подбородок выдвинулся вперед, и борода задралась.— Так и все мы, один по одному... Ты, Исаковна, мож ли ищо? Ошиблись мы тогды с королем-то!

— Не с королем, друг с другом ошиблись! — ответила Марфа, глядя в огонь своими потемневшими, ставшими еще больше на постаревшем и похудевшем лице глазами.— Скажи мне, Остафьич! — вопросила она, кутаясь в плат и не отводя пристального взгляда от рдеющих и медленно распадающихся в печи угольев.— Вот я чла. И при Ярославе, и при Мстиславе, и при Юрии, и при других князьях суздальских либо тверских были отметники, что бегали князю даватьце, измены были, переветы; крест целовали стоять заедино и после креста отбегивали, погромы были, глады и лихолетья — стоял же Новгород!

Офонас вновь пожевал губами, утвердил отечные, в коричневых пятнах руки на трости, поворотил тяжело голову к Марфе, ответил с отдышкой:

— Стоял!

— Не мы ли ставили князей киевских? А то были князья — не чета этим! Били немцев на Чудском, у Вороньего Камня и под Копорьем? Под Раковором мы разбили орденские рати, хоть и князь изменил, вдарился на бег! Били мы чудь, били Литву и Свею. Магнуша, короля Свейского, со всею силою ратною вспять обратили! Брали и ставили города, посылали рати на Мурманский берег и за Камень, в Югру. Не нашими ли мечами проведены рубежи страны? От наших походов на Волгу дрожала Орда! И суздальские, и тверские рати мы били не по раз, и на рубежах своих и под градом — продавали суздальцев по две ногаты! Сон ли то или неправду глаголют летописцы? Было ведь?! — спрашивала Марфа внезапно зазвеневшим, как прежде, голосом.

Офонас вздохнул, ответил раздумчиво:

— Давно было!

— Давно ли?! — гневно возразила Марфа.— Деды! Деды еще! На Двину наши деды ходили, у иных — отцы, когда побили, в трех тысячах побили московскую рать! И двиняне были супротив, и то не устояла Москва! Кубену, Вологду, Устюжну, Белоозеро, Устюг Великий взяли на щит! А сейчас — двенадцать тысяч, и с двинянами заодно, и — разбиты... Давно, говоришь? Вот они, соборы! Вот святыни! Вот иконы, гробы святителей

новгородских! Вот торг великий, со всего мира стремятся к нему купцы! Вереницы обозов, а по вёснам лодейное толпление — не окинуть и глазом! Многолюднее стал город, гляди, концы новые выросли: Онтоновский, Неревский за городом, Петровский, Заполья, на той стороны Никитинское, Радоговицкое, у нас — Козмодемьянское, Черковское, Прусское, Легощенское, Росткинское, Воздвиженское! Народу уж и не сочесть сколько! Богатств скопилось — поболе чем встарь. И народ не сорный какой, не нищеброды московские, ремесленники наши и в кузнечном деле, и в серебряном, и в полотняном, седельном, шорном, книжном, каменном — в любом такое делают, что и не снилось того на Москвы! Нету там таких мастеров! И мы, бояра, в вотчинах наших дело ведем лучше московских князей, товар не гноим, рубли у холопьев не займуем. Власть? Так власть наша вся теперь! Суд и право у Совета господ, у посадника, в руках боярских! Что хотим, то и вершим, по своему праву! Даже и не придумать, чего бы не замогли! Земли наши немеряны, люди — несчитаны, так что же произошло?! Как соломенное чучело растрепали, как Кострому на потехе весенней! Часу не стояли на боютом!

Что сталось с силою новгородскою? Что совершилось с Господином Великим Новгородом?

Офонас поник головой. Старческая слеза копилась в углу глаза. Ответил тихо:

— Богдана спроси! Он тебе все преподнесет, и про славу нашу, и про святыни, и про все дела новгородские, и про договоры, и про все права, и про кажный род боярский со времен Ярослава Мудрого... А почто ослабли мы, и он не скажет!

Наступила тишина. Только потрескивали дрова в печи, рассыпаясь золотой рдяной грудой, да колебалась, оплывая, одинокая свеча в серебряном свечнике перед налоем с раскрытою книгой.

— Даве у свата была,— вымолвила Марфа устало,— у Короба. Молчит, глаза низит. Казимер тоже... Митю продали, бог с има! Может, и Новгород уже продали? Он-ить ратью руководил, почто не казнен тоже? Али за трусость помиловали? Воин!

— Онаньин с Горошковым на Двину уехали, Иван Своеземцев тож... Ты-то на Двину едешь? — спросил Офонас, промолчав о том, о чем сказала Марфа и о чем ему не хотелось даже и думать, так это было мерзко, ежели было... А быть оно очень даже могло!

— Еду. Со святок и поеду, на днях. Отогреюсь только.

— Там тож, бают, полный разор!

Проводив Офонаса, Марфа позвала дьячка, что днями заменял чтеца Марфина, и велела прочесть про звезды, отыскать по летописи. Слушала, откинувшись в кресле, полузакрыв гла-

за, знакомое, читанное уже не раз, и каждый раз по-новому понимаемое древнее речение.

— «В си же времена бысть знамение на небеси, на западной стороне звезда превелика, луча имуща аки кровавы, восходяща с вечера по заходе солнечном, и пребысть за семь дней. Се же проявлялось не на добро: по сем быша усобицы многия, и нашествие поганых на землю Русскую. Сия бо звезда была аки кровава, и проявляла крови пролитие. Таковыя же знаменья древле приключахуся при Антиохе, в Иерусалиме... По сем же при Нероне царе... И паки при Устьяне царе...» — Дьячок мерно перечислял описания старинных бедствий. — «Знаменья бывают с небесе, или в звездах, или в солнце, или птицами, или другим чем, не на благо бывают, но знамения сии на зло бывают: или проявление рати, или глад, или смерть проявляют».

Дьячок дочел, поднял глаза. Марфа слушала, кутаясь в плат, глядя в себя, думала. Сказала:

— Открой, где о Тохтамышевом пленении писано!

Теперь Марфа смотрела прямо перед собой пристальным, мерцающим взглядом и повторяла, беззвучно шевеля губами, некоторые слова. И тогда была звезда хвостата и предвещала нашествие татар на Москву, «яко же и бысть гневом Божиим». («Яко же и бысть»,— неслышно повторила Марфа).

— Ну, будет на сегодни, иди! — сказала она громко дьячку.

По уходе чтеца, Пише велела принести шубу и самой одеться потеплее. Пока Пиша выходила, взяла книгу, раскрыла наугад, перевернула несколько страниц. Взгляд упал на знакомые, любимые строки, впервые указанные ей покойным Василием Степанычем. Случилось это давным-давно, когда киевские князья, наследники Ярослава Мудрого не поладили друг с другом и предали землю свою на поругание половцам.

«Половцы же, приимше град, запалиша его огнем, и люди разделиша, и ведоша в вежи к сродникам своим. Много роду хрестьянска: страждущие, печальни, мучимы, зимнею стужею оцепляеми, во алчбе и в жажде и в беде, потускшими лицами, почерневшими телесы, незнаемою страною, языком воспаленным, наги и босы ходяще, ноги имуще сбодены терпием, со слезами отвещеваху друг другу, глаголюще: «Аз бех сего города». И другой: «Яз сея волости...» И тут вдруг древний летописец восклицал со всею силою души: «Да никто же дерзнет рещи, яко ненавидими богом есмы! Да не будет! Кого бо тако бог любит, яко же ны возлюбил есть? Кого тако почел есть, яко же ны прославил есть и вознесл? Никого же! Им же паче ярость свою воздвиже на ны, яко паче всех почтени бывше, горее всех содеяхом грехы!»

— Да не дерзнет никто молвить, яко ненавидимы мы богом! — медленно повторила Марфа, закрывая книгу. — Кого бог

возлюбил, паче нас? По то и карает, чтобы ся покаяли, ибо отступили от него, забыли мы бога!

Осуровев лицом, Марфа отошла от налоя. Вошедшей Пише молча, знаком, приказала подать шубу. Медленно оделась. Вместе прошли по темному переходу к вышке.

— Помоги, Пиша!

Долго, с трудом, отворяли намерзлую дверь.

— Снегу нанесло. Али уж похоронили меня? Покличь кого...— Пиша метнулась было.— Ладно, после!

Тяжело подымалась по ступеням. Намороженная верхняя дверца тоже не враз подалась. Наконец открылось небо, неоглядное, почти черное. Внизу разбегались городские огоньки, вверху — затканный холодными голубыми россыпями алмазов, бесконечно раскинувшийся простор. Звезда, косматая и от того как бы стремительно несущаяся по небесной тверди, висела над городом. Чужая, непонятная, приходящая из древних времен с чумою и войнами.

Марфа долго стояла недвижимо, запахнувшись в свой бобровый опашень и подняв бледное лицо к холодной, далекой и грозной звезде. Только пар от ее дыхания белыми клубочками подымался и таял в морозном воздухе.

— Нахождение рати, татарской... от хана Ахмата... или глад, или смерть... Кому только?

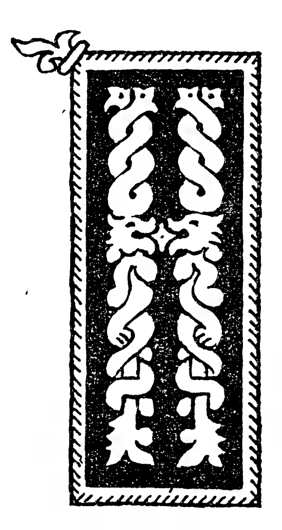
Пиша, не дослышав, переспросила:

— Какой хомут?

— Кому только, говорю! Пошли, замерзла ты, старая!

Не дожидаясь Масленицы, Марфа уехала на Двину.

ГЛАВА 21



а тридцать втором году жизни московский великий князь и государь Иван Васильевич Третий достиг вершины своего могущества.

От отца ему досталась испытанная, закаленная в непрерывных боях с татарами, с Литвой и в междоусобных бранях рать, во главе с опытными, поседелыми, послушными его воле воеводами. Твердой рукой обуздав редкие вспышки своеволия, он держал подручных князей и своих братьев на положении послушных союзников, скорее даже слуг, обеспечив, наконец, себе и потомкам новый, в боях и заботах утверждавшийся московскими государями закон престолонаследия, по которому власть и земли безраздельно передавались только по прямой линии, одному старшему сыну царствующего государя и никому другому, чем пресекалась раз и навсегда опасность раздробления страны на удельные княжества. Сыну без видимого труда давалось то, на что отец положил полжизни. Вчерашние уделы на глазах вливались в Московское государство. Рязань и Тверь уже считали дни своей призрачной независимости. Еще грозной тенью нависала Орда, но смуты внутренние, постоянная резня из-за престола и неоднократные победы москвичей уже разбили сказ о непобедимости степной конницы. Уже не раз Сарай, столицу Золотой Орды, брали изгоном вятские, новгородские и низовские рати. В Казани, после многократных походов, сидел замиренный, покорный Ивану Третьему царь. С далеким Крымом налаживалась дружба, которой дальновидный Иван не изменил во всю последующую жизнь. Угрожающее продвижение на Восток Литвы было прочно остановлено, и подготавливалось обратное движение — отвоевыванье старинных областей Русского государства. Псков послушно ходил в руке Ивана. Новгород, укрощенный, уже склонил непокорную голову перед великим князем Московским. Юный сын, наследник престола, рос и радовал сердце государя.

И хоть Литва, объединившись с Польшею в одно огромное

государство, еще держала древний Смоленск, угрожая самому сердцу страны, и Новгород еще не был одолен полностью, и татарское ханское подворье, как знак данничества Москвы, еще стояло в самом Кремле, и еще не выросли новые стены, соборы и палаты славного для потомков кремлевского велелепия, но все это — и победы ратные, и каменная красота, и величие власти — уже как бы содержались, созрели, были уготованы и означены Ивану, и лишь не исполнены, но и исполнение их уже начинало воплощаться в образы, телесными очами зримые...

И не слаще ли миг предвкушения успеха, чем сам успех, не слаще ли первые явления и награды власти, чем сама власть, с неизбежной старческой немощью, сгущающимися заботами, вспышками давно, казалось бы, угасших бунтов, размышлениями о наследниках, грызнею в собственной семье и неодолимо растущим, год от году, царственным одиночеством,— всем тем, что пока и не мерещилось молодому, полному сил государю.

Он рано созрел. Отцом, торопившимся устроить все до своей смерти, Иван был повенчан с тверскою княжной Мариею, дочерью Бориса Александровича Тверского, двенадцати лет. В семнадцать Иван уже стал отцом княжича Ивана, ясноглазого отрока, что ныне мужает у него на глазах. А еще через девять лет Мария умерла. По Руси гулял мор. Тело покойной безобразно распухло на смертном одре. Шептали, что государыня умерла от отравы. Бояр Алексея и Наталью Полуэктовых, приставленных к Марии и косвенно виновных в недоказанном преступлении, Иван хотел казнить и лет шесть не допускал потом перед очи. Ее одну он любил. Глядя на сына, вспоминал порой полудетские ласки покойной.

А теперь, с возмужанием, другая страсть владела им и захватывала его целиком, без остатка. Та страсть, которая превышает и земную любовь, и жажду богатства, которая выше, чем страх смерти, ибо из-за нее одной часто идут на смерть — страсть власти. И супругу теперь он искал себе не по любви, а по той же единой страсти, владевшей им. Вослед славнейшим из древних князей киевских, вослед и в подражание Великому Владимиру, иже крестил Русь, задумал Иван жениться на византийской царевне. И ей уже было подобрано имя, вернее, избрано одно из тех имен, которые носила Зоя Палеолог, дочь деспота Морейского, Фомы Палеолога, племянница последнего византийского императора Константина, павшего на стенах Царь-града,— имя Софья, что значит «мудрость», имя, осенившее древнейшие храмы Руси: святую Софию Киевскую — храм великих держателей золотого стола Киевского, от Ярослава Мудрого и до Ярослава Всеволодовича, отца Александра Невского, и Софию Новгородскую.

Далекая невеста жила в Риме, опекаемая самим папою. По слухам, она отказала французскому королю и герцогу Медиоланскому, так как не желала иметь мужа-католика. Слухи привез грек Юрий, посланный кардиналом Виссарионом, и деятельно раздувал Иван Фрязин, прижившийся на Москве и вошедший в доверие к Ивану Третьему оборотистый итальянец-денежник, прозываемый у себя на родине Джан Баттиста Вольпе (он даже принял православие, что, впрочем, будучи в Италии, тщательно скрывал).

Может быть, все было и не так, или не совсем так, как сообщал государю Иван Фрязин. Двадцатитрехлетняя царственная невеста была сиротой и бесприданницей. Братья ее сорили чужими деньгами в Риме, проедая блеск ушедшей в прошлое славы Византийской империи. И не король французский с герцогом Медиоланским, а всего лишь кипрский король Иаков и мантуанский маркиз, Лодовико Гонзага, были ее несостоявшимися женихами. И не Зоя отказала им — тучная, созревшая уже к четырнадцати годам гречанка, томясь, мечтала выйти за кого угодно, а сами женихи не пожелали связывать судьбу с невестой, все приданое которой состояло из блестящей, но — увы! — никак не переводимой в звонкий металл родословной. Да и папа римский, желая выгодно отделаться от обременительной подопечной, отнюдь не думал искать Зое Палеолог греческой веры жениха. Наоборот, посылая Зою на Русь, он мечтал через нее склонить московского государя к унии с католическим Римом.

Но Иван Третий верил тому, во что хотел верить. Его, невзирая на природную скупость, мало беспокоило Зоино приданое. Зато обременительное и бесполезное для обедневших итальянских вельмож родословное древо византийских Палеологов было нужно Ивану, и исполнено для него глубочайшим значением. Он верил древним книгам русских летописей, славе морских походов Владимира Святого, Владимира-солнца, как величали его певцы-гусляры. Через Зою он роднился с негаснущею славою древнего Цареграда и верил этому так же, как он верил, что именно ему досталась шапка Мономаха, последнего великого князя Киевского, от коего через Юрия Долгорукого, Всеволода Великого, Ярослава и Александра Ярославича Невского тянулось родословное древо московских великих князей. Он верил, ибо хотел верить, что каменная «сардоничная» коробка в их казне — подлинная реликвия римского цесаря Августа, и вослед ему этому верила вся страна.

Через десять дней после возвращения из новгородского похода, Иван принял венецианского посла Антона, что привез от папы римского листы на проезд Софьи из Рима в Москву. Зоя Палеолог уже именовалась Софьей в посольской переписке Московского государя. Он хотел представить себе будущую не-

весту. Ему прислали Зоин портрет — парсуну, выполненный в условной манере того времени, впрочем, итальянским мастером, искавшим определенные черты сходства между своим изображением и оригиналом. Он остался доволен парсуной.

Удача продолжала ему благоприятствовать. Вятчане пограбили Сарай. Хан Золотой Орды собрался на Москву и пересылался с королем Казимиром, но Казимир увяз в делах угорских, и опасный союз, из коего уже выбыл третий — Господин Великий Новгород,— снова не состоялся.

Государские мастера уже ломали белый камень для нового собора Успения Богородицы, что был обещан дряхлеющему митрополиту Филиппу. Иван исполнял обещание. Собор был нужен и ему самому. Москве не хватало величия, белокаменного величия седой древности, владимирского велелепия. В почерневших каменных стенах, в путанице дощатых крыш, в суете Москва была крепостью, торгом, но еще не городом. По первому санному пути камень стали возить в Москву.

Посольство в Рим за Софьей Палеолог было отправлено 16 генваря, в лето 6980-е (в 1472 году от рождества христова). Пока послы ездили, прежний папа скончался, и послы выскабливали в грамоте имя умершего папы Павла, вписывали Калиста, а потом, узнав, что папа не Калист, а Систюсь (Сикст IV), снова «выглаживали» имя и вписывали новое.

В апреле начали ставить церковь Успения. Мастера по наказу митрополита Филиппа побывали во Владимире и измерили храм Пречистой Богородицы Владимирской, созданный Андреем Юрьевичем Боголюбским, «превеликий зело и чудный делом», в меру и лепоту которого Филипп мечтал увидеть свершенным Успенский храм на Москве.

Весь апрель копали рвы, ископав, набивали деревом и наполняли камением, созидая подошву храма. Работа шла быстро. Пока одни копали и клали фундаменты, другие мастера разбирали притворы и алтарь старой церкви. Уже тридцатого апреля состоялась торжественная закладка алтаря и углов нового храма. Митрополит Филипп, облеченный в праздничные ризы, с крестом в руке, во главе всего освященного собора иерархов церкви, с иконами и хоругвями под колокольный благовест всех московских храмов пришел, чтобы своими руками означить алтарь новой церкви Успения Богородицы. Народ заполнил весь Кремль, государь Иван Васильевич явился с сыном Иваном, матерью, братьями и вельможами двора. Служили молебен, и вся площадь пела «едиными усты», после чего митрополит Филипп — чтобы увидеть, люди лезли на кровли, карабкались на ограды и деревья — заложил основание алтаря. Маленькая золотая фигурка наклонялась и выпрямлялась, весенний ветер колебал ризы митрополита, и казалось, что сам он колеблется

от старости, полагая основание каменной громаде храма, завершения которого (он не знал этого) ему так и не придется увидеть, и даже гробницу его потеряют потомки... И все же это он, митрополит Филипп, заложил алтарь нового Успенского храма, главного храма Московской Руси на все далекие последующие века.

Стены к концу мая месяца возвели уже на высоту человеческого роста, а старую церковь разобрали, выносив камение наружу, и двадцать девятого приступили к перенесению мощей. Опять звонили колокола, опять собирался весь освященный собор и князья великокняжеского дома. Опять Москва прихлынула в Кремль, и мальчишки висли на деревьях, заглядывая через головы народа на священное действо. Передавали, что когда с гроба преосвященного митрополита Ионы сняли каменную доску, по всему храму изошло благоухание, мощи же его все были целы и нерушимы, суставы не рассыпались, а ризы и омофорий не истлели ни у него, ни у прочих святителей. И многие плакали от умиления, благодаря бога и пречистую его матерь.

Когда строители, разбирая церковь, дошли до мощей святителя Петра, первого митрополита московского, Филипп, посовещавшись с великим князем, собрал для перенесения мощей собор епископов. Накануне совершалось вечернее пение у гроба, а во время перенесения мощей некоторые священники видели высоко в небе над гробом Петра парящего белого голубя, который тотчас стал невидим, когда раку святого закрыли крышкою. В палатах государя был устроен пир для духовенства и бояр. Церковь установила ежегодный праздник перенесения мощей митрополита Петра. Возвышающаяся Москва возвышала своих святителей.

Двадцать шестого июля пришла весть от князя Федора Пестрого, который подчинил Пермь. Еще одна земля, некогда состоявшая в воле Господина Великого Новгорода, перешла под руку великого князя Московского.

Летом наконец хан Ахмат с Ордой собрался походом на Москву. Король Казимир все не мог выпутаться из дел чешских и угорских, что позволило Ивану Третьему все силы опять бросить в единое место — против татар.

Тридцатого июля пришла весть, что Ахмат с Ордой идет к Олексину. На Оку ему навстречу были посланы воеводы Федор Давыдович, Данило Холмский и Иван Стрига-Оболенский с ратями. Готовясь к худшему, Иван Третий уговорил мать выехать из Москвы в Ростов.

Ахмат взял слабо укрепленный Олексин и вырезал в виду стоявших на той стороне москвичей всех жителей. Передавали потом, что ратники плакали и скрежетали зубами, не имея воз-

можности помочь своим: не было ни переправы, ни лодок. Впрочем, это был единственный успех хана Ахмата.

Взяв Олексин, татары изгоном пошли вдоль Оки, к броду, который защищала горсть ратников с воеводами Петром Федоровичем и Семеном Беклемишевым. Воеводы едва не оплошали. Косматые степные кони с вооруженными всадниками, как саранча, усыпали всю реку, черные на слепящей воде. Татарский клич плотно стоял в воздухе над Окой. Однако Беклемишев с Петром Федоровичем уставили людей по берегу и на горе и встретили татар тучею стрел. Мертвые поплыли вниз по течению. Раненые кони со ржанием выпрыгивали на берег и разбегались по кустам, волоча повода. Уже и на берегу сцеплялись в сечу, и лязгала сталь, и визжали, выкидываясь из воды, татарские конники, и косматые полосы крови, клубясь, уплывали по реке, и уже стрелы кончались в колчанах, и Семен Беклемишев, скровавив саблю, дико ощерясь, мчал по угору поворачивать вспятившихся своих людей, когда на горе, над ними, поднялся клич: «Москва-а!» — и горохом посыпались вниз свежие ратные: подошел князь Василий Михайлович с полком, тотчас кинувшийся в сечу, и полки князя Юрия Васильевича, брата великого князя. Татарский напор ослабел, а когда над берегом встали стяги самого князя Юрия, черные фигурки татарских конников с середины реки стали поворачивать вспять, пуская через плечо прощальные стрелы на московскую сторону. Брод был удержан.

Московской силы все прибывало и прибывало. Даньяровы рати, сына Трегубова, полки самого великого князя, идущие от Коломны и Ростова. Сто восемьдесят тысяч ратников стояли на ста пятидесяти верстах, готовые к бою с Ордой. Москва была уже не та, что во времена Тохтамышевы.

Даниил Холмский объезжал полки. Люди рвались в бой, только удерживай. Иван Третий и в этот раз добьется своего. Холмский до сих пор не получил боярства, не жаловал его государь Московский и землями. Князю приходилось самому с великими трудами перекупать села по кускам у других вельмож.

Если татары перейдут Оку, предстоит бой, возможно, не менее жестокий, чем при Дмитрии Донском на Куликовом поле. Кто знает, сколько их? Опускалась ночь. Князь сам поехал проверять сторожу.

Там и тут загорались костры. От нагретой за день земли веяло сухим теплом. Глухо топотали кони. За рекой, отблескивавшей серебром, тоже загорались огни, и доносился гомон, глухой, вражеский. За рекою была Орда. Конь ноздрями втягивал чужие, татарские запахи и тихо ржал.

Впереди показался отряд князя Ивана Оболенского-Стриги, их рати стояли рядом. Воеводы съехались, приветствовали друг друга и, оставя ратных, бок о бок, шагом поехали по берегу.

— И ты сторожу сам проверяешь?— спросил Стрига.

Холмский кивнул. Остановились на яру. Светлый конь Холмского и темно-гнедой Стриги тыкались носами, обнюхивая друг друга.

— Како мыслишь,— спросил Холмский,— перейдут татары Оку?

— Навряд!

Холмский посмотрел на Стригу. В темноте обветренное морщинистое лицо старого воеводы неясно расплывалось и было не понятно, не то он щурится лукаво, не то тени так легли на лицо.

— Даве Семена Беклемишева с Петром очень просто с брода спихнуть могли! — пояснил Стрига.— Трусили, ждали большого полку своего. А теперича вся рать наша подошла, дак не сунутся! Не те татары ноне, обломали им рога! Иные мурзы ихние, почитай, глядят, как бы в русскую службу поступить, а не то что...

— Спасибо за Шелонь! — сказал Холмский, помедлив.

Стрига усмехнулся:

— Не стоит того! Поверни оне к Бронничам, и ты бы, гляди, мне помочь подослал!

Холмский промолчал. Старик был прав, хоть и обидно в этом признаться. Разгромить новгородцев мог бы и он.

— Кланяться мы все государю должны! — строже примолвил Стрига.

— Не перекланяться бы! — ответил Холмский вдруг со злобою и закусил губу.

Стрига повернул лицо к нему, пытливо вгляделся. Конечно, боярство Федор Давыдович получил в обход князя, но ежели по годам рассудить, то государь и тут прав. Торопятся, торопятся тверичи! С наше бы послужили сперва! Но каков князь?! Можно бы и шепнуть о том при случае... Только сошлет ли его Иван? Нет, поди, не сошлет!

— Едина власть всем нужна, не только государю! — возразил он спокойно.— Власть великого князя Московского нам всем силу дает. Одна голова, один кулак! Эко: сто восемьдесят тыщ скопилось на Оке ратного народу! И все вместях! А без князя Ивана енти бы сто восемьдесят тыщ ноне друг с другом резались! На землю скуп наш государь — это да. Да ить без того у него и власти не будет!

Холмский вздохнул, вымолвил нехотя:

— Иван умен! А все ж — захочет он неправоту учинить, кто возможет противу? И сейчас на пиру задремлет — дыхнуть не смеют, а дальше что?

— На пиру, к часу, можно и помолчать, нас с того не убудет,— возразил Стрига примирительно.— А неправоту творить... То право государево, от бога дадено! Опеть же, когда неправо-

ту многие творят, как вон в Новгороде Великом, земле от того не легше!

В вышине мерцали звезды. Впереди, за рекою, мерцали костры. За рекою были вороги, Орда поганая.

— Дак, говоришь, не наступят?— вновь вопросил Холмский.

— Навряд! — уверенно ответил Стрига.

Великий князь не велел полкам переходить реку. Татары не долго стояли на Оке. Сам царь татарский, писал московский летописец, придя к берегу и видя полки великого князя аки море колеблющиеся, в доспехах чистых, серебром блистающих, зело вооруженные, начал помалу отступать от берега, «страх и трепет нападе на него», и побежал «в нощи, гоним гневом божиим». К тому же в ратях хана Ахмата открылся мор, и Орда бежала. Двадцать третьего августа Иван Третий воротился в Москву с бескровной победой.

Первого сентября свадебный поезд царевны Софьи, проехав Германию и Чехию, прибыл в Любек, чтобы там сесть на суда до Колывани.

Моровая болезнь задела не одних татар, умирали и на Москве. Второго сентября умер Юрий Васильевич, старший из братьев великого князя Ивана. Иван Третий прибыл на четвертый день. Отпевал покойного митрополит Филипп с епископами сарским и пермским. Юрия погребли в церкви Михаила архангела, рядом с предками, князьями московского великокняжеского дома. Удел покойного брата — Дмитров, Можайск и Серпухов — Иван Третий взял себе. Это породило решительную смуту в братьях, и Ивану пришлось поделиться с ними. Все четверо Васильевичей чувствовали, что это их не последняя ссора из-за земель и доходов московских.

По сентябрьскому московскому счету шел уже 6981 год, или 1473 год от рождества христова. Несмотря на траур, свадьба великого князя приближалась своим чередом. Двадцать первого сентября Софья со свитою сошла на берег в Колывани. Шестого октября она была в Юрьеве, одиннадцатого — во Пскове, на русской земле. Здесь ей была устроена почетная встреча, и царевна оставалась неделю.

Папа римский Сикст IV, Систюсь, послал с нею кардинала, легатоса Антония, для утверждения истинной веры на Москве. Кардинал ехал в варварскую страну просвещать заблудших. Перед ним везли латынский крест «крыж», знаменующий всем значение его миссии. Об этом «крыже» вести дошли на Москву, и возмущенный митрополит Филипп, явившись к великому князю, предложил выбирать, кто ему дороже: он, русский митрополит, или легатос со своим «крыжом», и пригрозил, что, ежели легатосу позволят явиться в Москву с «крыжом», он в тот же

час покинет Москву «другими вороты». «Понеже бо, возлюбив и похваливый чужую веру, то своей поругался есть». Поезд Софьи, которая ничего еще не знала не ведала, был остановлен в пути и чуть не обращен назад со срамом. К счастью для Софьи, у легатоса хватило ума долго не упираться, а Иван Фрязин, хлопотавший более всего о почестях легатосу, вовремя сообразил, что он уже снова не в Италии, а в земле великого князя и даже сам крещен в православие. «Крыж» был спрятан, и путешествие продолжалось.

Софья, которую перед отбытием наставлял сам папа Сикст IV, не спорила ни с кем и ни с чем. Наследница византийских кесарей давно чувствовала себя старой девой. Ах, она бы дала руку кому угодно! Она уже и вправду начинала стареть. Итальянские острословы издевались над ее толщиной и над ее бедными приемами. Зоя дурнела, еще больше рыхлела, ночами плакала в подушки. Далекий Московский государь, кесарь греческой веры, владелец огромной, как сказывали ученые греки, страны — это было больше чем счастье, это было спасение. Позади оставались ненавистные Орсини, тщетное ожидание брака, унизительное положение царственной бесприданницы, зависть к братьям, беспутно транжирившим несуществующие доходы, ядовитые пасквили и остроты гуманистов, что, ухмыляясь, передавала ей потом итальянская прислуга. Позади — страшный папа римский, все хлопоты которого только о воссоединении церквей. Она низила глаза перед легатосом Антонием. Она ждала. С ней ехали и свои, греки. На далекой Руси ученые люди легко говорили по-гречески. На далекой Руси ее хотят называть Софией, пусть так! София, Софья, она — Софья!

Псков открылся за широкой рекою. Сперва пошли белые церкви, коричневые деревянные дома, больше, гуще, выше, и вот показался город, как венцом обведенный каменными стенами. Все было белым и солнечным. Белые деревья с веселой желто-оранжевой листвой, белые стены города, голубое, звонкохолодное в белых облачках небо, белый храм на горе и красные наряды горожанок, и красный, праздничный, звон колоколов. Берег, когда переезжали реку в лодьях, был весь покрыт народом. Белые, розовые лица, сияющие глаза, золотые ризы духовенства — все веселило Зоино сердце. (Софья, Софья теперь!)

И уже чужим и нестрашным показался папский легатос в пурпурной мантии и перчатках, на которые с удивлением, как отметила Зоя, больше всего посматривали горожане, всем видом показывавший, что приехал в варварскую страну. А там — эта толпа народа, и крики, и колокольный звон, и такие добрые лица! И она решилась. В храме, куда их провели прежде всего и где кардинал Антоний презрительно не замечал местных варварских живописных изображений святых, Софья (мудрость!)

тихим голосом приказала — да, впервые приказала! — ему почтить образ Богоматери. Антоний удивленно оборотил лицо к прежней молчальнице, но спорить не стал и с брюзгливой неохотой приблизился к образу.

О, как она ненавидела их всех! И папу, и легатоса, и язвительных придворных, всех их, спихнувших ее, наконец, сюда, чтобы облегчить себе дело объединения церквей и бросивших на произвол судьбы дядю императора, и покойного отца, несчастного деспота Морейского!

Начались пиры. Ее поздравляли. Не зная языка, Софья лишь молча склоняла голову, когда вельможи в широком и дорогом русском платье, с поклонами, произносили слова своего языка, то твердого, то мягкого. Зоя никак не могла уловить эти переходы. Он был певучее немецкой речи и чем-то сходен с говором македонян, слышанном Зоей в молодости.

Двадцать пятого октября Софья прибыла в Новгород и поехала дальше.

Как в тумане, проходили перед нею города. Золотою метелью летели желтые листья. Холодный воздух обжигал лицо. Дороги твердели. Тонкие острые льдинки ломались под ногами коней. Приближалась зима. Софью кутали в дорогие меха. Даже простые люди ходили тут в меховых овчинных одеждах. Она смертельно перепугалась, когда их остановили конные московские дворяне и начался спор из-за креста. Вторично она вмешалась, бросившись, как тигрица, в бой за свое счастье. Да, она тоже хочет, молит, настаивает, приказывает, наконец! К тому же лица московских дворян отнюдь не были так добры, как лица псковичей, да и нигде по дороге московиты не простирались ниц перед «крыжом» легатоса. Шел снег. Дворяна были в оружии. Нахохлившийся кардинал, наконец, спрятал крест. Торжество истинной веры, задуманное им, не состоялось. Уже без всякой надежды на успех он тронулся дальше, в душе осуждая папу с его наивной верой в то, что этих язычников можно обратить в лоно римской церкви.

Двенадцатого ноября поезд Софьи прибыл в Москву.

Софья не сравнивала Москву с городами Запада, с Новгородом или Псковом, ей было не до того. Не разобрала она и тонкостей встречи, в церемониале которой были искусно соблюдены и непременное требование митрополита Филиппа о главенстве независимого православия, и сдержанность по случаю недавнего горя в великокняжеской семье, и пристойная случаю торжественность.

Софью со спутниками прежде всего провели в церковь, где митрополит Филипп, в облачении, благословил ее и присных православным восьмиконечным крестом. Это было и приветствие, и достойный ответ на «крыж» легатоса. Затем Софья была

представлена матери жениха, великой княгине Марье. Она оробела. Впрочем, похудев, посвежев и разрумянившись в дорогах, Софья очень похорошела. Княгиня Марья приняла ее милостиво. Да и никто не собирался отсылать назад Софью Палеолог, племянницу последнего византийского императора. Жених был высок ростом и благовиден собой, с густыми грозными бровями. Царственный спаситель от нищеты и глума, он и в самом скромном облике показался бы ей красавцем, теперь же у нее сладко заныло сердце, и закружилась голова.

Их обручили по православному обряду — римское условное венчание намеренно не было принято во внимание совсем. Потом ее провели в чудную, верно, стоящуюся церковь: стены были каменные, а внутри стен стояла другая церковь, деревянная, и в ней служили.

Софья выстояла службу, ведомую на греческий лад, а не так, как служили в Риме. После литургии состоялось венчание. Венчали «благоверного великого князя Ивана Васильевича всея Руси с православною царевною Софьею (ей переводили слова), дщерью Фоминою деспота Аморейского, а сын той Фома царя Мануила Цареградского, брат же царя Ивана Калояна и Дмитрия и Констянтина».

В церкви было полно народу в дорогих нарядах. Изрядно потишевший кардинал Антоний с римскими послами стоял смирно, посторонь. Дмитрий Грек, посол Софьиных братьев, с прочими греками заметно выдвинулись вперед. На бракосочетании были мать и братья государя, а также приближенные и избранные из граждан. Софья чуть поторопилась ступить на подножие и почувствовала, по мгновенной заминке, что что-то сделала не так, и испугалась: страх холодом прошел по спине, расширяясь от лопаток к тазу. (Вдруг все сорвется? Прервут, воротят в Рим...). Но высокий строгий московский цесарь, почти не умедлив, и сам твердо ступил на подножие и стал рядом, чуть впереди. У Софьи отлегло от сердца.

Только много позже поняла Софья, что наделала, когда мамка, баюкавшая ее дочь, объяснила великой княгине, начавшей понимать по-русски, примету: кто первый ступит на подножие, тот будет и верховодить в семье.

А сейчас, стоя перед аналоем, Софья, радостно волнуясь, уже не слышала возникшего за спиной шепота бояр, злорадно заметивших и по-своему истолковавших невольную оплошность царственной новобрачной.

Потом сидели за столами. Ей пели красивые величальные песни на непонятном русском языке. Ее закрывали платом, и она опять боялась, что сделает что-то не так. Ей расплетали и заплетали волосы. (В баню Софью водили еще утром). Потом ее отвели в спальный покой, приготовили ко сну. Женщина зна-

ками объяснила ей, что она должна разуть мужа, и Софья, неловко опуская глаза, стянула с московского государя красные мягкие узорчатые сапоги, из которых выкатилось несколько золотых английских нобилей — подарок молодой за разувание мужа. У нее упало и бурно забилось сердце, когда Иван, схватив ее за пояс, перекинул через себя на постель. И жадно, все еще боясь, что это сон, что произойдет что-нибудь непоправимое, торопясь скорее стать женою этого высокого, властного, сдержанного человека, Софья всем телом, животом, грудью прильнула к Ивану, прикрыла глаза и, счастливо, благодарно подаваясь вся его сильным рукам, удовлетворенно застонала, когда мгновенная боль возвестила ей совершение чуда — она стала московской царицей.

Назавтра Иван Третий принял послов и подарки от папы римского. Легатос хлопотал за венецейского посла Ивана Тревизана, что, будучи послан от дюки венецейского в Орду, остановился у Ивана Фрязина, по совету денежника, не сказавшись Ивану Третьему. Был повод указать место всем трем: Ивану Фрязину, что обманно вел себя перед папой Систюсем, легатосу, дабы понял, что с властью на Москве не спорят, и венецейскому послу, что посмел выказать небрежение государю Московскому. Ивана Фрязина, поймав и оковав, послали в Коломну, дом его был разграблен, жена и дети схвачены. Посла Тревизана, схваченного у него в доме, сперва велено было казнить, и только после настойчивых униженных просьб кардинала и прочих Иван повелел отложить казнь, снесясь сперва с венецейским дюкою, дабы выяснить, по чьему наказу посол Тревизан таковую грубость государю учинил? Посол, закованный в железа, был посажен в дому у Никиты Беклемишева, и свадебные празднества продолжались.

Кардинала с прочими Иван Третий держал у себя одиннадцать недель и, милостиво одарив, отпустил с честью двадцать шестого генваря. Передают также, что кардиналу Антонию было предложено устроить диспут о вере с московским книжником Никитою, и легатос, смущенный красноречием Никиты, отказался от спора, ибо, как он объяснил: «Нет книг со мною». Обратно послы возвращались через Литву.

С этого времени Иван стал подготавливать присвоение себе титула цесаря, или царя. Так он уже начинал зваться в бумагах, а еще чаще называли его царем в устной речи, почему и песни, что распевали бродячие гусляры, смешали позднее в одно лицо двух грозных царей, двух Иванов Васильевичей, деда и внука, и неистовый внук, по капризу судьбы, даже вытеснил из памяти людской своего великого деда.

Четвертого апреля Москва горела. Загорелось внутри Кремля, у церкви Рождества Богородицы. Сгорел митрополич двор,

двор князя Бориса Васильевича и житничный дворец великого князя. Большой княжеский двор удалось отстоять, и то потому, что Иван опять тушил сам и гневно шел прямо на огонь, побуждая дворян кидаться перед ним в пламя.

Митрополит Филипп воротился ночью после пожара и начал со слезами молиться у гроба чудотворца Петра. Иван, сменивший платье, усталый, с пятнами ожогов на лице, пришел к нему в церковь. Пробуя утешить митрополита, обещал восстановить ему хоромы и одарить добром взамен сгоревшего. Но митрополит плакал уже не о земном, а прощаясь с земною жизнью. Вскоре у него начали слабеть рука и нога, и он попросил отпустить его в монастырь. Филиппа отвезли к богоявлению на Троицкий двор, где он причастился и соборовался. Великому князю, сопровождавшему умирающего, митрополит Филипп наказывал только об едином, чтобы свершена была церковь Успения. Потом, уже мешаясь в речах, он наказывал своим приближенным и все о том же — о церкви, о припасе, скопленном им на строительство храма, о людях, купленных на то дело церковное, приказывая их отпустить, по своей смерти, на волю.

Заслышав, что митрополит умирает, началось паломничество к его одру. Филипп у всех в ответ просил прощения и тихо умер в первом часу ночи с пятого на шестое апреля. На теле покойного были обнаружены железные цепи — вериги, которые и положили к нему на гроб. Хоронил митрополита епископ Прохор Сарский в недостроенной церкви Успения.

В тот же месяц, на вербной неделе, послали на сбор русских епископов. Собором их был возведен на митрополичий стол Геронтий, епископ коломенский, который тотчас принялся за строительство нового митрополичьего двора, взамен сгоревшего, с каменными, кирпичными палатами.

Летом псковские послы просили великого князя оборонить их от немец. На зиму великий князь Иван послал во Псков князя Данилу Дмитриевича Холмского с бесчисленною ратью. Рать два дня шла и шла бесконечною лентою, втягиваясь в городские ворота Пскова. Сам Холмский прибыл на третий день, тридцатого ноября. Не довольствуясь московскими и псковскими силами, Иван Третий послал в укрощенный Новгород, веля выступить с ратью в помочь Пскову. Во главе рати был поставлен славенский посадник Фома Курятник.

Рать Данилы Холмского должна была, по мысли Ивана Третьего, навечно отбить у орденских немцев охоту нападать на земли великого князя Московского. Но Холмского ждала обидная неудача. Пала оттепель. Рыхлый снег оседал на глазах. Засинела Великая, поверху льда стояли лужи воды, через нее уже становилось опасно ездить. Кони вязли, проваливаясь по грудь. Холмский бессонными ночами лежал и слушал, как с

опущенных крыш и водотоков с равномерным настойчивым шорохом опадает капель. Иногда со звоном отламывалась и падала сосулька. У крыльца стояли лужи воды. Идти в поход было решительно невозможно.

Холмский ждал. Пятого генваря подошла новгородская помочь. Между тем войско проедалось и грабило посады. Псковичи после долгих недоразумений стали возить по раскладу на всех корм для войска — хлеб и вологу, мед и пиво, овес и сено лошадям. Рать стояла в Завеличье, готовая тронуться в поход. Но с крыш все капало и капало, и уже начинала раскисать земля под снегом.

Немцы меж тем спешно прислали посольство, предлагая мир на двадцать лет (нарушенный ими уже через полгода). Пришлось с горем согласиться на мир. Тридцатого генваря Данило Холмский поехал обратно.

Тою же зимой, в декабре, к Ивану Третьему приехал служить царевич Муртоза, сын казанского царя Мустафы, и Иван дал ему городок на Оке с волостями. Приходили послы из Крыма.

При дворе утверждался новый, сложный церемониал. Все чаще Иван давал волю вспышкам своего гнева, являя подданным грозу государеву.

Из Венеции, от дюка Николы Трона, прибыл в апреле новый посол, с дарами и просьбами, и Иван, удовлетворенный в своей венценосной гордости, выпустил Тревизана из заточения.

Софья ревностно погрузилась в православную церковную обрядность и семейные хлопоты. Стояла все службы, ходила по святым и чтимым местам, считала добро и утварь — становилась богомольной и домостроительной. За год и Рим, и папа, и пресловутая уния, все отошло, забылось, отодвинулось куда-то в давнее, почти небылое. Русскому языку она училась у мамок. Страшившаяся поначалу, что она бесплодна, Софья, наконец, понесла, и теперь втайне молила, чтобы бог послал ей сына, а не дочь. Туманные надежды, пока еще неопределенные, бродили в ее голове. Но одно она испытывала явно и ясно — острую ненависть к покойной тверской княжне. Софья не раз убеждалась с горем, что Иван ее не забыл, хотя и молчит о том. Муж и заботлив и ласков, но какими глазами смотрел он на сына Ивана, наследника престола московского! Ненавидя и вожделея, Софья удваивала ласки.

Плохо понимая в политике и делах государственных, она меж тем с молоком всосала тысячелетние византийские навыки тайной придворной борьбы и уже чуяла, вернее, начинала чуять, вглядываясь в лица ближних бояр, кто может стать за нее и кто против, на кого можно опереться, ежели придет нужный час.

Пышность, которой окружал себя Иван, льстила ей. Великое прошлое, блеск византийских императоров, о котором там, в Италии, Софья уже и не помышляла, начинал все больше распалять ее воображение. Боясь и ненавидя татар, Софья не раз уже просила Ивана вывести ордынское подворье за пределы Кремля. Иван пока отмалчивался, ожидая удобного повода. Он любил и роскошь, и блеск, и славу византийскую, но отлично знал, что все это мишура, коея сама по себе немногого стоит, без денег, без земель, без ратей, без власти, законами утвержденной. В апреле Софья родила дочь, Елену.

В мае церковь Успения была почти закончена, уже свели своды, кроме большого верха — центральной главы, и москвичи толпами приходили любоваться на храм.

Двадцатого мая, в час ночи, церковь обрушилась. По счастью, на ней не было людей, наверху бегал один только отрок, княжич, сын Федора Пестрого, но и тот успел отбежать и уцелел. Обрушилась вся передняя стена, полати, своды. Камни рухнули на деревянную внутреннюю церковь, проломив у нее верх. Был разбит гроб митрополита Ионы и проломлен митрополита Филиппа, а гробницу чудотворца Петра, не повредив, к счастью, мощей, засыпало целиком.

В том, что всего за час до обвала церковь покинули каменосечцы и никто не пострадал, усмотрели чудо, но, однако, дело от того не улучшалось, и Иван послал за новыми мастерами во Псков и в заморскую землю, в Италию, веля сыскать мастера самого лучшего, какой только найдется.

Летом Иван пересылался с Ордой. От Ахмата приходили послы. Купцы татарские пригнали на Москву сорок тысяч коней продажных и иного товару привезли много.

В ту же пору Данило Холмский решил отъехать от Ивана. Холмский был вовремя схвачен, но казнить или инако жестоко наказывать лучшего своего воеводу Иван Третий не решился. Он был достаточно умен, чтобы в этом случае сдержать себя, понимая в душе к тому же, что Холмский действительно обижен. Взяв с князя грамоту, в коей Данило Холмский обещался клятвенно не отъезжать от государя Московского, Иван не в долгом времени пожаловал его званием боярина, а годы спустя выдал за сына Холмского одну из своих дочерей.

Между тем из Новгорода Великого шли все более тревожные вести. Борецкие с присными опять подняли голову. Княжескому наместнику все труднее удавалось проводить назначенную Иваном жесткую политику в судебном праве. Многие из двинских земель, отошедших было в казну великокняжескую, новгородские бояре вернули себе. Но Иван медлил, все еще выжидая. Рассылал послов, укреплял границы. Зимою он выкупил остатнюю вотчину князей Ростовских и подарил ее матери.

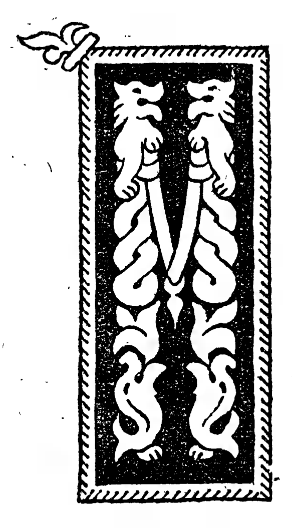
В марте, двадцать шестого, на Велик день, воротился посол из Рима, Семен Толбузин и привел с собою мастера, искусного ставить церкви и палаты, Аристотеля именем, который к тому же был нарочит лить пушки, колокола и иное что.

Аристотель, не мешкая, приступил к работам. Он тоже побывал во Владимире и ознакомился с древним Успенским собором. Москвичи дивились подъемным воротам и тарану, с помощью которого Аристотель в неделю разломал остатки обрушенных стен. Потом он начал углублять рвы под основание храма до двух сажен и более. Раствор он приказал замешивать густо, мотыгами, так что назавтра его было уже не отколупнуть, и все время вокруг строительства толпились любопытные. Иван Третий милостиво принял мастера и стал милостив еще более, увидя, с каким старанием и как успешно тот повел дело.

Между тем он готовил поход в Новгород, на зиму, как только укрепятся пути. Он пойдет в Новгород миром, как государь, как новгородский, принятый, князь, как ходил его отец после победы под Русой — тоже через четыре года. Так и он через четыре года после Шелонского разгрома появится в Новгороде судьею и господином, тем паче что судить было кого и было за что.

Двадцать второго октября Иван Васильевич Третий пошел в мирный поход к Новгороду, оставя на Москве наместником сына своего, семнадцатилетнего княжича Ивана.

ГЛАВА 22



арфа Борецкая пробыла на севере, на Двине и в Поморье, почти два года. Приехала на Двину к головешкам. Боярщины разгромлены, люди разбежались или числили себя за великим князем. Все надо было начинать сызнова, сначала. И она начала сначала. И уже не так, как в молодости, не до красоты было, не до песен, не до пиров. Чуть что — звенели мечи. Сама усмиряла бунтующие деревни, казнила и вешала сама (в Золотице пришлось пойти и на такое). Скрестив руки, стояла при казни, смотрела, как дергаются повешенные тела, не отворачиваясь. В глазах был казненный Дмитрий.

Московский князь был далеко, занят делами ордынскими, женитьбой, строительством. Вятчане да устюжане тогда, после победы, поусердствовали. Грабили правого и виноватого, заставили призадуматься и двинян-перебежчиков. В своих боярщинах Марфа навела строгий порядок и, не считаясь, помогала всем, лишь бы работали. Рубила избы погорельцам, раздавала коней и коров из захваченных стад, оделяла солью под будущие — когда поправятся — уловы семги, сельди, палтуса и трески. Показывала бабам, особенно из пришлых, как запаривать молодые еловые побеги скоту на корм, учила, как коров и овец подкармливать яголью, что собирают для оленей. Сумела, заставила, добилась: в первую же весну распахали всю землю, что было, хоть и не хватало рук, коней, сох, сбруи, семян. Холопы-дружинники валились с ног от устали. Тут же паши, тут же, выпрягши и оседлав коня, скачи в набег, а с набега опять на пашню, не передохнув — пахать, боронить, сеять. Но знали — за Марфой Ивановной не пропадет. Ела с холопами, с дружиной, сама во главе стола. Не сдерживая соленых шуток, подчас и усмехаясь смелому слову. Не видали, когда спала. Силы брались — на удивление мужикам. И памятлива — вины не простит и выслуги не забудет. Награждала так, что никто не был в обиде. И густели подымавшиеся деревни Борецкой, тучнели

стада, начинали румяниться изголодавшиеся за зиму, осунувшиеся лица.

Не одна Борецкая, почитай, все «двиняне» — владельцы волосток на Двине — усердствовали в своих северных вотчинах. Это тем, у кого вотчины под боком — славлянам иным, или Захарье Овину, можно сидеть в Новом Городе. У него-то все волости не далее Бежецкой или Водской сотен. А тут — потеряй Двину, Мезень да Вагу, откуда потекут меха, соль, рыба, хлеб, серебро? А серебра нынче надо немало! Выплаты тяжкие, да черный бор берут по волостям. И не возразишь, и не спихнешь, как бывало, княжьих черноборцев со своих земель. А Иван хочет и корову забить, и молоко доить: отобрав Двину, прежние дани-выходы брать с Господина Великого Новгорода! Да ведь не из золотой горы черпаем, на торговле заморской да на землях северных, неоглядных, откуда и меха, и иное добро, стоит Новгород! Отбери одно да прикрой другое — и захиреет гордый город, уже не щитом порубежных земель, не серебряной рекой из замория, а бедной окраиной, что и оборонить нечем и незачем, да болотами непроходными, неродимыми обернется северная лесная земля. Но до того еще много дел, и еще долго времени, лет поболе ста. Правнуки да праправнуки, позабывшие славу прадедов своих, узрят тот сором. А пока и помыслить о нем нелепо. Еще могуч, еще богат Господин Великий Новгород!

Объезжая волостки, Борецкая то и дело уряживала спорные дела о мужиках, скоте и землях то с Онаньиным, то с молодым Своеземцевым, который раньше прочих уехал на Двину и быстрее поднял хозяйство. Из Марфиных деревень к нему было перешли люди, но Иван не стал спорить с Борецкой, воротил мужиков, а Марфа обещала вернуть через год деньгами, хлебом ли или иным припасом — в чем он потратился на ее крестьян. В иных случаях она и сама принимала даровую силу, а потом тоже возвращала, по требованию владельца. Бывали у бояр новгородских на Ваге, Кокшенге, да и в устье Двины и друг с другом стычки из-за людей, стад, рыбных ловель. Но улаживались обычно сами, без суда княжого, памятуя шелонский погром. Беда общая, а тянуться в Новгород на Городец, ко княжому наместнику, не велика благостыня!

Из разоренной Новгородчины прибывали обозы с людьми, чаявшими хоть какого угла, хоть какой защиты от голодной смерти. Разведенные по избам, они в свой черед начинали работать. Было бы дело, и был бы хозяин при деле, чтобы знал, кого куда поставить, на какую работу, с кого что спросить, чтобы и даром хлеба не ел да и талан в землю не зарывал тоже! Хорошего кузнеца не пошлешь на пашню или рыбака — коней пасти, себе дороже станет! Это Марфа умела, видела людей.

Старики у нее не надрывались на такой работе, что по силам мужикам, зато плели сети, корзины, мастерили телеги, сани, упряжь, чеботарили, сеяли. Старые руки слабже, да искуснее, навыку больше в них. Молодые мужики не стояли над работой с плеточкой, сами воротили. Сила есть — работать должон! Бабы ходили за скотиной, старухи — за птицей, пряли, вязали, ткали. Плотник у нее плотничал, кузнец ковал. По силам да по душе работа — боле от человека и прибыли. На вторую весну стало уже легче. Марфа больше не ночевала в курных избах, отстраивала боярские дворы в волостках, подымались шатровые верхи пожженных церквей. И уже не одни подковы да гвозди — узорные накладки на двери мастерили кузнецы, загибали рогами железное кружево, завивали раскаленные граненые пруты и из витого уже гнули кольца дверные, стоянцы, светцы. Морозом покрывали жестяные оковки к сундукам, медники узорными бляхами испестряли сбрую. Топор, тесло и долота в руках плотников начинали творить чудеса, густою перевитью узорочья со звериными и змеиными головами, хвостатыми девами и девами-птицами окутывались вереи, столбы, причелины, деревянные полотенца и балясины оперенных крылец.

Конечно, старого было не воротить. Что стало князево, того уж трогать стереглись. Потишела жизнь двинская, приумолкли скоморохи-игрецы. А все же хозяйство направлялось. Можно было уже дать роздых рукам и сердцу, что порою начинало заходиться, сложить на плечи ключников и посельских ношу мелких дел. Уже полные обозы с зерном, салом морского зверя, скорой, кожей, солью, рыбой потянулись горой и водой,— по рекам и посуху,— в Новый Город, на торг и в амбары. Уже, почитай, можно было и возвращаться назад, под сень златоверхого терема.

Вести из Новгорода были смутные. Встречаясь друг с другом, бояре зло отводили душу:

— За митрополита Григория литовского нас громил, а сам на ком женился? На униатке! Теперь везет латынского легатоса на Москву, никто ему не зазрит!

Пустая была злость, пустые речи. Хорошо, хоть занят, рук не хватает до Двины дотянуться. Ругались и на то, что Иван под себя Пермскую землю взял. А тоже, что Колопермь поминать, коли Двины оборонить не замогли!

На вторую зиму Иван поход на немцев затеял. Новгородская рать с Фомою Андреичем, со Славны, ходила на помочь. Опять ругались: и немцев не побили — в распуту угодили как раз, а волости Новгородской от прохожденья московского опять тяжко пришлось. Всем в городе, по слухам, заправляли славляне. Кто раньше сидел да ждал, как что повернется, стали у князя в чести. Пора было вмешаться, не то и без войны город прода-

дут! Да и Федор сильно тревожил Борецкую — как еще управляет один?

За два года лишь однажды дала себе Марфа на час краткий роздых, когда ездила по делам к Ивану Своеземцеву. Вдруг, сама не чая с чего, отослала посельского и одна поднялась на приметный угор над речною излукой. Трудно узналось место. Церковь та, белоснежная, давно потемнела, да и огорела краем в нынешнюю войну. И дали были не те. Где вырубили и распахали новину, где не стало деревень или отстроились на ином месте. И все будто выцвело, потускло. Разве плывущие по холодному небу белые облака не изменились с тех пор. Ах, она же была молода — не те глаза, сердце не то уже, не те и краски! А все ж где то место? Должно, тут! Она помедлила на обрыве, отступила и — как почуяла, тут! Ели стали высокими, пото и не признала враз. Ящерка юркнула из-под ног и скрылась в вереске. Тут он и стоял, Василий Степаныч, и говорил, говорил, не глядя на нее, и сердце сжималось, не как сейчас, не от устали, а радостно, по-молодому. Что же теперь осталось от того дня, от часа того? Чужая могила старца Варлаама в Важском монастыре, чужой сын в боярском дому Своеземцевых. И не к кому прислониться на миг, закрыв глаза, некого вопросить с мольбою:

«Что же сталось с нами, Василий? Как нам подняться вновь?»

Внизу ждал слуга с конями. Марфа ездила не в возке, а в люльке, о-двуконь: конь впереди, конь сзади, так было способнее по тропам, по лесу. Когда надо, могла и по-мужски, верхом. Слуга ждал, ждал отосланный посельский. В селах стучали топоры, ладились сохи, конопатились и смолились лодьи, и все и вся ждало ее приказаний. И никто не ведал, что трудно, когда уже более полвека прожито, зачинать все это снова и опять. И холоп тот, внизу, не увидит лица боярыни, того, что видят сейчас облака, плывущие к югу, того, что так и не увидел тот, покойный, что говорил, не оборачиваясь к ней, на этом самом месте о судьбах страны, о боге и бедах народных много, много лет тому назад!

За два года наладились двинские и важское хозяйства, и поморские села поднялись. И на Терьском берегу ладилось, куда, к счастью, москвичи не доходили, и на Летнем, и на Поморском, и на Выге, Суме, Нюхче, и в Обонежье. И уже можно было ворочаться в Новгород, строжить Федора, собирать друзей. После святок Марфа воротилась домой.

Новгород почти отстроился. Кое-где лишь глаз подмечал: вон в том монастырьке церква была — шатровый верх, а теперь срублена клетью, на абы как. Там ограда стояла из тесовых плах, резная, а нонь плохонький частокол. Здесь, будто, терем был попышнее... В деревнях, по пути, гораздо хуже, иные и

запустошены вконец. Подъехали с торговой стороны, от Рождества на Поле. Рогатицкими воротами. Мимо святого Ипатия, вдоль по улице, к торгу, к святому Ивану на Опоках. Все знакомое, а гляделось будто внове. Усмехаясь своему, кутая лицо постаревшее (сама знала!), в морщинах в темный плат, озирала Марфа родной Новгород. Возок проминовал Славну, торг, кони вылетели на оснеженный Волхов, и уже впереди только и виделось одно — свой терем на горе. Как-то там?

Дом начинается с ворот. Вроде бы краска полупилась, потемнели резные вереи, или в глазах так, все темнит после севера? Снег выпахан не чисто... Нет, чисто, ждали! Дворня толпилась, встречая. Много новых лиц, верно, Федор набрал или Иев сам постарался. Возок окружили с поклонами. Марфа поднялась к себе. Сын встречал на крыльце, шел следом теперь. Глаза воротил — знает, что будет разговор. Потом! Огладила по голове Олену, поцеловала Онтонину. Пиша встретила в слезах, обрадовалась неложно. От того потеплело на душе.

К трапезе прискакал Олферий с Фоврой. Марфа ласкала внучонка, Василия — подрос! Давно ли пеленала! Мельком, внимательно, заглянула в глаза снохе:

— Федор не обижает?

Та заалела, потупилась, решительно помотала головой.

— Нет!

— Ин добро. С кем он там крутит на Славне, с рыжим, с Василием Максимовым? Нашел приятеля! На вот, гостинец тебе, со Терьской стороны!

Высыпала перед снохой горсть крупного северного жемчугу с редким розовым отливом. Та просияла. Маленькому гостинцы свои — морские раковины, расшитую цветными мехами лопарскую оболочинку-малицу и сапожки из оленьей шкуры да сушеные морские звезды. Олене бросила походя:

— Замуж пора! Фовра, смотри, детей носит, остареешь в девках! Иван Савелков все не женат? — спросила невзначай, знала сама, конечно.— Думай, девка, годы-ти идут! — сказала и не стала боле слушать ни смотреть: пусть сама решает.

За трапезой расспрашивала, кто помер, заболел, женился, кто у кого народился. Ненароком вызнала у Олферия, что делается на Славне.

Новое было лицо у Марфы. Уже не сказать, что красавица, что годы не берут — то все ушло. Морщины легли, но от них лицо не одрябло, а стало сурово и решительно. Глаза — светлее, словно промытые северными снегами. Резче сказывалась властность в движениях твердых рук, в голосе, словно все прочее выжгло теперь или отгорело само. Дел городских касалась слегка.

— Степенной Федор Глазоемец? — спросила, усмехнулась, а

так, словно, не кончай в феврале славенский посадник свой срок, не усидеть бы ему и на степени.

«Ой ли, хватит ли сил нынче?» — подумал Олферий. Теща не помягчела и, видно, знать не хочет, кто нынь в силе в Новгороде. Или знает?

Легко так, между делом, сказала, взглянув на Федора:

— Березовец опять грабили москвичи? — и вновь усмехнулась недобро.

Удалясь после трапезы, позвала Пишу.

— Сказывай, старая, как тута без меня?

Вполуха выслушала мелкие дела, домашние заботы Пишины, перебила:

— Слыхала, и вы тут великого князя с молодой женой поздравляли?

Пиша в радостях, что боярыня полюбопытствовала о том, о чем лонись судачил весь Новгород, зарассказывала о византийской царевне:

— Красавица! Пышная вся, белая такая, уста алые, цто купциха московська, право!

— Ты-то цему рада? — с усмешкой осадила ее Марфа. Помолчала, выронила: — Цареградску перину себе достал князь Иван! Теперь царем величать себя прикажет! Ну, говори, говори! Сбила я тебя, не обессудь...

Мылась в бане. Как прежде, мятой и богородской травой пахнул густой банный дух. Вечером приняла ключника. Слушала молча, пытливо разглядывая Иева. Грамотки приняла небрежно.

— Оставь, проверю. И погляжу сама, сколь цего в анбарах у тебя. Людей сам напринимал али Федор?

— Федор Исакович сам тем мало займуетце. Все в делах градских.

— Хорошо, иди!

Федора вызвала перед сном.

— Ну, сказывай! Со Славной повелся нонь?

Федор объяснял сбивчиво, горячась, словно оправдывался перед матерью, что без Славны силы не хватит, все одно. Нужно вместе, всем городом, пото он и дружит со славлянами! И вроде было не глупо, да ведь все одно ни с Глазоемцевыми, ни с Полинарьиными, ни с Фомой Курятником, ни с Исаком Семенычем, ни со Слизнем, ни с Норовом, ни с Кириллой Голым не сдружился. А Василий Максимов — не велика благостыня... Да и все одно Максимов еще не Славна! А кто больше-то? Немир с Олферием? Дак те и были свои!

Тоже слушала молча, не прерывала, как и ключника. Вздохнула только под конец:

— С Савелковым бы тебе, с Никитой Есиповым. Эти не продадут! А рыжий-от, Василий Максимов твой, темный он

какой-то! Смотри, не прогадай, Федор. Митя с им дела не имел...— Усмехнулась, видя налитое упрямством лицо младшего сына.— Губу дуешь? Один ты у меня, Федя, головы терять не след! Да и славлянам нынь верить... А вредит вам кто тамо? Назар, подвойский, говоришь? Что-то про его баяли мне. Он тоже к Денису ходит, надоть Гришу Тучина спросить об ем! Ну, иди. Помолись на ночь, со злобой день не кончай. Друзей надо наживать, Федор, а такие-то, как Василий Максимов твой, в беде помогут — ой ли!

В горнице прохладно. Жары в изложнице не любила Марфа. От лампадного огонька чуть колеблется тьма. Спит боярыня Марфа Ивановна Борецкая под собольим одеялом. Иногда застонет впросонях. Верная Пиша подымется — нет, спит государыня Марфа, привиделось что, верно. Задремывает Пиша. С государыней Марфой сразу спокойнее стало. Есть кому приказать. Теперь и девки сенные поостерегутся на Пишины указы недовольничать. Не от себя, от Марфы Ивановны имени и выбранить способнее, и похвалить знатнее. Спит Марфа. Всего-то отдыху у боярыни одна ночь. Завтра дела, и свои, и городские, и московские. И все сама, одна, младший сын не помога. Иные смотрят, на нее опереться. Лишь ей одной не на кого. На бога да на себя.

Капа должна бы в первый день пожаловать. Две улицы перейти, велик ли труд! Ради Дмитрия переломила себя Марфа, пошла назавтра сама, первая. Понесла гостинцы. Доброй бабушкой ступила в терем Якова Короба. Яков залебезил — не ждал, не чаял, мол! Не чаял... Капа тоже низила глаза. Худо ли жилось у свекровы? Ваня, маленький, застеснялся было. До чего похож на Митю! Сердце защемило враз.

— Иди, Ванятка, сюда, баба Марфа станет сказку сказывать!

Подошел, не забыл все же.

— Каку тебе, стару, нову?

— Баран, золоты рога!

Вспомнил! Маленькому все говорила. Посадив на колени, Марфа начала:

— Жили-были дедо да баба. Детей у них не было никого. Вот и задумали: давай слепим из глины паренька! И слепили, и он заходил, засмотрел. Ходит и ходит. Вот раз дедко ушел в лес, дров сечцы, а бабка сидит, прядет, паренька глиняного послала за клубом. А Глиняшка етот входит: «Бабка, бабка, ты цто знашь?» — «А цто мне знать?» — «А я съел клуб с веретешком, семь печей калачей, семь печей хлебов, семь печей мякушек, быка-третьяка и тебя, бабку с прялкой, съем!» — Хам! И съел. И пошел по дорожке. И идет, и идет дедко навстречу, с топорком...

Ванятка прыгал на коленях, подсказывал:

— И девку с ушатом съел!

— Да, и дедка и девку. И идет жонка с коромыслом. «Жонка, жонка, ты цто знаешь?» — «А цто мне-ка знать?» — «А я съел клуб с веретешком, семь печей калачей, семь печей хлебов, семь печей мякушек, быка-третьяка, бабку с прялкой, дедка с топорком, девку с ушатом, и тебя, жонка с коромыслом, съем!» — Хам! И съел.

— И идет баран, золотые рога! — торопил Ванятка.

— Погоди, не вдруг! И идут семь косцей с косами. Ну, говори сам!

— «Косцы, косцы, вы цего знаете? А я съел семь печей калацей, семь пецей хлебов, семь пецей мякушек, быка-третьяка, бабку с прялкой, дедка с топорком, девку с ушатом, жонку с коромыслом, и вас, косцей с косами, съем!» — Хам! И съел! — закричал Ванятка, ликуя.— И теперь баран!

— Да, всех поел, как великий князь Московский! — отозвалась Марфа.— И идет навстречу ему баран, золоты рога. А баран-то и говорит: «Как ты меня будешь исть? Ты стань под горку, а я на горку. Рот-от открой, а глаза закрой. Я разбежусь да тебе прямо в рот и заскочу». Глиняшка стал, а баран разбежался, да в брюхо-то ему и ударил, рогами-то. Глиняшка и рассыпался...

— И все побежали! — воскликнул Ванятка. Глазенки блестят, нравилось, что спаслись, и не пропал ни который.

— Да, и все выбежали, и все запели:

> Спасибо те, баран, золотые рога!
> Спасибо те, баран, золотые рога!

Досказав сказку, Марфа ласково поерошила Ванятке волосы. От внука не хотелось уходить. Снохе сказала просто:

— Приходи, Капа! Завсегда рады, не обижай!

Ванятка тут же уцепился за подол — не отпускать. Капа осторожно обняла сына, отводя ручонки:

— Ты пусти бабу, ты скажи: баба Марфа, к нам гости!

— Баба Марфа, гости к нам! — закричал Ванятка.

— Ладно, малыш.— Марфа расчувствовалась, расстроилась даже.

К самому Коробу, на его половину, зашла уже не такая. Будто просто навестить. Не была давно, сказал бы, что деется. Про московские дела выслушала молча, покивала головой. Глядя в мягкие, осторожные Коробовы глаза, спросила:

— Ну и как? Сдружились? Слыхала, совсем суд забирают городищенские у вас?!

Короб смешался.

— Марфа Ивановна, давно ты не была в Новом Городе!

Времена-ить уже не те. Многие и обижены, и откачнулись после Шелони-то...

— Видала. Знаю. Дмитрия на борони потеряла, где Василий твой рать новгородскую... Прости, может, не то слово, не так молвила, а все мы в обиде, и все в ответе! И твое дело, и Казимерово — не сторона. Ну, прощай. Капу-то отпущай иногда. Мити нет — на внука поглядеть!

После сама себя укоряла, что не сдержалась. Да и то сказать, о чем думают только? Перед Пишей, наедине, изливала душу:

— Слыхала я, как служат князю Московскому! И страшно, и грозно, а боле того страшно! Не знать — пожалуют, не знать — казнят! Это теперь он еще ликуется с ними, а всю волость под себя заберет — ужо и им, что нам будет! Пока сила есть,— отбитьце, а силы нет,— и золото не помога!

Марфа с того посещенья словно бы ушла в дела хозяйственные. Но как-то побывала у Офонаса. Посидели мирно, двое стариков, помолчали о прошлом. Ненароком лишь спросила, кого с февраля степенным думают выбирать.

— Фому Андреича? Курятника?— переспросила она с чуть приметною насмешкой.

— Да уж, курятник он и есть, хорь-курятник! — ворчливо отозвался Офонас Груз.

— За то, что отличился перед князем Иваном, рать ко Пскову водил...— раздумчиво протянула Марфа.— Лучше бы уж Луку вашего!

— Лука...

— Или Фефилата!

Офонас повел глазом, пожевал, подумал:

— А ты, Марфа, хитра-мудра по-прежнему. Почто бы?! Фефилат извилист, а всё нашей стороны!

Были и еще разговоры, споры, речи и пересылки, жалобы аж до Москвы, а вышло по-Марфиному, выбрали степенным Феофилата Захарьинича, Филата Скупого, Порочку — как прозывали все прижимистого, хитроглазого загородского посадника.

Будто не заботилась о том, а дом опять стал наполняться. Зачастил Савелков. Григорий Тучин появился было, сочувствие выразить, и так просто, по-матерински встретила его Марфа Ивановна, так невзначай напомнила о совместных делах двинских, что и еще пришел, и еще, и еще.

Об убитом Борецкая не напоминала. Не было в ней такого, что печалит и отпугивает молодежь. И смех зазвучал в доме, и быстрая речь, и замыслы пошли новые, нешуточные. Да и то сказать! Повзрослели вчерашние юноши. Кого и состарила Шелонь!

Пришли бояра, а за ними потянулись и житьи, что были вчерашними сотоварищами Дмитрия Борецкого. Обрастал людьми златоверхий терем на горе. Вновь собирались «у Мар-

фы», или «у Борецких». Как-то так умела сделать она, что и без Дмитрия не опустел дом, не стало страшно взойти, как бывает: года идут, а словно гроб с покойным стоит в соседней горнице. И тут сумела, и тут смогла переломить себя. Даже платье черное, вдовье, сменила на другое. Не ярко, как встарь, но богато и для глаза не печально: по темно-синему просверкнет серебро, на густом, почти черном винно-красном бархате — золотые парчовые цветы. Плат и темный, но — далекой Индийской земли узорочья, черный повойник — в голубых жемчугах.

И старики вновь запоезжали к Марфе Борецкой. Богдан обрадовал. Как встретились после Двины, так словно и не расставались вовсе. Все тот же был Богдан, не сломило его ничто, не состарило. И словно даже ближе стал как-то.

Раз наедине, из-под мохнатых бровей своих глядючи остро, примолвил:

— Теперь мы с тобою, Марфа, вроде, крестники! Мой-то тоже от московских князей... Под Русой тогда...

Потупился. Семнадцать лет прошло, как погиб в бою под Русой Офонас Богданович, а для старика — все вчера еще. Перемолчали оба. Богдан поднял глаза, улыбнулся, сморщил нос:

— Внуки-то растут? Видал Ванятку твоего, был у Короба, шустрый, видал!

И больше о том речи не было, а почуяли оба: друг с другом — до конца.

От Богдана Марфа вызнала и о делах Федора. Расспрашивала при Богдане — тоже ненароком, сидел вместе за столом,— Григория Тучина. Спросила и про Назария. Тучин нахмурился, подумал — рассказать ли? Он продолжал встречаться с Назарием у попа Дениса, и нет-нет, тот рассказывал ему свои убеждения, почерпнутые им из древних летописей и из наблюдений за рубежом — о единстве всего языка русского. На вопрос Марфы Тучин медлил отвечать. Думал, не предаст ли он подвойского? А тут выручил Богдан, рассказал то, чего и не знал Тучин, а знай — не придал бы, верно, значения. По себе считал, что личное в делах больших для мужика не так важно, чтобы от того убежденья ли, поступки менять. Богдан же всегда знал все про всех.

— Он к дочке Норовых подсватывался,— объяснил Богдан.— Да и то сказать, росли вместях! Парень-то видный, и умен, бывал в чужих землях, а — не родовит. Родион ее за Василья Максимова сына давал. Девке двадцать два, тому — шестнадцать лет, молоко на губах! Ну, заупрямилась, тоже с норовом, видать. В монастырь ушла. А теперь Назар Василию Максимову враг первый. Да и то промолвить: рыжий-то, Максимов, увертлив больно, скользок, что налим, чего у него на уме, не поймешь! А Назар со зла тоже на все пойти может.

Марфа приняла рассказ к сведению, более не спрашивала ничего. И Григорий был рад, хоть и чувствовал, что в чем-то обманул Борецкую.

Ладно, пускай! Думала Марфа про Василия Максимова. Брезговать не время. Славлянин, дак пригодится. Тысяцкий к тому ж. А купцов беспременно к себе надо привлечь. А Назар... Назара улестить как ни-то надоть. Может, женить. Та девка не так помниться будет!

С Онфимьей Горошковой дружили по-прежнему. Да ведь и не расставались, считай. В Обонежье встречались не раз, одна другой дела поручали. Иван Есифов, Онфимьин сын, возмужал. Полюбил конную скачку. Гневался или говорил когда — загляденье. Онфимья гордилась сыном. То было за другими тянулся, тут сам стал — Горошков, Есифа Андреяновича сын! Он да Савелков, два Ивана, да Никита Есифов и верховодили. На Прусской улице поговаривали, что на первое же освободившееся место посадничье его изберут. Оксинью, жену Никиты Есифовича, Марфа с Онфимьей приняли как равную, учили хозяйствовать.

Не удавалось сойтись с Настасьей. Борецкая не по раз бывала у нее, в богатом тереме на Городце. Ширококостная, властная,— годы, как вышла из молодок, словно перестали трогать, не поймешь, сорок ли, шестьдесят ли,— гордившаяся тем, что звали за глаза славной вдовой Настасьей, она глухо ревновала к славе Борецкой. Баловала старшего сына, красавца Юрия, приговаривала: «Чудом ушел тогда с Шелони!» (Чуда-то не было, просто первый ударился в бег). Водилась со славлянами, принимала у себя княжьих бояр московских... Так и не сговорились вдовы. Настасья и добра была до Марфы, и звала гостить, а будто говорила: у тебя — свое, у меня — свое. А тоже земли были на Двине, и потеряла немало за князем Московским. И людей имела оружных — дружины — немало! Так и разошлись, каждая осталась во своем.

Феофилат на степени хитрил и со Славной, и с неревлянами, и с московским наместником на Городце, но пока то только и надобно было. А у Московского князя, будто с Марфина наговора, то то, то другое стало спотыкаться. Не удался тогда псковский поход. Холмский воротился, а немцы вскоре опять пакостить стали. Холмский тем часом поссорился с великим князем. Говорили, хотел в Литву уйти. Иван имал его, посадил в затворы. В мае церква пала на Москвы, новая, Успенская,— толковали, по божью прещению. До Новгорода слухи доходили один другого диковинней. Уверяли, что и вовсе бояр оттолкнул от себя великий князь, греков навез. Ожидали, что едва Софья родит дитя, Иван рассорится с сыном, будет замятня великая... Много чего говорили, да выходило все опять по государеву хотенью. С Холмским Иван помирился. Софья родила дочерь, спо-

рить стало не из чего. А за зодчим в папскую землю послал великий князь. Иван был упорен, задуманного добивался.

Только в Новгороде дела шли не по воле государевой. Великий князь требовал, через наместника, чтобы степенным избрали славенского посадника, угодившего ему, Фому Андреича Курятника. Но степень занял увертливый Феофилат. Осенью степень обновлялась. Иван опять настаивал, чтобы избрали Курятника. Но осенью противники великого князя избрали на степень неревлянина, Михаила Чапиногу, свояка Казимера. Это было не совсем то, чего хотела Борецкая, и совсем не то, чего хотел Иван. Марфа недовольничала: все Казимеровы свойственники наперед, тем и берет, что родни много! Ну, хоть свои, неревляна...

А Иван ждал. Не любил на шумных пирах, в блеске огней, в кругу дружины решать судьбы государства. А в полутьме тесных особных покоев, с малым числом верных или даже одному, втайне от молвы и слуха людского, обдумывал он замыслы, потрясавшие затем народы и земли. Только его наместники без конца пересылались с новгородскими боярами и архиепископом.

Новгородский владыка Феофил жаловался на своего наместника, Юрия Репехова, прилыгал, что тот сносится с королем. Доносил митрополиту, что в Новгороде умножились еретицы, с коими не боролся покойный Иона, яко древлии стригольницы учением своим соблазн сеют в великих и малых, против святыя соборныя церкви учения дерзают и богоотметные речи глаголют: хулят монастыри и мнихов за владение землею со крестьяны. О землях Феофил писал неосторожно. Великий князь читал его доносы митрополиту и запомнил про себя: земель у новгородской церкви было очень много, и земли эти были нужны, очень нужны для дворян. Следовало узнать ближе, что сии за священнослужители — еретицы, не может ли от них польза проистечь государю? Запоминая, Иван ждал. Через своих бояр и наместников он льстил одним, угрожал другим.

Новгород бурлил. Зимою новгородские молодцы в отместье за старые обиды сделали набег на псковское Гостятино. Были отбиты с уроном. Он ждал.

В феврале должны были выбрать степенным, наконец, славенского воеводу, Фому Андреича. Новгородцы избрали Богдана Есипова.

Степан Брадатый и некоторые из воевод подсказывали новый поход. Для войны, однако, было не время. Война могла сплотить новгородских бояр, а следовало разделить их, поссорить друг с другом. У Ивана был свой замысел.

Через полгода по возвращении Борецкая вновь почувствовала силу. Вновь, по ее наущению, стали собираться житьи, купцы. Зашумели вечевые сходки по концам, по улицам. Что Федор

Борецкий плел с одним-двумя сотоварищами, то Марфа умела поднять с целым городом. Расшевелила житьих, купцов, черный народ. Сама не по раз бывала в вощинном братстве купеческом, пугала Москвой. Тут и сами знали, что Москвы опасаться надобно, но Шелонь крепко помнилась, не давала прежней веры в успех. И речи велись такие:

— Теперь, етто, ежели гостебное москвичи станут брать, мытное они же с немецкого двора, дак тогда тебе товар не позволят самому в Любек возить, без московских приставов! Оставят ли старост еще, а уж тиунской печати лишиться придет!

— Сурожана задавят тогды!

— Немецкий двор, бают, совсем закрыть у нас ладятце. На Москвы чтоб все было, в одном мести.

— Неуж закроют немецкий двор?!

— Поди знай! А к тому идет! И так наместник тысяцкого суд ладит себе забрать!

— Закроют двор в Новом Городе, думашь, на Москвы наладят? Как не так! Не пойдет у их немецка торговля ни в жисть!

— В едином мести как можно все собрать! Хоть бы и у нас, в Новом Городи! Кафинску торговлю мы бы беспременно потеряли.

— Мы-то?!

— Да хоть и мы! Повезешь ты из-за ста земель? По Дону, да по Волге, да посуху? Скорей через немец, варяжским морем приплавить фряжский товар! Хоть и втридорога, а дешевше станет! Мы на немецкой торговле век стоим, все их ходы-выходы знаем, а вот дай мне Сурожский путь чист! Мне-ста как? На Москву али еще куда к теплым странам перебиратьце! Опять возьми Нижний, Кострому...

— Мешат твоя Кострома!

— Мешать-то мешат, а и громили ее, и жгли — стоит. Ты туда не едешь, я тоже. Во всяком мести должон быть свой купечь!

— Ишь ты, куда завернул! А передерутце?

— Дак на то бы и власть едина! Хочь московська, хоть кака, по справедливости чтоб.

— Подь объясни государю Московскому! Покажут тебе на Москвы справедливость!

— Пото и ропщу. Сила есть у их, а головы не хватат. Все забрать не хитро, а сделать нать, чтобы во всяком мести дело шло!

— Ну, того не будет, полно и баять! Московськи наместники, слыхал, в кажном городи, в кажном мести, которо Московской князь под себя забрал, что творят? Села емлют, повозное, продажи, товар ни по чем забирают, хоть не вози.

Преже кажному дай, от пристава до боярина, а что осталось — продай.

— У нас тоже своеволят.

— А все не так! Торговый суд наш, ты тамо сказал, пото и вышло, и тысяцкой не перемолвит! Да и вече у нас.

— Вече тоже бояре забрали под себя!

— Оно опять же и так, и эдак. С вечем-то все своя власть, новгородска. Старики сказывали, бывалоче, созвонят, народ черный в оружьи станет — не реши по-нашему!

— Вона, в летописаньи, когось-то отбивали ищо: взяли три тысячи гривен с переветников и дали купцам крутиться на войну, оборужаться, словом. Купцам! Гля-ко! Мы спасали Новгород!

— Горело, да исшаяло! При прадедах и Новгород крепче стоял.

— Мелкому-то купцу ищо туда-сюда, а нас, вощинников иваньских, прижмут всех.

— Опять князь Иван зайдет закамский путь. Пермскую землю уже взял под себя! Волок переймут, меховой торг окончитце. Вот и полагай тут, мудра ли Марфа Исакова!

— Хоть и мудра, а побили на Шелони! Сила не ее, и не наша теперь. Одно остает: дом продавать — и на Каму либо в Устюг подаватьце!

Между тем Михаил Семенович Чапинога не умел собрать бояр воедино, и в городе был разброд. Городищенские наместники, по князеву приказу, вмешивались во все дела, пересуживали суды, и кто ворчал, а кто начинал уже и тянуться туда. Марфа уехала на рождество объезжать волости, и тут-то Федор Борецкий и отличился. Сделали набег на Гостятино.

Борецкая воротилась, как осенняя ночь. Федора не случилось дома, вызвала Онтонину.

— Гостятино грабили, его задумка?

Сноха побледнела:

— Нет! Нет, матушка, сами ключники сговорили, Федя и не знал!

— Не знал? Не остановил, скажи лучше! — Позвала Иева.— Сказывай, как это вас псковичи побили!

Ключник набычился, пошел пятнами.

— Сказывай, что уж! Сами ли задумали?

Решали и верно, сами ключники. Задумывали набег, вроде, толково, но то ли оплошали дорогою, то ли донес кто, псковичи, оказалось, ждали. Отряд был окружен, мало и выбралось. Схваченных псковичи казнили без милости, кого порубили, кого повесили на позорище и другим в острастку. Словом, пошли по шерсть, воротились стрижены.

Марфа выслушала молча, полуприкрыв глаза. Глухо переспросила об убитых, кто да кто поименно.

— Вяхиря тоже?
— И его.
(«Федор, конечно, знал, не мог не знать!»)
— Дураки. Это собаку палкой дразнят, она палку за конец кусает, ума нет самого-то хозяина кусить, так и вы. Без великого князя наущенья псковичи разве бы поднялись на нас?
— А без псковичей и великий князь бы не пошел! — угрюмо возразил ключник.
Марфа, открыв глаза, пригляделась к нему. Ничего не возразила.
— Ладно, ступай. Сам-то уцелел хоть, и то добро.— Но Федора ругала весь вечер: — Дурень! И прозвище тебе дадено не зря — дурень! Людей погубил, псковичей обозлил, почто?! Там ноне князь Ярослав Оболенской, Стригин брат, от Ивана ставлен, разбойничает: подати вдвое берет, смердов ихних от города отбил! Псковичи не по раз в Москву на него посылывали, а ты?! Есть теперь на кого свалить, кем прикрытьце! Да Ярослав доле посидит — Плесков весь в оружьи на него станет! Тогда и нас вспомнили бы! А ты что натворил?! А этот Василий Максимов твой, да не он ли и донес? Как узнали-то? От кого? Хоть то вызнал ле, репяная голова?!
На Федора глядеть не хотелось. Марфа с отвращением взирала на сына-неудачника. Ох, нет Дмитрия! С Федором, как с одной левой рукой — ни взять, ни сработать,— все вкривь. Тут еще Захария воду мутит... Приказала Федору:
— Пошел! С глаз уйди!
Долго еще ходила, не могла утишить сердце, дурень, ох и дурень же!
Захария Григорьевич Овин кумился с Москвой, и зятя, Ивана Кузьмина, напуганного Шелонью, перетаскивал на свою сторону. Дружба неревлян с плотничанами от того вот-вот грозила распасться. И грянул гром.
В феврале подошли новые выборы степенного. Чапинога лежал больной, уже было ясно, что и не встанет. Славна снова предложила Курятника. Но прочие концы не поддержали, Офонас Остафьич помог, и неревляне с пруссами перетянули. Выбрали степенным Богдана Есипова.
И тою же весной, на вскрытие Волхова, плотничана, две самые богатые улицы: боярская Славкова и Никитина (на первой старостою Иван Кузьмин, зять Овинов, на второй — Григорий Киприянов, сын Арзубьева!), отказались от суда посадничья и отдались под руку великого князя. Того и ждал Иван Третий, пото он и медлил и пересылывался отай с боярами Торговой стороны.
Это был развал. Допустить такое — значило самим, без бою, отдать власть великому князю Московскому.

ГЛАВА 23

оробьи с ума посходили, орали с утра. Откуда-то налетела целая стая синиц, обсели яблони в саду. Громко щебетали, прыгали по коричневым веткам. Сороки обнахалились, лезли аж под ноги, ворошили кучи навоза. Лошади глухо топали в стойлах, чуяли весну. По тесовому настилу двора стояли лужи. Невыпаханный снег дотаивал в углах.

По Волхову шел лед. Давеча поломало две городни Великого моста, и город временно разделило — ни пройти, ни проехать. Только редкие смельчаки в легких челноках рисковали проталкиваться среди льдин. Пахло оттаявшим навозом, старой соломой, свежестью. Пахли налившиеся почки яблонь, топольки — весна!

Иван Савелков стоял во дворе, без шапки, расставив ноги, задрав голову, пальцы — за кушак. В небе ныряли, кружась, белые голуби. Парень с вышки махал платком на шесте, подымая стаю. Голубое, влажно-промытое небо отражалось у Ивана в глазах, тоже голубых, как протаявший лед на Волхове. И мысли бродили влажные, пухлые, без вида и границ, как облака. Думалось, что Оленка Борецкая — ничего девка! Жениться нать, как ни верти. Матка уж который год бранит. Иришка Пенкова тоже хороша — обе заневестились. Враз не женился, теперь набалован девками, вроде и неохота в хомут. Годок еще подождать, что ли? Оленка Борецкая все на Григория заглядывалась. Еще тогда. Эх, Митя, Митя, за что голову сложил! Уйди тогда с Шелони они с Василием — сейчас бы вместе ворочали! Иван повел плечами: сила — девать некуда! Плотничана отгородились ледоходом. Кузьмин-то, гад! Вместе с Митей к королю ездили, теперь на брюхе перед князем Московским — как время ломает мужиков! А солнце печет! А птицы с ума посходили! Коня взять, проездиться, чо ли! Белые голуби в небе набирали высоту. Сложив руки трубой, набрав воздуху полную грудь, Иван загоготал. Услышали, взмыли выше.

Его окликнули. Савелков поморгал ослепленными весенни-

ми глазами — в глазах синий волховский лед,— узнал: Гриша Тучин! Не видел, как и зашел. И его весна тронула — веснушки по переносью. Приятели обнялись. А ведь с той поры с Шелони, как выручил от москвичей, и сошлись они! — подумалось Ивану.

— Гришка, книжник, книгочий, бес! Чуешь, весна! Пойдем, живо соберут что ни че!

Иван мигнул слуге, тот опрометью кинулся в горницу. Не любил Савелков ждать, все — чтобы мигом было. Забытые голуби кругами плавали над теремом.

Поднялись на высокое крыльцо. Не такие у Савелкова хоромы, как у Борецкой, а тоже иному не уступят. Просторно, окна широко рублены, в окончинах — иноземное стекло. Солнце по вощеному полу золотыми столбами аж до углов дотянулось.

Девки — ветром. Свежие яблоки из колодца — в бочке всю зиму пролежали,— мед, чарки черненого серебра, закуски, сласти. Тоська, бесстыдница, готова при госте на колени вскочить.

— Брысь!

Исчезли обе.

— Ну, Гриша, с чем пришел, собираются наши?

— Легко у тебя.

— У меня все легко!— похвастал, подумал: «И впрямь, больно легко все! Не то сам плывешь, не то ветром несет».

— Разбаловали плотничан Филат с Михайлой Семенычем! Богдан-то что думает? Али ледоход пережидает?

Григорий был что-то хмур, утупил глаза в стол:

— Опасное дело задумали, Иван! По новой судной грамоте наводка и то запрещена!

— Пущай Московский князь Новый Город займет, потом и запрещает! А все дела посадничьи, да тысяцкого, да торговый суд на Городце, одним судом наместничьим решать, это по какой грамоте пришло?

Григорий серьезно поглядел на Ивана, в глаза его, ледяные, весело-бешеные, вздохнул.

— Или и тебя согнула Шелонь?— спросил Савелков.

Кровь бросилась в лицо Григорию:

— Что ж не упрекнешь, что головы не сложил тогда?!

Отвернулся Григорий, бледнея, закусил губу. Рука с длинными холеными пальцами с хрустом стиснула яблоко, белый сок потек на столешницу. Настал черед Ивану потупиться. Сказал:

— Прости, Гриша. Парней жалко! Ни за что...

— Ты, Иван, к бою не поспел, а я дрался. Ничего сделать нельзя было.

— Знаю. Сто раз сказывали мне. А все думается, быть бы в срок, хоть умчал бы от топора-то...

— Про топор и мы не ведали в ту пору.

Птицы остервенело кричали за окном.

— Мертвые сраму не имут!— сказал Григорий с мгновенной судорогой, исказившей строгое продолговатое лицо.

Савелков поднял кувшин, наполнил чары. Друзья молча выпили стоялого хмельного меду, и оба потянулись к яблокам. Широкая горячая лапа Ивана на миг прикрыла узкую руку Григория.

— Приходи к Борецким!

Григорий молча кивнул.

Людей опять собирала Марфа. Дело было нешуточное. Сам Богдан, степенной посадник, отрезанный половодьем от вечевой палаты и вечевых дел, не вдруг решился на него, а призадумался сначала. Вспоминали сходные события за триста лет: погром Мирошкиничей, бегство Борисовой чади, споры Онцифора Лукина А все не подходило к случаю, все было то, да не то!

Бывали, конечно, несогласия, не по раз бывали! Вражда раздирала город. Одни так, другие другояк хотели. Собирались тогда, целовали крест заодно быть, укрепные грамоты составляли. Уж кто бежал потом, переступив такую грамоту и свою же клятву, тот был отметник, того казнили, расточали, изгоняли из града.

А чтобы так вот, просто — нашлась сила сильнее и власть властнее, и решили отдаться силе, поклониться князеву суду — за века не было такого. И вот — произошло. И на то, чтобы покарать отступников, заставить воротиться под руку новгородскую,— не было закона. Грамоты не подписывали. Креста не целовали. А от суда посадничья отреклись.

Собирались у Марфы. Сам Иван Лошинский, Марфин брат, приехал. Долго открещивался от всяких дел городских. Деньги давал — самого не троньте только! А тут прискакал. И его задело.

— Ну что, брат?— встретила Ивана усмешкой Борецкая.

Лошинский был в породу: коренаст, невысок, плотен. А не в нрав. Не любил бывать и на людях. Больше ведал свои поместья. Теперь лишь заворчал, как Паозерье отобрал у него великий князь. Словно медведь, что выживают из берлоги.

— Век назади не спрячешься, и все отберут!—сказала Марфа.— Помогай, люди нужны! Слыхал, городищенские совсем суд забрали, перед посадником не отвечают, к наместнику идут. С того теперь вон чего плотничана выдумали.

— Слыхал, Марфа. Их-ить не силою и не заставить!

— Силой заставим, коли так!

Онаньин Василий прибыл. Такой же высокий, большелицый, красный, чернобородый мужик — кровь с молоком. Тут только без шутки, без присловья. Зубами скрипел:

— Свои!— Не мог простить ни Кузьмину, ни Арзубьеву. Недобро глядючи, примолвил:— Что, Исаковна, дожили мы? Расклевали нас вконец! Сороки-вороны кишки тащат, дубравные звери костье волокут!

Поглядела снизу вверх, бровью повела, усмехнулась:

— Садись. Сам-то не от Богдана?

— Будет сейчас!

— Казимер с Коробом?

— Отреклись. Офонас и тот труситце. Самсоновы, Лука — те все по кустам, по оврагам. Ивана Офонасова не добыть сейчас — за рекой. Да и не нужно, один он, заклюют славляне. Степенной тысяцкий тут, чего еще надоть?

— Ждем Богдана!

Уселся Онаньинич, повеселел:

— А так как ни то,— прищурился, пальцами повилял,— как етто Филат любит?

— Всяко думали, по-иному не выходит!— ответила Марфа.— Прости, пойду, Богдана встречу!

Богдан пришел. Большой, такой же серо-седой, такой же крепкий — до ста доживет мужик! Подошли Селезневы, Матвей с Яковом. Эти за брата казненного на все готовы. Иван Савелков с Тучиным. Семеро житьих, самые верные, с Ефимом Ревшиным во главе. Из прусских прискакал Иван Есипович Горошков, Онфимьин сын. Онфимья не отступилась, подруга!

Ждали Василья Никифоровича Пенкова, воеводу. Без него, без силы ратной, дела такого не своротить. Пенков медлил, да и давеча вилял. Уж когда Богдан с Онаньиничем приступили к нему, согласился — сломился ли!

— Что не идет Никифорыч-от?— сердито спросил кто-то.

— Такое бы дело владыке благословить надоть!— сказал Ревшин.

— Был бы владыка,— отозвался Яков Селезнев,— а то прихвостень московский!

— У себя-то он правит! Неревлян кого поразогнал, кого утеснил. Еремей тогда, говорят, по его слову головы лишился!

— Ой ли?

— Так бают! Теперь Родион и Юрий Репехов не в милость попали.

— Поди не сам, Москва указует!

— То-то и оно, что всем нам Москва указывать стала!

— Плотничане тож не сами надумали.

— От Полинарьиных всё,— вмешался Иван Есипов,— я слыхал! Они всему причина, а их Исак Семеныч подговаривает, на великого князя намолиться не может. Смех, в грамоте кажной и то великих князей поминает!

— А на вече он со всема, поперек николи не скажет!

— Лиса двухвостая!

— Захарья Овин воду мутит, вот кто!

— Ну, его не тронешь, не за что взять! Не сам, вишь, зятя подговорил.

— Овин всегда в стороне будет!

— Овина и тронуть трудно, богаче его вряд ли кто есть на той стороны!

— То-то и оно, что не по чести, а по богатству смотрим! — возразил Ревшин, и кое-кто из бояр поморщился.

Марфа угадала, вмешалась, отвела грозу. Не время тут еще старые споры великих бояр с житьими подымать...

Наконец появился Василий Никифоров, бледный, не по весеннему дню.

«Будто вчера с Двины, от разгрома не прочнулся еще, через три-то года!» — подумала Марфа недовольно.

Споры начались жаркие. Собрались свои, верные, все были за одно, и все обговорено, кажись, и все же! Пенков уперся опять — ни в какую!

— Что мы решаем днесь? О чем спорим? О праве Великого Новгорода! А право наше с древних времен живет, еще при Ярославичах сложено! Оттоле и «Правда русская», и уложения новгородские, и вольности наши! По закону и деять надо!

— Ты ищо о той поре вспомни, Никифорыч, — возразил Богдан, — когда споры «полем», поединком решали, да водой, да железом испытывали! Когда князь за полюдьем наезжал и судил, на ковре сидя! Оттоле начать, дак и великий князь Московской прав окажетце! В те поры за всякой суд одному князю али наместнику его вира шла!

— О первых временах баять нечего! — упрямо продолжал Пенков. — Тогда законы просты были, хранили их старики, решали на миру, по совести! Я скажу о нашем, новгородском суде! Еще когда вече ставилось, и посадник был один, сложены у нас, в Новом Городе, три суда: посадничий суд, в иных делах смесный с судом князевым, торговый суд тысяцкого и суд владычный. Чего ни владыка, ни тысяцкий, ни посадник решить не замогут — то всегда вече приговаривало. Выше власти нет. Ты скажешь, Богдан, мол, после Шелони на всем одна печать князева стала, и того городищенские наши посадничьи суды пересуживают и перед городом не отвечивают? По то и Славкова с Никитиной откачнулись? Пущай! Но ты скажи мне, ответь! Где тот закон, и по какому суду записан, что плотничана нонь переступили?

— Оне не то что закон порушили, а от самого закона отреклись! — вскипел Богдан.

— Да, Богдан Есипов! Да! От самого закона! На все есть управа у нас с тобой. И на то только, ежели кто откажется от суда, отринет от себя право новгородское, отречется от города своего,— на то нет у нас ни суда, ни закона!

«Говорит Никифорыч, так будто и прав!— думает Марфа.— В прежние веки мысли помыслить не было ни у кого отказаться от защиты, что давал город гражданам своим! В каждую войну полоненных на рати ли, мирных ли, захваченных на путях торговых, выручал Господин Великий Новгород прежде всего. Защищал и в чужих землях каждого своего купца. Схватят там новгородца — тут немцев имали или товар ихний, а то и войной грозили за братью свою. И до войны с Ганзой доходило! Кто откажется от такой защиты! Зачем? Не было на то закона, и быть не могло. Да только не прежний век нынче, воевода, и дела створились не прежние!»

— Чтобы казнить отступников по закону,— заключил свою речь Пенков,— а не по изволенью нашему, одна только власть, один суд — вечевой! Он выше суда княжого! Он возможет сие! Одно вече вправе и отменять и налагать законы новые, только оно! Слово мое: надо поднять вече!

— Ради двух-то улиц? Вече? Тогда власть посадничья уже ни во что?! Я степенной, мне городом власть дадена!— кричал Богдан. Даже покраснел сквозь серую щетину.— Отступников и древле казнили! Вот, в лето шесть тыщь шестьсот сорок пятое расточили домы приятелей князевых, и имали на них полторы тысячи гривен, и дали купцам крутиться на войну! Чти! В лето шесть тыщь семьсот семьнадцатое Всеволод князь сам рек мужам новгородским: «Кто вам добр, того любите, а злых казните!» — и с того казнили Мирошкиничей, домы разграбили, села попродали, и избыток по всему городу разделили! Опять, в семьсот тридцать шестом пошли с веча на тысяцкого Вячеслава, и двор его и братьи его дворы разграбили, и софиян многих, и липенского старосту грабили — тот к Ярославу ускочил! Было? В семьсот девяносто пятом Семена Михайлова дом грабили всею силой! В девяносто восьмом всю улицу Прусскую пожгли и пограбили. В восемьсот тридцать пятом двор Остафья Дворянинца в Плотниках пограбили и сожгли, а в пятьдесят девятом опять всю Прусскую улицу взяли на щит за неисправленье городу! В девяносто шестом Есифа Захарьинича двор развозили...

— Дак то все вечем решали!— возражал Пенков.— Я воевода от города, мне должно от веча указ имать!

Григорий Тучин неожиданно стал на сторону Пенкова:

— Василий Никифоров прав! По закону мы поступить не можем! И не бывает на то закона в народоправствах! А будь такой закон, не были бы мужами вольными, но рабами власти, которая тот закон применить вправе. Вечу надо решать о том! Если бы

вече поднять, и уж по старине деять, так черный народ должен Славкову с Никитиной разгромить!

— Мало, что ль, громили дворы боярские?! Черный-то народ с кого начнет, известно, а кем кончит, ни ты ни я того знать не можем! — отрубил Савелков.

Марфа слушала бледная, с горящими глазами. Шептала губами, без голоса. Вдруг представилось: черные люди, ремесленники, кузнецы, плотники, суконники, и она — во главе! Так бы и нать! Как Захарьина двоюродника, Андрея Иваныча, полвека назад громили неревляна, про Клементья Ортемьина, про землю! С чего Захарья неревлян видеть не может о сю пору! А запомнил и через полвека! С Борецкого Исака, покойного, сердце на нее перенес — она тогда еще не рожена была, вот как!

Боятце... Все они боятце! Даже Савелков, и он!

И — странное дело! Сказал Савелков про черный народ, и примолкли, замирели все. Богдан спрятал колючие глаза под мохнатые свои брови. Онаньич построжел. Василий Никифоров огляделся растерянно: сам, верно, подумал, так ли сказал? Житьи переглянулись враз. Иван Есипов один, почитай, не понял. То на того, то на другого оглянет: что ж замолкли, господа?

Григорий Тучин вдруг встал, прямой, строгий, резко пошел из палаты. Вот оно! Чего ж они еще хотят?! Вот оно! И всё в этом! Конец. Те, в Плотницком, просто раньше их поняли!

Знал, что все глядят на него. Кровь шумела в голове. Не слыхал, окликнул ли Иван Савелков, нет ли. Да, тогда уж лучше великий князь Московский!

На сенях, за дверью, лоб в лоб — бледное лицо, ждущие глаза под слишком широкими бровями. Олена смотрела в упор и не отступила с пути. Григорий резко остановился, не зная, что сделать, что сказать. Олена прошептала только:

— И ты тоже нас оставляешь? — Горько искривился рот, закусила губу, тотчас вздернула голову. Столько муки было в глазах...

«Все эти годы, годы ведь! — подумал и ужаснулся Григорий. — Пото и замуж нейдет! А я? Бежал ли с поля боя тогда, на Шелони, бегу ли нынче? А Иван Савелков, не думавши, голову положит, и не за земли, за просто так, от сердца своего!» — повернулся Григорий. Так и не сказал ничего девушке. Хлопнула кленовая дверь уже за спиной. Сдерживая шаг, подошел к столу:

— Я со всеми. Без веча надо решать, Савелков прав.— Оглядел замкнутыми глазами Совет: то ли господа бояре при посаднике степенном, то ли заговорщики, не понять. Да уж и понимать не стоит!

— Только тогда быстро надо!

Борецкая отозвалась:

— Панфил Селифонтович ждать будет, и вся улица его, Федоровская, как раз посередине. Даве на челноках посылывала.

У нее, как всегда, все уже было готово.

Решено было силой привести к посадничьему суду непокорные улицы, а заодно и Полинарьиных, взыскав с тех и других виру за отпадение от суда. Со Славковой и Никитиной тысячу рублей, с Полинарьиных — пятьсот. Размер виры исчислили по старине. Набег должны были возглавить сам Богдан, как степенной, и Онаньин с Пенковым. Кто-то должен был прикрывать лодки с этого берега и чуть что — ударить ниже по течению. Тучин и Савелков разом заспорили, но Григорий настоял на том, чтобы оставить в стороже Савелкова.

— Хватит, что своих молодцов пошлешь, Иван! А коли ты пойдешь наперед, не во гнев, нрав твой все знают, скажут — не суд, а расправа.

Тучина поддержали Онаньин и Богдан Есипов, и Савелкову, нехотя, пришлось уступить. Он не знал, что Григорий, и сам того не ведая, спасал его от суда и ближней расправы великого князя Московского.

Марфа, оставшись одна, долго молча ходила по палате, перебирала своих: и тех, кто был сегодня, и тех, которые отреклись. Не дураки ведь! Почто ж московские над ними такую силу взяли? Неуж с того только, что те все в кулаке одном, в одной власти, в одной упряжке ходят?!

Лед прошел. Все уже было наготово, опасались упустить время. Грузились отай, в сумерках. Без возгласов, в тишине, лодьи отчаливали от пристаней. Гребли молча, отпихивали редкие льдины от бортов. По случаю поломки моста масса лодок сновала по Волхову, и на неревские лодьи немного обратили внимания.

Панфил Селифонтович с подручными ждал на берегу.

— Спаси Христос, мужики, людей не перебейте! — говорил он, крестясь и шаря глазами по знакомым насупленным лицам.

Неревляне, подчаливая, торопливо вылезали, скорым шагом уходили через ворота в Федоровскую улицу. На Славкову и Никитину выходить намечалось задами, сразу со всех сторон. Кое у кого тряслись руки.

Богдан рысью, тяжело дыша, проминовал крайние дома. Запыхавшись, остоялся. Он с Васильем Никифоровым должны были брать Полинарьиных. Панфил трусил рядом, указуя путь.

Люди тихо расходились по назначенным местам. Но вот где-то вырвался заполошный крик, и сразу пошло: хлопали калитки, взвывали псы, растекался топот множества ног — началось!

Ивана Кузьмина взял на себя Матвей Селезнев. Тут был

и свой счет — за брата Василия. Он первый пробежал межулком. Люди лезли на плечи друг другу, хватаясь за тын, прыгали во двор. Там поднялся визг, что-то захлопало, пошла возня. Наконец с хрустом откатились ворота, открыв клуб катавшихся по земи тел. Селезневские кучей ввалились во двор, расшвыряв боярскую, спросонья полуодетую челядь. Ночь взорвалась криками, руганью, плачем. «В мать!..» Звенели топоры. Матвей, оскалясь, полез, проталкиваясь, на крыльцо, гвоздя кистенем. Кузьминских скидывали вниз, на кулаки. Дверь, припертую было, вышибли обрубом бревна. И — в путаницу рукопашной возни, в визги, во взбаламученное ночное тепло терема, с руганью, лязгом, громом! Пронзительно ржал конь во дворе.

Иван Кузьмин выскочил впросонях, еще не поняв ничего, узрел перед собой оскаленное лицо Матвея.

— За что?!

Тот махнул рукой, сжимавшей окровавленный кистень:

— Сума переметная, княж прихвостень!

Юрко, бледный, дергался, молча разевал рот, обвисал — его держали за шиворот. Самого Ивана Кузьмина, держа за руки, дергая то вперед, то назад, выволакивали во двор. Кто-то из слуг — в жидкой темноте весенней ночи не понять — Климец, не то Грикша лежал навзничь с пробитой головой. Черная лужа вокруг лица становилась шире и шире. Голосили бабы. У конюшен с руганью возились на земле, и кто-то остервенело бил древком копья в извивающиеся тела. Из дома несся разноголосый вой и треск — разносили в щепы, озверев, все по ряду.

— С Шелони удрал и тут хочешь вывернутьце? А брат за тебя душу отдал?!

Матвей сгреб Кузьмина двумя руками за отвороты шелкового домашнего зипуна, шелк трещал от каждого рывка, голова Ивана моталась в стороны. Деревенеющими пальцами он скреб, силясь оторвать кисти рук Матвея, и повторял бессмысленно:

— Не виноват, братцы, не виноват, как все я, как все... я... как... все...

— Сто рублей с тебя, шкура, за измену, сто да еще полста! — бормотал Матвей в забытьи.

— Заплачу, Христос! Заплачу, Христос! Заплачу! — хрипел в ответ Кузьмин. — Детей, парней пожалейте!

Матвей, наконец, опомнился. Кинул Ивана на руки молодцам.

— Веди!

Сам, шатаясь, первый полез на крыльцо.

Кто-то, свой или из савелковских, крикнул в ухо:

— Двоих порешили!

— Стервь! — ответил Матвей, непонятно про кого. С крыльца оборотился во двор: — Кто еще задерется, бей до смерти!

Кузьминских уже вязали.

Там, где громили люди Тучина, кажется, обошлось без крови. В иных хоромах сдавались без боя. Мелькали белые от страха глаза хозяев над расхристанными укладками и сундуками со скарбом. Кто не давал серебра, брали платье, посуду, оружие — что подороже. Бабы взвывали, валясь в ноги, цеплялись за узлы с добром.

— Родименькие, что ж это! Своих-то! Братцы!

Григорий вышел на крыльцо, ощущая ясный позыв к тошноте. Едва справился с собою. В глазах кружились испуганные дети, жалкие лица старух. По всей улице мотались тени, истошно взвизгивали голоса, порой слышался мясной, животный хрясь от ударов в мягкое. Тучин мотнул головой, сжав зубы, сбежал с крыльца. Схватил за шиворот первого попавшегося под руку: остановить, прекратить это! Ратник оказался свой, Григорий узнал и имя вспомнил: Потанька Овсей. Встряхнул, не зная сам, зачем это делает. Тот рванулся, узнал господина, зачастил:

— Там, туда! Арзубьевы заперлись!

Отшвырнув холопа, Григорий кинулся к дому Арзубьевых. Ворота были сорваны, во дворе дрались, лязгала сталь. Истошный вопль: «Запалю-у-у-у!» — несся с крыльца.

Этого еще не хватало!

Тучин рванулся на голос, обнажая клинок. Мужик с головней отмахивался на крыльце от наседавших. Перед Григорием враз расступились. Темнея лицом, он нанес прямой удар. Мужик успел загородиться головней, та хрястнула, переломясь, мужик от толчка сел на ступени, и враз, обтекая и пихая Тучина, налетели на него дружинники. Пока кто-то топтал отброшенную на середь двора головню, передовые ломились в двери, слышался треск. Григорий опять пробился наперед. Двери неожиданно распахнулись. Женское лицо встало в темном проеме:

— Убивайте!

Ее отшвырнули к стене.

— Что же это, что же, господи! — шептала жонка, пластаясь по стене.

— Где хозяин?!

Та молчала, потерянно водя головой, стала валиться. Кто-то из мужиков опомнился, подхватил бабу под мышки, поволок в дом. Двое, суетливо, мешая друг другу, кинулись ему помогать. Кто-то держал и тряс девку, что тоже, в одной рубахе, выскочила в сени за госпожой.

— Вода, вода где?

— О-ох, о-ох! — только повторяла девка.

Григория Киприянова Арзубьева взяли в соседнем дворе (чуть не сбежал, перелезал уже за огорожу) люди Ефима Ревшина.

Ефим долго тряс Арзубьева за ворот, комок стоял в горле. Оба были белые, у обоих дикие глаза. Потом Ревшин молча поволок Арзубьева в дом. Тучин, выбежав из сеней, посторонился. Узнал Ефима — лишнее бремя с плеч! Арзубьевых дом был ревшинский. Тучин тут же, ругаясь (дорвались, не оттащишь!), собрал своих людей и вывел за ворота. В конюшнях и амбарах уже хозяйничали ревшинские молодцы.

Ефим, споткнувшись, чуть не полетел на пороге, заволакивая Арзубьева в его же горницу. Швырнул в угол, под иконы. Рука нашарила кувшин. Пил воду, глядя неотрывно в лицо Григория Киприянова. Прохрипел, дергая шеей:

— Пятьдесят рублев с тебя, жаба московская! Отца опозорил! Мы Киприяна, как бога, слушали! — завопил он, возвышая голос.

— Отца не тронь! Подметок его не стоишь! — взревел Григорий Арзубьев.

Оба, вскочив, вцепились в бороды и воротники друг другу, затрещала добротная ткань, пошли кругом по горнице, расшвыривая столы, тяжелые скамьи. Хрустела под ногами дорогая восточная глазурь.

— Предатель, Иуда! — хрипел Ревшин, выдирая бороду из сведенных пальцев Арзубьева.

— Отец... отец... голову... голову за вас, подлецов! — бормотал Арзубьев, стараясь схватить Ревшина за горло.

Чьи-то руки дергали, рвали их друг от друга, били, почти не разбирая. Наконец Арзубьева, окровавленного, оторвали от Ревшина, руки скрутили за спиной. Женское лицо моталось в толпе.

— Дай им, Татьяна, — просипел Арзубьев, отплевывая кровь, — дай, псам, пятьдесят рублев с меня. Весь дом разнесут не то, гости дорогие! Князю плати и за князя плати!

Баба заголосила враз. Ефим замахнулся ударить Григория, опустил руку — связанного не бьют. Крикнул:

— Эй, там! Не зорить больше! Кому говорю! Ну?!

Вырвал Григория Киприянова из рук своей челяди, бросил на лавку. Татьяна, глядя попеременно то на связанного мужа, то — с ужасом — на Ефима Ревшина (покойному друг был, что ж это, господи!) тронулась к выходу. Ефим пошел за ней. У маленькой кладовой сидела на полу девка — дочь ли, прислуга, не понял. Двое своих холопов уже хозяйничали тут, добираясь до запертой двери. Ефим велел им оставить взятое. Сопя, ждал, пока Татьяна Арзубьева, трясущимися руками, не попадая в замок, старалась открыть. Наконец, клацнул затвор, дверь отворилась. Арзубьева, испуганно озираясь на Ревшина, пролезла в тесноту, подняла крышку сундука. Ефим принял серебро, почти не считая. Передал ключнику тяжелый кожаный мешок.

— Головой ответишь!

Перевязанных холопов стерегли в горнице — не ударили бы в спину. Ефим Ревшин вышел на крыльцо. Небо серело, бледнело, гасли звезды. Во дворах продолжался погром.

К терему Полинарьиных подошли сразу с двух сторон. Враз горохом посыпались люди в сад и во двор. Псы, спущенные на ночь, ринулись было с ворчанием под лязг стали, и тут же темными комами мяса покатились по двору. Один с воем уползал на передних лапах, волоча задние, оставляя за собою извилистый кровавый след.

Окольчуженный Богдан медведем полез на крыльцо. В сенях холодная сталь мазанула его по груди со скрежетом, и тотчас кто-то из своих слуг пихнул в темноту рогатиной. Богдан наступил сапогом в теплую лужу, отшвырнул дверь. Молодцы бросились вперед него. Старик прошел к лавке, печатая по половицам кровавым сапогом, сел, опершись о шестопер, взятый вместо трости. В спальных покоях еще дрались. Лука в одной рубахе вырвался в горницу. Богдан и не сдвинулся. В двух шагах от него на Луку навалились, скрутили руки. Из покоя уже волокли связанного Василия Полинарьина. Слуга неверными руками зажигал кое-как натыканные в свечники свечи.

Лука, кусая губы, переводил взгляд с Богдана на черные, в трепещущем огне свечки, кровавые следы на полу. Богдан кивнул. Луке набросили на плечи епанчу.

— Грабители!— процедил Лука Полинарьин.

— Молчать! Степенной посадник перед тобой!— загремел Богдан.— Ведомо тебе, что ты Господину Новгороду изменил?!

— То право мне дадено!

— Кем?! Я тебе права того не давал! На вече о том не знают!

— Перед вечем скажу! А в ночь, яко тати, врываться, людей убивать!

Богдан поглядел на свой кровавый след, засопел.

— Не бронь на мне, дак не он, а я бы нынь лежал у тя в сенцах. Полно баять! Как древле с изменников, с переветников, что Новгороду клялись и ко князю переметывались, окуп брали, так и теперь с тебя! Никифорыч!— позвал Богдан.

Бледный Пенков появился на пороге.

— Вот воевода городской тута же, с нами. А ты, Лука Исаков, сын Полинарьин, с братом Василием Господину Новгороду за отпаденье пять сот рублев!

Василий Исаков дернулся, услыша. Охнули разом в толпе кое-как одетых жонок.

— Сам ли дашь али брать силою! Мотри, чего не достанет — на селах возьмем!

— Берите! Не дам ничего! Не по закону то, Богдан Есипов, хоть ты и степенной нонь, а не по закону! Вольные мужи — во-

лен договор! Хочу — отделюсь! А держать меня силою — нет на то в «Правде» нашей закона!

— А что ты содеял, по какому закону-то?— возразил Богдан.— Изменять Новгороду по закону, а казнить за то, закона нет? Еще стоит Новгород, Лука! Рано ты отчину и дедину свою хоронишь! Рано святыни наши московским господам продаешь! Не закону служишь ты, а силе московской! А на силу покуда есть сила и у нас! Молодые согнутся, мы, старики, выстоим!

В доме трещали затворы, волокли утварь, посуду, сукно. Добрались и до скрыни с серебром.

— Грабьте!— повторил Лука.

— Не грабим тебя, Лука Исаков Полинарьин,— сурово возразил Богдан, подымаясь с лавки.— Казним!

Бабы выли, провожая тюки с добром, серебряною посудой, драгоценностями, кожаные мешки с деньгами.

— Грабители!— прокричал Лука вслед.

— Иуда!— ответил Богдан с порога.— Иуда учителя своего продал за тридцать сребреников, ты же, Лука, Новгород, родину свою, продал князю Московскому. Не знаю, дороже ли заплатили тебе, чем Иуде за Исуса Христа?

Весть о казни, учиненной новгородцами за отпадение Славковой и Никитиной улиц, немедленно понеслась в Москву. Тогда-то и заговорили о новом походе на Новгород. Но Иван рассудил иначе. Он поедет в Новгород миром, как отец ездил, как ездили древние князья, по своему праву законному, писанному, править обычный суд княжеский, по древнему праву великих князей московских, не через наместника, а сам, лично, своею властью и волей решать тяжбы, выслушивать недовольных. Будет вершить суд, блюдя все законы и уложенья, и о том извещает богомольца своего, владыку новгородского Феофила, а также посадников, старейших и молодших, и тысяцких, и старост, и весь Господин Великий Новгород — бояр, купцов, служителей божьих, иереев и мнихов и весь черный народ новгородский. Встречали бы его, своего господина и князя хлебом-солью, а он бы правил суд по старине, обычаю и старым грамотам, как от отцов, дедов и прадедов заповедано.

О набеге на Славкову и Никитину не говорилось и не упоминалось. Молчал о том и сам Московский государь, и государевы наместники на Городце. И неревляне, вновь подчинившие мятежных плотничан посадничьему суду, торжествовали победу.

Осень стояла сухая, солнечная. В срок прошли дожди. По звонким, подмерзающим дорогам двинулись конные ратники государевой дружины. Двадцать второго октября Иван вышел в путь к Новгороду.

ГЛАВА 24

августе степенным на следующий срок был выбран Василий Онаньин. Неревский конец твердо держал власть в своих руках. Плотничана не протестовали. Славна молчала. Полинарьины тоже утихли после разоренья. Перекидываться к городищанам уже не дерзал никто.

О том, как встречать великого князя, долго спорили, решали так и эдак, но все сходились на том, что встречать надо хлебом-солью, тароватo, пышно, князю угодить и себя не уронить. А о старых спорах — будто их и не было. За то был и Офонас Груз с братом Тимофеем, и Самсоновы, и Феофилат Захарьин, все плотничане да и неревляне тож, даже Федор Борецкий. Только Марфа неожиданно начала возражать.

Собрались у нее на говорку неревские бояра. Не было Казимера лишь да самого хозяина, Федора Исакова. Судили-решали, как сделать, чтобы не порушился союз, добытый кровью, и власть Неревского конца, как лучше принять князя Ивана.

— А по мне,— вдруг вмешалась хозяйка,— так худой мир с князем Московским! Ратных собрать, разоставить по монастырям да по городу, тогда и принимать высокого гостя, как древле было, как при отцах встречали князя Василия ратью у Городца! Что смотрите, мужики? На Славкову с Никитиною хватило удали, а тута усмягли? Иван-от не без войска в гости пожалует! Как бы еще не обернулся его суд вам на горе!

Говорила, а сама видела — не внемлют. Онаньин возразил с усмешкою:

— Жонки любят ратиться! Моя тоже, чуть что...

— Извини, Марфа Ивановна! — запоздало прогудел Богдан.

Марфа встала, поклонилась в пояс:

— Спасибо на добром слове, мужики! Все была не дура, а тут и дурой стала. Ну что ж! Выжила, верно, из ума по старости. А только попомните вы меня, когда поздно станет! — Она

тронулась к выходу, уронила:— Решайте сами, коли так. Пойду, слуг наряжу.— От порога обернулась, потемневшими глазами глянула на господ посадников, добавила твердо, недобро зазвеневшим голосом:— Только пировать у меня князь Иван не станет! Как ни решите — убийцу сына у себя не приму!

Прикрыла дверь. Мрачным ненавидящим взором уставилась в пустоту. Что-то начала понимать, чего не ведала раньше, глядя на ражее красное лицо Онаньина, слушая его громоткой голос.

Не пото ли Василий Степаныч в монастырь ушел от них ото всех? Может, понял тогда еще... Впервые она растерялась. Все, все ведь! Федор и тот ладитце еще и наперед вылезти с подарками!

Богдан, когда за Марфой закрылась дверь, с укором взглянул на Онаньина:

— Обидел ты Исаковну, нехорошо! Она-ить Митрия, покойника, забыть не может!

— Мы-то живые!— возразил Василий.— Теперича самое время улестить Московского государя! Золотом одарим — помягчеет! А ратных собери поди — сейчас на Москвы узнаетце! Гляди-ко вместо мира с войной к нам пожалует. А на короля нонь надежа совсем плоха! Сами знаете, господа! Славкова с Никитиной одняко, а Москва другояко, тут всей нашей рати и то не достанет!

Богдан вздохнул, утупился, пошевелил мохнатыми бровями, сказал:

— Василий прав! То наше было дело, семейное, городошное. А князю должны показать лад, ряд и согласие во граде, и быти всема заедино. Чтобы он на наших раздорах чего опять не натворил! Как урядились с плотничанами, так того и шевелить не надоть. А уж сундуки открыть придетце, и нам, неревлянам, в первый черед! По концам, по улицам, тоже со всех собрать надобно. Но и тут чтоб наместнику загодя представить, кто, чего и сколько дает. Не нам бы указывали городищенские, а сами мы тем распорядились!

После долгих пересудов по боярским теремам, на кончанских сходках, на Совете господ, у владыки Феофила решено было, что каждый конец дает великому князю по два пира: два от Загородья, два от Людина, два от Плотницкого концов; великие Неревский и Славенский концы дадут по три пира, и три пира даст владыка Феофил.

На пирах Ивану должны быть вручены совокупные дары от великих бояр каждого конца, а на пиру у степенного посадника, кроме того, дар в тысячу рублей от всего Нового Города — от черных людей, купцов и ремесленников. Еще один пир Ивану давал служилый новгородский князь Василий Васильич Шуйский, а на Городце великого князя пожелала принять славная

вдова Настасья, которая должна была поднести подарки от себя и городищенских жителей.

Подсчитывали, кому сколько рублей вносить дара — от неревлян шло втрое противу любого другого конца. Подробно разрабатывался сложный церемониал встречи, приемов, проводов великого князя, начиная с того, кто и где встретит его в пути.

Черные люди волновались. Старосты бедных братств многажды прибегали к посаднику с тысяцким со слезными мольбами посбавить долевую раскладку — деньги собирали со всех.

Безносый Иван как раз зашел к тестю, костерезу Конону Киприянову. Давно не бывал, захотелось проведать родню-природу. Тот только что внес дарственное и ругательски ругал и старосту своего братства, и старшин-дураков, что не сумели сбавить налога: ведомо, что в делах застой, туды ж лезут, исподние порты скинуть готовы! А заодно и бояр, и владыку, и князя Московского. Отойдя немного, стал спрашивать Ивана, как тот устроился на новом месте, косо глядя при этом вбок. Впрочем, Иван привык уже, что люди, говоря с ним, отворачивались, не могли смотреть на его изувеченное лицо.

Иван потому нынче редко бывал у тестя, что выселился за город. После пожара Людина конца пришлось сделать то, на что он не решался все эти годы и решился, наконец, с болью великой: продать дедов родовой терем, вернее, полтерема, обгоревшего дочерна, все, что осталось после пожара, вместе с местом, на котором он стоял. Усадьбы в городе сильно подорожали после войны с Москвой. Кто побогаче — всеми силами забивались за стены города и о ценах не спорили, лишь бы продавалось.

К горькой радости Иван сумел отдать, наконец, долг свой и на оставшиеся деньги купил низкий домик с усадьбой в конце Лукиной-загородной, по пути к Юрьеву. Ходить оттуда на Марфины вымола было не близко, до города да через весь город — кусок порядочный, но что же делать! Зато теперь уж ничто не висело на шее. За долги ведь и в холопы угодить недолго! К тому же и огородик завели. Хоть лук свой да репы риколико мешков, и то подспорье. А все теперь чего-то не хватало! В старом высоком тереме нет-нет да казалось, что еще пройдет полоса, что вылезут они с Анной, виделся дед-книгочий, помнилась сытная пора, когда была своя земля — житьими числились! Сейчас — смех вспомнить.

С него тоже взяли нищую лепту на подарок князю великому. Брали и с волостей. Утешаться тем, что великие бояра по сотням рублей заплатят, не приходилось: «А с кого те рубли у великих бояр? С нас же!»

Конон, как всегда, сидел за работою. Ворчал:

— На войну с нас, и на мир с нас, а нам когда? О тебе с Ню-

рой да обо мне кто подумает? Весной Славкову с Никитиной громили за то, что княжому суду поддались, а нынь сам князь едет судить, ну-ко? Уж был бы один суд, один конец, что ли! Нам, горожанам, вече сохранить, а бояринов великих пущай и князь судит Московской, не жалко, все одно до нас оне не больно добры!

Новгород, когда хотел, умел принимать гостей. Покряхтывая, раскошеливались иваньские толстосумы. Загодя везли припас, снедь, мед и пиво для московской княжеской дружины и слуг. Что ж, мир с Москвой стоил того, чтобы купить его золотом!

По совету Феофилата дары решено было подносить не серебром, а золотыми кораблениками — знай наших! Как знак северных богатств Господина Новгорода собирались подносить драгоценные зубы морского зверя моржа — «зуб рыбий». Как знак торговли заморской — целые поставы дорогого ипского сукна. На первой встрече должны были поднести великому князю блюдо ягод винных — со значением. А на последующих — как гостю дорогому — яблоки и вино. Это уж по обычаю шло, с яблоками встречают, с вином провожают гостя, кому почет особый, так и до ворот провожают с вином.

Вся новгородская господа, готовясь к встрече великого князя, собиралась в Новгород. Из великих бояр и житьих отсутствовали единицы, из посадников — один молодой Своеземцев, который так и не воротился с Двины. Его осуждали все, кроме Марфы Борецкой, обрешенной, растерявшей друзей и даже сына, одинокой в эти хлопотные дни чужого торжества.

Великого князя к Новгороду сопровождали отборные дворянские рати государева полка, усиленные дружинами ближних бояр государевых. Иван Третий не любил риска. Передавали, что отца с братьями в шестьдесят восьмом, во время мирного похода в Новгород, кое-кто из бояр и шильники новгородские собирались убить, и только архиепископ Иона отговорил заговорщиков. Верно ли то было или нет, но поиметь опас стоило. Нарочные гонцы были посланы загодя, узнать, не собирают ли новгородцы потихоньку ратных? Иван заранее опасался того, что на боярском Совете предлагала сделать Борецкая, и потому рати готовились нешуточно и вели их отборные воеводы, бояре и окольничие государевы: князь Иван Юрьевич, Федор Давыдович, что с Холмским разгромил новгородцев на Шелони, Василий Образец, Иван Булгак и Данило Щеня, Иван Ошера, Морозов, Александр Оболенский, Русалка, Василий Китай и другие.

Выступление великого князя из Москвы смахивало скорее

на военный поход, чем на мирную поездку в дружественный союзный город. Вся дорога от Москвы перекрывалась сильными заставами, запасные полки ждали на Волоке и под Торжком. В Москве Иван Третий, как во время войны, оставил вместо себя наместником сына Ивана.

Встречи начались уже за Торжком. Пятого на Волочне Ивана с поминками от имени владыки Феофила встретил новгородский городской воевода Василий Никифорович Пенков. Седьмого ноября на Виру — подвойский Назар, с поминками от города. Тут же встречали великого князя, также с дарами, с поминками, Иван Лошинский с сестричем Федором Исаковичем Борецким. Дядя и племянник, оба широкоплечие, коренастые, оба верхами, сблизились с московскою заставою. Им было велено ждать. Кони переступали ногами на холодном ветру. Почетная дружина новгородских бояр выглядела маленькой потерянной кучкой перед многочисленным конным войском великого князя. В конце концов Иван принял поминки, так и не допустив к себе новгородских бояр. С ними разговаривал и благодарил от имени великого князя Василий Китай.

Четырнадцатого ноября, во вторник, в Женах на Хирозе встретил Ивана Третьего его наместник с Городца Семен Борисов и дворецкий Роман Алексеев. Семену Борисову были отданы приказания относительно приема старост двух улиц, Славковой и Никитиной, которым было велено приветствовать великого князя.

На другой день, пятнадцатого, в среду, на Волме Ивана Третьего встретили посадники Феофилат Захарьин, Яков Федоров, Кузьма Феофилатов и житьи, с поминками от Новгорода и от себя. Вторично, с ними же, явился и Федор Борецкий. Иван милостиво показался новгородским боярам, и Федор мог торжествовать, как ему казалось, полагая, что встреча эта уже отвела от него возможную грозу князеву.

Шестнадцатого, в четверг, в Васильеве, селе Волмановского, великого князя встречали неревские бояре, старые тысяцкие и житьи. С ними же был Олферий Офонасов, зять Марфы.

Церемониал подпортили жалобщики, Олфер Гагин с товарищами (впрочем, первые жалобщики встречали Ивана еще на Волочне, вместе с Пенковым). Обиженный Овином Олфер Гагин не желал смириться с приговором новгородского суда и сейчас решил, что с приездом великого князя наступил его час. Иван распорядился принять жалобы, хотя и поморщился: для жалобщиков еще было не время, все они должны были разом явиться на Городец слитною внушительной толпой просителей по приезде великого князя. Так требовалось, и так было задумано еще в Москве.

Семнадцатого во Влукоме встречи были особенно торжест-

венны. Явился Захария Овин с братом Кузьмою, с сыном Иваном, с зятем, Иваном Кузьминым, и прочие — вся плотницкая господа. Принимая плотничан, Иван Третий внимательно изучал лица представляющихся ему посадников. С особенным вниманием он разглядывал Захарию Овина, правильно угадав за угодливостью великого боярина, без конца низившего глаза и сгибавшего толстую шею, недюжинный норов и ум. Иван Кузьмин казался проще и безобиднее. Этого ничего не стоило согнуть и заставить делать потребное ему, государю.

За плотничанами явились пруссы: Офонас Груз с братьями и детьми, тысяцкие и житьи. За ними новая толпа прусских бояр и житьих, во главе с самим Александром Самсоновым. За ним красавец Юрий, сын славной вдовы Настасьи, и Иван Есифов, сын Онфимьи Горошковой.

Назавтра на следующем стану, в Рыдыне, на реке Холове, за девяносто верст от Новгорода, великого князя встречали главы города, с иконами и хоругвями. Издали на белом только что выпавшем снегу ярко сверкали золотые ризы духовенства. Собравшаяся толпа криками, пронзительными голосами дудок и бряцанием бубнов славила Московского государя. Архиепископ Феофил на улице всенародно благословил Ивана Третьего, ради такого случая сошедшего с коня. Затем его приветствовали степенной посадник Василий Онаньин и степенной тысяцкий Василий Есипов, а также новгородский служилый князь Василий Васильевич Шуйский. Затем Ивана благословляли архимандрит Юрьева монастыря Феодосий, Хутынский игумен Нафанаил, вяжицкий Варлаам и прочие духовные лица. Затем ударили челом славляне, бояре и житьи. Встречавшие подносили красное и белое вино, владыка — бочками, а прочие — каждый по меху.

Великий князь дал обед новгородским боярам и духовенству, а после обеда, отпустив гостей, принял старост Славковой улицы Ивана Кузьмина и Трофима Григорьева, и старост Никитиной Григория Киприянова Арзубьева и Василия Фомина. Старосты, предупрежденные наместником, поднесли Ивану Третьему бочку вина, но не сразу поняли, чего от них хочет великий князь Московский. Лишь с помощью бояр, выходивших к ним на говорку, они уразумели, что должны представить князю великому писаную, составленную по всем правилам жалобу на разграбление улиц, с поименным перечислением нападавших.

Возвращаясь домой, Иван Кузьмин трясся всем телом. Одно дело — самим поддаться князю, другое — выносить на княжий суд свои новгородские обиды, стать предателем города. За такое-то вот, в древности, и расточали и топили в Волхове, свергая с моста. Григорий Арзубьев задумался: что делать? Сердцем он чуял, что не княжое то дело, а свое, новгородское, князю не подсудное. Но как быть теперь, и он не знал. Двое прочих

старост, люди маломочные и зависимые, согласились без спора и размышлений. Григорий Арзубьев еще не ведал, что размышлять и ему уже не полагалось, что даже колебаний в этом деле Иван не простит.

Девятнадцатого на Мсте, за пятьдесят верст от города, князя встречали неревские бояре и житьи, а также купеческие старосты Иваньского вощинного братства и толпы простого народа, умножавшиеся по мере приближения к Новгороду. Двадцатого ноября в Плашкине, за двадцать пять верст от города, Ивана Третьего встретили славенские посадники с Фомою Андреевичем Курятником во главе. Двадцать первого Иван в виду толп народа, вышедших даже и за несколько верст от Новгорода, прибыл на Городец. Княжеский терем был уже готов к приезду, покои князя вытоплены, конюшни прибраны, сторожа разоставлена. Ратники княжеских дружин неспешно занимали пригородные монастыри, переправлялись через Волхов в Юрьев, Аркаж, Пантелеймоновский. Отряд вооруженных дворян остановился в Детинце, у архиепископа. К утру следующего дня город был уже плотно окружен московскими заставами и отрезан от своих волостей. Ратники не загораживали только что дорог, по которым шли обозы в Новгород, но и на дорогах всюду стояла сторожа и следила за каждым проезжающим возом, за каждым пешим путником. Свободные от дозоров располагались на постой, разоставляли лошадей, громко требовали того и другого. Прокорм княжеской дружины входил в обязанности Новгорода и был обусловлен церемониалом встречи. Зная это, ратники, не стесняясь, прихватывали все, что попадало под руку из монастырского добра. Спорить с ними не смели.

Прибыв на Городец, Иван отстоял обедню у Благовещения, после чего изволил откушать. Полуектов со Степаном Брадатым, сопровождавшие князя, уже составили список встречавших, и на обеде Брадатый подал его государю. Тут были поименованы все бояре, посадники и тысяцкие, и житьи, и духовенство — опричь черного народу. Творение Брадатого, как и многие другие его записки, должно было войти в состав государевых грамот и позднее попасть в летописцы. Иван дал знак читать, сам же, продолжая вкушать, внимательно прослушивал перечни имен, отмечая заочно знакомых, припоминая и тех, кто должен был быть, но кого не было. Впрочем, таковых почти не оказалось.

Последним был назван «староста городищецкой, Ивашко Обакумов».

Это был свой, с ним и в списках не церемонились. Новгородцы же пока еще и в грамотах именовались, даже черные люди, Иванами, Трифонами и Петрами (кто и по батюшке величался), а не Ванькями, Тришками и Петьками, как то давно уже повелось на Москве.

Иван молча выслушал отчет Брадатого, осведомился о старостах Славковой и Никитиной — готовы ли принести жалобу? Потребовал затем список нападавших на Славкову с Никитиной и на бояр Полинарьиных. Долго вчитывался в имена, шевеля губами, вопросил: почему в списке нет Ивана Офонасова Немира? Выслушав, что он не участвовал в нападении, склонил голову и отпустил Брадатого, так ничего и не сказав. Потом принимал дворецкого с отчетом по дворцу, наместника; и боярина Федора Давыдовича, своего воеводу, коему приказал еще усилить охрану Городца, но располагать ратных так, чтобы не очень напоказ были. Тот понял с полуслова и тут же отправился наряжать скрытые дозоры и засадные дружины из ближних дворян. Оставшись один, Иван долго глядел в мелкоплетеное окошко на неясный в вечерних сумерках город. Глядел и молчал.

За всем тем Иван был все время ровен, со всеми милостив и раз только выказал раздражение, когда владыка Феофил прислал к дворецкому и конюшему князя давать кормы своих молодших. Оба посланных, как неродовитые, были отосланы назад, и возы с кормом тоже. Феофил, исправляя оплошность, сам кинулся на Городец, нижайше звал великого князя откушать у него хлеба-соли, а давать кормы послал своего наместника Юрия Репехова, которому, по положению, даже и не пристало ведать кормами. Узнав о почетном назначении, Иван смолчал, но на другой день милостиво принял Феофила у себя на Городище и кормил обедом, и опять был ровен.

Это было двадцать второго ноября, в среду, на Введеньев день. На обеде присутствовали и князь Василий Шуйский, и степенной посадник Василий Онаньин, и старые посадники и тысяцкие, и многие из великих бояр. В тот же день Иван Третий приказал принять жалобщиков. На Городец прихлынули толпы просителей, чающих справедливости от великого князя. Какие-то обиженные Захарией Овином землевладельцы, неправедно облагаемые поборами купцы, корельские просители, люди молодшие и житьи, потерпевшие от новгородских позовников рушане, ремесленники, мужи и жонки, монахи и монахини, настоятели и настоятельницы бедных монастырьков. Многих из них собрали и направили на Городец старцы Троицкого монастыря на Клопске, тщась показать всенародное недовольство граждан судом новгородским. Были и вправду обиженные жестоко, люди в глубоком горе, уже изверившиеся во всем, для коих князь великий Московский был паче бога — тем чудесником, который только один может своею волею враз изменить и отменить раздавившую их беду. Одни лезли вперед, поближе к крыльцу, на которое должен был выйти Иван, другие толпились посторонь, сжимая в руках трубочки берестяных грамоток со своими прошениями. Многие примчались и без всяких просьб, просто увидеть велико-

го князя, внушившего столько ужаса Новому Городу — в памяти всех живы были Шелонский погром и грозные дни осады.

Иван вышел к жалобщикам только на минуту, показаться и выслушать восторженный вопль толпы. Затем он удалился, а принимать и сортировать просителей принялись младшие дьяки государева двора, руководимые Полуектовым и Беклемишевым. С просителями пока только беседовали тут же, на дворе, еще не принимая прошений, и одним, немногим, назначали явиться к государю, других же отсылали к наместнику великого князя, третьих попросту отсылали прочь, веля обождать.

Среди жалоб были и вовсе нелепые. Так, многие жаловались на ратников великого князя, чинящих насилия, и просили опасу от воев, грабивших товар и разорявших обозы по дорогам. Этих всех отсылали в вечевую избу, к суду посадника, понеже постоем и продовольствованием москвичей ведали не княжеские, а новгородские дьяки и наместники, обязанные следить за порядком, оберегая граждан и в то же время ничем не ущемляя и не обижая московских гостей.

Двадцать третьего ноября Иван Васильевич Третий явился в Новгород. День был ясный, морозный. Копыта коней звонко ударяли по укатанной твердой дороге, белой, с рыжими пятнами конской мочи, клочьями раструшенного сена и катышками оледенелого навоза там и сям. Иван ехал верхом. Стража из московских дворян, теснясь, скакала впереди и сзади государя. Его сопровождали великокняжеские бояре и окольничие. Светило солнце. Звонили колокола. Массы праздничного народа стояли по всей дороге от Городища до градских ворот, теснились в улицах, приветственно кричали, махали платками и шапками.

У въездной башни и на воротах стояла княжеская стража. Город, куда он, наконец, впервые вступал, был, и правда, велик зело, пожалуй, больше Москвы и премного украшен каменным строением соборов и палат. Терема теснились и тянулись вверх, улицы были на диво ровны и чисты и сплошь мощены древием. Иван шагом ехал по Ильиной, мимо стройно плывущей церкви с крутыми изломами кровель и удивительной соразмерностью всех частей — это был Спас Преображения на Ильине. Ехал мимо Знаменской, мимо теремов и палат, за коими вырастал, рядом с торговой площадью, целый лес больших и малых каменных храмов, среди коих его быстрый взгляд не сразу угадал Никольский собор на Ярославле дворище, на *его* дворище! Древнем, княжеском, беззаконно занятым в минувшие веки вечевою палатой.

Вот оно какое! Вот как обстраивались князья Владимирова дома! Такою же должна быть Москва! Нет, еще краше! Здесь, в этом велелепии, уже не казались столь дерзко огромными стены Успенского храма, что возводит для него Аристотель.

Запоминая все, и то и дело сопоставляя Новгород со своею столицей, Иван въехал на Великий мост и невольно придержал коня. Город открылся отсюда во всей красе своей, с громадою Детинца прямо перед очами и позлащенными верхами Софии над стенсю, в скоплении башен и маковиц. Вот то, что виделось ему из древних летописей, вставало из глуби времен. Вот она въяве пышность кесарей! Ему говорили об этом, называли поименно монастыри и храмы. Он знал — и не знал, не видел доднесь. Не мог представить себе. Он даже где-то, в самой глубине души, на миг удивился своей победе. Нахмурясь, он резко рванул повода. Этот город вызывал в нем зависть и будил чувства недобрые. Воспринимавший красоту более всего как богатство, Иван Третий ревновал сейчас к богатству Новгорода, к гордо поднятым главам и куполам, богатству, непристойному уже потому, что оно не принадлежало казне великокняжеской.

Феофил, согласно указанию самого Ивана, ожидал его в воротах Детинца, в праздничных ризах и с крестом, во главе всего собора новгородского духовенства, от юрьевского архимандрита до священников и дьяконов софийских. Сзади теснились избранные горожане, бояре и житьи. С пением процессия встретила великого князя. Феофил благословил спешившегося Ивана. Его проводили в собор святой Софии, премудрости божией, и опять он был оглушен огромностью храма и многоценностью храмовых убранства и утвари. В соборе Иван подошел, знаменуясь крестным знамением, к образам господа и пречистой его матери, поклонился прочим святым и особо — гробам своих прародителей, прежних князей великих, похороненных в соборе. Этим он давал понять, что чтит святыни градские, якоже и достоит государю, а вместе с тем числит предками своими великих князей, одержавших Новгород в минувшие века, наследников Ярослава, некогда самовластно распоряжавшихся в великом городе так, как надлежит распоряжаться и ему, Ивану Третьему, Васильевичу, господину Новгорода и государю всея Руси.

Отстояв службу, великий князь с боярами изволил быть на обеде у архиепископа, в палатах владычных, вновь отметив про себя роскошь и каменную основательность Евфимиевых строений, отметив и башенный часозвон, по примеру коего не худо бы сделать и на Москве часы, вознесенными на башню. Внешне он был ровен, ел и пил весело, после чего архиепископ Феофил одарил князя многими дары. Назавтра, двадцать четвертого ноября, в пятницу, был назначен большой прием и княжий суд на Городище.

Вновь потянулись уже отобранные и подобранные княжими дьяками просители, изветники, жалобщики, ходатаи и просто жаждущие увидеть государя Московского, с дарами и поминками, старосты и лучшие люди, монастырские обитатели, рушане и корела.

Иван Третий сидел в кресле с подножием, в меховой, с короткими, до локтей, рукавами чуге, одетой сверх кафтана, в византийском древнем золотом оплечье с бармами и золотой, отороченной соболем шапке Мономаха. Дворянская стража выстроилась вдоль стен. Бояре выслушивали просителей, принимали свитки грамот, а также дары и передавали подручным дворянам, уносившим все это в заднюю, где два дьяка вели запись прошений и приносов. Наклонением головы Иван отпускал очередную группу просителей и приказывал ввести новых.

Весь этот день и весь этот прием были только лишь тщательно разработанною присказкою к следующему дню и завтрашнему судилищу, и все эти жалобщики, сами не подозревая того, нужны были затем, чтобы придать убедительность и весомость законности грядущему судебному действу.

Приказав наместнику с подручными разобрать жалобы без проволочек и по правде, Иван отужинал и лег почивать.

Следующий день был субботний. С утра государь сходил в церковь, затем обедал и после обеда принял жалобщиков. В этот день, двадцать пятого ноября, били челом две улицы, Славкова да Никитина (от каждой улицы наместники князя озаботились собрать как можно более жалобщиков) на великих бояр и житьих Неревского конца во главе с Онаньиным, Есиповым и Борецким. Иван Третий отметил, что от улиц было по одному старосте, Арзубьев и Иван Кузьмин не явились. Тот и другой не знали, к беде своей, что великому князю Московскому служат без отверток и отказ от принятой службы рассматривается на Москве как измена государю. Вслед за старостами и жалобщиками Славковой и Никитиной, подступили бояре Лука и Василий Полинарьины и тоже били челом на великих неревских бояринов. Иван Третий тотчас дал жалобщикам своих приставов: Дмитрия Зворыку, Федца Мансурова и Василья Долматова.

У князя были в это время на приеме владыка Феофил, плотницкие посадники Захарья Овин с братом Кузьмой, неревские посадники Казимер и брат его Яков Короб, Лука и Яков Федоровы и иные бояре и житьи, вызванные нарочито, чтобы явиться свидетелями жалобы.

К ним Иван и обратился почтительно, прося — именно прося, а не приказывая,— дать своих приставов для вызова оговоренных на суд: «Понеже хочу яз того дела посмотрети».

— А ты бы, мой богомолец,— прибавил Иван со спокойною твердостью,— и вы, посадники, у меня же тогда были бы, хочу бо при вас обиденным управы дати.

Феофил, недолюбливавший всех вообще неревлян, Захария Овин, в душе обрадованный несказанно, и довольные, что их самих оставили в покое, Казимер с Яковом Коробом согласились без слова. К Новгороду тотчас было отправлено с тысяцким Ва-

сильем Максимовым требование дать приставов на поименованных в жалобе новгородцев, и городские подвойские Назар и Василий Анфимов с приставами и позовниками отправились по домам оповещать ответчиков, равно как и самих истцов — ограбленных уличан Славковой и Никитиной,— вызывая тех и других наутро на Городище, пред очи великого князя и государя Московского.

К Борецким Назар приехал поздно вечером. Федор только что воротился к себе, не успел разоболочиться, как раздался стук в ворота.

Подымаясь по ступеням,— позовников он оставил внизу,— Назарий поежился. Хоть и не в первый раз бывал тут, а все же к самой Марфе Борецкой с таким делом ему являться и подумать раньше не приходилось. Федор выслушал подвойского, презрительно щурясь, поглядел исподлобья, передернул плечами, фыркнул заносчиво:

— Слыхал уж от Василья Максимова самого!

Знал, чем уколоть Назария.

Марфа появилась нежданно в дверном проеме. Строго спросила, в чем дело. Выслушала молча, не шевелясь. Сказала негромко:

— Выйди, Назар, пожди тамо!

Для Назара Федор был друг его заклятого врага, Василья Максимова, но и он уважал Марфу Борецкую. Склонив голову в молчаливом поклоне, он покинул терем. Федор — он сейчас, выставив упрямый лоб и раздувая ноздри, был похож на молодого рассерженного вепря — тронулся было следом за Назарием, к выходу, как мать стала на пороге. Подняв голову, Федор увидел ее совсем черные, безумно расширенные глаза, смутился, попытался отделаться шуткой:

— Полно, мать! Василий Максимов клялся, что ничего худого не будет. Он и приставов наряжал. Ну, может, заплатить лишку придется!

— Погубят! Обманывает тебя Василий твой! — Марфа произносила слова судорожным, не похожим на нее торопливым шепотом и вдруг, видя, что сын, бычась, пытается ее обойти, сорвалась, крикнула надрывно, раскинув руки: — Не пущу! Федя! Один остался... Феденька! — Она кинулась к нему, хватая сына за плечи, приговаривая в забытьи: — Сыночек мой! — Засоветовала жарко: — Кони готовы! Беги! В Андому, на Водлу, на Выг, в леса забейся, сама за тебя отвечу! Опомнись, Федор!!! — выкрикнула она, видя, что тот старается оторвать ее руки от себя и пройти.

— Взрослый я аль нет! — гневно говорил Федор.— Пробегаю, опять как дурень и буду! Достальных оправят, меня одного обвинят, земли отберут — того хоцешь?! Не забирают-ить меня!

Он сердито вырвался. У Марфы ослабели руки, отвалилась к стене. Сын вышел.

«Остановить! — пронеслось в голове у Борецкой.— К кому? Куда? Ночь на дворе. Все одно!»

— Пиша! — кликнула она.— Давай шубу, плат, живо!

К Богдану — он поймет, должен понять.

На улице вьюжило. Снегом враз залепило лицо. Пиша, спотыкаясь, почти бежала следом. Ворота у Богдана были заперты. Долго спрашивали — кто? Долго отпирали.

Сама не своя Борецкая ворвалась к разбуженному — он рано ложился — Есипову, который, кое-как одетый, вышел к ней в горницу, моргая спросонь и морщась на свечку, что держала прислуга. Увидав безумные глаза Марфы, ее сбитый плат, он едва не попятился.

— Богдан, ты останови! Неподсудны вы! — тяжело дыша, почти выкрикивала Борецкая.— Говорила, баяла: рати соберите! Глупой бабой обозвали... Что ж это?! Богдан, ты хоть умней их! — Она уже готова была пасть на колени.

Богдан бросился, поддержал.

— Что ты, Исаковна, господь с тобой! — Оборотясь, рявкнул: — Огня! Феклу! Сбитню! Живо! И прочь! Все пошли! — Подвел к лавке: — Присядь, Исаковна, спаси Христос, ты же у нас самая сильная, Марфа! — Наливал сам в кубок горячий душистый сбитень. Старческие руки вздрагивали. Марфа пила, обливаясь, ее всю трясло. Богдан приговаривал: — Ручаютце, что ты! Не посмеет. Все званы, думашь, Федор твой один! И я, и Василий Онаньич, и Тучин — все как есть! Да кабы брать надумали, думашь, стали бы звать? Тут же за приставом поволокли!

Марфа вдруг успокоилась. Устало взглянула на Богдана:

— Прости! Может, и верно, баба я, дак не понимаю чего. Только сердце болит, за всех вас болит, не за одного Федора! Прощай, Богдан, может, и не увидимся больше!

— Воля господня на все, а только зря ты, Исаковна! Мы-ить в правде своей, по правде и суд творили!

На улице, чуть не столкнувшись впотьмах с каким-то прохожим, Марфа отступила в снег и тотчас узнала Ефима Ревшина. Тот тоже признал Борецкую, остоялся.

— Марфа Ивановна?! — спросил удивленно, пригляделся, не случилось ли беды какой. Одна, а тут неспокойно, от московских гостей тем паче худого можно ждать. Поди, тоже знает про суд, уж не по то ли и вышла? Осторожно спросил, поддерживая Марфу: — Федор Исакович едет ле?

— Едет. Бежать вам всем надо, Ефим!

— Куда? От Нова Города все одно не убежишь. Мабуть, и пронесет! Великие бояра едут, и нам нать!

(«И этот не чует ничего!»)

— Ладно. Спасибо, Ефим, прощай, дойду сама!

К кому теперь? К брату Ивану!

Лошинский жил неблизко. Тоже спросонья начал утешать, говорить про Федора.

— Дался вам Федор! Свои головы есть ле на плечах? — вновь взорвалась Борецкая.

— Откупимсе! — примирительно отвечал сонный Иван.

«И он, как Онаньин!» — безнадежно подумала Марфа.

Побрели назад. Верная Пиша и шла и падала. К Онфимье еще? Благо по пути.

Онфимья еще не спала. Тоже начала вопросом:

— Федор твой...

— Едет! — не дослушав, жестко бросила Марфа.— Вы как слепые все! За поводырем: тот в яму, и все в яму! Ты хоть сына своего спасай!

Онфимья заколебалась. Иван, только что вошедший, на ходу застегивая шелковый домашний зипун, почтительно склонился перед Борецкой, переводя глаза с нее на Онфимью и обратно. Ответил сдержанно:

— Что ни будет, а одному не достоит и от ямы спасатьце, мать!

Марфа пересилила себя, поднялась:

— Спать я всем не даю. День тяжкий грядет. Простите!

Низко поклонилась. Саму едва держали ноги.

Снег валил гуще прежнего. Холод проникал под шубу, Марфу била дрожь, и она была рада в душе, когда, тотчас за воротами, ее с Пишею догнали двое Онфимьиных холопов со смолистыми факелами, посланных посветить и провести до дому.

Проводив Марфу и распорядясь слугами, Онфимья вернулась в горницу, где ее продолжал ждать Иван, поглядела на него, сказала с тревогой:

— Сын! Права Ивановна-то!

— Что ж, я один уйду, а все как? — возразил, сдвигая брови, Горошков.— Судьбы на кони не объедешь! А чему суждено быть от бога — не нам пересуживать.

Утром в день недельный, двадцать шестого ноября, съезжалась на Городец новгородская вятшая господа. Гордо ехали на суд бояре. Разукрашенные кони под золотыми седлами топтали искрящийся белизною снег. В прорывах облаков показалось солнце, и засверкала сбруя, зардели алые, черевчатые, голубые драгоценные одеяния, епанчи и шубы, крытые иноземным сукном, отделанные парчою и аксамитом. Словно не на суд, а на празднество ехали великие бояра — Богдан Есипов, Онаньин, Лошинский, Тучин...

Иван принимал на этот раз в большой столовой палате Го-

родищенского княжого терема. Столы были убраны, и Ивану поставлен резной престол. В прежней короткорукавой чуге, в червчатом кафтане и шапке Мономаха, он сидел, положив руки на подлокотья. По стенам теснились государевы дворяне. Стража, в оружии, окружала покой. Истцы и ответчики стали по двум сторонам палаты. Началось громкое чтение:

— «Бьют челом старосты и все люди улиц Славковой да Никитиной, на бояр на новгородских, на посадника степенного Василья Онаньина, на Богдана Есипова, на Федора Исакова, на Григорья Тучина, на Ивана Лошинского, на Василья Никифорова, на Матфея Селезнева, на Якова Селезнева, на Ондрея Телятева Исакова, на Луку Офонасова, на Моисея Федорова, на Семена Офонасова, на Констянтина Бабкина, на Олексея Квашнина, на Василья на Балахшу, на Ефима на Ревшина, на Григорья на Кошюркина, на Онфимьины люди Есипова Горошкова и на сына ее Ивана и на Ивановы люди Савелкова, что, наехав те со многими людьми на те две улицы, людей перегрoбили и перебили, животов людских на тысячу рублев взяли, а людей многих до смерти перебили».

...«Да еще бьют челом Лука и Василий Исаковы дети Полинарьина на Богдана Есипова и на Василья Микифорова, и на Панфила, старосту Федоровской улицы, что, наехав на их двор, людей у них перебили, а животы разграбили и взяли на пятьсот рублев».

Иван, повернувшись в кресле, с любопытством взирал на ответчиков, великих бояр новгородских. От них первым выступил Богдан Есипов, как бывший степенной, властью которого содеялось все сказанное.

Богдан говорил громко, гулко, сведя серые мохнатые брови и глядя в глаза Московскому князю:

— Почто великий князь и господин наш велит честь жалобу ихнюю, а не велит спросить, почто мы те две улицы, такожде и бояр Луку с Васильем Полинарьиным, зорили и деньги и добро с них взыскивали? Дело то было решено властью новгородскою, посадничьей, и творилось по закону, яко же издревле ведется! Судили их судом праведным, и казнью казнили торговою за отступление от Господина Великого Новгорода, за отказ от суда посадничья. Такоже и древле во граде нашем отметников и переветников расточали и разоряли и хоромы их развозили и виру брали с них дикую по закону и по словам прежних князей, рекших: «Кто вам добр — любите, а злых казните!»

Следующим говорил Онаньин:

— Ведомо государю Московскому, а нашему господину, князю великому Ивану Васильевичу, что суд судить надлежит князеву наместнику на Городце с посадником вкупе. Так и по судной грамоте положено, и от прадед заповедано наших. Сии

же отступницы, отступили посадничья суда и поддались суду городищенскому. И казнили их по правде, по приговору...

Василий вдруг запнулся, увидя прямой недвижный блеск глаз Ивана Третьего. Смутно почуял, что тот помнит прежнее его посольство, пятилетней давности, тогда, еще перед Шелонью, помнит и не простил. Холод прошел по спине Василия Онаньина. Он оглянулся. У стен — руку протянуть — плотно стояли московские дворяне в бронях, одетых под платье, опираясь о бердыши. Переборол себя, хотел продолжить речь, но тут Иван сам перебил Онаньина.

— Почто,— вопросил он, впиваясь взглядом в лицо степенного посадника,— почто изменою сочли ко мне, ко князю и господину вашему, отступление? А как же заповедано вам и грамотою утверждено, что у того суда новгородского печати быти князей великих? Так как же измена то?! Непонятно мне сие! Как же ты, Василий, да и ты, Богдан, об измене мне говорите, когда я князь и господин ваш и суд творити в Новом Городе волен по правде и крестному целованию? И ныне приехал я сюда суд судить и жалобников оправливати, дак тоже судиться у меня измена? Кому же измена-то? Не королю ль литовскому, коему изменники новгородские предатися обещались, и паки отреклись, и уже грамоты те отобраны?! И то дивно нам, как богомолец наш, честный Феофил, таковое их грубиянство мне, великому князю своему, простил и втуне оставил?! А пото! — возвышая голос, загремел Иван с тронного кресла: — Приказываю, как татей и душегубцев, тебя, Василий Онаньин, тебя, Богдан Есипов, тебя, Федор Исаков, и тебя, Иван Лошинский, сей же час взять и в железа сковать!

Онаньин не поспел дернуться, тотчас к нему подступил Иван Товарков. Русалка ухватил Богдана. Никита Беклемишев держал за локти оскалившегося Федора Борецкого. Звенец взял Лошинского.

Богдан глядел сердито, не понимая еще, что произошло. Федор, извиваясь, рвался из рук, и к Беклемишеву тут же поспешили на помощь двое дворян. Ражий Онаньин было отпихнул Товаркова, но лязгнула сталь, и он был вынужден даться в руки москвичей.

Иван, пригнувшись с кресла, пронзительно глядел в лица захваченных, растерянно-яростные, недоуменные, разом побелевшие или покрасневшие от бессильного гнева.

— А прочих,— прибавил он громко,— что грабили те улицы и людей убивали, взять за приставы и в узилище посадить!

Григорий Тучин ощутил на предплечьях разом схватившие его с двух сторон твердые руки. Он тоже дернулся было, скорей от растерянности, чем от желания убежать, и ощутил острую боль — держали нешуточно.

Завороженно глядел Григорий то на князя Ивана, то на товарищей. Рядом с ним вязали руки Селезневу. Липкий пот выступил у Григория на спине под рубахой. Он не знал, как это страшно, вот так, просто и вдруг, быть схвачену по чужому приказу, разом лишиться воли, достоинства, гордости и даже свободы движений. Он понимал храбрость. Смертельный риск сечи и даже смерть в бою. Тогда, вечером, на Шелони, когда его выручил Савелков, он дрался, уже не чая остаться в живых, и мужество не изменило ему даже в тот час. Но теперь его впервые охватил страх, тошнотный и мерзкий. Чувствовать это бессилие, невозможность скинуть чужие руки, а паче того — духовное бессилие, бесправие свое, когда остаешься один и никто не поможет, никто не защитит, и не только неможно отбиться, но и права отбиваться ты лишен, ибо взят по суду, и свои, ближние, и те молчат или против — это было паче смерти, паче всего, мыслимого доднесь! Тучин стоял, дрожа и обливаясь холодным липким потом, и, не в силах унять эту дрожь беззащитного тела, ненавидел себя. Смертельно бледный, почти теряя сознание, он смотрел неотрывно-завороженно в блистающий взгляд Ивана Третьего, уже почти не видя и не слыша ничего иного вокруг и перед собой.

В палате поднялся недоуменный ропот. Даже жалобщики растерялись. Всех ошеломил скорый суд и скорое решение великого князя.

Но и то еще было не все. Иван, уже испытывая злое торжество, поискав, нашел глазами Немира и возгласил:

— А тебя, Иван Офонасов, и сына твоего Олферия видеть у себя не хочу, понеже ты и он мыслили датися за короля и отчину нашу, князей великих, Новгород, под короля литовского приводили!

Бледнея, Немир поворотился к выходу. Им дали только переступить порог. Тотчас к Ивану Офонасову подошел Василий Китай, а к Олферию — Юрий Шестак.

— Взяты именем государя нашего и великого князя Московского! — повелительно произнес Китай.

Немир обернулся затравленно. Кругом блестели обнаженные клинки московских дворян. Сопротивляться было бесполезно.

Тучина, Василья Никифорова, Матвея и Якова Селезневых, Телятева, Ивана Есипова, Бабкина, Федорова, Квашнина, Тютрюма, Балахшина, Кошюркина и Ревшина в тот же день взял на поруки, внеся полторы тысячи рублей из владычной казны, испуганный архиепископ Феофил, на которого налетели со всех сторон вчерашние враги, сегодня ставшие единомышленниками в несчастьи. Поименованных продолжали держать в затворе, но за новгородскими приставами. Что же касается шести великих

бояр: Богдана, Онаньина, Федора Борецкого, Лошинского и Ивана Офонасова с Олферием, их Иван решительно отказался выдать под любой заклад.

Страшная весть переполошила весь город. Оксинья Есипова прибежала к Онфимье Горошковой простоволосая, в одном платке.

— И твоего Ивана забрали!

Онфимья молча царапала себе руки, бегала по горнице. Оксинья смотрела растерянно, попыталась утешить.

— Их-то за приставы, а тех в железа! Что ж делать-то, Марфе Ивановне как сказать?

Онфимья остановилась.

— Онаньиха знат?

— Не весть! Фовру встретила сейчас на мосту, зареванная вся! Марья Тучина тоже знат ли? Жонки ума лишатся, у обеих мужиков забрали! Что ж делать-то, Онфимья? — повторила Оксинья растерянно.— И Федор, и Богдан, и Онаньич!

— Что делать? Побегу к Марфе! Не выпустят их! Говорила мне она, упреждала! Поди, плотницяне радуютце! — зло процедила Онфимья сквозь зубы.— А и им то же будет!

— Неужто мужики смолчат? — отозвалась Есипова.— А тут пиры, не знай, то ли пей, то ли слёзы лей!

Грохнула дверь в сенцах, в дом вихрем ворвалась Иринка Пенкова.

— Слыхали? Отбить!

— Отбить! По монастырям московской силы полно, а свои рати не собраны! — горько ответила Онфимья, завязывая плат.— Нет уж, пришла пора кланятьце, так спины не жалей! К Марфе Ивановне похожу. Что мать?

— Без памяти лежит. Отливали,— ответила Иринка и вдруг, согнувшись, заплакала по-детски, навзрыд.

Офонас, Феофилат, Казимер с Коробом, Александр Самсонов спешно пересылались гонцами. Суд Ивана затрагивал всех. На право судить новгородца в городе «своим судом и за своими приставы» еще никто не подымал руки.

Потерянный Феофилат, почуяв, что на его хитрые узлы тут пришелся московский топор и неизвестно, начав с Богдана, не кончат ли им, суетился, подгонял прочих. Захария Овин и тот явился со всеми вместе хлопотать перед князем о милости и снисхождении. Отрядили выборных к архиепископу.

Весь понедельник шла подготовка посольства, совещания, споры. Уже подымалась голка по городу. Гнев и смута охватывали низы. Хоть и медленно, хоть и не так, как в прошлые веки, когда достаточно было позвать,— и город подымался весь в оружии на защиту своих и боярских прав, но громада начинала волноваться. Уже кучками собирались ремесленники по углам.

Москвичей все чаще начинали задирать. Великокняжеские ратники подтянулись к Городцу. Заставы на дорогах были усилены втрое. Казалось, вот-вот вспыхнет пламя мятежа, но некому было поднести огонь, некому и не из чего высечь запальную искру этого пламени...

Борецкая, бледная, решительная,— обрушившееся несчастье разом поставило ее на ноги — распоряжалась, рассылала и собирала слуг, готовила коней и оружие. О посольствах, просьбах она даже не думала. Отбить! Непременно отбить! Но кем? Городец стал крепостью, его и ратью не возьмешь. Следовало перекрыть пути. Она вызвала Богданова ключника, но в доме у Есиповых был полный разброд, хозяйничали одни бабы, внуки Богдана тоже сидели за приставами, и ключник и ратные Богдана не трогались с места.

Борецкая вызвала своего дворского и старшего ключника, Иева Потапыча, веля им поднять Богдановых молодцов и собрать всех своих людей, кого можно.

— Пятьдесят ратных, боле не наберем! — сказал дворский.

— Богдановых нать!

— Богдановы не послушают, — мрачно возразил ключник, опуская глаза под слепящим взглядом Марфы.— Был я уже... Словно бы оговорил их кто! Слушок есть такой... — хищное лицо Иева покривилось, он глянул жестко в глаза госпоже: — Они, как Богдана взяли, оробели враз, скоре князя послушают, чем тебя! Да и городищенские шастают тамо...

— Подкуплены?

— Может, и московски посулы, кто знает!

Иев был недалек от истины. Служилым людям Богдана наместник велел намекнуть отай, что великий князь Московский берет в службу военных слуг опальных бояр, если, конечно, они верны государю Московскому. Богдан был для своих молодцов каменной горой, и уж коли эта гора обрушилась так легко и просто, навряд кто другой возможет противустать Москве! Так они все, ежели и не рассуждали, то думали, и класть головы уже не захотел никто.

Борецкая отрядила пятьдесят своих оружных и в тот же день скрытно послала к Липне, стеречь дорогу через Ям и Бронничи и попытаться перенять, ежели повезут тем путем. А ежели не повезут? Или силы не хватит?

Марфа ходила по терему, как зверь в клетке,— все отреклись! Богдановы люди как опоены, Онаньин, Иван Офонасов — кто мог бы помочь, сами взяты. Тучин, Матфей Селезнев, Никифоров — сидят. Савелков! Он один, больше и некому!

Иван был готов и понял Марфу с полуслова. Он поднял и вооружил всех, кого мог собрать. Но куда скакать, ежели садиться в засаду? На Мсту или к Русе?

«Боже мой,— думала Марфа, бегая по горнице,— боже мой! Знала, чуяла! Одна во всем Новом Городе!»

Во вторник архиепископ с избранными гражданами отправился на Городец. Офонасу и Коробу с Феофилатом удалось за день собрать выборных от всего Новгорода.

Иван принял посольство в той же столовой палате, в которой творился суд. В ответ на мольбы старейших посадников и архиепископа возразил, глядя в лицо Феофила:

— Говорите, никогда издревле не бывало того, чтобы новгородца судили не своим судом? А как же писано в летописании новгородском, что Ярослав, чьи грамоты волность мужей новгородских утверждают, заточил посадника Констянтина Добрынича? И паки Владимир Мономах призывал в Киев бояр новгородских, и иных оправил, иных же оковал и поточил в Киеве? И святой великий пращур наш, Александр Невский, такоже вершил, призывая к себе бояр Нового Города и по иным градам расточая? И то все при древлих великих князьях благоверных деялось, и тебе, богомолец наш, и тебе, Яков, и тебе, Феофилат, то ведомо! И то еще ведомо тебе, богомольцу нашему, и всему Нову Городу, отчине нашей,— с нажимом произнес Иван,— колико от тех бояр и наперед сего лиха чинилося, а и нынеча что ни есть лиха в отчине нашей,— он опять подчеркнул слово «нашей»,— то все от них же чинится! Ино како мне за то лихо их жаловати?

Взятых бояр в тот же день в оковах, с сильною охраной послали на Москву.

— Теми же часами в Москву умчали! — донес Марфе прискакавший с Городца гонец.

Феврония билась в рыданиях в материном дому. Олена сидела рядом, бледная, отхаживала сестру. Марфа стояла посреди столовой горницы, коротко и резко приказывая подбегавшим слугам. Савелков, одетый, сгорбившись сидел у стола.

— Стало так! — говорила Марфа.— Скачите сейчас на Липну, там мои ратники ждут. Отсюда через Ковалево.

— Заставы тамо!

— А прямо, круг Юрьева?

— У Перыня не перейти, лед не держит. Надо кругом.

— Через Русу! — вмешалась вошедшая Олена.

— Через Русу вовсе не пробиться, а и пробиться, тех не догнать будет!

— Поскачете в объезд! — бросила Марфа, как о решенном.— На Вишере не задержат, оттоль к Бронничам, напрямик. К своим гонца шлю, догонят, поводных коней у меня возьмешь. Всем наказано. Волхов перейдете за Онтоном святым. Иван, на тебя надежда!

Савелков встал, сжал на миг Марфины руки, поклонился Олене, сбежал с крыльца.

Вечерело. Шел снег. Кони, готовые загодя, рвались из-под седел. Лучших скакунов достала Марфа Борецкая. Кони храпели, били копытами в снег. Дружина ждала верхами, пряча оружие под шубами.

— Берегом! — приказал Иван, пуская рысью. Московская сторожа окликнула на выезде из города.

— В Хутынь! — крикнул Савелков, не останавливаясь. Кони перешли в скок.

Только бы переправиться через Волхово! Ниже Зверинца мужики пешали лед. Савелков окликнул. Люди были Марфины. Борецкая и тут сумела все подготовить. Всхрапывая, кони ступали на хрупкий настил, обмакивая копыта в ледяную воду. Двое искупались-таки с конями вместе, но выбрались все. Опять тронули в скок — не застудить бы коней!

Овраги, ручьи, речки сводили с ума. У Успенья на Волотове опять путь загородили москвичи.

— Свои! — бросил Савелков.

— Каки таки свои, стой!

Ничего не отвечая, Иван пришпорил жеребца. Несколько стрел просвистело в воздухе. Пришлось взять левее. Под Ситкой вновь напоролись на московскую заставу. Иван чуть было не приказал в клинки — опомнился. Дальше держались лесом. Мсту перешли по льду, накидав ельнику. Пока рубили, мостили — опять задержка. Уже пересаживались на поводных коней.

Начинали попадаться обозы. От встречного мужика вызнали, что москвичи проезжали уже не раз, и все в одну сторону, на Яжелбицы, а один их отряд стоит в ближнем селе. Не рискуя напасть — потом не развяжешься,— Савелков послал двух холопов в догляд. Те едва выбрались из села. Узнали все же, что отряд сторожевой и прибыл еще вчера. Поскакали дальше, наверстывая потерянное время.

Второй раз ошиблись хуже. Опять, чая обоз, налетели на сторожу В бешеной сшибке трое полетели с седел. Москвичи, к счастью, вспятились, и савелковские, пользуясь темнотою, сумели уйти, бросив трупье и запаленных поводных коней на произвол судьбы.

Марфин гонец догнал отряд Савелкова с вестью, что Липенская застава разбита под Ямом и вся разбежалась по лесу. Иван только молча закусил губу.

Утрело. Конский скок становился короче и короче. Пришлось сделать привал. Поводив, напоили коней, покормились. Люди качались в седлах, слезая, падали в снег. Иван с трудом поднял отряд. Снова скакали. От встречных узнали, что впереди москвичи, и едут из Новагорода. Кинулись вдогоню. Обоз был уже

верстах в пяти, только бы не попалась сторожа! Они нагоняли. Савелков ожог коня, вырвал саблю:

— Стой!

Хватая за повод, остановил возок. Оскакивая москвичей, торопливо хватавших оружие, ратники окружали обоз.

— Что везешь?

Сила была на стороне савелковских. Москвичи побросали копья и опустили клинки. Попоны и вервие полетело с возов. В крытом возке высадили двери — никого.

— Великого князя добро! — отвечал холуй.

Ошиблись. Вдали запоказывались конные княжеские ратники. Рубанув постромки — доле будут возиться! — савелковские умчались от греха.

Кони были измотаны вконец, храпели заполошно, поводя боками, качались под седоками. Третий раз неудача, третий раз Иван наталкивался на силу, продуманную, готовую и устроенную исподволь, не разом, не взмахом, силу, где все было заранее учтено и взвешено. Теперь ему стало ясно, что и суд и разбор жалоб — одно скоморошество, что все было решено заранее, кого и как взять, и дороги перекрыты, и сторожа собрана, и давишний обоз не с умыслом ли, не для отвода ли глаз?

Надо было во что бы то ни стало переменить коней. Марфины волостки все остались в стороне, свои тоже. Разве?.. Савелков вспомнил, что неподалеку большое владычное село. Феофил, конечно, привяжется, а, все равно теперь! Конный двор у них там — загляденье!

Налетели с ходу, разведывать было некогда. Сторожа кинулась вперейми.

— Рубить!

Один остался на земле, прочие разбежались. Стойла были пусты.

— Где кони?! — Савелков в бешенстве тряс служку.

— Угнаны великим... великим... великим князем,— повторял тот, мотаясь в руках у Ивана.

— По слову...

Иван отбросил холуя. Вскочил в седло. Это был конец. Крестьянских лошадей не соберешь враз, да и что то за кони, разве на них догонишь!

Повернули. Миновали лесок. Выскакав на угор, Иванов конь качнулся. Оглядясь, Савелков увидел, что растерял уже половину слуг. Пьяный от усталости, он слез с седла, повалился на землю, на снег, на обдутый ветром до зени угор, грыз мох, рвал руками мерзлую бруснику и верес, стонал от ярости. Опомнился, встал. Тяжело поднялся в седло.

— В Новгород!

Тронули шагом.

ГЛАВА 25

ахваченные новгородские бояре — шесть бояринов великих — были привезены на Москву десятого декабря. Прочих, взятых на поруки — Горошкова, Тучина, Пенкова, Селезневых и всех житьих,— Иван отпустил уже через два дня, первого декабря, после нового общегородского настойчивого посольства, в составе всей новгородской господы, старост, представителей от купечества и черных людей. Убытки, нанесенные набегом на Славкову, Никитину и бояр Полинарьиных, были вычтены из городской казны — что пошло городу — и из имущества обвиненных.

Прочих жалобщиков тихо вытеснили с Городца, предложив им позднее обратиться к суду наместника. Сослужив свою службу, они пока больше не требовались Ивану.

В торжественном чину встречи были произведены перестановки, ибо упускать причитающихся ему даров Иван отнюдь не собирался. Третий пир от Славны он сам указал, что будет пировать у Полинарьиных, беря, таким образом, Луку с Василием под свою высокую защиту (а заодно заранее обрекая братьев на необходимость передать ему львиную долю полученных по суду денег). Третий пир от Неревского конца вместо Василия Онаньина взялся устроить Яков Короб — вторично принять князя у себя же.

И начались пиры.

Шестого декабря Иван Третий пировал у князя Василия Васильевича Шуйского. Старый воин, дравшийся с москвичами еще под Русой, раненый и чудом избежавший смерти на Двине, теперь принимал и чествовал врага своего и был хлебосолен и ласков.

Следующая неделя была потрачена на то, чтобы, под нажимом великого князя, выбрать, наконец, степенным посадником вместо схваченного Онаньина Фому Андреича Курятника. Хмурый Совет господ собрался, наконец, в Грановитой палате, и высказался единогласно, без особого торжества, но и без споров.

Да спорить и не приходилось. Один Фома Курятник мог торжествовать, хоть и ему было не по себе.

Четырнадцатого декабря, в четверг, Иван пировал у владыки. По случаю зимнего поста блюда были все рыбные, зато каких только рыб, от снетка белозерского до устрашающих размеров севрюги — вареных, соленых, копченых, вяленых и под соусами, каких только балыков, каких кулебяк и рыбников, сопровожденных тройною монастырскою ухою, не выставил Феофил! Посуда была вся серебряная, а для Ивана Третьего — золотая, рекою лились заморские вина и разнообразные меды. Подарки последовали вдвое против прежнего. Кроме золота и сукон, был вручен жеребец, которого нарочито провели мимо крыльца. Всхрапывающий конь на серебряных удилах выворачивал огненное яблоко глаза, едва не взвивался на дыбы — шестеро конюхов с трудом удерживали зверя. Жеребец был редкостный, двинской породы. В глазах Ивана мелькнуло удовольствие.

Двести с лишним кораблеников были вынесены на блюде и ссыпаны в кожаный мешок. Вечером Брадатый, предварительно пересчитав тяжелые нобили, записывал дар архиепископа. Прикосновение к золоту вызывало у Брадатого дрожь чувственного удовольствия в пальцах. То, что это была не его личная, а государева собственность, только придавало золоту бо́льшую ценность. Казна, охраняемая тобой, которую самому нельзя потратить, дороже стоит, чем расходные кругляки в калите на поясе. Во всяком охранителе казны есть что-то от древнего змея, что лежит, свившись кольцом, на заповедном золотом кладе, оберегая его от любых посягательств, и жизнь и кровь свою положив на то, чтобы заклятая страшная сила золота оставалась и сохранялась в грозно-недоступной неприкосновенности.

Государь тоже любил трогать золотые, хотя и проявлял эту страсть сдержанно, как и подобает государю. Брадатый знал об этом и нарочно выкладывал корабленики столбиками, как бы для проверки государевой, чтобы князь Иван мог невзначай взять нобиль-другой и взвесить его на ладони, созерцание чего тоже доставляло удовольствие Брадатому.

Пятнадцатого декабря пировали у Казимера.

В субботу Иван парился в бане, отдыхая от пиров. Голова болела — накануне выпито было явно сверх меры.

Семнадцатого великий князь пировал у Захарии Григорьевича Овина. Захарий льстил грубо и через меру — ежели по новгородски судить, — но он хорошо знал, что делает. Иван остался доволен, а Захарий отделался дешево: против ста корабленикови Казимеровых, заплатил двадцать. Впрочем, Иван Третий и не собирался слишком зорить Торговую сторону.

Дальше пошло с передыхом. Девятнадцатого праздновали у степенного тысяцкого, Василья Есипова. Двадцать первого, в четверг, у Якова Короба. Двадцать третьего у Луки Федорова, в Людином конце.

Между пирами происходило то, о чем мало кто знал. Хозяева в задних горницах с глазу на глаз с боярами государева двора приносили присягу на верность великому князю и подписывали грамоту, нетвердо соображая, не изменяют ли они тем самым Господину Великому Новгороду?

Двадцать пятого, в рождество Христово, великий князь устроил пир у себя на Городище. Был зван архиепископ, князь Василий Шуйский, все посадники, тысяцкие, нарочитые житьи и купцы. Князь был весел, много разговаривал, засиделся и пил с гостями до вечера.

Все шло как нельзя лучше. Уже воротился гонец с известием, что пленные благополучно доставлены в Москву. Новгородские подарки сыпались как из рога изобилия. Бояре великого князя, воеводы, дети боярские — все получали свою долю, и доля была зело не скудна. Простые ратники и те ополонились стойно иному дворянину в удачном походе. Чего не получали добром, брали сами. От новгородских богатств у всех разгорались глаза и кружились головы. Передавали, раздувая слухи, кто и не видел, о грудах золотой посуды у архиепископа, сундуках с золотом и серебром у великих бояр. Величие соборов, блеск боярских выездов, казалось, подтверждали любые россказни. Поражало москвичей и виденное ими на улицах и в домах посадских: ни одного горожанина в лаптях, свободный обычай жонок, что пируют вместе с гостями, а то и правят, как мужики, вотчинами, ходят к суду и на вече своем, сказывают, выступают порой. Ратники спешили набраться. Рыскали по городу, потаскивая лопоть, кур, гусей, поросят, а то и пограбливая на дорогах. Даже софийский летописец владыки Феофила записывал потом, что стояние москвичей было «притужно и с кровью».

Обозники, не привыкшие к московской бесцеремонности, огрызались, когда ратники проглядывали возы, выбирая себе что получше. Кое-где завязывались драки, каждый раз оканчивавшиеся не в пользу новгородцев, безоружных перед вооруженными до зубов гостями, находившимися к тому еще и под покровительством властей. Подвойские и приставы новгородские осаживали недовольных — перечить москвичам было не время.

Зять костереза Конона, Иван, по всегдашней неудачливости своей нарвался на драку с московлянами перед самым рождеством. Ходить мимо московской заставы у ворот ему приходилось ежедневно, случалось, и кричали обидное — все пускал мимо ушей, а тут, как на грех, дернула нелегкая остояться.

— Эй, безносый, поди сюда! — позвали его.— Не знашь тут бабу найтить поближе?

Ратники хохотали, и не понять было, не то в шутку, не то в заболь прошают.

— Чо оробел? Жонку спроси, от такой-то рожи сама к нам прибежит! — сказал один с издевкой.

У Ивана потемнело в глазах. Удар древком копья в спину сбил его с ног. Он вскочил, вновь кинулся и снова упал под ударами.

— Блажной, не видишь! — прозвучало над ухом.

Иван поднялся кое-как и неверными шагами побрел к дому. Москвичи хохотали вслед.

Вечером Анна прикладывала примочки, ругалась и журила:

— Счо ты один сделашь, как бояра не замогли?

Соседка, раскачиваясь на лавке и жалостно глядя на Ивана, сказывала свое горе:

— ...Тоже москвичи пограбили! Тех избили, разволочили донага, дак хоть сами живы, а Окинф, деверь, не стерпел, полез дратьце, так и до смерти убили!

Двадцать восьмого декабря Иван Третий пировал на Городище у славной вдовы Настасьи, дарившей его золотом, ипским сукном, рыбьим зубом и соболями, тридцатого — у Феофилата, на Софийской стороне. Первого генваря был второй пир у Якова Короба, дарившего великого князя от себя и от внука, Ивана Дмитриева, сына Дмитрия Исаковича Борецкого.

Марфа Ивановна сумерничала, не зажигая огня. Пиша сидела с нею, молчала, опустив руки на колени. Вязать уже трудно было. По улице с гомоном проезжали конные. Князь Иван со всею свитой пировал у свата, Якова Короба.

В сумерках слышнее становились голоса и топот коней с улицы.

— Вздуй огонь! — очнувшись, приказала Марфа.

Пиша долго ударяла кресалом, высекая искру. Наконец, трут затлел, выпустив маленькое душное облачко. Вспыхнула навощенная лучинка, загорелась свеча в свечнике. Пиша хотела зажечь и все свечи, но Марфа остановила ее движением руки, сказала, вставая:

— Оболочитьце подай!

Единственная свечка, оплывая, трепетала в серебряном свечнике. Длинные тени дрожали по стенам. Марфа Ивановна поспешно одевалась, туго заматывала черный плат. Пише коротко бросила:

— Пойдешь со мной! Боле никого не зови!

Олимпиада Тимофеевна поняла, ахнула, да и прикрыла рот. Кинулась собирать лопотинку.

Вскоре две женщины, одетые в черное, вышли калиткою со двора. Снег валил вовсю, заметая следы. Близ усадьбы Короба, на улице, московские ратники ежились в стороже. Освещенные окна терема бросали желтые пучки света в снежную заверть.

«Верно, уже за столами сидят!» — подумала Марфа.

Псы, принюхиваясь, вертелись под ногами. Оттесняемая ратниками, грудилась у ворот толпа нищих, богомолок, просто зевак, переминавшихся с ноги на ногу,— хоть глазом глянуть на великого князя.

Молча расталкивая толпу, Марфа пробиралась вперед. На нее недоуменно оглядывались, нехотя сторонясь. Набожно перекрестясь, когда миновали, наконец, рваную братию, Марфа, глядя строго перед собой, прошла мимо сторожевого. Ратник, сам не понимая почему, уступил дорогу. Соображая, окликнуть ли али нет, решил — свои! Завернулся плотнее в шубу. Мерзни тут! Филимон, пес, вынес бы хоть горячего! Дали давеча по куску пирога сухомяткой, а кажну ночь в сторожах! У Русалки небось вон — ратные все ополонились, ходят вполпьяна. В Новом Городе не набраться, дак где ж ищо?! Бабы-то никак в терем? Монашки то ли челядь — тут их не поймешь!

Обе женщины меж тем пролезли в калитку, засыпанную снегом. Марфа хорошо знала усадьбу Короба и помнила про дворовый ход. Тут тоже торчал ратник, и переминались у крыльца какие-то неясные замотанные побродяжки — странницы или нищенки. Ратник был, к счастью, свой, Коробов.

— Куды лезешь! — окликнул он Борецкую. — Не велено пускать!

— Меня велено,— негромко сказала Марфа.

— Чего?! — начал холоп и вдруг отшатнулся: — Христос... боярыня!

— Молчи, дурак,— оборвала его Марфа.— Пиша! — Холопу приказала, как своему: — Стой тута, назад пойдем — выпустишь.

Тот, невесть что вообразив, только затрясся в ответ, прикрывая глаза от ужаса.

Марфа меж тем, плотнее замотав лицо, протиснулась по лестнице, где также было полно слуг. В сенях на нее налетел дворский Якова, Онтипа. Мало не сгреб за шиворот. Нахальный холуй был навеселе, но Борецкая открыла лицо, и тот, внимательно вглядевшись, побледнел и откачнулся к стене. Марфа молча миновала Онтипу. Пише, вполоборота, бросила:

— Жди! — и открыла дверь в господскую половину. Здесь было светло, сновали слуги с блюдами.

— Нельзя! — выкрикнул подскочивший к ней стольник.

— Якова Александрыча поклич! — негромко, но властно приказала она. Яков вывернулся откуда-то сбоку. Увидев Марфу, попятился.

— Что трусишь, не укушу чать! Поглядеть пришла на ворога своего. Не боись, меня не узнат!

На Якова жалко было смотреть. Взмок, по лбу лился пот, Марфа пошла передом, протискиваясь в толпу разряженных гостей. «По-московски принимают,— усмехнулась она про себя,— за столами — одни мужики!»

Хозяйка потчевала. Несколько жонок стояли в толпе. Звучала музыка. Капа выбежала, пробираясь к ней с расширенными глазами.

— Марфа Ивановна!

— Ничо, погляжу и уйду,— сказала ей Марфа.

От музыки, застольного говора, звона и звяка посуды, шевеленья гостей и беготни слуг стоял гул, в котором без остатка тонула тихая речь женщин: истерический шепот Капы и спокойные, чуть насмешливые ответы Борецкой.

— И так жисть мою поломали! — с ненавистью и мольбой говорила Капитолина.— Матушка, прости, только выйди отсель!

— Погоди, не егози,— отвечала Борецкая, не глядя на невестку.— Который-то? Тот, брови сросши у его! А етот не Данило Холмский? А, Федор Давыдович! Тоже из тех..

Великий князь Московский оглянулся. В толпе — уже привычно для Ивана — все опускали глаза под его взором. И тут он увидел одну пару неопущенных глаз. Сверкнул очами. Еще не зная, почувствовал — она!

Марфа прищурилась, пожала плечами: «Що говорят, у его взгляда никоторая жонка вынести не может? Мужик видной, а ище и полуцше есть!» Сама бы не призналась себе, что Московский князь ей понравился.

Иван первый отвел глаза. Хотел спросить кого ни то, но спрашивать было не время, и он лишь чуть заметно нахмурился Погодя, поглядел вновь в тот же угол и уже не увидел никого, решил — почудилось.

— Ну, спасибо, доченька,— сказала Марфа, выбираясь из толпы,— все я посмотрела, все я видела! За столы не прошусь, судьбы твоей поперек не лягу, налажай жисть свою, как тебе любо!

В гомоне и шуме празднества мало кто еще обратил внимание на одетую во все черное, замотанную платом до глаз не то монахиню, не то, как решили некоторые, бедную родственницу Коробову. Только Яков, выглядывая поверх голов и увидев усмяглое, как после обморока, лицо дочери, понял — ушла!

В черных сенях Марфу нагнал ключник, с запозданием посланный опомнившимся Коробом: хозяин, мол, просит извинить и выкушать! С поклоном он подал чашу душистого горячего белого меду. Марфа усмехнулась, сказала:

— Прими, Пиша! — Спустясь по лестнице и завернув за угол, где потаптывался давишний московский ратник, примолвила: — Дай, вот, служивому, намерз, поди!

Ратник опорожнил посудину единым духом. Оглянулся — отдать чашу (словно серебряная!), женщины уходили, не оборачиваясь. Дернулся было следом, остоялся, оглянулся и сунул чашу под тулуп. Вот повезло, так повезло! На всякий случай он подобрался, подтянул кушак и принял неприступный вид. Серебряная чаша приятно давила под ребро.

Марфа воротилась домой усталая, как после тяжелой работы. В терему Борецкой показалось холодно, ее лихорадило. Свой дом уже не грел. Московский ветер проник и сюда и уносил вековое нажитое тепло.

— Вели затопить! — сказала она устало.

Слуга внес дрова, наложил печь, запалил, подул, чтобы разгорелось. Поглядев на боярыню вопросительно — она согласно прикрыла глаза,— поставил кресло прямь огня, вышел, бережно притворив дверь.

Пиша принесла кувшин со сбитнем, сахар и пряники. Кивком головы Марфа поблагодарила ее и отпустила, желая остаться одна:

— Поди, Пиша!

Устроившись в кресле и поставя ноги на скамеечку, ближе к устью печи, Марфа сидела, кутая плечи в свой старый, уже не по-раз штопанный индийский плат, и глядела в огонь. Много можно высмотреть вот так, глядючи, как обегает поленья светлое пламя, как вьются, лижут темнеющее дерево длинные желтые языки, как легкие частицы пламени отрываются, уносясь и исчезая, как чернеют, лопаются и расцветают красным смолистые поленья, словно далекие солнечные страны возникают и рушатся в золотой пыли, диковинные города земли восточной, неведомой, невиданной сказочной Индии, где Строфилат-птица раз в тыщу лет сгорает и возрождается в огне, и лалы растут на деревьях, где живет Индрик-зверь, и счастливые люди, не имеющие одежды, ни богатств — наго мудрецы. Угли, догорая, рдеют, темнея и окутываясь пеплом, пламя слабеет, мельтешат мелкие синие языки, как суетливое лицо Якова, давеча...

Спокон веку велось: гость приходит в дом, хозяин чествует его, и сам величаясь. Чем более гостю честь, тем выше почет и хозяину-хлебосолу. И вот появляется гость, при котором уже хозяин не хозяин. Хозяин трясется и суетится без нужды, гость царит и распоряжается в доме. Но и гость ведь все равно не хозяин! Он уйдет, разрушив дом, развеяв по ветру ощущение вековой прочности, оставив угли, тлеющие головешки на месте хором. Разоренный дом, разоренный Новгород!

Марфа Борецкая смотрит в угасающее пламя. Глаза ее не

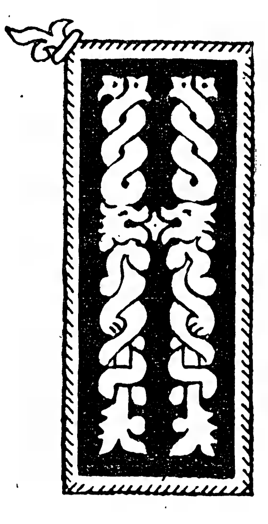
слезятся, губы сжаты. Прямая складка меж бровей пересекает лоб. Тени ходят по лицу, живые тени пламени.

У нее схвачен сын, и теперь она знает: великий князь не выпустит его живым. Она крепко сжимает рот. Тепло, подымаясь от ног, растекается по всему телу. Тепло от угасающего огня.

Второго генваря князь великий пировал у Офонаса Груза. Третьего — у Луки и Василия Полинарьиных, четвертого у Александра Самсонова. Шестого генваря, в субботу, у Фомы Курятника, новоназначенного степенного. Одиннадцатого генваря Фома Курятник поднес Ивану, как степенной, тысячу рублев — дар от всего города. Двенадцатого Иван Третий принял посла от короля свейского и с особым удовольствием приказал Феофилу с посадником утвердить новый мир со Свеей. Четырнадцатого пировали у Кузьмы Григорьева. Иван уже начал уставать от непрерывных пиров и занялся разбором дел. Наместникам вновь строго наказал неуклонно творить суд по князеву слову, дав понять, что будет приветствовать и далее унижение новгородского посадничьего суда. Девятнадцатого был третий пир у Феофила, поднесшего на этот раз триста кораблеников, золотой ковш с жемчугом, большую, в двенадцать гривенок, серебряную мису и два рога, серебром окованы — опричь прочих даров. Феофил тихо роптал, видя, как уходит добро, нажитое его трудами и береженьем. Двадцатого генваря Фома Курятник с Васильем Есиповым, степенные посадник и тысяцкий, поднесли великому князю другие тысячу рублев поминка. От пира у купцов Иваньского братства вощинников Иван Третий отказался, но милостиво принял полагавшиеся ему дары. На заключительном приеме у себя в городищенском тереме князь сам дарил и жаловал новгородских посадников, бояр и тысяцких, посадничьих детей, купцов и житьих дорогими портами, камками, кубками и ковшами серебряными, сороками соболей и конями — каждому по его достоинству и званию.

Двадцать шестого рано утром Иван выехал к Москве. Владыка князь Шуйский и избранные посадники провожали его до Волочны. Восьмого февраля утром Иван Васильевич Третий воротился в Москву и завтракал у матери.

ГЛАВА 26



овгород долго опоминался от княжеского веселья. В чести стали те, кто выжидал и прятался, заигрывая с Москвою. На место Ивана Офонасовича славенские бояре избрали посадником Луку Полинарьина. Время требований прошло. Настало время прошений.

Город был потрясен более всего увозом великих бояр. Дело оказалось общее. Увоз бояр касался и всех прочих. Можно было негодовать на самоуправство захваченных, завидовать их богатству, но то были свои бояра, столпы Новгорода, граждане, избранные от тысяч и для тысяч являвшиеся примером. Проклинали их, бывало, но если Богдан Есипов (сам Богдан!), Онаньин (как-никак степенной посадник!), Борецкий (сын Марфы!), ежели они могли быть схвачены и увезены, то что же прочие? Если можно их, то нас-то уж — и спросу нет! Мысль такая подспудно шевелилась в каждом горожанине. Только те, кому нечего терять, нищая рвань, ухорезы, живущие подачками и воровством, радовались самовластной силе Московского князя. Только они. Но и их было немало, а еще больше тех, кто вот-вот должен был попасть в ряды этого отребья, кому разорение, потеря земли, дома, заработка грозили ежедневно и ежечасно, кто уже не мог говорить «мы», а начинал говорить «они». Богатый город наплодил, себе на горе, тьму бедняков.

Посольство в Москву собирали весь февраль. В марте отправились бить челом о пойманных (которые были посланы на Коломну и в Муром) архиепископ Феофил, посадники Яков Короб, Яков Федоров, Окинф Толстой и многие другие. Великому князю привезли богатые дары. Посланные были упорны, но все оказалось тщетно. Иван Третий кормил их обедом, неделю посольство вело переговоры и ни с чем уехало назад.

Апрель стоял морозный. Еще и не начинало таять. Одиннадцатого было знамение в солнце: «Круг вельми велик, яко дуги, образом червлено и зелено, багряно и желто, далече же от него

лучи сияюща по сторонам два и рога цветом радуги». У великого князя родилась третья дочь, Елена.

В мае тверские бояре, все скопом, поехали на Москву, служить великому князю. Пустела Тверь.

В Новгороде собирали новое посольство. Борецкая в успех посольства уже не верила.

Девятого мая (потом узнали — поразились: день в день!) у Борецкой сидели: Онфимья с шитьем,— теперь зачастила к подруге, хоть тем помочь, жена забранного Олферия, Феврония, тоже проводившая дни у матери, и Оленка, вечеровали. Федорова Онтонина вышла как раз. Вдруг, присев, Марфа спокойно сказала:

— Федя умер! — На недоуменный испуг и возражения Онфимьи она только покачала головой и отмолвила: — Знаю. Сердце говорит.

Потом узналось, и верно. Девятого. Перед смертью посхимился. Как мог здоровый, словно бык, молодой мужик свернуться за пять месяцев — о том знают московские застенки да заплечных дел мастера, а те и знаючи не скажут.

Григорий Тучин зачастил на собрания духовных братьев в дом попа Дениса. Он после освобождения из затвора, считая себя предателем по отношению к тем, кто был увезен в Москву, почти перестал встречаться с Савелковым и совсем не бывал у Борецких. В душе его совершалась тяжкая работа, и что-то прежнее в корне переворачивалось. Не признаваясь сам себе, он был сломлен недолгим своим заключением, сломлен тем, что его, оказывается, могли схватить как любого простого посадского, что его боярская неприкосновенность,— состояние, в котором он родился и вырос,— оказалась всего лишь бесплотной мечтой, обманом воображения, как и многое другое, казавшееся доднесь незыблемо прочным. И Тучин судорожно искал опоры в призрачных башнях все отрицающей и всех уравнивающей религиозной идеи духовных братьев.

Назария он больше не видел, хотя, говорили, тот раза два наведывался к Денису. Подвойского сторонились. На него пала зловещая тень от арестов великих бояр, меж тем как Василий Максимов, по капризу судьбы, вышел, как говорится, сух из воды.

Денис наконец-то перекрестил Тучина в «истинную веру». Сделал он это тайно, как и многое, что ему приходилось делать теперь. Дениса последние два года все сильней преследовал владыка, угрожая даже снятием сана. К Денису, впрочем, очень трудно было прицепиться по какой-нибудь из статей, указанных в Номоканоне или митрополичьем судебном уложении. Он был

всегда ровен, прилежен и неукоснителен в соблюдении постов и правил достойной для священнослужителя жизни, причем в миру вел жизнь скорее монашескую, так как не пил вина или иного хмельного пития, не бывал на празднествах и игрищах, не слышали даже, чтобы он когда возвысил голос или произнес неподобное слово. Денис ревностно относился к службам, для своих прихожан он был почти как святой, и это, поскольку и поставление и снятие священника в Новгороде не могло быть произведено без согласия прихожан уличан, связывало руки Феофилу. Однако архиепископ уже жаловался митрополиту московскому, и судьба Дениса висела на волоске. К тому же Феофилу удалось постоянными клеветами возродить слух об обращении Дениса в жидовскую веру. А поскольку и Схария, и Мосей Хануш, и прочие волынские жиды давным давно покинули Новгород, и проверить этого расспросами было нельзя, то слуху многие верили, особенно из тех, кого лично задевала проповедь Дениса о том, что церковь не вправе владеть землей со крестьянами. Раздражение же сильных мира сего для человека, могущего выставить противу них лишь свое доброе имя, особенно опасно. Впрочем, на еженедельных беседах Денис с последователями своими о преследованиях властей церковных не говорил. И он, и его верная супруга считали ниже своего достоинства судачить о мирских неурядицах.

Тучин также не распространялся о мучившем его лично, но весной, после неуспеха второго посольства, когда дошло известие о смерти Федора Борецкого, он не выдержал и, проведя бессонную ночь, пришел со своими сомнениями к попу Денису, выбрав для того время, когда Денис пребывал в дому своем один.

Тучину было трудно рассказывать то, что он сам еще не мог осознать ясно, но Денис понял его вполне. Сплетя тонкие длинные пальцы, твердо и проникновенно глядя на Тучина своими глубокими прозрачными глазами в покрасневших веках, Денис вымолвил именно то, о чем Григорий боялся заговорить вслух:

— Сыне мой! Ежели Московский князь займет и Новгород, и граждан его поработит, и земли отымет у церкви новгородской — тяжек крест народный будет тогда, но и великое очищение гражаном и граду нашему! Ибо чрез то возмогут обратиться к дрожайшему в себе, к духу божию, поняв тщету сокровищ стяжания и суеты земной.

— А ежели так, то не достоит ли... помочь великому князю или по крайней мере не противиться ему, как иные мыслят?!

Денис выдержал напряженный взгляд Григория, изрек:

— Могущий вместить, да вместит. А о прочем — спроси свою совесть! Сказано господом: «Богу — божье, кесарево — кесарю». Апостолы не призывали к прещению власти предержа-

щей, ибо зло множит зло, но звали к любви и тех и других, и да начнут сами отрекаться богатств и мучительства братьи своей и да будут едины пред господом и в господе, ибо он есть всё. Отринь богатства, стань как все и меньше всех, живи для одного бога, и что возмогут сделать тебе тогда, Григорий? Разве лишить жизни сей, бренной и быстротечной! И кого ты предашь, ежели станешь служить не насилию, а любви? Человеку нужно двигаться, менять себя непрестанно, идти от прежнего к высшему. Апостолы хождаху ногама, но и духом движимы непрестанно! Тот же, кто ни духом, ни телом неподвижен, что он выбрать может? Как камень лежащий или страстотерпец на столбе вселившийся — со смирением переносит идущая нань. Иди! Переделай себя, а не жди, что мир и господь сами ся переделают на потребу тебе, такому, каков ты есть ныне! Ты же, пока, о власти земной печешься, богатств не отринул, ни звания боярского своего, и дрожишь о том, как бы не потерять все это! Так посуди же сам, что я сказать могу тебе?!

Денис глядел на него взглядом Христа, взглядом, в котором были и любовь, и светлая печаль о судьбе Тучина, и бесконечная вера. И Григорий, поклонившись ему и стыдясь в душе, оставил наставника.

Союз, с таким трудом собранный Богданом Есиповым, распался, казалось, навсегда. Не один Тучин присмирел, притихли Селезневы, разбрелись житьи, в городе шла какая-то мышиная возня. Иван Савелков, единственно уцелевший от вторичного княжеского погрома, был в отчаянии. На глазах пропадало все, он терял товарищей, терял друга Григория.

Упорно ползли слухи о близком конечном одолении Новгорода князем Московским. Эти слухи с бродячими монахами, странниками и странницами растекались в основном из Клопского монастыря, куда Савелков попал, сам того не желая, в чаяньи какой-то истины, хмурым и холодным весенним днем, когда все еще казалось осенью, едва вылезала зелень на серой щетине кустов, и пятна цветущей вербы напоминали ранний снег, павший на еще не застылую землю.

У монастыря и в ограде, как всегда, толпились нищие, юродивые, богомольцы. «Разогнать бы их нать, вовремя не сумели, а теперича и руки не достанут!» — хмуро думал Иван, слезая с коня. Растолкав рвань, боярин прошел к церкви. Здесь, у стены, была могила прабабки, общая ему с Тучиным, если считать по материнской ветви, и Савелков, едучи из Русы, вдруг решил взглянуть на нее, найдя в этом предлог для посещения Клопского монастыря.

Хитроглазый, похожий на купца настоятель сам подошел к

боярину, остановившемуся случайно у плиты Немирова отца, похороненного рядом с его прабабкой.

— Не родственник, случаем, Ивану Офонасовичу? Бывал, бывал у нас боярин! Прегордо величахуся, а не ведах ни часа, ни судьбы своей! Како бог сильных наказует и смиряет до зела! А и допрежь того блаженный Михаил Ивана Офонасовича Немира остерегал и говорил ему,— еще когда приняли князя литовского, Михайлу Олельковича,— «то у вас не князь, а грязь!» По то и вышло!

— Врешь ты все!— грубо возразил Савелков.— Блаженный твой за двадцать лет до того помер!

Настоятель все так же улыбался, нимало не смущаясь. Возразил:

— Не вемы смерти причтенных к богу! Их дух незримо руководит делами и мыслями нашими! А были и иные князи литовские в Новегороде, и при тех такоже было! Тут вот убогий народ собрался. Молить господа и Михаила блаженного за великого князя, да правит нами страшно и грозно, яко же и достоит ему в государстве своем! Како помыслишь о том, боярин?

Настоятель ушел. Иван, насупясь, воротился к своему коню. Верно, что гнездо московское! О чем и думали допрежь?! Садясь на коня, Савелков приметил тряпошного мужичонку, вжавшегося в ограду:

— Новгородец ле?

— А как же!— радостно ощерясь, подтвердил тот.

— И тоже за великого князя Московского молитьце пришел?

Тот покивал головой, все так же радостно глядя на боярина.

— И страшно, и грозно...— процедил Савелков сквозь зубы.

— Грозен, грозен!— живо откликнулся тот.

Иван прихмурился. Мужичонко шмыгал носом, долгим латаным рукавом отираясь, подобострастно и блудливо озирал роскошные сбрую и платье. С презрением глянув на него с коня, Савелков спросил:

— Власти захотелось?

— Да уж, что уж?!— жидкие светлые бегающие глаза под белесыми бровями на красненьком улыбчивом лице поднялись к Савелкову.— Как вашей милости, а тут всякому кланяйсе, ужотко одна власть для всех! Вона, Онаньинича утишил! Вы-то не больно-то до нас добры!

Огрев плетью с кованым, оправленным в серебро наконечником дорогого атласного коня,— жеребец прянул с храпом, кидая грязь, брызгами разлетевшуюся с монастырской мостовой, понес вперед,— Савелков вылетел за ворота.

«Прожили свое, истеряли... Эх!»

И снова плеть змеисто ожгла бешено скачущего коня. Подпрыгивая в лад на седле, Иван все не мог унять злой обиды и

повторял, сжав зубы, издевательскую приговорку юродивого: «Не князь, а грязь. Не князь, а грязь! Грязь! Грязь!»

Комья летели из-под копыт, звучно шлепая по плахам монастырского тына, по стволам дерев. Иван горько усмехнулся:

«В самом деле — грязь! Король этот... Верили, спорили, грамоту составляли! А кабы и помог, не хуже ли стало бы еще? Разваливается все! Друг, Гришка Тучин, уже отшатнулся, Селезневы... Он сам, с чего потянуло сюда? Не быть Новугороду! Не быть...»

Эх! Воля! Серые тучи, ветер! Все отдай за хмельной простор, за ровный сумасшедший скок коня! Неужли в кабалу к Ивану?!

После проводов великого князя заболел Офонас Остафьевич Груз, надежда и воля Софийской стороны Новгорода. То ли простыл, а скорее — душой надломился.

Он лежал, когда Борецкая, воротившаяся из деревни, приехала к нему. В скудном свете лампад не разобрать было лица. Внесли свечи, и Марфа ужаснулась — до чего изменился Офонас за три прошедших месяца! Дышал он хрипло. Марфа посоветовала настой из трав, который, случалось, принимала сама. Офонас повел головой:

— Все пробовал... Парился... Ничего не помогает.

— Ничего?

— Ничего. Пережили мы с тобой, Марфа! Умереть бы в срок, как Григорий Кирилыч да Федор Яколич... Помнишь Григорья Кирилыча-то? Хоть не видали бы этого сраму!

— Встанешь еще! — сказала она, сдерживая дрожь голоса. — Нужно собирать людей!

— И не встану, — ответил он хрипло. Помолчал, облизнул губы, добавил тише: — Я уж ничего не могу...

Что-то жалкое показалось в лице у Офонаса, впервые за все те годы, что знала она его. Марфа обвела глазами горницу: иконы, лампадки во всех углах. Тоже новое — не был особенно богомолен Офонас!

Она подала ему напиться. Поддержала, пока пил, тяжелую бессильную голову. Офонас выпил, откинулся на взголовье. Из-под ворота рубахи, на сине-багровой толстой груди видна была белая шерсть. Большие бугристые руки в коричневых пятнах бессильно лежали на одеяле.

— Ты, Марфа, в страшный суд веришь? — помолчав, вопросил Офонас. — Вот, конец света грядет?.. А я верю. Раньше-то не верил, не чуял ее...

Он вновь поглядел жалобно, и у Борецкой защемило сердце. Вспомнила, как еще перед рождеством был у нее на обеде, как шутил, как со вкусом ел рыбу, долго прожевывая беззубыми

твердыми челюстями, как он, не страшась, первый подписывал грамоты, как одним присутствием своим, тяжелой медлительной основательностью, даже глухотой вселял уверенность в других... А теперь — в срок умереть.

— Нет, нельзя!— сказала она ему громко на ухо, чтобы расслышал.

— Что ты, Марфа?

— Нельзя, говорю, умирать!

— Вота, нельзя! А можно.

Он трудно улыбнулся, и на миг показался прежним, всегда уверенным в себе Офонасом Грузом.

Тимофей, большой, костистый, боком протиснулся в горницу, стараясь, как видно, казаться меньше перед умирающим старшим братом. Так же, боком, поклонился Борецкой.

— Вот, Тимоша,— прохрипел Офонас (никогда так не называл брата на людях, как помнила),— вместе мы были. Ты теперь Ивановну не покидай...— и прибавил сухим шепотом: — Пропадает Новгород Великий!

Приближалась осень. Борецкая все так же строго вела хозяйство, принимала обозы. В часы отдыха нянчила внука Василия, Василька, рассказывала мальчику, какой у него был отец, мешая черты Федора и Дмитрия: большой, сильный, смелый...

Ездили к ней немногие. Построжевший после прошедших событий Савелков да еще пять-шесть друзей старых. Но однажды Олена застала мать за разговором с Окинфом Толстым и услышала еще из-за дверей прежний властный голос матери и сердитый голос Окинфа.

— ...То и Казимир, а поклонами воли не добудешь!

Мать смолкла, едва Олена отворила двери, и дочь так и не поняла, о чем они говорили,— не то о Казимере, брате Якова Короба, не то вновь о литовском короле?

Мать была все та же. Смерть Федора не согнула ее.

Марфа Борецкая, по осени, стала почасту бывать у купцов. Ярославово управление во Пскове и их вразумило паче иных речей. Князь Ярослав Оболенский, ставленник Ивана Третьего, все больше свирепствовал во Пскове, облагая город поборами и отбивая смердов от городского вечевого управления. Второго сентября, пьяный, учинил драку на торгу. Один из его слуг потянул капусту с чьего-то воза. Возчик не дал, завязалась драка. Посадским ярославовы холуи давно уже стали поперек глотки, сбежался народ. Ярослав появился сам, в панцире, и начал стрелять, убил человека. Безоружные вспятились, Ярослав же, зайдясь, угрожал подожечь город. Но тут на него пошли с оружием, осадив князя в Кроме, Детинце псковском. Всю ночь гре-

мел набат, и вооруженные горожане стерегли князя. Посадникам с трудом удалось утишить город. Об этом уже через день судачили в Новгороде, предрекая и себе такую же участь от москвичей, ежели поддадутся великому князю. Вновь город заколебался, вспоминая о своих древних вечевых правах. В это же время в Новгород тайно прибыл посол от короля Казимира, побывавший у многих бояр, и у Борецкой в том числе.

— Почто король не всел на конь, когда мы были в силе?— гневно отмолвила Марфа.— А теперь ему в городе и веры нет! Пущай других уговорит, тогда и я подумаю.

Она больше надеялась нынче на псковичей: может, опомнятце да к ним пристанут? Зато Иван Кузьмин, зять Овинов, ухватился за королевского посла обеими руками. Он да иные из пруссов и неревлян имели с послом долгие беседы. Разговаривал посол и с Юрием Репеховым, наместником владыки Феофила. Но все это было лишь чадом на пепелище, бледным воспоминанием о былых погубленных надеждах.

В конце сентября Новгород горел. Осень стояла сухая, ветреная. Пожар начался у Николы на Розважи. Враз не могли унять, и вырвавшийся огонь пошел гулять по улицам и берегу, слизывая амбары, терема, лодьи, груды леса и добра. Казалось, огонь тщится пожрать все то, что еще не досталось великому князю Московскому.

Пожар добрался и до Марфина двора. В амбарах лопались мешки с солью, гулко, словно пушечные выстрелы, взметывая охваченные огнем сквозисто просвечивающие бревна. Мерцающие куски огненной драни вились в столбах горячего воздуха, душной гарью заволакивало улицы. От колебания ветра вся Великая враз наполнялась нестерпимым жаром, от которого сохла кожа на лице и шевелились, затлевая, одежды на людях. Горячие головни падали, как редкий сухой град, с шипом догорали на уличном настиле, выжигая в мостовой черные круги.

Из терема Борецкой выносили иконы, узорочье, серебро, волочили сундуки с добром, кули с мукою и житом, выкатывали бочонки. Марфа, стоя на улице, неотрывно глядела, как занимался, несмотря на все тщетные усилия дворни, угол великого терема, как чернели и жухли листья на яблонях сада, как по черным, с повисшими тряпочками листвы сучкам стали разбегаться огненные мураши, и вот уже долгие желтые языки принялись лизать погибающий сад, охватывая кусты и деревья. Длинным золотым змеем пробежав по забору, пламя вцепилось в него, извиваясь и корчась, вот оно кинулось на крышу дворницкой, а сзади двора водометом взметнулись искры выше терема, выше маковиц золоченой кровли, раз, другой... Упадая и вновь взметываясь к небесам, пламя охватило терем, и вот уже маленькие красные чертики побежали по золоченым черепицам, и вышка,

черная в огненном пламени, вдруг вырыгнула изнутри длинный сноп огня и вся стала как пылающий факел. Терем погибал. Рушилось все, что было славой, гордостью и величием рода Борецких. Резные расписные грифоны исчезали в огне. Лопались, выметывая клубы огненного дыма, немецкие цветные стекла. На миг дивною красотою извилось пламя по прорезному узорочью опушенной кровли. Внизу голосили бабы, совались черные от копоти мужики, ржали испуганные кони, которых под уздцы выволакивали из объятых огнем конюшен. Не переставая сыпалась тлеющая сажа, а вверху, выше кровель, ярко плясало предсмертное пламя, уносясь в огненной метели былого счастья, гордости, удали и смеха сыновей, и рушились в ничто черные, просквоженные огнем венцы.

Ключник, отплевываясь, выскочил из ворот.

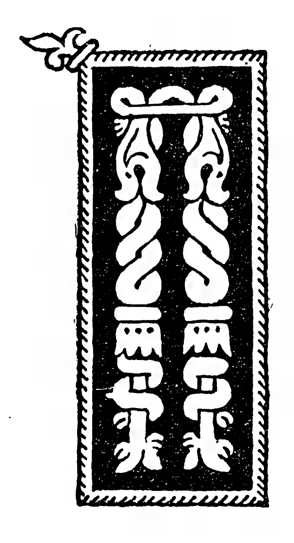
— Чего митусятце! — прикрикнула Марфа. — Поварню разобрать надоть, дале бы огонь не пошел!

Иев нырнул обратно в дымное море.

— И житницу размечите! — крикнула Марфа вслед. — Пожалеете, полгорода сгорит!

С потрясающим треском и шипом обрушилась главная кровля. Теперь всё. Оба сына допрежь и сейчас — родовой терем. Что еще оставалось от прошлого у старой женщины, знаменитой, властной и богатой, погибло в пламени. Теперь у нее остался один только Новгород, и его нельзя было отдавать ни огню, ни Московскому великому князю.

ГЛАВА 27



одступал и наступил октябрь. Строились наспех, из нового, плохо просушенного леса. Раньше бы и не позволила себе такое! Завозили запасы взамен потраченных пожаром: хлеб, холсты, лен и шерсть. Из волосток гнали новые обозы с добром в Новгород. Телеги вязли по ступицу в раскисающих от осенних дождей дорогах. Борецкая сама выезжала встречать и торопить возчиков. Терем сложили простой, на первое время. Где-то в душе Марфе и не хотелось лучшего — не для кого теперь!

Незаметно, в трудах и заботах, подошло рождество, а за ним святки со славщиками, ряжеными, гаданьем, а там уже и февраль не за горами. С концом февраля начинался новый год, последний (о чем, смутно догадывались многие) год независимости Господина Великого Новгорода.

Дела были невеселые. Святки встречали без Офонаса. Старик скончался в канун рождества. Вместо славщиков — гроб на белых полотенцах выносили из терема. Без Офонаса Людин и Загородский концы совсем отшатнулись. Заправлять там стали Феофилат с Александром Самсоновым, а ни тот, ни другой не хотели явно спорить с Москвой. Плотничана тоже отложились. С Коробом и Казимером прохлада наступила уже давно. Борецкая оставалась одна. Город баламутили вялые пересылки с королем Казимиром, в которого никто уже не верил, да сгущающаяся угроза от великого князя Московского. Все упорнее говорили о готовящихся выводах — насильственном переселении опальных в низовские города. Наместники великого князя делали, что хотели. Уже все низовцы по суду не отвечали в городе, а шли на Городец отвечивать перед наместником, решавшим всякое дело в пользу москвичей. Купцы начинали разбегаться в Кострому, в Устюг, в Вологду, кто тайно, кто явно. Даже друзья отбывали, с кем думу думали, совет советали.

Еще до Введенья уехал Строганый, с которым у Марфы были

постоянные дела торговые. Соль она всю обычно продавала через него. Честно уехал. Попрощался.

Марфа как раз отдыхала. Пиша зашла, замялась было.

— Чего тебе?

— Матушка государыня, Спиридон пришел!

Вышла на сени, думала — с делом каким, ан ошиблась,— прощаться. Поклонился в пояс, бороду разгладил. Статен, широк. Сказал не кривясь, просто:

— Прощай, боярыня, проститьце пришел! Уезжаю.

— Совсем?— спросила Борецкая, уже поняв все и без ответа, по лицу Строганого.

— Совсем. Пока добро да терем продать можно!

— Думашь, погинет Новгород Великий?

— Погинет-то навряд, а не к добру колгота, и позвы не к добру. Не тот стал Господин Новгород!

И осрамить бы его, отмолвить сурово, а не сказала ничего, спросила только:

— Куда подаваиссе?

— На Каму-реку любо на Вычегду. Там места дикие, вольные, зверя красного, рыбы — несчитано, леса высокие, воды текучие!

— Еську, иконника, с собой не берешь?

Усмехнулся Спиридон:

— По первости мне там не до икон будет.

— Возьми!— осуровев лицом, сказала Марфа.— Друга не оставляй!

Строганый подумал, склонил голову.

— Оно бы — спустя время... А таки послушаю тебя, боярыня!— Расхмылился купец:— Я ведь тя, Марфа Ивановна, помню девкой ищо! И на Белом мори у нас тебя помню!

— А ты никак старее меня годами? («Сколько лет дело вела — ни разу не спросила о том!»)

— Старее! — ответил Строганый. Усмехнулся, сузив глаза. По мелким морщинкам у глаз увидела: не врет. А красный мужик, и седины не видать!

— Ты, Спиридон, молодечь еще!

— А не жалуюсь, благодаря бога! Силы есть! Ты не гневай, Ивановна, допрежь молчал, а ныне спрошать хочу. Вот хоть ты, хоть наше братство Иваньское — почто бы то миром с Москвою не поладить? Верхнюю-то власть обчу устроить, а наши дела, домашние, градские, самим решать, по-прежнему? Жили бы мы и с государем — не тужили! Немцев потеснить маленько надоть. Гляди, сильнее бы и город стал, и нам, купечкому званию, легота! За то бы уж и заплатить можно. Все одно — тут люди живут, москвичи в Новгород не переедут!

— Не будет того. Князь Иван до веча собираитце.

— Не будет. Чую, что не будет, пото и бегу! Круто берет. Поди, и вовсе заморску торговлю в Новом Городи прикроет! Вас под корень, и нас под корень! — Тряхнул волосами Спиридон, шутливо предложил: — С нами, боярыня! Бери своих молодцов, и айда!

Марфа шутки не приняла, отмолвила без улыбки:

— Берегись, купечь! Я — как огонь жгу. За мной князь войско пошлет, хоть за Камень, в Югру! Сгорю, и тебе со мной сгореть будет! Нет, беги один лучше! А я с Великим Новгородом остаюсь. Да уж и недолго истомы — конечь видитце! Бог даст — отобьемся от Ивана, сама в монастырь уйду. К себе, на Белое море, в Неноксу. Для себя и строила, как Василий Степаныч, царство ему небесное! Мне теперь одной немного нать... Прощай. Еську возьми! Перед богом ответишь за него! Постой ище...— Вынесла икону, вручила: — Давно мы с тобою дела ведем. На вот, возьми. Когда и вспомнишь!

Ушел Спиридон. Вроде, и не обиделась даже. Зашел, простился. Не отай, как другие. Григорий Тучин, вон, лица не кажет. В чем-то честнее они, хоть и живут на барыш. А всего честнее, поди, черные люди. Ремесленники, крестьяне — те за всех отвечают. В высоком терему прожила век, не видать было!

Гром грянул в январе. Великий князь вызывал новгородцев на суд к себе, в Москву. Всех — и того, кто не дождался разбора своих дел в тот приезд великого князя, и тех, чьи жалобы были поданы городецкому наместнику и еще не рассмотрены. Вызывал истцов и ответчиков, и не только мелких людей, но и бояр великих — самого Захарию Овина, Василия Никифорова Пенкова, Ивана Кузьмина. Такого еще не бывало. Многие и не верили даже. Судиться у себя, в Новгороде,— это была святая святых граждан вольного города. Без разорительных дорожных расходов, без исправы московской, где обдерут и правого и виноватого, где попасть в яму — хуже, чем умереть. У себя в затворе сидеть — не в пример легче! Все из дому передадут лишний кус, да и сунут стражнику, чтоб не прижимал очень, дома и стены помога!

Захария Овин не любил рискованных дел. В его ненависти к Борецким, давнишней, прочной, было, кроме идущего из старины родового соперничества, кроме кончанской вражды и юношеских воспоминаний о погроме неревлянами дядиного терема (то же теперь и им устроили — поделом!), в этой давней ненависти было и постоянное раздражение на то, как неоправданно и, с его точки зрения, зря Борецкие лезли на рожон. Потеряв старшего сына, Марфа не изменилась. Это сбивало его с толку.

Овин понимал других через самого себя. От Олфера Гагина

он отобрал четыре обжи хорошей земли под городом. Олфер сумел нажаловаться Московскому князю. Он и сам бы на месте Олфера поступил так же. Теперь приходилось судиться о той земле перед князем. Раскаянья он не чувствовал, разумеется. Земля есть земля — не зевай! Новгородское управление дотоль было хорошо, по мнению Захарии, доколь устраивало его самого. Он нравом пошел скорей в дядю, чем в отца, тот-то был и в Совете среди старейших, имел вкус и к власти, и к заботам городским. Овин же сторонился дел посадничьих. Раз только ездил послом в Москву с Ионою и с Иваном Лукиничем, да и то больше помалкивал, предоставляя Лукиничу вести посольское дело. Хозяйство — это он понимал. Не лез на Двину: «За чертом нужно с Москвой тягатьце! Свои волостки тута, их и обиходь!» Новины припахивал каждый год, да и прикупал, да и так прибирал к рукам немало, где только можно. И росла Овинова волость! Хоть и не размахивался, как Борецкие, а имел не меньше Марфиного. Во всем Новгороде один Богдан Есипов был богаче его. Зато и уважал Захария Богдана, из-за него согласился и просить за пойманных — не за Федьку же, Марфиного дурня!

В рисковые дела Овин пихал других. Что получится, а там уже видно будет! Ругал зятя за бегство с борони, а сам послал на Шелонь брата вместо себя. И с королем Казимиром ждал: а вдруг выгорит дело? Тогда — мой зять в Литву ездил! Наша семья напереди!

И вот когда пришла главная труднота! Нынче самого пихают наперед — и не отпереться, и переждать нельзя, и прикрыться некем. Его, его! Захарию Григорьевича Овина князь Иван зовет в Москву на суд.

«От Рюрика того не знали!» — ворчал Овин.

Верно, от Рюрика! Как стоит Новгород — суд был у себя. Преже еще с наводкой придешь, кликни — вся улица за тебя. Высуди не по-твоему! Утеснил Иван. Умен. Не откажешь. Служат ему московские-то бояра. Вельяминовы, Оболенские, Кошкины. По струне ходят. Весной, вон, тверские бояра поехали на Москву, в службу. Охо-хо-хо! На «низ» ведь пошлют. На татар. Его, Захарию. Или сына — тоже не легче... А волости отоймут — легче станет?! К Марфе Борецкой припишут во товарищи! Уж коли в самом Новгороде хватать стали, дак окончилась воля новгородская. Ну, а поедет он сейчас... Да еще как тут повернется? Шалым делом и голову снимут! И ехать нельзя, и не ехать нельзя. Обсудить нать, хошь со своими, плотничанами. Ну, а скажут: не езди? А после, как на Шелони, в кусты? Надо ехать!

Решил твердо, а стало не легче от того. В гридне кончанской собрались все: и зять, мокрой курицей, и Яков Федоров, и Кузьма, брат, с сыном Василием, Михайло Берденев, тоже с сыном,

житьи, почитай, ото всех улиц, с Гришкой Арзубьевым — в отца кочеток! Семьей бы собраться, ближним, одним боярам — куды ни шло. Ну, а тут колгота пошла враз: «Ты поедешь, дорогу протопчешь, а иным как?» Иным! У иных свои головы на плечах небось. Обдумать еще, мол, надобно. Не сдержался:

— Думать что? Думать легко, коли не тебе позвы пришли!

Яков (он-то чего взъелся!) крикнул:

— Иуда!

Захарий тяжело встал, утвердился на ногах, на сапогах тимовых, на красных каблуках с серебряными подковками, как кабан, окруженный псами, повел головой, тяжко глянул на Якова, стал опоясываться. Борода вздрагивала от бешенства. Глухо сказал:

— Еду к Москвы, ко князю.

— Иуда! — повторил Григорий Арзубьев из толпы житьих.

Захария, покраснев шеей, прорычал:

— Кто из вас не Иуда?! И кто Христос, его же предаю есмь?!

— Родину предаешь, Искариот! — ответил Григорий.

— Вы, что ль, родина? Осрамились на Шелони, воины! — Уже от дверей Овин оборотился и предрек: — Уеду — за мной побежите вослед!

Захария был осторожен, но не труслив. Прижатый в угол, лез, как медведь, вперед, напролом. Его не остановили.

Возок Овина выкатился из Рогатицких ворот и влился в череду просителей и ответчиков, что тоже тянулись в Москву, по приказу великого князя. И внове было, и чудно, что с подлым народом наравне ехать приходит. Потертые колымаги, сани, возки, в разномастных упряжках, в грошовой сбруе. Волоклись за сотни верст вдовы, обиженные родичами, чернецы и черницы мелких монастырей, житьи, купчишки, ремесленники, коих тогда сгоняли на Городец и нынче опять понадобились Ивану для какой-то своей надобности. Захария, не обманываясь, чуял, что весь этот народец лишь личина, а что под нею? А под нею он — Захария! Овин нарочно обгонял обозы, чтобы оказаться впереди и не мешаться с прочею дрянью.

Почин Захарии сломил и других. Василий Никифоров Пенков погодя поехал тоже. Поехал за ним, как и предсказывал Овин, Иван Кузьмин. Теперь уже торопились обогнать друг друга.

У Василья Никифорова перед отъездом был трудный разговор с сыном Иваном. Впервые отец избегал смотреть ему в глаза. Сам думал с болью, что, вот, всегда был героем, дрался на Двине в первых рядах рати, четырежды смерть висела над головой, и вдруг — как трус, как предатель... Высказав самое трудное, посмотрел украдкой, ища укора в сыновьем взгляде, и не

встретил. Иван глядел на отца и сам скорбно, потерянно. Вдруг Василий Никифоров понял, что и сын боится, боится, может, еще больше его самого этой давящей многолетней угрозы.

— Не осуждаешь?

— Нет, отец. Головы спасем. Да землю... Ничего уже не спасти боле!

Не таким был Иван Пенков шесть лет назад, когда еще живы были Дмитрий Борецкий с Селезневым! Отец с сыном обнялись крепко, и поехал воевода новгородский на позор, на поругание, на суд в Москву — вольный боярин вольного города, никому не кланявшегося с самых первых, изначальных времен.

Захария не ошибался. Не из-за четырех гагинских обжей земли звали его в Москву! И когда показались в серебряных от инея перелесках и путанице дорог сбегающие с мягких склонов деревни, что густели с каждой верстой, вытягиваясь рядами изб вдоль зимника, прерываясь все реже, они начинали превращаться в улицы, и вдали, над лесом, уже забрезжил белокаменный Детинец Московский, Кремль по-ихнему (язык сломаешь! У псковичей Кром, дак как-то и выговорить легше! Овин любил все круглое, крепкое, чтобы и дорого, да просто,— и в словах тоже). Он плотнее запахнулся в бобровую шубу (шуба седых бобров — поищи такую на Москвы!), пошевелил ногами в медвежьей полости — затекли от долгого пути — и невесело усмехнулся:

— Плетутьце тамо! На суд... Нужны... Я нужен!

И оттого, что нужен именно он, стало не то что веселее (поди, знай, чего потребуют), а крепче как-то.

Пока устраивались на монастырском подворьи, размещали припас, возы, коней, слуг — Овин приехал с небольшим обозом, меньше хоть зависеть от московлян,— пили и ели с пути, подъехал московский пристав. Захария был зван к великому князю назавтра, о-полден. Долго не держат, тоже то ли к хорошу, то ли к худу!

Выстояв и высидев положенное,— на Москве в иных делах не торопились,— Овин говорил с боярами Челядней и Китаем.

— Будет ли он, Захарья Григорьев, бить челом в службу великому государю Московскому?

Овин ожидал этого вопроса, думал о нем всю дорогу. Бить челом государю — значило нарушить все новгородские законы и устои, отречься от своих... И надо было отрекаться!

Он прямо заявил, что почитает честью великой служить верой и правдой государю Московскому, но не мыслит только, как доложить о том Совету господ и Господину Новгороду?

После этого он опять ждал и наконец был допущен пред очи

Ивана Третьего. Иван милостиво поздоровался с ним, показав, что помнит прием, устроенный ему Захарией.

— А что касаемо опаса твоего,— изрек Иван,— то мыслим попросить владыку Феофила, богомольца нашего, и прочих, дабы отчина наша, Новый Город, прислала послов к нам, господину своему, яко к государю, и служила бы нам честно и грозно, яко же и подобает служити государю своему!

Захария не сразу понял, чего хочет Иван. А тот, пристально глядя в глаза боярину, добавил:

— И мыслим мы, что ты, Захарий, возможешь нашу волю Господину Новгороду передать и предстательствовать о том пред отчиною нашей!

Когда он сообразил, что Иван хочет распоряжаться в Новгороде, как на Москве, и от него требует заявить об этом Совету господ и всему Новому Городу, Захару стало жарко под шубой. Так просто — всех под топор! А как же вече? А как же степенной посадник, и его долой? А Совет господ?! У боярина голова пошла кругом. Заслониться — кем? чем?! Спасительная мысль пришла в голову: меня ведь одного не послушают! Василий Никифоров, он тоже зван! И за тем же делом! Им заслониться! И владыка, пущай он решит, сам передаст Совету... Но отвечать надо было немедленно, и надо было отвечать самому, не спихивая на Совет. Он отнюдь не хотел угодить туда же, куда угодил Онаньин со своими ответами, что мне-де не наказывали, да со мной не посылывали... Накажут!

Надо было соглашаться на все. И Овин склонил толстую шею. В конце концов он хоть тут, а первый! Ежели что — ему зачтут эту первую его службу Московскому государю.

Василий Никифоров приехал на другой день. Его заставили подождать подольше. Захария пока выяснял у московских дьяков свои судебные дела, давал, закусив губу, направо и налево и только покряхтывал, видя, как опустошается кошель с серебром.

Но вот и Василий Никифоров в свой черед стал перед Иваном и тоже бил челом в службу государю. Иван Третий милостиво объявил, что наместникам княжьим о службе его и Овиновой Совету вятших мужей новгородских, посадникам тысяцким и вечу пока долагать не велено. Что же касаемо государства, то тут Василий набрался духу и объявил, что сам он верой и правдой готов служить государю, а о том, что решит Господин Новгород, ему без Совета господ и приговора веча обещать не можно, хоть он и готов передать...

Иван долго пронзительно глядел в глаза Никифорову.

— С благословлением владыки, я готов...— прошептал боярин.

Пенкова увели и вызвали погодя на говорку к думным боя-

рам государевым. Тут ему прямо сказали, чтобы молчал о тех речах, но подумал и пораскинул умом — стоит ли ему отрекаться от службы государевой?

Перетрусив, растерянный воевода наконец сдался и обещал сделать все возможное, чтобы Новгород послал к великому князю посольство о государстве — прошать Ивана Третьего быти государем в Новгороде, как и на Москве. Его уже не приводили к Ивану, наказав обсудить дело с Захарией Овином.

Возвращаясь верхами с последнего побыва в Кремле, куда их вызвали вместе, и глядя в затылок Никифорову, Овин твердо решил, при малейшей замятне, предать его в руки новгородцев и тем спасти свою голову. «Дурак! Упирался еще! А я все делай один? За всех! Я сделаю! А ты, голуба, ответишь!» — он заранее обрекал топору поникшую голову неревского боярина. Да владыка пущай подумает! На Совет господ, конечно, не стоило полагаться, а уж на вече и тем более.

В Новгороде Захария первым делом наведался к Феофилату Захарьину. Неважно, что тот не на степени. Он сейчас, после смерти Груза, первый у пруссов, а от Прусской улицы много зависит!

Но Феофилат не был на Москве, его не прижимали, от него пока ничего не требовали, да и вообще рисковать ему хотелось еще менее, чем Захарии. Он сделал свой любимый извилистый жест рукой, посетовал:

— Ошибся ты маленько! Надоть было так! И не отказывать и не обещать очень-то!

— Сам побывай! Надоть! Кому говоришь! — взорвался Овин.

— Не гневай, Григорьич,— возразил Феофилат, улыбаясь и поглаживая жидкое, расползшееся брюхо.— Прикинь-ко, кому я скажу? Ну, степенному.

— Кирилла Голый...

— Да, то-то вот! Кирилла Голый ничего не может, пото и выбрали, сам знашь! И етого тоже не сможет. Лука? Тимофей Остафьич? Самсонов? Да ни в жисть! Суди сам, Захар Григорьич! Ну, мы с тобой решим, а неревляна? Короб с Казимером? Яков осторожен, ему пожить охота еще! Савелкову и намекнуть опасно. Селезневы, Михайловы, Тучин, Окинф Толстой? А коли до Марфы дойдет?! Ну, славляне еще... Да и то! Своеземцев, Глухов не примут, и спрашивать неча. За своих-то ответишь? Ну, Кузьма твой, а Яков Федоров? И то скажу: Совет уговорим, Феофила — ну, тот сам готов! А вече? А житьи? Им чего? Им на «низ» ездить — разорительце! Съедят нас оне и костей не оставят! С архиепископом решить надоть... Через него. Да коли посылать о государстве, тайно чтоб! И я тебе тут не

помощник. Слепитце — хорошо, нет — отвечивай сам уж! Пустька Московский князь великий, коли так умен, сам и уговаривает мужиков!

— Мы с тобой, как злодеи, отай! — сдался Овин, вытирая платком вспотевшую шею («Вот увяз!»).

— Злодеи не злодеи, а без ума дело не делают! Иван-ить на земли заритце, тут прогадать — и нам с тобою дорого станет! Теперь пошлешь кого? Ежели отай? Дьяка вечевого нать, это беспременно, чтобы законная власть, от веча чтоб!

— Вечевой-то дьяк, Захар, у меня в горсти, поедет! — сказал Овин.

— Еще кого ни-то нать из управы! Подвойского хоть, Онфимова или Назара!

— Без Совета? — переспросил Захарий, совсем растерявший свою спесь.

— Без Совета,— спокойно подтвердил Феофилат.— Сам-то поезди по людям! С Яковом Коробом надоть сговорить. Меня никому не поминай только! Перед самим Спасом отрекусь!

От Никифорова помочи не было ни на грош. Как воротился в Новгород, так и сидел у себя, словно уже помирать собрался. Захарий напрасно объезжал бояр: кто отнекивался, кто спирал на вече. После бесполезного разговора с Яковом Овин выругался про себя. Все ведь, и Короб, и Казимер, и Самсонов, и этот Филат скупой, Порочка,— он с удовольствием произнес обидное прозвище,— все ведь великому князю кланялись и на верность грамоту подписывали! А поди собери их нынче! Решать должен архиепископ, зачем выбирали?

К владыке Захария с Пенковым отправились вдвоем. Овин вытащил-таки воеводу из дому. Им пришлось дожидаться. Захария ворчал. Феофил, которого он привычно помнил робковатым и недалеким, нынче стал уж очень величаться. Слуги ходили на цыпочках. «Владыка занят, владыка просит обождать!» В заискивающих тихих голосах было почтение неложное. Подивился Захария. Знал, что Феофил укрепляет архиепископию, поставил часозвон во Пскове, в Снетогорском монастыре, прикупает земли, въедается в дела двинские, но чтобы так обломать своих софьян,— об Ионе и не вспомнят небось! — это Овину было внове. То-то Марфа теперича не заглядывает сюда, заказали путь! «Ай да Феофил! Ай да ризничий! Поди, и в московских делах не заробеет!» — подумал он с надеждой

Но Феофил — это был уже не тот, преданный Москве душой и телом правитель, как когда-то. Хозяйственный и настырный глава Софийского дома был достаточно охлажден в своей любви к Ивану Третьему кровопусканием, устроенным владычной казне последним приездом великого князя. Разговоры о землях, которые якобы собирается отбирать князь Иван, доходили и до него.

Слишком ретиво помогать великому князю Московскому в этих условиях Феофилу отнюдь не хотелось. Он сухо принял великих бояр — как-никак косвенных виновников притязаний Московского государя на владычные доходы! Строгий, почти величественный в ореоле страха и подобострастия, которыми окружил себя за протекшие годы. Неприязненно выслушал Овина с Никифоровым и отмолвил им, что без Совета господ, духовной властью мирского дела такого значения он решить не может.

Теперь о требовании Ивана Третьего признать его государем знали уже несколько человек господ бояр и даже владыка, но все молчали, и ни один из них не хотел брать на себя порушить вековой порядок вольного города. За этими, уже сломленными, но хитрыми, себе на уме, людьми стояла традиция, что была сильнее их самих, коснуться которой они не могли, и одна мысль о возможности такого святотатства внушала им ужас. Даже архиепископ отступал перед древними законами республики.

Овин с горем вспомнил Пимена — тот бы все смог, ежели захотел! А этот — не человек, а трава. Как ни верти, посылать посольство Ивану Третьему приходилось отай, что и советовал с самого начала Феофилат Захарьин. И все сошлось на том, кого послать с вечевым дьяком Захаром? Онфимов казался подозрителен — еще предаст! Овин, мысленно перекрестясь, обратился к Назарию. Все сошлось на нем.

Человек, если он не вознесен родом, знатностью, властью, духовным саном в ряды тех, от кого зависит решать судьбы народные,— как капля воды в окияне. На нем не остановит взгляда строгий летописец, для коего он незаметен в толпе, хотя чело его и отмечено огненною красою. У него могут быть мысли, несхожие с мыслями большинства, и даже целый мир в голове, у него свои понятия о человечестве и задачах власти в стране, но сделать он не может ничего. Ветер гонит волны, разбивая о берег, и отдельные капли, неразличимые в толще воды, умирая, пятнают влажною кровью древние камни, не в силах задержаться, ни сойти с пути, ни даже свернуть немного в сторону, и тем хоть на миг продлить свое безличное, незаметное существование.

Назар был далеко не простым горожанином. Житий, он имел землю, и не так уж мало, до тридцати обеж, не меньше, чем московские служилые дворяне. Он даже сватался к дочери великого славенского боярина (все было так, как рассказал Богдан Есипов), а получив отказ, затаил злобу на соперника, Василия Максимова, ладившего отдать невесту Назария, в конце концов ушедшую в монастырь, за своего сына. И все же Назар был каплей. Он, хоть и являлся подвойским, не знал всех извивов и хитрых ходов новгородской боярской политики,

не знал, чего на деле хотят Овин, Феофилат, Короб, Казимер, Борецкая, не знал даже, что многие из них знают уже то, что под великою клятвою поведал ему Захария Григорьевич Овин, знают и отреклись, свалив на него, Назария, исполнение наказа государева, не понимал, что он — искупительная жертва, приносимая великими боярами в сложной многолетней борьбе с великим князем Иваном за земли и власть в Новгороде. Его ослепила собственная мечта, возможность встречи и разговора с тем, выше кого, кроме бога, не было на Руси, ослепила возможность деяния.

Как и многие, Назарий не умел поставить себя на место властителя, выслушивающего десятки мнений и замыслов, а дай волю — принужденного выслушивать тысячи мнений, тратя на то все свои дни и ночи, властителя, для коего встреча с каким-то Назарием ровно ничего не значила, меж тем как для Назария в этой предполагаемой встрече заключилась и выразилась разом вся его жизнь, как в капле, изъятой из окияна и повисшей над бездною, отражается на миг и солнце, и звезды, и окрестные дали — весь божий мир, как будто бы заключенный внутри нее.

Он, Назарий, мог, и только сейчас, только согласясь на это посольство, сказать Ивану Третьему свою мечту, свою тоску и великую мысль о единстве всего языка русского, с единою главою и властью, подчиненного единым, равным для всех и справедливым законам. И тогда пусть о нем не узнает никто! Пусть даже его проклянет весь Новгород! Зато тогда, быть может, повернется судьба земли русской, и людей судить будут за заслуги перед землею и языком своим по тому единому, что сделал каждый для народа, страны, государства Русского?!

Многажды высказываясь о своих взглядах перед горожанами и на беседах у Дениса, Назар чувствовал, что здесь его никто не поймет, а и поймет — как понял его Тучин,— тотчас выставит возражение, неопровержимое с точки зрения своих, новгородских интересов. Но ежели его поймет тот, в чьих руках воля и судьба страны, Иван Третий Васильевич, поймет и поверит ему и станет руководствоваться этой единою мыслию в делах государства русского — что тогда новгородские вольности, которыми играет Василий Максимов и подобные ему, перед сим ослепительным видением!

И Назарий взял на себя крест и вышел на подвиг. Так думал он сам, покидая Новгород, отчину, давшую ему так много и не давшую еще больше, не давшую досыти главного — совершать деяния его жадной душе и смелому уму, искушенному в науках и книжной мудрости, а такожде знании языков иноземных, повидавшему земли заморские и лишь в одном неискушенному — в понимании тайных замыслов и склада душевного сильных мира сего.

Он слегка презирал вечевого дьяка Захара, с которым они отправились вместе,— скучного человека, сломленного всем нестроением последних лет, постоянной грызней с городищанами, всевластием наместника, который хотел лишь одного: порядка и любого единовластия, при коем он, Захар, мог бы существовать дальше. Вечевой дьяк Захарий не заглядывал вперед и не пытался судить сильных мира. А поскольку все его взгляды были образованы согласно ступеням знатности и богатства, то и авторитет Захарии Григорьевича Овина, совпавший с авторитетом и устремлениями великого князя, был для него достаточной причиной, чтобы исполнить сказанное, не очень задумываясь, худо это или хорошо.

Так отправилось в Москву это посольство, явившееся тем толчком, от коего уже готовая скатиться вольность новгородская должна была пасть в руки московского самодержца Ивана Васильевича Третьего. Посольство ни от кого, долженствующее быть посольством от самого большого и самого богатого русского города, города, современного золотому Киеву, старейшего Москвы, Владимира и почти всех прочих городов растущего Московского государства.

Послы прибыли в Москву в марте, в самом начале весны, когда под солнцем начинали раскисать и проваливаться снежные дороги, но ночью еще подмораживало, и с утра кони весело бежали по твердому подстылому насту. Перед самым городом Назария охватил страх: сумеет ли он добиться разговора с глазу на глаз с великим князем?

Москва была почти вся деревянная, и терема проще и приземистей новгородских. Грязь и вода стояли озерами на скрещениях улиц, которые тут не очень-то чистили, а то и совсем не чистили, не то что в Новгороде. Видимо, и мостовых, подобных новгородским, почти не знала Москва. Назарий невольно сравнивал столицу Ивана Третьего, в которую приехал впервые, с Новгородом, Псковом и виденными им немецкими городами. Москва перед ними всеми выглядела большою деревней.

Крепостные башни Кремля огибали холм, густо застроенный, в середине которого вздымалась почти готовая громада Успенского собора. И то, что приглашен мастер из Италии, казалось радостной приметой Назарию: Иван должен понять мысль, созвучную учениям далеких фряжских философов.

Послов остановили в посольском доме в самом Кремле. Иван явно хотел придать посольству Захара с Назарием то значение и вес, коего оно отнюдь не имело. Послов посетили думные бояра великого князя, им был устроен полный посольский прием, как и послам держав нарочитых. Перед самим Иваном Третьим, в большой палате в терему великокняжеском, в присутствии бояр, окольничьих, детей боярских и дьяков госуда-

рева двора должны были произнести они уставные слова: «...бьем челом господину и государю нашему», слова, отдающие Великий Новгород в руку Московского князя.

Иван Третий неподвижно сидел на престоле, выпрямившись и вперив в послов свой огненный, пронзающий взор.

— Наконец-то!

Боярин, стоявший справа от престола, важно ответствовал дьяку Захарии:

— Великий кзязь и государь Московский сам пошлет послов отчине своей государевой Великому Новгороду, указать, как ему, государю, служить, и как перед ним отвечивать, и как государевы суд и волю править надлежит.

Неужели все?! Назарий выступил вперед и звенящим голосом принес государю Московскому просьбу принять его опричь посольства и выслушать.

Иван с удивлением глядел на дерзкого новгородца, не наученного, как и все они, знать свое место. Таковое обращение не через бояр, а прямо к государю на торжественном приеме было дерзостью неслыханной. Впрочем... Он едва заметно кивнул, и прежний боярин ответил от имени государя, что Назария примет дьяк Степан Брадатый, и о том, что государю узнать надлежит, выслушает и государю великому доложит. Послам же пребыть в посольском дому, ожидаючи повеления государева.

Прием окончился. Началось томительное ожидание, московская долгая проволочка, захлестнувшая Назария. На вопрос, когда его примет Брадатый, было отвечено ни да ни нет и вновь велено ждать. Назарий выходил рассматривать Кремль, подолгу взирал на хитрые подъемные ворота и скорую работу фряжского мастера Аристотеля, бродил по торгу и томился неведеньем.

Степан Брадатый принял Назария лишь через полторы недели. Готовилось посольство в Новгород, было не до него, да и место указать надобно было. И вот, наконец, Назар предстал перед всесильным государевым дьяком, зловещая слава которого как убийцы Дмитрия Шемяки хорошо была известна в Новгороде. Брадатого он увидал впервые и приглядывался к нему с невольным недоверием всякого новгородца.

Волосы отливают серебром, будто паутиной покрыты сединою, платье темного дорогого сукна, все чисто, приглаженные волосы на взлысой голове, приглажены усы и борода, глаза остро просверкивают, когда поднимает брови, все время сдерживает себя. Куда как основателен. Муж благ! Курочку с ядом Дмитрию Юрьевичу подложил. Не сам, через боярина Дмитриева, через повара... Курочку с ядом! Еще, поди, от писания слово прибавил, что-нибудь: «Господь наказует...» Сколько? Более двадцати лет прошло, не помнит сам, поди! А повар тот в схиму

постригся и то места себе найти не мог, так и скитался из пустыни в пустынь... Назарий поймал острый, настороженный взгляд Брадатого: «Ой, помнит! Верно, сам себе пределы поставил, думать до сих пор и не далее». Назарий поставил себя на место Брадатого и ощутил невольный озноб.

Брадатый с важностью, единым наклонением головы, дал понять, что слушает.

Подвойский, волнуясь, изложил свои мысли о единстве Руси.

— Государю Московскому,— возразил Брадатый,— и так единая и нераздельная власть, яко государю всея Руси, вручена от бога в его вотчинах.

— Но Смоленск, Киев, Волынь — весь язык русский, что под Литвою и уграми ныне?

— Этого я не знаю,— устранился Брадатый.— Доложу, но восхощет ли говорить с тобою, как и когда примет, и примет ли — решит сам государь.

Приходилось ждать. Возвращаться в Новгород сейчас они все равно не могли. Назарий начал ощущать, что история вновь идет без его участия и наставлений, по своему неведомому пути.

Послы великого князя прибыли в Новгород в мае. Весть о новгородском посольстве, провозгласившем Ивана Третьего государем Новгороду, изложенная на Совете господ, для большинства явилась неожиданностью и возмутила многих. Волнение началось и в городе. Собиралось вече. Как и предвидел Феофилат и подозревал Овин, массу житьих устрашило и возмутило предложение отдаться Москве, тем паче что посольство было отправлено в Москву без их ведома и согласия. Ефим Ревшин и Окинф Толстой с Романом подняли житьих Неревского конца. Вновь ожил терем Борецкой. Откуда-то просочилась весть, что король Казимир по-прежнему предлагает защиту Новгороду. Житьи всех пяти концов пересылались между собою, накануне вечевого собрания сговариваясь противустать воле Москвы.

Но и это была лишь рябь, лишь гребешки на поверхности, и, возможно, возмущение житьих прошло бы, не вылившись ни во что серьезное, когда вдруг поднялось то, чего никто не ожидал, ибо забылась за столетие народная гроза вечевая, лишь слабыми отблесками вскипавшая полвека назад и совсем было утихшая в последние годы.

Веками складывавшийся вечевой строй новгородский заключался не в том, что от разу к разу собирался на площади у Никольского собора народ и утверждал важнейшие государственные решения, уже подготовленные и написанные на харатьях госпо-

дами большого Совета. Кабы только так осуществлялась народная власть, давно бы ее уничтожили, не князья, так сами бояра новгородские.

Но вечевой строй пронизывал сверху донизу всю организацию городской жизни. Торговля и ремесло, суд и школа, дела церковные и мирские — все было связано с вечевыми порядками и все подчинялось им. Да, хоть и позабрали себе бояра власть и земли, хоть и росли налоги, беднели граждане, и все туже затягивалась та петля, все реже вече городское вступалось за горожан, но лишиться этого права, потерять само вечевое устройство свое, черный народ Великого Новгорода еще и помыслить не мог. И океан всколыхнулся.

На улицах стояли кучки мужиков-ремесленников, угрюмо обсуждавших нежданно свалившуюся беду.

— У меня товар в братчинной складке, ето как — лишитьце придет? Самому торг вести — не замочь, а иваньским толстосумам кланятьце — вконечь разорят!

— Товар-то что, с товаром погоди...

— А и неча годить! Прав Ероха! Пока вечевые порядки стоят, да кончански, да уличански купчи с общинным товаром по Студеному морю ходят, пото и живы! Ты с пудом каким воска аль бо с десятком ножей куды сунесси? Только в уличанское братство свое! Тамо сдал, пай дали, будь в спокое! Уж выборны свои, выверят и сохранят! Опеть: малых письму да чтению обучают задаром, на вечные деньги, ето тебе ничто? А у меня семеро! Прикрыли вече, куды я с ними? Неучены дак!

— Смердов от города отобьют, как во Пскове князь Ярослав деял! Улицы мостить, стены чинить, иное что — сами не заможем!

— А земля кончанская, общинная? Без веча ее и задаром бояра заберут! Уж и коровенку не выгнать станет, совсем зубы на полицу клади!

— Мне, коли кончански покосы отберут, пропасти совсем. Сенов не будет своих, у боярина-то хрен купишь, а я-ить извозом живу!

— Мы нонеча, в нашем братстви, кожевенном, весь товар купцам через уличанский совет продавать постановили. Дак и легше стало! Поодинке-то загрызут!

— Московской князь наводку запретил, бояр окоротил, думали — черным людям легче станет, а он теперича вота что творит!

— Ни тебе братчин, ни тебе чего...

— Не горюй, Фома, пиво пить и опосле заможем, было бы на что, а вот такое скажи: погорела улица, кто, кроме веча, поможет? Не ровен час, умри, родных коли нет, сирот кто поддержит? Уличанский совет и на обзаведение даст мастеру, коли

начинашь дело! Ватаги там, дружины ли мастеров соберутце в отъезд — опеть через братство свое, по вечевым обычаям. Тут тебе и суд, и власть, и защита! Вечем и старшого выберут, вечем и снимут, коли не по люби придет!

— Попов на вече ставим, чего больше!

— Да, удружили нам господа посадники!

Прохожих и проезжих бояр еще не задевали, но сторонились и окидывали недобрым оком.

Совет господ при архиепископе для ответа московским послам должен был собраться в субботу, а в четверг, за день до Совета, уже ударили в било в Гончарском конце.

Иван, зять Конона, ничего не знал еще, идучи из загородья, но едва миновал ворота и Лукину улицу, понял, что не пройти. Валом валили встречу мужики. Кто-то бросился к нему из толпы — оказалось, Потанька, скоморох.

— Иванко! — радостно воскликнул тот, хватая Ивана за плечи.— Я тебя издаля узнал! — Вдруг стиснул в объятиях: — Живой, черт, бродишь! Слыхал, что дом продал? Где нонь? Куда пошел-то? А, бросай все! Не до того! Что деитце не знашь?! Бояра москвичам решили поддатьце. Собираем наших, вали со мной!

Обнявшись и потискивая Ивана за плечи, Потанька волок его за толпой, приговаривая:

— Эх! Почто не ушел тогда! Продали-ить нас! Ну, сквитаимсе теперича, сколь веревочку не вить, а кончику быть! Кривого знашь? Кожемяку, седельника? Ну! Староста седельников теперь! Неистовый мужик! С твоего окрестило — глаз на Шелони выбило ему!

Мужики толпились в притворе и на паперти, запрудили весь церковный двор. Кто-то все еще бил в било. Высоким голосом с паперти выкрикнули. Мужики притиснулись. Тише! Настала тишина. Четче раздавались слова одного из старост с церковного крыльца.

— ...На государство прошать князя Ивана! Захар ездил, дьяк вечевой, и Назар, подвойский. Баяли, от веча их посылали!

— Кто посылал?

— Веча не было!

Разом взорвалась толпа. Выскочил Кривой.

— За нашими спинами решают, не дадим! Мужики! Платили досыти и так! Головы клали! За кровь нашу! — он потряс кулаком, свирепо вращался единственный, широко разверстый глаз, дергалось лицо.

— В Детинец!

Толпа повалила к Детинцу, сливаясь с новыми толпами из соседних улиц. Шли густо, плечо в плечо, многие обнявшись, как Потанька с Иваном, кто-то уже вздымал острие рогатины.

То же творилось по всему городу. Часто стал бить колокол. Самозванные веча объявлялись во всех концах. Хмуро стояли, опустив тяжелые руки, поденщики, возчики, строгали, опонники, шерстобиты, матерые мужики-мастера и безбородые парни-подмастерья. Житьи тоже мешались в общей куче. Толпа уравнивала. Измазанный кожевник, пихнув житьего, примолвил:

— Гляди, не помять бы портов тебе тута!

Тот сердито оглянулся на кожевника:

— Себя не помни! Не до платья, коль головы кладем! — и решительно полез вперед, обдирая дорогой зипун.

На Чудинцевой черный народ ворвался во двор к Самсоновым. Александр, распояской, окруженный мужиками, кричал:

— Не ведаю! Не посылывали! — рванув рубаху, поднял серебряный крест: — Братия! Вам крест целую! Не знал и не ведал!

Его бросили, устремившись в другие боярские терема. Новая толпа ломилась в ворота к Феофилату.

В Неревском конце собрались сразу три веча: у Козьмы и Дамиана, у Николы и у Петра и Павла в Кожевниках. Кузнецы вломились в дом к Коробу. Яков с крыльца клялся, что и он ничего не знал. Неревских собирал Аврам Ладожанин, староста братства оружейников. Было тихо, когда он, высокий, суровый, говорил с помоста о праве народном. Только глухой топот шагов не смолкал, подходили все новые и новые.

Борецкая, одна из всех великих бояр, сама пошла на мужицкое вече. Несколько слуг, прихваченных Марфой с собой, прокладывали дорогу боярыне. На нее оглядывались недоуменно. Кто и узнавал, охал — Марфа Исаковна! Сама!

— Пропустите! — говорила Марфа негромко, но твердо, пробираясь к помосту.

Поднялась, стала, оглядев хмурые злые лица мужиков-мастеров: бронников, копейщиков, щитников, ножевников, секирников. Ей любо было видеть силу новгородскую. Еще не зная, что скажет, чуя лишь, что, что бы ни сказала — скажется, Борецкая начала говорить. Пригодились и речи Василья Степаныча, и летописи, читанные долгими вечерами. Говорила не просто о древней славе Новгорода, о величии, гордости и святынях — говорила о праве народа, их праве, сказанном в преданиях летописных. О щитниках, смещавших архиепископов, о серебряниках, руководивших ратями, о всех ремесленниках, отличившихся в древних боях за Новгород. И называла годы, когда что было, где записано о том. Как-то поняла, почуяла, что этого им не хватало сейчас — уверенности, от веков идущей, в праве своем. И где-то враз пропало отчужденье, придвинулись мужицкие лица, закричал в толпе кто-то злой, всколыхнулись обиды.

— Кровью плачено!

— И моей кровью!

На весы сегодняшнего дня бросила жизни сыновей, Дмитрия с Федором. И уже было все свое, обчее, и ругань, и сжатые кулаки, и обвинения, но не молчанье, не чужие сторонние взгляды. Уже смело говорили ей в очи, и отвечала, себя не щадя.

— А король Казимир?!

Борецкая поведала, чего многие из них и не слышали, каков был ряд с королем, и о православном князе-наместнике, и о запрете строить латынские ропаты, и о бегстве шелонском сказала, не пожалев ни их, ни бояр.

— А, вас разберешь! Кумитесь друг с другом!

— Тебе бы ране нать с нами говорить, Марфа!

— Ты с нами водись, а не с Захарием, не с Филатом твоим!

— Мне Захария враг!

— Знаем! А чуть что — вместях!

— Меня, как и вас, в господский совет не зовут!

Не льстила, не роняла себя, не клялась в верности — верили.

Потом различила в толпе глаза Окинфа Толстого. Подошел, как кончилось:

— А я с молодцами кинулся, думал, съедят тебя, зол народ, ан слушают!

— Новгород, Окинф, Борецкую не съест! — ответила она вдруг прежним, переливчатым голосом.

В эти дни Борецкую и стали за глаза называть Марфой-посадницей.

В пятницу уже с утра грозно гудел весь город. Черные люди начали организовываться. Вместо стихийных вчерашних сходок появились отряды горожан. С быстротою, свидетельствующей о вековых навыках, собирались выборные, создавался Совет, опрашивались уличане, и уже сторожа, наряженная от ремесленных братств, занимала ворота, уже гонцы поскакали в Русу и в прочие пригороды подымать и там черных людей. И когда в субботу члены государственного Совета господ, один по одному, стали собираться в палаты архиепископа, Детинец уже был занят отрядами горожан. Перед часозвонной башней, у входа в Грановитую палату и на дворе, оттеснив владычную сторожу, стояли ремесленники, многие с оружием, стояли ровными рядами, без шума и толкотни, старшие обходили строй, соблюдая порядок, и это было страшнее, чем бунтующее море народное, что прихлынет и тут же отхлынет или враз повернет на другое. Строго ждали, без слова давали дорогу. Недвижно горели лезвия рогатин и острия копий над головами дружин. Это был Новгород прежний, грозный, позабытый было господами боярами,

позабытый, да чуть ли и вовсе не похороненный под шумок кончанской грызни.

Когда все господа посадники и тысяцкие уже были на местах, в Грановитую палату зашли трое старост во главе с Аврамом Ладожанином, сурово поклонились и молвили только одно, что город ждет ответа, после чего тотчас покинули палату.

Совет господ единогласно отрекся от челобитья о государстве, клятвенно заявив московским боярам, что никто знать не знал про поездку новгородских выборных. Получалось, что дьяк Захар и Назарий самовольно поехали на Москву. Такого, конечно, быть не могло, и это тоже все понимали. Ночью город не спал. Наутро объявлено было городское вече на Ярославовом дворе, на которое велено было собраться всем выборным от черных людей, от концов, улиц и братств ремесленных. К ответу призвали Овиновых и Василья Никифорова, воеводу, ездивших на суд в Москву.

Толпа заполонила торг и прилегавшие улицы. Московские посланцы, пробираясь верхами через толпу к вечевой избе, с тревогою видели у многих за кушаками сзади заткнутые топоры. Федор Давыдович, хоть и не был робок, подзадумался: выберется ли живым из Новгорода?

С вечевой ступени послы говорили то же, что и в Совете господ, передавая, как было велено, слова великого князя Новгороду. Им не дали кончить.

— Долой!

Ропот прокатывался волнами по площади.

— Кто посылывал?

— Василья Микифорова сюды!

— Захарию, Захарию!

Овин стал на ступенях, озирая море голов. Сейчас от его сметки зависит все — или жизнь, или смерть. (Кузьма — тот распластался в сенях вечевой избы по стене, скулил, не чая, как и выйти наружу).

— Народ! Мужи новогородские! — сказал Овин громко. Его слушали. («Теперь не теряться! — Он вспомнил понурый затылок Пенкова.— Поделом ему!»)

— Василий Никифоров, воевода наш, зачем ездил к великому князю на Москву?! Меня прошаете, я отвечу! На суд, по Олфера Гагина слову! А он почто? Кто послов волен посылывать, боярин али воевода городской?!

Захария угадал — и властный голос, и вопросительный тон подействовали. Он не утверждал, не предавал Пенкова, и не отпирался сам, как бы стал отпираться виноватый. И на поднявший гул голосов:

— А ты сам скажи!

— Василья! Василья к ответу!

Захария чуть отступил, давая место воеводе, и Василий Никифоров, бледный, вышел на вечевое крыльцо. Захар еще попятился, из-за спины Пенкова показывая на него руками.

— Василья, Василья! — ревела толпа.

— Тише!

Как-то враз наступило безмолвие. И в страшной тишине Овин произнес:

— Скажи, Никифорыч, богом святым правду: целовал ты крест в службу князю великому?

Соврать бы Василию, но он лишь оглянулся потерянно, страшное: «Знают!» мелькнуло в голове, спутав все мысли. Забыв спросить Овина о том же самом, он повернулся к толпе, и бледность и растерянность сказали всем все прежде, чем он раскрыл рот. Уже кричали Пенкову:

— Переветник! Был ты у великого князя, а целовал ему крест на нас!

Срывая голос, Василий пытался перекричать толпу, объясняя:

— Целовал я крест великому князю на том, что мне служить ему правдою... И добра! Добра мне хотети ему! А не на государя своего великий Новгород, ни на вас, на свою господу и братию... Братья!

Никифоров кричал, уже не в силах перекричать толпу. Голос его жалко сорвался, бессильный, и потонул в остервенелом реве.

— Шкуру спасал!

— Шухно!

— Падло!

— А мы?!

— Преже откупались серебром, теперя головами нашими!

— Полно баять, тащи его!

Струями пробиваясь сквозь толпу, лезли озверелые горожане, доставая из-за поясов топоры. Овин, расширенными глазами усмотрев ринувшихся мужиков, нырнул спиною в дверь вечевой избы, захлопнул ее за собою, схватил Кузьму, по-прежнему пластавшегося вдоль стенки, подтолкнул Василия, сына Кузьмы, и поволок обоих к заднему выходу.

— Не пробитьце! — безнадежно простонал Кузьма.

— Скорей на мост, в Софии переждем! — крикнул Захария.

Его узнавали, чьи-то руки цеплялись за ворот, за рукава опашня. Рыча, Овин отталкивал их, лез вперед, не оборачиваясь и не чая, что там, за спиной, где прорезался короткий, высокий визг, уже не человеческий предсмертный вопль Никифорова, тотчас перекрытый чавканьем ударов и слитным ревом площади.

Рысью все четверо — трое бояр и слуга пробежали по Великому мосту.

— Ну!..— утираясь, говорил Захария, когда уже взбирались на холм, к Детинцу.— Кажись, спасены!

Слугу он тотчас отослал домой:

— Лети, пробейся как ни то! Ивану скажи, пущай бежит без оглядки! Два бы дня переждать хотя, покуда утихнут!

Марфа в это время была в толпе, на площади. Ее затолкали совсем. Окинф с Романом и Иван Савелков старались как ни то оградить Борецкую.

— Убьют Василья! — крикнула Марфа, видя, что мужики кинулись к вечевой ступени. Она закрыла глаза на миг, когда Пенкова поволокли с крыльца, размахивая топорами.

— Что ж вы-то, господа мужики! Иван! Окинф! Кто-нибудь! Овин же всему причина! Скажите, уйдет опять!

Роман Толстой стал яростно пробиваться вперед, но его уже опередили. Неведомо кто, издали не разобрать было, поднявши топор, кричал с крыльца:

— Василья мы порешили, мужики! А кто первый поехал на суд московский, кого вечевой дьяк Захар завсегда слушает? Кто всему делу коновод?!

— Кто?

— Кто! Захарья Овин, вот кто! Он и Василья оговорил, чтобы самому отпереться! А они с Кузьмой и послов посылывали отай! Боле некому!

— Овин, Овина давай!

— Где он, веди сюда!

— Утек! Через Великий мост в Детинец кинулся! Не давай уйти! За ним! Бей набат!

Толпа повалила на Великий мост. Вверху, на вечевой звоннице, запрыгали люди, и стал раскачиваться тяжелый язык колокола. Вот раздался первый еще неторопливый удар, второй, третий. Колокол бил все чаще и чаще. Мотаясь под ним, четверо мужиков изо всех сил раскачивали-торопили кованое било.

Сейчас по зову всполошного колокола ринутся со всех сторон к Детинцу из всех пяти концов черные люди,— только бы Овин не успел уйти!

Слуги жались к тыну. Толпа неслась мимо, обтекая маленькую кучку бояр. Суровые глаза Марфы смотрели ей во след. Подъехавшему на коне дворскому она коротко приказала:

— Скачи на Досланю, Ивана Пенкова предупреди! Пущай в Хутынь скачут, тамо переждут! Скажи, отца убили ни за что, Захар оговорил.

Дворский поскакал за толпой.

«Вот оно! — думала Марфа,— народоправство новгородское!

Страшно оно. А праведно. По сердцу решают, не от ума, не с хитрости!»

Толпа на той стороне Волхова окружала Детинец.

С откоса, оглянувшись еще раз, Овин почуял, что дело неладно.

— Скорей!

Спорым шагом они прошли сквозь башню.

— Ворота затвори, дурень! — приказал Овин мордатому владычному охраннику. Стражник со скрипом начал запахивать тяжелые створы.

— На засов заложи! — прикрикнул Овин.

— Теперь к владыке!

Дело решали минуты. Трепещущему служке, а потом вышедшему к ним ключнику Феофила Овин, усмехнувшись, грубовато велел:

— Зови владыку! Пущай спасает нас, в Софию ли запрет, переждать нать! Чернь расшумелась!

За тяжелою дверью началась какая-то пря, и вдруг вырвался взвизгивающий голос Феофила:

— Я не посылывал! Меня самого убьют!

Гулкие удары послышались от речных ворот. Овин дернул дверь, она не поддалась. Потом открылась, ключник появился с несколькими холопами:

— Владыка Феофил принять не может! — заносчиво возгласил он. Спорить уже было некогда. «Бежать?» Овин прислушался.

— С Людина конца тоже окружают! — безнадежно подтвердил Василий Кузьмин.

Спасения не было. Овин остановился на крыльце, как затравленный матерый волк с седой щетиною на загривке, толстыми лапами и страшною ощеренной пастью, еще сильный, но уже обреченный на гибель.

Иван, как ни тянул Потанька, не был на вече. Не хотелось попусту толкаться в толпе. Давеча по домам ходили, всем было сказано: ждать колокола, коли что — бежать на подмогу. (Старосты черных людей опасались боярского заговора.) Анна молилась в душе, чтобы обошлось. Она было начала резать хлеб к обеду, когда послышался голос колокола.

— Не почасту бьют... У Спаса? — с надеждой в отревоженных глазах сказала Анна.

— Не, вечевик!

Оба прислушались. Иван, вскочивший уже, на напряженных ногах, ссутулясь, приложив ладонь к уху. Сомнений не было. Вдали тяжко и сильно бил вечевой колокол. Началось!

— Батюшки, Ванятка, Ванюша, поберегай себя! Осподи! — бестолково суетясь, приговаривала Анна, когда Иван, суя руки мимо рукавов, натягивал зипун, опоясывался, и охнула горестно, когда, умедлив на миг, нахмурясь, он вдруг снял со стены топор и глубоко заткнул топорищем за кушак.

— Но! — прикрикнул он на посеревшую Анну, принял шапку и, не оглядываясь, выбежал на проулок.

В домах хлопали двери, с треском отлетали калитки, скрипели створы ворот. Мужики, выскакивая из дворов, кто рысью, кто скорым шагом, заправляясь на ходу, устремлялись все в одну сторону. То тут, то там посверкивала бронь, стеклянно вспыхивало лезвие — многие шли с оружием. Толпа катилась со смутным гулом, еще не рать, но уже и не мирная, снующая туда и сюда, где и дети, и старики, и жонки,— толпа одних осурьезневших мужиков. На воздухе вечевой колокол раздавался громко и грозно, покрывая встревоженные голоса, чавканье и топот ног, и уже казалось непонятно, как можно было спутать с чем-то другим его зовущий, требовательный голос.

Не задерживаясь, миновали городские, настежь распахнутые ворота. Вокруг Детинца уже цепью стояли мужики с Загородья.

— Кого?

— Захарию Овина!

— Где?

— В Детинце! Окружай!

Передовые понеслись к Неревским воротам, но оттуда уже валила рать неревлян. От Прусской улицы тоже напирали. У ворот столпились кучею. Над головами поплыло бревно, второе. Сверху, с заборол, выглядывала владычная сторожа.

— Отворяй, мать твою так! — орали снизу.— Всех передушим, как кур!

Ворота со скрипом начали отпираться. Толпа мешала своим натиском вытянуть засовы. Наконец что-то кракнуло, рухнуло, кто-то, притиснутый, заорал благим матом, створы откатились, и с топотом вольница полилась внутрь. Чуть не в тот же миг отворились волховские ворота. Юрий Репехов сам оттащил засов. В лица, горячечные от возбуждения, бросил деловито:

— Во дворе владычном! — и откачнулся к каменной нише. Мимо, с ревом, понеслись вооруженные горожане.

Иван прорвался в Детинец, когда уже весь владычный двор был заполнен народом. Пробившись в круговерть храпящих, осатаневших мужиков, туда, где под стон голосов часто вздымалось железо и тупо чавкало и хрустело внизу, как рубят говядину, он увидел что-то красное под ногами, уже без образа и лица, изрубленное, в кусках и лохмотьях тканины, и туда, в это красное, бывшее совсем недавно великим боярином Захарием

Овином расхристанное мясо, с тем же воем, как и остальные, опустил двумя руками вздетый топор. Опустил, и тотчас, оглушенный, был отброшен взад. Чья-то размашистая секира на взъеме прошлась ему по виску, к счастью скользом, только оглушила да содрала кожу, а чьи-то руки, плечи, спины, жадно пробивавшиеся туда, где вершилось в останний раз древнее новгородское правосудие, живо отбросили его, оглушенного, посторонь, в толпу менее проворых или более робких мужиков.

Качаясь, он стоял, опоминаясь, не чуя мокреди на лице, сжимая рукоять кровавого топора, а на крыльце владычного дома уже вскипала под горловой рев толпы новая круговерть, волочили — раз только и махнулась рука над головами,— волочили и, верно, на крыльце еще, ногами забили в смерть, пред тем как бросить вниз, под топоры, брата Захарии, Кузьму Григорьева. Василья, сына Кузьмы, долго топтали ногами, ярость утихала, его бросили без памяти, но живого.

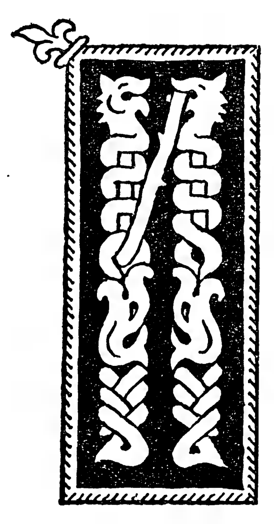
Домой Иван брел, ничего не видя, сжимая топорище одеревеневшей рукой. Анна стояла у калитки. Молча завела в дом, спросила:

— Ты Захарью убил?

— Не, топор омочил только...— отозвался Иван и тупо опустился на лавку. Анна, задрожав, взяла топор и понесла к лохани мыть. Подержала, плеснула водой.

— И поделом ему! — сказала она и вдруг, склонясь над топором, заплакала.— Что будет-то, будет-то, осподи! Война ить новая!

— Война,— тупо повторил Иван.



ГЛАВА 28

Иван Третий узнал о расправе с Никифоровым и Овинами от скорого гонца, посланного Федором Давыдовичем, а затем от самих воротившихся послов. Послы рассказали подробности — как после убийства Захарии и Кузьмы Григорьевичей были захвачены и приведены на вече Феофилат Захарьин и Лука Федоров, два старейших прусских посадника, и как их тоже сперва хотели убить, разграбили дворы, на Феофилате порвали платье, заперли, и уж потом, когда немного улеглись страсти, и то после долгих клятв захваченных, помиловали, но, приведя на вече, взяли крестное целование служить Новгороду без обмана. Послы рассказывали также, что все бояре напуганы расправами, в городе верховодят житьи и черный народ, что плотницкий староста уличанский, Григорий Арзубьев, сын казненного Киприяна, вновь перекинулся на сторону Марфы Борецкой и ее сотоварищей, что новгородцы опять хотят за короля, противники великого князя в Неревском конце подняли голову, а славенские посадники выжидают, что архиепископ Феофил в страхе и, словом, что без вмешательства самого великого князя Ивана с войсками привести Новгород к покорности нельзя. Сами новгородцы передавали через послов, что они желают быть по-прежнему в воле господина своего великого князя Московского, как по Коростынским грамотам было уряжено, но государем звать его не хотят, а послов тех новгородских к нему не посылывали и, яко изменников поймав, будут казнить казнию и ему, государю Московскому, предлагают казнить их, как он, государь, восхощет. Словом, забрать Новгород миром не удалось.

В июне Иван совещался с митрополитом Геронтием и воеводами Холмским, Оболенским-Стригою и Федором Давыдовичем. Поход летом, как в прошлую войну, уже не мог состояться, опоздали со сборами, а осенью войска рисковали застрять в грязи, да и отрывать мужиков от осенней страды никому не хотелось.

И на Совете решено было начать поход в октябре, сразу как отойдут полевые работы и станет подмораживать.

Иван побывал у матери и тоже беседовал о новгородских делах. Мария осведомилась о Марфе Борецкой, к которой она, никогда ее не видав, чувствовала род ревности, а порою даже какого-то смутного влечения. Софья, новая греческая супруга венценосного сына, была чужая, они так с нею и не сошлись. Далекая Марфа Борецкая напоминала о прежней поре, о прежнем Иване, более простом и сердечном. Когда все уже было кончено и Новгород пал, а Борецкую увозили в монастырь, мать великого князя тоже приняла схиму и в черничестве своем из Марии сделалась Марфой. По странному совпадению, Мария постриглась в тот же день, когда была захвачена у себя на дворе Марфа Борецкая.

Иван Третий еще тщательнее, чем перед первым походом, собирал грамоты и выписки из летописцев, ворошил двинские дела. Надо было обосновать, ни много ни мало, права великих князей московских на всю Новгородскую волость. Он вновь усадил за работу Степана Брадатого, просил о том же митрополита Геронтия, дабы покрепил духовною властью великокняжеские притязания. Дело шло о прекращении новгородского самоуправления градского, о том, чтобы отобрать права, утвержденные Ярославом Мудрым и другими великими князьями, права, идущие еще со времен самого Рюрика и даже, как утверждали новгородцы, от более древних времен легендарного старейшины Гостомысла.

В эти дни Иван вспомнил о Назарии. Доводы Степана Брадатого по-прежнему строились на том исходном утверждении, что власть князей великих непререкаема и утверждена самим богом. Но поскольку непререкаемость эта была установлена совсем недавно и еще для Дмитрия Шемяки и Ивана Можайского отнюдь таковою не являлась, то и утверждениям Брадатого, несмотря на все летописные ссылки, недоставало убедительности. На вопрос Ивана Брадатый сухо, исказив почти до неузнаваемости, изложил взгляды новгородского беглеца, с невольно просквозившею в голосе ненавистью. Чуткое ухо Ивана уловило нарочитое недружелюбие в словах дьяка, и он приказал Брадатому прислать Назария к себе.

Почти потерявший надежду говорить с государем, подвойский воспрянул духом. Страшные известия о казнях Захарии и Кузьмы Овинов с Никифоровым докатились и до него. Он плохо представлял себе, что ныне творится в Новгороде, но понимал, что на очереди новая война с Москвою и говорить с великим князем нужно во всяком случае до начала военных действий. «Теперь или никогда!» — пронеслось в голове у подвойского, когда его предупредили о вызове к государю.

Великий князь принял Назария у себя в тереме, в том покое, где он совещался с Брадатым, в присутствии самого всесильного дьяка. Иван пристально разглядывал красивого, горячего, видимо, нетерпеливого молодца. Сказал с испытующим спокойствием:

— Слыхал я, о государстве ты мыслишь и о власти нашей, богом данной, неподобное некое, чего допрежь не было?

Мановением руки он дал знак Брадатому, коротко приказав:

— Чти!

Назарий, раскрывший было рот, поперхнулся. Приходилось не говорить, а слушать. Брадатый стал сухо читать свое давнее сочинение:

— «Во владычном летописании сказано... В государевом летописце сказано... В тверской харатейной летописи сказано...»

Длилось это долго. Назарий слушал внимательно, запоминая доводы своего соперника. Иван задумчиво, не шевелясь, разглядывал обоих. Наконец, чтение кончилось. Брадатый выпрямился, храня строгое выражение лица.

— И тебе то сомнительно?

Поднял глаза Иван, вперяя взор в новгородского посла. Назарий, угадав разрешающий знак великого князя, начал говорить. Ему не надо было заглядывать в харатьи. Нужные статьи летописей и договорных грамот он помнил наизусть. Небрежно смахнув хитрую сеть Степановых доказательств, он двумя-тремя примерами начисто опроверг Брадатого, доказав, что права Новгорода даны ему прежними князьями законно, подтверждены грамотами, никем не оспоренными, и сами по себе древнее власти московских государей. Но тут он, не дав времени Ивану нахмуриться, перешел к своей главной мысли — права эти и давались и рассматривались в границах Руси Великой, языка русского, который был един под властью великих князей киевских, и даже прежде был един, именно как русский язык, о чем пишет Нестор летописец. И Назарий тут же наизусть повторил слова начальной летописи о славянах дунайских, разошедшихся по всей земле, в том числе и тех, что осели на Ильмене со своим старейшиной Гостомыслом, первым новгородским посадником, и ведут свой род от кореня русского, изначального. Варяги же и Рюрик князь позже находники, призванные на княжение мужами русскими от племени Гостомыслова.

— В позднейшие веки,— продолжал Назарий,— от безбожных куманов-половцев и от татарской рати Батыевой, как и древле от аварского нашествия на славян дунайских, русский язык единый разделился, и одни подпали под власть татарскую, другие — литовскую, третьи — угорскую. И от того гибельное это разделение совершилось, что забыли о единстве языка, бояре стали величаться властию, князья спорить, наводя поганых друг

на друга и на землю русскую, ни во что же заслуги ставили людей простых, вольных, христиан православных, забыли, что достоит нам всем держаться за едино, как немцы и прочие языки, паче всего помнить о единстве и величии языка русского! И не в том дело, кому подчинялся Новгород! Да, были на столе новгородском и северские князья, не только суздальские, и тверские и смоленские, но то был еще Киев, Русь единая, а не Литва, и Ярославу Мудрому мужи новгородские прежде помогли сесть на киевский стол, не попомнив даже и того, что посечена была братия их на Поромане дворе от Ярослава!

Ныне же единство Руси от Московского государя проистекает, и потому достоит ему не токмо Новгород Великий имать в руце своей, но и древний киевский стол воротить языку русскому, и все области Литвы, что населены языком нашим: Галич, Волынь и Смоленские и Полоцкие земли, такожде и татарами занятые и уграми. Ибо все то древняя наша, русская земля и язык русский тамо обретается доднесь, и достоит ему иметь едину главу, едину власть, един закон, по коему государь великий судил бы каждого по заслугам его, не взираючи на лица сильных, ни бояр, ни князей неправду деющих, и награждал за заслуги, подобно тому, как был древле награжден и вознесен князем киевским юноша Кожемяк, победивший богатыря печенежского!

В лице Ивана дрогнуло что-то, шевельнулся кончик носа, искры мелькнули в глазах. Такая мысль великому князю не приходила в голову, но он сразу понял, что она может дать ему и теперь, и в грядущем. «Надо взять его к себе, острее Гусева и Брадатого будет!» — подумал Иван, уразумев идею Назария. Он, однако, не выказал наружно своего великого одобрения, частью из осторожности,— хотелось прежде додумать все до конца самому,— частью затем, чтобы не огорчить Брадатого, помощь коего он ценил весьма высоко.

Отпустив обоих, Иван задумался. Попробовал представить себе всю, как говорил Назарий, русскую землю. Было непривычно. Он себе представлял лица братьев, которых надо было держать в узде, тверского князя, давнего соперника, все еще до конца не одоленного, непокоренную Рязань, старого Казимира, одержащего Смоленск и прочие русские грады, князей пронских, нижегородских, ростовских, суздальских, беглого можайского князя и Ивана Шемячича. Были свои, наследственные вотчины, были поместья дворян, были уделы, был неодоленный Новгород и опасный, хотя и послушный Псков. А земля? С холмов и башен открывались волнистые лесные дали... Дымы пожаров... Русская земля! Это было ново. Земля была московская. Московские князья мечтали перенять славу и власть древних киевских князей, он сам потому и называл себя государем всея Руси. Еще

при прадеде, Донском, после победы над Мамаем некий мних писал восторженно о битве на Куликовом поле, переиначивая слова какой-то древней киевской рукописи, где тоже повторялись эти слова: «Русская земля». Писал восторженно, а Тохтамыш взял Москву и вновь обложил разоренные города татарскою данью... Вся земля русская... Что-то было тревожное в словах Назария, что-то — непонятно что — настораживало Ивана, заставляло хмуриться. Назария он, впрочем, приказал включить в список свиты в грядущем походе на Новгород.

Гонцы были посланы во Псков с приказом городу, отчине князей великих, всесть на конь по первому зову и идти к Новгороду с пушками. Иван, уверенный, что Новгород опять запрется в стенах, намерен был осаждать город.

Вновь посольство отправилось в Тверь, к великому князю тверскому Михаилу за помочью. Вновь Иван вызывал братьев из их уделов и собирал войска по всей земле.

Новгородцы, надеясь на мирные переговоры, послали к Ивану старосту Федора Калитина с Даньславлей улицы Неревского конца за опасом для новгородского посольства. Иван приказал наместнику, Василию Ивановичу Китаю, задержать опасчика в Торжке впредь до особого распоряжения. Таким образом, новгородцам не отвечали ни да ни нет, и те, по желанию, могли еще думать, что переговоры состоятся. Наконец тридцатого сентября Иван послал складную грамоту в Новгород с подьячим Родионом Богомоловым. Объявлялась война.

В Новгороде все это время шли нескончаемые споры. После страшных майских событий содеялось внешнее единство. Но — увы,— это было единство только на словах. Боярский союз был создан принудительно, под нажимом черных людей. Со всех была взята крестоцеловальная клятва и составлена, по обычаю древних времен, укрепная грамота, под которой и присягали, ставя печати: «быти всем заедино делом и помыслом». Грамота эта, скрепленная пятьюдесятью восемью печатями, давала правительству законное право на любые принудительные меры. Но одно дело — заставить слушаться, а другое — заставить действовать. Союзники по нужде изо всех сил старались спихнуть обязанности на кого-нибудь другого. Вновь заскакали послы во Псков, Литву, во владения ордена. Надежда на вмешательство короля Казимира была чуть ли не последним, за что цеплялась новгородская боярская господа.

После обид и утеснений от Ярослава Оболенского псковичи действительно стали с меньшим дружелюбием взирать на Москву, но рассудительные отцы города все-таки не решались на разрыв с Иваном Третьим. Над Псковом висела постоянная угроза немецкого нашествия, и только Москва могла оказать городу действенную помочь. На Литву у псковичей не было надеж-

ды. Впрочем, в Новгород был прислан гонец с предложением о посредничестве между Новгородом и великим князем в заключении мира. Как раз временно одолела партия наиболее ярых противников Москвы, и псковскому послу ответили с твердостью, отнюдь не подтверждаемой делом и дальнейшими поступками самих новгородских правителей, что-де Новгород не признает Коростынских соглашений и требует от Пскова всесть на конь вместе со старшим братом противу великого князя Московского. Псковичи, по обыкновению, отвечали уклончиво, выжидая дальнейшего развития событий.

Борецкая с немногими сторонниками — Толстыми, Савелковым, Юрием Репеховым — делала что могла. Требовалось оружие, деньги, хлеб. Марк Панфильев — его сделали старостой Иваньского братства — добился от купцов-вощинников крупной денежной помочи, но этого было мало, мало до ужаса. От Феофила не удавалось получить ничего. Бояра, связанные укрепной грамотой, давали скупо, лишь бы только их не обвинили в пособничестве Московскому князю. Берденев, Казимер, Александр Самсонов наотрез отказались руководить ратями. Один Василий Васильевич Шуйский по-прежнему продолжал верою и правдой служить Новгороду. Под его доглядом починяли стены, расставляли пушки на кострах, строили острог вокруг города.

Немецкие и «низовские» купцы волновались. В августе низовцы уже начали разбегаться во Псков и в Литву — переждать лихую пору.

Нужен был хлеб, хлеба не было. Марфа порою готова была плакать от отчаяния. Ремесленники, взявшие на себя оборону города, не располагали ни хлебом, ни деньгами, у них были только руки. Не хватало даже оружия, хотя братство оружейников под руководством Аврама Ладожанина трудилось, не покладая рук.

Все громче раздавались боярские голоса славлян и сторонников Феофилата, желавших замириться любой ценой, лишь бы сохранить хоть как-то старый порядок, права, вотчины. Во многих жила призрачная надежда, что можно будет и на этот раз отвертеться, откупиться подачками за счет города и спасти основное. Степенным осенью, с сентября, избрали Фому Курятника, чтобы угодить великому князю. Курятник тотчас стал добиваться мира и в конце концов сумел отправить нового подвойского, Панкрата, во Псков, хлопотать через псковичей о мире с Москвой. Но Псков за день до прибытия посла, тридцатого сентября, отослал в Новгород взметную грамоту, и переговоры стали невозможны.

Для большей части новгородских бояр было ясно, что речь теперь пойдет о землях и выводах. Насколько круто мыслит поступить князь Иван? Пример заключенных, томившихся пол-

тора года в железах великих бояр, кое-кого обнадеживал. Иван не спешил расправиться с ними так, как он расправился с Федором Борецким, и это рождало в робких сердцах мысль: а вдруг-де великий князь и сменит гнев на милость? И пока Москва неспешно стягивала рати, Новгород продолжал метаться, хитрить, переходя из одной крайности в другую, то отталкивая псковичей, то — в мыслях о мире — отказываясь готовиться к обороне, губя и то, что еще мог отстоять и спасти, единым порывом, в дружном согласии, взявшись за оборону города. Даже хлеба, несмотря на все усилия Борецкой и купеческих старост, не было завезено столько, чтобы хватило хоть на самую коротенькую осаду. Бояра придерживали хлеб в волостках, не везя в Новгород, придерживал и Феофил, тоже, как и прочие, полагавший, что уступками и непротивлением можно будет добиться большего, чем ратною силой.

О войне, как о каком-то организованном деле, с передвижениями полков, сражениями и обороною волости Новгородской на рубежах и по линии укрепленных пригородов — Демона, Стержа, Молвотиц,— нечего было и думать. Осенью, когда была получена взметная грамота, Василий Васильевич Шуйский снял все отряды из крепостей и стянул к городу. Даже с Наровы, с неспокойного немецкого рубежа, были отозваны новгородские рати. Это было все, что он мог сделать, как воевода. Теперь в случае приступа город имел достаточное число воинов на своих стенах.

И вместе с тем в те же самые дни Короб, Казимер, Феофилат, Глазоемцев, Курятник и Полинарьины любыми средствами добивались мира. Навстречу уже выступившим войскам великого князя был послан второй посол с просьбой об опасе — житий Иван Иванов Марков. Иван Третий велел Китаю и того задержать в Торжке до своего прибытия.

Девятого октября Иван Третий выступил из Москвы. Вперед за четыре дня были посланы татарские рати царевича Даньяра. С Иваном шел Андрей-меньшой, брат Борис присоединился к нему на Волоке. На первом стану от Волока Ивана встретил князь Андрей Борисович Микулинский, извещая, что тверской великий князь Михаил посылает кормы для московского войска.

Желтели убранные поля с рядами скирд. Птицы стаями тянули над головой к югу. Холодный ветер сушил осеннюю землю.

Девятнадцатого октября Иван Третий прибыл в Торжок. Здесь к нему приехали первые новгородские беглецы бить челом в службу. В Торжке великий князь простоял четыре дня. Отпустил во Псков нового воеводу взамен Ярослава Оболенского. С ним вместе послал послов торопить псковичей к выступлению. Безостановочно подходили рати.

Торжок был переполнен. У всех коновязей рядами перемина-

лись боевые кони, возы загромождали улицы, ратники толпились по всем дворам. Скакали посыльные, выворачивая копытами комья стылой, усыпанной навозом и раструшенным сеном грязи. Крепкий запах конского пота и мочи стоял в воздухе. В сутолоке трудно было озреться, и смещенный псковский наместник, Ярослав, вызванный в полк по приказу Ивана Третьего, долго, матерясь, тыкался по всему городу, разыскивая старшего брата, Стригу-Оболенского. Наконец какой-то проезжий дворянин указал князю нужный дом.

Ярослав, заляпанный грязью, шатнувшись, спрыгнул с седла, прошел, наклонясь, в низкую горницу, полную ратных, сидевших за трапезой. К нему нехотя обернулись от стола:

— Чаво нать?

— Самим тесно!

Узнав кто, один из ратников вскочил, рыгнув, неловко перекинулся через лавку и проводил в заднюю. Старый воевода сидел один в тесной горенке за жбаном с квасом и тарелью с пирогами. Кивнул ратнику: «Выдь!» Тот тотчас притворил дверь.

С усмешкой обозревал Стрига непутевого младшего брата. Ярослав с отъезда из Пскова гулял, не показываясь на глаза, и видно, все еще продолжал пить, не протрезвев окончательно и в дороге. Морда у князя Ярослава распухла, глаза смотрели врозь, дорогое платье было перемазано и растрепано донельзя, борода торчала в разные стороны. Иван покачал головой.

— Хорош! Опять пьян?

— Я пьян?

Ярослав малость трусил брата и потому изгилялся того больше.

— Кто пьян да умен, два угодья в том! — выкрикнул он, глядя куда-то вбок.

— Что не проспишься, ай напугали плесковичи? — спросил Стрига, продолжая усмехаться.

— Смердья кровь! — возопил Ярослав.— Вилок капусты, вишь, пожалели! Что мой Никишка взял с воза... Да случись такое на Москве! Я — князь! Приказал бы — возами свалили! Кто слово рек! Я за тот кочан капустный две головы снял! Дурни... К великому князю запосылывали...

— А признайся, струхнул маненько от мужиков-то? Как Плесков исполчился на тя?

— Я-то? Да я! — взвился Ярослав.— Я их! Вот им! В рот!

— Ну, ну! Мне-то казать незачем, застебнись! — сурово одернул старший брат.— Воровать тоже с умом надобно!

— Я пес царев! —чванно изрек Ярослав.— А своих псов надо кормить сытно!

— Ан врешь,— возразил Стрига.— Пса хороший хозяин всегда чуток не докормит, чтобы не обленился, чтоб злее был, не

ленился лаять да кусал бы больнее! Так и царь тебя, чуешь? Говорить я с тобой хотел, а ты, вон, на кого похож! Государь тебя, дурака, жаловать хочет, а таков явишься, неровен час и другим кем заменят, и я не помогу!

— Возьмут Новгород?!— уразумев дело и начиная трезветь, спросил Ярослав. Он поднял алчно загоревшиеся глаза:— Землю дадут?!

— То-то!— отмолвил Стрига.— Только охотников до тех земель и без нас хватает! И Новгород еще не взят. Думай! Ты — Оболенский, не кто! Рода нашего не роняй! Век напереди были! Поди проспись.

Двадцать третьего октября великий князь выехал из Торжка. Рати шли разными дорогами, заполонив все пространство меж Мстою и Ильменем. Войск собралось не меньше, чем в походе на татар. Обоих новгородских опасчиков Иван велел вести за собою.

Холодный ветер обрывал последние листья с дерев. В воздухе сеялась мелкая снежная крупа, на застывших дорогах по утрам выступал иней.

Последние дни Григорий Тучин жил как во сне. Он давал деньги и хлеб, когда его об этом просили, но сам не делал ничего. Старания Савелкова, хлопоты Борецкой, пересылки с королем и Псковом — все это проходило мимо сознания, почти не затрагивая. Он знал, что это конец, что ничто уже не спасет обреченного города. Не признаваясь себе, где-то в душе он даже хотел, чтобы то, чему суждено совершиться, произошло скорее.

Еще в августе Тучин отослал жену и детей в дальнюю деревню за Волоком, чая, что туда не доберутся москвичи. Сам он оставался в Новгороде. Надо было решить какую-то мысль, все не дававшую ему покоя со времени разговора с Денисом. Отказаться от богатства, боярского звания, волостей, слуг? Но тогда зачем было все предыдущее, многолетняя борьба, гибель отца, схваченного в плен под Русой, его собственные усилия, набег на Славкову с Никитиной, старания удержать двинские земли, зачем тогда нужна была Шелонь?

Где-то в душе он начинал понимать, что еще мог бы даже отказаться по отдельности от всего, что его окружало, как боярина, давало ему богатство и знатность,— он мог мало и скромно есть, довольствоваться иногда куском хлеба с сыром и горстью морошки, он одевался просто, и мог еще проще, не в шелк, а в льняное полотно. Ему не нужна была роскошь пиров, многочисленная дворня даже утомляла Тучина. В личном его покое была почти монашеская простота: простые стол и кресло, поставец, где, кро-

ме перьев, стопы чистой бумаги для письма и чернил, был лишь костяной обиходный набор: гребни для волос, усов и бороды, уховертки, щипчики, ножницы для ногтей и ножички да сосуд с ароматною водою — за своей внешностью Тучин следил очень тщательно. На полице в его покое стояло несколько книг, редких по содержанию, но в обычных деревянных, обтянутых кожею переплетах с медными застежками, а на столе медный подсвечник да глиняный кувшин с малиновым квасом и чарка черненого серебра. И убирал эту комнату один-единственный слуга, изучивший привычки своего господина и знающий, где что должно лежать, чтобы Тучин, не задумываясь, мог, протянув руку, тотчас взять нужное. В привычках Тучина тоже не было такого, что требовало бы чрезмерных трат. Он не держал ни огромной псарни, ни сокольни, ограничившись одним ловчим соколом, правда, отличных статей. Ему доставляла удовольствие простая прогулка верхом в одиночестве или в сопровождении все того же одного-единственного молчаливого прислужника. В конце концов даже и эти свои привычки Тучин мог бы ограничить еще более. Но если даже он способен был порознь отказаться от каждой вещи или услуги, составляющих его боярское бытие, ибо одно ему было безразлично, другое — не слишком необходимо, то отказаться от самого богатства, от возможности все это иметь и, главное, отказаться от того, данного ему богатством и боярским званием чувства собственной неприкосновенности, обеспеченного личного достоинства, от того, что ему никто не посмел бы нагрубить на улице, что пьяный не полезет к нему с кулаками или с надоедливыми излияниями, что на него никто никогда не посмотрит свысока, что перед ним расступаются, городская стража не задерживает его во время ночных прогулок, что не было дома, куда ему, буде он того пожелает, был бы заказан вход — отказаться от этого внутреннего ощущения своей исключительности он не мог. И это толкало Тучина на единственно возможный, логически неизбежный путь. Он должен был поддаться Московскому князю. Не за тем ли понадобилось ему все богословское мудрование попа Дениса? Не от того ли он с таким любопытством выслушивал излияния новгородского отступника, Назария? Не валял ли он попросту дурака, глумливо и недостойно скоморошил, водясь с духовными братьями, мудрствуя и изгиляясь, словно святочный кудес?!

Или встретить смерть в бою, пристойно и строго окончить жизнь, не дав никому заглянуть себе в душу, не дав увидеть этот смрад сомнений и безверия?.. Когда Феофилат с Коробом шлют посла за послом, моля о милосердии государевом? Бой! Не будет боя! Будет то, что уже было, гнусная торговля, взаимные предательства вятших, глад во граде, окуп, коего на этот раз не примет князь Иван, а потом — чужие руки на предплечь-

ях, жирный звяк кандалов, все то, от чего и сейчас ознобом, чуть вспомнишь, охватывает все тело!

Или убежать, спрятаться, уехать на Двину, как Своеземцев? Владельцу с лишком четырехсот обеж не спрятаться!

Бросить все и уйти в монастырь? На это нужна вера, простая, народная. А она расшатана книжным знанием и вконец подорвана проповедью духовных братьев противу монастырского стяжания и монашеской жизни. И все же это единственное прибежище, единственное место, куда еще можно уйти!

Он уже готов был отречься от мира, мысленно прощался с семьей, с женою, со старшим сыном, так похожим на него, Григория, с дочерью и двумя младшими. И жена, и все они были далеко, и словно бы уже не существовали, словно бы уже произошло, со сладкою болью содеянное, отречение, после которого лишь книги, да молитва, да грубая ряса, да жухлое золото осенних берез, золото умирания. За Волховом, на Вишере... любо на Онеге! Бедная серая маковица монастырька, три-четыре молчаливых брата... Навек! Да и как сказать было бы слуге, с которым бок о бок дрался на Шелони: поедем, мол, даваться москвичам?

Дворский вывел его из затруднения, сам предложив буднично просто:

— Ехать надоть теперича, пока выпущают из города! — и на недоуменный, растерянный взгляд Григория пояснил: — К великому князю! Аль будем здесь дожидатьце? Кабы в осаде-то от голоду не погинуть!

Как просто! И все они, значит, уже думали, и все обдумали и решили без него и за него. Он долго молчал. Дворский уже шевельнулся уходить на цыпочках, решив, что молвил неподобное, когда Тучин остановил его, подняв узкую руку, и, сглотнув, вымолвил:

— Погоди! Соберешь людей: добро отобрать, что поценнее, с собою. Коней перековать надобно.

— Кони готовы! — повеселев, отвечал дворский.— Я уж на свой страх! Думал — поскорее чтобы, а то умедлим, не выберемся уже!

Григорий Тучин и тут, в этот миг, не признался, не мог признаться себе, что подчиняется простой грубой силе — так это казалось унизительно.

Московское войско они встретили двадцать шестого октября. Все было серо: серое небо, серая дорога, серые крыши примолкших деревень. Шел редкий снег. Он еще не ложился, снежинки медленно исчезали, запутываясь в тусклой траве. Обнажившиеся кусты серою сквозистою дымкой окаймляли темную гряду елового леса. С холма открылись затянутые осенней мглою дали и шевелящаяся, как муравьи, по всем дорогам масса московских

войск. К ним подскакал разъезд. Жадные ощупывающие глаза разгоряченных алчных людей забегали по Тучину.

— В службу великому князю!— строго отмолвил он и увидел, как разочарованно вытянулись лица москвичей, рассчитывавших на поживу. Он испытал одновременно облегчение от того, что «это» произошло, и стыд за себя, смутное чувство предательства. («Но кому? Все торопятся сделать то же самое!»)

— Доложи государю!— потребовал Тучин.

— Великий государь тебя ищо то ли примет, то ли нет!— спесиво ответил московский дворянин и, отворотившись, громко выбил нос, стряхнув сопли с руки на мерзлую дорогу и обтершись рукавом.

— За нами давай!— кивнул он Тучину вполоборота и крикнул своим:— Трогай!

Григорий, дав знак дружине, поскакал следом, ощущая первые смутные сомнения: так ли просто окажется для него, Тучина, в нравственном смысле, служить в одном ряду с этими вот дворянами московскому самодержцу?

Второго ноября в Турнах Иван Третий принял псковского посла. Посол прибыл со слезной грамотой, сообщая, что десятого октября весь град Псков выгорел от пожара, о чем псковичи со слезами сообщают великому князю и челом бьют. А что велено было складную грамоту Новгороду отослать в другой ряд, то все они исполнили. Иван закусил губу, но промолчал. Подозревать псковичей в том, что они нарочно подожгли город, чтобы затянуть выступление, нельзя было.

Четвертого подошла тверская помочь. Восьмого ноября в Еглине Иван Третий наконец-то принял новгородских опасчиков, Калитина и Маркова, и вручил им опас для проезда посольства.

Войска продолжали ползти по дорогам. Умножались грабежи. Там и сям вспыхивали пожары. Снова зорили, гнали скот, отбирали лопотину и утварь. Приняв к сведению опыт прошлого похода, Иван Третий взял меры для охраны своего личного добра. В села, что отходили великому князю (еще не урядившись с новгородцами, Иван уже заранее намечал, что он заберет себе), были посланы ратные для охраны и отгоняли зарвавшихся воев,— великого князя добро!

В Марфиной волости Кострице Иван Третий побывал сам. Осведомился о хозяйстве. Ему рассказали, что здесь полотняный промысел. Принесли образцы полотна, привели Демида.

Демид, узнав, что волость переходит к великому князю, набрался храбрости — случай был единственный — изложить Ивану снедающие его замыслы о развитии полотняного дела на Руси:

— Не во гнев помянуть, боярыне Марфе Ивановне говорил, дак она не вняла! А государю великому сверху виднее, и польза от того бы всей стране пошла!

Иван молча выслушал горячую речь холопа Демитки (так его представили государю), оглядел мастера, остался доволен. Дело, видимо, знает, а что говорит неподобное, дак что с холопа спрашивать! Посмотрел еще раз полотно: в самом деле хорошо, голландского не хуже. Решил — надо будет его оставить, пусть работает по-прежнему. А волость подарить матери, свое будет полотно. Наклонением головы он дал знак, мастера увели. Из дальнейших слов московского дворянина Демид понял, что его помиловали и что из Демида он превратился в Демитку.

Новгород продолжал разбегаться. Уехали заморские купцы. Их хотели было задержать, но в конце концов решили, что держать не стоит, помощи от того никакой, только хлеб будут есть. Уехали, еще прежде, низовские гости. Многие новгородские купцы тоже пережидали грозу в чужих городах.

Вскоре после отъезда Тучина, отъезда, бросившего тень на весь Неревский конец, бежал, возмутив соратников, Иван Кузьмин, зять Захарии Овина. Кузьмин, опасавшийся казни государевой, устремился в Литву, под королевскую защиту. Жалкий слепец, так и не понявший, что нужен Казимиру не он, а его земли и что безземельных панов, жаждущих получить села с крестьянами, у короля Казимира и так некуда девать, и скорее бы им были розданы (повернись иначе историческая судьба) земли Великого Новгорода, а не ему даны земельные владения в Литве, не ему и не ему подобным отломышам от дерева родины! Четыре года спустя опустившийся, растерявший слуг, он воротится в Новгород в тщетной надежде прожить тихо, и будет в свою очередь схвачен наместниками великого князя Московского.

Иные из новгородских бояр и житьих пробирались в деревни, таились, ожидая судьбы. Кто же оставался, сидели по домам, не разъезжали по городу на дорогих конях. Новгород построжел, виднее стал черный народ на улицах, не перед кем стало вжиматься в тын, пропуская гордо скачущих всадников.

Уже в середине ноября, когда московские рати угрожающе приблизились, уехал тайком сын казненного воеводы Никифорова, Иван Пенков с сестрою Ириной, подругой Олены Борецкой. Со дня гибели отца Иван жил в непрерывном страхе и наконец не выдержал. С опасением ехал он и к великому князю. Грядущее действительно не принесло ему добра. Ирина же, задумчиво и жадно выглядывавшая из возка, ехала легко, радостно. Перед нею, еще незнакомая, брезжила новая судьба. Ей суждено было выйти замуж за знатного московского боярина, и хоть она не знала еще о том и о женихах не думала — но все

в ней устремлялось к неведомому, и все ободряло ее: и веселый снег, что бойко укрывал промерзшую землю, и ожидание встречи с московскими вельможами, и молодость, пора дерзости, пора надежд.

Пенковы встретили московское войско девятнадцатого ноября в Палинах. В тот же день Иван Третий урядил полки и отпустил воевод передовой рати под Новгород.

Двадцать третьего ноября в Сытине Иван наконец-то принял новгородских послов во главе с владыкою Феофилом.

С архиепископом пришли Яков Короб от неревлян, Феофилат Захарьин и Лука Федоров от пруссов, Яков Федоров от Плотницкого конца и Лука Полинарьин от Славенского. С ними пятеро житьих: Александр Клементьев, Ефим Медведнов, Григорий Киприянов Арзубьев, Филипп Килский и Яков Царевищев, купец.

Ударили морозы. Снег скрипел под копытами и полозьями саней. В одну тихую ночь разом стал Ильмень, и день ото дня лед на озере крепчал.

Жарко топилась печь в горнице большого приема. Горели свечи. Государевы бояре сидели на лавках, Иван — в кресле, посредине. Послы стояли тесной кучкой перед ним. Феофил начал говорить:

— Господине, государь, князь великий, Иван Васильевич всея Руси! Я, господине, богомолец твой, и архимандриты и игумены и все священницы всех седьми соборов Великого Новгорода тебе, своему великому князю, челом бьют!

Голос Феофила слегка дрожал. В горнице от многолюдства и тесноты было душно. Иван смотрел на послов со спокойным любопытством: город был в его власти. Почти в его власти. Он ждал. Феофил продолжал говорить:

— Что еси, господине, государь, князь великий, положил гнев свой на отчину свою, на Великий Новгород! Меч твой и огнь ходит по новгородской земли, и кровь крестьянская льется! Смилуйся, государь, над своею отчиною, меч уйми и огнь утоли, кровь бы крестьянская не лилася, господине государь, помилуй! И я, господине, богомолец твой, с архимандриты, и с игумены, и со всеми священники седьмью соборов тебе, своему государю, великому князю, со слезами челом бьем!

Он замолк, и тут же за стеной жалобно замычала корова. Где-то топали кони. И потому, что на сотнях верст горели новгородские деревни, от уставных слов архиепископа веяло горем и безысходностью. Далее Феофил вновь просил за пойманных полтора года назад пятерых великих бояр.

После него выступили бояре и житьи. Говорил Яков Короб от имени степенного посадника Фомы Андреича, степенного тысяцкого Василья Максимова, бояр, купцов, житьих и черного

народа и всего Великого Новгорода, «мужей вольных». Иван чуть повел бровью, услышав это, набившее ему оскомину прозывание. Вот они, мужи вольные, с мольбою пришли! Нет, он не усмехнулся, он слушал. Яков Короб повторил то же, что Феофил, просил унять меч и отпустить пойманных прежде. Следующим выступил Лука Федоров, просил пожаловать, велеть поговорить им с его боярами. Иван согласно наклонил голову. На этом торжественная часть переговоров окончилась. Иван пригласил послов отобедать у него.

Наутро послы побывали у Андрея-меньшого с поминками, просили заступиться и помочь в переговорах. Затем вновь просили великого князя, чтобы пожаловал, «велел с бояры поговорити».

Иван Третий выслал на говорку князя Ивана Юрьевича и Василья с Иваном Борисовичей. Дальнейшие переговоры велись через этих бояр. Послы и бояре государевы сидели в горнице напротив друг друга и говорили по очереди.

Яков Короб вновь попросил нелюбие отложить и меч унять. Феофилат попросил выпустить пятерых бояр великих, что томились в заключении. Лука Федоров предложил, чтобы Иван Третий ездил на четвертый год в Новгород, имал по тысяче рублев, суд же судил бы наместник вместе с посадником, оставляя решение спорных дел на волю князя. Заодно он попросил, чтобы не было позвов в Москву. Яков Федоров просил наместника не вступаться в суды посадника. Житьи принесли жалобу на мукобрян, черноборцев великого князя, которые творят самоуправства, не отвечая по суду посадническому. Яков Короб заключил перечень жалоб осторожным согласием на иные требования великого князя: «Чтобы государь пожаловал, указал своей отчине, как ему бог положит на сердце отчину свою жаловати, и отчина его своему государю челом бьют, в чем им будет мочно быти».

Последнее значило, что и на иные требования великокняжеские, касательно земель, окупа и прочего, Новгород готов согласиться. Это было много, очень много, но меньше того, что Иван хотел и мог получить теперь, а он теперь хотел получить все.

В тот же день Иван, ничего не отвечая послам, послал своих воевод занять Городище и пригородные монастыри.

Озеро уже стало прочно. Накануне Холмский сам разведывал лед. Когда гонцы домчались от Сытина до Бронниц, темнело. Тотчас началось согласное шевеление конных ратей. В быстро сгущавшихся сумерках промаячило обмороженное лицо Данилы Холмского. Он сутки не слезал с коня и сейчас прискакал встретить гонца с давно ожидаемым приказом. Переговорив с Ряполовским, он поскакал в чело своих ратей. Холмский боялся, что новгородцы опередят его и сожгут монастыри под носом у

московских войск. Но новгородцы медлили. Их разъезды жались к стенам города. Даже на Городище не было их ратей. Московские всадники невозбранно тянулись по заранее проложенным тропинкам, сквозь перелески, подымаясь на взгорки и ныряя в ложбины замерзших ручьев и рек. Шли тихо. Слышались только редкий звяк, сдержанное ржанье коней в темноте да хруст мнущегося снега. Из кустов вывертывались молчаливые издрогшие на морозе сторожи, указывали путь.

Полки, что должны были идти к Юрьеву, выходили к берегу Ильменя. Вдали чуть посвечивали редкие огоньки левобережья. Из тьмы вывернулся монашек, как оказалось, из братии Клопского монастыря. Нарочито поджидал ратных. Монашка привели к Ряполовскому. Боярин недоверчиво поглядывал на оснеженную серо-синюю равнину с дымящимися разводьями у берега. Ратники рубили хворост, кидали в черную воду, мостили гать до твердого льда.

— Мы тута рыбу ловим по льду кажный год! — успокоил монашек.— Там крепко, коням мочно пройти!

Лошади фыркали, осторожно ступая в ледяную воду. Ночь туманилась инеем. Справа, вдали, посвечивали новгородские огни. Ледяная равнина тянулась и тянулась. Медленно приближался черный лес. Правее показались смутные очертания ограды и церковных глав Перыня. Тут тоже, видимо, не было новгородской сторожи или спала оплошкой. Когда выбрались на берег, монашек сполз с коня и растворился в темноте. Передовые отряды тотчас, минуя Перынь, ушли к Юрьеву. Далекий звук долетел с той стороны. Теперь скорей! В темноте — громкий стук в ворота. Хриплое, спросонь:

— Свои? Чужие?!

— Отворяй!

Всадники с седел карабкаются на ограду. Хруст и царапанье, дыхание человеческое и конское. Скрип ворот. Отшвырнув привратника грудью коня, врываются во двор, кто-то кричит, кого-то волочат от колокольни, прыгая с коней, разбегаются по покоям москвичи. Вдали, на той стороне, возникло пламя пожара. Взметываясь, рассыпаясь искрами, выбиваясь из-за кровель, пламя сникало и вспыхивало, и тогда казалось, что разгорится, но вот оно стало ниже, ниже, видимо, ратники тушили огонь. Где-то почасту бил колокол. Пламя сникло, пожар уняли.

В ночь с понедельника на вторник все монастыри в окологородьи были заняты великокняжескою ратью. Во вторник, двадцать пятого ноября, получив донесения воевод, великий князь приказал своим боярам дать ответ новгородским послам.

Опять сидели друг против друга князь Иван Юрьевич с Василием и Иваном Борисовичами и новгородские послы. Говорили по очереди, начал от лица великого князя Иван Юрьевич:

— Князь великий, Иван Васильевич, всея Руси, тебе, своему богомольцу, и посадникам и житьим тако отвечает: что еси, наш богомолец, да и вы, посадники, и житьи били челом великому князю от нашей отчины, Великого Новгорода, о том, что мы, великие князи, гнев свой положили на свою отчину, на Новгород.

Иван Юрьевич умолк значительно. За ним начал Василий Борисович:

— Князь великий глаголет тебе, своему богомольцу, владыке и посадникам и житьим, и всем, что с тобою здесь: ведаете сами, что посылали к нам, к великим князем от отчины нашей, от Великого Новгорода, от всего, послов своих Назара подвойского и Захара, дьяка вечного, назвали нас, великих князей, себе государем. И мы, великие князья, по вашей присылке и по челобитью вашему послали к тебе, владыке, и к отчине своей, к Великому Новгороду, бояр своих, Федора Давыдовича да Ивана и Семена Борисовичей, велели им вопросить тебя, своего богомольца, и свою отчину, Новгород: какова хотите нашего государства, великих князей, на отчине нашей, Великом Новгороде? И вы того от нас заперлися, а к нам, сказывали, послов своих о том не послылывали, а возложили на нас, на великих князей, хулу, сказав, что то мы сами над вами, над своею отчиною, насилие учиняем. И не только эту ложь положили на нас, своих государей, но много и иных неисправлений ваших к нам, к великим князьям, и нечестья много чинится от вас, и мы о том поудержалися, ожидая вашего к нам обращения, а вы и впредь еще лукавейше к нам явились, и за то уже не возмогли мы терпеть более, и злобу свою и приход ратью положили на вас, по словам господа: «Аще согрешит к тебе брат твой, шед, обличи его пред собою и тем едином; аще ли послушает тебя — приобрел еси брата своего. Аще ли же не послушает тебя, поими с собою двух или трех, да при устах двоих или троих свидетель станет всяк глагол. Аще ли и тех не послушает, повежь в церкви. Аще ли же о церкви не радети начнет, буди тебе якоже язычник и мытарь!» Мы же, великие князи, посылали к вам, своей отчине: престаньте от злоб ваших и злых дел, а мы по прежнему жалованью своему жалуем вас, свою отчину! Вы же не восхотели сего, но яко чужие сделались нам. Мы же, положив упование на господа бога и пречистую его матерь, и на всех святых его, и на молитву прародителей своих, великих князей русских, пошли на вас за неисправленье ваше!

Василий Борисович замолк в свою очередь. Кое-кто из новгородских послов растерянно отирал пот со лба. Князь Иван явно не желал признать, что посольство Захара с Назарием было ложным. Феофилат и Яков Короб, хорошо знавшие всю подноготную, переглянулись и побледнели. «Что теперь есть исти-

на?» — хотелось спросить каждому из них. Заговорил Иван Борисович:

— Князь великий тебе, владыке, и посадникам, и житьим так глаголет: били мне челом о том, чтобы я нелюбие свое сложил, и поставили речи о боярах новугородских, на которых я прежде сего распалился. И мне бы тех жаловати и отпустити?! А ведомо тебе, владыко, да и вам, посадникам и житьим, и всему Новугороду, что на тех бояр били челом мне, великому князю, вся моя отчина, Великий Новгород, и что от них много лиха починилося отчине нашей, Великому Новгороду и волостям его? Наезды и грабежи, животы людские отымая и кровь крестьянскую проливая?! А ты, Лука Исаков Полинарьин, сам тогды был в истцах, да и ты, Григорий Киприянов Арзубьев — от Никитины улицы?! И я, князь великий, обыскав тобою же, владыкою, да и вами, посадники, и всем Новгородом, что много зла чинится от них отчизне нашей, и казнити их хотел. Ино ты же, владыка, и вы, отчина наша, добили мне челом, и я казни им отдал. И вы нынеча о тех винных речи вставляете, и коли не по пригожью бьете нам челом, и как нам жаловати вас?

Это была заслуженная выволочка. Действительно, сами подавали жалобу, сами давали приставов на братью свою, на поиманных, и сами теперь хлопочут о виновных.

Заключил речи государевых бояр опять князь Иван Юрьевич:

— Князь великий глаголет вам: восхощет нам, великим князем, своим государям, отчина наша, Великий Новгород, бити челом, и они знают, отчина наша, как им нам, великим князем, бити челом!

Говорка кончилась. Иван Третий задал-таки загадку послам новгородским, любой ответ на которую делал их виноватыми перед государем. Так пропасть и другояк пропасть! Получив пристава, чтобы миновать московские рати, послы господина Новгорода отправились восвояси.

Глава 29

се это было как в страшном сне, ежели заспишь на левом боку, когда задыхаешься и немеют члены и, кажется, надобно закричать, а голосу нет, и надо, чтобы спастись, только достать, только дотянуться до чего-то, и рук не вздынуть, а косматые лесные хари хохочут, протягивая когтистые лапы, и вот-вот схватят, сожрут, и уже сквозь сон через силу застонешь, и тогда проснешься.

Борецкая порою приходила в отчаянье. Из Литвы, от короля, не было ни вести, ни на́вести, да она и не ждала помочи от Литвы. Но сами-то, сами! Монастыри надо было сжечь сразу. Воспротивился Феофил, восстало все черное духовенство. Юродивые, кликуши из Клопска лезли аж в окна:

— Не дадим жечь святые обители господни!

Воеводы колебались, ждали ответа посольства, ждали невесть чего — дождались! В ту ночь Марфа сама, на свой страх, послала Ивана Савелкова зажигать монастыри за Торговой стороною, откуда ближе всего была угроза ратная. В Кириллове монастыре, с которого думали начать, какой-то монах бросился, раскинув руки, перед ратными, прикрыв ворота:

— Убивайте!

Дружина вспятилась. Завозились, замешкались, начали поджигать ограду. Мокрое дерево разгоралось плохо. Едва выбилось пламя, как раздался топот из темноты. Это были ратники Стриги-Оболенского. Началась бестолковая рубка. Потеряв половину людей, Савелков кое-как с остальными ушел в Новгород.

И вот монастыри заняты москвичами, и удобно расположившиеся, в тепле и под защитою стен московские ратники высматривают новгородские разъезды, перекликаясь друг с другом с шатровых колоколен непорушенных храмов. Поплевывают, попивают пиво из погребов монастырских и ждут неизбежного, рокового для осажденных конца.

В город набилась тьма беженцев из пригородов, посадов, из деревень. Говорили, что московские рати грабят все подряд,

жгут, раздевают, зорят амбары, режут и угоняют скот. В ту войну хоть в лесах спасались, а тут, в морозы, в сугроб с детями не полезешь! В торгу как-то разом и вдруг исчез хлеб. Кое у кого были запасы дома, но их могло хватить самое большее на неделю. Зимний завоз снедного припаса в Новгород так и не начался, помешала война. Ратная сила обогнала обозы. Неделя пройдет, а дальше как? «Конец, конец, конец!» — кровью стучало в висках у Борецкой. Только чудо могло теперь спасти Новгород. И она исступленно продолжала верить в чудо.

Двадцать шестого ноября по ее настоянию было торжественно отпраздновано ежегодное богослужение в честь победы над суздальцами. Строже выглядела на этот раз толпа в соборе. Будто бы и золото потускнело на ризах духовенства. Не все светильники и паникадила были зажжены, и в углах огромного здания копилась темнота. Феофил сделал все, чтобы не допустить торжеств, но чуда хотела не одна Борецкая, чуда хотел весь город, и архиепископу пришлось уступить. Он только что воротился с переговоров от Ивана Третьего и вот неволею служил службу, призывая к одолению на враги.

В полутьме храма стояла строгая толпа. Бородатые лица кузнецов, стригольников, бронников, седельников, плотников, щитников. Иные были в бронях, пришли прямо со стен. За ними грудились бабы, замотанные в платки. Бояр почти не было. Над толпою подымался пар от дыхания, уносясь в немыслимую высь наморожениых сводов Многие шепотом повторяли слова, что монотонно читал Феофил:

— Мнящеся непокоривии от основания разорити град твой, Пречистая, неразумевше помощь твою, Владычице, но силою твоею низложени быша!

И Марфа, стоя в толпе, неотличимая от прочих, неистовыми, грозно-молящими глазами взирая на лик Богородицы, молила, требовала, заклинала: чуда! Ведь было же чудо одоления три века тому назад! Чуда! И о чуде молили улицы, и чуда ждала толпа. Чуда! Только чуда жаждали все в обреченном на гибель городе, с первыми грозными печатями голода на лицах сгрудившихся в соборе горожан.

Чудотворная икона «Рождества Богородицы» и вторая, с чудесным спасением от суздальцев, были пронесены по стенам города. Ратники на заборолах сурово прикладывались к образам. Москвичи издали тоже глядели, собираясь кучками, из-под ладоней высматривая крестный ход, обходящий город. В согласное молитвенное пение врывалось редкое буханье пушек. И Господин Великий Новгород стоял торжественный, в морозной красоте одетых инеем соборов, в белом бахромчатом узорочье оснеженных крыш,— седой, древний, величавый.

Московские полки продолжали окружать город. Двадцать

седьмого ноября великий князь с ратью сам перешел Ильмень по льду и стал под городом, у Троицы на Паозерье, в селе Лошинского, забранном им как древнее княжое владение себе, в состав государевых вотчин. Воеводы с полками располагались по монастырям. Город был взят в плотное кольцо московских ратей и наглухо отрезан от своей волости.

Иван Третий побывал в Юрьеве и осмотрел Новгород с кровли Георгиевского собора. Отсюда город просматривался весь, и Детинец, и Торговая сторона, со скоплением соборов на торгу, и Ярославово дворище, и острог, обведенный вокруг города. Через Волхово новгородцы тоже соорудили заборола на сцепленных друг с другом судах, а по льду — из наметанного хвороста и политого водой снега. Перед судами они пробили лед, чтобы москвичи не могли войти в город с речной стороны.

Меж тем рати все продолжали и продолжали подходить. Иван учел все оплошности прежнего похода. Воеводам велено было половину людей послать по корм, давши им сроку десять дней. Московские ратники обшаривали все деревни, рядки и погосты вплоть до Наровы, выгребая хлеб и угоняя скот на прокорм великокняжеского войска.

Наконец, вышла в поход и псковская рать. Иван Третий послал подторопить ее и велел псковичам присылать снедный припас: пшеничную муку, рыбу и пресный мед, а также присылать псковских купцов, продавать снедное довольствие для войска — хлеб, мед, муку, калачи и рыбы. Псковской рати Иван Третий велел стать на Веряже и в монастыре святой Троицы на Клопске.

Четвертого декабря к великому князю на Паозерье вновь прибыло новгородское посольство в прежнем составе, с архиепископом Феофилом во главе. Вновь послы слезно молили унять меч и огнь утушить. Бояре великого князя (к трем прежним прибавились Федор Давыдович и Иван Стрига) отвечали послам, согласно приказу Ивана, так же, как и первый раз:

— Посылали к нам Назара да Захара, дьяка вечного, и называли нас государем, мы потому и послов посылали вопросити вас: какого хотите государства? Вы же заперлись того, и ложь положили на нас, оттого и война. А захочет отчина наша, Великий Новгород, бить челом нам, великому князю, и они знают, как нам бить челом!

Послы попросили день для размышления. Долго размышлять уже не приходилось, голод в городе начинался не на шутку. Приходилось признать полномочным обманное посольство Захара с Назаром. Овин и мертвый продолжал вредить Новгороду.

Пятого декабря новгородское посольство явилось вновь. У Ивана Третьего были братья, оба Андрея и Борис Васильевичи. Послы били челом и повинились, что посылали Назара с Захаром и ложно заперлись в том перед боярами великого князя.

Теперь, когда новгородцы сами себе надели веревку на шею, следовало ее затянуть потуже. Иван Третий велел отвечать:

— А коли уже ты, владыка, и вся наша отчина, Великий Новгород, пред нами, пред великими князьями, виноватыми сказалися, а тех речей, что к нам посылали прежде, вы заперлись, а ныне сами на ся свидетельствуете, а воспрашиваете, какову нашему государству быти на нашей отчине, на Новгороде? Ино мы, великие князи, хотим государства своего, как у нас, на Москве, так хотим править и на отчине своей, Великом Новгороде!

Оробевшие от столь неслыханного требования послы просили дать им два дня на размышления и переговоры с горожанами. Иван отпустил послов и на другой же день велел своему мастеру, Аристотелю Фрязину, навести мост на судах через Волхов под Городищем и усилить обстрел города из пушек.

До сих пор москвичи изредка подъезжали к стенам острога (новгородцы обвели деревянною стеною часть Онтоновского ополья и Неревские ополья Софийской стороны, так что и Онтонов монастырь на Торговой стороне и Зверин на Софийской были в руках новгородской рати). Пешие отряды ремесленников и конные ратники воеводы Шуйского выходили и выезжали встречу москвичам. Стычки происходили больше всего за Звериным монастырем, на пути к Колмову, и за стенами острога Онтоновского ополья. Под Городцом москвичи держали осаду прочно, выставив пушки, обстреливавшие город с юга. Новгородских ратников, выбиравшихся на вылазки со Славны, встречали ядрами, загоняя назад, за стены. Несколько раз москвичи пробовали захватить стену острога, но огонь новгородских пушек в свою очередь и мужество осажденных заставляли москвичей отступать, каждый раз с заметным уроном. Брать город приступом всех своих ратей Иван Третий не решался. Трудно сказать, что его удерживало: крестный ли ход двадцать шестого октября и икона «Знамения», природная ли осторожность или трезвый расчет, заставлявший предпочесть верную сдачу осажденных под угрозой голодной смерти неверному военному счастью, которое могло изменить в этом случае Ивану, да и в случае успеха должно было дорого обойтись осаждающим. И продолжалось томительное стояние, продолжали бухать пушки с той и другой стороны, и каленые ядра, крутясь, со свистом разрезали промороженный воздух.

Самым опасным местом была та часть острога, что шла на судах через Волхов от Славны до Людина конца. Отсюда прорвавшиеся москвичи могли враз ударить на Детинец и торг, разрезав город надвое. Шуйский приказал усилить сторожу по реке, не давать замерзать проруби и беречься. Именно с этой стороны били по городу пушки Аристотеля.

Вечерело. Возок остановился у кромки берега, и от него по льду к заборолам направились две фигуры, неясные в морозном сумраке.

— Никак, баба? — удивился старшой из мужиков, что охраняли прясло речной стены.— Куда прет, убьют ведь! Эй, куда?— закричал он, подбегая, и осекся: — Дак это... Марфа Ивановна, прости, не признали враз!

— Вечер добрый, мужики! — озрясь, отвечала Борецкая.

От полыньи клубами подымался морозный пар. Черная вода стремилась внизу. Куски обмерзающего ледяного крошева, выплывая снизу, тотчас пристывали к краю проруби. Парень как раз долгою пешней, стараясь не очень высовываться по-за заборол, отбивал кусок пристывшего льда.

— Не замерзнет? — спросила Марфа.

— Следим!

— Тута не сунутце!— разом отозвались дружные голоса.

— Мотри, Ванята, опасайсе! — крикнул старшой парню с пешней.

Вновь бухнуло на той стороне, и ядро, просвистев в воздухе, с шипом зарылось в снег, прочертив длинный след.

— Метко бьет фрязин! — с похвалой отозвался кто-то из ратников.

— У него, вишь, пушки фрязин разоставлял! — пояснил Марфе давишний мужик, тот, что остерегал парня с пешней.— Тут у нас сторожко надоть, вчера троих повалил!

Марфа не отвечала, вглядываясь в вечерний сумрак, уже размывший ясные прежде очертания наводимого Аристотелем моста и грудящихся у пушек московских мастеров огненного боя. Один из мужиков, поковыряв сапогом снег, выкатил ядро,— поднести Борецкой,— и, поваляв носком сапога, чтобы остыло, подхватил рукою, но тотчас перебросил из руки в руку — каленое ядро еще сильно жгло и через рукавицу. Борецкая даже не глянула. Мужик еще что-то сказал ей. Марфа, сильнее запахнув платок, стала тяжело подыматься по ступеням на заборола, отстранив ключника, бросившегося было вперед ее. Долго стояла на виду. Молча, сжав губы, глядела в московскую сторону. Еще два или три ядра просвистели над головою, с шипом уходя в снег. Марфа не шевельнулась. И мужики замерли внизу, глядя на нее. Наконец, боярыня начала спускаться с заборол. На ступенях ее поддержали сразу несколько рук.

— Кто тут у вас над ратью? — спросила она старшого.

Тот назвал. Оказалось, какой-то плотник со Славны.

— Из бояр никого?

— Попрятались наши воеводы, Марфа Ивановна! — ответил старшой, поняв ее с полуслова, и добавил сурово: — То ничего.

Хлеба нет. То беда! Сколько народу скопилось в городи! — Он помолчал и прибавил тихо: — От голода не устоим...

Седьмого декабря новгородское посольство вновь явилось к Ивану, ведя с собою выборных от черных людей: Аврама Ладожанина — от Неревского, Кривого — от Гончарского, Харитона — от Загородского, Федора Лытку — от Плотницкого и Захара Бреха — от Славенского концов. Без них ни Феофилат, ни Яков Короб, ни иные не хотели взять на себя смелости объявить городу о позорных условиях сдачи.

Накануне на городском Совете попытались сочинить новые предложения великому князю, кабальные, но сохраняющие хоть видимость прежних свобод. С тем и явились на Паозерье.

Старосты черных людей, не доверявшие боярам, ни самому князю Московскому, держались особною кучкой. Так, особно, стали и перед государевыми боярами. Высокий, сдержанно-суровый кузнец-оружейник Аврам Ладожанин, старший над прочими. Неистовый, широкоплечий одноглазый седельник, затравленно озирающий московских воев, Никита Кривой, выборный Людина конца. Степенный староста, серебряных дел мастер Харитон, посланец от Загородья, что все еще верил в силу законных прав и добрую волю князя Московского. Невысокий ростом, остроглазый и суетливый епанечник со Славны Захар Брех, хитрый говорун и балагур, он и тут еще пробовал вполголоса повторять свои приговорки, ободряя себя и товарищей. И могутный светловолосый великан лодейный мастер Федор Лытка, посланный плотничанами, самый праведный, как говорили про него, мужик во всем Новгороде.

С послами вновь говорили князь Иван Юрьевич, Федор Давыдович и Василий с Иваном Борисовичи. Начал речь Яков Короб, поглаживая белой рукой мягкую бороду и оглядываясь с некоторым беспокойством на черных людей, в их простом, хоть и не бедном посадском платье и темных сапогах. Московские бояре также с отчужденным любопытством взирали на этих людей, увидеть которых в Совете с боярами государевыми на Москве было бы невозможно. Но таков был — пока еще был! — Господин Великий Новгород.

Яков предложил наместнику судить с посадником вместе. От особого посадничьего суда новгородцы отказывались. Феофилат, вслед за ним также скользом поглядывая на черных людей, предложил взимать с Новгорода ежегодную дань со всех волостей с новгородских с сохи по полугривне. Лука Федоров предложил Московскому князю держать своими наместниками новгородские пригороды, не меняя только суда. Яков Федоров за ним просил, чтобы не было выводов из Новгородской земли и о вотчинах боярских, чтобы государь их не трогал и чтобы не

было позвов на Москву. Все вместе били челом, прося, чтобы новгородцев не слали на службу в низовскую землю, а позволили охранять те рубежи, которые сошлись с новогородскими землями: Наровский, от немцев, Свейский и Литовский рубежи. Черные люди просили не рушить вече и порядки городские, не отбирать смердов от города.

Московские бояре, выслушав речи новгородских послов, переглянулись, усмехнулись, разом поднялись и вышли доложить о том государю.

Столь унизительных для себя предложений Новгород еще не делал никому за всю свою многовековую историю. Владыки Новгорода Великого оставляли себе уже только тень власти, но и тень власти прежнего Новгорода была ненавистна Ивану Третьему.

— Пожаловал бы государь, вече сохранил! — громко сказал Федор Лытка.

На него отчужденно оглянулись разом все бояре и житьи и промолчали. Ежели Иван Третий требует государства, как на Москве, то вече должно быть уничтожено в первую очередь.

Вернувшиеся государевы бояре расселись по лавкам, вновь переглянулись, и от них, от имени государя заговорил Федор Давыдович:

— Государь наш, великий князь, Иван Васильевич всея Руси, молвит так: били мне, великому князю, челом ты, наш богомолец, и наша отчина Великий Новгород, зовучи нас себе государем, да чтобы мы пожаловали, указали своей отчине, каковому государству в нашей отчине быть. И я, князь великий, то вам сказал, что хотим государства на своей отчине, Великом Новгороде, такова, как наше государство на низовской земле, на Москве. А вы нынеча сами указываете мне и чините урок, какову нашему государству быти. Ино то какое же мое государство будет?!

Потупились новгородцы. За всех ответил Феофилат:

— Мы не указываем великому князю, какому быть его у нас государству, но пусть тогда пожалует государь свою отчину, Великий Новгород, объяснит, какому их государству у нас быти, занеже их отчина, Великий Новгород, низовских законов и пошлин не знают, не ведают, как государи великие князи государство свое держат в низовской земле?

Яков Короб с облегчением посмотрел на Феофилата, они все понимали, чего требует Московский государь, но при старостах черных людей самим, как того хотел Иван Третий, предложить отменить вече они не могли. Участь Никифорова и Овина у всех еще была свежа в памяти.

Вновь выходили и возвращались бояре государевы. Волю Ивана Третьего объявил послам князь Иван Юрьевич:

— Князь великий тебе, своему богомольцу и владыке, и вам, посадникам и житьим и черным людям, тако глаголет: что били челом мне, великому князю, чтобы я явил вам, как нашему государству быти в нашей отчине, ино наше государство великих князей таково: вечу и колоколу вечному во отчине нашей, в Новегороде, не быть, посаднику степенному и посадникам не быть, а государство и суд, все нам держати. И на чем нам, великим князем, быти в своей отчине — волостям, селам и землям, тому всему быти, как и у нас в низовской земле. А которые земли наших великих князей издревле, от прадедов, бывшие за вами, а то бы все было наше. А что били челом мне, великому князю, чтобы вывода из новгородской земли не было, да у бояр новгородских в отчины, в их земли, нам, великим князем, не вступаться, и мы тем свою отчину жалуем. Вывода бы не опасалися, а в вотчины их не вступаемся, а суду быть в нашей отчине, в Новегороде, по старине, как в земле суд стоит.

Приговор вечу Аврам Ладожанин выслушал с каменным лицом. Кривой, тот не то всхлипнул, не то подавился проклятием, весь на мгновение исказившись лицом. Харитон, до этого часа веривший великому князю, побелел от возмущения. Захар Брех тоскливо оглянулся на сотоварищей, заглядывая снизу вверх в их суровые мрачные лица, и Федор Лытка, опустив голову, молча заплакал, не шевельнув лицом, не испустив ни вздоха, ни стона, только прозрачные капли сбегали у него по щекам, исчезая в светлой кудрявой бороде.

Послы, выслушав бояр государевых, сказали, что доложат о том вечу.

В последние дни площадь перед Никольским собором не освобождалась ни на миг. С утра до вечера толпились на вече мужики. Сюда приходили со стен сменившиеся сторожи, обсуждали всякую новость, рассуждали сами с собой:

— Дома что будешь делать? Чада голодны, жонка плачет!

— Тын на дрова испилил. Сосед, Сушко, уже крыльцо приканчивает!

— Теперича хлеба и за деньги не укупишь. Мрут и мрут, мор, бают, открылсе.

— И с деньгами подохнуть можно!

— Бояра-ти попрятались!

— Сожидают, как повернетце.

— Сожидать-то нецего уж! Вси помрем, богаты и бедны!

— Нынце и гробы делать некак, лесу нет!

В этот день вечевая площадь была забита битком, стояли у берега и на торгу, вплоть до Рогатицы. Толпа все густела. Новые подходили из Плотников и с Софийского заречья. Ждали послов.

— Едут! — пронеслось над застывшею толпою.

В шуме и возгласах вереница всадников миновала Великий

мост, подъехала к вечевой избе. Отворачивая лица, слезали с коней, заходили внутрь. Новый вечевой дьяк, избранный взамен Захара, появился на крыльце. Тревожно оглядел толпу, волновавшуюся у подножия вечевой ступени, поднял руку.

— Не томи! Молви!— выкрикивали ему из рядов.

— Государь великий князь Московский, Иван Васильевич всея Руси! — начал высоким голосом дьяк и поперхнулся. Справившись, докончил отрывисто:— Требует! Вече и колокол отложить, посаднику и тысяцкому не быть, а править ему у нас, как и на Москве, самовластно!

Настала гробовая тишина. Только пар от дыхания подымался тысячами белых клубков над площадью. Потом началось шевеление, ропот, кругами, шире и шире. Распространяясь, он перешел в крик:

— Не дадим! Не позволим!

— Обманули бояра, за нашей спиной сговорили!

— Не дадим!

— Где старосты наши?

— Лытка, Федор, ты скажи, было то ай нет?

Федор стоял перед толпой, прямой, огромный, опустив руки, и по лицу у него, как давеча, в думе государевой, текли слезы. Он не говорил ничего, но от ближних, что видели эти слезы, пробивающиеся по заиндевелым щекам и льдинками застревающие в курчавой, седой от мороза бороде, к дальним рядам, до самого края площади, больше, чем от слов, сказанных вечевым дьяком, доходил смысл сказанного и содеянного государем. Федор, так и не сказав ничего, кивнул головой, поднял руку, махнул и, закрыв глаза, поворотился, сгорбившись. И разом тысячеголосый стон пролетел над толпой.

— Как дело было?

— Сказывай!

Вышел Захар Брех.

— Братья! Ни в какую не могли сговорить! За горло взели! Как на Москвы, и всё тут! Боярам только вотчины дали, а вече и суд и все под Московского князя!

— Кривой! — звала в отчаяньи площадь. Тот только взмахнул рукой: да, мол! Выкрикнул: «Не допустим!» — и смолк.

Харитон, из всех сохранивший присутствие духа, выступил за ним и подробно рассказал, что и как было. Что самого государя не видели, но бояра выходили к нему спрашивать каждый раз и что надежды на то, что требование убрать вече пересмотрят, нет никакой. Он повернулся.

— Владыку давай!

Феофил, дрожащий от холода и страха, взошел на вечевую ступень.

— Тише! Владыка говорит!

Слабый голос Феофила едва долетал до середины толпы.

— Господу... Смирение... Молитвах наших... Хранить святыни отеческие... Не басурманам, не латинам на поругание, а своему православному государю нашему, князю великому в руце предаем мы судьбы наши... Князь великий помилует, яко детей своих... Со смирением встретим крест свой, уймем гордыню...

Ропот от его слов, как шорох идущего льда, прошел по рядам народа. Феофил кончил. За ним говорил Яков Короб:

— Мы предлагали смесный суд, дань ежегодную от волости, наместникам государя пригороды подавали. То наше, великих бояр, право было и наша власть. Всем поступились, вече бы и посадника сохранить! Старосты ваши скажут пускай, при них и говорка велась! И всё уже делали, всё испробовали до конца... Сила не наша! Помириться надоть!

Борецкая — она слушала вместе со всеми — рванулась, отпихнув каких-то мужиков, вырвалась из толпы, закусила губу. Слезы, бабские, непрошеные, рвались из глаз, повойник с платком сбился в сторону. Она взбежала на вечевую ступень, оттолкнула Короба.

— Пусти, Яков!

Стала перед народом. Рванув, сдернула плат на плечи. Виднее стали ее запавшие глаза, резко пролегшие морщины щек.

— Слушайте меня, люди добрые! Что ж это?! Что мы делаем! О чем речи ведем?! Смирение?! Кто не смирен пред господом? Кто из вас, из малых сих, гордынею обуян? Здесь о воле речь! Не вотчины, волю нашу новгородскую отдаем в руки Москвы! Честь нашу мечем под ноги Московскому князю! Нашу гордость, свободу и жизнь!

Глухой голос Марфы, страстный и жгучий, окреп, поднялся и прежним серебряным лебединым кликом заплескал над площадью, далеко разносясь в морозном воздухе, над притихшей громадой толпы.

— Колокол этот, что созывает вас с колыбели и до могилы на праздник, на суд, на бой, отнимут у вас! И вече, волю народную, волю граждан великого города, отберут! И что будет, что станет с вами, что сохранится от вас? Что будет с сильными боярами вашими? Что будет с тобою? — обернулась она к Коробу и другим посадникам, которые слушали Борецкую, не осмеливаясь прервать. — Земли оберегаете? Вотчины? Не убережете! Без силы ратной, без мужицкого веча отберут у вас и земли, и права! И ты, Яков, и ты, Филат, сколь ни хитер, а не убережете ничего! Да и вы все: житьи, купцы, горожане, у кого ни есть чего за собою — земли ли, злато, товар, иное имение какое — у всех вас и каждого всё отберут москвичи! Отрежьте голову, руки сами пропадут, и резать не нать! Что вы там сговорили с князем вашим великим? Позвы вам отложили? Захарья Овин от веча, и

то ездил в Москву на позвы государевы, а уже к вам, после Нового Города, князь не пожалует, сами поедете к ему! Не было бы выводов? Будут выводы! Суд по старине? Кнутьем будут бить бояр великих! Разосланы по городам чужедальным, в рубище, наги и босы, с протянутою рукою или в холопах в последних на чужом господском дворе обрящетесь вы тогда! И кто спросит, пожалившись о вас: «Из коего города?» — «Из Великого Новгорода»,— скажете вы, очи прикрыв со стыда! Как древле от половец страдала земля киевская и как древле брели граждане полоненные по камению босы, в сухоту — безводни, в стужу — наги, поминая друг другу родные края! И где уже будет он, Великий, и кто вступится за детей своих? Кто пошлет оружные рати вослед, кто златом выкупит тот полон? Расточатся, как древний Израиль по лицу земли, как пыль по ветру дорог дети твои, Новгород Великий! И забудут имя твое внуки их, забудут прадеднюю славу! Святыням новгородским, гробам владык преславных грядет поругание! И кто восхочет в скорби своей припасть к тем могилам, не увидит и светлоты храмовой, ни злата того, ни икон древних чтимых, не будет и могил святых! Владыка, лукавый и трусливый, ты, пастырь Великого города! Чем будешь ты, когда низвергнут град твой? Раб среди рабов! И вотчины твои, и весь блеск гордыни твоей в ничто ся обратит! И самого тебя ввергнут в узища, и спросишь когда: «За что?» Ответят тебе: «Ненавистен еси зраку господина твоего!» И в день судный, что грядет и уже близь дверей, уже и живущие ныне узрят скончание мира сего! В день судный что скажешь ты господу? Ты, пастух нерадивый, погубитель стада своего?! Братья, дети! Отчичи мои, граждане Новгорода Великого! Не дайте погибнуть вечу новгородскому, и колоколу своему не дайте упасть! Воля! Головы полагали прадеды отец наших за святую Софию, за волю, за славу Нового Города! Где ваша храбрость, где ваша удаль, где сила, мужество? От вас дрожала Волга, и немцы ливонские, и Свея, и Литва! Почто же теперь-то не скачут кони, не рубят мечи?!.

В то время, когда Марфа Борецкая говорила на вечевой площади, Иван безносый шел по направлению к торгу, по Ильиной, мимо Знаменской церкви, бережно прижимая к груди то, что еще утром было его единственной дочерью, Аниськой.

С началом осады им всей семьей пришлось перебраться в город. У Конона была теснота великая, но неожиданно Иван встретил старого знакомого, Козьму проповедника, и тот увел всю семью Ивана к себе в дом, на Торговую, недалеко от Ильинской церкви.

— Мне веселей, да и вам способнее будет!— приговаривал он радостно.

Козьма был добр и готов поделиться последним, но в доме его и так-то было всегда шаром покати, а тут, с началом голода, пришлось совсем плохо. Голодать они начали прежде многих других. Раза два Иван ходил к тестю, тот помогал, но Иван и сам видел, что у Конова грех просить — свои внуки едва живы. Иван в очередь ходил к Рогатицким воротам, в сторожу. Там иногда давали ратным немного овсяной каши, тогда он приносил, делился с семьей. Воротясь от ворот, Иван, закоченевший, от голода кровь не грела и под шубой, медленно отогревался на едва теплой печи. Тут и заболела дочь. Ей шел уже тринадцатый год, но девочка была слабенькой и хрупкой. Голод подкосил ее первую. Аниська лежала горячая и не просила есть. Ивану молча подвигали миску с жидким варевом, нетронутым дочерью. Но, глядя на поджатые сухие губы Анны,— та совсем, почитай, не ела вот уже сколько дён,— ложка валилась из Ивановых рук. В исходе ноября заболела и сама Анна. Жар полыхал в ее истончившемся высохшем теле. Они еще не знали, что в городе вместе с голодом началась моровая хворь, и оба думали, что и ребенок, и Анна заболели от голода. Козьма, жалко взиравший на гибель Иванова семейства,— сам он до того и прежде привык не есть по неделям, что голод переносил легче всех и всякою добытой крохой делился с постояльцами,— не знал, что и предпринять. Он обегал весь город и ополья и где-то за святым Онтоном достал крохотную посудинку молока. Согрели, поили Аниську, но девочка уже не пила. Анна, посеревшая от усилий, свалилась на постель, хрипло сказала:

— Умираю!— помотала головой:— Мне ничего не нать уже! Сходи к отцу, может снадобье какое, он травы знат, сходи... снеси ей...— она не договорила, дернулась, потянулась в сторону Аниськи и перестала дышать.

Козьма с Иваном долго сидели молча, онемев, потом переглянулись. Козьма закрыл глаза Анне, вымолвил, давясь:

— Иди, не мешкай, я приберу!

Иван закутал Аниську, взвалил на руки, вышел на мороз. Та тянулась худым угловатым телом, бредила:

— К маме хочу! Мама! — твердила она в жару, как маленькая.

— Идем, к маме, идем!— повторял Иван.

Аниська уже давно не боялась его лица, жуткой личины, неизбывной памяти московской. Наклоняясь, Иван согревал ее лицо и руки своим дыханием. Но он не прошел и нескольких дворов, как вдруг она заметалась, сдавила шею тонкими руками и, захрипев, стала отваливаться. Какая-то баба сунулась к Ивану, увидала, охнула:

— Кончаетце!

Ребенка занесли в дом, стали разматывать. Аниська уже не дышала. Баба жалостно ахала:

— Как же теперя? Обрядить нать!

— Ничего!— ответил Иван, поднял дочь на руки, вышел.

Куда теперь? Назад? К Козьме? Безотчетно он пошел вперед, к тестю, Конону, хотя было уже и незачем. Мало что замечая вокруг, он вышел к вечевой площади.

Пар от дыхания курился над стеснившимися людьми. У ближнего порога сидел какой-то мужик, свесив голову почти к земле. Не то уснул с устали, не то уже умер. Седая борода торчала из-под шапки, лица было не видать. Его обходили стороной, не трогая.

Иван услышал срывающийся голос боярыни. Не зная зачем, он начал пробираться вперед. На него оглядывались, но, видя ношу, которую Иван держал перед собой на руках, пугливо расступались. Он безотчетно шел на голос, не вслушиваясь в слова, узнавая только, что голос знакомый, не по-раз уже слышанный.

Так он пробрался к самому вечевому возвышению, к порогу вечевой избы. Оборотил изувеченное лицо к Борецкой, молвил негромко:

— Вот!— На руках поднял к ней посиневший труп ребенка и положил его на вечевую ступень.— Вот...— повторил он, вдруг согнулся, заплакал и пошел прочь. Ему молча давали дорогу.

И в наступившем тяжелом молчании, мужик, высокий, широкий в плечах и страшно худой, с лицом из одних костей, скул, провалившихся ямами щек, с туго обтянутым кожею, словно хрящ, носом, в спутанной бороде, седина которой мешала видеть еще более страшную высохшую шею, туго запоясанный, казалось, по самому хребту,— и будто виделись под овчинною свитой эти связки, мослы, обтянутые синей кожей, да мускулы, связывающие кости,— мужик, с рогатиною в руках, опиравшийся на нее, как на костыль, в суконном подшлемнике вместо шапки, устремив на Марфу блестящие глаза в черных глазницах, сказал, двинув кадыком, хрипло и гулко, так, что услышала площадь, без гнева, скорби или осуждения, просто, как свой своему:

— Дети мрут, Марфа Исаковна! Мы-то ничего, мужики, нам то на роду писано, детей жалко!

И раздался вопль. Плакала баба, причитая над мертвым телом:

— Касатушка ты моя, ненаглядная, ясынька светлая, не пожила-то ты да не погостила, отца с матерью да не натешила, роду-племени да не удбрила...

И площадь слушала причеть, и слушали тихо подошедшие к помосту, чтобы взять ребенка и отнести в церковь, мужики. И, сжав рот, слушала великая боярыня Марфа Ивановна Исакова, вдова Борецкая, и больше не сказала уже ничего.

Когда утихла суета и унесли мертвое тело, выступил староста оружейников Аврам Ладожанин. Он говорил с непокрытой головой, со строгим отрешенным лицом:

— В стану великого князя всего довольно! Снедный припас им со всей волости и изо Пскова везут. Не выстоять нам. Как скажете, братия, так и будет. Скажете: умирать — умрем. Мою кровь и кровь детей моих вам отдаю! Пусть все скажут, по концам, по улицам! Решайте.

Вече окончилось.

Неделю шумел город. Спорили по кострам и на стенах города, в домах и в гридницах, в храмах и на папертях церквей. Собирались сходки и шествия, предлагались невозможные и героические деяния: выйти всем городом, от мала и до велика, на бой с ратью Московского князя, победить или погибнуть всем вместе... И снова говорил архиепископ, и бояра, выпросившие себе вотчины и теперь выпрашивавшие жизнь, и говорил голод, и голод говорил громче всех, он и решил дело.

Четырнадцатого декабря новгородское посольство вновь прибыло к Ивану Третьему на Паозерье. Послы передали согласие Новгорода отложить вече, колокол и посадника и униженно просили сохранить вотчины боярские и не чинить вывода из Новгорода и позвов на Москву, Иван обещал. Послы робко попросили великого князя Московского целовать крест на том, на чем с ним урядились. Так повелось искони. Но Иван отверг их просьбу, отказавшись целовать крест к Новгороду. Перемолвясь меж собою, новгородские послы попросили тогда, чтобы крест целовал наместник великого князя. Без креста, без клятвы — это не укладывалось в голове. Веками заключали ряд с князьями великими, сговаривались, что дают они сами, чего требуют от князя, и князь целовал крест Новгороду, обещая не преступать ряда. Иван Третий первый отверг крестоцелование и на вторичный запрос новгородских посланников ответил, что и наместнику своему не велит целовать креста. Послы просили, что пусть тогда крест целуют бояра великого князя, чтобы хоть так соблюсти старину, но Иван и то отверг. Не хотел ни сам целовать креста Новугороду, ни через бояр своих, а это значило, что он и после заключения ряда волен делать что угодно, как в завоеванной, сдавшейся на милость победителя стране. Послы просили опасную грамоту — ездить из города, Иван и того им не дал.

Воротясь, посольство доложило вечу, как обстоят дела. Вздох пролетел по площади, когда они сказали, что великий князь отказывается целовать крест Новгороду. Но люди были уже сломлены, и лишь кто-то одиноко выкликнул из толпы:

— Вот оно, государство московское: нам — как велят, а с нами — как хотят!

ГЛАВА 30

первые, наверно, за несколько веков, в городе перестали чистить улицы. Снег засыпал кровли теремов и мостовые. Сугробы громоздились вровень с заборами. Узенькие тропки извилисто тянулись по снежным завалам. Только у въезда на Великий мост, на Прусской улице да на Рогатице снег кое-как разгребали.

По тропкам брели, спотыкаясь, люди — шатающиеся привидения или тени людей. С натугой, колеблясь, выбирались на берег с ведрами или салазками, с поставленною на них бадьей. Падая на колени не по-раз, вытаскивали салазки на угор.

На углу Великой и Розважи лежал уже второй день мертвый мужик, лицом утонув в сугробе и раскинув ноги в продранных лаптях — верно, кто-то из деревенских беженцев. Руки мертвеца, подкорченные к груди, тоже под локоть ушли в снежную наледь. Может, пытался встать или что-то нес, да так и ткнулся головой вперед.

Редкий всадник проберется по сугробам, погоняя отощавшего коня. Уже начали есть собак и кошек, до конины пока не дошло, лошадей берегли до последней возможности. Без коня будет пропасти, хотя и ворота отворят! Сгрудившиеся в теремах хозяева и гости-беженцы молча сидели у скудного огня, дров не хватало, стужа забиралась в дома. Рядом кашляли и метались в жару больные. В городе свирепствовал мор. Здоровые заражались от больных в битком набитых горницах. Не помогали ни ладанки, ни святое причастие, ни травы, ни заговорная вода, ни иное какое колдовство. Люди архиепископа и монахи городских монастырей долбили мерзлую землю, собирали умерших с голоду и замерзших на улицах горожан. В одну яму, отпев, опускали двух, трех, а то и до десяти покойников. Без гробов, завернутыми в саваны из грубой ряднины, перевязанной на ногах, на груди, где веревка поддерживала скрещенные руки, и вокруг шеи, чтобы закрыть лицо. Впрочем, желтые лица мертвых казались здоровее синих от голода и стужи лиц живых, полумертвых людей.

Кончалась вторая неделя с того дня, когда владыка новгородский с послами принял великокняжеские требования. Граждане, истомясь, ждали хоть какого уже конца. Но Иван все медлил и длил осаду, с московской, перенятой от татар медлительностью все задерживал окончательный ответ. Все еще за Волховом и у Зверинца часто и зло били пушки.

Московские ратники, осмелев, подъезжали к самым стенам, пускали стрелы на заборола города. На тяжело молчавших башнях изредка показывалась сторожа, ударяла пушка, летело ядро, крутясь и шипя зарывалось в снег. Так умирающий великан одним шевеленьем распугивает жадных до добычи стервятников, стерегущих с нетерпеливым клекотом, когда последнее дыхание угаснет в его груди и уже не заможет тот двинуть рукой.

Охрану стен несла городская ремесленная рать. Аврам Ладожанин обходил башенные костры. Мела метель. Сухой колючий снег летел в заборола, слепил глаза Выглянув в смотрильную щель, Аврам не сразу заметил кучку москвичей, возившихся у подножия стены. Они что-то подымали, верно, собирались взобраться на стену. Аврам нахмурился: «Сторожа заснула, что ле?» Он спустился по лесенке. Ратник притулился у наведенной пушки. Заснул! Аврам потряс его за плечо. Ратник повалился, под рукой почуялось ледяное тело. Аврам оборотил ратного лицом к себе — мертв! Разогнулся — в глазах потемнело от слабости. Он крикнул. Снизу появился второй, глянул на мертвеца, остановился было.

— Помоги!— сказал Аврам.

Вдвоем навели пушку, подожгли запал. Ядро далеко не долетело до места, но москвичи разом рассыпались, бросив лестницу, повскакивали на коней и исчезли в снежной заверти.

— Стерегай!— бросил Аврам, отходя. Подумал тревожно: «Что те-то молчат? Шуйский даве проезжал! Должно заснули или тоже умерли? Пойтить, поглядеть!»

— Бояра все, кто и был, с костров ушли!— отозвался ратник, трудно разлепляя губы.

— Савелков еще ездит пока, у него и конные есть!— отвечал Аврам.— Скажу погодя, пущай посторожит тута, не ровен час ночью стену займут.

Он помедлил, страшась выйти из хоть и неважного, но все же какого-то укрытия каменного костра на пронизывающий ледяной ветер заборол.

— Баба в жару лежит,— пробормотал ратник, тоже страшась остаться одному с мертвецом, когда уйдет староста.

— Мор!— ответил бронник.— Третьеводни сына схоронил. Хороший был сын. Деловой!

Он медленно взялся за скобу, отворил рывком маленькую, обитую железом дверь на стену и исчез в разом охватившем его

снежном облаке. Ратник, поглядев ему вслед, принялся оттаскивать мертвого подальше от бойницы. Тяжелое замороженное тело не поддавалось ему. Ратник распрямился, привалился к камню, с ненавистью глядя сквозь узкую щель на появившихся снова не в отдалении сытых московских воев на сытых лошадях, что разъезжали по краю городского рва, уже почти не страшась.

У Борецких обедали. За столом в малой горнице (большую давно уже не топили) сидели Марфа, Олена и маленький Василек. Было чинно. На скатерти блестело столовое серебро. Подавал старик слуга, один из немногих, оставшихся у Борецкой. Онтонина лежала в жару, ее тоже свалил мор, и Пиша только что ушла накормить больную. Стол казался чрезмерно велик для двух женщин и ребенка, а горница выглядела пустынной.

Ели печеную репу. Олена с ненавистью отодвинула серебряную тарель, бросила нож и двоезубую вилку:

— Не нать было раздавать все зерно, людей поморили и сами чем живы только!— капризно вымолвила она.

— Нать,— отвечала Марфа, не глядя на дочь и безразлично жуя. Олена всхлипнула. Марфа продолжала жевать, не глядя на нее. Прожевав, проглотила и, отрезая новый кусок репы дорогим ножом с узорчатою рукоятью из рыбьего зуба, отмолвила:— Книги читай! Кольми паче было иудеям от римлян осажденным в Ерусалиме при Титусе цесаре! А мы, православные, их не хуже. С голоду не помирашь! Глень, что на улицах деитце! Люди так всюю жисть живут.

— То люди, а то мы!

— И мы люди!— спокойно возразила Марфа, продолжая пережевывать пресную пищу. Окончила, откинулась, неспешно перекрестила лоб, повторила:— И мы люди. Не хуже и не лучше других. Что им, то и нам. Допрежь того не понимали. Вот и дожили до ума, допоняли. Поздно только! Раньше нать было. Что Иван-от города не берет? Али боитце, задавят его тута? Или измором хоцет? Все ить получил, цего еще?! Мертвяков себе копит только! Что-то Пиша долго не идет? Пойти, узнать!

Борецкая уже поднялась, как в дверь постучали.

— Кто там?— отозвалась она.

Вошел Савелков.

— А, ты, Иван! Гляжу, тоже не доедашь?

Савелков мельком глянул на стол. Марфа усмехнулась, поймав его взгляд.

— Вот, репу едим!

— У меня пшеница еще осталась, прислать?— предложил Иван.

Марфа покачала головой:

— Не надо, береги лучше. Садись! С чем пришел, говори!

Олена, забрав Василька, вышла.

— С плохим!— ответил Савелков, садясь, и поник, сгорбившись, уронив руки на колени.

— Ноне с хорошим не ходят!— ворчливо отозвалась Борецкая.

Савелков побледнел, даже посерел как-то, заметно похудел за эти дни. Обмороженное на заборолах лицо было все в темных шелушащихся пятнах. Он чуть помолчал, потом поднял усталые глаза:

— Князь Шуйский продал нас! На вече сегодня целованье сложил с себя Новугороду.

Марфа прикрыла глаза:

— Василь Василич! И он...

— Сила солому ломит! —мрачно сказал Савелков.— К Московскому государю отъезжает, за Тучиным вслед.

Борецкая устало опустила руки.

— Ну, спасибо, сказал, Иван! Тридцать лет... Куды! Поболе тридцати летов с им...— И, уже оставшись одна, когда Иван вышел, Марфа повторила, как эхо:— Тридцать летов!

В тереме Шуйского все было готово к отъезду. Кони оседланы, узлы увязаны. Старый служилый князь новгородский сидел в пустой горнице и горько думал о том, что кончается с ним теперь, совсем и навечно, независимый род князей суздальских, Рюриковичей Мономаховой ветви, от Всеволода Великого, от Андрея Ярославича, что володел в оно время столом владимирским, старейший род, по лествиничному древнему счету, рода князей московских. Старейший род, потерявший даже удел свой, захваченный растущею Москвой! Он один из князей суздальских не склонился и не склонялся все эти долгие годы. Чаял и умереть непокоренным, как Дмитрий Юрьич, да вот не пришлось! И теперь, сложив целование Новгороду, он сидит у стола в пустой горнице и не едет, не может вот уже второй день покинуть навсегда пустую хоромину свою. А слуги ждут, и кони готовы давно.

— Эй, князь!— донеслось с улицы.

— Выходи, князь!

— Покажись, перемолвить надоть!

— Сладки калачи московские?

— Василь Василич, глень-ко!

— Курва он, а ты его Василичем... Мать! Выходи! Прихвостень московской, нявга, сума переметная!

Одинокий камень резко ударил в оконницу.

Шуйский встал и, отстранив кинувшегося было в перехват стремянного, пошел на жидких, как от болезни, подгибающихся ногах к выходу. Не дошел. Голоса на улице тронулись в ход, яростно споря, начали отдаляться от окон. Понял — уходят. Постояв у косяка, он сгорбился и нетвердо побрел назад, чуя всем телом противную мерзкую дрожь. На рати не бывало такого.

— Враз бы ехать, княже!— укорил стремянный.

Шуйский медленно поднял голову, долго глядел, не видя, потом отмолвил тихо и печально:

— Ты поди.

И, не дожидаясь, когда глухо бухнет за спиною дубовая дверь, вновь утупил очи долу.

Почти сорок лет верой-правдой служил Господину Великому Новугороду. Водил его рати, строил города. Тогда, при Василии Темном, казалось — одолеют Шемячичи. Нет, Москва одолела! Тверской князь, Литва — всех береглись. Не уберeглись великого князя Московского! Сам митрополит и владыка Феофил за него. Видно, и бог за него! Первый ли он изменяет? И где бояре, господа новогородские? Где Михайло Берденев, где Казимер, дважды чудом ушедший от плахи и заточения? Где Александр Самсонов, Федоров, Глухов? Попрятались! Что он! Служилый князь! Служить стало некому... В черных людях и то нестроение, кто за короля, кто за Московского князя! Пока еще льстит, предлагает службу Иван. На горькую удачу слишком осторожен великий князь, где можно согнуть — не ломит... Он не бежит, он честью объявил на вече, что слагает с себя службу новгородскую. Он и давеча не побежал, пошел было к мужикам... Все равно изменник. Общее было дело! Чье оно теперь стало? И чего ждет вот уже второй день сложивший с себя целование Господину Великому Новгороду служилый князь Василий Васильевич Шуйский? Почто не едет прочь?

Знал, чего ждет. Кого ждет. И когда, проскрипев по снегу, на улице остановились сани, не удивился, понял сразу, пошел встречать.

Марфа Ивановна тоже сдала, за голодные недели, видно. Углубились морщины, губы сморщились, круги под глазами — совсем старуха. Глаза только в темных глазницах по-прежнему горят неукротимо.

— Думала, приедешь проститься, князь! Сколько лет заодно думу думали!— сказала Марфа, входя и опуская плат с головы.

— Прости, Ивановна!— потупился Шуйский, провожая ее к столу.

Он кивнул было слуге, но Марфа потрясла головой:

— Трапезовать у тебя не буду, не за тем приехала. Чужие мы стали, Василий!

— Я сделал, что мог,— с болью выговорил Шуйский, морща лицо.— Все отказались уже! Захарьинич с Коробом твоим, смотри, доторговались, совсем город продали! Ратные бегут или мрут на стенах, а у московской рати всего довольно, хлеб из Плескова везут! Я, Ивановна, дрался ищо, когда ты была молода. Дрался и с великим князем Василием, и с Иваном, на Двины. С поля не бегивал, а ныне... Сила не наша теперь!

Борецкая долго глядела на князя, что умолк, свесив голову. Тяжко поднялась с лавки.

— Ну, прощай, коли так! Умирать вместях, и верно, невесело. И нас не поминай лихом!

Марфа в пояс поклонилась, поворотилась. Тяжело хлопнула ободверина.

Князь вдруг вскочил, бросился к двери, рванул ее, без шапки выбежал на крыльцо, что-то еще сказать, пояснить... Остоялся: сказать было нечего. Все! Со двора слышно было, как возок Марфы тронул, заскрипев по снегу.

Шуйский вздрогнул от холода, воротился в дом, кликнул:

— Эй, кто там!— Строго поглядел на стремянного:— Собирайся. Едем!

— Всех собирать?— обрадованно переспросил холоп.

— Всех!

— Господи благослови!— воскликнул стремянный, перекрестившись.

В доме поднялась суетня.

Двадцать девятого декабря новгородские послы были вновь приняты Иваном. Они уже не просили ничего и ни о чем не уряживались. Молили об одном — объявить им волю великого князя, какую ни буди, что прикажет государь.

Иван долго разглядывал присмиревшее посольство: скорбного Феофила, потускневшие лица Короба с Феофилатом.

— Тяжко в городе, гладом и мором помирают!— осмелился прибавить Феофил.

Иван слегка склонил голову, еще раз оглядел послов, и произнес с расстановкой:

— Что били мне, великому князю, челом богомолец наш владыка и посадники с тобою, и житьи, и черные люди от нашей отчины, от Великого Новгорода, чтобы я пожаловал, гнев свой отложил, и вывода бы из новгородской земли не учинил, и в вотчины, и в животы людские не вступался, и позва на Москву не было б, и суду быти по старине в Новгороде, как суд в земле стоит, да и службы бы в низовскую землю вами не нарячжал — и я тем всем вас, свою отчину, жалую, все то отложил. А о прочем сговорите с бояры моими!

Послы, уже и тем обрадованные несказанно, дружно склонились перед Иваном.

Бояре великого князя передали новгородским послам нечто, гораздо менее приятное. Великий князь требовал земель себе, поскольку «без того ему свое государство в Великом Новгороде держать не мочно». Посадники и житьи обещали передать требование князя Новгороду.

Тридцатого пришел из Новгорода князь Василий Шуйский служить великому князю Московскому и бил челом. Иван милостиво принял новгородского воеводу и одарил.

Первого генваря новгородские послы явились и предложили Ивану Луки Великие и Ржеву Пустую — пограничные области, бедные и разоряемые Литвой, которая имела к тому же права на часть Ржевской волости. Это была хитрость мелкая, смешная, придуманная Феофилатом Захарьиным на гóре Новгороду. Иван Третий отказался и еще три дня не принимал послов. За эти три дня начала месяца мор усилился до того, что не успевали собирать трупы.

Четвертого генваря послы явили Московскому государю десять волостей: четыре владычных, три — Юрьевского монастыря, Благовещенскую волость у города Демона, Онтоновскую волость и Тубас-волость, а сверх того — все новгородские земли в Торжке. Иван отказался и от того. Послы, наученные горьким опытом предыдущих переговоров, тут же били челом, прося, чтобы Иван сам указал, что ему надобе? Ответ гласил: половину владычных и монастырских волостей и все новоторжские, «чьи ни буди». И с тем Иван отпустил послов в Новгород.

Это был черный час архиепископа Феофила. Он успел уже забыть те времена, когда прятался в ужасе в спальне Ионы и молил отпустить его в монастырь. О, теперь он ни от чего не хотел отрекаться! Стада, золото, соболя, драгоценные кубки и чаши,— скрепив сердце, он мог всем этим дарить и дарить великого князя, дело наживное! Но земля! Волости дома святой Софии!

Он хитрил, изворачивался, он лгал Борецкой и Коробу, доносил митрополиту на своих сограждан, задаривал золотом князя Ивана — все для чего, для чего?! Чтобы спасти себя, спасти земли, о коих он уже не мыслил безотрывно от собственной особы.

Он сидел, маленький, злобный, и изредка стонал от бессилия, от запоздалого раскаянья. Зачем сжил со свету Пимена, послал на смерть Еремея Сухощека? Доносил на Юрия Репехова? Изворачивался, запрещал воям ратиться с Москвой! Предал Овина, помог, умолчанием пред Новгородом, посольству Назара с Захаром — зачем? Травил еретиков, попа Дениса, за проповедь противу земель монастырских. Зачем?! К королю надо было, к королю Казимиру! К митрополиту Григорию! От по-

следней мысли его кинуло в жар. Феофил оглянулся сторожко, не сразу сообразил, что мысль не подсмотришь. Опасная, однако, мысль, соблазнительная!

Служка постучал в дверь, сообщил: пришли от черного духовенства, игумены и старцы монастырские. Вздохнув, Феофил приказал впустить.

Старцы бедных монастырей, прослышав, что Иван отбирает монастырские земли, пришли с челобитьем: говорим-де о сирых и убогих, но кто же не сир и не убог из них, невзгодою оцепляемых и ратною силою разоряемых? Игумены и старцы молили похлопотать перед государем о малых монастырях, смилостивился бы и не отбирал у них земель монастырских, зане и так бедны, доходов никаких нету, гладом помираем, вдосталь от рати пограблены, иные и вконец прожиток свой истеряли! Да пожалует великий государь князь Московский убогих стариков и старух господа ради нашего!

Убогих... «Я убог! — хотелось крикнуть Феофилу.— Я нищ! Паче Иова! Паче Ионы! Что у вас отберут? Что могут у вас отобрать?! Десяток обжей у всех вместе?! У меня, у дома Святой Софии, в одной волости новгородской, кроме Двины и Заволочья, пять с половиною тысяч обжей земли со крестьянами!» Он обещал старцам похлопотать о малых монастырях перед государем Московским...

Шестого генваря посольство вновь явилось к великому князю. По слезному челобитью Феофила Иван ограничился землями шести крупнейших новгородских монастырей: Юрьева, Благовещенского, Аркажа, Онтоновского, Никольского-Неревского и Михайловского, что на Сковородке, взяв у них половину волостей. Он не спешил — придет час, и они отдадут ему, сами поклонившись, и остальное. Иван велел составить список всех церковных земель, пригрозив, что ежели которое утаят — то будет князево. Смягчась, на другой день Иван передал владыке, что отбирает у него не половину, а лишь десять волостей. Он не спеша разбирал грамоты, расспрашивал, что за земля и где расположена.

Восьмого генваря посольство напомнило, что в городе мор и глад.

— Какова дань новгородская? — вопросил Иван в ответ.

— С сохи по полугривне, по семи денег,— ответили послы.

— Что есть ваша соха? — вопросил Иван.

— Соха три обжи,— сказали ему,— а обжа — один человек орет на одной лошади, а кто на трех лошадях и сам третий орет ино то соха.

Иван захотел тогда взять с обжи по полугривне. Он плохо представлял себе северные земли, сравнивая со своими, где урожай был обильнее раза в три. Обманчивый блеск новгород-

ских нобилей-корабельников, приплывших в Новгород из-за трех морей, сбивал его с толку. Начался торг. Ивана с трудом убедили, что предложенная им дань не по силам. Согласившись в конце концов, потому что и свои бояра, знакомые с землями новгородскими, убеждали его в том же, на новгородское предложение брать по полугривне с сохи, он, однако, велел платить такую же дань и с двинских земель, и с Заволочья, и брать со всех, кто пашет землю и ранее не облагался налогом: со старост и с ключников, и со всех прочих сельских чинов. Послы просили затем не присылать своих писцов и даньщиков, прокорм которых часто дороже стоит, чем сама дань, обещая собирать самим и платить без обмана. Иван разрешил и это.

Десятого генваря великий князь приказал очистить Ярославов двор. Список, на чем, на каких условиях Новгород должен будет присягать государю Московскому, он велел явить народу у владыки в палате. Иван уже не хотел, даже по этому поводу, чтобы собиралось распущенное им новгородское вече. Двенадцатого послы сообщили, что список явлен народу, и осторожно предложили вместо Ярославова двора, святыни новгородской, взять место напротив, в Околотке. Но тут Иван Третий был тверд. Двор самого Ярослава, древнее место княжое, откуда князей сумели выселить когда-то на Городец и где собиралось ненавистное новгородское вече,— этот двор должен быть возвращен ему, великому князю Московскому, государю всея Руси, наследнику великих князей киевских! «Всея Руси!»— подумал Иван, вспомнив опять Назария, в словах у которого все было как-то не так... Князь и наследие княжеское, родовое! А как иначе?

Иван велел дьяку новгородскому списать целовальную запись со своей грамоты, и тот список собственноручно подписать владыке, приложив печати пяти концов, и назавтра, во вторник, тринадцатого генваря, быть у себя, у Троицы на Паозерье всему городу: боярам, и житьим, и купцам — приносить присягу государю.

Полумертвый город зашевелился, согласно желая, чтобы только скорее наступило неизбежное. Уже не закрывались ворота, умолкли пушки. Город как целое умер, и лишь внутри мертвого, прекрасного и в своей смерти, одетого инеем величавого тела копошились люди, людишки, каждый в своем углу, спасая, что можно или что казалось им еще можно было спасти, готовясь к завтрашнему позорному дню.

В эту ночь имущие прятали сокровища, ожидая грабежей от московского войска и воевод великого князя. В эту ночь сам владыка Феофил в сопровождении казначея Сергия и двоих верных ему служек крался по хорам Софийского собора, прислушиваясь к гулкой пустоте ночного храма. Служки несли тяжелые

кожаные мешки. Он уже больше не верил Ивану Третьему. Золото замуровывалось в стену. Здесь казне Софийского дома суждено было пролежать почти столетие, до кровавого внука Ивана, тоже Ивана и тоже Васильевича — Четвертого, Грозного, обнаружившего этот клад, «казну древнюю сокровенну», так и не взятую Феофилом, схваченным и увезенным в Москву.

И не в одном Софийском соборе, в церквах, в погребах боярских зарывали, прятали добро, в чаяньи пересидеть смутную пору, вятшие мужи Великого Новгорода, не знавшие еще о том, что наступит время выводов и денег своих им все равно не видать.

В церкви Ивана на Опоках Марко Панфильев, староста купцов-вощинников, с отцом, Панфилом Селифонтовичем, и двумя купцами-ближниками хоронили братчинную казну.

Ключ от церкви Марко заранее взял у сторожа. Серебро, принесенное в кожаных мешках, перекладывали в глиняный горшок, поочередно опрокидывая мешки. Деньги лились, как серебряная живая рыба, звонко журча и растекаясь, застывали грудой серебряной чешуи. Горшок наполнился до краев. Ломиком приподняли каменную плиту, отодвинули вчетвером, тяжело дыша, и долго разбивали раствор под плитой, делали место для горшка — так надежней! От свечки по стенам метались ушастые тени.

— Будет! — сказал Панфил.

Марко с Наумом вдвоем, надрываясь, опустили в землю неподъемный, упрямо рвущийся из рук, будто литой горшок, полный серебра. Быстро зарыли, забросали известью, притоптав, уложили плиту. Панфил долго елозил по полу, подпахивая землю. Кончив, окропили водой пол, чтобы совсем сравнять следы,— все! Панфил тяжко разогнулся, уронив отяжелевшие руки:

— Ну вот, Марко! Сколь ни копи, а в ларь с тобою медный пул положат один. Богу боле не надобно! Я в монастырь, а ты, ежели...

Он задышался и вдруг, слабея, повалился сперва на колени, потом сел и, схватив себя за виски, вжав бороду в колени, глухо зарыдал. Наум и Артемий стояли, потупясь, не утешая и не прерывая. И в пустой церкви, долго, постепенно затихая, раздавались эти рыдания, одинокий плач над гробом Господина Великого Новгорода, и вздрагивала косматая тень, увеличенная лампадой до верхних закомар храма.

Панфил замолк и начал подниматься. Марко скоро нагнулся поддержать отца, пробормотал:

— Пошли... Чего... Бог даст! — не договорив, отчаянно махнул рукой.

Наум подобрал орудья, обвел еще раз почти догоревшею

свечой пол, убеждаясь, что не оставили следов, и пошел следом. Каждый из них знал, что почти наверняка вощинное братство, столь много сделавшее в борьбе с Иваном Третьим, закроют, и тяжко думал о том, как жить дальше.

Только Борецкая, тоже не уснувшая эту ночь, ничего не прятала. Она ждала.

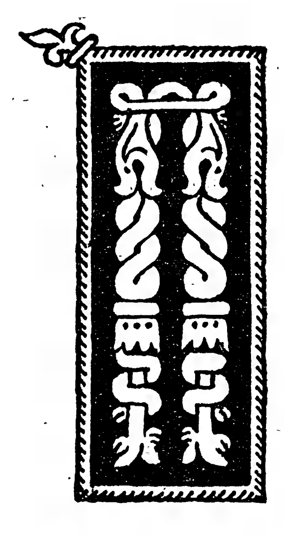
С утра тринадцатого генваря из городских ворот в конце Прусской улицы двинулся ход, густая толпа. Рядами шли бояре, житьи, духовенство, купечество. Впереди — владыка Феофил в своем облачении. День был ясный. Мороз сдал и слегка протаяло. Ряды московской боярской конницы выстроились вдоль всего пути до Паозерья. Колокола звонили, и от этого, и от священных облачений духовенства издали казалось, что движется крестный ход. Да он и был «крестным» — шли целовать крест государю Московскому, шли на позорище, как Иисус, крест свой на раменах несущий.

У Троицы длинная очередь присягающих медленно втягивалась в церковь. Подходили, произнося заученные накануне слова: «Блюсти грамоту и служить великому государю Московскому честно и грозно по всей воле государевой, воистину и без обмана, «а на том целую крест»,— и однообразным движением целовали крест, который, как священник на причастии, держал государев боярин.

Пока подходили задние и длилось крестоцелование, продолжались переговоры. Иван постепенно предъявлял все новые и новые условия, с которыми новгородским боярам и архиепископу приходилось соглашаться уже без спора. Иван потребовал, чтобы новгородцы обязались не мстить псковичам «никоторою хитростью» и обиды им никакой не чинили, чтобы не мстили боярам, перешедшим ранее на службу великому государю. Именно тут новгородцы узнали, что двинские и заволочские земли Иван также берет за себя. Все пригороды новгородские: Руса, Ладога, Копорье, Ям, Демон, Порхов, Морева, Вышегород и прочие, а также все двиняне и заволочане слагали с себя крестное целование Новгороду и присягали великому князю. Иваньских попов, которые еще в прежние годы за чтение государевых посланий в церкви были прогнаны и лишены руги, Ивана и Сеньку Князька, Иван Третий приказывал воротить, ругу и дворы им вернуть, и зажиток весь за прошлые годы. И на всё бояре новгородские с владыкою соглашались без спора.

Меж тем процессия продолжала двигаться и продолжала присягать на верность государю, отказавшемуся присягнуть в том же своим новым подданным.

ГЛАВА 31



ятнадцатого генваря, в четверг, великий князь послал в Новгород своих бояр привести к присяге по той же грамоте весь Великий Новгород и «крест целовали чтоб в палате владычной»,— веча с этого дня уже не было. Колокол еще висел на звоннице, мертвый, умолкший навсегда, и у него стал на часах московский ратник.

Целовали крест все — и жены, и дети боярские, и черные люди, и вдовы, и чернецы, и черницы. Олена, растерянная, забежала было к матери:

— Матушка, как же быть-то, все крест целуют?

— Ну что ж, иди и ты поцелуй,— ответила Борецкая глухо.— Мне идтить незачем. Ко мне придут.

Олена посмотрела в мертвое лицо матери и устремленные мимо нее, в одно, неведомое, глаза, не посмела больше сказать и тихо вышла.

Марфа сидела одна. Она не пошла смотреть на процессию голодных, измученных и напуганных людей, потянувшихся изо всех городских концов к Детинцу. Она ждала.

Государевы бояре забрали на владычном дворе укрепную новгородскую грамоту за пятьюдесятью восемью печатями. Последнюю грамоту, последний договор мужей новгородских.

Восемнадцатого генваря Ивану Третьему били челом в службу бояре новгородские и все дети боярские и житьи, уравниваясь тем самым с московскими служилыми дворянами. Приняв челобитье, Иван Третий выслал Товаркова к боярам Казимеру, Якову Коробу, Феофилату Захарьину, Берденеву, Федорову и прочим и велел им сказать, что по той бы грамоте, по которой крест целовали, по той бы и службу правили: доносили государю на братью свою. «А что услышит кто у брата у своего, у новгородца, о великих князех, о добре и о лихе, и вам то сказати своим государем, великим князем». Напротив, государевы тайны запрещалось разглашать строго-настрого.

По челобитью владыки в тот же день Иван Третий дал приставов очистить дороги и охранять от грабежа тех, кто едет из города и в город. Наконец-то первые пугливые обозы со снедью потянулись в разоренный город из разоренных окружающих деревень. Кто еще остался жив из беженцев, с теми же обозами спешили выбраться на волю.

Двадцатого генваря в Москву отправился гонец с известием, что великий князь отчину свою, Великий Новгород, привел в свою волю и учинился над ним государем, как и на Москве. Посол прибыл в Москву с известием двадцать седьмого.

Двадцать второго генваря государь поставил наместников Новугороду, князя Ивана Васильевича Стригу-Оболенского да брата его Ярослава, который торжествовал, предвкушая сытные новгородские взятки и поборы.

Из-за мора сам Иван Третий не ехал в город. Сидя на Паозерье, он обсуждал с ближними боярами, кто из новгородцев заслуживает примерного наказания. Назарий нетерпеливо ждал этого часа, чая сквитаться с Васильем Максимовым, двойным предателем — и Новгороду, и великому князю. Он мучился всю эту пору, тяжело переживал непонятную месячную задержку в переговорах, роковую для черного народа, простых граждан Новгорода, в душе не понимая великого князя. Ведь гибнут же люди! Как он может? Но Иван мог. Назарий обличал бояр Великого Новгорода, перенося на них свои нетерпение и гнев. Расправы со своим ворогом, Васильем Максимовым, он ждал как первого знака того, что великий князь начинает править по единому для всех закону, невзирая на лица сильных, казнит тех именно, кто согрешили противу народа, языка русского. И когда узнал, что того даже не подвергли опале, а, наоборот, поручают ему какую-то службу при наместнике, когда узнал об этом, то громогласно, не таясь ни от кого, начал обличать перед государевыми боярами и самого Василья Максимова, и неправедный суд государев.

Не знал Назарий, что честность бывшего новгородского тысяцкого никого и не заботила. От него требовалось холуйское служение московской власти, и этому требованию Максимов отвечал безусловно, а раз так — его и использовали по назначению. Не ведал подвойский, что и на него, на самого Назария, глядят здесь полунасмешливо, что для бояр государевых он выскочка, без роду и племени, да еще и новгородец в придачу. Что московская законность покоится на силе и желании государя, что законы не применяются, а изобретаются когда надо и какие надо, что законность по-московски в этом-то и заключена, и ежели и применяются какие-то законоположения и устраиваются разбирательства, то только между своими и для своих, чтобы не пере-

дрались, не утопили один другого, что вернее всего тут поговорка: «Закон что дышло, куда повернешь, туда и вышло», и что высший закон — власть государя, и только она безусловна, а что ему, Назарию, чтобы только уцелеть, нужно быть бы таким, как Брадатый, уметь толковать и вкривь и впрямь, применительно к случаю, не лезть вперед и уметь не иметь своего мнения.

Всего этого не знал Назарий, и все это он должен был узнать незамедлительно. Когда, в ярости, он принялся обличать государев суд, Ивану тотчас донесли об этом. Иван Третий выслушал, нахмурился — меня учить?! Молча отпустил доносчика, задумался и вдруг понял. Мысль, не дававшая ему покоя, наконец обрела свой вид. Вот они, старые опасения! Вот она, смута новгородская! Язык русский! Законы единые! С этой стороны ограничить власть, его власть! Русская земля? Как у них тут: Господин Великий Новгород, вече, мужики — так и во всей земле?! Земля, а он? Посадник от мужиков?! Мысль была настолько нелепая, что Иван рассмеялся. Нет, власти, богом данной, предками утвержденной, он не отдаст никому! Расточить! Подальше от таких умников!

Он приказал взять Назария и заковать в железа без милости. Это означало скорую гибель в затворе незадачливого новгородского краснобая.

Двадцать девятого генваря, в четверг, на масленой неделе, Иван Третий вступил в Новгород. Главные улицы уже были расчищены, мертвецы зарыты. Город понемногу начинал оживать.

Вновь Иван ехал в Софию на праздничное богослужение, только теперь с другой стороны, по Прусской улице, мимо теремов боярских. С ним вместе ехали братья, князь Василий Верейский и вооруженная свита.

В Софии великий князь отстоял обедню. Сопровождавшему его мастеру Аристотелю он указал на собор, примолвив:

— Отчина наша! Понеже от прадед наших, Владимира Ярославича, прародителя князей московских, строена!

Он не сказал ничего более, но Аристотель, уже изрядно понимавший по-русски, уразумел сразу, на что намекает Иван. С низким поклоном зодчий, тщательно подбирая слова трудного русского языка, ответствовал, что он «внемлет помышлению великого государя и будет здати собор Успенский видом сходно Владимирскому, но величием не в мале уступить храму святой Софии Нового Города».

Из Софии в палаты владычные Иван Третий прошел внутренними переходами, по коим ходил в Софию сам архиепископ. Дорогою ненароком вступил в Грановитую палату, огляделся. Тут, в этой палате, они заседали, тут решали дела, наряжали послов, отселе исходили смуты и гордость. Кончено! Сейчас

Иван выйдет отсюда, но пронесет память о том и через десять лет будет создавать в Москве палату, видом подобную новгородской, но бо́льшую размерами, для своей думы великокняжеской.

Кончено! Еще бушевала смута на окраинах новгородских владений. Еще царь казанский, прослышав, что Иван сам-четверт убежал, ранен и разбит, из-под Новгорода, соблазнившись ложною вестью, сделал набег на Вятку (но узнав истину, тотчас убрался восвояси), за что и был наказан ответным походом москвичей. Еще немцы, решив, что пришло их время, кинулись к Пскову и были отбиты ратью великого князя. Еще долго не знали о разгроме на Двине, Мезени, Печоре, у камня Югорского, а и узнавши, долго не хотели признать. Так не верилось никому, что великан, охвативший полстраны, весь север, от чудских лесов до Урала, чьи дружины веками наводили страх на окрестные земли и народы, что этот великан повержен в прах и растоптан московскою ратью. Но было кончено. Все.

Ветер выдувал из распахнутых настежь дверей вечевой палаты берестяные обрывки грамот. Иван Стрига, изъяв нужные Ивану договорные списки и описи земельных владений, распорядился выкинуть и уничтожить остальное, что не представляло нужды для дьяков государевых.

И уже посланцы великого князя спускали на веревках вечевой колокол. Вечную палату на Ярославовом дворище велено было разобрать в тот же час, чтобы не оставить и места того, где собиралось мятежное племя новгородское.

Колокол было приказано увезти в Москву и повесить на колокольню строящегося Успенского собора. И вот с утра трудились над ним москвичи. Он не хотел уходить, раскачивался, пробовал крикнуть в голос. Ему вырывали язык. Падая, тот чуть не убил зазевавшегося ратника. Рубили топором перила, разламывали часть звонницы — все равно сносить!

Внизу на оттаявшем снегу толпились суетливые москвичи, а посторонь, не в большом отдалении, стояли молчаливые толпы новгородцев. Несколько веревок, протянутых к колоколу снизу, то натягивались, то ослаблялись.

— Пошел! Па-а-берегайсь!— заорали с костра звонницы.

Затрещали балки. Колокол дернулся, наклонился, косо рванувшись вниз.

— Не разбить бы!

Колокол велено было довезти живым. Ратники суетились, укрепляя тяжи. Один стал обрубать задерживавшие колокол нижние плахи настила. Щепки отлетали, кружась, как листы грамот. Снова раздалось:

— Па-а-аберегайсь!

Колокол вновь дернулся и опять застрял.

— Не хочет! — сказал кто-то в толпе горожан.

Баба всхлипнула. Мужик оборвал грубо:

— Не реви, дура, все одно теперь!

Худые мужики и жонки, схоронившие детей, погибших от мора и голода, молча смотрели на то, как ругаются над их святыней вооруженные пришельцы. Конная московская сторожа теснила народ.

С противоположной стороны вечевой башни полсотни московских ратников удерживали на туго натянутых веревках опускаемый с другого боку колокол. Ими распоряжался боярин, что сидел верхом на коне, без нужды то понукая, то осаживая жеребца и заезжая то справа, то слева.

— Па-а-шел! — вновь раздалось сверху.

— Бревном, бревном подопри!

— Куда, бл-ны дети! — кричал боярин, взмахнув плетью, когда кто-то из ратных оторвал на миг руку от веревки, чтобы утереть взопревший лоб. — Я те, сукин сын!

Колокол пошел и ударился краем о стену звонницы. Вновь понеслась боярская матерная брань. Колокол, врезавшись острым краем меж бревен, начал крениться. Зашевелились венцы. Вновь рубили, кричали, подымали и опускали канат. Всхрапывали лошади, косясь на медное качающееся чудовище. И только толпа стояла в молчании. Лишь тихо плакали жонки, и порой по худой, промороженной досиня на заборолах щеке мужика стекала, прячась в бороде, нечаянная слеза.

Колокол, наконец, лег на землю. Московские ратники подтаскивали волокушу, под уздцы пятили коней, запряженных гусем по четыре в ряд. Лошади путались в упряжи, мотая головами. Когда с помощью ваг и бревен колокол наконец взвалили на волокушу и повезли, плач на площади стал слышнее. Уже многие плакали в голос, причитая, как по покойнику. И пока везли его по городу, взбрызгивая тающий снег, дергая постромки и надрываясь, косматые татарские кони, горожане стояли рядами, крестились на колокол и плакали. А некоторые подходили и подбегали, не обращая внимания на окрики, пинки и удары плетью московских ратных, и, сняв шапки, целовали холодный липкий металл.

Колоколу предстоял далекий путь. Он будет проваливаться в ручьи и застревать на дорогах, будет ползти и ползти, пока, наконец, усмиренный навсегда, не будет вознесен на колокольню заодно с колоколами государевыми, и уже не выделится, не закричит, и будет неотличим его голос от прочих голосов колокольных в дружном благовесте московских церквей.

Первого февраля Иван велел поимать купеческого старосту Марка Панфильева. К нему явились на дом. Самого Панфила,

уже обещавшегося богу, не тронули. На беду, его не случилось дома. Сын так и не простился с отцом.

Второго февраля, в понедельник, велено было поимать Марфу Исакову Борецкую и внука ее, Василия Федорова Исакова. Прочих, загодя намеченных Иваном Третьим — Савелкова, Репехова, Арзубьева и Толстых,— забрали в ближайшие дни той же недели.

В этот день в доме Марфы Борецкой ели хлеб, рыбу и масло. Возчик, угрюмый затравленный мужик, объяснил, что посланы они из самой Кострицы, что ехали близко месяца, москвичи не давали пути, исхарчились, стояли в дороге, что три воза московские ратные люди забрали себе, что Кострица теперь государева и Демид Иваныч просили Христом-богом о том не баять и, отколь они прибыли, не говорить. Марфа помягчала лицом, вынесла горсть серебра, и возчики, не мешкая, убрались со двора.

После измены ключника (узнали, что Иев Потапов вместе с Богдановыми молодцами бил челом в службу Московскому государю) было отрадно, что хоть один, хоть Демид не забыл прежних милостей и даже под угрозою, а помог напоследях: прислал снедный обоз. От дворни Марфиной оставались считанные люди.

— Ну, полно, отъела своего хлеба в последний раз!— довольно произнесла Марфа, откидываясь, вытирая рот и пальцы рушником, и прибавила ровным голосом:— Идут за мной.

Пиша и Олена разом подняли головы от стола, уставясь на нее, и испуганно прислушались.

— Идут!— усмехнулась Марфа.

И верно, во дворе шумели. Слышался топот копыт, стуки и чавканье — спрыгивали с коней.

В сенях отворились двери. Громкие голоса зазвучали перед самым покоем. Дверь размахнулась наотмашь. Московский боярин, коренастый и широкоплечий, почти без шеи, с красным, грубым лицом и черною бородой, в харалужном колонтаре под распахнутой шубой, стоял на пороге. За ним теснились ратники. Он вошел, достал указ, подняв к лицу, не глядя на вставших женщин, начал говорить громко:

— Боярыня Марфа Исакова, вдова Борецкого! Василий Федоров, сын Борецкой! По государеву слову велено тебя и внука поимать и заключить в железа!

По мере того, как он читал, а два стражника, вошедших вместе с боярином, шарили по стенам, полураскрыв рты, жадными до добычи глазами и не понимали, почему так бедно у знаменитой боярыни (они не знали про летошний пожар, истребивший златоверхий терем, и про то, что Борецкая истратила почти все свое добро на оборону города), Олена и Пиша постепенно бледнели и оступали Борецкую, не то стараясь ее защитить, не то

сами ища у нее спасения. Когда москвич сказал про Василька, лицо Марфы омертвело. Она повторила глухо:

— С внуком значит!

Боярин, сворачивая указ, заносчиво глядел на Борецкую, готовясь кивнуть стражникам. Марфа поняла:

— Одетьце позволишь?— Поворотилась, бросив тронувшемуся было за ней москвичу:— Пожди тут! Все ж таки баба я! Пиша, собери Василия. Онтонине ничего не говори, пусть умрет в спокое!— сказала она и неспешно направилась к двери. Олена кинулась было к ней:

— Мама!

— Постой,— отмолвила Марфа, отведя ее рукой,— и ты пожди.

Прошла через заднюю в свою боковушу, плотно прикрыла дверь и привалилась, на мгновенье закрыв глаза, к косяку. Потом повела головой, словно отгоняя что-то, сняла черное покрывало со спицы — укутать Василька, соболий опашень для себя, подержала его в руках, усмехнулась, повесила назад, достала простой, хорьковый, и вдруг, поворотясь, рухнула на колени под огромные образа, едва не закричав в голос. Прошептала:

— Господи, прости мне гордыню!— и закрыла руками лицо.— Надо было умереть вовремя, а не умирать семь лет подряд, ожидая конца! Себя ли я слишком любила или свой город? Сына, последнего сына не сумела защитить! Внука спасти! Гибнет род Борецких! Господи, прости мне гордыню, прости слабость женскую, но сжалься, господи, над Господином Великим Новгородом!

Громкие голоса москвичей из столовой палаты привели ее в себя. Марфа тяжело поднялась, постояла. Еще раз перекрестилась на иконы. Оделась. Вышла. Олена и Пиша с Василием уже стояли в соседнем покое. Мальчик недоуменно поворачивал голову от Пиши с Оленой к бабушке.

— Увозят нас, и тебя и меня!— сказала ему Марфа.

— Кто, баба?— спросил Василек.

— Великий князь Московский! Дай баба тебе шапку поправит, может, боле уж и не видать...

Василек смотрел на нее во все глаза, еще не понимая. Марфа распрямилась. Одевая платок, сказала Олене:

— Ну, дочка, не быть тебе уже невестой ни женой. В монастырь поди! Все одно, милый твой изменил нам. Какова-то будет ему служба московская?

Про Тучина напомнила просто, без насмешки, с горечью. Олена никогда не слышала такого выражения в голосе у матери.

— Да и Фовра у нас вдовой осталась, кукушицей горе-горькою!— Уже совсем одевшись, Марфа подала Пише свернутую

трубкой харатейную грамоту и кожаный кошель.— Вольная тебе. До раззору выправила еще.

— Не надо мне!— всхлипнув, ответила Пиша.

— Бери!— Марфа строже возвысила голос.— Со мной уж полно, всё теперь. Бери, вольна ты, куда хошь, туда поди. Серебро в мешочке — твое. Мне уже ничего не нать. Будешь молиться, поминай иногда. Другие, поди, и забудут! Ты-то, старая, не забудешь ле? Ну, не рыдай, всё в руце божьей! Давай уж на опоследях поликуемся с тобой!— Она троекратно поцеловала мокрую от слез Пишу, примолвив:— А серебро спрячь, не кажи, москвичи — они завидущие, живо отберут. И во дворе не оставайсе ни часу, к Прохору поди, примет, а там хоть в деревню подавайсе, переждешь дико время-то!— Потом обернулась к Олене, прикрикнула:— Не реви!— Поцеловала в лоб.— Ну! Лихом не поминай, мать все же! Прощай. Пошли, Василий. Не идьте за нами!— остановила она Пишу с Оленой.— В окна погляньте, бабьих слез москвичам не казать!

И Олена поняла, что и сейчас у этой старой женщины, ее матери, сил больше, чем у нее, молодой и здоровой, и как невообразимо страшно остаться одной навсегда, без ее твердого слова, совета, порою и брани, и без ее властных глаз и твердых материнских рук.

— Готовы мы!— произнесла Марфа, вновь входя в столовую палату, откуда давишний боярин уже вышел на крыльцо. Стражникам она головой показала на выход. Один из них прошел вперед, а другой остановился перед Васильком, помаргивая белесыми ресницами.

— Приказано взять!

(«Розно повезут!» — поняла Марфа).

Василек, наконец-то уразумев страшную правду того, что происходит, с криком: «Баба, баба!» — кинулся к Марфе в колени и вцепился ручонками в подол, тыкаясь головой, лицом, расширенными от ужаса побелевшими глазами.

— Ну! Борецкой ты или кто?!— сорвавшись, крикнула Марфа, оторвала жалкие ручонки, встряхнула:— Гордости нет! Ступай!

И москвич, пятясь задом, уволакивая ребенка, взглянувши в глаза ей, вдруг задрожал и невесть с чего проворно захлопнул за собой дверь.

Оставшись одна, она еще помедлила, потом обвела очами чужое уже жило, поклонилась ему в пояс, перекрестившись на большой образ новгородского сурового Спаса в углу, и сказала негромко в пустоту, и это было последнее, что она вообще сказала перед тем, как навсегда оставить Новгород:

— Исполать тебе царь Иван Васильевич! Бабу одолел и дитя малое...

Эпилог

Евстигней, бывший Марфин, а теперь государев крестьянин, что когда-то мальчонкой на ее дворе драчливо собирался в ушкуйники, а теперь стал степенным молодым мужиком, со светлою округлою бородой, вышел за порог низкой, сложенной из морского плавника избы, справил малую нужду и остоялся. Тянуло с моря. Ветер предвещал ростепель. Еще не рассветливало. Ночь надвинулась на землю. Во тьме волны глухо и тяжело накатывали на ледяные камни. Он потянул носом холодную сырь — к погодью! Первые годы не знали, как выжить. Отца схоронили через лето. Пробовали пахать — вымерзало. Проклинали холодную неродимую землю, а теперь приспособились, и уже казалось не страшно, хоть и тонут здесь по осеням немало. Тянули сети, добывали дорогую рыбу — семгу. Семгу меняли на хлеб. Дед пел старины про Золотой Киев, про Новгород богатый, и давним, небылым виделось бедное новгородское детство.

«Семга беспременно должна идтить! — прикидывал Евстигней, досадуя на поветерь. — Уловишь ее в етую погодь!» Но оттого, что знал про семгу, знал про морские течения и ветер, знал про лед, делалось радостно. Бывалоча: лед и лед! Ну, шорош тамо, а тут шуга, шапуга, сало, нилас, да и нилас-то всякой, темной и светлой, сырой, сухой, подъемной, нечемерж, молодик, резун, а тамо — припай, снежной лед, заберег, каледуха, а тамо — живой лед, что движется бесперечь, мертвый лед, битняк, тертюха, калтак, шельняк, отечной лед, проносной, ходячий, сморозь, торосовой, налом, ропачистой, бакалда, бимье, гладуха, гладун, ропаки, подсовы, грязда, несяк, стамуха, стойки, забой, стычина, да и то еще не всё! И вода бывает всякая, тут те и большая вода, и полводы, и куйпога, сувой, сулой, маниха, переруб, прибылая...

Он постукал валенцами, дрожь пробирала. Эко, и не рассветливат! Все ж таки чудно! Море Белое! Купцы по осеням сказывали, в Новом Городи все стало не по-прежнему, по московськи. Но то уже не трогало. Он еще раз вздохнул глубоко, Не иначе хватит шалоник с дождем! И, почуяв, что издрогнул, полез назад, в тепло избы, освещенной сальником из сала морского зверя.

Во тьме над приникшим к земле черным, в звездах, проглядывающих сквозь набегающие облака, небом шумело и шумело море, глухо и тяжело накатываясь на камни. На востоке едва заметно бледнело, пробивался рассвет.

Новгород XV века сохранял структуру демократического выборного управления. Продолжали существовать ремесленные и купеческие братства, среди последних по-прежнему первое место занимало братство купцов-вощинников со своими представителями в торговой администрации — тиунами. Жители каждой улицы — уличане — имели свои организации и помещения для собраний — гридницы, или гридни, где собирался уличанский совет. Город делился на пять концов: Славенский и Плотницкий — на Торговой стороне; Гончарный (или Людин), Загородный и Неревский — на Софийской. Два конца считались великими: Славенский (или Славна) и Неревский, ставший великим лишь около середины XV века, по-видимому, в результате успешной колонизации двинских земель преимущественно боярством Неревского конца и политической деятельности Исака Андреевича Борецкого, мужа Марфы Борецкой. Концы имели свои, кончанские, советы, собирали народные сходы — веча. Высшим органом республики считалось общенародное собрание — общенародное вече. Фактическую повседневную власть осуществляли посадник и тысяцкий. Посадник ведал делами торговли. Более мелкими государственными должностями были сотские — выборные начальники десяти сотен, на которые делилась вся Новгородская земля. Повседневные дела решались в вечевой избе — в канцелярии веча, где был постоянный вечевой, или вечный (от слоза «вече»), дьяк и двое подвойских — помощников степенного посадника; им подчинялись бирючи, позовники, ябедники, приставы и т. п.— низшие чины новгородской администрации, соответствующие позднейшим полицейским, судебным исполнителям и проч.

Номинально Новгород подчинялся великим князьям, когда-то Киевским, потом Московским. Однако права великокняжеской власти все более урезывались и к середине XV века были сведены на нет. С большими трудами, и то от случая к случаю, московские наместники собирали налог с крестьян — «черный бор», причитающийся великому князю как юридическому главе Новгорода.

В XIV и XV веках происходили реформы самоуправления. Было увеличено количество посадников и тысяцких, они стали избираться от каждого конца, при этом количество посадников выросло до 36, по шесть от конца (от (Неревского и Славенского концов по девять). Посадники входили в Совет господ, собиравшийся в палатах архиепископа, под председательством последнего. Из среды посадников избирался на один год (позже — на полгода) один степенной, то есть главный посадник, значение которого после организации коллективного посадничества, естественно, сильно уменьшилось. Концы тоже имели каждый своего главу, обычно несменяемого, называвшегося «старым» посадником. Старые посадники образовывали малый государственный совет при степенном. Посадниками становились исключительно бояре, принадлежавшие к 35—40 семействам великих бояр — наследственной родовой новгородской аристократии. Постепенно великие бояре захватили в свои руки также должности тысяцких и сотских. Совет господ к XV веку узурпировал власть веча, и вместо демократического самоуправления стал боярской республикой, олигархией (типа Венеции), что и обусловило его слабость перед лицом крепнущего московского самодержавия, опиравшегося на растущую силу военно-служилого дворянского класса.

В отличие от московских дворян мелкие землевладельцы Новгорода, называвшиеся «житьими», не были заинтересованы в политике верхушечного слоя. В городских делах они имели также очень мало прав, лишь представительствовали от случая к случаю на общегородском вече да иногда подписывали вместе с боярами особо важные государственные договоры. Концентрация богатств и власти в руках немногих семей великих бояр порождала, таким образом, общее недовольство новгородцев. Иван Третий учел это и на первых порах заигрывал с новгородскими низами, изменив в их пользу судную грамоту (свод законов), по которой отменялась «наводка» — право приводить с собой на суд в виде свидетелей жителей своей улицы. Когда-то это право подтверждало демократические порядки, но к XV столетию великие бояре стали попросту покупать себе свидетелей, собирая толпы наемных крикунов, которые помогали им решать все дела в судах в свою пользу. Эти-то наемные люди, обычно из деклассированной среды или из среды боярских слуг, и получили в московской летописи прозвище «худых мужиков — вечников».

К XV столетию выросло также и значение новгородской церкви, захватившей более трети частновладельческих земель республики. Церковники делились на белое и черное духовенство. Последнее (монахи) подчинялось новгородскому архимандриту, которым был обычно архимандрит Юрьевского монастыря.

Монастыри захватывали и получали в дар от бояр земли с крестьянами. В романе показан, в частности, один из знаменитых деятелей такого плана Зосима (или Изосим), основатель Соловецкого монастыря на Белом море. (Год рождения неизвестен, умер в 1478 г.) В «Житии» Зосимы сохранился рассказ о его столкновении с Марфой Борецкой и о пророческом «видении» безголовых великих бояр (Зосима якобы предвидел, что противники Москвы будут разбиты Иваном Третьим).

И черное и белое духовенство равно подчинялось архиепископу. Верховного главу новгородской церкви, архиепископа, выбирали по жребию.

Усиление, а главное, непомерный рост богатств церкви вызвал к жизни еретическое движение. Еретики требовали, прежде всего, отказа церкви от владения имуществом. Очень значительным было движение стригольников (приблизительно за сто лет до описываемых событий), которое возглавлял проповедник Карп. Карпа казнили, скинув с Великого моста в Новгороде. Однако стригольничество продолжало сказываться, а незадолго до присоединения к Москве в Новгороде возникла новая ересь, направленная против церковной обрядности и церковных имуществ. Позже она перекинулась в Москву и получила название «ереси жидовствующих». (Слово не имело оскорбительного оттенка. Название пущено в ход Иосифом Волоцким, знаменитым проповедником, яростным противником еретиков. Только последними исследованиями советских ученых установлено, что на самом деле еретики с еврейской религиозной мыслью не были связаны, скорее представляя собою древнее стригольничество в новой модификации. Любопытно, что одно время этой ереси придерживался сам царь Иван Третий, мечтавший с помощью еретиков отобрать у церкви ее земельные владения.)

В романе частично упомянуты книги, на которые опирались еретики,— сочинения Дионисия Ареопагита, также «Шестокрыл», «Звездозаконие», где толковались астрономические вопросы.

Отражением тогдашних богословных споров является разное произношение и написание в романе имени Христа: Исус, обычное для того времени, и Иисус, принятое еретиками.

Вообще об именах надо сказать следующее. В романе одно и то же имя передается по разному: Олимпиада — Пиша, Ваня — Иван, Данил — Данило. Кроме того, есть имена с прозвищами: Стрига-Оболенский. (Оболенский — родовая фамилия, Стрига — личное прозвище. Вот почему встречается и Стрига-Оболенский, и Оболенский-Стрига, и просто Стрига.)

Фамилии в XIV—XV веках только начинали образовываться. Звали людей обычно по имени или имени-отчеству, при этом замужних женщин вместо отчества — по имени мужа. Поэтому Марфа Борецкая зовется то Марфой Ивановной (отчество), то Марфой Исаковной (по имени покойного мужа, Исака Андреича Борецкого). Личное отчество Марфы выясняется по документам с трудом и гадательно, по отчеству ее брата (родного или двоюродного?) Ивана Лошинского. Возможно, он и родной брат, но его отчество перепутано в летописи, ибо в «Житии» Михаила Клопского, в писцовых книгах XVI века и в одной печати, предположительно принадлежавшей именно ему, Лошинский назван Семеновичем. Можно допустить, что и Марфа была Семеновной, а не Ивановной. Впрочем, точно ничего сказать нельзя, и мы остановились на традиционном летописном отчестве.

Действие романа охватывает 1470—1478 годы. Все события, вплоть до мельчайших, выверялись, помимо специальных исторических исследований, по первоисточникам: летописям, грамотам, писцовым книгам, житиям и проч.

К сожалению, науке многое неизвестно, и поэтому где-то приходилось прибегать к гадательным построениям. Так, возможно, что Иван Офонасович Немир был не славенским, а неревским боярином, что родословие Своеземцевых надо передвинуть несколько назад, и, соответственно, все Своеземцевы станут старше, и т. п. Впрочем во всех подобных случаях мы предпочитали самую осторожную позицию, отказавшись, например, от соблазна придумать Марфе Борецкой предков, хотя, разумеется, «империя Борецких» выросла не на пустом месте, и одновременно от ряда легендарных сведений относительно Марфы, явно вымышленных в последующие столетия.

Несущественные отступления от хронологической и событийной исторической канвы допущены лишь в двух местах. Первое — Зосима соловецкий приезжал в Новгород, по-видимому, как это явствует из фундаментального исследования В. Л. Янина о новгородских посадниках, на год раньше, не в 1470-м, а в 1469 году, но тоже при степенном посадничестве Ивана Лукинича. Разговоры о союзе с литовским королем велись уже тогда, и мы предпочли в этом случае просто сблизить события. Второе отступление: Степан Брадатый не участвовал в «мирном» походе Ивана Третьего на Новгород. Из дьяков были только Полуектов с Беклемишевым. Однако эти московские чиновники оставили записи вполне в духе Брадатого, и мы посчитали возможным объединить их свойства в одном лице, наиболее характерном.

Отдельно нужно сказать о языке. «Цоканье» (мена «ц» и «ч»), как и другие приметы северно-великорусского говора, встречаются непоследовательно уже в берестяных грамотах XIII—XVвеков. К тому же звук «ц» в слове «что» и вообще в начале слов звучит как нечто среднее между «ц», «т» и «ч», и передать его на письме невозможно. Мы поэтому вводим диалектные особенности спорадически, применяясь к требованиям художественной прозы, социальному положению героев (чем культурнее персонаж, тем чище и книжнее его речь), зрительному восприятию читателя, которое, в общем, старались щадить, и тем тонким оттенкам смысла и мелодики речи, которые содержит сам по себе народный говор. Например, мена «ли» и «ле». «Ле» вместо «ли» возникает изредка на конце фраз в более вопросительной интонации. В целом диалектные формы ярче сохранены в прямой речи, во внутренних монологах персонажей и реже встречаются в авторской речи, лишь там, где авторскою речью передается не взгляд автора, а взгляд данного персонажа на предмет, пейзаж или событие. Элементы церковнославянской фразеологии употреблены преимущественно в языке персонажей, близких к церкви.

Кое-где цитируются подлинные исторические документы: строки грамот, летописи, отчеты московских дьяков и проч. В большинстве случаев летописный текст мы предпочли слегка облегчить, как бы частично переводить,

несколько приближая к современному написанию. Это не совсем последовательно с научной точки зрения, но в художественной прозе, как кажется, допустимо. Полный перевод разрушает впечатление древности, а точная цитация слишком затрудняет понимание текста.

Иные пояснения, как и перевод трудных слов и выражений, читатель найдет в постраничных примечаниях.

Стр. 9

Келарь — монах, заведующий монастырскими припасами или вообще светскими делами монастыря.

«Недостойны вы мира моего...»

Под словом «мир» в этом случае разумеется благословение, призываемое словами духовного лица: «Мир дому сему». Города Содом и Гоморра, по библейской легенде, были разрушены богом за нечестие.

Стр. 10

Вымол — пристань.

Скора — шкура, кожа. (Отсюда — скорняк.)

Стр. 11

Лешай лес — дикий, нетронутый.

Наволок (северн.) — лесистый мыс, полуостров.

Црен (Чрен) — большой плоский клепаный котел, типа огромной сковороды, в котором выпаривалась соль.

Хиротонисание — посвящение; особый обряд возведения в церковный сан. Совершался более или менее пышно во время богослужения, сопровождаясь возложением рук на голову посвящаемого, что мыслилось как передача ему «благодати».

Стр. 12

Кережа — небольшие санки из целого куска дерева на одном полозу, в виде лодочки, лопарского происхождения (саамское «керис»).

Савватий — монах, отшельник, первым поселился на Соловецких островах. Перед смертью приплыл на лодке на южное побережье Белого моря, где и был похоронен. Его спутник, Герман, вновь поехал на острова уже вместе с Зосимою, толвуйским (заонежским) боярином, который и основал монастырь на острове. Прах (мощи) Савватия были перевезены в монастырь. На позднейших иконах Зосиму и Савватия изображают передающими друг другу Соловецкую обитель, хотя в жизни они не встречались. Идею перенесения мощей Зосиме подсказали монахи Кирилловского монастыря, откуда когда-то вышел покойный Савватий.

Стр. 13

Ушкуйные походы, ушкуйники — от новгородских лодок особого типа, длинных и легких, приспособленных к речному плаванию, ушкуев. В этих лодках «охочие» новгородские молодцы на свой страх и риск («без слова новгородского») ходили в грабительские походы. В XIV столетии ушкуйники совершили ряд победоносных походов на Волгу, взяли ряд городов вплоть до столицы Золотой Орды — Сарая, но закрепиться на Волге не смогли. Ханы Золотой Орды жаловались на них московским князьям, а те требовали с Новгорода возмещения убытков. К XV веку ушкуйные походы прекратились. Движение ушкуйников, в котором значительную роль играли деклассированные новгородские низы, знаменовало начало кризиса новгородской системы.

Шильники — первоначально, видимо, название ремесленной специальности. Потом так стали называть в Новгороде различного рода подозрительных людей — плутов, мошенников, то есть вообще сброд.

Стр. 14

«Блаженни нищие духом...» (церковнославян.)

Блаженны нищие духом (то есть простые, немудрые, убогие), потому что им принадлежит царствие небесное, и блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны вы, когда вас поносят и гонят и клевещут на вас меня (то есть Иисуса Христа) ради — вы есть соль земли.

Зане (церковнославян.) — потому что.

Мзда — корысть. «На мзде ставлены» — за деньги, за взятку. За поставление в священники полагалось платить. Стригольники обвиняли церковь в том, что ее пастыри, поскольку они «на мзде ставлены», изменили Христову учению («Христос уже не имеет своей церкви на земле»), и потому обращаться к ним нельзя, а надо молиться самостоятельно, без попов.

Стр. 15

Аспид — змей.

Стр. 16

Морове частые — моровые (эпидемические) болезни: чума, холера и т. п. Как раз в это время по всей Европе и по Руси около полустолетия ходила чума, занесенная с Востока, и уничтожала население целых городов. Эпидемию связывали с близким концом света.

Трусы, трус — землетрясение.

Сумрак божественного —учение о том, что «божественное» трудно достигнуть умом, а надо — чувством. (Сумрачный — трудный, неясный, туманный.)

Деньги серебряные обманны лили... — крупный политический скандал в Новгороде, когда часть бояр оказалась замешанной в финансовую спекуляцию, связанную с порчей денег. Вместо полновесных серебряных слитков, гривен, изготовляли слитки с уменьшенным количеством серебра по той же стоимости.

Обжа — мера площади, не точная, так как означала количество, которое можно обработать на одной лошади. В Новгороде — около 5 десятин в одном поле при принятом тогда на Руси трехполье: одно поле паровое, другое под рожью, третье под яровыми — пшеницей и прочими культурами. Обжа соответствовала общей площади в 15 десятин.

Заехать — занять, захватить (недвижимую собственность).

Стр. 17

Юма — небольшое мореходное судно.

Вfocusсток, подсиверик — поморские названия ветров: восточный и северо-восточный.

Стр. 18

Калика — странник.

«Послание о рае» — сочинение знаменитого новгородского архиепископа XIV века Василия Калики, в котором легенда о Моиславе-новгородце приводится как аргумент в богословском споре. Архиепископ Василий, в согласии с конкретным мышлением древних новгородцев, считал, что можно найти рай «материальный» — доступный чувствам живого человека.

Инýду — в иное место.

Стр. 20

Евфимьевская часозвоня — башня с часами, бой которых был слышен по всему городу. Сооружена знаменитым архиепископом середины XV века Евфимием II. Сохранилась до сих пор, перестроенная. (Имела другую форму и деревянный верх, сгоревший во время одного из пожаров).

Ела — род ладьи. Большая четырехвесельная лодка.

Стр. 21

Багрец и черлень — оттенки густого ярко-красного. Краска багрец

добывается из кошенили — особой тли, выделяющей красящее вещество, черлень — красная охра, земляная железистая краска.

Стр. 22

Засмяглый, усмяглый — потный, заспанный, усталый.

Тупица — древокольный топор (колун); иногда — лопата.

Изымáло — кузнечные клещи.

Стр. 23

Пáки и пáки (церковнославян.) — снова и снова.

Стр. 25

Охабень — длинная прямая одежда с откидным квадратным воротом. Длинные рукава обычно завязывались сзади, а руки продевались в прорези, сделанные с внутренней стороны рукава на уровне плеч.

Нáручи — нарукавники (обшлага), которые надевались отдельно и часто были из твердого материала с богатым шитьем, жемчужною отделкой и т. д.

Запóлье — пригород. Запольями или опольями назывались новые кварталы, выросшие за чертой городских укреплений.

Стр. 26

Поршни — род кожаных сандалей из одного обогнутого вокруг ноги куска кожи на сборке. Иногда — плетеные из кожаных ремней лапти.

Училище — в Новгороде в период независимости существовали государственные городские училища (так именно и назывались) с поурочной системой преподавания.

Стр. 28

Тимовые сапоги — из тима, мягкой кожи (род сафьяна).

«Ездих и учахуся за морем, у немец...» Сохранились полулегендарные сведения, что подвойский Назарий ездил учиться в Ригу, побывал и в других немецких городах.

Стр. 29

Ганзейские купцы — *ганза* — союз вольных немецких городов, долгое время державший торговую монополию на Балтийском море. В Новгороде находился особый немецкий двор, через который шла торговля Руси с Западом, причем ганзейские купцы старались не пропускать в Новгород чужих товаров и постоянно навязывали Новгороду свои цены.

Вира — штраф, судебная плата за различные преступления.

Плесковичи, Плесков — архаическое название Пскова и псковичей. В XV—XVI веках стало заменяться современным.

Шестники — так в Новгороде звали пришлых москвичей.

Корела — так писали и говорили вплоть до XIX века. Форма «карелы» — поздняя.

Стр. 30

Учаны, насады, паужины — названия речных судов.

Стр. 32

Ключник — управитель (ведающий ключами от дома, то есть главное лицо после хозяина).

Стр. 35

Низ, низовская земля — так новгородцы называли всю область южнее Волги (от Твери), а также среднее и нижнее Поволжье, часто поэтому «низ» был синонимом московских владений, а «низовцами» звали московских выходцев. Походы на «низ» — ушкуйные походы на Волгу.

Епанча — верхнее длинное платье, прямое, с рукавами, но без ворота.

Стр. 37

Противление лунное, звездотечение — наука о движении луны и звезд — астрономия.

Стр. 38

Княжчины — волости великого князя. Владение землями помогало великому князю управлять подвластной территорией. Новгород сумел реквизировать княжеские владения на Новгородчине и издал закон, по которому никто, кроме новгородцев, не имел права приобретать земли в Новгородской республике. Иван Третий добивался возвращения древних княжчин, ставших новгородскими еще со времен Александра Невского (ум. в 1263 г.), то есть более двухсот лет назад.

«В шестьдесят осьмом» — то есть в 6468 году от сотворения мира. Весь счет лет здесь и далее в разговорах ведется по тогдашнему обычаю — «от сотворения мира», которое высчитывалось по библии и было якобы за 5508 лет до новой эры. (Почему 1492 год и считался последним годом седьмой тысячи лет.)

Стр. 39

Онцифор Лукич — выдающийся деятель XIV века, предложил реформу посадничества, положившую начало созданию боярской олигархии.

Стр. 40

Домовина — гроб.

Схима — монашеское одеяние. Принять схиму — стать монахом.

Стр. 41

Взметная грамота — грамота, объявляющая о разрыве мирных отношений. Послать взметную грамоту — объявить войну (то же значение имеет разметная грамота, складная грамота).

Свея — шведы, Швеция. Слово одновременно означало страну и народ, как и другие подобные названия: Литва, Русь и пр.

Нестроения — смуты, нелады.

Стр. 45

Александр Обакунович — новгородский воевода XIV столетия, возглавлял самый значительный поход новгородских ушкуйников на Волгу, во время которого были взяты и разграблены многие волжские города. В войне с Тверью защищал Торжок и был убит в первой же схватке — «суступе», а новгородское войско бежало, и дряхлеющая республика предпочла откупиться от Твери золотом, с чего началась полоса уступок и откупов, кончившаяся присоединением Новгорода к Москве.

Стр. 46

Калита — кошелек.

Стр. 49

Вапа — краска, *повапить* — покрасить.

«Волхвы взрежут утробу...» Рассказ о чудесах волхвов содержится в начальной летописи. Исследователи полагают, что волхвы никому не «взрезали утробу», но отбирали добро у богатых — «нарочитых жен» — и отдавали голодающему населению, заставляя богачей во время неурожая исполнять древний мордовско-мерянский языческий обряд подачи милостыни.

Обряд заключался в том, что дарительница, спустив до пояса одежду, становилась к просителю спиной, закинув мешок с милостыней за плечи. Нуждающийся разрезал мешок и вынимал добро из мешка. Дарительница его как бы не видела и потому не имела права требовать затем отдачи долга.

Кроме того, в обряде отразились какие-то древнейшие родовые взгляды. По-видимому, обнажение тела символизировало родственный, материнский характер помощи.

Стр. 50

Орать — пахать, *взорать* — вспахать. (Отсюда — оратай или ратай — пахарь.)

Воздоить — вскормить, вспоить.

Лепше — лучше, красивее. Лепо — красиво, лепота — красота. (Отсюда — нелепо.)

Поять — взять.

Стр. 56

Косящатые окна — в косяках, большие, красивые (красные). Обычные окошки прорезались узкими, не шире одного бревна, и задвигались — «заволакивались» — заслонкой (отсюда название «волоковые). Но окна на фасаде делались больше, и тогда требовались косяки, чтобы удержать бревна простенков от выпадания. В такие окна вставлялись рамы со слюдой или стеклом.

Стр. 57

Доблий — доблестный.

Стр. 60

Плинфа — плоский четвероугольный кирпич преимущественно домонгольской поры.

Вятший — то же что великий, применительно к боярину — знатный, родовитый, из высшего сословия.

Чашница — кладовая драгоценной посуды и утвари.

Молодечная — караульное помещение стражи.

Стр. 61

Стогны — площади.

Стр. 62

Стольник, чашник — чины придворной администрации. Номинально первый заведует припасами (столом), второй — посудой, драгоценностями и проч.

Посельский — сельский управитель.

Стр. 64

Два на десяти — двадцать два.

Стр. 65

Двою ста — двести.

Подписанный (храм) — расписанный фресками.

Стр. 68

Кол колить — устраивать «заколы» (заборы) в реке для ловли рыбы.

Стр. 71

Рыбий зуб — моржовый клык.

Стр. 73

Братина — низкая широкая чаша.

Стр. 74

Саян — женская одежда, род сарафана с пуговицами сверху до подола.

Повойник — женский головной убор в виде шапочки, обычно с парчовым верхом и завязками сзади. Под него убирались волосы.

Яхонты — общее название ряда драгоценных камней: лалов, рубинов, сапфиров, аметистов, гиацинтов и пр.

Разоболокаться — раздеваться.

Мешкотно — неловко, медленно.

Стр. 75

Портна — льняное полотно.

Стр. 78

Амартол — автор переводной византийской хроники, очень популярный на Руси.

Бессермены — басурманы, иноверцы (обычно — жители восточных стран).

Стр. 79

Стратиг Зустуней — полководец, участвовавший в обороне Царьграда. По русской легенде — один из героев обороны.

Ярый воск — чистый, лучшего качества.

Ставник — подставка для свечи (высокая).

Муравленая печь — изразцовая, расписанная травами.

Скань — ювелирное изделие из тонкой серебряной (или золотой) перевитой проволоки. Сканый — сканью украшенный.

Поставец — стоячий или висящий шкафчик.

Налой — столик с наклонной доской для чтения и письма.

Стр. 80

Лжица — ложка.

Стр. 81

Прещение — запрет.

Стр. 83

Зендянь — бухарская пестроцветная хлопчатобумажная ткань.

Постав — штука материи, снятая с одного ткацкого стана.

Стр. 84

Паузки, учаны — типы речных судов.

Стр. 86

Норило — длинный шест, которым пропихивают сеть подо льдом от проруби к проруби при подледном лове рыбы.

Стр. 89

Подволока — чердак.

Стр. 90

Крашенина — крашеная ткань.

Сорочинское пшено — рис.

Лопотина, лопоть — одежда.

Выступки — род кожаных новгородских женских полусапожек.

Стр. 91

Рогатина — копье (обычно охотничье), с длинным и широким лезвием и задержкой ниже лезвия в виде двух расходящихся в стороны рогов.

Насадки (к лопатам) — металлические оковки лезвий деревянных лопат.

Наральники — железные острия, насаживаемые на рабочую часть деревянной сохи, рала.

Цапахи — проволочные щетки для битья (расчесывания) шерсти.

Стр. 92

Калитки — род ватрушек из тонко раскатанного твердого ржаного теста с загнутыми краями, намазывались чаще всего пшенной (просяной) кашей. Обильно сдабривались сметаной и русским маслом. Ели горячими.

Клешица — снаряд для вязки сетей (затягивания узлов).

Имать — брать.

Сак — мешок из рыболовной сети, также круглая ловушка на ободьях, вершь.

Стр. 94

Камень — Уральский хребет. Его северная часть — Югорский камень. Походы на Урал были опасны, но очень прибыльны.

Матичное бревно, матица — центральное бревно, поддерживающее потолок.

Кафа, Сурож — города в Крыму (Феодосия и Судак), через которые шла московская торговля с Италией. Московские купцы-суконники поэтому звались сурожанами.

Стр. 99

Уклад — сталь.

Бронь — кольчуга.

Стросточка — трость.

До зени — до земли, зень — земля, пол.

Пýло — медная монета.

Стр. 111

Фряжский — итальянский, фрязин — итальянец.

Стр. 113

Луды и корги — каменистые мели.

Миро — масло, употребляемое в церковных обрядах.

Стр. 114

Грановитая палата — выстроенное новгородским архиепископом Евфимием II помещение для заседания Совета господ. Существует до сих пор. Название происходит от подчеркнутых выпуклых ребристых граней на перекрестиях сводов. (Прием, свойственный западной архитектуре. Был занесен зарубежными мастерами, которых пригласил Евфимий II).

Стр. 116

Ропата — католическая церковь.

Стр. 118

Перевары — пошлины с варки пива, позднее вообще пошлины, также названия округов.

Смесный суд — смешанный, с представителями той и другой стороны.

Черные куны — налог с крестьян (куны — деньги).

Варница — солеварня, соль «варили», то есть выпаривали в котлах над огнем.

Стр. 122.

«Туры златорогие» — песня балладного характера, когда-то зачин былины. В средние века приобрела самостоятельное значение. (Здесь и далее используются подлинные фольклорные тексты, которые, по данным исторической фольклористики, могут быть возведены к средневековью.) Туры — древние быки (позже вымерли), объект княжеской охоты в Киевской Руси и символ мужества. В эпосе получили значение вещих зверей, наделенных чудесными свойствами и фантастическим обличьем.

Стр. 131

Репукса — ряпушка.

Стр. 134

Куколь — монашеский колпак.

Стр. 138

Спица — вешалка (одно из значений).

Харатейная грамота — грамота на пергамене, на коже.

Харатья — пергаменная рукопись, грамота или книга.

Стихарь — церковное облачение, широкое, с широкими же рукавами и разрезами по бокам (верхнее — у дьяконов, нижнее — у священников). Надевалось во время совершения богослужения.

Оксамит (аксамит) — византийская, позже итальянская плотная парча (парча — ткань с металлической, золотой или серебряной нитью), с вы-

тканным по ней тонким шелковым или бархатным узором. Ткань очень дорогая и тяжелая от обилия драгоценного металла. (Пять метров ткани весили около пуда.)

Обоярь, объярь — плотная шелковая ткань с золотыми или серебряными струеобразными узорами.

Тафта — плотная упругая шелковая ткань с матовой поверхностью.

Черевчатый — красный.

Ряса (хитон) — монашеская верхняя одежда.

Саккос — одежда высшего духовенства, по покрою напоминает стихарь. С XVI века право носить саккос присвоено исключительно митрополитам и патриарху.

Дробница — металлическое, ювелирной работы украшение, нашивавшееся на торжественное церковное облачение (например, на саккос), а также на переплеты книг и т. п.

Орарь — широкая лента с крестами, надеваемая дьяконом во время богослужения через левое плечо.

Епитрахиль — широкая лента, род двойного ораря, надеваемая на шею, концы епитрахили, сшитые вместе, спускаются спереди на грудь. Обязательная часть облачения священника во время богослужения.

Покров — шитое покрывало на гробницу с изображением усопшего.

Пелена — шитая икона, иногда значительных размеров. Пелены вешались в церкви под иконамии (писаными) соответствующих святых.

Митра — головной убор высшего духовенства (разнообразной формы, обычно из драгоценных материалов).

Индрик-зверь — единорог, сказочный зверь-чудовище, живший, по легендам, в Индии. Рог его, по-видимому, слоновые бивни. (Возможно, в легендах отразились рассказы о носорогах.)

Панагия — нагрудный медальон-икона, богато украшенная драгоценностями, надевалась епископами и архиепископами.

Сион — символическое изображение Иерусалимского храма. Его ставили в алтаре на престол и выносили во время торжественных богослужений.

Омофор, омофорий — длинный кусок ткани, вышитый чаще всего крестами и надеваемый крестообразно на плечи. Надевался исключительно высшим духовенством.

Стр. 139

Фелонь, риза — круглый плащ с вырезом для головы, без рукавов. Обрядовая одежда священников.

Финифть — перегородчатая эмаль.

Кунган, кумган — восточный металлический сосуд, обычно покрытый богатой чеканкой, с узким высоким горлом.

Панагиар — блюдо с крышкой, на подставке, на которое клали части просфоры в честь богоматери. Употреблялось в монастырских обрядах.

Ендова — сосуд в форме большой братины с носиком на верхнем крае. Из нее наливали в питьевые сосуды мед, пиво, брагу и др. напитки.

Достакан — стакан.

Кратир — сосуд с двумя ручками, воронкообразно расширяющийся, на низкой ножке. Употреблялся для смешивания вина с водой в церковных обрядах.

Потир — чаша сферической формы, на высокой ножке типа кубка. Употреблялась во время богослужения для причастия. Названный яшмовый потир имел стоян из драгоценного металла с вставками из самоцветных камней.

Стр. 140

Кравчий — прислужник, ведающий напитками, виночерпий.

Стр. 141

Алтабас, алтабасный — восточная плотная ткань на шелковой основе, с пропущенными золотыми и серебряными нитями.

Стр. 145

Езавель, Иродья, Евдоксия, Далила — знаменитые отрицательные персонажи священной истории.

Стр. 146

Митрополит Исидор — инициатор принятия унии с Римом. Бежал от гнева великого князя.

Стр. 149

Сябер — сосед, иногда участник в деле.

Ослоп — дубина, жердь, кол.

Стр. 152

Дворский — управитель (ведающий двором, в отличие от ключника, ведающего домом).

«Избирательные листы...» — среди новгородских берестяных грамот нашли один такой лист — кусочек бересты с тремя именами кандидатов.

Противень — копия.

Стр. 153

Хорос — люстра в виде плоского круга, подвешенного горизонтально и уставленного свечами.

Синклит — свита.

Стр. 154

«Мнящеся непокоривии...»

Думали непокорные (буйные) до основания разорить город твой, пречистая, не разумея помощь твою, владычица (то есть помощь богоматери Новгороду). Но силою твоею низложены были, устремились в бегство, связанные, как железными цепями, слепотою и тьмою объятые, подобно древним египтянам (тут подразумевается библейский рассказ о гибели египтян, пустившихся в погоню за сбежавшими из египетского плена евреями), обезумевшие, доколе (пока) до конца побеждены были.

Выя — шея.

Левкас — грунт, подкладка живописи. На иконах левкас иногда оставляли в виде фона.

Стр. 155

Ловища и перевесища — охотничьи угодья, места и устройства для ловли дикого зверя и боровой птицы.

Колтки, колты — подвески к головному убору.

Порты — одежда.

Стр. 158

Ирмос — вступительный стих церковного песнопения.

Кондак — краткая песнь во славу Христа или кого-нибудь из святых.

Стр. 161

Шайка столовая — застольная компания.

Стр. 162

Бесовское каждение — поклонение бесам (от слова кадить, воскуривать фимиам).

Стр. 163

«Правда Волынская» — свод законов. В литовском княжестве деловая письменность велась на русском языке, поэтому законы тоже назывались «русскими».

Стр. 165

Пешать — пробивать лед пешней (шестом с железной насадкой на конце).

Стр. 166

Угры, угорский — венгры, венгерский.

Стр. 167

Рядки — торговые небольшие поселения.

Стр. 169

Городня — часть стены между двумя башнями.

Гульбище — балкон, терраса для прогулок, иногда — пиров.

Стр. 173

Осочники — загонщики, облавщики.

Выжлятники — псари (выжлец — охотничий пес).

Терлик — род узкого кафтана.

Стр. 176

Овнач — род чаши.

Опашень — верхняя одежда. Широкая, долгополая, с широкими короткими рукавами. Надевалась сверх кафтана.

Кожух — опашень, подбитый мехом, дубленая шуба.

Вотола — верхняя грубая одежда из толстой ткани. В великокняжеском обиходе встречались восточные, дорогие.

Лунское и ипское сукно — английское и фландрское из города Ипра (Ипа). Ипское сукно было самым дорогим из западноевропейских сукон.

Скарлатное сукно — итальянское сукно красного цвета.

Кочь — верхняя одежда, род плаща.

Летник — летняя верхняя одежда из легкой материи, холщовая или шелковая, с долгими рукавами.

Вóшвы — цветные или узорчатые вставки, вшивавшиеся в платье, как украшение.

Стр. 177

Корогель — короткая женская шубейка, крытая парчей или штофом (иногда с перехватом в талии), телогрея.

Взголовье — длинная широкая подушка для двуспальной кровати.

Мисюрский — египетский.

Камка — шелковая ткань.

Рясы — женские украшения (подвески к головному убору).

Бармы — ожерелье со священными изображениями в металлических медальонах. Знак княжеской и царской власти.

Стр. 183

Шкота — шкода, пакость, разбой.

Стр. 185

Соймы, или снемы — княжеские съезды.

Горлатные шапки — высокие шапки умных бояр из меха горлышек соболей.

Комóнный — конный (комонь — конь).

Зажитье — военный грабеж.

Стр. 188

Колонтарь — доспех типа кольчуги из металлических пластинок.

Стр. 193

Исторы — потери, убытки, отобранное по суду.

Стр. 195

Кояр — кожаный панцирь, род толстой куртки.

Стр. 197

Покрученные — призванные на войну.

Перстатые рукавицы — перчатки с раструбом, толстые (обычно воинские).

Рушанки — жительницы города Русы.

Гайтан — шнурок нательного креста.

Стр. 198

Пабедье — полдник (второй обед).

Стр. 215

С наворопа — с налета, с ходу, стремглав.

Ополониться — набрать полону (добра у побежденных).

Стр. 216

Башенные костры, или просто костры — городские башни. (В старину дрова складывали в виде круглых куч, похожих на башни, и тоже называли кострами. Отсюда современное — костер).

Стр. 217

Зелейный мастер — пороховой мастер (от слова зелье, тут — порох).

Стр. 221

Копылья — стояки разного рода. (Вертикальные стояки в конструкции саней.)

Скобкарь — род чаши с двумя ручками, с изображением птичьих или звериных голов и хвоста.

Латка — глиняная сковорода.

Стр. 222

Выть — общее понятие времени еды (например, завтрак, обед).

Стр. 228

Заборола — верхняя часть городской стены — бойницы.

Стр. 245

Ваганы — большие чаши или круглые корыта с короткой прямой ручкой. (Хозяйственного назначения).

Турики — цилиндрические (из луба) вертушки для наматывания ниток.

Стр. 246

Верея, вереи — столбы, на которые навешиваются полотнища ворот.

Стр. 247

Кочедыг — металлический, с округлым концом, загнутый стержень. С его помощью просовывают берестяные ленты при плетении (например, лаптей).

Стр. 277

Оперенное крыльцо — крытое крыльцо с фигурно вырезанными концами досок кровли, напоминающими перья расправленного птичьего крыла.

Стр. 280

Лонись — в прошлом году.

Стр. 302

«Правда» или «Правда Русская» — основной свод законов.

Скрыня — сундук.

Стр. 306

Корабленики (нобили) — золотые западноевропейские монеты с изображением корабля, обращавшиеся в Новгороде.

Блюдо ягод винных — значение этого подарка неясно. Судя по месту и времени подношения, винные ягоды могли означать, что новгородцы «повинились» перед Иваном Третьим.

Стр. 307

Сестрич — племянник, сын сестры.

Стр. 313

Чуга — верхняя одежда с короткими, до локтя, рукавами.

Стр. 320

Голка — шум, ропот, беспорядок, пересуды, волнения.

Стр. 331

Строфилат-птица — феникс, мифическая птица, возрождавшаяся, сгорая в огне.

Стр. 334

Номоканон — сборник церковных правил, или церковный судебник, по которому судили служителей церкви.

Стр. 356

Ни тебе братчин... — члены одного цеха «братства» — братчинники, будь то купцы или ремесленники, устраивали регулярно пиры-складчины для своих членов «братчины», род цеховых празднеств, где заодно решались общинные дела. Здесь подразумеваются сами пиры.

Стр. 358

Строгали — по-видимому, мастера по выделке пергамена. Может быть, также одна из столярно-плотницких специальностей.

Опонники — ткачи (от слова «опонь» — «ткань», «кошма»), возможно, также мастера валяльного дела.

Стр. 369

«Посечена была братия их на поромане дворе от Ярослава...» Ярослав Мудрый при жизни отца Владимира Святославича был посажен княжить в Новгород. Рассорившись с отцом, он стал собирать войска, нанял варягов, которые начали грабить и насильничать в Новгороде. Новгородцы перебили варягов. Ярослав, желая отомстить, собрал на дворе Поромана лучших новгородцев и перебил их. В ту же ночь ему пришла весть из Киева, что Владимир умер, и началась борьба за престол. Ярослав тогда выступил перед новгородцами с покаянной речью. Новгородцы согласились поддержать Ярослава и посадили его на киевский стол, за что и получили какие-то права. Впоследствии на эти права — «Грамоты Ярославли» (они не дошли до нас) — постоянно ссылались новгородцы, отстаивая свою свободу.

Стр. 386

Пресный мед — натуральный, неваренный.

Стр. 388

Прясло — часть ограды (одно звено), также часть городской стены между башнями.

Стр. 408

На раменах — на плечах.

Стр. 412

Сам-четверт — вчетвером (или в четвертой части).

Стр. 414

Харалужный — булатный, закаленный, твердый (особым образом обработанный металл).

---

95 коп.